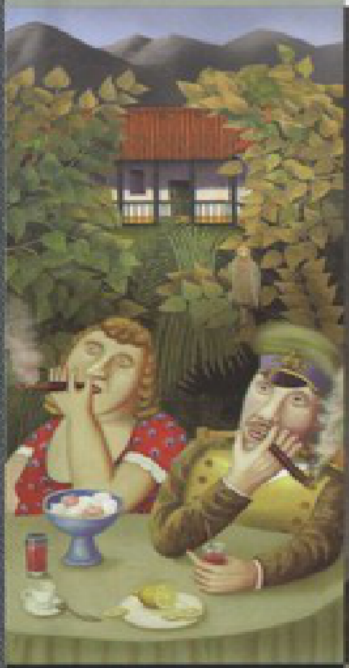
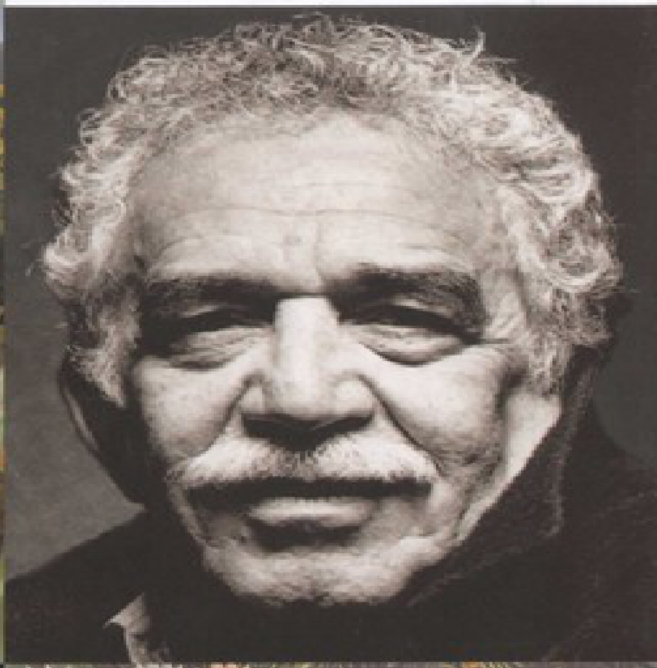
ГАРСИА МАРКЕС





Сергей Марков

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Габриель Гарсиа Маркес (1927–2014), колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии, названный Сервантесом нашего времени, завоевал необычайную популярность на всех континентах. «Полковнику никто не пишет», «Сто лет одиночества», «Осень Патриарха», «Любовь во время холеры» и другие его произведения вошли в золотой фонд мировой литературы. Сергей Марков, известный журналист-международник, прозаик, которому довелось встречаться с Гарсиа Маркесом, как и с другими вершителями «бума» латиноамериканской литературы, например Хулио Кортасаром, создал наиболее полное на сегодня жизнеописание великого колумбийца на русском языке. Благодаря знакомству с близкими друзьями, соратниками, врагами своего героя С. Маркову удалось по-новому взглянуть на сложные, порой трагические коллизии, связанные с эпохальным расколом мира в XX веке на капиталистический и социалистический и последовавшим расколом среди крупнейших литераторов. Не обошёл он вниманием и многолетнюю, во многом загадочную дружбу Гарсиа Маркеса с известными личностями столетия: Фиделем Кастро, Франсуа Миттераном, Улофом Пальме, другими лидерами государств, а также его связи с СССР и Россией, отношение к диктаторам своего времени, его борьбу с терроризмом, бандитизмом, наркомафией… Но прежде всего эта книга, конечно, о латиноамериканском гении, чьё творчество пронизано страстью, любовью, эротикой, и о его бурной, порой шокирующей, но красивой и до конца фонтанирующей энергией жизни.

знак информационной продукции 16+

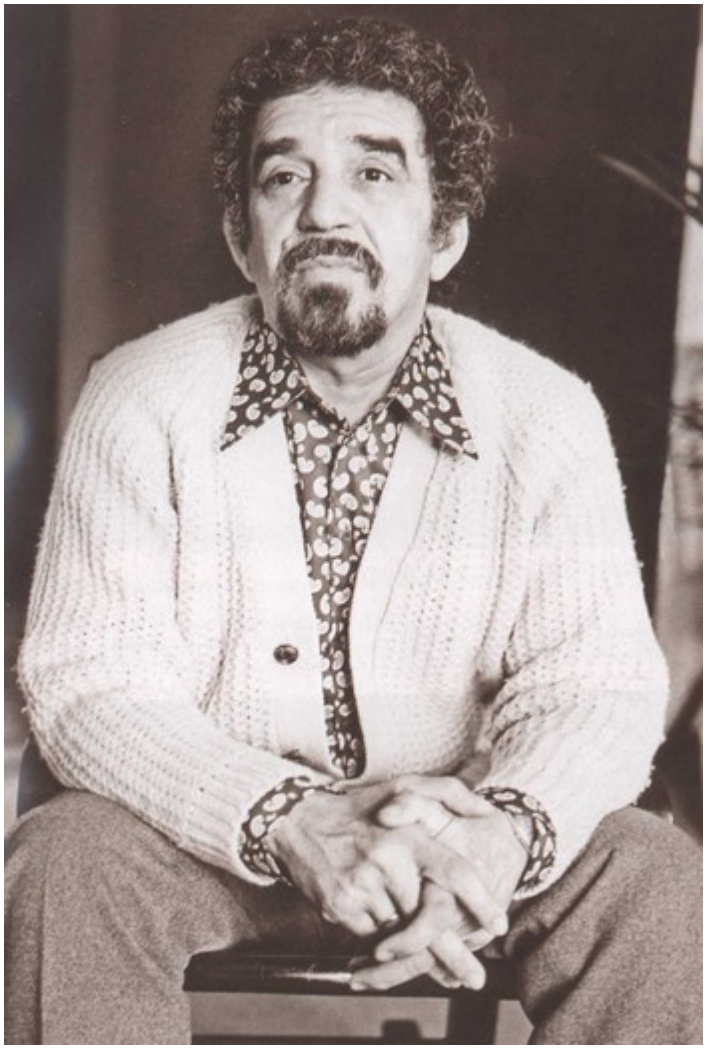
- С. А. Марков Гарсиа Маркес
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - Глава первая КОРНИ РЕАЛЬНОСТИ
    - Глава вторая
    - Глава третья
    - Глава четвёртая
    - Глава пятая
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПОСЛЕ «СТА ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА»
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
    - Глава четвёртая

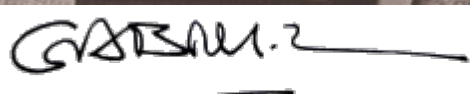
        - Глава пятая
        - Глава шестая
    - ВМЕСТО ЭПИЛОГА
    - ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
    - ИЛЛЮСТРАЦИИ
    - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГАБРИЕЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА
    - КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- notes
    - 1
    - 2
    - 3

С. А. Марков Гарсиа Маркес

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ДО «СТА ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА»

Глава первая КОРНИ РЕАЛЬНОСТИ





Пройдут годы, и Габриель Гарсиа Маркес, облачённый в белоснежный костюм ликилики, сидя в стокгольмском Концертном зале в преддверии вручения королём Швеции Нобелевской премии по литературе, вспомнит тот далёкий вечер, когда дед взял его с собой посмотреть на лёд…

Начинать книгу о создателе одного из величайших романов

всех времён — «Сто лет одиночества» — следовало бы величественным слогом. Но отважусь начать со скромного интервью, которое автору этих строк довелось взять у классика ещё в середине 80-х годов XX века в «Каса де лас Америка» — «Доме Америк» в Гаване.

У каждого поколения свой писатель. У нас, родившихся в середине 1950-х, учившихся в 60-х и 70-х, — это Гарсиа Маркес. На наши университетские годы пришёлся пик его безумной популярности в СССР. И мне кажется, что книга может быть занимательна именно взглядом не литературоведа, не критика (латиноамериканистами-маркесоведами написаны тома!), а журналиста, представителя поколения далёкой заснеженной России за «железным занавесом», на которое творчество колумбийского гения оказало ошеломляющее влияние. Будто накрыло колоссальной, многоцветной фосфоресцирующей, полной причудливых кораллов, раковин, золотых рыбок, обломков кораблекрушений, пиратских сокровищ океанской волной и повлекло в неведомую, с незапамятных времён манившую даль…

Я буду говорить о моём Маркесе.

Габриель Гарсиа Маркес возглавлял жюри кинофестиваля в Гаване. На коктейле в «Доме Америк» меня познакомила с ним доминиканка Минерва Таварес Мирабаль, или Мину, филолог, внучка мультимиллионерши, дочь известных коммунистов, репрессированных диктатором Доминиканской Республики Трухильо. (Помимо Гарсиа Маркеса Мину была близко знакома с Кортасаром, Фуэнтесом, Бенедетти и другими выдающимися латиноамериканскими писателями.)

— Надеюсь, ты всерьёз не воспринимаешь кошмарный бред, который несут гаванские диссиденты про его связи с КГБ? — уточнила она.

— Я слышал, но не очень понял. А что, есть основания подозревать?

— И здесь, на Кубе, и в других странах Латинской Америки, даже в его родной Колумбии ходят слухи, будто много лет назад в Москве его завербовал КГБ, сделал своим агентом влияния.

— А что, неплохой заголовок: «Гарсиа Маркес — агент КГБ». Запад перепечатает как пить дать!

— Идиот. Надеюсь, не будет вопросов по поводу того, что Фидель платит Габо советскими нефтедолларами?

— Клянусь! А почему ты называешь его Габо?

— Его все так зовут, как Чарли, Пеле… Пошли, а то он имеет обыкновение исчезать и тебе надо будет ловить его уже где-нибудь в Японии. Hola! — приветствуя, двукратно расцеловалась

Мину с небожителем. — Я прочитала в интервью с тобой, что на дне залива твоей Картахены золота столько, что хватило бы на оплату долга всей Латинской Америки, а то и мира. Кому долг, Габо?

— На этот вопрос мы все и пытаемся ответить! — рассмеялся Гарсиа Маркес, напомнив артиста Армена Джигарханяна — не столько южными чертами, сколько взглядом, то цепким, прощупывающим, прочитывающим тебя, то отсутствующим, словно ты уже прочитан, как книга, и интерес утрачен.

Загодя Мину предупредила меня, что это «никакое не интервью, он по двадцать, а то и пятьдесят тысяч долларов взимает за получасовое интервью», и вообще о его неоднозначном отношении к репортёрам. (Сам журналист, добившись всемирной популярности, сопоставимой с популярностью того же Чаплина, Пресли, «The Beatles», писатель Гарсиа Маркес, может быть, из-за беспардонности вездесущих папарацци, «жёлтой» прессы или в струе самолично продуманной PR-кампании, немыслимой без загадочности, — журналистов жаловать перестал.) На всякий случай я представился сценаристом, что было в общем-то правдой: с режиссёром Тенгизом Семёновым (за сериал «Неизвестная война» награждённым высшей в СССР Ленинской премией) мы снимали в Гаване документальный фильм «Взошла и выросла Свобода» к 25-летию кубинской революции, я обеспечивал сценарий и дикторский текст.

— Так выпьем за вашу картину, коллега! — сказал Гарсиа Маркес и чокнулся с нами стаканом с «мохито». — На здоровье! Правильно?

— Не совсем, — напряжённо улыбнулся я, понимая, что начинаю общение с банальности и что молодая, фотомодельной внешности, выше его на полголовы, с цветком в распущенных волосах, в платье с декольте, благоухающая таинственными духами Мину интересует его куда больше, нежели какой-то журналист. — Все иностранцы так говорят.

— А как же правильно? — осведомился Гарсиа Маркес, обсуждая с Мину вопрос, касающийся феминистского движения, я разобрал лишь его фразу: «Если во что-то вовлечена женщина, то всё будет хорошо, мне совершенно ясно, что женщины правят миром». — Так как же по-русски? — снисходительно вновь обратился он ко мне.

— За ваше здоровье. Или — будем здоровы.

— Вспомнил! — улыбнулся Гарсиа Маркес. — Меня уже поправляли — на Фестивале молодёжи в Москве. Скажу вам, сногсшибательной красоты у вас женщины! Клянусь, не считая Санто-Доминго, — подмигнул он Мину, — я таких красавиц, как в

Союзе, не видел! — он похлопал по плечу подошедшего министра кинематографии Кубы Гевару и рассмеялся в тяжёлые, густые, чёрные с проседью усы.

— Габо, я вот подумала, — сказала Мину, — если бы я взялась писать о тебе книгу, то не смогла бы выстроить определённую концепцию. А у биографической книги, как учат в университете, должна быть концепция.

— Вас так учат? — переспросил Гарсиа Маркес. — Мне кажется, если нет её, определённой, — улыбнулся он всеохватывающе, позируя фотокамерам, — то и подгонять не надо. Какая, скажи мне, концепция у Амазонки? Или у вашей Волги? Или даже у такой речушки, как наша Магдалена. Течёт себе…

Облачённый в дорогой клетчатый приталенный пиджак, с шёлковым шарфом на шее, с чуть удлинёнными волосами, выглядел Гарсиа Маркес самоуверенно и импозантно. Я сказал, что мы в Союзе зачитываемся его произведениями и мне бы хотелось взять у него интервью. В его многозначно-многоцветной улыбке промелькнуло: «Полноте, чико, я столько этих интервью дал в разных странах, что не помню, что кому, где и зачем говорил!» Но он не отказал. Тактично сославшись на безмерную, по горло (взял себя за кадык) занятость, пообещал выкроить немного времени.

— Может, в Мехико послезавтра? — спросил. — Я там посвободнее. А о чём, собственно, интервью? Лучше вон напишите о Геваре, не об этом, хотя этот тоже достоин, а о том, — кивнул он на портрет Че Гевары. — Участь революционера-авангардиста возвышенна и печальна… Кубинские пионеры дают клятву: «Будь, как Че!» Кстати, вчера в школе мне задали вопрос: «Как стать писателем?» Как стать таким, как Че, — вот в чём вопрос!

То и дело отвлекали сценаристы, режиссёры, актёры и особенно актрисы, коих представлен был ярчайший латиноамериканский букет. Улучив момент и отклеившись от толпы, он стал рассказывать нам с Мину, как впервые побывал в СССР.

— Давно это было, — сняв очки, массивные, будто с другого, более крупного лица, вытерев костяшкой указательного пальца слезинку у переносицы, вздохнул он. — Я писал об этом, я ведь тоже журналист, — напомнил чуть кокетливо. — Но мою заметку об СССР у вас, по-моему, так и не напечатали. Помню, долго тащились из Праги, в поезде было жарко, душно… Темнело. Мой приятель Плинио опустил раму окна и позвал меня — указывая на купол церкви с неземным, малиново-лиловым отблеском уже

севшего за лес солнца. Поезд остановился. Возле железнодорожного полотна вдруг открылся люк в земле — и прямо из подсолнухов, как в сказке или в цирке, появились солдаты с автоматами, которыми вооружена наша колумбийская наркомафия. Я так и не узнал, куда вёл этот люк. Возможно, там была тайная подземная казарма, бункер… Не верите? — спросил он, заметив улыбку, которую я не смог сдержать. — Солдаты удостоверились, что никто не спрятался под вагонами. Два офицера поднялись проверить паспорта и фестивальную аккредитацию и пристально нас разглядывали, сверяя надбровные дуги, брови, расстояние между глазами и сами глаза, носы, губы, подбородки, овалы лиц. У меня отросли волосы с того момента, как фотографировался, и это вызвало неудовольствие. Мой приятель вынужден был снять, надеть, снова снять очки и чуть улыбнуться, глупая вышла улыбочка, но на фотографии у него была улыбка, и это тоже вызвало раздражение пограничников. Первый населённый пункт в СССР, где мы остановились, был Чоп. Симпатичная русоволосая девушка в форме сообщила, что можно погулять по городу, так как поезд на Москву отправится через несколько часов. В центральном зале вокзала по обе стороны от входа стояли недавно окрашенные серебряной краской статуи Ленина и Сталина в полный рост. Русский алфавит таков, что, казалось, буквы на объявлениях разваливаются на части, и это производило впечатление разрухи… Помню, несколько человек с чемоданами и сумками ожидали своей очереди за единственным стаканом перед тележкой с газированной водой. Деревенская атмосфера, провинциальная скудость напоминали наши колумбийские деревни. Это как бы подтверждало мне, проехавшему в общей сложности пятнадцать тысяч километров от Боготы к востоку, что земной шар на самом деле ещё более круглый, чем мы думаем. Но вот что сразу обратило на себя внимание, так это то, что у вас ни одного нищего, попрошайки, коих полным-полно у нас. Такое складывалось впечатление в СССР, что все всё время что-то едят… До сих помню вкус квашеной капусты, малосольных огурцов, сала, чем так здорово закусывать водочку! (Так и сказал: «vodochka». — *С. М.)*

Слушая Гарсиа Маркеса, я озирался по сторонам и не мог поверить в реальность происходящего. Казалось, это и есть фантастический реализм: стою с самым знаменитым в мире писателем второй половины XX века!

— С детства на меня завораживающе действовали большие числа, — продолжал Гарсиа Маркес. — Но тогда потрясло всё, что у вас связано с километрами, часами, вообще измерениями, —

будто они другие, нежели во всём мире, фантастические! Из Владивостока — на побережье нашего, омывающего и Колумбию Тихого океана — по понедельникам отправляется скорый поезд, в Москву он прибывает в воскресенье вечером, преодолев пространство, равное расстоянию от экватора до полюса. Когда на Чукотском полуострове пять часов утра, на Байкале — полночь, а в Москве ещё семь часов вечера предыдущего дня! Этот ваш Советский Союз — шестая часть Земли, с двумястами миллионами человек, говорящих на ста пяти языках, — потряс всех нас! Двадцать два миллиона четыреста тысяч квадратных километров без единой рекламы кока-колы! И с одним-единственным подпольным борделем!

— Вы были в советском борделе?!

— Это не самое яркое из впечатлений. Было другое: гангстер, насильник, — понизив голос, сообщил писатель. И, взглянув заговорщицки из-под кустистых бровей, коснувшись усов, шёпотом добавил: — Серийный убийца, маньяк… Он не мог заснуть, не лишив кого-нибудь невинности, как древний китайский император. Нас вообще интересовал секс, мы были наслышаны о свободной любви революции…

На этом месте автор вынужден прервать своеобычный рассказ о поездке в СССР и обратиться к истокам, корням происхождения самого Гарсиа Маркеса. Для чего понадобится краткая предыстория.

С Гаваны я начал не для того, чтобы покрасоваться со стаканом коктейля рядом с классиком и красавицей-мулаткой на фоне океана, королевских пальм и очаровательных обшарпанных небоскрёбов 20–30-х годов XX столетия. Дело в том, что Куба, Фидель Кастро, Че Гевара (следовательно, и СССР, Россия) сыграли в судьбе колумбийского гения не до конца объяснимую, едва ли не мистическую, решающую роль. (И это обстоятельство стало одной из основных тем нашего исследования, которое можно было бы озаглавить, например, и так: «О Маркесе — из России с любовью».)

Габриель Хосе Гарсиа Маркес родился с открытыми глазами в захолустном городишке Аракатака 6 марта 1928 года (получается, что он однолеток с Эрнесто Рафаэлем Геварой Линчем де ла Серна — Че Геварой). Это по одной из версий. По другой — родиться в 1928 году он не мог, потому что в церковной книге прихода Сан-Хосе (Аракатака) 8 сентября 1928 года зафиксировано рождение его младшего брата Луиса Энрике (№ 11, лист 96, пометка 192). Скорее всего, родился будущий писатель 6 марта 1927 года (запись того же прихода — № 12,

лист 126, пометка 324). И на последней версии всю жизнь упорно настаивал его отец. (Откроем тайну: истинная дата рождения мальчика была сокрыта родителями, ибо будущий отец познал его будущую мать до венчания.)

Впрочем, в Латинской Америке, как мы поняли, в том числе и благодаря творчеству родившегося в Аракатаке то ли в 1928-м, то ли в 1927-м, — возможно всё. Факт тот, что сначала нашему герою сопутствовал магический реализм, а также факт, что особую роль в его судьбе играла цифра 7: в 1947 году опубликован первый рассказ, в 1967-м — «Сто лет одиночества»…

Рождению тому предшествовала вереница удивительных событий. Началось с того, что в полдень 19 октября 1908 года полковник Николас Маркес, будущий дед Габриеля, застрелил своего друга Медардо Пачеко Ромеро. Впрочем, началось всё раньше.

Итак, читатель, наберись терпения в блужданиях даже не по генеалогическому древу, а по настоящим джунглям родословной нашего героя. Конечно, можно было бы и обойти эти джунгли стороной. Но без плутания в них, без попытки выбраться совместными усилиями, рассказ о Гарсиа Маркесе был бы неполным. Тем более что и сам наш герой в своих произведениях залучает, заманивает, заводит в эти джунгли, в которых корни не только предков самого писателя, но и всех его героев.

Впервые на землю Нового Света нога предков писателя ступила в семь часов утра 7 июля 1820 года. Это была изящная ножка прелестной тринадцатилетней особы по имени Хуанита, прибывшей в Колумбию из провинции Астурия, что на севере Испании, в Кантабрийских горах у Бискайского залива. Сойдя с корабля, девушка поцеловала крестик и помолилась Спасителю и Пресвятой Деве Марии. (Все или почти все предки нашего героя — ревностные христиане-католики, это играет немаловажную роль в дальнейшем повествовании.) Поначалу семья обосновалась в городке контрабандистов и торговцев наркотиками Риоача, уездном центре провинции Гуахира (незадолго до описываемых событий из тех мест были окончательно выкурены и выкорчеваны аборигены — индейцы-гуахирос).

Юная красавица из Астурии оказалась ветреной особой, на её счету, согласно преданиям, десятки разбитых мужских сердец. В промежутках между бурными, порой и с кровавой развязкой романами (а в зрелые годы она, будучи по характеру матриархальной, устроила у себя настоящий мужской гарем, одновременно даря любовь и умудрённым опытом мачо, и пылким безусым юнцам) «бесовка Хуанита» рожала. История умалчивает о том, сколько было у неё детей. Известно, что один

из сыновей отправился в поисках удачи вглубь материка, в Аргентину (гипотетически, кстати, Гарсиа Маркес и Че Гевара могли быть братьями — дед матери будущего великого «революционера-авангардиста» также из Астурии), а другой, Николас де Кармен Маркес Эрнандес, остался в Гуахире, где 7 февраля 1864 года у него родился сын (один из многих сыновей и дочерей, законных и незаконных). Назвали его (будущего деда великого писателя) также Николасом. А неистовая Хуанита напоследок родила от некоего юного красавца-креола ещё и дочку, которой пятнадцать лет спустя суждено было произвести на свет девочку, которую назвали Транкилиной.

Маленького Николаса с его братьями и сёстрами воспитывала их бабушка по материнской линии Хосефа Франсиска Видал. Окончив начальную школу и будучи не в состоянии продолжать учёбу, так как родителям нечем было за неё платить, Николас, испробовав много профессий, поучаствовав даже в локальной гражданской войне, в возрасте семнадцати лет вернулся в Риоачу, где стал обучаться у отца их фамильному ювелирному ремеслу. В этом деле он немало преуспел, его изделия стали охотно покупать. Как преуспел и в деле другом: через два года после возвращения он стал отцом двоих детей, Хосе Мария и Карлоса Альберто. Их мать, Альтаграсия Вальдебланкес, принадлежала к одному из самых влиятельных и богатых родов Гуахиры. Была она привлекательной, эксцентричной и гораздо старше Николаса. История умалчивает о причине, по которой они не поженились. Оба сына носили фамилию матери и были воспитаны в строгих католических традициях и консервативном духе — на либеральные убеждения юного папаши в семье внимания не обращали.

Наряду с фамилией и имуществом дети в Колумбии наследовали и политические пристрастия и убеждения родителей. Сыновья либерала Николаса Маркеса, воспитанные в семье матери, выросли, естественно, убеждёнными приверженцами консерватизма. (Забегая вперёд скажем, что двадцать лет спустя, в 1898–1901 годах, во время Тысячедневной войны между сторонниками консервативной и либеральной партий сыновья сражались против либералов, то есть против своего отца. Карлос Альберто геройски погиб в бою, его брат Хосе Мария выступал парламентарием — с завязанными глазами на муле его подвезли к командующему либералами Рафаэлю Урибе-Урибе, и заместитель командующего, полковник Маркес, вёл переговоры о перемирии со своим сыном.)

К двадцати одному году, когда Николас женился, были у него и другие внебрачные дети. То ли чарами мужскими, то ли своими

золотыми и серебряными рыбками, но он соблазнил свою кузину Транкилину Игуаран Котес, также происходившую из зажиточной семьи, стоявшую выше его по положению, но незаконнорожденную, что в определённом смысле молодых уравнивало. И вот внук с внучкой «беспутной авантюристки Хуаниты» обвенчались (то есть, как мы понимаем, отец жениха и мать невесты являлись единоутробными братом и сестрой). В этом браке безусловен привкус инцеста. В то время в Европе и во всём остальном цивилизованном мире это уже осуждалось, но в Латинской Америке было едва ли не обыденностью. Заметим, что инцест — как проклятие — станет впоследствии одной из важнейших тем творчества внука Транкилины и Николаса — Габриеля Гарсиа Маркеса. Славный род Буэндиа — стержневой род романа «Сто лет одиночества» — пресёкся именно инцестом.

«…Обрезав ребёнку пуповину, акушерка принялась стирать тряпкой синий налёт, покрывавший всё его тельце, Аурелиано светил ей лампой. Только когда младенца перевернули на живот, они заметили у него нечто такое, чего нет у остальных людей, и наклонились посмотреть. Это был свиной хвостик…»

Итак, двоюродные брат с сестрой поженились. Николас отличался непоседливым, неуёмным и вздорным характером, но характер жены, по одной из версий, казался под стать её имени Транкилина (в переводе с испанского — спокойная, тихая, безмятежная) — и они жили в общем-то по латиноамериканским меркам, душа в душу, посещая церковь и соблюдая основополагающие христианские заповеди.

Быть может, на каком-то подсознательном уровне, страшась проклятия инцеста, Николас Маркес неустанно делал побочных детей. Притом с первых месяцев счастливой семейной жизни. Вскоре после свадьбы, оставив беременную Транкилину, он уехал со своим дядей Хосе Марией Видалом на заработки в Панаму, которая тогда была частью Колумбии. Где незамедлительно сделал с помощью тамошней красавицы Исабель Руис (она станет его любовью на всю жизнь) ещё одного бастарда — дочь Марию. Отметив рождение дочери, Николас поспешил домой — незадолго до этого родился его законный сын Хуан де Диос. Так он и жил, с трудом поспевая на роды или крестины своих детей по всей Северной Колумбии, а нередко его и не ставили в известность. Из всех незаконных детей Николаса Маркеса наиболее преуспел в жизни его первенец, старший сын Хосе Мария Вальдебланкес — впоследствии герой войны, юрист, крупный политический деятель Колумбии. Жена Транкилина родила Николасу ещё двух дочерей — Маргариту и Луису, появившуюся на свет, когда семья из Риоачи перебралась в

Барранкас, некогда крупное богатое шахтёрское село, к началу XX столетия почти заброшенное.

Земли вокруг Барранкаса были дёшевы. Приобретя ферму на склоне Сьерры, потом ещё одну, на берегах реки Ранчерия, Николас осуществил давнишнюю мечту — стал землевладельцем. На фермах выращивались табак, кукуруза, фасоль, сахарный тростник, кофе, бананы. Не бедствовали. Поэтому будущий дед писателя мог не отказывать себе в излюбленном занятии — с девушками, молодыми и уже зрелыми женщинами всевозможных цветов и оттенков кожи, волос, глаз, разной комплекции делать детей. Транкилина относилась к этой слабости мужа якобы с сочувствием.

В 1898 году началась Тысячедневная война между либералами и консерваторами. Николас Рикардо Маркес Мехия командовал отрядом из полутысячи сторонников либерализма, за отвагу был награждён медалью. В 1900-м он получил звание полковника, которым гордился и до конца дней носил погоны. После кровопролитной братоубийственной войны, окончившейся, как обычно в Латинской Америке, ничем, Николас Маркес с семьёй переехал в опустевшее село Барранкас. Там, поселившись в большом доме и ожидая военной пенсии, которая была обещана ветеранам войны, Маркес работал ювелиром: его золотые запонки, фигурки животных, браслеты, кольца, цепочки, брелоки пользовались спросом. И также, как герой повести «Полковнику никто не пишет», хранил достоинство, посещал петушиные бои и вспоминал былое.

«Ещё бы не вспоминать! — шестьдесят пять лет спустя, в разгар работы над романом „Сто лет одиночества“, будет рассказывать своему „официальному“ биографу, британскому профессору Джеральду Мартину (автору книги „Габриель Гарсиа Маркес. Жизнь“) его внук, журналист и писатель Гарсиа Маркес. — В ту войну было убито с обеих сторон, по одним данным, девяносто, а по другим, более достоверным, более ста двадцати тысяч колумбийцев! Сын стрелял в отца, брат резал брата!..»

Итак, в шахтёрском селе Барранкас 25 июля 1905 года родилась дочь полковника, Луиса Сантьяга Маркес Игуаран, будущая мать будущего классика. И вскоре там произошёл роковой поединок между недавними товарищами по оружию. Прозвучал выстрел, десятилетия спустя отозвавшийся эхом в мировой литературе.

Версия официальная (укоренённая в сознании читателей самим Гарсиа Маркесом в интервью, рассказах и романах).

Незаконнорожденный сын Медарды Ромеро и Николаса Пачеко, Медардо Пачеко Ромеро, был майором, воевал под командованием деда писателя, Николаса Маркеса, они были близкими друзьями. Когда Медардо приехал в Барранкас, Николас Маркес помог ему обустроиться, одолжил денег. Частенько за стаканчиком рома или виски «бойцы вспоминали минувшие дни», играли на бильярде, ловили рыбу, охотились. Но вдруг по округе стали распространяться слухи, что Медарда, красивая мать майора, спит с женатыми мужчинами. Как-то под вечер, прогуливаясь с друзьями по площади перед церковью, Николас Маркес краем уха услышал эти сплетни и воскликнул: «Неужели правда? Быть того не может!» Но «доброжелатели» передали майору, будто полковник Маркес при всех назвал мать Медардо шлюхой.

Женщина оскорбилась и потребовала, чтобы сын вступился за её попранную честь. Сын, не поверив слухам, отказался вызывать друга на дуэль. Мать настаивала. «Знаешь, сыночек, — говорила она, — лучше уж надень мою юбку, а я натяну твои штаны! Потому что вырастила я на свою беду не мужика, а бабу!» Не снеся оскорблений, Медардо обрушился на друга, а закончил словами: «У тебя, Маркес, и во время войны был поганый и слишком длинный язык! Ты — чёрное пятно, позор нашей либеральной партии и мог только баб трахать!» Молча выслушав, полковник Маркес ответил бывшему сослуживцу: «Ты всё сказал, Медардо? Так вот знай: я не курица, которая кудахтает где попало. Настоящий мужчина не стал бы трепать языком и незаслуженно оскорблять других».

Но майор Медардо, науськиваемый матерью, оскорблял и задирал полковника Маркеса где только мог: на площади, на петушиных боях, в кабаке, даже в церкви. Будущий дед будущего автора повести «Полковнику никто не пишет» проявлял редкостную для колумбийского ветерана выдержку. За несколько месяцев полковник аккуратно выполнил все заказы на ювелирные украшения. Отдал долги. Не торгуясь, продал дом с садом. Передал ювелирную мастерскую помощнику. И тогда внешне спокойно, уверенно пошёл и объявил майору Медардо, чтобы тот не выходил из дома невооружённым, «ибо настал час пулями решить дело чести».

С утра 19 октября 1908 года, в день Святой Девы Пилар, покровительницы Барранкаса, шёл ливень. Взяв зонт, майор Медардо отправился в поле накосить мулам и овцам свежей травы. На пути в переулке его поджидал бывший однополчанин. Когда майор был шагах в тридцати, полковник окликнул его: «Медардо, я завершил свои дела и готов. Ты при оружии?»

Медардо Пачеко бросил охапку мокрой травы, зонт и вытащил из кобуры револьвер «кольт», а Маркес всё это время, не менее пяти секунд, как потом скажут очевидцы, выжидал. Но едва лишь майор Медардо со словами «Я вооружён и готов отстрелить тебе яйца, карахо!» прицелился, полковник Маркес дважды выстрелил: одна пуля попала майору в грудь, другая в голову, и он упал замертво. На выстрелы из ближнего дома выбежали люди. «Убийца!» — закричала женщина. «Да, я убил его, — констатировал полковник. — Пулей чести». После этого он направился домой, рассказал жене о том, что случилось, и потом пошёл в полицию. Там он сообщил: «Это я застрелил Медардо Пачеко Ромеро. Если он воскреснет, я убью его снова».

Большинство жителей Барранкаса, в течение полугода бывшие свидетелями оскорблений полковника Маркеса, восприняли убийство Медардо едва ли не как должное. Кое-кто вспоминал, что в минуты откровений полковник признавался, что до последнего надеялся на Провидение, которое избавит его от необходимости отомстить бывшему другу. Даже родной дядя убитого, единственный полицейский в округе, с револьвером охранял камеру, в которой сидел Маркес, чтобы другие родственники во главе с неистовствующей матерью Медардо не устроили суд Линча. А тем временем дед убитого, генерал Франсиско Хавьер Ромеро, даже прятал у себя в доме будущую бабушку будущего писателя и её троих детей, в том числе трёхлетнюю Луису Сантьягу Маркес Игуаран, будущую мать Габриеля, родившуюся 25 июля 1905 года. (И это, учитывая, что в конце XIX — начале XX столетия в Колумбии была ещё весьма популярна кровная месть, вендетта, завезённая из Испании и Италии, уже здорово отдаёт магическим реализмом.)

В тюрьме Барранкаса полковник Маркес просидел неделю. Глава поселения отправил его в тюрьму соседнего города Риоача, но и там ему угрожал суд Линча родственников убитого. Маркеса выслали в далёкий городок Санта-Марта, а через несколько недель морем туда тайно прибыли и его жена с детьми. Однако оскорблённая и неутешная мать убитого и там их выследила…

Стоит заметить, что сам Гарсиа Маркес на протяжении жизни многажды пересказывал историю дуэли в различных вариациях. Но всегда был на стороне любимого деда-полковника, не допуская и мысли, что в чём-то тот мог быть не прав. А что, если предположить, будто действительно там, перед церковью, Николас Маркес, возможно, пропустив лишку рома, просто под настроение или сам не желая того, оскорбил мать своего бывшего товарища по оружию, назвав шлюхой? И если это так, то вся история как бы выворачивается наизнанку. Но тут уж, как говорят

англичане, *it's my country, write or wrong.* Это моя страна, права она или нет, мои корни, мои предки… По-видимому, такая исходная позиция — непреложное условие писателя, тем более в начале пути. Одно из немногих исключений — наш Чаадаев, но он, во-первых, не писатель, философ, а во-вторых, скверно кончил.

«Если он воскреснет, я убью его снова». Ничего христианского нет в этих словах. В романе «Сто лет одиночества», держа в руке пику, скажет подобное один из главных героев — Хосе Аркадио Буэндиа.

«…И таким образом жизнь их шла по-прежнему еще полгода, до того злосчастного воскресного дня, когда петух Хосе Аркадио Буэндиа одержал победу над петухом Пруденсио Агиляра. Взбешённый проигрышем и возбуждённый видом крови, Пруденсио Агиляр нарочно отошёл подальше от Хосе Аркадио Буэндиа, чтобы все, кто находился в помещении, услышали его слова. „Поздравляю тебя, — крикнул он. — Может, этот петух осчастливит наконец твою ненасытную жёнушку! Поглядим!"

Хосе Аркадио Буэндиа с невозмутимым видом поднял с земли своего петуха.

— Я сейчас приду, — сказал он, обращаясь ко всем. Потом повернулся к Пруденсио Агиляру: — А ты иди домой и возьми оружие, потому что я тебя буду убивать.

Через десять минут он возвратился с толстым копьём, принадлежавшим ещё его деду. В дверях сарая для петушиных боёв, где собралось почти полселения, стоял Пруденсио Агиляр. Он не успел защититься. Копьё Хосе Аркадио Буэндиа, брошенное с чудовищной силой и с той безукоризненной меткостью, благодаря которой первый Аурелиано Буэндиа в свое время истребил всех ягуаров в округе, пронзило ему горло. <…>

В народе это событие истолковали как поединок чести, но в душах обоих супругов остались угрызения совести. Однажды ночью Урсуле не спалось, она вышла попить воды и во дворе около большого глиняного кувшина увидела Пруденсио Агиляра. Смертельно бледный и очень печальный, он пытался заткнуть куском пакли кровавую рану в горле. При виде мертвеца Урсула почувствовала не страх, а жалость. Она вернулась в комнату, чтобы рассказать мужу о случившемся, но тот не придал её словам никакого значения. „Мёртвые не выходят из могил, — сказал он. — Всё дело в том, что нас мучит совесть". Две ночи спустя Урсула встретила Пруденсио Агиляра в купальне — он смывал паклей запекшуюся на шее кровь…»

Всю жизнь его будет преследовать призрак убиенного Пруденсио — как в реальной жизни самого полковника Маркеса преследовал призрак Медардо Пачеко. «Ты, Габито, даже

представить не можешь, — скажет он семилетнему внуку Габриелю, — чего стоит убить человека!»

Итак, довольно поскитавшись по стране, от Тихого океана до Карибского моря, от Западной Кордильеры до Сьерра-Невады-де-Санта-Марты, бабушка и дед будущего писателя в августе 1910 года обосновались в селении Аракатака. В том районе на северо-востоке Колумбии начиналась «банановая лихорадка» — американская корпорация «United Fruit Company» проводила экспансию, скупая и осваивая новые и новые территории под плантации бананов. С конца 10-х годов XX века до середины 20-х туда за шальными, как казалось, и огромными деньгами приезжали тысячи людей!..

Иные версии.

«Удивительно, но когда я посетил Барранкас в 1993 году, то есть восемьдесят пять лет спустя, о той истории ещё многие помнили, — рассказывает биограф Гарсиа Маркеса, профессор Мартин, в своей книге. — Версий много. Одно известно доподлинно: в понедельник девятнадцатого октября 1908 года, в последний день праздничной недели Пресвятой Девы Пилар, когда под дождём процессия жителей Барранкаса проносила по улицам статую Мадонны к церкви, полковник Маркес, респектабельный политик, землевладелец, застрелил молодого человека по имени Медардо. Он был племянником близкого друга полковника Маркеса, генерала Франсиско Ромеро. Никто не стал бы спорить с тем неопровержимым фактом, что полковник Николас Маркес был великим бабником, не пропускал ни одной юбки. И это, с одной стороны, не вязалось с его репутацией набожного, респектабельного человека, прекрасного семьянина, дорожившего честью и благополучием своей семьи. Но, с другой стороны, нельзя забывать о том, что латиноамериканское общество всегда как бы сквозь пальцы, с негласным, а порой и гласным одобрением и даже с восхищением относилось к похождениям настоящих мачо. Главное было — соблюсти внешние условия приличия. И не болтать».

Наиболее убедительная и правдоподобная версия прозвучала из уст Филемона Эстрады, родившегося в тот год, когда это произошло, и выслушавшего за свою жизнь сотни свидетельств. «Я застал его уже слепым, но с ясной памятью, как это бывает у стариков, — рассказывал профессор Мартин. — Он подтвердил, что Николас был отцом множества незаконных детей, постоянно стремился их делать и его не остановило ни то, что Медарда Ромеро была сестрой его старинного друга, генерала Ромеро, ни то, что она была хоть и хороша собой, но не очень молода, имела взрослого сына, воевавшего под началом полковника. Однажды

вечером в бодеге на площади после нескольких стаканов полковник Маркес стал во всеуслышание хвастаться, что спит с нею. Слухи распространились по Барранкасу. Одни осуждали саму Медарду, другие — жену полковника Транкилину. „Оскорбления смываются кровью!“ — заявила Медарда своему сыну. Молодой Медардо во время войны зарекомендовал себя великолепным стрелком, отважным воином. Он уважал полковника, но мать наседала, требуя возмездия за оскорбление её чести, и молодой человек однажды не выдержал и бросил Маркесу вызов, который тот воспринял неожиданно болезненно и даже при всех дал молодому человеку пощёчину. В день престольного праздника Медардо, в белоснежном костюме и шляпе, красивый, молодой, на которого заглядывались все девушки селения, подъехал к церкви и спрыгнул с коня. В одной руке у него был большой букет полевых цветов, в другой — зажжённая свеча, когда полковник крикнул ему: „Оружие при тебе?“ Медардо ответил, что нет. Тогда полковник вытащил пистолет и выстрелил в него два раза. Так рассказывали многие очевидцы. Старуха, жившая в соседнем доме, вышла на звуки стрельбы и, увидев, что произошло, сказала полковнику: „Всё-таки ты убил его“. — „Справедливость всегда торжествует“, — небрежно ответил полковник. После этого, — продолжал свой рассказ Филемон Эстрада, — Николас Маркес с ещё дымящимся пистолетом в одной руке и с зонтом в другой спокойно пересёк улицу, перепрыгнул через ограду и удалился. Его посадили в тюрьму. Но его сын, молодой адвокат Хосе Мария Вальдебланкес, вскоре вызволил полковника оттуда. Главным аргументом защиты на процессе был следующий: „Медардо — незаконнорожденный, и точно неизвестно даже, как его фамилия, Пачеко или Ромеро, а следовательно, неизвестно и кто именно был убит возле церкви! — заявлял незаконнорожденный Хосе Мария Вальдебланкес. — Так что до выяснения обстоятельств дела арестованного необходимо освободить“. И его отца отпустили».

А вот Ана Риос, дочь компаньона Николаса Маркеса, Эугенио, была уверена, что к трагедии приложила руку жена полковника, Транкилина, которая на самом деле оказалась не такой уж и транкила, спокойной и безмятежной. Ана рассказывала, что Транкилина была ревнива, зная о многочисленных связях мужа, переживала, особенно если об этом становилось известно посторонним. На какие только ухищрения она не пускалась: и речной водой омывала порог дома, и лимонным соком опрыскивала комнаты, и к колдуньям обращалась… Медарда была вдовой, а вдовы в небольших городках и селениях являлись

предметом особого внимания и сплетен. К тому же Медарда была моложе, хороша собой и богата — Транкилина почувствовала реальную опасность для своей семьи. Кто-то, не исключено, что и она, распускал слухи, что Медарда «слаба на передок и всем даёт». Потеряв терпение, Транкилина заплатила мальчику, чтобы звонил на башне в колокола, вышла на улицу и закричала: «Пожар! Медарда горит!» И через несколько секунд из дома вдовы выскочил Николас, застёгивая на бегу штаны.

Транкилина сделала всё, чтобы мужа не линчевали, а когда суд приговорил его к одному году тюрьмы — чтобы досрочно выпустили. Некоторые говорят, что за свою свободу полковник Маркес расплатился золотыми рыбками, которые изготавливал в тюрьме.

Отец будущего нобелевского лауреата, Габриель Элихио Гарсиа Мартинес, родился 1 декабря 1901 года в небольшом городке Синсе. Он был внебрачным сыном Габриеля Мартинеса Гарридо и четырнадцатилетней Архемиры Гарсиа Патернины, родители которой также приехали из Испании. Дед Архемиры, Педро Гарсиа Гордон, появился на свет в Мадриде, какими-то судьбами оказался в Колумбии, где в 1834 году у него родился сын Аминабад Гарсиа, который был женат трижды, притом каждая жена значительно моложе предыдущей и рожала по крайней мере троих детей, чаще девочек. Аминабад признавал всех. Но больше других он любил свою беспутную и очаровательную Архемиру, родившуюся в сентябре 1887 года от четвёртой жены, Марии де лос Анхелес Патернины, которая была моложе его на двадцать с лишним лет.

Высокая, скульптурная, светлокожая, русоволосая Архемира ни разу официально не выходила замуж, но имела огромное количество любовных связей и рожала почти каждый год от разных мужчин, чаще не зная, да и не задумываясь над тем, кто отец того или другого ребёнка. Но всю жизнь она не могла забыть своего первого мужчину, того, который сделал её женщиной, — учителя Габриеля Мартинеса Гарридо. Получивший прекрасное гуманитарное образование, наследник крупных землевладельцев-консерваторов, воспитанный в строгих католических традициях, но слишком эксцентричный и необыкновенно влюбчивый, Габриель имел связи с сотнями девушек и женщин и пустил на ветер львиную долю своего наследства. В двадцать семь лет, будучи официально женатым отцом пятерых детей, после воскресной службы в церкви в душистых зарослях рододендронов он познал прелестную тринадцатилетнюю непорочную деву по имени Архемира, которая родила ему бастарда — Габриеля

Элихио Гарсиа Мартинеса, будущего отца нашего героя. (Полным именем Габриеля Элихио не называли — то, что опускалось имя Мартинес, было пожизненным напоминанием о незаконнорождённости.)

«Теперь я понимаю, что Архемира была удивительная женщина, — вспоминал Гарсиа Маркес. — Я не знал человека более свободных нравов. У неё всегда была готова постель для какой-нибудь, даже незнакомой пары голубков. И был свой моральный кодекс, было плевать на то, что подумают другие. Некоторые из её сыновей, мои дядья, были младше меня, и я играл с ними, мы вместе всюду бегали, охотились на птиц и всё такое… Да, в то время землевладельцы совращали или насиловали тринадцатилетних девочек, а потом их бросали. Мой отец, став взрослым, однажды вернулся в родной город. Его матери было уже за сорок, и он пришёл в ярость, увидев, что она снова беременна. А она рассмеялась и сказала: „Ну и что? А ты, по-твоему, как на свет появился, мой мальчик?“».

Никогда не видевший своего любвеобильного отца, Габриель Элихио вместе с братьями и сёстрами рос в бедности, больше напоминавшей нищету. Благодаря природному уму и великолепной памяти он сумел получить неплохое образование, звание бакалавра, несколько лет учился на стоматолога в университете Картахены. (По мнению Лихии Гарсиа Маркес, сестры писателя, их будущему отцу, тогда молодому красавцу, соблазнившему университетскую преподавательницу, просто разрешили посещать занятия, но он вынужден был зарабатывать на жизнь, трудясь то землекопом, то ремонтником дорог, то телеграфистом, не оставляя при этом гомеопатии, которую считал призванием.)

В селении Ачи, куда привела его специальность телеграфиста, которую освоил самостоятельно, по книгам, он соблазнил дочь аптекаря и стал отцом первого своего внебрачного ребёнка. В соседнем Айяпели рьяный телеграфист соблазнил ещё нескольких девушек и уже собирался жениться на одной из них, но разубедил двоюродный брат Карлос Энрикес Пареха (через двадцать с лишним лет на факультете права Государственного университета Боготы он будет преподавателем Габриеля Гарсиа Маркеса). Скрываясь от рассерчавших родственников забеременевшей невесты, Габриель Элихио перебрался в Аракатаку, где устроился работать церковным музыкантом (был талантливым скрипачом, под исполняемый им сладостно-горький вальс из Американской Золотой эры «После бала» было пролито немало девичьих слёз). «Пустили козла в огород», — говорили люди. Он совратил по крайней мере пятерых

хорошеньких девушек-хористок, которые, однажды застав Габриеля занимающимся любовью с какой-то приезжей прямо в алтаре, его крепко поколотили.

В церкви он познакомился и с Луисой Сантьяга Маркес Игуаран, законнорожденной дочерью почитаемого в городе полковника и искусного ювелира Николаса Маркеса. И влюбился в неё, образованную красавицу (Луиса окончила религиозную школу городка Санта-Марта, где монахини учили её не только грамотно писать, но и истории, астрономии, правилам хорошего тона), с первого взгляда.

«Я приветствовал её лёгким пожатием руки, — вспоминал сам Габриель Элихио. — Она ответила мне тем же и, чуть заметно улыбаясь глазами, протянула мне коробку с разными сладостями, которые привезла для меня. Вокруг были люди. Она не сказала мне ни слова, но по взгляду, по улыбке, по тому, как дрожали её руки, я понял, что я ей небезразличен».

Украдкой она сообщила Габриелю, что на следующий день после вечерней мессы будет ждать его в церкви. И, уйдя из дома тайком от своей тётушки Франсиски Симодосеи Мехии, с трудом дождалась окончания мессы. Он сразу, едва они встретились, спросил: «Вы пойдёте за меня замуж?» — «Замуж за вас? — переспросила, опешив, Луиса. — Сомневаюсь, все говорят, что вы ветреник, у вас в задней комнате постель для любовниц».

Отец не хотел расставаться с любимой дочерью, третьей и последней из законнорожденных. Узнав о сделанном предложении, он категорически запретил Габриелю к ним приходить и разослал повсюду гонцов, чтобы те собрали о нём все сплетни и слухи, которых было множество, в особенности касаемо его амурных похождений. Но Луису это не отпугнуло. Молодые переписывались и встречались — на главной площади Аракатаки, в аптеке, в лавке, в церкви, в кинотеатре, на берегу реки Магдалены… Габриель был упорен и храбр: по вечерам он играл на скрипке «После бала» и пел серенады под окнами возлюбленной, боясь схлопотать пулю от её отца. В апреле 1925 года родители решили, что расстояние способно излечить девушку от любви, и отец отправил её с матерью и одной из служанок в Санта-Марту с тем, чтобы они подолгу гостили в городках и селениях у многочисленных друзей отца, и путешествие продлилось целый год. Но будущий отец нашего героя не отступал. Он договорился с коллегами-телеграфистами населённых пунктов, где останавливалась Луиса, и засыпал её пылкими любовными посланиями по телеграфу и почте.

А когда теплоход, на котором приплыли мать с дочерью и служанкой, пришвартовался к пристани в Санта-Марте, первым,

кого они увидели на берегу, был Габриель Элихио во фраке и с громадным букетом роз. В бело-розовом платье, с развевающимися на ветру лентами в волосах, Луиса, казалось, от счастья готова была чайкой полететь над волнами. Осознав, что многомесячное путешествие не излечило дочь от любви, а, напротив, до предела обострило чувство, мать, оставив Луису с её старшим братом, отправилась обратно в Аракатаку, чтобы вместе с мужем принять окончательное решение.

Санта-Марта — небольшой городок со множеством церквей. Влюблённая девушка посещала все мессы, делилась переполнявшими её чувствами с подругами, с которыми некогда училась, с монахинями местного монастыря. На исповеди она обо всём рассказала викарию Педро Эспехо, который прежде был священником в Аракатаке и ещё со времён Тысячедневной войны дружил с полковником Маркесом. Проникшись, святой отец дал самые положительные отзывы о Габриеле Элихио Гарсиа Мартинесе, притом неоднократно. Одно из писем сохранилось в церкви Санта-Марты — оно напоминает советские характеристики для выезда за границу, где рефреном утверждалось: «Морально устойчив, политически грамотен…» «Да он просто святой у тебя, девочка! — улыбался викарий. — Таким и должен быть истинный мормон!»

Обвенчал их Педро Эспехо в семь (запомним!) часов утра 11 июня 1926 года в кафедральном соборе Санта-Марты, на свадьбе присутствовали соученицы невесты и несколько монахинь. В первую же брачную ночь и был зачат будущий нобелевский лауреат. (Кстати, любопытный и неисследованный доселе исторический факт: среди выдающихся личностей немало зачатых именно в первую брачную ночь, например Александр Македонский.) Вскоре молодожёны переехали в Риоачу, куда перевёлся Габриель Гарсиа. Известие о том, что Луиса беременна, слегка растопило лёд отношений с её родителями. Молодым стали приходить посылки со сладостями и детской одеждой. Но на предложения переехать в дом полковника Габриель неизменно отвечал отказом. И лишь когда стало известно, что тёща из-за этой ситуации серьёзно заболела и слегла, гордый телеграфист дал согласие на то, чтобы рожать супруга поехала к своим родителям в Аракатаку.

Городок Аракатака располагался между бескрайней равниной и горами Сьерра-Невада, громоздкий тяжёлый абрис которых зловеще нависал в непогоду. Основали Аракатаку воинственные индейцы-араваки, чимиласы. Их вождь носил имя *Cataca, ara* в переводе «река, вода», и селение назвали *Aracataka,* что означает

«источник прозрачных вод». В 1887 году плантаторы из Санта-Марты завезли в эти места новую сельскохозяйственную культуру — банановое дерево. Североамериканская компания «United Fruit Company», имевшая головной офис в Бостоне, обосновалась здесь в 1905 году. И с тех пор в Аракатаку потянулся на заработки люд — качакос, как в Колумбии называют коренных жителей Боготы, работники из Венесуэлы, Европы, с Ближнего Востока… Аракатака быстро превратилась в процветающий, завидный край.

Полковнику Николасу Маркесу помог обосноваться в этих местах владелец обширных плантаций генерал Хосе Росарто Дуран, под началом которого воевал Маркес. Несмотря на то что будущий дед писателя незадолго до того вышел из тюрьмы, где сидел за убийство, он получил хорошую должность в муниципалитете, был казначеем, потом налоговым инспектором района. (Местные говорят, за бесценок взял помещение в районе Катакита и сдал в аренду «под танцевальный зал и сексуальные удовольствия».) В августе 1910 года в Аракатаку прибыло и семейство полковника — донна Транкилина, трое детей — Хуан де Диос, Маргарита, Луиса, незаконная дочь Эльвира Риос, сестра полковника Франсиска, а также трое слуг-индейцев.

Вскоре, 31 декабря (впоследствии никогда этот предновогодний день не будет считаться в семье праздником) произошла трагедия. От тифа в возрасте двадцати одного года умерла любимица отца, златокудрая красавица Маргарита. Суеверные католики, домашние расценили безвременную смерть как Божью кару за содеянное Николасом в Барранкасе. По преданию, перед смертью Маргарита поднялась на постели и сказала отцу: «Погаснут глаза твоего дома».

…Итак, было девять утра. Решивший, что «проиграно сражение, но не война» и мечтавший о законном внуке, полковник Маркес «в самый тяжёлый момент», как признает потом Луиса, отправился на мессу. Под грохот грозы, чрезвычайно редкой для этого времени года, в девять часов семь минут родился мальчик весом четыре килограмма двести граммов, с открытыми глазами. И огляделся. Удушаемый пуповиной, задыхаясь, побагровел, посинел, и если бы тётя Франсиска не протёрла тельце ромом и не обрызгала его изо рта освящённой водой, то человечество бы никогда не прочитало роман «Сто лет одиночества». А ещё, если бы сеньора Хуана Фрейтес, бежавшая со своим мужем генералом Маркосом Фрейтесом от диктатуры Висенте Гомеса из Венесуэлы в Колумбию, в Аракатаку, и принимавшая у Луисы роды, в последний момент не успела перерезать пуповину (а если бы не диктатура?). Но клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства,

осталась у Гарсиа Маркеса с рождения на всю жизнь, в чём он признавался друзьям.

Жизнь человека, особенно гения, полна счастливых случайностей (по крайней мере представляющихся таковыми). И в жизни нашего героя эта стала первой. Ибо доктора утверждают, что тяжёлая внутриутробная гипоксия плода — глубокое и длительное кислородное голодание мозга, возникшее при рождении в результате тугого обвития пуповины вокруг шеи, могло вызвать различные последствия для развития ребёнка, в том числе необратимые. И это грозило серьёзным отставанием в физическом и умственном развитии — нарушением памяти, сообразительности, координации, двигательной активности… У такого ребёнка могла быть нарушена связь на уровне контакта с миром.

Полковник Маркес бурно отмечал рождение внука, на которого не мог насмотреться. «Мой маленький Наполеон, — с нежностью называл его старый солдат, не знавший слов любви. — Он завоюет мир, вот увидите».

Рождение малыша и его чудесное спасение (неизвестно, что больше) помирило два поколения семьи: полковник Маркес специально отправился в Риоачу и, попросив прощения у зятя, протянул ему руку — тот руку в ответ пожал, но, как выяснилось, до конца простить полковника так и не смог. Ребёнка назвали в честь отца Габриелем. Недолго побыв с малышом Габито в Аракатаке, Габриель-старший, оставив службу телеграфиста, вместе с женой (хотя ребёнка ещё несколько месяцев надлежало кормить грудью) переехал в Барранкилью, где появилась возможность осуществить мечту — открыть гомеопатическую аптеку. Габриель, оставшись с дедом и бабушкой, стал для них не столько внуком, сколько собственным ребёнком. (Хотя неизбывное чувство своей ненужности, одиночества поселится в его душе с самого детства.) Родители навещали своего первенца. Сам он поехал с бабушкой Транкилиной в Барранкилью в середине ноября 1929 года, когда родилась его сестрёнка Марго (первые годы после замужества Луиса рожала так часто, как только позволяла женская физиология, в Колумбии, во всей Латинской Америке это было принято). Тогда будущего писателя больше всего удивили уличные светофоры, повелевающие автомобилями и пешеходами. Когда через год он приехал с бабушкой по случаю рождения второй его сестры, Аиды Росы (которая со временем уйдёт в монахини), то его потряс самолёт, заходивший на посадку над городом, прямо над крышами домов. Тогда же он впервые услышал фамилию Боливар — отмечалась столетняя годовщина смерти героя. Но встреч с родителями

мальчик не запомнил.

Первая встреча с мамой, сохранившаяся в памяти, произошла в 20-х числах июля 1930 года, когда она приехала в Аракатаку, чтобы присутствовать на крестинах своих детей — Габриеля, которому было уже почти три с лишним года, и Марго. Гарсиа Маркес так описывает эту встречу: «Я вошёл. Мама сидела на стуле в гостиной дома в Аракатаке. На ней было розовое платье с подкладными плечами по тогдашней моде и зелёная шляпка. Мне сказали: „Поздоровайся со своей мамой“. И я помню, что меня очень удивило, что это моя мама. С той минуты я её и помню».

Отца он впервые увидел 1 декабря 1934 года, также в доме деда. «Это был красивый мужчина, смуглый, темноволосый, в дорогом белоснежном костюме и канотье, необыкновенно весёлый и остроумный», — вспоминал Гарсиа Маркес.

В Аракатаке, где в доме у деда, Николаса Маркеса, и бабушки, Транкилины Игуаран Котес, жил маленький Габриель, и дед учил его складывать буквы в слова (полковник Маркес рано научил внука читать и писать), бушевала «банановая лихорадка». Туда, мечтая разбогатеть, приезжали тысячи людей. Притом не только колумбийцы, но и американцы, и мексиканцы, и кубинцы, и аргентинцы, и венесуэльцы, и испанцы, и греки, и французы, и арабы, и даже русские. Население Аракатаки и соседних Пуэбло-Вьехо и Сьенаги выросло во много раз. Сами посёлки поделились на три зоны. Первая — пыльная, зловонная, задыхающаяся в зное, облепленная мухами, заполненная пришлыми бедными мужчинами и женщинами — «мусором», «палой листвой». Вторая — с крепкими просторными домами местной аристократии, окружёнными ухоженными садами, и даже с автомобилями у подъездов. И третья — новая, построенная гринго, как в Латинской Америке называют североамериканцев, по другую сторону железной дороги для руководства и менеджеров «United Fruit Company». Виллы и коттеджи, финки по-испански, круглые сутки охраняемые рослыми чернокожими американскими охранниками, с огромными, в стену, окнами, мраморными лестницами, балконами, террасами, садовыми скульптурами, подсвечивающимися по вечерам голубыми и аквамариновыми бассейнами с фонтанчиками, в которых плескались красивые блондинки, с идеально подстриженными английскими газонами, клумбами с невиданными цветами, теннисными кортами…

В романе «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркес назовёт эту третью зону «электрифицированным курятником». Его всегда занимала более зона первая. И это принципиально, стратегически важно. Уже в детстве подсознательно выбиралась дорога на всю жизнь. Судьба, а может быть, «чувство пути», которому Александр

Блок придавал решающее значение в судьбе художника, направила его к «палой листве», как он и назовёт свою первую зрелую повесть. Зона с голубыми бассейнами и загорающими на лужайках блондинками в ярких купальниках выглядела, конечно, привлекательнее. (И всю жизнь она будет привлекать Гарсиа Маркеса, о чём поразмышляем позже, — повзрослев, он значительные усилия потратит на то, чтобы проникнуть в эту самую «зону» — и в Мехико, и в Барселоне.) Но художник взрос именно на «палой листве», среди униженных и оскорблённых, на дне — в противном случае сформировался бы, может быть, не Гарсиа Маркес, а Скотт Фицджеральд, например, главной темой творчества которого были богатые, «не такие, как обычные люди».

«И вдруг точно вихрь взвился посреди селения — налетела банановая компания, неся палую листву. Листва была взбаламученная, буйная — человеческий и вещественный сор чужих мест, опаль гражданской войны, которая, отдаляясь, казалась всё более неправдоподобной. <…> И этот хлам под ударами шального порывистого ветра стремительно сметался в кучи, обособлялся и наконец превратился в улочку с рекой на одном конце и огороженным кладбищем на другом, в особый, сборный посёлок, состоявший из отбросов других селений».

Это из авторского предисловия к повести «Палая листва». Аракатаку заполонили пьянство и распутство — действовали десятки кабаков и борделей, в которых трудились сотни жриц любви. В азартные игры проигрывались состояния. Процветали колдовство, чёрная магия вуду. Когда Габриелю не исполнилось ещё двух лет, «палая листва», рабочие «United Fruit Company» устроили невиданную по размаху забастовку, охватившую и Аракатаку. После подавления забастовки генерал-консерватор, сам назначивший себя и генерал-губернатором, Карлос Кортес Варгас заявил в своём «Декрете № 4», что в результате расстрела рабочих, собравшихся на станции Сьенага с тем, чтобы отправиться в город Санта-Марту с ультиматумом правительству, было убито всего девять человек. По другим сведениям, было застрелено и заколото штыками около тысячи. Но в действительности тогда погибло более трёх тысяч человек. В ту же ночь трупы погрузили в товарные вагоны, прицепили три паровоза, спереди, посередине и сзади, вывезли к морю, погрузили на баржи и, привязывая камни к трупам, выбрасывали в воду. Это было тяжёлой работой, до утра трудились несколько сотен чернокожих, в их числе и представители «палой листвы». Трупы шли ко дну, а некоторые погодя всплывали — и ещё месяц плавала зловонная вздувшаяся «палая листва» по Карибскому морю, пока не была доедена рыбами, птицами и морскими

гадами. Земле по христианскому обычаю не был предан ни один из забастовщиков.

После расстрела и подавления забастовки «место прежних полицейских заняли наемные убийцы с мачете, — читаем в романе „Сто лет одиночества“. — Запершись в мастерской, полковник Аурелиано Буэндиа размышлял над этими переменами, и впервые за все долгие годы своего молчаливого одиночества он почувствовал мучительную и твёрдую уверенность в том, что с его стороны было ошибкой не довести войну до решительного конца. Как раз в один из этих дней брат уже давно забытого всеми полковника Магнифико Висбаля подошёл вместе с семилетним внуком к одному из лотков на площади, чтобы выпить лимонаду. Ребёнок случайно пролил напиток на мундир оказавшегося поблизости капрала полиции, и тогда этот варвар своим острым мачете изрубил мальчика в куски и одним ударом отсёк голову его деду, пытавшемуся спасти внука. Весь город смотрел на обезглавленное тело старика, когда несколько мужчин несли его домой, на голову, которую какая-то женщина держала в руке за волосы, и на окровавленный мешок с останками ребёнка».

— …Но такого не могло быть, Мину! — воскликнул я, когда мы с Минервой (которая, напомню, представила меня Гарсиа Маркесу и много рассказывала о нём не хрестоматийного), дискутируя на тему реальности и вымысла в латиноамериканской прозе, брели по узким тёмным улочкам старой Гаваны к Кафедральной площади.

— Это у вас на родине Ленина не могло! — возразила она. — Ты послушай, чему я однажды сама была свидетельницей в богатом пригороде Санто-Доминго, где жила у бабушки. Мужчины в бильярдной выпивали, смеялись, играли, я была там со своим старшим братом. Вдруг чернокожий мальчик, совсем маленький, может быть, лет семи, мой ровесник, ворвался в бильярдную, схватил со стола шар из слоновой кости и выбежал. Шар стоил денег, он мог бы на них поесть. Мужчины бросились в погоню, просто так, для забавы, ведь были и запасные шары. Мальчик бежал кромкой моря, его преследовали с криками, с хохотом. Брат тоже бежал за воришкой и потом говорил бабушке, что не видел, кто нанёс мальчику первый удар мачете. Удар несильный, неопасный. Но знаешь, как ведут себя акулы, когда чуют кровь? Кто-то нанёс второй, третий удар… Его гнали, улюлюкали, догоняли и кололи, кололи… Это была охота на человека, на ребёнка! В пьяном экстазе они прогнали его по берегу около двух километров и нанесли более пятидесяти ран! Он упал замертво. А они, взяв шар, бросили рядом несколько

монет, родственникам мальчика, чтобы «не вопили», и, делясь друг с другом впечатлениями о том, кто куда пырнул мальчика, не спеша отправились назад в бильярдную доигрывать партию!.. А ты говоришь — не могло быть!

Подавление забастовки было оплачено долларами «Мамаши Юнай». Вскоре разразился мировой кризис 1929 года, нанёсший мощный удар по «United Fruit Company». А в октябре 1932 года произошёл «библейский потоп», небывалое в истории страны наводнение, ставшее Божиим наказанием, как тогда говорили: катастрофические убытки вынудили корпорацию вовсе уйти из Колумбии, погибла, лишилась крова и погрязшая в мыслимых и немыслимых пороках «палая листва». (Тот многодневный ливень Гарсиа Маркес будет не раз описывать, в частности, в рассказе «Монолог Исабели, которая смотрит на дождь в Макондо», а в романе «Сто лет одиночества» ливень продлится четыре года, одиннадцать месяцев и два дня.)

Но «электрифицированный курятник», конечно, бередил мальчишеское воображение — туда внука водил дед-полковник. Потрясающее впечатление на шестилетнего Габито произвело появление на пыльной разбитой улице Аракатаки ослепительного кабриолета, за рулём которого сидела фантастической красоты дама из «электрифицированного курятника». Рядом с ней гордо восседал огромный красавец-дог. Дед с внуком — пожилой и маленький мужчины — замерли с открытыми от восхищения ртами и стояли так, пока кабриолет, неспешно, величественно и волнующе покачиваясь, не скрылся за поворотом.

Много лет спустя писатель признается в одном из интервью, что лица той незнакомки в автомобиле, конечно, не запомнил, но во всех героинях его произведений есть её частица, её отсвет. Быть может, в тот самый момент в мальчике начало просыпаться мужское естество, которое со временем породит бурный поток, неиссякаемый, захлёстывающий, накрывающий читателя с головой водопад ни с чем не сравнимой маркесовской эротики. В романе «Сто лет одиночества» то мальчишеское потрясение воплотится в образ американки Патриции, будто унесённой, растаявшей, исчезнувшей, как и всё, таинственно и бесследно. Почти. После потопа, после гибельного ветра «сохранилось лишь одно-единственное свидетельство того, что здесь некогда жили люди, — перчатка, забытая Патрицией Браун в автомобиле, увитом анютиными глазками».

Запомнился на всю жизнь и богатый итальянский коммивояжёр Антонио Даконте Фама, ставший прообразом Пьетро Креспи. Как и многие предприниматели Америки и Европы, итальянец приехал в Аракатаку заработать на «банановой

лихорадке». Энергичный, темпераментный, весёлый и находчивый неаполитанец буквально заполонил собою городок. Он имел отменный тенор, играл на пианоле и устраивал концерты, давал уроки изысканных итальянских танцев, показывал немое кино, привезённое из Италии, открыл пункт проката диковинных в ту пору велосипедов, организовал продажи по всему северо-востоку Колумбии граммофонов, невиданных ещё радиоприёмников, швейных машинок и проч. и проч.

О любовных похождениях итальянца Антонио ходили легенды — говорили, что он «пользовал всё, что шевелится», притом ни одна из женщин, будь она свободной или замужней, почему-то не могла ему отказать, рано или поздно он добивался своего. (В деревне на Волге, где вырос автор этих строк, когда-то снимали советско-итальянский фильм «Подсолнухи» с Софи Лорен, и на деревенских танцах появился такой же Антонио, то ли осветитель, то ли помощник режиссёра, кудрявый, темноглазый, не знающий ни слова по-нашему, и точь-в-точь как в Аракатаке, в деревне Новомелково ни одна не смогла устоять перед жгучим итальянцем — как много всё-таки общего у нас с колумбийцами!) Неоднократно в Аракатаке жизнь «макаронника» подвергалась реальной опасности, дважды он был ранен ревнивыми мужьями, его даже пытались кастрировать мачете, но он отстоял своё мужское достоинство, ударом граммофона по голове уложив ревнивца на месте. Жил он сразу с двумя молодыми женщинами, родными сёстрами, высокой голубоглазой блондинкой и пышногрудой брюнеткой. И ему беспрерывно приходилось ремонтировать их трёхспальную семейную кровать, поломанную в бурных ночных баталиях. Сёстры между собой жили дружно и рожали Даконте Фаме детей, нередко в один день, но одна — исключительно девочек, другая — только мальчиков. (В Аракатаке по сей день много Даконте.)

Долго ещё после того, как неаполитанец уехал из Аракатаки, ходили слухи, что в доме, в котором он жил с красавицами-сёстрами, водятся призраки, домовые и другая нечисть. В детстве Габито с друзьями Луисом и Франко пробирались сквозь заросли запущенного сада и подглядывали за нечистью, по ночам заполнявшей огромный тёмный дом, бесившейся, глумившейся над здравым смыслом и на постели вытворявшей такое, что вгоняло мальчишек в краску, будоражило воображение и рождало безумные мечты.

Запомнился будущему писателю и дон Эмилио, то ли француз, то ли бельгиец, приехавший после Первой мировой войны, израненный, на костылях, краснодеревщик, ювелир, обучивший полковника ювелирному искусству и по вечерам

обыгрывавший его в шахматы и карты. Как-то раз дон Эмилио отправился в кинотеатр «Олимпия» посмотреть кинокартину «На Западном фронте без перемен», а придя домой, отравился. «Деду сообщили о самоубийстве, когда мы вышли из церкви после воскресной мессы, — вспоминал Гарсиа Маркес. — Он потащил меня к дому бельгийца, где уже ждали мэр и полиция. Я сразу ощутил стоявший в неприбранной комнате резкий запах горького миндаля — от цианида, который он вдыхал, чтобы покончить с собой… Дед откинул одеяло. Труп был голый, застывший, скрюченный, кожа — бесцветная, с каким-то желтоватым налётом, водянистые глаза глядели на меня, как живые. Бабушка, увидев моё лицо, когда я вернулся домой, предрекла: „Несчастное дитя уже никогда не сможет спать мирным сном“».

Дед души не чаял в своём внуке, ежемесячно отмечал, созывая гостей, дату его рождения, брал с собой на прогулки и в поездки. Внук уважал деда — прежде всего за то, что дед в отличие от других мужчин Аракатаки всегда строго, а то и торжественно одевался, и от него всегда хорошо пахло дорогим заграничным одеколоном.

Запахи в детстве играют особую роль. Об этом пишет Толстой в «Детстве», «Отрочестве», «Юности». Этому уделяет внимание Набоков в автобиографической книге «Другие берега». А *alter ego* Хемингуэя (творчество которого оказало прямое воздействие на формирование героя нашей книги) — Ник Адамс из-за неприятного запаха вообще чуть не пристрелил собственного отца. Позволим себе процитировать один из любимых Гарсиа Маркесом рассказов Хемингуэя «Отцы и дети» (тем более что прослеживается много общего во «взаимоотношениях с корнями» у обоих нобелевских лауреатов, североамериканского и южноамериканского, о чём мы ещё поразмышляем):

«В морозы борода у отца покрывалась инеем, а в жаркую погоду он сильно потел… Когда отец заставил его надеть бельё, он сказал отцу, в чём дело, но отец ответил, что бельё только что из стирки. Так оно и было. Ник попросил отца понюхать, он сердито понюхал и сказал, что бельё чистое и свежее. Когда Ник вернулся с рыбной ловли и сказал, что потерял бельё, его высекли за то, что он говорит неправду.

После этого, зарядив ружьё, он долго сидел у отворённой двери дровяного сарая и, взведя курок, смотрел на отца…»

Дед всегда был опрятен, брился дважды в день… Вообще у будущего великого писателя был необыкновенный дед. Этот вопрос — шаг через поколение, связь между дедами и внуками, порой гораздо более прочная и плодоносная, чем между отцами и

детьми, — ещё не изучен ни наукой, ни литературой. Не написан роман «Деды и внуки». А между тем именно через поколение передаётся то, что принято называть талантом, а на детях талантливых людей, как считают некоторые, природа отдыхает.

Полковник Маркес был среднего роста, широкоплеч, крепок, энергичен и подвижен (несмотря на недюжинный живот), с седой, волнистой, густой до конца дней шевелюрой. У него были сильные волосатые руки, мощная загорелая шея боксёра и высокий лоб мыслителя, что подчёркивали очки в оригинальной золотой оправе собственного изготовления. Смотрел он сквозь стёкла очков одним глазом — второй потерял из-за глаукомы, хотя внук долгое время был уверен, что из-за того, будто дедушка однажды слишком долго смотрел на белого коня, которого хотел купить, а денег не было. Говорил полковник, внимательно выслушав собеседника, не спеша, веско, взвешивая и нагружая каждое слово и каждую фразу, пустот и случайностей в его красиво интонированной речи не было, сказанное попадало в цель. Человечество делится на тех, кто слушает, и тех, кого слушают, притом даруется это, как правило, от Бога, а даже самые усердные занятия риторикой мало что могут изменить. Дед писателя принадлежал, безусловно, к последним: он говорил так, что его слушали и не перебивали. Ещё ценили в нём щепетильность, собранность, организованность, верность слову и гражданскому долгу. Всецело ему доверяя, жители избрали его казначеем муниципалитета Аракатаки.

«Несмотря на жару, — вспоминал Гарсиа Маркес, — дед носил пиджак, притом тёмный, и галстук. По праздникам он облачался в костюм-тройку. Не новые, но начищенные до неимоверного блеска башмаки сияли на солнце. В жилетном кармашке у него всегда лежали золотые часы с массивной цепочкой, которые он время от времени извлекал, чтобы взглянуть, притом делал это с таким видом, будто собирался на важный приём, и только мне иногда позволял подержаться за цепочку». Дед знал толк в напитках и еде, ел много и с аппетитом, не ограничивая себя, и иногда сам готовил, проявляя врождённый и благоприобретённый дар кулинара с богатой фантазией и склонностью к экспериментам. Но больше всего грузный гурман-полковник любил женщин, притом всяких — разноцветных, разнокалиберных, от молоденьких до зрелых, хотя всегда отдавал всё же предпочтение особам детородного возраста. По официальным (сильно заниженным, по мнению писателя) данным, у деда было то ли девятнадцать, то ли двадцать два внебрачных ребёнка, притом старшие по возрасту сами годились младшим чуть ли не в деды. Его жена Транкилина, или Мина, как

её называли, относилась к этому, повторим, философски, даже с юмором, и любила без разбора всех детей. Когда на Рождество или на Пасху в дом полковника съезжались многочисленные отпрыски и дым шёл коромыслом, Транкилина радовалась, будто все они были её родными детьми, и порой полушутя, полусерьёзно удивлялась: и как она сумела столько нарожать, притом нередко с перерывом всего в несколько недель? (Многочисленных незаконнорождённых детей полковника Буэндиа в романе «Сто лет одиночества» Урсула Игуаран также будет принимать как родных, и они будут чувствовать себя в доме полковника как дома.)

Но всё-таки главным отпрыском, если можно так выразиться, главной надеждой полковника Маркеса почему-то с самого рождения, с момента, когда в страшную жару появился на свет удушаемый пуповиной и чудом выжил, — стал большеглазый внук Габриель. С раннего детства у него была привычка быстро-быстро моргать, когда слушал, будто таким образом силился получше запомнить то, что говорят люди. (Обеспокоенная бабушка Транкилина и тётушки даже лечили мальчика от этого «недуга» настоями из горных трав и цветов.) Маленький Габито не просто слушал рассказы деда, но всем крохотным существом своим впитывал их, точно губка солёные йодистые волны Карибского моря, помнящие тысячи великих открытий, побед, кораблекрушений.

«Если хочешь стать настоящим мужчиной, богатым и знаменитым, не позволяй солнцу застать тебя в постели!» — рано утром будил внука дед.

Несмотря на возражения бабушки и всего «бабьего царства» (которое, конечно, наложило отпечаток на характер будущего писателя, всю жизнь он зависим от женщин), полковник всюду «таскал» мальчика с собой. У них были свои постоянные маршруты по городу. Они проходили по бульвару, по улице Турков, мимо аптеки Барбосы, мимо церкви Святого Иакова и Святой Троицы (Габито часто в ней бывал, прислуживал при алтаре), пересекали площадь Боливара. Иногда заходили в магазин свежемороженой рыбы, где маленький Гарсиа Маркес впервые в жизни коснулся льда пальцами и отдёрнул руку, показалось, что обжёгся. («И потом, приступая к роману, — вспоминал писатель, — сочиняя первую фразу, я вспомнил то первое моё впечатление: лёд в самом горячем городе мира волшебен».) По четвергам заглядывали на почту, где полковник осведомлялся, нет ли новостей по поводу обещанной правительством пенсии ветеранам войны, закончившейся четверть века назад, и нет ли писем, — но полковнику не писал

никто (за исключением его сына Хуана де Диоса).

Дед брал Габито с собой и рассказывал, рассказывал, спасаясь от собственного одиночества. Он рассказывал об открытиях, о войнах, о величайшем патриоте, освободителе Латинской Америки Симоне Боливаре, умершем в Колумбии в имении «Сан-Педро-Алехандрино» близ Санта-Марты, неподалёку от Аракатаки, где они жили; дед с внуком неоднократно совершали путешествия на место смерти Боливара, чтобы отдать должное его памяти. Дед воспитывал внука патриотом — несмотря на всё то, что недодала полковнику (которому «никто не пишет») родина. Патриотическое воспитание — как ни пафосно звучит — важнейшая составляющая будущего художника, базис, без которого надстройка в виде книг, картин, симфоний, памятников, прочих произведений хлипка, неглубока и несамостоятельна.

Дед с внуком совершали дальние походы через нескончаемые банановые плантации в тропические леса, где всё было внове, многое вызывало в мальчике восторг или ужас, как, например, встреча с очковым медведем. Дед знал названия великого множества трав, цветов, кустов, деревьев, зверей, насекомых, птиц, среди которых одних только колибри сотни видов! И дедовские уроки потом очень пригодились в работе журналисту и писателю. (А чрезвычайной красоты птичка из рода кетсалей — соледад, что в переводе означает «одиночество», стала самым счастливым в истории литературы талисманом.) Поднимались они с дедом в предгорья и даже в горы Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, где находится самый высокий пик страны — Кристобаль-Колон (5760 метров) и с которых открывались захватывающие мальчишеский дух ослепительные панорамы. Особенно любил маленький Габито ходить с дедом к водопадам и купаться в ледяной воде истоков реки Аракатаки. Там дед рассказывал, как во время войны они форсировали реку и утонуло множество людей и коней. Дед научил внука нырять и плавать сажёнками. Дед преподал внуку первые уроки выдержки, воли, мужества. Однажды под вечер, когда дед отошёл, Габито сам решил плыть по течению, покуда хватит сил. Он плыл и плыл, плыл и плыл. Смеркалось. А он плыл и плыл, чтобы доказать, что тоже на что-то способен. Плыл и плыл. Стемнело. Устал, силился, но не мог выбраться на берег, течение уносило всё дальше и дальше. И, когда отчаявшись, помолившись Деве Марии и Господу, он простился с жизнью, на стремнине в валунах его выловил за ногу дед.

— Не сдавайся, — говорил полковник у костра. — Что бы ни случилось — не сдавайся. Знай, что в этом мире ты должен всего добиваться сам, тебе никто не поможет, когда не будет деда. Будь

мужественным. Бейся до конца. И помни: никогда не поздно начать сначала.

Просушив одежды, они продолжали путь — дед и внук, две фигуры в тумане, большая и маленькая, друг на друга похожие. И мужчины разговаривали друг с другом.

Габриель обожал своего полковника. Старался быть таким же уверенным в себе, бесстрашным и бывалым. Мечтал иметь револьвер, чтобы на ночь класть его под подушку, как дед. Копировал походку, старался много и смачно есть, пить из родника ломящую зубы воду, ругаться, мочиться, широко расставив ноги, степенно говорить, внезапно посреди рассказа, будто вспомнив о чём-то, задумчиво умолкать, как бывало это с дедом, хотя и не имел представления, о чём надо задумываться. Когда Габито ещё не умел читать, дед читал ему вслух «Легенды и мифы» Древней Греции и даже древнегреческие трагедии, хотя бабушка и все домашние уверяли, что ещё рано, малыш ничего не поймёт и только напугается. «Мой внук всё поймёт и ничего не напугается», — уверял полковник.

Дед преподал Габито основы всемирной истории, географии, ботаники, зоологии, арифметики, астрономии, грамматики, литературы… Мальчик, в свою очередь, порой задавал такие вопросы, что даже обширной дедовской эрудиции не хватало, и полковник оказывался в затруднительном положении. С дедом маленький Габито пришёл впервые в жизни в кино и, потрясённый, умолил не уходить, пока не пройдут все три фильма программы; Габо был в полнейшем восторге и с тех пор полюбил кино на всю жизнь. «Мы с дедом не пропускали ни одной картины, особенно запомнился „Дракула“, — вспоминал Гарсиа Маркес. — Проверяя, внимательно ли я смотрел и всё ли понял, он заставлял меня пересказывать сюжет».

По воле судьбы будущий писатель ребёнком впервые принял участие в политической жизни, точнее сказать, в физическом противодействии властям. Колумбия тогда, в начале 1930-х годов, находилась в состоянии войны с Перу из-за спорных приграничных территорий, и государственные чиновники военного ведомства по распоряжению президента экспроприировали у населения деньги и драгоценности «на победу». В доме старого полковника они забрали всё, что представляло для них хоть какой-то интерес. А когда чиновники и солдаты попытались отобрать у бабушки и деда их обручальные кольца, Габриель, не думая о том, чем ему это грозит (могли и пристрелить, как щенка), бросился на экспроприаторов с кулаками — и получил удар прикладом по уху, после чего ненадолго оглох. Бабушка его водила к знахарю, лечила своими

снадобьями из корней и трав и некоторое время боялась выпускать его из их огромного дома, который Габито беспрестанно изучал, как книгу.

«Дом был полон тайн, — вспоминал Гарсиа Маркес. — Бабушка очень нервничала; ей являлось много всякой всячины, о которой она рассказывала мне ночью. Они всегда там свистят, я постоянно их слышу, говорила она об умерших. А в доме всюду были мертвецы… Наш дом был своего рода Римской империей, управляемой птицами, раскатами грома и прочими атмосферными сигналами, объяснявшими любую смену погоды, перемены в настроении. По сути, нами манипулировали невидимые боги, хотя предположительно все они были истинными католиками».

Не только более половины пустых комнат принадлежали умершим родственникам, их призракам и привидениям. Дом и вовсе бывал «захвачен» — как в гениальном рассказе-стихотворении Кортасара «Захваченный дом».

— Символ, конечно, метафора, — сказал в интервью автору этих строк Хулио Кортасар (родившийся в Аргентине, эмигрировавший в Европу, обходившийся, подобно русскому эмигранту Набокову, без собственного дома почти всю жизнь) в Гаване на набережной Малекон ранним тёплым влажным февральским утром 1980 года. — Захваченный дом. Но это ведь общая для всей латиноамериканской прозы тема — так или иначе она присутствует и у Борхеса, и у Астуриаса, и у Карпентьера, и у Льосы, и у Маркеса… Быть может, потому, что наш дом — Латинская Америка — перманентно занят.

— Диктаторами? — уточнил я.

— Если бы только диктаторами, — подумав, ответил зеленоглазый, как сказочный кот, Кортасар, — всё просто бы объяснялось. Внутри нас — захваченный дом. И редко кто — Маркес, например, один из немногих — имеет отвагу и талант этот дом освободить. Пусть даже ненадолго, — добавил он. (К разговору с этим писателем — ярчайшим представителем латиноамериканской литературы — мы ещё обратимся.)

…И вот он увидел старый дом, и нахлынувшие детские воспоминания вдруг отчётливо показали ему направление его писательского пути: он должен заново изобрести самого себя. Конечно, можно стать членом лощёного писательского авангарда, а можно остаться мальчиком из Аракатаки. Так появились его грандиозная тема и писательская личность — он сам, взрослый и ребёнок в одном лице. Появился его метод исследования: взгляд назад, на самые сильные потрясения детства.

Пожалуй, дедовский дом сыграл в творчестве Гарсиа Маркеса

роль для латиноамериканской литературы (по сути, литературы космополитической, чему доказательства — Борхес, тот же Кортасар и другие) необычайно важную, сопоставимую по значимости с родовыми домами, имениями, поместьями великой русской дворянской литературы Пушкина, Тургенева, Льва Толстого, Бунина…

«В таком огромном доме, полном теней прошлого и необычайных обитателей, — пишет биограф Маркеса Дассо Сальдивар, — живя в Аракатаке, этом городке, напоминавшем столпотворение вавилонское, впитывая всё то, что он слышал от бабушки и тёток, и считая деда самым главным человеком на земле, Габито скоро превратился в настоящего чертёнка… Хотя он был замкнутым и застенчивым, но за завтраком нередко капризничал, требуя то, чего не было или не полагалось; отличительной чертой его было чрезвычайное и порой несносное любопытство: он задавал вопросы всем и каждому и в любое время, и когда в дом приходил какой-нибудь гость, а это случалось часто, Габо становился, по сути, его главным собеседником».

Не только чрезмерную любознательность и общительность проявил уже в раннем детстве будущий писатель. Но и ревность — чувство сложное, многозначное, без которого, однако, художник (сиречь влюблённый, невлюблённый художник — нонсенс, в лучшем случае имитатор), как показывают исследования, в полной мере вряд ли может состояться. Когда бабушка и тётушки уделяли слишком много, по его мнению, внимания приходившим в гости детям, Габито, точно молодой петушок в курятнике, исподтишка больно щипал гостей и рекомендовал отправляться плакать к себе домой. (Наблюдая за детьми, играющими в песочнице, можно определить, у кого какой характер и кто каким вырастет. В конце 1970-х, когда роман «Сто лет одиночества» уже побил рекорды тиражей и был переведён на рекордное количество языков, а имя автора не сходило со страниц газет, Гарсиа Маркес, не найдя своей фамилии в очередном списке награждённых лауреатов, остро это переживал и не слишком лестно отзывался о произведениях обладателей высшей литературной премии, над чем подтрунивал Кортасар в интервью.) Мирила детей, улаживала конфликты Франсиска Симодосеа — тётя-мама маленького Габриеля. Крупная спокойная женщина с «невозмутимым лицом» принималась, притом так, будто продолжала давно начатое, как испокон веков катятся волны Карибского моря, неспешно рассказывать одну из придуманных ею историй — и непоседливый Габито замирал, начиная часто моргать.

Большинство исследователей сходятся на том, что именно этот дар тёти Франсиски с ходу сочинять весёлые, грустные, страшные, невероятные, но всегда правдоподобные истории в наибольшей степени сформировал литературный метод Гарсиа Маркеса, способствовал, а возможно, и предопределил создание им через тридцать с лишним лет романа «Сто лет одиночества». А метод есть ключ к пониманию всего его творчества.

Но нам представляется, что «ключей» целая связка. Отец, помним, не выпил ни рюмки вина, не выкурил ни единой сигареты в жизни. Деда же нередко заносило, он бывал и вовсе неудержим. Они были совершенно разные, но и тот и другой чрезвычайно трудолюбивы и плодотворны. Габриель унаследовал черты обоих, и неизвестно, кого больше: рационально и прагматично он всю жизнь проводил рекламную кампанию своего безудержного литературного творчества, в котором, впрочем, тоже всегда имел необходимые художнику чувство меры и волю, подчиняющую всё достижению намеченной цели. После ошеломляющего всемирного успеха романа «Сто лет одиночества», а особенно после получения в 1982 году Нобелевской премии, попав из подсобного мира журналистики в поле зрения сильных мира сего, писатель прикладывал «могучие и долгие усилия» к тому, чтобы быть приглашенным на званые обеды президентов, магнатов, диктаторов, и в определённых кругах заслужил прозвище «Габриель Гарсиа Маркетинг» (но об этом мы также расскажем в своём месте).

Первой любовью Гарсиа Маркеса стала его первая учительница — дважды «коронованная» королева Аракатакского карнавала Роса Элена Фергюссон (как потом выяснилось, любовница его отца). Она была «необыкновенной, неземной красоты, нежной и удивительной». Она пересказывала легенды, мифы, сказки, в том числе из «Тысячи и одной ночи», читала стихи, отдавая предпочтение испанской поэзии золотого века, а он сидел, слушал, боясь пошевельнуться, и молил, чтобы урок не кончался. Когда она спрашивала его по пройденному материалу — Габито или упрямо молчал, упершись взглядом в пол, или отвечал столь блестяще, что сеньора Фергюссон диву давалась. «Роса Фергюссон», — повторял он, засыпая, и это имя казалось ему райски сладкозвучным.

Некоторые исследователи полагают, что взаимное притяжение было, некие искорки между ними — влюблённым мальчиком, «похожим на куклу», и молодой, очень красивой женщиной, возможно, в детстве в куклы не доигравшей, — посверкивали. Он ходил в школу, чтобы видеть её. Иногда она гладила его по голове, и Габито цепенел, всё плыло у него перед

глазами. А когда однажды он написал диктант почти без ошибок (грамотностью никогда не отличался), сеньора Роса прижала его к своей пышной полуобнажённой благоухающей запахами гуайявы и лаванды груди, по которой сходили с ума столько мужчин, и мир перевернулся. Первое своё стихотворение он посвятил сеньоре Росе, но сжёг его. Много лет спустя Гарсиа Маркес признается, что эта влюблённость перелилась «в любовь к поэзии и литературе вообще».

А вот какое стихотворение Рабиндрата Тагора с подачи Росы Элены он выучил и с горными цветами преподнёс в день рождения бабушке Транкилине: «Когда тебя во сне моём не вижу, / Мне чудится, что шепчет заклинанья / Земля, чтобы исчезнуть под ногами. / И за пустое небо уцепиться, / Поднявши руки, в ужасе хочу я. / В испуге просыпаюсь я и вижу, / Как шерсть прядёшь ты, низко наклонившись, / Со мною рядом неподвижно сидя, / Собой являя весь покой творенья».

Всё это — и кровь испанских предков, один из которых был «лично знаком с Мигелем де Сервантесом Сааведрой», как утверждал писатель, и любовь «невозмутимой», любящей всех без исключения бабушки, и матери, наделённой абсолютным вкусом, и незабываемые рассказы тёти-мамы, и уроки истории, ботаники, географии, астрономии, морали деда-полковника, и мальчишеская влюблённость в первую учительницу-королеву карнавала — всё это день и ночь, месяц за месяцем, год за годом неустанно «работало» на одно из выдающихся явлений XX века по имени Габриель Хосе Гарсиа Маркес.

В 1935 году отец будущего писателя Габриель Элихио в очередной раз сменил место жительства, переехав, притом на этот раз со всей семьёй, в городок Барранкилья. Там сбылась наконец его давняя мечта — Министерство образования Колумбии выдало Габриелю Гарсиа Мартинесу официальный диплом врача-гомеопата, что дало возможность ставить диагнозы и выписывать любые снадобья. Но ни врачебная практика, ни собственная аптека не приносили ожидаемого дохода. (Даже запатентованный «Сироп Г. Г.» — то есть Габриеля Гарсиа, регулировавший менструальный цикл у «девушек и дам бальзаковского возраста», не оправдал надежд.) Семья в буквальном смысле слова нередко перебивалась с кофе на бобы и хлеб. Габито, учась в школе, стеснялся их бедности, становился замкнутым, необщительным. У мальчика был великолепный каллиграфический почерк — и он, чтобы как-то помочь отцу сводить концы с концами, стал за небольшие деньги писать разные объявления, например, о том, что тогда-то и там-то

состоятся петушиные бои, а тот-то продаёт корову с телёнком или швейную машинку. Постепенно Габито дорос в своём усердии и умении до того, что ему стали поручать написание вывесок для городских магазинов, и за это уже прилично, как представлялось, платили: три, пять, семь песо. Когда за вывеску для автобусной остановки он получил целых двадцать пять песо, дома устроили пир! Вся семья, родители и шестеро детей, на эти деньги питалась месяц, отец купил модные штиблеты (и сразу отправился в них на свидание, которое откладывал из-за безденежья, а через девять месяцев появился на свет очередной бастард), им даже удалось приобрести мебель: стулья, сервант, трюмо для мамы.

Полковник Николас Маркес скончался в возрасте семидесяти трёх лет от двустороннего крупозного воспаления лёгких в Санта-Марте (он стал резко сдавать, упав с лестницы, по которой полез на крышу за запутавшимся в мешковине любимым попугаем Габито). Похоронили его на городском кладбище с воинскими почестями. Габриель не слишком переживал смерть деда, о которой узнал случайно, из разговора отца с бабушкой Архемирой. Но с каждым годом всё острее ощущал, как не хватает ему полковника. Он делал кое-какие художественные наброски карандашом в альбоме, вспоминая, как дед разрешал ему разрисовывать стены дома, какие-то записи в дневнике о дедушке. Что-то начинал сочинять… Нельзя наверное сказать, что ещё в детстве у него зародилась мысль написать, например, повесть «Полковнику никто не пишет». Впрочем, природа человеческого творчества, отличительной черты *homo sapiens* от прочих млекопитающих, изучена даже менее природы самого *homo sapiens.* Так или иначе, но могучий образ деда с некоторых пор станет определять жизнь будущего писателя. С деда — в той или иной мере — будут списаны многочисленные маркесовские полковники: и безымянный полковник в «Палой листве», и заглавный герой повести «Полковнику никто не пишет», и, сколько бы ни уверял в обратном сам Маркес, полковник Аурелиано Буэндиа из «Ста лет одиночества»…

«Не было бы деда, — скажет уже всемирно известный писатель, — не было бы писателя Гарсиа Маркеса. Мне было восемь лет, когда он умер. С тех пор ничего значимого со мной не случалось. Сплошная обыденность».

В июне 1939 года Габито с медалью окончил начальную школу в Картахене-де-Индиас, но перспектива продолжения учёбы восторга в нём не вызывала, скорее наоборот — сама по себе учёба лишь отвлекала от ставшей уже любимой работы художника-оформителя и чтения книг. А читал он всегда, когда не спал, как отец, всё, что попадало под руку: журналы, газеты,

инструкции… И книги, конечно: Дюма-отца, Жюля Верна, братьев Гримм, Марка Твена, Рабле, Фенимора Купера, Джека Лондона, Сервантеса и других испанских классиков, «Тысячу и одну ночь»…

Он читал и перечитывал особо головокружительные сцены из любимых «Ночей» (хотя названия книги ещё не знал, найдя без переплёта в старом сундуке деда):

«…В царском дворце были окна, выходившие в сад, и Шахземан посмотрел и вдруг видит: двери дворца открываются, и оттуда выходят двадцать невольниц и двадцать рабов, а жена его брата идёт среди них, выделяясь редкостной красотой и прелестью. Они подошли к фонтану, и сняли одежду, и сели вместе с рабами, и вдруг жена царя крикнула: „О Масуд!“ И чёрный раб подошёл к ней и обнял её, и она его также. Он лёг с нею, и другие рабы сделали то же, и они целовались и обнимались, ласкались и забавлялись, пока день не повернул на закат…»

Его завораживал, гипнотизировал процесс чтения, оно стало наваждением, вытесняя и подменяя собой реальную жизнь, которая впервые по-настоящему открылась в борделе, куда (в том числе и чтобы вернуть сына на землю) направил его отец.

Произошло это в городке Сукре, где с конца 1939 года жила семья. У отца-гомеопата наконец-то стали налаживаться дела, осенью (когда в далёкой Европе началась Вторая мировая война) начал пользоваться спросом его магический сиропчик «Г. Г.», который селянки применяли не только по назначению, но и для приворота, для повышения потенции своих мужчин, снижения веса и даже от сглаза. Однако Габо, так и не найдя в семье с отцом и матерью того, что давали ему дед и бабушка, обретая всё более явственное «чувство пути», в январе 1940 года воротился в Барранкилью и поступил в среднюю школу иезуитского колледжа «Сан-Хосе». В Сукре у родителей с тех пор он бывал лишь наездами, во время каникул.

В школе он учился на пятёрки и читал, читал, когда его товарищи на переменах гоняли футбольный мяч, играли в чехарду, прятки или бейсбол. Скоро ровесники прозвали Габито Стариканом. «Габо почти не занимался спортом, — вспоминал много лет спустя падре Игнасио Сальдивар, преподаватель литературы в первых классах колледжа „Сан-Хосе“, — был типичным интровертом, интеллектуалом и по-взрослому оценивал разнообразные жизненные ситуации и проблемы; он не был склонен к озорству и разным проделкам, в свободное время всегда был рад поговорить с кем-нибудь из преподавателей о книгах, о жизни и почти всегда высказывал свои соображения с

позиции и точки зрения взрослого человека».

Двенадцатилетний Габо был худ, бледен, замкнут, часами мог сидеть, уткнувшись в книгу, или глядеть в пространство, о чём-то мечтая. Увидев в руках сына «Тысячу и одну ночь», отец сказал: «На-ка вот лучше отнеси записку и этот пузырёк твоей тёзке Габриеле в публичный дом на углу. И во всём её слушайся, она плохого не сделает, поверь отцу».

Тогда в Сукре Габриель узнал о существовании своей сестры и брата по отцу — Кармен Росы и Абелардо, оба были намного старше, чем он. А отец погряз в очередных сексуальных скандалах. Бродячих знахарей-шарлатанов в Колумбии называли *teguas,* о них ходили невероятные слухи, которые не принято было пересказывать при детях. Эти *teguas* не несли никакой ответственности ни перед кем — примерно так же, как многочисленные экстрасенсы-целители рубежа 1980–1990-х годов у нас, в СССР. «Лечили» они по-своему, применяя порой нестандартные методы. И в результате на отца Габито, Габриеля Элихио, пациентки неоднократно жаловались и даже подавали в суд за то, что во время действия анестезии он их насиловал, женщины беременели. Луиса, мать Габриеля, после семейных сцен поступала так же, как когда-то её мать в подобных случаях: признавала детей мужа своими. «Она очень сердилась, — вспоминал Гарсиа Маркес, — но брала детей в дом. Я сам слышал, как она сказала: „Не желаю, чтобы наша кровь разбрызгивалась по всему свету“».

Итак, не имея оснований отцу не доверять, Габито взял у отца склянку, записку и отправился в бордель «Ла Ора» (с почасовой оплатой по таксе). Дойдя до хорошо известной всем мальчишкам двери, он с замирающим сердцем постучал. Открыла женщина возраста его матери. Окинув мальчика взглядом и узнав, кто его послал, она пригласила Габито войти, взяла за руку, сделавшуюся влажной от волнения, и по тёмному коридору, по бесконечному лабиринту комнат привела в спальню без окон, с огромной неубранной кроватью. Там она молча его раздела, обнажила свои массивные смуглые груди с большими тёмными сосками и положила на них дрожащие руки мальчика — никогда в жизни Габо не видел голую женскую грудь так близко, тем более к ней не прикасался.

— Самый первый раз, говоришь? — уточнила женщина, расстёгивая ему брюки, но Габито в ужасе не мог произнести ни слова. — Обожаю девственных мальчишек! Не бойся, мой хороший. Тётя сделает тебе так сладко, что ты никогда не забудешь! — И, присев на кровать, наклонившись, начала — как принято у проституток. У неё были пухлые натруженные горячие

губы и крепкий быстрый язык. Время от времени она поднимала глаза и снизу заглядывала в затуманенные обезумевшие глаза отрока. Достаточно возбудив, поборов его страх, она профессионально проделала с ним всё то, что за деньги делала с другими мужчинами, — но искренне и нежно, от души, как сама призналась. «Это было самым ужасным, что случилось в моей жизни, — рассказывал Габриель Гарсиа Маркес, — я совершенно не понимал, что происходит. Она меня изнасиловала. Я был уверен в том, что обязательно умру». — Умаешься с тобой, — сказала проститутка, доведя-таки Габито. — Надо бы тебе поучиться у своего младшего братика — у того сразу встаёт.

В Латинской Америке испокон веков это называется «послать мальчика за конфеткой».

Проститутка оказалась права — он на всю жизнь сохранил воспоминание о своей первой женщине и стал завсегдатаем борделей. Но об этом, — учитывая едва ли не сакральное значение в его творчестве эротики, секса, женских образов вообще и представительниц древнейшей профессии в частности, — отдельная глава. Здесь лишь отметим, что годы спустя то воспоминание воплотилось в романе «Сто лет одиночества», в образе Пилар Тернеры: «Восхищённый новой чудесной игрушкой, Хосе Аркадио теперь каждую ночь отправлялся искать её в лабиринте комнат… Днём, валясь с ног от недосыпания, он втайне наслаждался воспоминаниями о прошедшей ночи. Но когда Пилар Тернера появлялась в доме Буэндиа, весёлая, безразличная, насмешливая, Хосе Аркадио не приходилось делать никакого усилия, чтобы скрыть своё волнение, потому что эта женщина, чей звонкий смех вспугивал бродивших по двору голубей, не имела ничего общего с той невидимой силой, которая научила его затаивать дыхание и считать удары своего сердца и помогла ему понять, отчего мужчины боятся смерти».

А пока — о первых «побегах» творчества. В пожелтевших подшивках школьного журнала «Хувентуд» («Юность») начала 1940-х годов можно обнаружить рисунки, дружеские шаржи, своеобразные комиксы Гарсиа Маркеса с развёрнутыми остроумными подписями, а также его стихи, заметки, очерки, фельетоны. В них наряду с образностью, метафоричностью, юмором, свойственным жителям Атлантического побережья Колумбии (как у нас некогда одесситам), можно увидеть и то, что Габриель начинает тяготиться унылой школьной программой, рассчитанной на способности ниже средних, монашеским послушанием и самим обществом священников-иезуитов. И он, конечно, испытывает ностальгию, неизменный движитель творчества, по своей Аракатаке, где с ним были родные дед и

бабушка, где всё было настоящим и волшебным. «Аракатака — незаживающая рана, — писал в своей книге „Габриель Гарсиа Маркес. История богоубийства“ выдающийся перуанский писатель и также будущий лауреат Нобелевской премии Марио Варгас Льоса, — это ностальгия, которая со временем не угасает, а лишь усиливается, это очень личное воспоминание о том, каким представлялся ему мир во времена его отрочества».

В 1941 году из-за нервного расстройства Габито вынужден был надолго прервать учёбу (по болезни и по воле таскавшего его за собой туда-сюда отца в отрочестве Гарсиа Маркес потерял много времени и позже убавил себе возраст на год). «У него было что-то типа шизофрении, сопровождавшейся дикими вспышками ярости, — в 1969 году, когда сын прославился на весь мир, рассказывал журналистам „любящий“ папа Габриель Элихио. — Однажды он швырнул чернильницу в священника. Меня попросили забрать его из школы, что я и сделал». Ходили слухи, что Габриель Элихио вообще намеревался самостоятельно трепанировать сыну череп в том месте, где «сознание и память», но Луиса поклялась рассказать обо всём алькальду, и неистовый гомеопат-анестезиолог поутих.

Абелардо, работавший женским портным, тоже по-своему лечил «от нервов» единокровного младшего брата — присылал своих клиенток, которые не прочь были в постели «помочь бедному мальчику». Профессор Мартин пишет, что «благодаря преждевременно полученному сексуальному опыту Габито, до той поры явно чувствовавший себя неполноценным среди окружающих его мачо, обрёл уверенность знатока секса, и эта уверенность помогла ему преодолеть другие комплексы и поддерживала в нём силу духа перед лицом всевозможных неприятностей».

Весной 1942 года ненадолго полыхнул роман с Мартиной Фонсекой, которая была замужем за двухметровым (пятнадцатилетний Габито был крайне мал для своего возраста, не выше ста пятидесяти сантиметров) чернокожим речником. Мартина обладала роскошным, будто для ваяния созданным, крупным щедрым телом — «белая женщина в теле мулатки» — и обожала поэзию. Она увлекла «юношу бледного со взором горящим» в постель, где сразу же «вспыхнул дикий огонь тайной страсти». Речника не бывало дома порой по двенадцать дней, и Габито шастал к Мартине вместо занятий в колледже, встречала она его надушенной, накрашенной, обнажённой, жаждущей «преподать своему малышу-поэту уроки любви». «Ещё! Ещё!» — требовала она читать ей стихи в постели, это её «дико возбуждало». За время, что длились занятия в колледже, у них

получалось и пять, а бывало, что и одиннадцать раз, притом ненасытная Мартина не уставала экспериментировать в сексе. Несколько месяцев их безумств неизбежно привели бы субтильного отрока к полному истощению, если бы опытная матрона не прервала связь, заявив, что ему следует заняться учёбой, а у них всё равно «не будет лучше, чем уже было». Стоя перед ней на коленях с букетом роз, он целует её красивые круглые колени, икры, лодыжки, ступни, он умоляет — но у Мартины появился новый любовник, зрелый, опытный и богатый.

В шестнадцать неполных лет Габриель бросает колледж. Прежде всего, чтобы не быть обузой семье, — у него тогда уже было семь братьев и сестёр, и мама вновь ходила беременной. Да и отношения с отцом были натянутыми (во многом благодаря неизбежному сравнению отца с дедом), не хотелось, чтобы тот платил за обучение. В январе 1943 года (когда газеты писали о том, что в далёком заснеженном Сталинграде 6-я немецкая армия во главе с генералом-фельдмаршалом Ф. Паулюсом сдалась в плен русским) Гарсиа Маркес, в перешитом мамой старом отцовском костюме, с котомкой, уезжает в столицу. Там, в Санта-Фе-де-Богота, он намеревался сдать экзамен на получение стипендии Министерства образования и стать, по его словам, уже «окончательно взрослым и независимым».

До сих пор автор этих строк исправно, по испанской и латиноамериканской традиции, именовал героя книги Гарсиа Маркесом. Когда в 1980 году на международном отделении факультета журналистики МГУ я защищал диплом на тему деятельности кубинского «Дома Америк» и связей с ним писателей латиноамериканского «бума», прежде всего Гарсиа Маркеса, и назвал его просто Маркесом, мне даже снизили оценку (возможно, сыграло роль и моё неосмотрительно-хвастливое заявление о том, что я лично встречался с классиком). И всё-таки в дальнейшем в этих заметках для удобочитаемости по-русски — да простят дотошные латиноамериканисты! — позволим себе называть его иногда и менее официально, Маркесом, ибо понятно, о ком речь, не спутаешь, так в беседах называли его Кортасар, Гильен, Рауль Кастро, футболист Марадона, а в неиспанском мире, например, Салман Рушди, прославившийся экзерсисами на темы Корана, только так его и называет в статьях — «Магический Маркес».

Итак, юный «магический Маркес» долго плыл на пароходе «Давид Аранго» по реке Магдалена, забавляя пассажиров пением куплетов валленато и болеро, — знал их превеликое множество и пел отменно, притом на свои, часто оригинальные и затейливые

мелодии. Какие-то парни подняли Габито на смех, надавали тычков, вырвали и выбросили за борт его котомку, в которую мать упаковала спальный коврик из пальмовых листьев, гамак и ночной горшок на всякий случай.

— Знаешь, дорогой, я у тебя и волосок не стану дёргать, покажи ладошку — расскажу, что было, что будет, — решила утешить его на палубе цыганка, позвякивающая на ветру украшениями с изумрудами, которыми была обвешана, как рождественская ёлка, с ног до головы (в Колумбии изумруды почти ничего не стоили). — Не волнуйся, денег не возьму, и нет их. Вижу я, что денег у тебя не будет долго, будешь бедствовать, скитаться, голодать… казённые дома… и женщин много вижу… но ты встретишь ту, единственную, что и выведет тебя… через неё озолотишься… Станешь известным ювелиром, ах, какие вещи замечательные будешь делать, загляденье!.. Впрочем, вру! Ты станешь книги сочинять, про предков, про обычаи… и мы там будем — вижу! — взмахивая юбками, сверкая золотом зубов и изумрудами, воскликнула цыганка радостно. — Ну да, цыгане, ну, конечно!.. Ах, мой дорогой!.. Ты мне не веришь, мальчик?!

Цыганка накормила его цыплёнком. Он снова пел, импровизируя, и дуэтом с цыганкой, и один. И вот же — случай! (Чем внимательнее анализируешь жизнь замечательных людей, тем больше понимаешь, что случай, Провидение в их жизни играют гораздо более важную роль, чем в жизни обыкновенных людей, — быть может, главную, и без совпадений, порой невероятных, явно ниспосланных свыше, они могли бы не состояться.) Взрослому его попутчику, «качако»-боготинцу, интеллигентного вида мужчине с усиками, понравилось, как пел этот худощавый вдумчивый паренёк, они разговорились о песнях, о литературе и сразу почувствовали симпатию друг к другу.

Вместе ехали и на поезде, натужно, со скрежетом взбиравшемся на высоту 2550 метров над уровнем моря, на которой расположена Богота. Попутчик представился просто Адольфо. Пошутил, что является тёзкой Адольфу Гитлеру, фотография которого в связи со Сталинградской битвой была размещена в свежей газете, купленной им на вокзале, но, кроме имени и усиков, добавил, больше ничего общего с тем «ихо де гран пута» («сукиным сыном, сыном проститутки») не имеет. В вагоне Адольфо попросил Габо списать слова особо полюбившегося болеро, которое он собирался исполнить своей невесте в Боготе, — о том, как красотка Хуанита ждала у моря отважного Хуана, но дождалась другого. На высоте полторы тысячи метров отказали тормоза, состав пополз вниз по рельсам и вообще мог завалиться под откос — но подоспели ремонтники.

На прощание Адольфо подарил Габито книгу Фёдора Достоевского «Двойник».

Высокогорная Богота встретила своего будущего завоевателя и властителя дум неулыбчиво, холодным дождём.

— …Во всех столицах или главных городах Латинской Америки я бывала, и не раз, — рассказывала автору этих строк Мину Мирабаль. — Но Богота — может быть, самая странная из них. Начиная с того, что если выбор места для Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Сантьяго, Каракаса, Лимы вполне объясним и логичен, то местоположение колумбийской Боготы вызывает недоумение. Правда, и боливийского Ла-Паса тоже, особенно весёлая там «дорога смерти» до Каройки — убийственный серпантин… Богота весьма оригинальна. Боготинцы — «качакос» — не такие, как в других городах Колумбии. Более мрачные и заносчивые люди. Будто до сих пор ностальгируют по имперскому прошлому — Великой Колумбии, названной по имени самого Христофора Колумба и некогда включавшей в себя территории современных Венесуэлы, Эквадора, Панамы, которые потом отделились. Страной управляла элита примерно из полутора тысяч гасиенд, но также и юристы, и интеллектуалы, благодаря которым Боготу называли «южноамериканскими Афинами». И, кстати, Богота считает себя хранительницей самого чистого испанского языка, даже в Мадриде или Толедо якобы испанский не такой чистый. В Колумбии много странного, сами колумбийцы отличаются обилием колдунов, магов, фокусников и их публикой, всё время будто находящейся под воздействием наркотиков. Недаром в Колумбии самая мощная наркомафия!..

Тепло одетые в тёмные плащи, пальто, колумбийские пончо люди под зонтами угрюмо торопились по каким-то делам. Даже в кафе сидели неразговорчивые, озабоченные чем-то посетители. Они просто жевали, глядя друг на друга или на улицу, — совсем не так, как дома. На улице сигналили, угрожающе взвизгивали тормозами, обдавали брызгами автомобили, кричали на растерянного провинциала шофёры. Побежав к уходящему автобусу, Габо вдобавок ко всему почувствовал, что задыхается от недостатка кислорода на высоте двух с половиной километров. В автобусах, трамваях и общественных туалетах встречала табличка с невесёлой надписью: «Если ты не боишься Бога, бойся сифилиса». Это была не его страна. В мокрых холодных сумерках, сидя на скамейке под навесом, всухомятку грызя галеты, он заплакал. И сообщил подошедшей пегой дворняжке с разными ушами, угостив её галетой, что наутро возвращается домой из их проклятой Боготы, где всё чужое. С этой мыслью он переспал на отсыревшем белье в холодной комнате у друзей отца.

А на другой день, облившись ледяной водой, включив силу воли, которую воспитывал в нём дед во время их путешествий, он всё-таки отправился не на вокзал, а в Министерство образования. У здания уже выстроилась длиннющая очередь, в конце которой невзрачный будущий нобелевский лауреат и встал под дождём. Полдня отстояв, Габо уже приближался к заветным дверям, когда увидел выходящего из министерства «тёзку Гитлера» — того самого боготинца, любителя болеро, с которым плыл на пароходе и ехал в поезде. (Вновь случай!) И тот заметил Габриеля, с улыбкой подошёл, на глазах у изумлённых соискателей крепко пожал юноше руку. Адольфо Гомес Тамара оказался не кем-нибудь, а директором Департамента государственных стипендий!

— Коньо, так почему же ты мне раньше-то не сказал, зачем направляешься в Боготу? — спросил он. — Я думал, будешь сидеть и петь болеро на площади, положив перед собой шляпу!

— Вы не спрашивали, я и не сказал, — отвечал абитуриент. — Не хотел навязываться. И потом — боялся сглазить.

Экзамен Габриель сдал на «отлично» и написал заявление о приёме в знаменитый колледж «Сан-Бартоломе». Но, несмотря на блестящий результат экзамена и недюжинные связи Адольфо, пытавшегося помочь (его товарищ, проректор «Сан-Бартоломе», оказался как назло в отъезде, в Париже), юношу не взяли в этот наиболее престижный в Колумбии колледж, куда принимали исключительно детей из самых привилегированных семей. Через много лет в одном из «нобелевских» интервью Маркес признался, что тогда впервые в жизни был уязвлён этим очевидным проявлением социального неравенства, ведь большинство отпрысков древних дворянских фамилий, высокопоставленных правительственных чиновников, военачальников, крупнейших бизнесменов были подготовлены куда как хуже. И поклялся себе, что рано или поздно добьётся того, что будет принят в высшее общество на равных с ними. Это ведь тоже из бесконечной вереницы случайностей в жизни Маркеса! А если бы близкий товарищ Адольфо Гомеса Тамара не оказался в отъезде и Габриель бы с ходу по протекции поступил в самое престижное учебное заведение, а не попал бы в Национальный мужской лицей, где, по его собственным словам, «по-настоящему заболел литературной корью»?

Так или иначе, но Национальный мужской лицей, расположенный в небольшом живописном городке колониальной архитектуры Сипакире неподалёку от столицы Колумбии XX века, в истории латиноамериканской литературы сыграл не меньшую роль, чем в истории русской литературы — мужской лицей,

расположенный в живописном Царском Селе классической архитектуры неподалёку от столицы Российской империи века XIX. «Всеми моими знаниями я обязан лицею в Сипакире, — скажет много позже Маркес, — этому монастырю без отопления и цветов».

Дисциплина в лицее, куда Габриеля определил старший друг Адольфо, была поистине монастырской или казарменной (как и в плохо отапливаемом, с температурой в жилых помещениях не выше шестнадцати градусов Царскосельском лицее). Ещё в темноте, без четверти шесть утра звонил колокол, поднимая воспитанников. В половине седьмого — скромный завтрак. В семь — начало занятий. После каждой пары — сдвоенных уроков по сорок пять минут — короткая перемена. В полдень — второй завтрак. Затем урок гимнастики или бейсбола, снова занятия, обед, тридцатиминутный отдых и занятия уже до девяти вечера, включая выполнение домашних заданий. Далее — ужин и отбой под надзором дежурного педагога, ночевавшего тут же, в спальне-казарме, за перегородкой. Чтение с фонариком под одеялом, ночные разговоры были строжайше запрещены.

«Гарсиа Маркес в лицее прославился кошмарами, которые ему регулярно снились, — пишет биограф Мартин. — Своими криками он будил среди ночи всю спальню. Этим он пошёл в Луису. Причём в кошмарах видел не ужасы, а радостные картины с участием обычных людей в обычной обстановке, которые внезапно обнажали свою зловещую сущность».

Одну из главных ролей в формировании индивидуальности Габриеля, прежде всего творческой, сыграл учитель испанского языка и литературы Хулио Кальдерон Эрмида. Ему Габо показывал свои первые стихи, и он первым оценил оригинальный образ его мышления, а также великолепную память. С другим преподавателем, бывшим ректором лицея поэтом Карлосом Мартином, они потом вспоминали, что Габо мог часами читать наизусть и петь под гитару положенные на свои мелодии стихи испанских и латиноамериканских поэтов, притом иногда дополняя собственными строфами, столь искусно сымитированными, что никто не замечал, а порой именно его яркие образы, небанальные метафоры больше всего запоминались слушателям, особенно сверстникам.

Под влиянием Кальдерона наш герой был околдован поэтикой группы «Камень и Небо», стал сочинять стихи в их своеобразном стиле и духе. В эту литературную группу входили поэты «новой волны», поэты-ниспровергатели незыблемых авторитетов. «Группа „Камень и Небо“ терроризировала время, — говорил годы спустя Маркес. — Если бы не эти поэты, я не

убеждён, что стал бы писателем. Они восстали против академичности. Когда я увидел, на что они замахиваются, то почувствовал воодушевление и обрёл уверенность, я сказал себе: если и такое допустимо в литературе, то она мне нравится, я буду в неё прорываться и останусь в ней! Я почувствовал, что мы можем не только сотрясти, но сокрушить пьедестал поэтов-„парнасцев“, девизом которых было „Пожертвовать миром, но стих отшлифовать!“».

Под первыми сочинениями Маркеса мы видим псевдоним — Хавьер Гарсес. Большинство из них посвящены первой возлюбленной — высокой сероглазой блондинке Сесилии Гонсалес, влюблённой в литературу.

Кальдерон в лицее был так называемым префектом дисциплины, вроде благочинного в монастыре. Когда Габо нарушал дисциплину (а он с друзьями в последние годы учёбы неоднократно убегал в «самоволки» — в модернистский театр «Мак-Дуаль», в какую-нибудь бодегу, то есть кабачок, на танцы или к весёлым шлюхам в бордель, обслуживавшим лицеистов в долг или бесплатно, о чём свидетельствует в своих воспоминаниях о Маркесе главный и единственный в 40-х годах уролог-венеролог Сипакире Армандо Лопес), то Кальдерон «в наказание» запирал Габриеля в классе и не выпускал до тех пор, пока проштрафившийся не напишет стихотворение или рассказ.

Первым полноценным рассказом, который Маркес сочинил таким образом взаперти после посещения известной всему городку проститутки, можно считать «Навязчивый психоз» — об утончённой девушке, которая превращалась в бабочку с чудесным рисунком на крыльях, летала, и с ней происходили фантастические истории. Возможно, прообразом послужила Сесилия. Но не исключено, что и Беренисе Мартинес, с которой Габриель познакомился на танцах и с которой завязался короткий бурный роман. Беренисе родилась в том же месяце и году, что и Маркес. В 2002-м, будучи вдовой с шестью детьми и многочисленными внуками, проживая в США, она вспоминала, что «с Габо была настоящая любовь с первого взгляда, такая, какой больше уже никогда в жизни не случалось». Вспоминала, что с ним, очень музыкальным, обладавшим великолепной памятью на тексты, они на протяжении всего их романа без конца целовались и распевали модные песни на два голоса, притом первый был её, Беренисе.

Проиллюстрировал Габо рассказ «Навязчивый психоз» своими рисунками тушью. Кальдерону рассказ понравился, он показал его ректору лицея, объяснив, в наказание за что рассказ написан. Ректор рассмеялся, отметив, что это весьма талантливая вариация

на тему «Превращения» Франца Кафки. Хотя доподлинно известно, что тогда Маркес рассказов Кафки ещё не читал, это случится позже, уже в университете. Впрочем, о подлинности или достоверности в отношении биографии нашего героя говорить не приходится: в своей жизни он дал тысячи интервью, и концы с концами, мягко говоря, в них редко сходятся, зачастую не совпадают даты, события, имена. Любопытно, что Маркес не оригинален, «открещиваясь» от Кафки, — это удел многих заметных писателей XX века. Например, Набоков, защищаясь от критиков, которые усмотрели в его романе «Приглашение на казнь» присутствие Кафки, уверял, что не знает немецкого, почти незнаком с немецкой литературой, а «Замок» и «Процесс» Кафки ему стали известны тогда, когда «Приглашение на казнь» уже было опубликовано. Франц Кафка — один из самых «заразительных» писателей в истории литературы.

Хулио Кальдерон опубликовал в выпускаемой им лицейской «Литературной газете» вслед за «Навязчивым психозом» и другие сочинения Маркеса под псевдонимом Хавьера Гарсеса: стихотворения «Если кто постучит в твою дверь…» (первая строка), «Сонет о невесомой школьнице», рассказы «Колос», «Драма в трёх актах», «Гибель розы».

А красивая блондинка Сесилия Гонсалес (которую ласково и беспощадно называли «однорукой малышкой», потому что одну руку потеряла и скрывала это под пончо) «блудливого» Габриеля бросила ради поэта, выпустившего к тому времени книгу (имени история не сохранила). Быть может, правы те, кто утверждает, что творчество, начавшееся с несчастной любви, — счастливое? Юный Маркес написал стихотворение, в чём-то созвучное «Желанию славы» Пушкина («Желаю славы я, чтоб именем моим / Твой слух был поражён всечастно…»), которого уж точно тогда ещё не читал.

Утешала другая, гораздо старше по возрасту, жена врача, которую, пользуясь отсутствием мужа, Габито посещал в их старинном колониальном особняке, где она принимала его на широком супружеском ложе.

На каникулы он возвращался в Сукре, где встречал прототипы своих будущих произведений и где его почти неизменно ждали известия о пополнении — законном или незаконном — семьи. В конце 1943 года Габриель Элихио, пока Луиса вынашивала очередного сына, обзавёлся и очередным побочным ребёнком, что вызвало гнев жены и законной старшей дочери Марго, которого, впрочем, хватило ненадолго. А у Габито на каникулах также случился роман — со страстной негритянкой, которую он окрестил Колдуньей (напомним, в предпоследней

главе «Ста лет одиночества» появляется ненасытная и беспредельная в сексе чернокожая Колдунья). Она была супругой полицейского. «Как-то в полночь, — рассказывал брат писателя, Луис Энрике, — на мосту Габито встретил полицейского. Тот шёл домой к своей жене, а Габито шёл из дома полицейского, от его жены. Они поздоровались, полицейский справился у Габито о его семье, Габито справился у полицейского о его жене. Это то, что рассказывает мать. Можете представить, сколько всего она умалчивает из того, что ей известно… Полицейский попросил у Габито прикурить и, когда тот к нему приблизился, поморщился и сказал: „Карахо, Габито, ты, наверно, в ‘Ла Оре’ был, от тебя за милю несёт шлюхой, козёл не перепрыгнет!“». Через пару недель полицейский застукал Маркеса в постели жены и вознамерился заставить в одиночку сыграть в русскую рулетку. Но великодушно простил, потому что придерживался тех же политических взглядов, что и отец Гарсиа Маркеса. К тому же Габриель Элихио излечил его от застарелой гонореи, чего другим докторам не удавалось.

Младший брат, Луис Энрике, и в самом деле стал определённым наставником Габо — вместе с их музыкальной группой будущий писатель в конце 1945 года гулял много дней и ночей напролёт, впервые в жизни участвуя в пьяных оргиях с бесчисленным количеством участниц и участников. На Рождество он почти на две недели «занырнул» в бордель городка Махагуале, прикипев там к роскошной блуднице. «Это всё из-за Марии Алехандрины Сервантес, — вспоминал Маркес. — Потрясающая женщина! Я познакомился с ней в первую ночь и с ума сошёл во время самой долгой и разгульной попойки в жизни».

В характеристике из лицея наряду с положительными моментами отмечалось, что Гарсиа Маркес интересуется коммунистическими идеями, читал запрещенный «Капитал» Маркса (Сипакира была своеобразной ссылкой для вольнодумцев-преподавателей, исповедовавших либерализм и даже марксизм) и товарищам давал читать еретическую книгу Нострадамуса «Центурии» (сочетание неплохое для формирования магического реалиста).

Двадцать пятого февраля 1947 года, сдав экзамены (которые непостижимым образом иллюстрировал стихами), Маркес поступил — по настояниям матери — на факультет права Национального университета Колумбии. Но к середине учебного года убедился в том, что поэзия интересует его всё же более юриспруденции. По выходным дням, когда лил дождь, он с утра за пять сентаво покупал трамвайный билет и допоздна катался по

кольцу, поглядывая в окно, читая книги. Будни он проводил на нудных лекциях, а заканчивал дни в одном из уютных кабачков на главной. Седьмой каррере, идущей с юга на север. В ту пору там было множество бодег и бодегит, похожих на парижские кафе: «Чёрная кошка», «Три сосны», «Колумбия», «Мельница», «Астурия». В них, как в парижских кафе 1920-х, увековеченных Хемингуэем в «Празднике, который всегда с тобой», а также Ремарком, Миллером, собирались совсем молодые, как сам Габо, и уже именитые поэты, прозаики, критики, журналисты. Делились новостями, спорили о литературе, много курили, пили. В пансионе Габриель ночевал редко, предпочитая недорогие, но гостеприимные публичные дома, в которых искали вдохновения на завтра многие поэты. Маркес читал стихи проституткам (как за несколько десятков лет до этого на другом конце земли Сергей Есенин «читал стихи проституткам и с бандитами жарил спирт») — его там любили.

Великое для становления художника явление, *sine qua non,* как говорили древние римляне, то есть условие, без которого невозможно, — окружающая творческая среда. Питательная среда. Важную роль среда сыграла в судьбах Пушкина, Бальзака, Льва Толстого, Тургенева, Бунина, Чехова, Хемингуэя…

В июле 1947 года в газете «Университетская жизнь» были напечатаны две занятные модернистские поэмы Маркеса: «Небесная география» и «Поэма внутри улитки». Но к поэзии Габриель постепенно стал охладевать, его перетягивала на свою сторону проза. Тогда он прочитал в переводах на испанский «Человеческую комедию» Бальзака, «Братьев Карамазовых» Достоевского, «Мёртвые души» Гоголя, «Улисса» Джойса, «Сарторис» и «Шум и ярость» Фолкнера, «Прощай, оружие!» Хемингуэя… Однажды прохладным августовским утром, после бурной ночи зайдя в кафе «Астурия» поправиться чашкой кофе с ромом, Хорхе Саламея, непререкаемый в Боготе авторитет для начинающих литераторов, заговорил с Габриелем об «одном потрясающем австрийском писателе, не похожем на всё, что было прежде», авторе романов «Америка», «Процесс», «Замок» Франце Кафке. Саламея пересказывал эпизоды произведений с таким восторгом, что, придя в университет, на первой же лекции Габриель стал спрашивать товарищей, нет ли у кого хоть чего-нибудь этого Кафки. Однокашник из богатой семьи Хорхе Альваро Эспиноса вечером в пансионе дал ему книгу «Превращение». (По другой версии, Кафку он всё-таки читал ещё в школе.)

«Мне было девятнадцать, — вспоминал Маркес, — придя в свою комнату в пансионе, я сбросил пиджак, ботинки, лёг на

кровать, открыл книгу, которую дал однокурсник, и прочёл: „Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лёжа на панцирно-твёрдой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделённый дугообразными чешуйками живот…“ „Чёрт побери! — подумал я, почувствовав дрожь во всём теле, и закрыл книгу. — Ведь так говорила и моя бабушка! Значит, такое возможно в литературе! А коли так — это по мне. Я тоже буду так делать“».

Целыми днями и ночами, забыв о лекциях по уголовному и гражданскому кодексам, о приятелях, бодегах и борделях, он писал. Переписывал каждый абзац, подбирая наиболее точные слова. Из пансиона он выходил лишь затем, чтобы купить поесть, размять ноги и удостовериться, что продолжает оставаться наяву, не впал в кошмарный бред.

На пятые сутки работы Габриель прочитал в газете «Эль Эспектадор» письмо читателя, сетовавшего на то, что в литературном приложении к газете публикуются исключительно маститые писатели, не появляется новых имён. Там же, в колонке «Город и мир», был напечатан ответ редактора Эдуардо Саламея Борда — известный литературовед уверял, что с радостью бы печатал молодых, но стоящего не присылают. Это раззадорило Габриеля, и с ещё большим рвением он вернулся за письменный стол. Но чрезвычайная, уникальная для совсем молодого человека требовательность к себе и дисциплина уже главенствовали в его натуре. Ещё целую неделю он бился над сюжетом, характерами, выверял каждую фразу. В понедельник он в последний раз перечитал своё сочинение, кое-что подправил, запечатал в конверт, вышел на улицу и бросил в почтовый ящик. После чего заставил себя забыть всё это почти двухнедельное наваждение и с другом Хосе, озабоченным психическим здоровьем Габо, отправился в бордель, куда поступили новые девчонки.

А ещё через две недели, 13 сентября, под вечер Маркес вошёл в кафе «Аутоматико» и увидел, как седовласый сеньор, развернув приложение к газете «Эль Эспектадор», читает его рассказ «Третье смирение». Габриель своим глазам не поверил и приостановился за солидной спиной посетителя, чтобы убедиться. Не померещилось, это был его рассказ. От первой до последней фразы, над которыми он корпел! От «Там снова послышался шум…» до «Но уже так смирился со смертью, что, возможно, от смирения и умер». И подпись: не вымышленный Хавьер Гарсес, а Габриель Гарсиа Маркес!

Габо вылетел на улицу, домчался до ближайшего газетного

киоска на углу, но «Эль Эспектадор» с приложением весь раскупили. Он побежал на Флориан, затем на 24-ю улицу, но в киосках газеты не оказалось. Рванул на площадь Боливара — та же история! Полил дождь, и, на бегу глотая дождинки, перепрыгивая через лужи, он думал о том, что произошло бы, если бы все эти боготинцы — «качакос», прячущиеся от дождя под навесами, сидящие в кафе, едущие в трамваях, спешащие куда-то под зонтами по своим «качакосским» делам, узнали, что это из-за его рассказа скупили тираж газеты, и вот он, сам автор, бежит по улице, перепрыгивая лужи?! А когда добежал до вокзала и выяснилось, что там в киоске экземпляр газеты остался, то обнаружил, что мелочь на бегу потерял и нет даже пяти сентаво.

— Что стряслось, чико? — спросила полная крашеная продавщица, чем-то напомнившая ту, самую первую. — Ты роешься по карманам с видом, будто потерял миллион!

Полными ужаса глазами он посмотрел на лежавшую на прилавке под расплющенным бюстом киоскёрши заветную газету, которую вот-вот могли купить — и тогда всё пропало.

— Здесь напечатан мой рассказ, — выдавил он, готовый разрыдаться. — А я потерял деньги.

И она бесплатно дала ему газету — как та, другая, первая в жизни бесплатно дала другое, чего никогда не забыть, как, впрочем, и первый рассказ, опубликованный под настоящим, доставшимся от деда и отца именем. И много лет спустя Гарсиа Маркес говорил, что публикация первого настоящего рассказа была сродни первой близости с женщиной.

Начинающие писатели, как правило, сперва рассказывают о себе — о том, откуда они, как и где росли, во что играли, в кого влюблялись, что переживали. Маркес начал с рассказа о 25-летнем мужчине, всю свою жизнь, будучи приговорённым неизлечимой болезнью к смерти, проведшем в гробу, который ещё в детстве заказала ему мать «на вырост», и заживо сгнившем в зловонном «собственном поту, в густой вязкой жидкости, вроде той, в которой он плавал до рождения в утробе матери». Рассказ жутковатый и, конечно, ученический. Весь — будто вылеплен из литературы. Но во многом для раннего творчества будущего лауреата Нобелевской премии знаковый. То есть продуманно, расчётливо шокирующий («Шум был такой, будто ребёнка били головой о каменную стену… Он обонял запах своего гниющего мяса…»). Критики утверждали, размышляя над этим рассказом, что в нём отчётливо заявлен постоянный элемент творчества Маркеса: повествование разворачивается вокруг непогребённого трупа. «В итоге читатели обнаружат, что Гарсиа Маркеса всю жизнь преследует первобытный страх перед тремя

взаимосвязанными, но абсолютно противоречащими друг другу явлениями: он боится умереть и быть похороненным (или хуже того, быть похороненным заживо), боится, что ему придётся хоронить других, и боится, как любой человек, что его не похоронят».

В конце октября 1947 года в той же газете «Эль Эспектадор» был опубликован второй рассказ Маркеса — «Ева внутри своей кошки». С ещё более отчётливой литературщиной, насквозь джойсовски-кафкиански-фолкнеровский. Но тоже вызвал похвалу.

«Читатели „Конца недели“, литературного приложения к газете „Эль Эспектадор“ от 28 октября 1947 года, — писал знаменитый Эдуардо Саламея, — отметили появление нового оригинального дарования с ярко выраженной индивидуальностью… Сочинения Гарсиа Маркеса просто ошеломляют неожиданной для его возраста зрелостью! Он пишет в новой манере, которую порождает малоизвестная, загадочная область подсознания…»

Ноябрьским вечером в кафе «Рим» произошло судьбоносное знакомство — Луис Вильяр Борда познакомил Гарсиа Маркеса с Плинио Апулейо Мендосой, которому не исполнилось тогда и шестнадцати и дружбе с которым было суждено продлиться всю жизнь. Вот как сам Мендоса вспоминает их встречу.

— А-а, уважаемый доктор Мендоса! — воскликнул Габриель, появившись в неком тропическом безвкусном, но с апломбом, облачении. — Как дела с лирической прозой? Я читал твой красивый рассказ о закате солнца в саванне. Мне понравилось.

— Правда? — зарделся юноша. — Ваш рассказ «Третье смирение» меня потряс!

— Чико, давай на ты! — отмахнулся польщённый Габриель и цапнул подошедшую официантку за ягодицу. — Ягодка, ты не хочешь со мной сегодня выспаться?

— Придурок! — хлопнула его по руке официантка, сотрясая пышными персями.

Гарсиа Маркес допил пиво, вытер салфеткой усы, попрощался и вышел из кафе. Вильяр Борда сказал Плинио, что этот Габо — прекрасный весёлый парень с реакцией игрока в бейсбол, но всем наговаривает на себя в университете: то он мазохист, то он анархист, то коммунист, то ему наследство колоссальное перепадает, то у него туберкулёз, то сифилис, то педик он или импотент, то гроза проституток, а писать вовсе якобы не умеет…

— Наговаривает, — заверил Луис. — Может быть, чтобы не сглазили — он суеверный малый.

Но наговаривал наш герой на себя лишь отчасти. Первый

курс университета Маркес, пропустивший больше половины лекций и семинаров, закончил, с трудом сдав государственное право своему земляку-преподавателю Альфонсо Лопесу Микельсену (будущему президенту Колумбии) и завалив статистику и демографию.

Отец ему не помогал, так что жил Габриель до крайности бедно. Он приучал себя не завтракать, по возможности через день обходиться без горячего блюда и даже кофе. Башмаки, у которых почти оторвались подошвы, он перевязывал тонкими незаметными, под цвет обуви бечёвками. Единственную рубашку застирал до дыр. «Я часто не мог пойти в кино, даже если очень хотелось, — вспоминал Маркес, — потому что билет стоил тридцать пять сентаво, а у меня было только тридцать. Хотел посмотреть бой быков, это стоило одно песо двадцать сентаво, но не мог, мне опять не хватало пяти сентаво. И так постоянно». В его необычной для боготинца манере одеваться — жёлтый растянутый свитер (вспомним жёлтую кофту молодого Маяковского), широкие выцветшие шаровары — было гораздо больше нищеты, чем желания бросить вызов или выделиться среди строящих из себя чопорных англичан столичных «качакос» (хотя, конечно, и последнее имело место). На небольшой гонорар от рассказов и полсотни песо, которые прислала мать, он накупил в боготинском универмаге одёжки в стиле «а-ля Кубана»: цветастую гуайяверу, какие носили модные кубинские музыканты и боксёры, оранжевый и лиловый галстуки и ещё более смелой раскраски носки. (Куба привлекала с юности — её имидж, созданный североамериканскими иллюстрированными журналами, — остров непобедимых шахматистов типа Капабланки, боксёров, красоток, живущего там Хемингуэя.)

Каникулы он провёл у родителей, споря с отцом о своём будущем, «трахая всё, что шевелится», чувствуя себя уже столичной знаменитостью. Он ещё более истощал, отпустил волосы, свисающие густые усы и стал похож на декадента.

«На нём лежит печать смерти», — сказала одна из его студенческих подруг, прочитав опубликованный в газете «Эль Эспектадор» за 17 января 1948 года его третий рассказ — «Тубаль-Каин выковывает звезду», в котором так же, как и в предыдущих, главной темой была смерть. «За четыре месяца он опубликовал три совершенно неординарных в русле прозы Колумбии рассказа, — писал критик Сальдивар, — и сам уже рассматривался как восходящая звезда». Подобным образом высказывались и другие критики. В университете был назначен диспут на тему: «Рассказы нашего соученика Г. Гарсиа Маркеса» и вывешена первая в его биографии афиша.

Девятого апреля 1948 года в тринадцать часов шесть минут произошло событие, не только фактическим, но и неким мистическим образом повлиявшее на дальнейшую судьбу нашего героя. В сотне шагов от пансиона, где он жил (в мегаполисе, коим тогда уже можно было считать Боготу, бывают ли такие совпадения спроста?), на Седьмой каррере, между авенидами Хименес-де-Кесада и 14-й улицей почти в упор из револьвера был застрелен политик Хорхе Эльесер Гайтан, лидер либеральной партии, поддерживаемый большинством населения и имевший все шансы стать президентом. Это заказное убийство, осуществлённое безработным шизофреником, а организованное и оплаченное олигархами, вызвало народный гнев. Начались массовые беспорядки: опрокидывали и поджигали автомобили, громили богатые дома, дорогие рестораны, магазины, владельцев расстреливали прямо на улицах и площадях… Возвращаясь с друзьями домой с места убийства политика (оттуда Гайтана, смертельно раненного, уже увезли в госпиталь), Маркес увидел, что их пансион горит. Вскричав, он хотел броситься спасать рукописи, последние деньги, но его младший брат Луис Энрике, друзья Хорхе Эспиноса, Хентиле Чименто и Хосе Паленсия (вместе гуляли всю ночь, переходя из одного борделя в другой) схватили и повалили Габо на землю, чтобы удержать.

Горели дома, слышались крики, стоны, выстрелы, даже взрывы гранат. По одной из версий Маркес в ту ночь тоже не удержался от погромов: схватил в одном из разгромленных офисов большую печатную машинку, вытащил на улицу Флориан и хотел разбить об асфальт, но лишь неловко уронил, не сумев поднять и грохнуть. И тут на помощь пришёл высоченный плечистый парень с большими сильными руками и пальцами пианиста. Словно баскетбольный мяч, поднял чью-то машинку над головой и с такой силой грохнул об асфальт (именно с этого начинали революционеры!), что каретка, клавиши, буковки разлетелись по всей улице.

— Ты кто, парень? — спросил восхищённо Габриель.

— Я кубинец, юрист и журналист, второй день в Боготе, — улыбнулся, отвечая с акцентом неожиданно высоким зычным голосом, взлохмаченный гигант. — Мы с друзьями приехали, чтобы провести здесь Конгресс латиноамериканской молодёжи — в пику Девятой Панамериканской конференции, проплаченной янки. Я знаю, они уже сейчас пытаются убийство Гайтана и все беспорядки свалить на нас, кубинцев! Я — Фидель Кастро, и ты ещё услышишь это имя, обещаю! Но пасаран! Они не пройдут! Венсеремос!

Они обнялись. Посольство Кубы было оцеплено вооружёнными солдатами. Фидель перемахнул через ограду, по нему дали автоматную очередь, но не попали.

Судя по записной книжке Гайтана, именно на 9 апреля на два часа дня была назначена его встреча с Фиделем Кастро. Естественно, консервативное правительство Колумбии и правая пресса уверяли, что кубинцы замешаны и в убийстве, и в заговоре с целью сорвать Панамериканскую конференцию и инициировать восстание.

Через много лет Маркес признавался, что в ту апрельскую ночь, бегая по Боготе, кому-то помогая, куда-то пробираясь, где-то прячась, что-то «реквизируя» (с братом и друзьями они ограбили магазин с разбитой витриной, Луис Энрике обзавёлся небесно-голубым костюмом, в котором много лет будет щеголять их отец, а Габо — красно-коричневым дорогим портфелем из мягкой телячьей кожи), он «многое понял».

И к утру, когда рассвело, у пруда в каком-то парке он пришёл к убеждению, что рассказы его далеки от действительности. Габо решил возвратиться к Карибскому морю, в Барранкилью, где прошла его юность, где была жизнь, которую он знал и о которой хотел писать. Он решил стать журналистом.

Вторая древнейшая профессия (к представительницам первой с отрочества был неравнодушен) сразу и навсегда захватила его. Маркес постепенно стал первоклассным, одним из лучших репортёров не только в Латинской Америке.

А начиналось всё в старинном пиратском городе Картахена, куда, не имея денег, на крыше почтового грузовика переехал Габриель из Барранкильи, где так же, как в столице, в связи с беспорядками временно был закрыт университет и почти не выходили газеты. Поначалу Маркес пошёл в гостиницу «Суиса», но хозяин отказался предоставить номер в кредит. До ночи Маркес бродил по Старому городу, обнесённому крепостной стеной, за полночь лёг на лавке на центральной площади, полиция его арестовала за нарушение комендантского часа, и

остаток ночи он провёл в камере за решёткой. Но судьба Маркеса хранила. 18 мая 1948 года в старинном районе Гетсемани, где обитали когда-то рабы, он встретил чернокожего писателя, журналиста, доктора Сапату Оливейю, с которым познакомился ещё в одном из кафе Боготы. Оливейя был автором нашумевшего романа «По ту сторону лица» и, скрываясь от политического преследования, бежал из столицы в Картахену, которая в ту пору была чем-то вроде свободного города. Выслушав рассказ Габо о событиях в столице, Сапата отвёл его в редакцию городской газеты «Эль Универсаль» и представил своему другу, учредителю и главному редактору Доминго Лопесу Эскариасу. Оказалось, что чуть ли не весь коллектив газеты «Эль Универсаль», которая выходила к тому времени чуть больше двух месяцев, но успела завоевать популярность среди молодёжи, обратил внимание на рассказы Габриеля, опубликованные в приложении к «Эль Эспектадор». Его приняли в штат на должность корреспондента-комментатора.

Уже через два дня в газете появилась восторженная передовица ответственного секретаря редакции Клементе Мануэля Сабалы, посвящённая их новому сотруднику. Заканчивалась статья не без пафоса: «Переполненный ностальгией и чистыми сентиментальными чувствами, Габриель Гарсиа Маркес воротился в родные пенаты и вошёл в наши университетские круги, заняв место студента факультета права, решив продолжить учёбу, которую блестяще начал в Боготе с превосходными оценками. Пытливый, жадный до познания нового, до учения, энергичный и отважный интеллектуал, Гарсиа Маркес в этот новый этап своей жизни не сможет отмалчиваться и расскажет на страницах нашей газеты о подавлении личности в Колумбии, явлении, которое конечно же не даёт ему покоя, будоражит воображение и совесть художника…»

Не так давно и у нас в СССР, и за рубежом бытовало мнение (во всяком случае, так считали студенты в Литературном институте имени Горького), что из плохого писателя может выйти отличный журналист, но наоборот — никогда. Это не так. Журналистика — другая профессия. Например, не обязательно, что из плохого режиссёра получится хороший актёр. Или из плохого политика — хороший золотарь. Случается. Но редко.

Мануэль Сабала, ответственный секретарь газеты, дал Габриелю первое редакционное задание: написать заметку на любую тему. Маркес разошёлся не на шутку, воображение разыгралось, пригодились и мечты детства, и рассказы деда и бабушки, и прочитанные книги, и способность писать, будто ткать цветистый яркий ковёр. Однако утром, прочитав его заметку на

десять страниц, Сабала (красивший волосы маленький манерный очкарик с брюшком, поговаривали, что гомосексуалист) хмыкнул, налил себе кофе, закурил, взял красный карандаш и стал править текст, вычёркивая абзацами витиеватости и красивости, свойственные многим начинающим. Габриель с обидой наблюдал. Для него казалось очевидно, что он не состоялся как журналист. Но ответственный секретарь дал следующее, более конкретное задание. Маркес взял газетную подшивку, просидел ночь, изучив стиль Сабалы, главного редактора и всей газеты, и выполнил задание. «Совсем другое дело», — отметил ответственный секретарь, дочитав. И пригласил отметить это «дело» в бар-ресторан на набережной за рыночной площадью, который журналисты-завсегдатаи, под утро выпивавшие там и подкреплявшиеся бифштексами или рисом с креветками и крабами, прозвали «Пещерой». Заправлял в «Пещере» необыкновенно красивый чернокожий атлет-гомосексуалист Хосе де ла Ньевес по кличке Снежный Джо, сразу проникшийся к Габито симпатией.

Двадцать первого мая 1948 года в новой рубрике «Точка. И с красной строки» (или «Новый абзац») появился первый очерк Маркеса — «Жители города…». Именно так, с многоточием. У начинающих немало многозначительных многоточий. Очерк, рассказывающий историю колониального городка Картахена-де-Индиас и его жителей, был столь живо написан, что сразу «зацепил» читателей, заставив запомнить имя автора.

Картахена-де-Индиас была основана испанцами в 1533 году на месте небольшой индейской деревушки. Поскольку место это представляло собой идеальный порт, новый город быстро стал форпостом испанской короны — против посягательств других морских держав, в первую очередь Англии и Франции. Через Картахену, которую Боливар много позже назвал «героическим городом», в Испанию текли потоки золота. «Именно из-за Картахены Южная Америка не говорит по-английски!» — с гордостью сообщают картахенцы. Но к середине XX века Картахена, отдав пальму первенства соседней бурно развившейся Барранкилье, стала похожа на женщину со следами былой красоты, живущую ностальгией, — это ли не почва для творчества?

Двадцать второго мая 1948 года, то есть на следующий же день после публикации исторического очерка, была опубликована заметка под странным названием «Не знаю, из чего состоит аккордеон». Ещё через пару дней — аналитическая статья «В то время как Совет Безопасности спорит…». Поначалу заметки, статьи, репортажи комментатора Гарсиа Маркеса появлялись в

газете «Эль Универсаль» по несколько раз в неделю — и всегда на главные, волновавшие большинство населения темы. Работа универсальным журналистом «Универсала» пришлась ему по душе, отвечала запросам его природного темперамента осмысливать, анализировать события и ситуации, его любознательности.

Нравился ему и образ жизни газетчиков, которых, как волков, ноги кормят. Случалось, весь день проведя на бегу, встретившись с десятками людей, срочные материалы он надиктовывал, стоя непосредственно у типографского станка, вычитывал гранки, подписывал номер к печати, после чего, уже под утро, отправлялся к девчонкам в весёлый дом мадам Матильды Ареналес «Койки напрокат» (хотя некоторые коллеги подозревали в эксцентричном, полубезумном, с лохматой шевелюрой, в канареечных носочках, ходящем вприпрыжку, то и дело подтанцовывающем Габо педераста), а к обеду следующего дня уже была готова очередная статья на животрепещущую, как требовали на газетных летучках, тему, и через несколько часов статью его обсуждал уже «весь город». Гонорары были условными — 32 сентаво за статью. Иногда у Маркеса было более полутора десятков публикаций в месяц, он получал около пяти песо, на что можно было купить несколько бутылок пива или «полтора раза» сходить к мадам. Но о деньгах он мало заботился: перебивался, угощали друзья, сердобольные девчонки. Важна была работа, встречи с людьми. Смолоду Маркес умел слушать — дар редкий для журналиста, к тому же латиноамериканца. Многие забулдыги, проститутки Картахены потом рассказывали биографам Гарсиа Маркеса, что Габо напоминал священника: смотрел в глаза и слушал так, что без особых расспросов с его стороны, без «залезания в душу», чего не терпят жрицы любви, как-то само собой выходило, что ему почти исповедовались.

С друзьями той поры, братьями де ла Эсприэлья, Оскаром и Рамиро, увлечёнными радикальным либерализмом и марксизмом, Маркес частенько посещал картахенские бордели (был расцвет проституции на Карибском побережье). Несколько очерков, опубликованных летом 1948 года, свидетельствуют о том, что наш герой увлекся по крайней мере одной из жриц любви, мало того — под её влиянием формировался его метод отображения интимной стороны жизни в творчестве. В тех очерках он откровенно изображал анатомию женского тела и уже по-маркесовски размышлял: «Представить только, что во всём этом однажды поселится смерть. <…> Только подумать, что от той боли, какую я испытываю, пребывая в тебе, вдалеке от собственной сущности, однажды найдётся навек исцеляющее

лекарство». Исследователи считают, что «и к лучшему, что картахенские матроны не читали „Эль Универсаль“, для них это было бы равносильно тому, чтобы пройтись голыми по площади Боливара».

В июне 1948 года Габриелю довелось выступить в роли священника. В небольшом городке Кармен-де-Боливар, неподалёку от Картахены, он долго и откровенно беседовал с людьми, уповавшими на Бога и готовившими религиозную манифестацию. Маркес, зная как репортёр политическую ситуацию, пытался отговорить людей выходить на площадь, уверяя, что это опасно, что Бог лучше услышит их молитвы в храме… Его не послушали. И мирная католическая манифестация в центре Кармен-де-Боливар была расстреляна. На следующее утро в газете «Эль Универсаль» появилась гневная статья с требованием официальных объяснений от правительства и наказания виновных в убийстве людей. Подпись автора — Гарсиа Маркеса — главный редактор в последний момент снял, статья вышла анонимно. Вскоре были опубликованы ещё несколько статей и интервью по поводу кровавых событий. Главному редактору Лопесу Эскауриасу позвонили двое мужчин, представились полковниками и потребовали, чтобы их «паршивая газетёнка» прекратила публикации о том, что произошло в Кармен-де-Боливар. Это была военная контрразведка. «Во-первых, мы уже обо всём сообщили читателям, — сказал главный Маркесу. — А во-вторых, важнее сохранить газету. И тебя. Ты ещё мальчик, а я знаю, как у нас бесследно исчезают люди. Пиши об искусстве, о литературе, которую любишь, о женщинах…»

Через месяц в «Конце недели», литературном приложении к газете «Эль Эспектадор», вышел четвёртый рассказ Маркеса с «говорящим» названием «Другая сторона смерти», в котором звучали отголоски расстрела религиозной манифестации, обретая уже некую библейскую значимость, глубину и глобальность, хотя внешне Маркес продолжал начатую ещё в нежном возрасте тему человеческой смерти. От опухоли в животе скончался один из братьев-близнецов, второй как бы становится его двойником и мысленно забирается на другую сторону смерти, чувствуя, «будто ударом топора ему отсекли половину туловища: не от этого тела… от другого, которое было далеко от него, которое вместе с ним погрузили в водянистый мрак материнской утробы и которое вышло на свет, поднявшись по ветвям старого генеалогического древа; которое было вместе с ним в крови четырёх пар их прадедов, оно шло к нему оттуда, с сотворения мира, поддерживая своей тяжестью, своим таинственным присутствием всю мировую гармонию. Возможно, в его жилах течёт кровь

Исаака и Ревекки, возможно, он мог быть другим братом, тем, который появился на свет, уцепившись за его пятку, и который пришёл в этот мир через могилы поколений и поколений, от ночи к ночи, от поцелуя к поцелую, от любви к любви, путешествуя, будто в сумраке, по артериям и семенникам, пока не добрался до матки своей родной матери». Маркес берётся за ключевые для Латинской Америки темы генеалогии и самоидентификации.

А однажды августовской ночью, когда он вычитал и отправил в набор очередную газетную статью, привиделся ему большой, как «Будденброки» Томаса Манна или «Гроздья гнева» Джона Стейнбека, роман обо всём, что хорошо знал: о детстве, о деде, о банановой лихорадке, о жестокости, об одиночестве… Габриель взял не полностью набранный, со смазанным шрифтом, приладочный лист газетной бумаги форматом А-2 и на обратной чистой стороне вверху крупно с нажимом написал: «La Casa». «Дом». Именно дом деда должен был стать главным героем романа-эпопеи. И писал до утра.

С тех пор Маркес упрямо работал над романом, притом писал, как и начал, на приладочных листах. Его часто стали видеть в обнимку с рулоном газетной бумаги на улицах, в сквере, в университете, где он возобновил занятия, в бодегитах по вечерам.

Подогрела вдохновение и командировка в Барранкилью, где когда-то заработал первые в жизни песо и где теперь, по слухам и публикациям, буквально кипел литературный процесс. Там он познакомился с молодыми, но уже известными поэтами, прозаиками, художниками, журналистами, собиравшимися (как и в Картахене!) в баре «Пещера» и именовавшими себя «Барранкильским обществом», а позже — *mamadores de gallo,* то есть «затейники, хохмачи». Маркес был польщён тем, что они слышали о нём. После литературной дискуссии, едва не закончившейся потасовкой, его взяли с собой в другой бар, третий, в легендарный публичный дом «У чёрной Эуфемии», в котором трудились девицы со всех континентов. Знакомство с хохмачами, объединившимися вокруг газеты «Эль Эральдо», произвело на Маркеса впечатление. Вернувшись в Картахену, он уговорил Сабалу создать при редакции литобъединение.

Сам Габриель в этом литобъединении каждую неделю читал новые главы из романа «Дом», который «разрастался угрожающими темпами и растекался по древу», как заметил Сабала. Маркес любил вслух читать свои произведения, чтобы сразу видеть эффект. Читал всем, кто соглашался слушать. Но самыми благодарными и эмоциональными его слушательницами по-прежнему были представительницы древнейшей профессии,

чаще всего из дома всеми уважаемой в городе мадам Матильды Ареналес «Койки напрокат». Зачитавшись, упиваясь ненаигранным смехом, слезами, аплодисментами, Габриель порой и забывал, зачем пришёл и ради чего вообще мужчины посещают подобные заведения. «У него хватало времени, чтобы писать статьи, рассказы и первый роман, — вспоминал в 1982 году после вручения Маркесу Нобелевской премии его друг Мендоса, — а также пить ром с дружками в шумных портовых тавернах до рассвета, пока контрабандисты с проститутками не отправлялись на своих баркасах к островам Аруба и Кюрасао. В этих людях было что-то от пиратов прошлых веков, и эта романтика влекла Габриеля».

Двадцать третьего января 1949 года в приложении к газете «Эль Эспектадор» был опубликован рассказ Маркеса «Диалог с зеркалом», в котором он вновь возвращается к теме, волновавшей великого Достоевского («Двойника» Достоевского он прочитал ещё на пароходе по пути в Боготу), — теме раздвоения личности, двойничества. Не исключены автобиографические мотивы: учась на юриста, Габриель ещё не решил, кем будет, и как бы раздваивался между юриспруденцией и журналистикой вперемежку с литературой.

В рассказе упоминается ящик Пандоры, в котором находились все бедствия человеческие и который она, созданная Гефестом в наказание людям за то, что Прометей похитил для них огонь у богов, из любопытства открыла. (Напомним, что по воле Зевса крышка ящика захлопнулась только тогда, когда на дне оставалась лишь надежда.) Возможно, принуждая героя рассказа вспоминать имя Пандоры, — «…это похоже на чей-то ящик… забыл слово…», — Маркес обращает читателей к знаковому стихотворению великого никарагуанского поэта-модерниста Рубена Дарио, творчеством которого восхищался с отрочества: его стихотворение «Лебеди» заканчивается словом «Пандора». Однако финал у рассказа «Диалог с зеркалом» не трагический, что становилось уже привычным для читателей Маркеса, а почти благостный: «Тёплый аромат почек под соусом достиг его обоняния… И ему стало хорошо — он почувствовал, как в душе у него воцаряется благостный покой: злая собака тайников его души завиляла хвостом».

Роман свой первый он писал запойно, иногда по пятнадцать-двадцать страниц в день. Это был поистине бурный поток, которым молодой писатель упивался! Ещё неопытный, он писал до изнеможения. В марте его «подкосила болезнь после стычки с Сабалой». Однажды ночью они сидели в «Пещере», Сабала

выговаривал Габриелю за то, что после поездок в Барранкилью, быть может, возомнив себя писателем, тот стал халтурить в журналистике и вообще вести себя как мальчишка.

— Вот скажи, Габриель, в своём шутовстве ты и не замечаешь, что Колумбия на глазах деградирует?..

Маркес в расстроенных чувствах напился и уснул на скамейке на Пасео-де-лос-Мартинес. Проснулся под тропическим ливнем. В тот же день резко, до сорока, поднялась температура, диагноз: двухстороннее воспаление лёгких, пневмония вдобавок к переутомлению. Из города Сукре, где с недавних пор жили родители, примчался на машине отец и увёз Габо к себе. На следующий день, 30 марта, поэт, художник Рохас Эрасо в прошедшем почему-то времени и едва ли не в тоне некролога написал в газете «Эль Универсаль» о болезни и отъезде молодого коллеги: «Гарсиа Маркеса нет с нами. И у всех в редакции такое чувство, будто в доме недостаёт родного брата…»

Болезнь была тяжёлой. Но за полтора месяца родители выходили сына. Отец лечил его в основном гомеопатическими средствами, в которые прежде сам Габо не верил. Друзья из Картахены присылали посылки с книгами — в частности, романами Фолкнера, под могучее величавое обаяние творчества коего юный хворающий Маркес, безусловно, попал.

Из беседы Плинио Апулейо Мендосы с Габриелем Гарсиа Маркесом (апрель 1982 года):

«— …Ты, Габриель, часто вспоминаешь „Царя Эдипа“ Софокла. Почему?

— „Царя Эдипа“, „Дневник во времена чумы“ Даниеля Дефо, „Первое путешествие вокруг земного шара“ Пигафетты, „Тарзана из страны обезьян“ Берроуза… А ещё я постоянно перечитываю Конрада, Сент-Экзюпери… Ведь перечитываешь только то, что тебе по душе. Что мне нравится в Сент-Экзюпери и Конраде? Единственное, что их объединяет, — это манера схватывать самую суть и говорить обо всём так спокойно, что реальная жизнь видится поэтичной даже в тех случаях, когда речь идёт о самых обыденных вещах.

— А Толстой?

— От него у меня ничего нет. Но я всегда полагал и сейчас полагаю, что лучший роман — это „Война и мир“.

— Ни один критик не обнаружил в твоих произведениях влияния упомянутых писателей, но постоянно видят в твоих книгах тень Фолкнера.

— Вообще-то я всегда старался ни на кого не походить. Я стремился не подражать, а, наоборот, всячески избегать схожести с авторами, которые мне нравились. Что же касается Фолкнера,

то настойчивость критиков и меня самого почти убедила. Да, я считаю Фолкнера одним из самых великих новеллистов всех времён и народов. Но критики устанавливают степень влияния таким образом, что я никак не могу их понять. В случае с Фолкнером аналогии скорее географические, чем литературные. Я убедился в этом, путешествуя по югу Соединённых Штатов…

— Ты не становишься отцеубийцей, отрицая определённое, вполне конкретное влияние на тебя Фолкнера?

— Я ставил перед собой задачу не имитировать, а разрушить Фолкнера».

«Разрушать» Фолкнера Маркес начал тогда, во время болезни, лёжа в гамаке, подвешенном между двумя манговыми деревьями на берегу речушки Мохана. Сначала — может быть, и болезнь тому виной — всецело попав в полон американца, о чём свидетельствуют черновики несостоявшегося, колоссального опуса «Дом».

Сочиняя первую повесть, Гарсиа Маркес сделал важнейшее для себя открытие — Макондо. И утвердился в истинности библейского постулата, что главное для человека — память смертная. После мучительных переделок он мощным мазком начал свою большую прозу: «Что до трупа Полиника, умершего жалкой смертью, то, говорят, Креонт вынес указ, чтобы никто из жителей города не хоронил его и не оплакивал, а оставили бы его без погребения, не почтив плачем, на лакомство хищным птицам…»

В Сукре Маркеса очаровало одно из местных преданий — о маркизе де Ла-Сьерпе, неземной красоты белокурой испанке, некогда жившей в далёком поселении Ла-Сьерпе («змея» в переводе). Обладая магической силой, она, вечная девственница, объезжала свои колоссальные владения, осыпая жителей дарами и исцеляя болящих. Прожив двести с лишним лет, в канун кончины Ла-Сьерпа приказала прогнать перед окнами весь свой рогатый скот, и это заняло девять дней и девять ночей, а сырая земля, истоптанная копытами, превратилась в болото Ла-Сьерпе, в котором она утопила несметные сокровища и секрет бессмертия. Было и другое предание — о соседке семьи Маркес Марии Амалии Сампайо де Альварес, глумившейся над образованием и культурой и бахвалившейся богатством; когда она умерла, ей были устроены пышные похороны. Эти предания позже легли в основу цикла превосходных очерков, а также вдохновили Маркеса на создание гениального литературного персонажа — Великой Мамы. Тогда же в Сукре — по одной из версий — он услышал и историю одиннадцатилетней девочки, которую бабушка заставляла отдаваться мужчинам за деньги

(прообраз Эрендиры).

Наконец Маркес выздоровел и вернулся в Картахену. В газете «Эль Универсаль» появилась здравица в его честь того же Рохаса, который написал в начале весны почти некролог. «В отчем доме на берегу тихой речушки Мохана наш товарищ Гарсиа Маркес закончил редактирование и поставил последнюю точку в рукописи романа, который скоро выйдет в свет, — „Скошенное сено“. Это серьёзная заявка на то, чтобы вывести Колумбию на бескрайнюю дорогу всемирного литературного процесса!»

Маркес делался городской знаменитостью. На него стали обращать внимание самые красивые женщины Картахены, а подружки из дома мадам Матильды порой обслуживали бесплатно, для смеха прося оставить его автограф у них на животе, груди или ягодице. К тому же он возобновил роман с бесподобной в постели, «способной заменить полдюжины проституток» Колдуньей. 5 июля 1949 года Габриеля вместе с его другом, адвокатом и писателем Рамиро де ла Эсприэлья включили в жюри конкурса «Мисс Картахена», и они были удостоены чести вручить короны и скипетры двум победительницам (в те годы конкурсы красоты пользовались чрезвычайной популярностью и проводились в каждом городе и даже селении Колумбии, Венесуэлы, Бразилии, Аргентины, Кубы). Вкусы Габриеля и Рамиро и в области литературы, и в области женской красоты были диаметрально противоположными: высокому тощему Рамиро нравились миниатюрные брюнетки, небольшого роста Маркесу же в ту пору — крупные блондинки со смелыми формами. Они загодя написали речи, а перед выходом на сцену по предложению Габо обменялись текстами. Публика каталась по полу от хохота, когда они с выражением зачитывали написанное друг другом. Этот эпизод войдёт в роман «Сто лет одиночества»: Хосе Аркадио Второй и Аурелиано Второй так же поменяются текстами выступлений.

Вскоре после конкурса был опубликован его репортаж под псевдонимом Септимус (взятым из романа Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй») — об избрании королевы красоты среди студенток. В нём есть почти марксистская сентенция: «Мы, студенты, открыли формулу идеального государства: мир и согласие между социальными классами; справедливая оплата труда; равномерное распределение прибавочной стоимости; роспуск парламентов, заседающих за зарплату; всеобщий отказ от участия в выборах».

Пообещав отцу, что закончит третий курс юридического факультета, и взяв под это у него деньги, Маркес прекратил сотрудничество с газетой «Эль Универсалы», где почти перестали

платить. Но нельзя сказать, чтобы он слишком усердствовал в учении: чуть ли не показательно, как бы в отместку отцу завалил медицинское право.

Тринадцатого ноября в литературном приложении к газете «Эль Эспектадор» появился новый рассказ Маркеса, один из самых загадочных в его раннем творчестве — «Огорчение для трёх сомнамбул». Мадам Матильда, хозяйка дома «Койки напрокат», довольно образованная, обладавшая чувством юмора, много лет обслуживавшая разных людей, в том числе и творческую интеллигенцию, сказала, что это про неё: «По ночам мы слышали неясный шорох её шагов, когда она проходила меж двух мраков, и случалось, не раз, лежа в кроватях, просыпались, слушая её таинственную поступь, и мысленно следили за ней по всему дому. Однажды она сказала, что когда-то видела сверчка внутри круглого зеркала, погружённого, утопленного в его твёрдую прозрачность, и что она проникла внутрь стеклянной поверхности, чтобы достать его».

«Габито, я толком не поняла, что ты имел в виду, — заметила мадам, трижды перечитав „Сомнамбул“. — Но ты прав: побольше непонятного, таинственного. Кто-то из мудрых людей ещё давным-давно сказал, что всё непонятное принимается за великое».

Выйдя после бурной ночи из дома мадам Матильды, он отправился на набережную подышать ноябрьским океанским воздухом. На баркасах и лодках возвращались рыбаки. Вставало солнце, посверкивали в первых платиновых лучах волны и крылья чаек, с криками сражавшихся за отходы ночного рыбацкого улова. Пахло рыбой, йодистыми водорослями. Неподалёку на парапете сидели двое молодых людей, один другому рассказывал о пиратах, затонувших кораблях, читал стихи никарагуанца Рубена Дарио, кубинца Николаса Гильена, перуанца Сесара Вальехо, француза Франсуа Вийона.

— Можно послушать? — спросил Габриель.

Через десять минут он и сам стал читать, помня наизусть сотни стихотворений. Дуэтом с незнакомцем они пропели строку «Дрожу от холода у самого огня…» из знаменитой баллады Вийона «Поэтическое состязание в Блуа». Разговорились. Оказалось, что заочно они знакомы, по публикациям в прессе — Гарсиа Маркес и Альваро Мутис, 26-летний богатый боготинец, поэт, объездивший много стран, топ-менеджер колумбийской авиакомпании «Ланса», привёзший из столицы своего друга, чтобы показать океан. Альваро пригласил Габриеля на чашку кофе в отель на набережной, где они с другом остановились. Пили кофе на балконе, разговаривали, читали друг другу стихи,

пели валленато под гитару… Боготинский друг Мутиса уехал, а поэты не могли расстаться двое суток, желая договорить, доспорить, дочитать. И подружились навсегда.

— Габо, то, что ты сделал, — сказал Альваро, дослушав повесть «Палая листва» до конца в затрапезном портовом баре, где оказались на третий вечер, — это серьёзно. Есть, конечно, что-то от Фолкнера, от Стейнбека. От Софокла. Даже от Гомера. Однако это уровень, старина! Но Колумбия — провинция. Тебе прорыв нужен. Масштаб. Хулио, мой друг детства, представляет в Колумбии аргентинское издательство «Лосада», слышал о таком?

— Конечно! — воскликнул Габриель. — Они самого Борхеса печатают!

— Так вот, я передам твою рукопись Сесару Вильегасу. Тебя ждут великие дела! — торжественно провозгласил полупьяный Альваро.

— Но я её недоделал…

— Ступай и доделывай, карахо!

Друзья ещё выпили, обнялись. И Маркес помчался домой, чтобы успеть ещё раз пройтись по рукописи. Утром Альваро Мутис улетел с папкой под мышкой в Боготу.

А Габриель, написав очередную статью в «Эль Универсаль», начав рассказ-стихотворение со странным (они все у раннего Маркеса странные) названием «Глаза голубой собаки» и реминисценцией из Вийона — «Дрожу от холода у самого огня», — послонявшись мечтательно по Картахене, уехал встречать Новый год в Барранкилью.

Литературным крёстным нашего героя можно назвать драматурга, писателя, переводчика, энциклопедиста Рамона Виньеса, под обаяние таланта и крыло которого Габриель попал в Барранкилье. Сам Маркес, будучи уже всемирно знаменитым, назовёт общение с Рамоном Виньесом — которого вывел в романе «Сто лет одиночества» в образе «учёного каталонца», «старика, прочитавшего все книги на свете», — «лучшим часом нашего суточного существования на земле».

Познакомился с ним Маркес, когда увлёкся Достоевским, Кафкой, в частности, темой двойничества. Но в ту пору наметилось и более глубинное и судьбоносное, как показало время, «раздвоение» художника: между приверженностью к капитализму, в котором родился и вырос (с младых ногтей стремясь хорошо зарабатывать, быть принятым в обществе богатых, власть имущих), и симпатией к левым силам, к которым вела судьба ещё до случайной встречи в Боготе с будущим вождём кубинской революции Фиделем Кастро (сам факт встречи,

возможно, и из области фантастического реализма). К тому же дед-полковник был антиимпериалистом, в колледже в Сипакире преподавали члены компартии…

И в этом его «раздвоении» также сыграла роль окружающая его литературная среда, друзья и наставники: священник отец Альфонсо, проповедовавший едва ли не коммунистические идеи, маститый колумбийский прозаик Хосе Феликс Фуэнмайор и особенно Рамон Виньес. Именно благодаря эрудиту-республиканцу Виньесу, поклоннику русской литературы, встречавшемуся во время гражданской войны в Испании с советскими офицерами и журналистами, как будто бы в молодости даже имевшему роман с русской, обращали на Советский Союз внимание и молодые литераторы. Сам Виньес не бывал в СССР и имел условное, из газет и рассказов, романтическое представление о далёкой огромной стране, о построении в ней социализма и коммунизма. И это он первым настоятельно порекомендовал Габриелю «внимательно, с карандашом в руке» прочитать работы Ленина, Троцкого, Сталина, имевшиеся в книжном магазине «Мир», где наряду с бодегами и барами «Пещера», «Колумбия», «Хапи» собирались члены барранкильской литературной группы.

— …Сами эти понятия — коммунизм, социализм, коммунистические идеи — в Латинской Америке совсем не то, что в Азии, в Кампучии, например, или в Китае, или у вас в Восточной Европе, — говорила мне на Кубе Мину Мирабаль. — Марксизм, ленинизм, троцкизм у нас — не столько даже форма протеста, сколько способ обратить на себя внимание, быть экстравагантным, в моде. Многих уже не устраивает христианство, считается, что в современном виде оно устарело, стало прагматичным, буржуазным, и для установления справедливости на земле необходимо нечто гораздо более радикальное!

— Но Маркеса-то как к коммунизму занесло?

— Чтобы ответить на этот вопрос, надо изучить всю его жизнь. И сам менталитет латиноамериканца, колумбийца в частности, — только за последние триста лет на родине Габо произошло двести военных переворотов!..

Россия — посредством литературной классики золотого века — к концу 1940-х годов уже занимала значительное место в сознании Маркеса. Хотя в молодости, конечно, больше — Соединённые Штаты. Но именно благодаря старому каталонцу-республиканцу в Габриеле зародилась мечта побывать в СССР, «лучше всего в качестве журналиста», как посоветовал Рамон Виньес, чтобы «всё увидеть собственными глазами». Этой мечте

суждено было сбыться через семь лет.

Кстати, профессор Мартин, «официальный» биограф Маркеса, сообщает, что «в Барранкилье и поныне ходят слухи, будто каталонец был гомосексуалистом, и, похоже, они небеспочвенны. И Сабала, и Виньес — наставники Маркеса в карибский период его жизни — оба, вероятно, были гомосексуалистами». Что-то в этом древнегреческое.

Фонтаном шампанского и пиратским бочонком кубинского рома встретили приехавшего из Картахены Габо хохмачи из «Пещеры». 17 декабря 1949 года в крупнейшей городской газете «Эль Эральдо» было опубликовано приветствие: «Габриель Гарсиа Маркес решил доставить себе изысканное удовольствие — провести отпуск именно в нашем несравненном городе!.. Уйдя от сомнительных обещаний сотворить реальную действительность, Гарсиа Маркес сумел, однако, разгадать одну из вечных загадок бытия — человеческую душу, и сделал это с обезоруживающей откровенностью. Хочется верить, что Габриель Гарсиа Маркес, или, как зовут его друзья, Габито, и есть тот выдающийся романист, которого так долго ждала наша страна». Подписал приветствие некий Пакк — это был псевдоним заместителя главного редактора газеты «Эль Эральдо» Альфонсо Фуэнмайора. И через несколько дней Габриеля пригласили на штатную работу в редакцию этой газеты, предложив вести постоянную колонку под названием «Жираф».

Отметив с хохмачами Рождество и Новый год, 5 января 1950 года Маркес опубликовал в «Эль Эральдо» первый материал — «Святой в середине нашего века». В течение полутора лет он печатался в «Эль Эральдо» каждые два-три дня, всего около двух сотен публикаций, что сделало газету популярной. В основном писал о Барранкилье.

— Ребята, я не графоман, — говорил он друзьям в «Пещере», — но хочу, чтобы и ваш город, как Картахена, имел историю! Греет душу и то, что гонорарии выше, чем в картахенском «Универсале», аж по четыре песо за передовицу, сумасшедшие деньги! Я понимаю, что деньги — это помёт дьявола…

— Хорошо сказано!

— …но уже не чувствую себя нищим журналюгой и могу угостить всех «У чёрной Эуфемии»!

Город Барранкилья был основан на берегу реки Магдалена в некотором отдалении от моря в начале XVII столетия. И до XX века был глухой, почти отрезанной от столицы и других городов Колумбии провинцией. Но когда углубили русло реки, построили

порт, перестроили университет, ставший вторым по значению в стране, Барранкилья ожила, помолодела. И Гарсиа Маркес стал её певцом, биографом. Мало кто знал лучше Маркеса историю и людей Баррио Чино — китайского квартала, карреры Прогрессо, бульвара Боливара, площади Святого Николаса, где устраивались карнавалы, не говоря уж о доме терпимости «У чёрной Эуфемии» (который будет увековечен в романе «Сто лет одиночества», превратившись в бордель Пилар Тернеры).

«Барранкилья дала мне возможность стать писателем, — скажет он через много лет. — Там было больше иммигрантов, чем в любом другом уголке Колумбии, — арабы, китайцы… Открытый город, полный умных людей, которым плевать на то, что они умные».

Но дом «У чёрной Эуфемии» находился почти на окраине города. За полтора песо в день Габо снимал четырёхметровую комнатушку в другом борделе, четырёхэтажном «Небоскрёбе», расположенном напротив редакции «Эль Эральдо». Хозяйкой дома терпимости была Каталина ла Гранде, но душой — Мария Энкарнасьон, в которой перемешалась французская, испанская, итальянская, еврейская, негритянская, шведская и даже русская кровь. «Блудница от Бога», как она выражалась, Мария давала Габриелю уроки французского. Многие черты мадам Матильды из Картахены, Каталины, Марии и чёрной Эуфемии, внучки раба из Африки, просматриваются в героинях Маркеса. (Возможно, читателю покажется, что уделяется излишнее внимание борделям. Но без них «портрет художника в молодости» был бы неполным. И потом, как пояснила мне коммунистка-феминистка Минерва Мирабаль: «У нас в Латинской Америке относятся к домам терпимости терпимо, без паники. Ну, типа того, что иногда муж посещает тренажёрный зал. И тоже повод жене задуматься».)

По воскресеньям Мария исповедовалась, замаливала грехи, свои и девочек, и причащалась в церкви на западном берегу Магдалены, в которой священник мог слушать её исповеди часами, при этом интересуясь и пикантными профессиональными подробностями. Габриель подружился с Марией, она тоже ему многое рассказывала, а он читал ей свои сочинения. Она стала первой слушательницей рассказа «Глаза голубой собаки». И утешала Габо, когда он получал отказы в публикациях.

Маркес жил на третьем этаже, окно комнаты выходило на улицу Реаль и заслонялось миндальным деревом. На террасе каждого этажа был общий душ, где мылись девицы и их клиенты. Перегородки между комнатками были фанерные, хорошо слышались не только страстные стоны, но и постельные

разговоры жриц любви с мужчинами, порой весьма откровенные, что особенно ценил молодой писатель. Но чаще, по воспоминаниям самого Маркеса, в этом так называемом «Нью-Йорке или Empire State Building было тихо и спокойно, слышался лишь неясный шёпот, шелест занавесок и скрип металлических пружин кроватей… Окно выходило на солнечную сторону, и когда крона миндального дерева не спасала, то казалось, что тебя поджаривают на сковородке… Этот отель-бордель служил пристанищем в основном для морских волков. Стены, украшенные колоннами из алебастра, позолоченная лепка орнамента, патио, украшенный фресками с языческими мотивами… Там было хорошо». К тому же Мария бесплатно стирала и гладила ему рубашки и брюки. Другая проститутка, Офелия, в прошлом секретарь-машинистка (усердно выполнявшая задания шефа, подкладывавшего её под нужных ему по бизнесу людей, и, в конце концов, окончательно сменившая профессию), согласилась, тоже бесплатно, перепечатывать ему рукописи; в летний зной она сидела за машинкой голой, и клиенты, застав её за этим интеллектуальным занятием, повышали плату. Да и со всеми блудницами Маркес дружил. Они его кормили, поили, снабжали туалетными принадлежностями (порой он использовал их парфюм, а когда друзья и коллеги обращали на это внимание, усмехался многозначительной усмешкой мачо: мол, бурная была ночка). Он за это писал жрицам письма, пел валленато, болеро, романсы. А иногда с одной или несколькими проститутками Габо разъезжал в поисках клиентов по ночному городу на машине их знакомого таксиста Эль Моно (Обезьяны) Гуэрры. С той поры Маркес всегда говорил, что нет людей более здравомыслящих, чем таксисты.

Деньги тратились на книги, бары, кино, дансинги, бордели, и не всегда удавалось заплатить за комнату. К нему поднимался огромный чернокожий портье-вышибала Дамасо Родригес и намекал, что оплату за проживание задерживать неэтично. Габриель вытаскивал из-под кровати потёртый кожаный чертёжный тубус, в котором держал газетные листы, исписанные текстом романа «Дом», и с пафосом восклицал: «Бумаги, которые ты видишь, друг Дамасо, — самое дорогое, что у меня есть в жизни. И они стоят несравнимо больше жалких полутора песо. Забирай их пока, а завтра я принесу деньги, даю слово!» (Гарсиа Маркес не мучился в поисках имён для героев, как это бывает у писателей, а брал из жизни. Многажды он использует имена своих друзей из Барранкильи. Героя рассказа «Наши не воруют» зовут Дамасо, рассказ так и начинается: «Домой Дамасо вернулся под утро».) «У него один глаз был стеклянный, и он всякий раз

очень смущался при виде проституток, — рассказывал своему другу-биографу Мендосе Маркес. — Я с нежностью вспоминаю, как он аккуратно укладывал мои полтора песо в ящик конторки и передавал ключи от комнатки, стыдливо опустив глаза».

Первое время в Барранкилье Габриель жил с надеждой на Буэнос-Айрес, Байрес (как его называют аргентинцы), который был литературной Меккой испаноязычной Америки. Он засыпал и просыпался с мечтой о своей книге, закрывал глаза и видел её обложку, обонял сладостный запах типографской краски… И страшно переживал, когда получил резко отрицательный отзыв на рукопись «Палая листва» от президента аргентинского издательства «Лосада» Гильермо де Торре, который советовал «не трогать литературу, а заняться чем-нибудь другим, например, рубкой мяса». Казалось, литературная карьера закончилась, не начавшись: де Торре считался авторитетом в издательском мире, к тому же являлся зятем самого Борхеса.

— Да говнюк он, а не авторитет! — утешала постояльца Мария. — Карахо! Каброн, козёл вонючий! А ты настоящий писатель, чико, поверь! Но будь мужчиной!

Поддерживали и друзья — Альваро Сепеда Самудио, Херман Варгас, Алехандро Обрегон, Альфонсо Фуэнмайор.

— Не убивайся ты так, Габо! — говорил Альфонсо в мясной лавке, где они встретились как-то утром. — Это жизнь. Было бы странно и даже противоестественно, если бы сразу взяли и выпустили твою книгу, притом не где-нибудь, а в Байресе! А ты раскис, запил, не вылезаешь из постелей девиц «Небоскрёба», будь он неладен! Как баба, нюни распустил!

— Я — как баба?! — взвился Маркес. — Этот зятёк Борхеса советует заняться рубкой мяса!

Он вытащил из кармана письмо де Торре, разложил на пне, взял топор и на глазах у изумлённых, забрызганных кровью мясников изрубил на мелкие кусочки.

— Браво, Габо! — зааплодировал Фуэнмайор-младший. — Вот это поступок мужчины.

Но Маркесу понадобилось ещё немало времени, немало публикаций и положительных, порой восторженных откликов на них, чтобы вновь поверить в себя. Он публиковался почти ежедневно, набивая руку, «пристреливаясь». Он писал о вояже Эвы Перон по Европе, где она проявляла показушные, по мнению Маркеса, акты благотворительности (для чего порой совершала половые акты с миллионерами, о чём ещё расскажем): «Эва озолотила итальянский пролетариат — как министерство финансов. Чем не хвастливая демагогия в международном масштабе?..» 29 июля 1950 года Маркес опубликовал очерк «Илья

в Лондоне», в котором запанибратски, как о приятеле, рассказывал о визите советского писателя-пропагандиста Ильи Эренбурга в Лондон. Писал он и о неприемлемости франкизма — хотя Колумбия в то время вопреки ООН первой из стран Латинской Америки восстановила полноценные отношения с Испанией.

Пятого мая 1950 года он листал аргентинский журнал «Эль Графико» (тоже из разряда случайностей), и взгляд задержался на странном объявлении: «Сеньоры, представители фирмы мопедов „Микрон“! Посылаю Вам на проверку мопед „Микрон“. На нём я совершил путешествие в четыре тысячи километров по двенадцати провинциям Аргентины. Мопед на протяжении всего путешествия функционировал безупречно, и я не обнаружил в нём ни малейшей неисправности. Надеюсь получить его обратно в таком же состоянии». И подпись: «Эрнесто Гевара Серна».

Это был будущий революционер-авангардист Эрнесто Че Гевара.

— …Знаешь, Габо, — говорил за столиком кафе «Колумбия» бывший узник концлагеря Рамон Виньес, — писатель обязан быть мужественным. Не мужественных нет среди состоявшихся писателей.

— Вы имеете в виду, что мне следовало бы отправиться на какую-нибудь войну, учитель?

— Война, конечно, опыт для писателя. Пример — Сервантес, Толстой, Хемингуэй. Но надо и в жизни, в творчестве быть мужественным. Держать удар, как выражается модный у вашего поколения Хем.

— Вам тоже не понравилась моя повесть?

— Честно говоря, есть над чем потрудиться. Хотя «Палая листва» гораздо лучше громоздкой и не организованной, рыхлой толщины твоего так называемого романа «Дом». «Палая листва» вся оттуда, и я с удовольствием констатирую, что в тебе — наряду с трудолюбием и упорством есть главное для писателя: умеешь отбирать яркое, значимое, владеешь секретом интересности. Умеешь сокращать, вырезать. А писатель должен быть по отношению к себе и хирургом. У меня до отъезда есть немного времени. Я мог бы с тобой посидеть над рукописью. Но чтобы нам говорить на одном языке, не испанский или каталонский имею в виду, а язык литературный, хотя в общем-то и с каталонским акцентом, почитай, если интересно, мои ранние вещи. Незрелые, я их давно никому не показывал. Но недавно перечёл, после твоей рукописи «Дом», и подумал, что тебе может быть кое-что полезно. Ты слышал про зодчего Антонио Гауди?

— Нет, — признался Габриель.

— Съезди когда-нибудь в Барселону! Да и вообще советую тебе пожить в Европе. Ты поймёшь, что оттуда, из Европы, и родина видна лучше. Я очень люблю Колумбию, она для меня, сам знаешь, вторая родина. Но здесь ты со своей одарённостью будешь вариться в собственном соку. Вдалеке выкристаллизуется главное. А не главным художнику заниматься не стоит — жизнь коротка. Это понимал Гауди. Католическая мистика коего, кстати, сопряжена и переплетена с карнавалом, то возносящим, то низвергающим в греховную пучину, то становящимся иррациональной субстанцией по ту сторону добра и зла… Иногда Гауди мне представляется святым, а порой — демоном искушающим. Но художник обязан искушать — иначе неинтересен!

Проходили строчку за строчкой, удаляя лишнее, делая прозу более упругой, мускулистой, точной, разряжая её. Виньес посоветовал не использовать настоящие названия мест действия, как делал это Маркес по журналистской привычке. По мнению каталонца, вымышленные названия должны были усилить мистический оттенок повествования. И настаивал на том, чтобы Габо старался писать проще, прозрачнее. Чтобы от сложной барочной, эклектичной манеры, которой вполне овладел, двинулся в сторону ясности, почти к устной речи.

— Попробуй написать что-нибудь под Хемингуэя. Я не большой его поклонник, но он, надо признать, добивается предельной, но в то же время насыщенной простоты, и это его сильная сторона. Напиши о том, что лучше всего знаешь. Возьми простой сюжет. Пусть это будет рассказ, а потом что-то более пространное, может быть, повесть. Потом усложнишь, но уже на другом уровне, другом витке, когда станешь мастером.

Виньес отбыл на теплоходе в Барселону, «дабы пред Всевышним предстать на родине и лечь в родную землю». В финальной части романа «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркес напишет: «Горячая любовь учёного каталонца к печатному слову являла собой смесь глубокого уважения и панибратской непочтительности. Эта двойственность сказывалась даже в его отношении к своим собственным писаниям. Альфонсо, который, намереваясь перевести рукопись старика на испанский язык, специально изучил каталонский, однажды сунул пачку листков в карман — карманы у него всегда были набиты вырезками из газет и руководствами по необычным профессиям — и в какую-то ночь потерял все листы в борделе у девчушек, торговавших собой с голодухи. Когда учёный каталонец узнал об этом, он, вместо того чтобы поднять крик, как боялся Альфонсо, сказал, помирая со

смеху, что это вполне естественная для литературы участь».

Так оно на самом деле и было. В борделе «У чёрной Эуфемии» интеллектуал, эстет Альфонсо Фуэнмайор, увлекшись философией в будуаре и новой девочкой, потерял единственный экземпляр драмы Рамона Виньеса, его «опера магна», над которой каталонец трудился многие годы. В мусорном баке на другой день друзья отыскали лишь несколько измятых, закапанных страниц.

О своих друзьях той поры Гарсиа Маркес скажет журналистам: «Они сыграли решающую роль в моём интеллектуальном становлении, они направляли мои читательские пристрастия, справедливо ругали, хвалили, помогали во всём. Я очень серьёзно отношусь к мужской дружбе, ценю её. И самое важное то, что, как бы ни поворачивалась жизнь, как бы ни складывалась судьба того или другого, они продолжают оставаться моими лучшими друзьями. <…> Наши споры до хрипоты, взаимные резкости и грубости оставались между нами. Мы забывали о них, лишь только вставали из-за стола или когда среди нас появлялись другие люди. В кафе „Лос Альмендрос“ однажды поздно вечером я получил урок, который запомнил навсегда. Мы с Альваро пришли позже и с ходу включились в жаркую дискуссию о Фолкнере. За столом сидели и Херман с Альфонсо, но они хранили гробовое молчание. А мы с Альваро спорили и орали, как сумасшедшие. И пили, конечно, мы всегда пили. В тот вечер, разогретый выпитым, в качестве последнего аргумента по поводу „Шума и ярости“ (роман Фолкнера. — *С. М.),* кажется, я привстал и ударил Альваро кулаком в лоб. Мы уже готовы были выбежать на улицу, чтобы там, за углом, продолжить дискуссию один на один, но Херман Варгас остановил нас и невозмутимо заявил: „Первый, кто встанет из-за стола, навсегда проиграл в споре“. Мы были самонадеянны, энергичны, отважны, мы готовы были противостоять миру! Единственной женщиной, допущенной в компанию, была Мейра Дельман, директор замечательной библиотеки департамента… Ещё мы дружили с Сесилией Поррас, которая наезжала из Картахены. Девушка свободных взглядов, она принимала участие в наших ночных эскападах, её не смущало, что кто-то может увидеть её в ночном бистро среди пьянчуг или в доме терпимости, которые она также посещала вместе с нами…

У нас были обширные знакомства — среди ремесленников, механиков из ближайших гаражей, мелких служащих… Наиболее запоминающимся был квартирный вор. Он приезжал на наши сборища ближе к полуночи: гитаны в обтяжку, теннисная майка,

бейсболка и чемоданчик с его профессиональными инструментами — набором отмычек и всем прочим… Наши встречи, наши споры были, безусловно, плодотворны, хотя и отпугивали многих. Однажды на исходе ночи мы так разорались, споря о Дос Пасосе, что одна из гетер квартала Гато Негро крикнула нам из окна: „Эй, парни, если вы и трахаетесь так, как вопите, то цены вам нет, и я готова давать бесплатно!“ Нередко мы встречали рассвет в безымянном борделе китайского квартала, где жил и работал Орландо Ривера. Он писал фрески. Никогда в жизни не встречал более эксцентричных людей. У него была козлиная бородка и взгляд лунатика. С детства он почему-то внушил себе, что он — кубинец. Кончилось тем, что он в конце концов им стал. И это ему шло. Он говорил, ел, стригся, одевался, танцевал, любил женщин, как кубинец. И умер кубинцем, так никогда и не увидев Кубы. Он практически не спал. В какой бы поздний или ранний час мы к нему ни завалились, он, взъерошенный, испачканный краской, иногда отупевший от марихуаны, спускался со стремянки и что-то лепетал на языке мамби… Я был самым бедным в нашей компании, часто без крыши над головой в буквальном смысле слова, и чаще, скрывшись в глубине „Рима“, писал до рассвета».

Был в их компании и художник Алехандро Обрегон, родившийся в Барселоне, учившийся в Париже, работавший водителем бульдозера на нефтепромысле, переменивший множество профессий и женщин, которых у него было несколько тысяч. «О его подвигах в Барранкилье слагают легенды: как он в одиночку расправился с тремя американскими морскими пехотинцами, оскорбившими проститутку; как он проглотил дрессированного сверчка своего собутыльника; как он с помощью слона, позаимствованного в местном цирке, снёс дверь любимого бара; как изображал из себя Вильгельма Телля, вместо стрел используя бутылки…» Обрегон прославился своей агрессивно-мистической живописью — писал акул, разъярённых быков, барракуд, стервятников, шакалов, пожирающих падаль… «Я многому научился у его живописи, — скажет Маркес. — Прежде всего — умению передать состояние тревоги, не всегда объяснимой, и бескомпромиссности, а также сочетаемости несочетаемых элементов».

Как всегда и всюду, друзья были старше Габриеля — на пять — восемь, а то и пятнадцать лет. В молодости ему неинтересно было с ровесниками, он интеллектуально обгонял их.

Прочитав третий, отточенный с помощью учителя и набело перепечатанный жрицей-машинисткой из «Небоскрёба» вариант повести «Палая листва», Херман, наиболее придирчивый и

саркастичный из друзей, заверил, что это будет удар под дых академической, покрытой плесенью прозе Испании и Латинской Америки.

— Рамон Виньес, уезжая, советовал мне писать проще, — сказал Габриель. — Даже рубануть под Хема.

— А что значит под Хема? — спросил Альфонсо. — «Прощай, оружие!» написать или «Иметь и не иметь»? Фолкнера я люблю больше, но и Хем самобытен, подделать сложно.

— Не «Оружие». А рассказ я бы мог сделать, — вошёл в раж Габриель. — Спорим на пузырь!

И, как бы исполняя завещание каталонца, Маркес сел за «простой» рассказ в стиле Хемингуэя. О том, что хорошо знал. Получился рассказ «Женщина, которая приходила в шесть» — о немолодой проститутке, убившей «человека, потому что он ей стал омерзителен после того, как она переспала с ним, и не только он, но все, с кем она ложилась», и попросившей безнадёжно влюблённого в неё честного бармена Хосе соврать полиции, чтобы обеспечить ей алиби. Рассказ построен на диалоге, состоящем из коротких рубленых фраз, и с по-хемингуэевски драматическим подтекстом, с его навязчиво-однообразными «сказал, сказала, сказал…». Габо победил в пари, друзья проставились в борделе бутылкой кубинского рома (в приморские бордели были прямые контрабандные поставки, таможенники мзду брали тем же ромом и услугами девочек).

Понравился рассказ и Марии из «Небоскрёба». Но она неожиданно обиделась, что вызвало смех хохмачей, расслаблявшихся после трудового дня.

— Габо, этому веришь, так бывает в жизни, — сказала Мария; углы её полных, ярко накрашенных губ опускались при улыбке, что придавало видавшей виды блуднице схожесть с готовой заплакать девочкой. — Но скажи, ты меня описал: «Он увидел её густые волосы, обильно смазанные дешёвым жирным лосьоном. Увидел опавшую грудь в вырезе платья»? Тебе не стыдно? Во-первых, я не смазываю волосы дешёвым лосьоном. А во-вторых, это у меня-то опавшая грудь?

— Что ты, Мария! — отпирался Габриель. — Это для правдоподобия. Пойми, только в журналах для мужчин, которые у вас здесь листают клиенты, все женщины с большой упругой грудью и торчащими сосками. Но это не литература!

— Нет, Габо, я не согласна с тем, что в книжках герои должны быть непривлекательными. Ты в кино давно не был? Сходи, посмотри «Любовь и смерть», там такие женщины! А бюст у меня, как ты видишь, ещё ого-го! Но это про меня — она обещает Хосе привести заводного медвежонка, а ты прекрасно

знаешь, что я собираю медвежат.

По совету того же «учёного каталонца» Виньеса в конце апреля 1950 года хохмачи из «Пещеры» начали выпускать литературный еженедельник «Хроника». Главным редактором стал Альфонсо, ответственным секретарём и художником — Габриель. В «Хронике» печатались статьи, рецензии, обзоры современной литературы, беседы с писателями, переводные с французского и английского языков рассказы. Для нас «Хроника» знаменательна тем, что наряду с газетой «Эль Эральдо», в которой за 1950 год было опубликовано более полутора сотен материалов Гарсиа Маркеса, послужила как бы предтечей и стартовой площадкой его будущим великим произведениям. С начала июня стали публиковаться фрагменты романа «Дом» как отдельные рассказы с «говорящими» ныне названиями: «Дом семьи Буэндиа», «Дочь полковника», «Сын полковника», «Возвращение Меме», а также оригинальные законченные рассказы: «Глаза голубой собаки», «Женщина, которая приходила в шесть», «Ночь, когда хозяйничали выпи» — рассказ-метафора, основанная на поверье, что выпи выклёвывают глаза тем, кто подражает их крику.

Рассказ «Женщина, которая приходила в шесть» — это аргумент в споре с Альфонсо по поводу того, может ли Габо или не может сочинять детективные истории. Маркес вспомнил, как их друг художник Обрегон пытался найти натурщицу для картины. Друзья стали ему помогать и вскоре нашли фактурную проститутку, согласившуюся позировать голой. Попросив Обрегона написать от её имени письмо моряку в Бристоль, она пообещала, что на другой день придёт, но — исчезла. В определённом смысле рассказ можно назвать и ремейком рассказа Хемингуэя «Убийцы».

Основой рассказа «Ночь, когда хозяйничали выпи», вызвавшего восторг у самых предвзятых ценителей, стало (как, впрочем, и многих рассказов) одно из посещений борделя «У чёрной Эуфемии». Конечно же друзей влекли туда прежде всего девочки, как бывалые, так и свеженькие (по очереди «снимая пробу» с новых девиц, они таким образом снова и снова «братались»). Хотя Фуэнмайор будет утверждать, что наведывались не к «жалким существам, которых в постель с мужчинами заставлял ложиться голод», а для того, чтобы купить бутылку рома за тринадцать песо и посмотреть, как американские моряки бродят по борделю меж обитавших там выпей, будто потеряли своих партнёрш и готовы потанцевать с краснопёрыми болотными птицами. Как-то раз Маркес там задремал, а Альфонсо растолкал его и сказал: «Гляди, чтобы выпи не

выклевали тебе глаза!» А существует еще и поверье, что выпи ослепляют детей, принимая их глаза за рыб. И Габо выскочил из борделя, помчался в редакцию и написал рассказ о посещении борделя тремя приятелями с выклеванными выпями глазами. Написал просто так, чтобы заполнить пустое место в «Хронике». Рассказ вышел гениальный.

Отпраздновав с друзьями Рождество, написав десяток очерков впрок, получив в редакции авансом шестьсот песо, Маркес уехал в Картахену, куда к тому времени перебралась его семья. Новогодним подарком стал мебельный гарнитур, который он купил для родительского дома.

Он надеялся восстановиться в университете, на чём настаивал отец, но узнал, что окончательно отчислен. В ответ на его заявление ректор показал журнал посещаемости, в который Габриель долго уныло смотрел. «Студент Гарсиа Маркес очень часто пропускал лекции, — пишет литературовед Жак Гилар в исследовании жизни и творчества писателя. — На третьем курсе он тридцать семь раз пропустил занятия по гражданскому праву и двадцать одну лекцию по испанскому и индейскому праву, не посещал семинары. Провалившись на трёх экзаменах, Гарсиа Маркес был исключён с третьего курса, но узнал об этом лишь четырнадцать месяцев спустя, вернувшись из Барранкильи в Картахену».

Дома отец устроил разнос. Габриель Элихио кричал, что сын — ничтожество, негодяй, что он, отец, всю жизнь его тащил, содержал и надеялся на то, что Габо станет путным, состоятельным человеком, а не нищим репортёришкой захудалой газетёнки, где платят гроши, но даже их репортёришка тратит на выпивку и шлюх. Сын оправдывался, но отец требовал, чтобы он забирал свою паршивую мебель или деньги за неё и убирался из дома, в дармоедах нужды нет.

— Щелкопёр! Борзописец! Ты так и не понял, что надо овладеть профессией, которая нужна людям: инженер, архитектор, связист, врач, фармацевт!

Мать (было это вскоре после их совместной поездки в Аракатаку, о которой речь пойдёт ниже) пыталась заступиться, говорила, что её подруги слезами обливаются над рассказами Габито. Но Габриель Элихио был неумолим:

— Ты такой же фанфарон и фантазёр, как твой дед! Тоже мне, вояка! Он только и жил прошлым! А что, спрашивается, они добились в той «Тысячедневной войне»?!

Крикнув матери, что очень её любит, саданув дверью, Габриель ушёл из дома. Четырнадцать лет они с отцом не

разговаривали. Но отец всё-таки помогал, в частности, по блату устроил в контору переписчиком населения — появляться на работе можно было лишь в дни зарплаты.

Жил Габо у друзей, в борделе мадам Матильды «Койки напрокат», иногда ночевал на письменном столе в редакции «Эль Универсаль», в которой снова стал публиковаться, продолжая сотрудничать и с барранкильским «Эль Эральдо» и писать для «Хроники», но всё реже. Подрабатывал учителем испанского в колледже.

Мадам Матильда познакомила Габриеля с другим своим клиентом — коммерсантом Гильермо Давила, который оказался поклонником Маркеса, и ради интереса неожиданно предложил финансировать газету, но с условием, что Габриель станет её главным редактором. Название газете дали странное — «Компримидо», что можно перевести лишь приблизительно: «Спрессованная» или «Таблетка». Сам Гильермо стал директором-администратором восьмиполосной, форматом в двадцать четыре дюйма газеты, выходившей тиражом пятьсот экземпляров и обходившейся коммерсанту в двадцать восемь песо без учёта гонораров главного редактора и единственного автора Гарсиа Маркеса (который их так ни разу и не получил).

«„Компримидо“, — гласила передовица первого номера, увидевшего свет 18 сентября 1951 года, — одна из самых маленьких газет на свете. Но питаем надежды, что скоро она станет большой и заметной. Что даёт нам право надеяться? Плачевное состояние колумбийской журналистики. Дефицит бумаги, утлая реклама, мизерные тиражи сыграют нам на руку — малоформатная газета будет иметь успех! Мы приветствуем конкурентов и всю нацию и берём обязательство ежедневно отправлять обществу срочные телеграммы-молнии».

Но пафоса и запала хватило ненадолго — через шесть дней газета прекратила выходить.

Вскоре состоялось то путешествие Гарсиа Маркеса, которое и много лет спустя, уже на исходе восьмого десятка подводя итоги, он назвал «главным событием своей творческой и жизни вообще».

К нему приехала мать.

«…В ней что-то изменилось, я не сразу её узнал. Это естественно, если учесть, что за свои сорок пять лет она рожала одиннадцать раз, то есть десять лет была беременна и как минимум ещё столько же кормила детей грудью… Прежде всего, даже не обняв меня, мать сказала в своём обычном церемонном духе:

— Я пришла просить тебя об услуге — съездить со мной продать дом».

Ни Габриель, ни его мать не могли и предположить, что обычное на первый взгляд путешествие, продлившееся всего пару дней, станет отправной точкой долгой, насыщенной множеством событий жизни. Определяющим. Судьбоносным. С подросткового возраста его память, чувства были направлены больше в будущее, чем в прошлое. Воспоминания о далёком городке детства ещё не были окутаны идеальным флёром ностальгии и не преломлялись призмой творчества. Он видел его таким, каким он был — местечком на берегу реки, которая мутными потоками перекатывала белёсые округлые валуны, похожие на яйца доисторических динозавров. Миром, где жизнь была прекрасна, где всё было знакомо и все были знакомы друг с другом. Вечерами, особенно в декабре, когда дожди кончались и воздух был свеж и прозрачен, заснеженные вершины Сьерра-Невады казались ближе к банановым плантациям, протянувшимся вдоль реки. И можно было видеть фигурки индейцев, которые с мешками за спиной двигались цепочками, как муравьи, по крутым склонам. Они постоянно жевали и сосали коку, которая вносила иллюзию разнообразия и даже кратковременной радости в их однообразную тяжёлую жизнь. Дети там мечтали поиграть в снежки из вечных снегов горных вершин, тогда как ужасающая жара, особенно в полдень, заставляла взрослых ныть, жаловаться, даже плакать, как будто они впервые в жизни испытывали такую жару. Много раз Габриель слышал рассказы о том, что железную дорогу «United Fruit Company» вынуждена была строить ночами, потому что днём невозможно было прикоснуться ни к инструментам, ни к шпалам.

Единственным средством передвижения из Барранкильи в Аракатаку было небольшое моторное судно, которое ходило по каналу, прорытому рабами ещё в эпоху колонизаторов. «Ветры в тот год были такими яростными, что, прибыв в речной порт, я с трудом уговорил маму подняться на раскачивающееся судно, — вспоминал Маркес. — Тем более что у неё с детства была боязнь воды, качки, кораблей. Погрузка на борт была сложной: много народу, люди с багажом, скот в клетках, свиньи визжали на весь порт, кричали петухи, блеяли бараны, давка, споры и стычки за место на деревянных скамьях на палубе… Те, кому везло, умудрялись подвешивать тут и там гамаки. У кают отирались несколько проституток, своим видом показывавших, что за билет готовы заплатить лишь натурой. Мы с мамой поднялись на борт в последний момент. Все каюты уже были заняты, у нас не было гамаков и мне с трудом удалось найти пару свободных стульев в центральном холле, где мы и должны были провести ночь. <…> В порту я купил кое-какую еду, самые дешёвые сигареты, в

которых табак напоминал солому, и на корабле, укрывшись от ветра, прикуривая, как всегда, одну сигарету от другой, погрузился в чтение романа „Свет в августе“ Фолкнера, в то время самого авторитетного демона из тех, кому я был предан…»

Та ночь на корабле была ужасной. Ветер, дождь, сменяющийся кровожадными москитами, тошнотворная влажная жара, окутывавшая еле ползущее судно, волнения и беспрерывное движение пассажиров, безуспешно пытавшихся где-нибудь хоть ненадолго прикорнуть… Мать сидела неподвижно, застыв в кресле. А вокруг кипела и кишела ночная жизнь. Вставали, уходили в каюты проститутки с клиентами, возвращались, их уводили вновь, слышались тихие разговоры, торг, обсуждения цен и способов удовлетворения… Уходили, вновь возвращались, с трудом двигая натруженными бёдрами… «Я думал, что это всё маму возмутит. Но она, погодя, лишь тихо сочувственно промолвила: „Бедные девочки. Что им приходится терпеть, чтобы немного заработать и выжить“. К полуночи я дочитал „Свет в августе“…»

Он был потрясён романом. В том числе и тем, что первоначально роман назывался «Dark House» — «Тёмный дом». «Дом»… Уже закончив работу над рукописью, Фолкнер изменил название: «Свет в августе». Сам он так это объяснял: «В середине августа в Миссисипи бывает несколько прохладных дней, когда внезапно возникает предощущение осени и свет как-то особенно сверкает и искрится, будто приходит не из сегодня, а из глубины времени… просто отблеск света, более старого, чем наш».

Маркес думал о библейских символах романа — наиболее явственных, по крайней мере более отчётливых, выпуклых, чем в других романах Фолкнера. (И это, обратим внимание, наложило отпечаток на всё творчество Гарсиа Маркеса, которое во многом пронизано библейскими символами, аллитерациями, метафорами.) Если Лина Гроув для Фолкнера — олицетворение язычества, вневременной гармонии, «сияния более древнего, чем христианская цивилизация», то другой главный герой романа, Джо Кристмас, символически соотнесён с самим Иисусом Христом. Самая его фамилия (буквально в переводе с английского: Рождество Христово), инициалы (J. C. = Джизус Крайст, Иисус Христос), возраст (тридцать три года) вызывают ассоциации с Новым Заветом. И в сюжете сонм параллелей: Кристмаса предаёт его ученик, Кристмас изгоняет торгующих из храма, неделя проходит со дня убийства Джоанны Берден до Страстной пятницы, когда Кристмас прекращает побег… Сам мотив распятия и мотив «света — тьмы»…

Под впечатлением Фолкнера, глядя в темноту на

поблескивающие в лунном свете чёрные волны, Маркес думал о том, что, так никакому ремеслу и не научившись, бросил учёбу с иллюзорной надеждой жить в будущем за счёт своих книг. Он курил отсыревший табак, глубоко затягиваясь, поглядывал на дремлющую рядом мать и, как заклинание, повторял про себя слова Бернарда Шоу: «Я бросил учиться и никому не говорил о том, что чувствовал: мотив, силы, успех моей жизни — во мне».

«Потом мы опять спорили о моём будущем, — вспоминал Маркес, — мать говорила, что в Барранкилье, увидев меня в стоптанных сандалиях на босу ногу, худого, приняла за нищего, я объяснял, что так удобней… Она прервала спор не потому, что мои аргументы её убедили, а потому что захотела в туалет, но усомнилась в его санитарной безупречности. Я спросил у шкипера, нет ли места почище, но он ответил, что и сам пользуется общим нужником. И заключил, будто продекламировал Конрада: „В море мы все равны“. Мать удалилась, а вышла, едва сдерживая смех. „Представь себе, — сказала она, — что подумает твой отец, если я вернусь из нашей поездки с дурной болезнью“».

Дедовский дом они продали неожиданно удачно, за семь тысяч песо — крестьянину, выигравшему крупную сумму денег в лотерею (по другой версии, дом удалось продать лишь через много лет). Но суть не в этом.

«— Мы приехали в Аракатаку, — рассказывал Маркес в интервью Варгасу Льосе, — и я увидел, что всё там было вроде бы по-прежнему, только немногое изменилось; произошёл как бы поэтический сдвиг. Я убедился в том, в чём нам всем доводилось убеждаться: улицы, которые раньше казались широкими, теперь стали узкими, дома были не такими высокими, как мы себе воображали, они были всё те же, но источенные временем и запустением; через окна мы видели, что и обстановка в домах прежняя, только обветшала за пятнадцать лет. Это был раскалённый и пыльный посёлок. Стоял жуткий полдень, в лёгкие набивалась пыль. Мы с матерью шли, словно сквозь мираж: на улице не было ни души, лишь бродячие собаки и стервятники. Мы дошли до аптеки на углу, в ней сидела и шила какая-то сеньора. Мать вошла, приблизилась к этой женщине и сказала: „Как поживаешь, кума?“ Та подняла голову — они обнялись и проплакали полчаса. Они не сказали друг другу ни слова, а только плакали. В этот момент у меня возникла мысль на бумаге рассказать о том, что предшествовало этой сцене… Я понял, что хочу быть писателем, никто не сможет мне в этом помешать и осталось одно: попытаться стать лучшим писателем на свете».

Опубликовав еще несколько материалов и рассказ «Зима»

(впоследствии переименует в «Монолог Исабели, которая смотрит на дождь в Макондо»), Габриель прекратил сотрудничество с газетой «Эль Эральдо». «Монолог Исабели…» был прелюдией к повести «Палая листва», но Маркес решил выделить его в отдельный рассказ. В нём уже отчетливы мотивы главных тем его творчества — одиночества и странностей, происходящих со временем, которое, по Маркесу, имеет обыкновение сжиматься, растягиваться, возвращаться вспять. Заканчивается рассказ так: «В воздухе угадывалось присутствие кого-то невидимого, улыбающегося в темноте. „Боже мой! — подумала я, смущённая этим сдвигом времени. — Теперь я бы ничуть не удивилась, если бы меня позвали на мессу, которую отслужили в прошлое воскресенье“».

В марте 1952 года в руки Маркеса случайно попала чилийская газета «Диарио Аустраль» (он всегда с интересом читал газеты и журналы других латиноамериканских стран) с заметкой: «Два аргентинца эксперта-лепролога путешествуют по Южной Америке на мотоцикле». В ней рассказывалось о двух молодых студентах-медиках Альберто Гранадо и Эрнесто Геваре, которые ездят по лепрозориям. «Из Аргентины мы направились в чилийскую провинцию Мендоса, где некогда жили предки моего друга Эрнесто по отцовской линии, — рассказывал корреспонденту газеты студент Гранадо. — Мы посетили несколько гасиенд, наблюдая за тем, как укрощают лошадей и как живут гаучо, потом повернули на юг подальше от андских вершин, непроходимых для нашего двухколёсного Росинанта. Мотоцикл беспрестанно ломался, мы больше волокли его на себе. Останавливаясь на ночлег в лесу или в поле, мы зарабатывали средства на питание случайными подработками: мыли в ресторанах посуду, лечили крестьян или выступали в роли ветеринаров, чинили радиоприёмники, работали грузчиками, носильщиками или матросами. Обменивались опытом с коллегами, посещая лепрозории, где имели возможность отдохнуть от дороги. Мы не боимся заражения и испытываем участие к прокажённым, желая посвятить жизнь их лечению. Мечтали посетить лепрозорий на острове Пасхи, но узнали, что корабль туда надо ждать полгода. Побывали в Перу, познакомились с жизнью индейцев кечуа и аймара, заглушающих голод листьями коки. Несколько дней провели на развалинах древнего города инков Мачу-Пикчу — расположившись на площадке для жертвоприношений старинного храма, стали пить мате и фантазировать. „Знаешь, старик, — шутил я, — давай останемся здесь. Я женюсь на индианке из знатного инкского рода, провозглашу себя императором и стану правителем Перу, а

тебя назначу премьер-министром, и мы вместе осуществим социальную революцию“. Но мой друг Эрнесто Гевара, задыхаясь в приступе астмы, ответил серьёзно: „Нет, Миаль, революцию без стрельбы не делают!“».

Газета «Эль Эспектадор» опубликовала фоторепортаж об этих студентах-медиках Геваре и Гранадо, прибывших по Амазонке в Колумбию на плоту «Мамбо-Танго», построенном для них благодарными прокажёнными лепрозория Сан-Пабло. «Фотографируя и ведя дневники, студенты-романтики проплыли мимо порта Летисия, из-за чего пришлось приобретать лодку и возвращаться уже с бразильской территории, — сообщалось в репортаже. — Имея подозрительный вид, оба товарища угодили за решётку. Начальник полиции, будучи болельщиком, знакомым с успехами в футболе сборной Аргентины, освободил путешественников, узнав, откуда они родом, в обмен на обещание тренировать местную футбольную команду. Что с успехом и проделал доктор-футболист Эрнесто Гевара, и команда победила в финальном матче районного чемпионата, а благодарные болельщики купили студентам билеты на самолёт до Боготы».

Габриелю хотелось познакомиться с этим интересным и, судя по фотографиям, симпатичным аргентинцем Эрнесто Геварой. Но в тот раз жизнь их развела — по заданию шефа Вильегаса Маркес должен был открывать офис-базу в Сьенаге, некогда столице «банановой лихорадки», где жили его дед и бабушка до Аракатаки и где произошёл массовый расстрел забастовавших рабочих, и на некоторое время поселился там.

И оттуда вместе с композитором Рафаэлем Эскалоной — который разъезжал по стране в поисках народных мотивов, песен и вовлёк в это Габриеля, интересовавшегося историческими фактами, мифами, сказками, притчами, легендами, — они объездили Сесар (там в марте 1953 года Маркес прочёл в газете о смерти в далёкой Москве Иосифа Сталина и заспорил с друзьями о роли в истории этого политического деятеля, победившего Гитлера), Гуахиру, Риоаче… География передвижений его будущих героев часто совпадает с их тогдашними маршрутами. Например, тем же путём, по департаменту Гуахира, проедет несчастная, замученная ненасытными крестьянами и солдатами героиня «Невероятной и печальной истории о простодушной Эрендире и её бессердечной бабке». Маркес упорно выискивал знавших его деда-полковника и бабушку людей, подробно их расспрашивал, записывал правдоподобные и не очень истории…

Были и замечательные встречи. «То, что в детстве я слышал от деда и бабушки, обрело тогда новый смысл, — вспоминал Маркес. — Однажды мы с Рафаэлем пили пиво на террасе

единственного погребка в селении Ла-Пас. Подошёл крепкий мужчина в широкополой ковбойской шляпе, в крагах и с кобурой на поясе. Эскалона побледнел и представил нас друг другу. Он показался мне симпатичным парнем. Протянул сильную руку, крепко пожал мою и спросил: „Вы имеете какое-нибудь отношение к полковнику Маркесу Мехия?“ — „Я его внук!“ — ответил я с гордостью. „Тогда выходит, ваш дед убил моего деда. Меня зовут Лисандро Пачеко“. — „А вашего деда звали Медардо Пачеко Ромеро…“ — „Именно так его и звали. Сорок пять лет назад в селении Барранкас ваш дед, полковник Николас Рикардо Маркес Мехия…“ — „То был поединок“, — напомнил я. „И всё же ваш дед отправил моего на тот свет“, — закончил Пачеко и попросил разрешения сесть за наш стол. „Лисандро, друг, не вороши прошлое, прошу тебя, — обеспокоенно сказал Рафаэль. Он, конечно, не напрасно боялся. — Лисандро, выпей с нами пива, а мне дай пострелять из твоего револьвера. Хочу проверить, не разучились ли в городе стрелять“. — Рафаэль расстегнул кобуру на поясе Лисандро и вынул оружие. „Стреляй сколько хочешь, патронов у меня навалом“, — сказал с улыбкой Лисандро и попросил принести себе кружку пива. Когда Рафаэль разрядил барабан, Лисандро сунул руку в карман галифе и вынул пригоршню патронов. „Дайка и я постреляю“. Рафаэль нерешительно протянул револьвер Лисандро. Тот стрелял лучше Рафаэля, а потом они предложили пострелять и мне, но я отказался. Я предложил выпить ещё пива. Они расстреляли все до последнего патрона, а потом мы с Лисандро устроились у него в фургоне и пили тёплый бренди в память о наших дедах. Закусывали холодным, плохо прожаренным мясом козлёнка. Однако Эскалона окончательно успокоился, только когда Пачеко обнял меня и сказал: „Вижу, ты отличный парень, не брезгуешь общаться с контрабандистами. Давай ещё по одной!“ Мы гуляли три дня и три ночи и расстались друзьями. Прошло пять лет, и я описал в „Рассказе о рассказе“ эту встречу и историю поединка двух настоящих мужчин…»

Поездка была плодотворной и весёлой. И — знаковой, как многое в жизни Гарсиа Маркеса. Притом не только из-за чудесной встречи с Лисандро, который потом всюду сопровождал Габриеля и Рафаэля и, выпив, то и дело приговаривал: «А всё-таки, друг мой Габо, твой дед убил моего дедушку, убил…» Шеф Хулио Сесар Вильегас прислал Габриелю — с пометкой: «Учись!» — несколько выпусков североамериканского журнала «Life» на испанском языке, в которых была опубликована только что переведённая с английского повесть «Старик и море».

Немолодой уже Хемингуэй нанёс удар молодому писателю

(как и многим из поколения Маркеса во всём мире), от которого тот не мог оправиться по крайней мере десятилетие. Это был настоящий нокаут. Во-первых, поразили простота, краткость, точность, ясность повести-притчи, которую написал великий янки, живущий на Кубе. Габриель наконец-то понял, что имел в виду «учёный каталонец» Виньес в своих последних напутствиях. Во-вторых, возникло желание сжечь свой показавшийся теперь унылым и чрезвычайно многословным роман «Дом». Но от этого желания, слава Богу, он удержался. И, в пятый раз перечитав повесть от первого абзаца: «Старик рыбачил один на своей лодке в Гольфстриме. Вот уже восемьдесят четыре дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы. Первые сорок дней с ним был мальчик…» — до последнего, приводившего в неизменный восторг, в экстаз: «Наверху, в своей хижине, старик опять спал. Он снова спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы», — Габриель скакал по комнате, хлопал себя по ляжкам и твердил: «Ай да коньо, этот Хем, ай да карахо!»

В июне 1953 года под командованием генерала Рохаса Пинильи в Колумбии был совершён очередной государственный переворот. И вскоре после переворота Хулио Сесар Вильегас, бывший либеральный перуанский министр, был арестован и посажен в главную тюрьму страны «Модело» в Боготе.

Вернувшись в Барранкилью, Маркес недолго проработал в «Насьональ» и согласился на предложение своего покровителя и друга Мутиса (возглавившего отдел PR филиала североамериканской нефтяной корпорации «Эссо») — переехать в столицу и поступить в штат самой престижной газеты страны «Эль Эспектадор».

Мутис купил ему авиабилет с открытой датой. Но Маркес, ни разу в жизни не летавший на самолёте, не уверенный в своей готовности бросить друзей и родных и вообще не убеждённый в верности этого шага, билет потерял. Когда Альваро Мутис в начале января позвонил ему из кабинета главного редактора «Эль Эспектадор», Габриель сказал, что билет подло вытащили из кармана на трибуне во время боя быков. По настоянию Мутиса — написавшего Маркесу в резком письме, что если тот не решится на поворот в судьбе, то останется провинциальным журналистишкой и сопьётся или подхватит в портовом борделе сифилис, — редакция выслала новый билет.

Хохмачи из «Пещеры» провожали Габриеля, обойдя все бодеги и бордели. Уговаривали остаться, мотивируя тем, что здесь он звезда, а в столице никто. Когда он всё-таки убедил друзей и проституток в том, что ему необходимо в столицу, выяснилось, что лететь он панически боится, и стал упираться.

Понадобилось влить в него ещё бутылку рома, чтобы взвести, уже слабо вменяемого, по трапу. «Как на эшафот», — невесело заметил Альфонсо.

Мутис встретил друга в столичном аэропорту «Течо» вдрабадан пьяным, с ничтожным, перевязанным жгутом чемоданчиком и двумя пакетами в руках. Заплетающимся языком Габриель объяснил, что в этих пакетах — его будущее, не исключено, что Нобелевская премия (там были всё те же приладочные газетные листы, исписанные романом «Дом», и очередной вариант «Палой листвы»). И попросил друга помочь ему найти ночлежку или простенький бордельчик. В машине по дороге из аэропорта Мутис сообщил, что руководство газеты заказало в честь приезда Гарсиа Маркеса торжественный ужин в пятизвёздном отеле и что жить он будет у него.

— Ни костюма, ни галстука, ни туфель приличных у тебя, естественно, нет, — утвердительно произнёс Альваро.

Икнув, Габриель инфернально улыбнулся и махнул рукой вдаль.

«Внешне более разных людей, чем эти двое, трудно представить, — пишет профессор Мартин. — Мутис — высокий, элегантный, с лисьими повадками; Маркес — маленький, щуплый, неряшливый… В политике они всегда стояли на противоположных полюсах. Мутиса — он прямо-таки пафосный реакционер, монархист в стране, которая является республикой вот уже почти двести лет, — по его собственным словам, „никогда не интересовали политические события, произошедшие после падения Византии от рук язычников“, то есть после 1453 г. А Маркес позже зарекомендует себя как поборник идей эпохи после 1917 г.: коммунистом он никогда не был, но коммунистическое мировоззрение будет ближе ему по духу, чем любая другая идеология».

Прошёл месяц после торжественного ужина, прежде чем новый главный редактор «Эль Эспектадор» Гильермо Кано пригласил Габриеля к себе.

— Итак, сеньор Гарсиа Маркес, — сказал редактор, обрубив гильотинкой кончик сигары и раскуривая её, — я готов к разговору с вами. И вот что предлагаю: поступить на штатную должность редактора основного выпуска газеты с ежемесячным окладом в девятьсот песо.

— В месяц?! — воскликнул изумлённый Маркес. Он не зарабатывал столько и за полгода.

Постепенно Маркес реанимировал в Боготе старые знакомства, установил новые. Он быстро делался душой

компании, на вечеринках исполнял под гитару валленато, нравился девушкам. Лучшими друзьями Габо стали Альваро и его красавица-жена Нанси, а также каталонец — будто в память Виньеса — Луис Висенс, основатель Киноклуба Колумбии. Мутис продолжал готовить Габриеля к светской жизни. Чем-то это напоминало пьесу «Пигмалион». Альваро учил делать дамам (от которых в карьере многое зависит) комплименты, завязывать галстуки, пользоваться столовыми приборами, зубочистками и т. д. Жена Альваро, Нанси, музыковед, завзятая театралка, водила Габо на модные спектакли, концерты, с её подачи он стал ведущим газетной колонки «Кинематограф в Боготе. Премьеры недели».

Маркес писал заметки, передовицы, комментарии, рецензии, брал интервью, правил и переписывал чужие тексты, что-то даже фотографировал, принимал участие в вёрстке, дежурил. Но специализировался на репортаже. Вскоре репортажи его стали излишне, как показалось некоторым, художественными, более напоминающими новеллы. И как-то репортёр старой закалки, заведующий редакцией Сальгар, отведя Маркеса в сторону, посоветовал: «Габриель, ты лихо пошёл. Но послушай старика: сворачивай шею своему лебедю литературы, он мешает истинной журналистике!»

Этот разговор каким-то образом стал известен в редакции, разгорелась полемика. Во все времена между литературой и журналистикой существовала ревность, порой противостояние. А в «Эль Эспектадор» работали высокопрофессиональные, известные писатели и журналисты, часть их встала на сторону молодого, другая часть — на сторону «зубра». На летучках кое-кто стал критиковать, а то и громить репортажи Маркеса. Его упрекали в недостаточной информативности, оперативности, в излишней красивости и образности, не всегда касающихся темы, даже слишком живых диалогах. Маркес обратился за поддержкой к своему старшему другу Эдуардо Саламея Борда, многолетнему ведущему газетной рубрики «Город и мир».

Эдуардо много лет проработал с Сальгаром и уважал его как журналиста, но в этом споре вступился за Маркеса и перетянул на свою сторону главного редактора Гильермо Кано. Не публично, а в частном разговоре у себя в кабинете Кано поддержал Маркеса, сказав, что сухая журналистика уже не находит отклика у читателей, им хочется чего-либо поживее — это видно из писем и из того факта, что с приходом в газету Габриеля тираж растёт. «Но главное, уважаемый Сальгар, что мы имеем дело с настоящим писателем. Уверен, Габо в будущем — первый писатель Колумбии, он прославит нашу страну, мы будем гордиться, что

работали с ним». Сальгар вынужден был согласиться, полемика улеглась, а Маркес получил в редакции карт-бланш. И вскоре он уже пусть робко, с опаской, но всё же стал причислять себя к «нижнему среднему классу». К тому же его имя вот-вот должно было появиться в титрах короткометражного экспериментального фильма «Голубой омар», который собирался снимать по сценарию Маркеса Альваро Сепеда.

Девятого июня 1954 года его едва не застрелили. Маркес возвращался из тюрьмы «Модело», куда отнёс передачу своему перуанскому другу Вильегасу (которого большинство друзей и знакомых сразу после ареста забыли). На авениде Хименес де Кесада проходила мирная демонстрация студентов. Маркес по привычке репортёра подошёл, чтобы прочитать лозунги и посмотреть, нет ли кого из знакомых. И тут на площади появились солдаты во главе с офицером, выстроились в ряд и сразу открыли огонь на поражение. Габриель успел спрятаться в подъезде какого-то дома. После этого события он окончательно решил быть левым и стал гораздо активнее содействовать компартии деньгами. (Он и прежде помогал подпольной ячейке КПК взносами, и это примечательно, так как до определённого времени брал деньги у отца, едва сводившего концы с концами со своим многочисленным семейством и любовницами.)

Маркес вошёл в партийную ячейку газеты «Эль Эспектадор», исправно посещал партсобрания. Но от активной деятельности — организации забастовок, манифестаций, а если понадобится партии, то и террористических актов — уклонялся. Учитывая то, что Маркес был хоть и молодым, но уже известным журналистом влиятельной газеты, сам генеральный секретарь компартии Колумбии Хильберто Виейра решил его всё-таки не мытьём, так катаньем привлечь к конкретным делам. Он пригласил журналиста к себе домой на стаканчик рома и в застолье заметил, что коли Габриель не желает принимать участия в активных действиях, то и в ячейке ему не место. Но предложил рассерчавшему репортёру более эффективное сотрудничество: самую свежую и точную информацию о деятельности КПК и обо всём, что с ней связано, получать лично от него, иными словами — из первых рук. «Это не было обычной вербовкой, — писал Сальдивар. — Коммунисты понимали, какое значение может иметь поддержка ведущего репортёра „Эль Эспектадор“». Маркес согласился. Об условиях договора история умалчивает.

В начале августа его отправляют в Медельин, где произошло стихийное бедствие, погибло много людей. И там Маркес уже на всю Колумбию прославился — выяснилось, что он мастер экстремального репортажа с мест чрезвычайных происшествий. За

материал «Итоги и восстановительные работы после катастрофы в Антиокии» в фойе редакции его встретили аплодисментами. Затем в газете стали появляться репортажи и очерки спецкора на самые разные темы: «От Кореи до реальности», «Трёхкратный чемпион делится своими тайнами», «Великий колумбийский скульптор, усыновлённый Мексикой»…

Однажды Маркес пришёл к главному редактору с опубликованным очерком о чудом спасшемся моряке и предложил написать нечто вроде документальной повести. Гильермо Кано, как всякий газетчик любивший свежие, эксклюзивные новости, не сразу, но согласился, и лишь потому, что верил в талант и нюх Габриеля на сенсации. Три недели спустя «Эль Эспектадор» начал публиковать «Рассказ не утонувшего в море», серию очерков, написанных как бы от первого лица — Луиса Алехандро Веласко.

Умирая от голода и жажды, он провёл в море десять дней. Диктатор Пинилья сделал из этого целую пиар-кампанию себе: мол, вот какие у нас моряки! Но Маркесу удалось уговорить моряка рассказать правду. Дело оказалось в том, что на военном корабле по приказу генерала — близкого друга диктатора Пинильи перевозился контрабандный груз: холодильники, стиральные машины, электроплиты. Разыгрался шторм, экипаж смыло волной, сумел спастись только Алехандро Веласко…

После публикации «Рассказа», поднявшего тираж «Эль Эспектадор» чуть ли не вдвое, отношение правительства к газете резко ухудшилось. Моряк Веласко был уволен из военно-морского флота. Раздражение у властей вызвал и автор «Рассказа не утонувшего в море», которого они без труда вычислили.

Через много лет, в 1970-м, очерки были переработаны Маркесом и вышли в Барселоне отдельной книгой. Если обратиться к ним сейчас, то на первый взгляд они покажутся написанными для журнала о путешествиях и приключениях. Первый очерк цикла — «О моих товарищах, погибших в море» — начинается весьма обыденно, с констатации факта:

«22 февраля нам объявили, что мы возвращаемся в Колумбию. Мы уже восемь месяцев торчали в порту Мобил, в штате Алабама, где ремонтировалось электронное оборудование и обновлялось вооружение нашего эсминца „Кальдас“… Мы занимались тем, чем обычно занимаются на суше моряки: ходили с девушками в кино, собирались в портовом кабачке „Джо Палука“, пили виски и устраивали потасовки…» Всё понятно, привычно. Даже более чем. Но всё же с первых же абзацев, когда исподволь зарождается необъяснимое пока предощущение беды,

нет-нет да и промелькнёт «будущий Маркес».

«…Я не хочу сказать, что уже с того момента предчувствовал катастрофу. Но если честно, то я впервые так сильно тревожился перед выходом в море. <…> Не стыжусь признаться, что после фильма „Мятеж на ‘Кайне’“ мною овладело чувство, похожее на страх. Лёжа на верхней койке, я думал о родных…»

В открытом море единственной реальной, как покажется герою, связью с действительностью становятся его водонепроницаемые часы, которые не подводят, идут исправно. И тут Маркесом выводится на первый план то, что русский литературовед и философ Михаил Бахтин, размышляя о литературе Средневековья, называл «субъективной игрой со временем» и что станет впоследствии для самого Маркеса, для других латиноамериканских писателей, в особенности Кортасара, одной из важнейших тем творчества. Время субъективно — оно идёт не по заведённому испокон века порядку, а в зависимости от сознания, эмоционального состояния героя. Десять минут длятся три часа для «не утонувшего», мучающегося от голода и жажды в ожидании, что ему придут на помощь. Он сбивается со счёта дням, не учтя того, что катастрофа случилась в феврале, в котором всего двадцать восемь дней. Однажды он вообще обнаруживает, что время «повернулось вокруг своей оси» — и этим как бы открывает путь чудесам, которым суждено твориться со временем в произведениях Маркеса.

И ещё задержимся на «Рассказе не утонувшего в море», чтобы отметить непреложный для большого писателя дар перевоплощения. В этом — искусстве перевоплощения — он схож с актёром. «Мадам Бовари — это я», — уверял Флобер. Александр Дюма-отец, когда писал «Три мушкетёра», на весь дом кричал: «Один за всех и все за одного!» Работая над «Холстомером», Лев Толстой, по воспоминаниям, чем-то стал походить на лошадь.

Таков дар Маркеса, ставший очевидным с молодости. «Рассказ не утонувшего…» написан настолько достоверно, что кажется, будто реальный моряк с эсминца «Кальдас» по имени Луис Алехандро Веласко — персонаж выдуманный, а в действительности сам Маркес с матросами был смыт за борт эсминца и провёл десять дней в открытом море без еды и воды. Чуть ли не с первых фраз возникает эффект присутствия. Чудится, что не Луис Алехандро Веласко, а ты переговариваешься с товарищами, один из которых, инженер Луис Ренхифо, уверяет, что в любой шторм с кораблём ничего не случится, потому что «это же зверь, а не корабль!». Ты чувствуешь, как свистопляска начинается. Ты ложишься, крепко привязавшись, чтобы не смыло волной, между холодильниками, стиральными машинами и

плитами, хорошо укреплёнными на корме, и чувствуешь, как корабль начинает накреняться, ложиться на левый борт. И слышишь приказ: «Всем, кто на палубе, надеть спасательные пояса!..» Неожиданно тебя выбрасывает за борт, тонут матросы у тебя на глазах, а ты каким-то чудом умудряешься оказаться на спасательном плоту, но долго ещё кажется, что слышишь крики о помощи последнего утопающего товарища… Ночью небо усеяли мириады звёзд… Тебя мучит жажда… Тебя начинают посещать акулы и призраки товарищей, а также страхи перед каннибалами… Ты руками ловишь молоденькую чайку, принявшую тебя за мертвеца, пытаешься выдернуть перья, но белая кожица под ними оказывается настолько нежной, что окровавленные перья выдираются вместе с мясом. Вид чёрного месива, налипшего тебе на пальцы, вызывает у тебя омерзение.

«Но даже самому изголодавшемуся человеку покажется отвратительным комок перьев, измазанный тёплой кровью и воняющий сырой рыбой». А голод мучает невыносимо, будто выедая уже твои внутренности. «Будь у меня бритва, я бы искромсал башмаки и съел бы каучуковые подошвы. Ничего более аппетитного в моём распоряжении не имелось. Я попытался отодрать белую, чистую подошву, используя вместо бритвы ключи. Но тщетно… В отчаянии я впился зубами в ремень и кусал его до тех пор, пока зубы не заболели. Но не смог вырвать ни кусочка. Должно быть, я походил на дикого зверя, когда пытался выгрызть кусок ботинка, ремня или рубашки…»

Вспоминается давнее наше, почти былинное: в начале 1960-х годов на Дальнем Востоке унесло неуправляемую баржу с советскими пограничниками, там был ефрейтор по фамилии Зиганшин, точно так же от голода пытавшийся сварить суп из сапога, а мальчишки распевали по всему необъятному Советскому Союзу в ритме модных тогда танцев буги-вуги и рок-н-ролл: «Зиганшин буги, Зиганшин рок, Зиганшин ест второй сапог!..» Я это к тому, что всё на свете повторяется, перекликается, будь ты в Охотском море или в противоположном Карибском.

Герою Маркеса удаётся спастись. Он встречает на берегу мужчину. Характерен для «последующего Маркеса», совмещающего субъективное и объективное восприятие мира, диалог:

«— Я Луис Алехандро Веласко, один из моряков, которые двадцать восьмого февраля упали с эсминца „Кальдас“.

Я считал, что об этом происшествии знает весь мир. Думал, стоит представиться — и мужчина тут же кинется мне на помощь. Однако он не шелохнулся и бесстрастно смотрел на меня, даже не пытаясь остановить собаку, которая лизала моё разбитое

колено… (Один из немногих уцелевших защитников Брестской крепости Алексей Шувалов рассказывал мне, что когда им удалось вырваться, а немцы к тому времени ушли уже на сотни километров вглубь нашей страны, они набрели на хутор в лесу: „Мы из крепости!“ — „Откуда?“ — „Из Брестской крепости, держались до последнего…“ — „Зачем? Против кого?“ — „Война!“ — „Какая война? С кем?..“ —*С. М.)*

— Вы с куровозки? — спросил он меня, подразумевая, очевидно, каботажное судно, перевозящее свиней и домашнюю птицу.

— Нет. Я с военного корабля… А какая это страна?

И он с потрясающей непринуждённостью произнёс то единственное слово, которое я меньше всего ожидал от него услышать:

— Колумбия».

А в завершение этой документальной повести — *happy end.* История о мужественном моряке и её счастливый финал чудесным образом станут метафорой, моделью судьбы. «На аэродроме меня встретили у трапа честь по чести. Президент республики вручил мне орден и похвалил за геройство. Я узнал, что остаюсь на военной службе, да ещё меня повысят в звании. Меня поджидал сюрприз — предложения рекламных агентов. Я был очень доволен своими часами, которые верой и правдой служили мне во время морских скитаний. Но не подозревал, что фирме-изготовителю будет от этого какой-то прок. Однако они дали мне пятьсот долларов и новые часы. А за то, что я пожевал резинку определённой марки и разрекламировал её, мне дали аж тысячу долларов! Фирма, изготовившая мои ботинки, отвалила мне за рекламу её товара целых две тысячи. За разрешение передавать мою историю по радио я получил пять тысяч. Разве мог я подумать, что стоит помучиться в море десять дней — и получишь такой доход?!»

Самому Маркесу до встреч у трапа, орденов, денег за рекламу и т. п. было ещё как до небес. Пока же Алехандро Веласко, выдавшего тайну, что военно-морской флот Колумбии возит из США контрабандные холодильники, уволили без выходного пособия, а журналист, обнародовавший этот рассказ, угодил в опалу.

Первая книга Гарсиа Маркеса — «Палая листва», посвященная другу из Барранкильи Херману Варгасу, вышла в мае 1955 года, через семь с лишним лет после того, как был написан первый вариант этой повести. Помог Габриелю всё тот же Мутис. Он нашёл неизвестного, но согласившегося отпечатать книгу владельца «Типографии Сипа» Самуэля Лисмана Бауна, иудея по

вероисповеданию (мистически-библейским чутьём что-то в рукописи почувствовавшего). Отпечатана была «Палая листва» за пару дней тиражом одна тысяча экземпляров. Половину тиража Лисман Баун выдал в качестве гонорара другу и покровителю Маркеса, Сапате Оливейя за его книгу «Китай, 6 часов утра», которую отпечатал и распродал накануне.

— Ну и хитёр же этот еврей! — смеялись друзья, отмечая в кафе «Астуриас» выход «Палой листвы». — А ты-то ему много заплатил за бумагу, краски и работу печатников, Альваро?

— Неважно, главное — у Габо вышла книга! — отвечал Мутис.

Поздравляли из Картахены. Целый месяц, окуная в бокалы с шипучим шампанским и ромом страницы книжки, отмечали знаменательное событие хохмачи из барранкильской «Пещеры» и слали в Боготу поздравительные телеграммы (отмечали не без рукоприкладства, так что Вила, хозяин «Пещеры», которая прежде называлась «Туда-сюда», потеряв терпение, написал на доске при входе: «Здесь клиент всегда не прав»).

Первый, ещё как следует не просохший экземпляр из типографии Маркес отнёс в Министерство образования, где теперь работал его бывший преподаватель в колледже Сипакиры. Ему Габриель сделал на книге такую надпись: «Моему учителю, Карлосу Хулио Кальдерону Эрмиде, первому, кто подарил мне мысль и желание писать, — с благодарностью от автора», на что растроганный до слёз учитель сказал: «Габо, я знал, что ты станешь настоящим писателем!» Габриель отправил маме экземпляр книги с нежной надписью. Он засыпал с этой благоухающей типографской краской, такой плотненькой и конкретной книгой под подушкой — и просыпался с ней в обнимку. Никак не мог на неё наглядеться. Старался не перечитывать, чтобы не начать снова вычёркивать, но не мог удержаться и перечитывал, однако теперь она, с форзацами, по-настоящему отпечатанная, нравилась (хотя он уже пережил её, подспудно тревожило и манило: «Старику снились львы»). Он старался вообразить, как «Палую листву» читают люди, старые и молодые, мужчины и женщины — дома, в библиотеках, на вокзалах, в поездах…

Но кроме друзей и родных его «Палую листву» не читал и не покупал практически никто. Альваро Мутис и его жена Нанси, Луис Висенс, сам автор, разбив Боготу на квадраты, ходили по книжным магазинам и лавкам, пытаясь уговорить хозяев всего-то по пять песо взять со склада «Типографии Сипа» двадцать, десять или хотя бы пять экземпляров книги, притом не «в твёрдый счёт», не оплачивая заранее, а рассчитываясь по факту продажи. Ни в

какую! Разве что красавице Нанси удалось уломать какого-то книгопродавца взять на пробу несколько экземпляров, но и тот вскоре их вернул.

Тем не менее в литературных кругах книгу обсуждали, обозначилось даже противостояние «отцов и детей» (молодёжь восторгалась), но газеты и журналы безмолвствовали. Только литературный критик, друг Маркеса Эдуардо Саламея на страницах родного «Эль Эспектадор» опубликовал доброжелательную рецензию, обозначив «краеугольные камни» прозы Гарсиа Маркеса: одиночество людей, существование городка Макондо и полковника, почти беспрецедентное отношение автора к течению времени, мощные древнегреческие и библейские мифические мотивы…

«Реальное» действие повести происходит между свистком паровоза в половине третьего и криком выпи (которая кричит через строго определённые промежутки времени) в три часа дня. То есть длится не более получаса. Но в монологах-воспоминаниях действие растягивается на целые четверть века, с окончания «Тысячедневной войны» в 1903 году до 1928 года (когда родился, по одной из версий, сам автор).

В повести «Палая листва» он уже мастерски описывает Америку — самые низы её общества, и в чём-то повесть даже перекликается с «Униженными и оскорблёнными» Достоевского, «На дне» Горького…. Неожиданно напали друзья-коммунисты. Генеральный секретарь Хильберто Виейра в прессе обрушился на автора с обвинением в отсутствии обличительного пафоса, в том, что «мифическое содержание и своеобразный лирический стиль произведения никоим образом не соотносятся с колумбийской действительностью». И посоветовал не предавать свою журналистику, которая гораздо острее, честнее и приносит обществу неизмеримо больше реальной пользы. Этот удар со стороны коммунистов расстроил Габриеля. Он переживал, даже запил, стал вновь искать сочувствия в борделях, раздаривал девчонкам книгу с длинными нежными надписями.

— Не обращай внимания на этих коммуняг! — горячилась Мария, приехавшая из Барранкильи в Боготу навестить сестру. — У меня есть клиенты-коммунисты. Даже если деньги есть — торгуются. А кончив, несут свой бред про то, что при коммунизме каждый сможет сказать каждой: «Пойдём!» и потребность в наших услугах вообще отомрёт.

Так уж исторически сложилось, что истые коммунисты прежде всего ценят пропагандистскую литературу, — да и понятно, они по-своему правы. Но в «Палой листве» Гарсиа Маркес поднимает множество важнейших вопросов и проблем

(гораздо более достойных внимания художника, чем колумбийская действительность с коммунистической точки зрения): человек и толпа, звериные инстинкты, жестокость, ложь, истина, вера, верность, любовь, роль личности в истории… Кстати, об отношении Маркеса к личности и истории. В «Палой листве» фигурирует герцог Мальборо (возможно, имеется в виду Мальборо Джон Черчилль). Это славное для британцев имя неоднократно упоминается и в других произведениях Маркеса, обозначая героя гражданских войн в Колумбии. В действительности дело обстояло иначе.

— Кто читал мои книги, тот знает, что герцог Мальборо проиграл гражданскую войну в Колумбии, состоя адъютантом у полковника Аурелиано Буэндиа, — объяснял сам Маркес. — Но, по правде говоря, было не так. Мальчишками мы распевали популярную песню «Мальбрук в поход собрался, объелся кислых щей, и там он обосрался…». Я спросил у бабушки, кто такой Мальбрук и на какую войну он собрался. И бабушка, которая, несомненно, не имела об этом ни малейшего представления, ответила, что этот сеньор воевал вместе с моим дедом… Позднее, когда я узнал, что Мальбрук — это герцог Мальборо, мне показалось, что лучше оставить всё в том виде, как было у бабушки.

Но главным персонажем повести, главным действующим лицом является — как и раньше у Маркеса — смерть. И то, что её непосредственно касается, вокруг неё.

«Повесть „Палая листва“, — пишет мексиканский критик Карбальо, — это элегия, трёхголосная месса по усопшему. В основу легла история самоубийства человека и ненависти к нему жителей городка даже после его смерти. Гарсиа Маркес рассказывает о жизни и важных событиях в судьбах людей — и в тяжёлые времена основания Макондо, и в период его буйного процветания, и в ту пору, когда жизнь в городке пришла в полнейший упадок. Структура произведения, продуманно хаотическая и запутанная, выполняет свою функцию и, мало того, является основой, на которой впоследствии будет строиться литературный мир писателя… Внимательный и вдумчивый читатель не мог не почувствовать своеобычия стиля Гарсиа Маркеса как наиболее важной черты его творчества. Это своеобычие зародилось именно в „Палой листве“… А окончательно, ослепительно, во всей мощи и красоте выразилось в романе „Сто лет одиночества“.

Ураганный ветер ставит точку истории Макондо в „нобеленосном“ романе: „город сметён с лица земли ураганом“. Но подобное было уже и в повести „о двадцати пяти годах

одиночества“, где ветер приносит и уносит „человеческий и вещественный мусор“: „Опаль взметнулась… но утратила в полёте натиск, слиплась и отяжелела: и тогда она претерпела естественный процесс гниения и соединилась с частицами земли“».

Дабы избежать проблем — вплоть до ареста ретивого автора «Рассказа не утонувшего в море» и закрытия газеты, а также в целях расширения аудитории и респектабельности, владелец газеты «Эль Эспектадор» Габриель Кано и его брат, главный редактор Гильермо Кано, принимают решение: подобно газетам США, Мексики, Аргентины открыть корпункт в Европе и в качестве собкора командировать Гарсиа Маркеса.

— Он счастлив будет! — убеждённо завершил совещание редсовета Габриель Кано.

О Европе тогда кто только из латиноамериканских литераторов не мечтал! Но Маркес неожиданно для всех запротестовал, «упёрся рогом», как говорят испанцы. Кричал в начальственном кабинете: мол, спасовали перед диктатором, затряслись, решили вытурить его с родины под зад коленом, чтобы не дать закончить журналистское расследование по контрабанде и по поиску сокровищ, зарытых конкистадорами в районе нынешнего Капитолия, куда ведёт подземный ход!..

— Прекрати вопить! — вскочил владелец газеты, опрокинув стакан с ромом и колой на пол. — Я оплачиваю дорогу, проживание, кладу триста баксов в месяц! — Он вышагивал по кабинету, ломтики льда, выпавшие из стакана, гулко хрустели под кожаными подмётками. — Здесь, не исключаю, тебя, как твоего друга-перуанца Вильегаса, ждёт образцовая тюрьма «Модело»! А в старушке-Европе, карахо, у тебя будет возможность увидеть Рим, Венецию, выучить языки, узнать, как настоящие парижские шлюхи делают минет! Надоели твои эскапады, последний раз спрашиваю: едешь или?!

— Еду, — поспешно выговорил Габриель.

Но, выйдя из кабинета, опять затвердил, что должен закончить журналистское расследование, которое начал с Хосе Сальгаром, что в Боготе у него масса обязательств, а Европа никуда не денется… Вечером в кафе «Чёрная кошка» его уговаривал ехать и друг Мутис, который чувствовал, что всё это игра и что одной ногой Габо уже за океаном.

— Вспомни завещание мудрого каталонца Рамона Виньеса пожить в Европе! И не валяй дурака. Мне, если честно, разонравились твои невнятные заметки, репортажи о каких-то мясниках, велосипедистах, соковыжималщиках… Халтура.

Сгинешь здесь. А на могильной плите напишут: «Он мог бы, но не стал писателем». Езжай, говорю!..

И ещё уговаривала Мария из барранкильского «Небоскрёба», задержавшаяся в Боготе:

— Счастливый ты, Габо! Всю жизнь мечтала увидеть Монмартр, Елисейские Поля, Эйфелеву башню… Не судьба. Пусть сопутствует тебе Господь наш Иисус Христос! Ты веруешь в Него, Габито? В Пресвятую Деву Марию, нашу заступницу?

— Честно говоря, не очень, — признался Габриель.

— Храни тебя Бог, Габриель! Ты станешь великим, о тебе заговорит мир!

Пятнадцатого июля 1955 года, попав в самолёте над Бермудским треугольником в зону жестокой турбулентности и воздушных ям, он молился и Пресвятой Богородице, и Спасителю, и всем святым, хотя помнил лишь начальные фразы и звучные, наиболее эмоциональные обрывки молитв.

Но до этого были проводы в Боготе и потом в Барранкилье. Проводы те Гарсиа Маркес запомнил: пели, пили, обнимались, целовались, проклинали, восторгались, спорили, дрались, куда-то ехали, клялись, плясали, пили!.. Лишь самые стойкие из друзей и подруг, выдюжившие штормовые проводы, приехали утром в аэропорт проститься с Габо. Но напрасно ожидали его у стойки регистрации рейса на Париж. В объятиях проститутки третьесортного борделя (по одной из версий) он проспал и, прыгая на одной ноге, а другой пытаясь попасть в штанину, твердил: «В Париж-то я не попадаю!»

И как не вспомнить в связи с Маркесом великое бетховенское: «Так стучится Судьба»! Ещё неизвестно, где больше мистического, магического, фантастического — в его творчестве или в его жизни. Это ж надо было такому случиться — впервые (также по одной из версий) за историю перелётов между Южной Америкой и Европой авиалайнер, билет на который лежал в кармане тех самых штанов, в которые не мог попасть будущий классик, по техническим причинам совершил вынужденную посадку в Барранкилье! В той самой, где родители, где хохмачи, откуда блудница Мария, будто специально задержавшаяся в высокогорной Боготе, чтобы Бог лучше услышал её молитвы за Габо…

В Барранкилье проводы были продолжены. Провожали хохмачи, девахи из «Небоскрёба», из дома «У чёрной Эуфемии»: пили, пели болеро, читали стихи…

И провожала скромная тихая девушка по имени Мерседес Ракель Барча Пардо. Которая ждала его уже почти десять лет. Которой он дал слово жениться, когда станет писателем. Дал

слово вернуться — иль со щитом, иль на щите. Она ждала его, как Пенелопа Одиссея.

Глава вторая
В ЕВРОПАХ

Тридцать шесть часов спустя после вылета из Барранкильи, совершив посадки на Антильских, Бермудских и Азорских островах, в Лиссабоне и Мадриде, самолёт «Коломбиан» авиакомпании «Авианка» приземлился в аэропорту Парижа. Моросил прохладный дождик, даже днём было сумрачно, в лужах морщились многоцветные огни. Все куда-то спешили под зонтами, ехали в автобусах, сидели в кафе, курили, разговаривали. Париж показался неприветливым, чем-то похожим на Боготу. И разочаровал — как множество приезжих, очарованных литературой, живописью, кино. Всех, за малым исключением, этот город поначалу слегка, а то и основательно разочаровывает. Впрочем, деньги были. Собравшись с духом, залихватски, как заправский журналист-международник, Габриель обменял доллары на франки, сел в такси, доехал до вокзала и, взяв в буфете бутылку пива и пару бутербродов, накупив испанских газет и французских сигарет «Житан», с облегчением укрылся в поезде Париж — Женева. Франция из окна поезда предстала плоской, размеренной, разлинованной, подкрашенной. Он даже мысленно сравнил её с женщиной, немолодой, утомлённой владевшими ею мужьями и любовниками, но ухоженной, с идеальной причёской, маникюром и педикюром. Как принято в Колумбии, Габриель попытался разговориться с попутчиками, но общего языка не нашлось, а изъясняться жестами добропорядочные французы и швейцарцы, поглядывающие на свои сумки, с подозрительным субъектом не стали.

В магазине у вокзала в Женеве Маркес купил белую сорочку и галстук, снял номер в отеле, принял душ, побрился, переоделся и, ориентируясь по карте, купленной ещё в Боготе, отправился в европейскую штаб-квартиру ООН. Но и там сразу подтвердился тот факт, что его французского не понимает никто, а по-английски он знал не более трёх десятков слов, притом глаголы употреблял исключительно в инфинитивах и неверно понимал простые объявления и обращения. Гонимый сомнениями в своих собкоровских перспективах, герой наш выбрался на улицу и бродил до вечера по Старому городу, по набережным и мостам через Рону, снова и снова возвращаясь на Пон-де-л'Иль, где всегда полно туристов, и Монблан, вид с которого на Женевское озеро чем-то напоминал вид с набережной Картахены, прохаживался по

торговой улице рю де ля Корратери… Ощущение собственной ненужности усиливалось. Он зашёл в кафедральный собор Сен-Пьер, построенный в XII веке, когда о существовании его Колумбии никто в Европе не подозревал, полюбовался витражами, помолился. И молитву, должно быть, услышал Господь: выйдя из храма, спустившись по ступенькам и углубившись в *Grand Rue,* неподалёку от дома 40, где в 1712 году родился Жан Жак Руссо, Габриель увидел похожего на испанца священника. Заговорив с ним, он узнал, что это действительно испанец, точнее баск, притом имеющий много знакомых в Женеве. Святой отец пошёл вместе с Габриелем в штаб-квартиру ООН, показал, что к чему, провёл в зал заседаний, познакомил с журналистами из Латинской Америки, которые взяли его под опеку.

«С первых дней в Женеве, — писал Сальдивар, — с лёгкостью скользя по поверхности событий и не вникая в суть, он сыпал шутками и прибаутками, посылал юмористические приветы невесте, коллегам из „Эль Эспектадор“, хохмачам…»

— Он над нами издевается, этот мой тёзка? — прочитав репортажи, спросил брата владелец «Эль Эспектадор» Габриель Кано. — Он о политиках и их жёнах пишет, как о кинозвёздах, разве этого читатель ждёт!

— Да уж, — в недоумении пожал плечами Гильермо, — с политической журналистикой у него явно не заладилось.

— И я должен платить валютой за его дурацкие хохмы?

— Предлагаю направить Габо на Венецианский кинофестиваль…

Прочитав раздражённое предупреждение главного редактора, Маркес передумал отправлять политический памфлет, сложил чемодан и отправился в Венецию. По дороге он перечитывал рассказ «Смерть в Венеции». И слова Томаса Манна звучали в нём, когда перед ним открывалась Венеция: «Итак, он опять видит это чудо, этот из моря встающий город, ослепительную вязь фантастических строений, которую Республика воздвигла на удивление приближающимся мореходам, воздушное великолепие дворца и мост Вздохов, колонну со львом и святого Марка на берегу, далеко вперёд выступающее пышное крыло сказочного храма и гигантские часы в проёме моста над каналом…»

Сюжет метафорического рассказа — последняя влюблённость художника, немолодого, много добившегося, всё испытавшего, в мальчика, свой не достигнутый и не постигнутый идеал, — разворачивается на фоне страшной эпидемии в Венеции, мастерски написанной. «Это была Венеция, льстивая и подозрительная красавица, — не то сказка, не то капкан для

чужеземцев; в гнилостном воздухе её некогда разнузданно и буйно расцвело искусство. <…> Венеция больна и корыстно скрывает свою болезнь…»

Тогда, при въезде в Венецию, во время первой прогулки вдоль Канале Гранде, по мостам, по площади Сан-Марко, за чашечкой кофе в легендарном кафе «Флориан», где сиживали Гёте, Байрон, Жорж Санд, Вагнер, Мюссе, Достоевский, при посещении кладбища Сан-Микеле у Маркеса возникла идея, ещё расплывчатая, смутная, но обозначенная в записной книжке: создать нечто в этом роде. (Через годы в том числе и эта идея воплотится в наиболее исповедальную его повесть «Любовь во время холеры».)

Репортажи из Венеции о Бьеннале кинематографического искусства были отменными, Маркес реабилитировал себя в глазах владельца газеты «Эль Эспектадор». После Венецианского кинофестиваля, не ставя в известность редакцию, он направился в Вену, куда прибыл ровно через два месяца после того, как Австрию оставили советские войска. Вообразив, будто его путешествие кончилось в Вене, Маркес прожил там весь октябрь 1957 года, написав оттуда всего три небольшие корреспонденции. Там он случайно якобы познакомился (уже тогда был магическим реалистом!) с колумбийкой фрау Робертой (она же Фрида) — ясновидящей. В полнолуние они провели на Дунае ночь, и вещунья сообщила Габо, что путь его из Вены лежит на восток.

Сызмальства веря гаданиям, наш герой направился в Чехословакию и Польшу. Но сам толком никогда не признается в тех никем кроме гадалки несанкционированных поездках. Краков ему не понравился консерватизмом и регрессирующим католицизмом. Потряс Освенцим: «Там есть галерея из огромных стеклянных витрин, доверху заполненных человеческими волосами. Есть галерея, где выставлены обувь, одежда, носовые платочки с вышитыми вручную инициалами… Есть витрина, забитая детской обувью со стёртыми металлическими набойками: беленькие ботиночки для школы…»

В Рим он приехал во второй половине дня, когда рестораны были закрыты на сиесту. Колумбийский консул порекомендовал молодому журналисту поселиться у своих приятелей в небольшом семейном отеле неподалёку от виллы Боргезе, в котором часто останавливаются колумбийцы. На следующее же утро, за завтраком, наш герой познакомился с Рафаэлем Рибера Сильвой, тенором из Колумбии, который уже шесть лет в Милане, Неаполе и Риме учился у знаменитых итальянских мастеров пения. Они быстро подружились. Рафаэль не только показывал Маркесу

Вечный город со всеми нюансами, но и переводил его интервью, в том числе довольно сложные, например, с самим папой римским Пием XII. (В Европу Маркес был направлен главным образом для освещения смерти понтифика.) Папу — благодаря и переводу Рафаэля — Маркес сумел обаять своим остроумием, оригинальностью взглядов, рассказов о жизни в Латинской Америке (как через годы — президентов, премьер-министров многих стран). Папа предложил продолжить диалог, они стали встречаться — и в Ватикане, и в других местах. Маркес написал пять очерков о папе. Вызывая зависть у аккредитованных при Ватикане именитых журналистов, Пий XII приглашал весёлого колумбийца в поездки по стране, рассказывал об истории Церкви, пытался обратить атеиста Габриэлло к Богу.

— А всё-таки, — пытал Маркес, — это правда, что в XIII веке папой римским была женщина, папесса Иоанна, Джиберта, как её называл Боккаччо, и родила от монаха прямо во время торжественной процессии?.. А почему на стене в Ватикане, где выбиты имена римских пап, не значится Иоанн XXIII, в миру Балтазар Косса, бывший пират, лишивший девственности сотни монашек и превративший монастыри в бордели, где устраивались оргии, а награбленные им сокровища легли в основу богатства дома Медичи?..

— Сын мой, — отвечал папа, — на всё воля Божия, но мне бы не хотелось упоминать даже имён антипап. Ты молод и неопытен, чтобы понимать, насколько дьявол силён, хитёр и коварен!.. А ты, судя по вопросам, веришь в потусторонние силы? В приметы? Во всякие эти гороскопы, созвездия? Суеверный?

— Ну, не так чтобы очень… — уклонялся от ответа журналист. — Но вот числа семь и тринадцать, например, мне приносят удачу. Люблю жёлтый цвет, хотя он считается цветом измены и несчастий. Верю снам. Верю предсказанию, что золото и счастье для дома — две вещи несовместные. Что нельзя курить в голом виде, извлекать материальную выгоду из своих физических недостатков, заниматься любовью в носках…

— Ха-ха-ха! Хорошо, что ты откровенен со мной, сын мой! Но не суеверным должно быть, а в Господа Бога нашего верить! Аминь!..

Вместо ожидавшегося развёрнутого некролога по поводу кончины папы римского в «Эль Эспектадор» Маркес послал из Рима очерк «Скандал из-за Вильмы Монтеси» — о загадочном убийстве красавицы, секс-символа середины 1950-х, в котором были замешаны политики. В этом очерке впервые в его творчестве появляется эротический оттенок. Написан очерк великолепно, сюжет и атмосфера захватывают, его можно назвать

документальной детективной повестью. Прообразом «Истории убийства, о котором знали заранее» или — в другом переводе — «Хроники объявленной смерти».

— Такое ощущение, Габо, — сказал Рафаэль Рибера Сильва, прочитав «Скандал», — что ты был соучастником убийства, можно было бы тебя и привлечь! Казалось бы, мутная история: некая дочь плотника была убита почти два года назад… И что в этом ты нашёл?

Но история подтвердила «чутьё» Маркеса — убийство Вильмы Монтеси вдохновило Федерико Феллини на создание шедевра «Сладкая жизнь».

На Бьеннале в Венеции, где вблизи видел много всемирных знаменитостей, а затем и в Риме — тогда мировой столице самого массового из искусств — Маркес «заболел» кинематографом. Он просил знакомых помочь ему взять интервью у Витторио Де Сика, сценариста Чезаре Дзаваттини, Джины Лоллобриджиды — но кинозвёзды в Италии были сродни небожителям и недоступны для какого-то колумбийского журналиста.

Габриель «кинематографично», как вспоминал Рафаэль, рассказывал о Праге, о Варшаве, которые посетил летом, — о колоссальной улице Сталина, о районе Стара Прага, где было варшавское еврейское гетто, полностью уничтоженное немцами, о Нове Мисто, где в 1944 году вспыхнуло Варшавское восстание, о красоте полек…

— Они не похожи на наших латиноамериканок или итальянок! — уверял Маркес за бутылкой кьянти. — Одеты бедновато, однообразно. Но сами высокие, светловолосые, белокожие, голубоглазые, длинноногие, полногрудые, гордые… И к иностранцам благосклонны. А однажды в парке на набережной Вислы полубезумный старик попросил угостить сигаретой, сказал, что с войны не курил приличных.

Почти каждый вечер, вспоминал Маркес, отправлялись на прогулки по Риму, предпочитая окрестности парка виллы Боргезе, где работало неисчислимое количество проституток, многие из которых были уже близко знакомы с Рафаэлем. «Иногда одна из них приглашала нас на мороженое. Однажды я не пошёл на прогулку, заснул. Разбудил меня робкий стук в дверь. Полусонный, я открыл её и в темноте коридора увидел образ будто из бредового сна. Передо мной стояла обнажённая девушка, очень красивая. Она только что приняла ванну и вся благоухала; её тело покрывал тальк. „Buona sera, — промолвила она ангельским голоском. — Я — подарок от tenore“». В очерке «Рим

весной» Маркес назовёт тот очаровательный подарок «одной из грустных шлюх», как бы провозвестив книгу «Вспоминая моих грустных шлюх», которую напишет через полвека.

По протекции аргентинского кинокритика и сценариста Фернандо Бирри, с которым познакомился в Венеции и к которому было рекомендательное письмо от Альберто Саламея, Маркес поступил на режиссёрские курсы Экспериментального центра кинематографии Италии. Фернандо предложил Габриелю из отеля перебраться к нему на площадь Испании. (Велика роль друзей и покровителей в судьбе Маркеса, просто врождённый талант дружить.) С самого начала в лице Бирри Гарсиа Маркес обрёл ещё одного друга на всю жизнь, который принял в его судьбе живое участие. Фернандо познакомил Габо со своими друзьями с Кубы Томасом Гутьерресом Алеа и Хулио Гарсиа Эспиносой, подарил широкого покроя пальто и берет, как у кубинцев.

Посмотрев неореалистические фильмы, Маркес пришёл к выводу, что своим всемирным успехом итальянское кино обязано не столько игре кинозвёзд и режиссуре, сколько сценариям. Пропуская лекции, он засел в архиве Центра и стал анализировать сценарии — как уже поставленных и завоевавших высшие награды картин, так и непоставленных. Он брал сюжеты своего романа «Дом» и перерабатывал их в сценарном ключе, так, чтобы каждый фрагмент, каждый эпизод был зрелищен, предметен, со своей «изюминкой», а диалоги короткими и выразительными. Постепенно из романа стала выплетаться линия полковника, доживавшего свои дни с женой и бойцовым петухом и тщетно ожидающего пенсию от правительства, но не утратившего достоинства. «Как в кино, я увидел идущего по затопленному солнцем пыльному городку полковника с прямой спиной, с упрямо поднятым подбородком и с цветастым петухом в руках», — вспоминал Маркес.

Он часами бродил по Риму, изучал историю, искусство Возрождения, вникал в тонкости итальянской кухни, вин. Прочитав и перечитав сценарии Пьера Паоло Пазолини, Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, многих других, он понял, что его призвание — кинематограф. Околдовал и многое открыл Чезаре Дзаваттини, особенно его «Некоторые мысли о кино». «Я — дитя Дзаваттини, — скажет Маркес. — Он — „машина для придумывания сюжетов“. Они из него так и прут. Дзаваттини заставил нас понять, что чувства важнее, чем интеллектуальные принципы». Обретя с помощью Фернандо Бирри нечто вроде абонемента, Маркес порой смотрел по несколько фильмов в день. Он был потрясён картинами Лукино

Висконти «Почтальон всегда звонит дважды», «Земля дрожит», «Самая красивая», «Мы, женщины», «Семья Малаволья», снятый в сицилийском рыбачьем посёлке с участием непрофессиональных исполнителей, говорящих на местном диалекте; именно в этом духе он, Габриель, и хотел бы работать! Упивался картинами Роберто Росселлини «Рим — открытый город», «Машина, убивающая плохих», «Где свобода?». Восторгался и пересматривал снова и снова сразу ставшие классикой картины Витторио Де Сика «Маддалена, ноль за поведение», «Шуша», «Похитители велосипедов». С первого взгляда влюбился в поэтические картины Феллини «Под небом Сицилии», «Дорога» с Джульеттой Мазиной. Был взбудоражен и вдохновлён документальными картинами Антониони «Дом уродов», «Суеверие», «Семь тростей, один костюм» — всё о трагическом, неизбывном одиночестве человека.

Благодаря итальянскому кинематографу Маркес всерьёз задумался о возможностях искусства. Висит в зале простыня, называемая экраном. Зал заполняется. Гаснет свет. На простыне появляются какие-то люди, начинают что-то говорить, есть, пить, бегать друг за другом, падать, целоваться, а сидящие в зале то замирают, то смеются, то плачут, то вскакивают и аплодируют, счастливые, то орут и свистят… Но появляется слово «Конец», зажигается свет — и вновь висит на стене обыкновенная белая простыня. И ещё благодаря итальянскому кино он по-настоящему, как бы через художественную призму, взглянул на одиночество. В разговоре с Фернандо Бирри тогда, осенью 1955 года, он впервые употребил эти два слова — «вековое одиночество» или «сто лет одиночества».

Если вчитаться в произведения Маркеса конца 1950-х — начала 1960-х, да и более поздних годов, то можно распознать суть великого итальянского неореализма: пристальный интерес не к великому, но к простому человеку с улицы. (Мы бы сказали: и неореализм вышел из «Шинели» Гоголя.)

Последним его материалом, написанным в Италии, стал большой, печатавшийся в трёх рождественских номерах «Эль Эспектадор» очерк «Война чулок» о двух соперницах, блистательных конкурентках, уже сводивших с ума сильную половину человечества, — Софи Лорен и Джине Лоллобриджиде. Построенный не на личных встречах со звёздами, а на околокиношных сплетнях и домыслах с эротически-скандальным душком, очерк вышел вполне в стиле жёлтой прессы, тираж газеты повысился уже со второй публикации.

В конце декабря 1955 года Маркес получил телеграмму из Боготы, от главного редактора Кано, который поздравлял с Рождеством и в связи с выздоровлением папы римского и

интересом читателей к Франции предписывал собкору переехать в Париж.

«Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже…» В то время, о котором идёт речь, «Праздник, который всегда с тобой» ещё не был написан Хемингуэем. Но было написано много другой замечательной прозы и поэзии, которую читал наш герой.

Он приехал в Париж на поезде ранним зимним утром накануне Рождества. Светило солнце, ветви каштанов, платанов и вязов покрывал золотистый иней. Садясь у вокзала в такси, Маркес увидел на углу проститутку под оранжевым зонтиком — она ему улыбнулась и помахала рукой, словно желая удачи.

И на этот раз город-легенда не разочаровал, как в первую встречу, напротив — совершенно очаровал. Обосновавшись сперва в общежитии «Альянс Франсез» на бульваре Распай, затем в отеле «Фландр» на улице Кюже в Латинском квартале, познакомившись с хозяйкой отеля мадам Лакруа, не первой молодости, привлекательной, крупной женщиной из тех, у которых всегда вызывал приязнь и сочувствие, он бродил вечерами по Парижу. Первым, кого он увидел в баре «Шоп Паризьен», где, как сказала мадам Лакруа, собирались колумбийские студенты, был его давний, ещё по университету в Боготе приятель Плинио Мендоса.

— Да ты ли это, карахо! Какими судьбами в Париже?!

— Работать в качестве корреспондента, жить…

— Тебе повезло, старина!

Маркесу повезло (о феномене его везения мы ещё поразмышляем), что в молодости выпало жить в Париже. Притом не как туристу и даже не совсем как аккредитованному журналисту, а просто жить, гулять, голодать, брать взаймы, мечтать, трудиться, отчаиваться, влюбляться… Без преувеличения можно сказать, что именно в Париже он окончательно и бесповоротно стал писателем. Хотя сам себя на первых порах позиционировал сценаристом-постнеореалистом и журналистом-международником.

«Габриель уже не был похож на того весёлого и бесшабашного парня, которого я когда-то знал в Боготе, — писал Мендоса. — После Италии, командировок по Европе он чувствовал себя солидным человеком. Не снимая длинного пальто из верблюжьей шерсти с кожаным поясом и обшлагами, он не спеша пил разливное пиво, и пена оседала хлопьями на его пышных чёрных усах. Его самоуверенный вид первое время вынуждал меня держать дистанцию. Он рассеянно поглядывал то на кружку, то следил за кольцами сигарного дыма, не обращая внимания на

колумбийских студентов, так что не совсем понятно было поначалу, зачем вообще он пришёл. Он будто нехотя говорил о своей поездке в Женеву в качестве спецкора „Эль Эспектадор“, о встрече в верхах между русскими и американцами и, казалось, гордился причастностью к политике, к международной журналистике даже больше, чем своей первой книгой».

Кто-то из студентов с апломбом заявил, что «Палая листва» — плагиат Фолкнера, что в ней нещадно эксплуатируется фолкнеровский принцип чередующихся монологов. Заспорили, Габриель стал уверять, что рассказа Фолкнера, о котором шла речь — «Пока длилась агония», — не читал, но студенты обвиняли его в подражательстве и другим североамериканцам, а также немецкому еврею Кафке. Плинио защищал приятеля…

Легендарный кубинский поэт, глава писателей и деятелей искусств Кубы Николас Гильен, у которого в Гаване мне довелось брать интервью, вспоминал Париж той поры:

— Нас, поэтов, художников, гонимых латиноамериканскими диктатурами, тогда много было во французской столице, но особенно в Латинском квартале: иногда казалось, что ты где-нибудь в гаванском Ведадо или в Санто-Доминго. Я жил напротив отеля «Фландр», в Гранд-отеле «Сен-Мишель», и помню худощавого, небольшого роста молодого человека с усами, в длинном верблюжьем пальто. Несмотря на субтильность, он выглядел старше своих лет и всё время что-то читал на улице и в кафе на углу. Лет через пятнадцать Габриель напомнил, что Мендоса познакомил его со мной и с венесуэльским романистом-коммунистом Мигелем Отера Сильвой в кафе «Свиная ножка». Кажется, именно тогда в Москве Никита Хрущёв на XX съезде партии осудил культ личности Сталина, объявил курс на мирное сосуществование со странами капитала, империализмом, и это нас очень встревожило. Мы размышляли о будущем Латинской Америки, о коммунизме, Габо расспрашивал, кто, как, при каких обстоятельствах вручал мне Сталинскую премию, его интересовал Советский Союз… Тогда ведь правили Сомоса, Батиста, Трухильо, Стресснер, прочие диктаторы. Так вот Габо вспоминал, как я вставал в пять утра и читал газету за чашкой кофе. Потом распахивал окно и во весь голос, чтобы слышали и в «Сен-Мишеле», и у них во «Фландре», где полно было латиноамериканцев, сообщал новости — то есть вопил как резаный, будто находился в каком-нибудь патио в Камагуэе: «Его вышвырнули! Он сбежал на самолёте, прихватив казну!» — и все — и парагвайцы, и доминиканцы, и перуанцы, и никарагуанцы надеялись, что это о их диктаторе.

…На следующий день, не дав выспаться, Мендоса повёл

Маркеса в Лувр, где бродили по залам до закрытия.

— Однажды Бодлер привёл сюда подружку, которая давала всему Парижу, — рассказывал Плинио. — Видя обнажённых на картинах, она поначалу хихикала, отворачивалась, а потом сказала: «С меня хватит, пошли отсюда, здесь неприлично!»

Праздновать сочельник отправились к друзьям Плинио — колумбийскому архитектору Эрнану Вьеко, сделавшему себе имя в Париже, и его обаятельной, голубоглазой, колючей супруге-американке Джоан, которые поддерживали молодых студентов и художников. Вечер удался. Много шутили, особенно в ударе был хозяин, чьи жёлтые глаза светились юмором и добротой, вспоминали родину, пели, передавая гитару по кругу, — дольше всех она задерживалась в руках у Габриеля, вдохновенно, с каким-то цыганским надрывом исполнявшего болеро и новые валленато Рафаэля Эскалоны. Читали стихи, которых больше всех помнил Габриель. Танцевали. Габо, приглашая Джоан, показывал танец из итальянской кинокомедии. Так что уходил он с уверенностью, что обаял хозяев, в особенности хозяйку, и теперь они станут его приглашать, знакомить с приятными и полезными людьми. Но Плинио вспоминал потом:

— Ты зачем притащил к нам этого ужасного типа? — шепотом спросила его Джоан, прощаясь. Компанейская, разбитная, курящая сигареты одну за другой, с годами удач, а чаще неудач в Париже она сделалась мизантропкой. — И этот мечтает завоевать Париж?

— Я думаю — весь мир.

— Видали мы здесь таких завоевателей! К тому же много пьёт. И сигареты гасит о подошву ботинка, как в притоне.

Джоан, напротив, понравилась Габриелю. Влюблённый в неё, в Плинио и во всех своих друзей, в поэзию, в кино, в мысли о далёкой чистой невесте Мерседес, ожидающей его, в свои наполеоновские мечты, в работу, которая предстоит, в Париж, он потащил друга в рассветных сумерках на площадь Сен-Мишель, на набережные.

Шёл снег, густой, пушистый, и Маркес не мог поверить в реальность происходящего. В восторге он танцевал, ловил снежинки раскрытым ртом, зачерпывал пригоршни и умывался, лепил снежки, как в кино мальчишки и влюблённые, кидался ими и случайно угодил прямо в козырёк фуражки жандарма. Тот, уразумев, в чём дело, пригрозил, но рассмеялся. О Париж! Мендоса вскоре отпросился домой спать, а Габриель не мог уняться. Без устали шагал он вдоль блестящей чёрной Сены, схваченной заснеженными набережными и пересекаемой мостами, подсвеченными лимонно-розовыми и изумрудно-

янтарными огнями фонарей. Вдыхая морозный искрящийся воздух, прошёл до набережной Вольтера, по мосту Карусель перешёл на другую сторону, к Лувру с ещё тёмными окнами, и с упоительным мальчишеским предвкушением подумал о том, сколько предстоит увидеть и открыть. Осторожно, будто на ощупь, двигались непривычные к снегу автомобили с включёнными фарами, а когда сигналили, казалось, это они его приветствуют, желают удачи. По набережной Лувра он пошёл в сторону Консьержери, вновь пересёк Сену, на этот раз по Новому мосту, и по острову Сите дошёл до темнеющей громады Нотр-Дам-де-Пари, контур которого чётко вырисовывался на фоне блёкло-салатового неба.

Перед собором Парижской Богоматери присел на скамью и, вспоминая одноимённый роман Гюго, разглядывал присыпанный снегом и оттого казавшийся таинственным и жутковатым чёрный фасад с фигурой Христа, изображениями Порока и Добродетели, статуями апостолов на портале, в изгибе арки — сцен Небесного Суда, Рая, Ада…

Маркес вспомнил, с чего начинается роман Гюго: «Триста сорок восемь лет шесть месяцев и девятнадцать дней тому назад парижане проснулись под перезвон всех колоколов, которые неистовствовали за тремя оградами: Сите, Университетской стороны и Города…» И это обыденное, конкретизированное, будто бы даже казённое начало — эти «триста сорок восемь лет шесть месяцев и девятнадцать дней…» — здесь, перед Нотр-Дам представилось гениальным, Маркес даже хлопнул в ладони. Сколько раз потом он будет использовать этот «арифметический» приём в своих произведениях! «Ответ он знал уже пятьдесят три года семь месяцев и одиннадцать дней… Дождь лил четыре года одиннадцать месяцев и два дня…» — с радостной улыбкой бормотал Маркес, прикуривая завалявшийся в кармане бычок.

Снег прекратился, проблеснуло холодное серебристо-розовое солнце. Габриель вышел на набережную Турнель, где уже расставляли и раскладывали товар букинисты. С замирающим сердцем он листал книги и журналы, переходя от одного прилавка к другому, кое-как объясняясь. Потом заходил в антикварные лавки на набережной, вновь возвращался к букинистам… И не заметил, как утренние сумерки сменились вечерними, вновь зажглись фонари. Поторговавшись, приобрёл изящный антикварный штопор и несколько книг, в том числе зачем-то путеводитель по Парижу времён Наполеона III, испано-французский разговорник конца XIX века, ранние стихи Гарсиа Лорки, книгу венецианского купца и дипломата Фоскарино, путешествовавшего по Московии в 1556 году, и изданный в

Барселоне сборник графа Толстого (последние две книги отчасти потому, что подумал о миловидной сероглазой хозяйке отеля «Фландр» мадам Лакруа, вдове беженца-дворянина из России, ныне супруге какого-то ничтожного мсье).

Вспомнив, что уже почти сутки не ел и не пил, Маркес решил отужинать. Притом не наспех, как бывало в Италии, а обстоятельно, достойно этого дивного дня в Париже. Он углубился в улицу Сен-Жак, свернул направо на улицу Эколь, потом налево на бульвар Сен-Мишель, по касательной прошёл Люксембургский сад и вышел к небольшой площади с памятником, за спиной которого располагалось уютное с виду кафе «Клозери де Лила», показавшееся знакомым *(deja vu* в Париже посещает многих приезжих). И меню в мягком кожаном переплёте с золотым тиснением, которое принёс гарсон, хоть и было на французском, тоже показалось знакомым. И карта вин. Твердя то и дело «силь ву пле» («пожалуйста») и «жё вудрэ манже боку и бьен» («я бы хотел много и хорошо поесть») и тыкая пальцем, он заказал то, что понял, — по аналогии с родными испанскими и уже привычными итальянскими названиями блюд. Но получилось превосходно: салат из авокадо, папайи и пармской ветчины, густой луковый суп с сырными булочками, абрикосово-имбирные куриные ножки, фондю «Вальдостано», абрикосы в ванильном сиропе с мятными сливками, бутылочка вина «Пуйи-сюр-Луар»…

Маркес сидел у окна и, поглядывая на освещённый фонарём заснеженный памятник маршалу Нею, с наслаждением ел, пил и читал повесть «Хаджи-Мурат» Толстого. Примерно с тридцатой страницы он позабыл, где находится. Он был уже там, на войне на далёком Кавказе, о котором почти ничего не знал, разве что читал о геноциде армян, о том, что Сталин оттуда родом, и слышал в Варшаве от того странного старика, что просил сигарету, будто поляки пытались накануне другой, Второй мировой войны зачем-то разжечь на Кавказе сепаратизм.

Он видел звёзды над горами, похожие на те, что светят над Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, а больше ничего не было общего, разве ещё вой, плач, хохот шакалов — койотов; он здоровался, как там принято: «Салям алейкум», скакал на белогривом коне, умывался ледяной водой из кумгана, засучив рукава бешмета, и точил кинжал, и слышал рыдания жён Шамиля и великосветский разговор на обеде у императора Николая I, пил водку, закусывая каким-то неведомым чёрным хлебом, и распевал «Ля илляха иль алла»… Дочитав, он с недоверием, будто был показан карточный фокус, стал её перелистывать. Казалось невероятным: как можно вместить столько всего в неполную сотню страниц? Его

собственный роман «Дом» простирался к тому времени уже более чем на тысячу! Гарсон вернул Маркеса к реальности, положив на мраморный столик счёт.

Весь январь валил снег. Парижане уверяли, что не помнят такого с довоенных времён. Начали с Пантеона, который находился недалеко от отеля «Фландр», и день ото дня двигались по часовой стрелке, «цилиндрически», то расширяя круг, то сужая, чтобы захватить «все стоящие» места. Бульвар Монпарнас — улица Вожирар, где проживал Атос из «Трёх мушкетёров», — бульвар Виктора Гюго — проспект Эмиля Золя — проспект Теофиля Готье — улица Лафонтена — Булонский лес — бульвар Клиши, где проститутки ещё помнили Генри Миллера, — пляс Пигаль — Ворота Клиньянкур с блошиным рынком — кладбище Пер-Лашез — бульвар Вольтера — бульвар Бомарше — площадь Бастилии — улица Дюма — бульвар Дидро — Венсенский лес, где так славно было драться на дуэли…

— Такое чувство, что весь город — для поэтов и писателей, составлен из произведений! — восхищался Маркес. — Но так не бывает, надо же кому-то и клозеты чистить.

— Тут поэты и чистят!.. — заверял Плинио.

Мендоса был настолько неугомонен в стремлении показать Габо весь Париж, что Маркес стал отлынивать от экскурсий и «погружений» под предлогом необходимости отправки срочной корреспонденции или натёртой мозоли. Сам же отправлялся на набережную Сены, на любимый свой остров Сите, чтобы побыть в одиночестве. И раз-два в неделю, пока позволяли средства, непременно наведывался в Лувр. Там подолгу стоял у всегда окружённой туристами Венеры Милосской, пытаясь представить, каково было положение её отсутствующих рук, и размышляя о том, насколько беднее был бы образ, если бы всё присутствовало… Не мог оторвать взгляда от картины Жоржа де Ла Тура «Магдалина со светильником», от мерцающего пламени, на который и равноапостольная Мария Магдалина смотрит с чувством неземного одиночества, в то время как рука её нежно поглаживает череп, лежащий у неё на красивых коленях. Восхищался Рубенсом, умевшим совмещать в триумфальном барокко опыт венецианских колористов с продуманной фламандской традицией. Учился у Леонардо, зашифровавшего свою «Джоконду». У Пуссена, бесстыдного «похитителя сабинянок». У любимца маркизы де Помпадур Франсуа Буше, будоражащего воображение «купающейся Дианой», «будуарными Венерами». У солнечно-воздушного Фрагонара. У сопрягавшего Восток с Западом Делакруа, создавшего величайший плакат

«Свобода на баррикадах»…

Маркес пожалел о том, что в Италии уделял недостаточно внимания изобразительному искусству, которое перекликается с литературой и способно многое подсказать. Он даже ненадолго вернулся к увлечению отрочества — рисованию. Подвигла, правда, и нужда, в которую сполз незаметно, как-то по-парижски изящно, когда вокруг приятели и приятные знакомые, с которыми сошёлся накануне в компании, угощающие сигаретой, чашкой кофе с круассаном или стаканчиком доброго анжуйского или девицей с Пигаль…

Плинио улетел в Каракас, где скрывались от преследований диктатуры его родные. Вскоре Маркес получил письмо, в котором друг, помимо описания Венесуэлы и самых красивых девушек, сообщал, что в Каракасе появилось больше времени, и он начал публиковаться в журналах «Элита» и «Моменто», получая недурственные гонорары.

А у Габриеля наступила чёрная полоса. Однажды утром он вышел из дома, на перекрёстке бульваров Распай и Эдгара Кине купил «Монд», сел в кафе, чтобы, наслаждаясь жизнью парижского корреспондента, почитать газету за чашечкой душистого кофе, и прочитал, что в Боготе генерал Пинилья закрыл газету «Эль Эспектадор».

Вечером он сидел в студии архитектора Эрнана Вьеко.

— И что же теперь делать? — прокуренным голосом спрашивала Джоан, по-армейски коротко стриженная, в свободном, грубой вязки свитере а-ля Хемингуэй. — На что ты будешь жить, чико? Надо ведь не только питаться, но и за комнату платить…

— Надеюсь на снисхождение милой хозяйки отеля.

— Милой? Спишь с ней? Господи, ты романтик, Габито! Надо быть жёстче, Париж только с виду такой романтичный. Он беспощаден и принимает лишь прагматиков и циников.

Пятнадцатого февраля Маркес получил телеграмму с сообщением о том, что в Боготе вместо упразднённой «Эль Эспектадор» начинает выходить многополосная газета с отважным в условиях диктатуры, как представлялось из Европы, названием «Индепендьенте» («Независимая»). Главным редактором стал журналист, писатель, политик Альберто Льерас Камарго. Это известие обрадовало Маркеса. Он засел за репортаж, который максимально растягивал (гонорары начислялись постранично), и превратил, как это часто у него бывало, в большой очерк или даже повесть «о французских тайнах». Этот очерк о коррупции в верхах публиковался в «Индепендьенте» с 18 марта по 5 апреля 1956 года и вызвал у бывших читателей «Эль

Эспектадор» разочарование: тайн не раскрывалось, было больше «воды». В редакцию стали приходить письма: «Куда делся сам Гарсиа Маркес?!»

«Думается, „Процесс по делу о французских тайнах“ — один из немногих, если не единственный откровенно плохой репортаж, вышедший из-под пера Гарсиа Маркеса за всю его долгую блистательную карьеру журналиста… — считает Сальдивар. — Незнание языка, истории страны, непонимание политики правительства, менталитета, сути французского общества… Написан был репортаж для того, чтобы прокормиться».

День ото дня завтраки мадам Лакруа становились скуднее. Однажды он проснулся, как всегда, ближе к полудню и слонялся по фойе. Однако мадам к столу не пригласила. То же — на другое утро. В связи с тем, что на завтраках мадам можно было дотягивать чуть ли не до следующего утра, положение становилось угрожающим.

— Вы извините меня, Габо, — подчёркнуто перейдя на «вы», обратилась однажды мадам, — а за комнату вы платить не намерены? Прошло уже два месяца…

— Я заплачу, мадам! — порозовев от стыда, что случалось редко, заверил Маркес. — Даю честное слово.

— Я верю, Габриель. Если бы вы были, как ваши земляки из Латинской Америки, то мы бы с вами, извините, уже расстались. Хотя мне было бы жаль…

В Париже трудно жить впроголодь, как ни в одном, может быть, городе мира. Потому что всюду витрины с яствами, кафе, рестораны, *brasserie* (пивные). Расхаживают туристы, держа в руках длинные, продольно разрезанные батоны с беззастенчиво торчащей наружу красной ветчиной, сыром, зеленью, и жуют, глазея по сторонам. Отовсюду доносятся и неотвязно преследуют запахи еды.

Зимой ещё терпимо, потому как запахи распространяются не столь стремительно, не так сосёт под ложечкой. А на жующих за окнами кафе можно не смотреть, отвлекаясь на фасады с барельефами, памятники, церкви, модные автомобили или, что вернее всего, на красивых женщин, которых с голодухи кажется больше. А вот парижская весна — бич для голодающего. Пригрело солнце, влажно заблестели стволы платанов и лип, заворковали в сверкающих дымящихся лужицах горлицы — и официанты, будто сговорившись, взялись выносить столики, сужая тротуары, оставляя для прохожих тесные, как горлышко бутылки, проходы, делая неизбежным попадание в сферу, насыщенную запахами съестного.

Выходя из отеля, он машинально разрабатывал маршрут с наименьшим количеством кафе и продуктовых лавок. Не подозревая о том, что за тридцать лет до него точно так же поступал начинающий и голодающий в Париже Хемингуэй, впоследствии описавший эти уловки в «Празднике, который всегда с тобой». Маркес через много лет скажет, что, когда читал «Праздник», казалось, будто читает о самом себе.

Он посылал в редакцию «Индепендьенте» сигналы SOS с образными описаниями своего катастрофического положения. И каждый день ходил на почту, чтобы узнать, не прислал ли кто чего. Но ни денежных переводов, ни писем не было. Внуку деда-полковника, без гроша погибающему в Париже, никто не писал. А 15 апреля — он навсегда запомнил этот день — вместо чека на получение денег в банке пришло письмо из редакции без всяких комментариев с авиабилетом экономического класса Париж — Богота.

Два дня, бродя по городу, он размышлял над своей судьбой. На третий пошёл и обменял авиабилет на франки. Его чувство пути подсказывало, что он верно поступил, оставшись в Париже, но необходимо было сделать нечто такое, что докажет всем: он писатель.

«Когда был проеден последний франк из полученных за авиабилет, — читаем у Сальдивара, — Габриель стал собирать пустые бутылки, старые книги, журналы и газеты и сносил всё это барахло старьёвщику». Поддерживали друг друга в латиноамериканской студенческой колонии: если кому-то удавалось хоть что-то заработать или с родины приходил денежный перевод, и счастливчик покупал в лавке кусок мяса на стейк, то в придачу просил и косточку, чтобы товарищи смогли сварить бульон или ещё что-нибудь.

Джоан познакомила Маркеса с Хейсусом Сото, художником-авангардистом из Венесуэлы. Послушав, как Габо исполняет под гитару валленато, Сото предложил ему выступать дуэтом в ночном клубе «Эколь», где сам подрабатывал.

Голод привёл его и на площадь Холма, где художники пишут пейзажи и тут же, если повезёт, продают туристам. Вспомнив, что первые деньги заработал именно рисованием, Габриель попросил у Хейсуса этюдник и пришёл на Монмартр. До вечера он писал маслом с почтовых открыток виды Парижа. И ещё три дня упрямо приходил на площадь Холма и писал. Но никто даже взгляда серьёзного не задержал на его творениях, некоторые издевательски хихикали. Он уговорил грузную, с огненной гривой аргентинку попозировать, заверив, что сделает дивный портрет. Та, скорее из чувства латиноамериканской солидарности, присела

на стульчик, терпеливо высидела полчаса, а когда увидела результат, в сердцах сплюнула и обозвала его марекономом (в переводе с испанского — педераст). Проведя целый день без еды, на ногах, ужасно устав, он уныло сложил манатки и спустился к ближайшей станции метро «Anvers», но вспомнил, что мелочь, остававшуюся в кармане, истратил вчера.

— Простите, — обратился к входящему в метро французу. — Вы не выручите меня десятью франками? Я художник…

— И зовут Модильяни? — ухмыльнулся его акценту француз, протягивая обмусоленный окурок. — Это твои проблемы. Понаехали тут художники…

И швырнул чуть ли не в лицо мелкую монетку.

В отеле «Фландр» ночевать он не мог — мадам Лакруа уехала навестить сестру в Лион, а в его комнату кого-то поселили. Шёл холодный дождь. Промокнув насквозь, натерев ногу, он брёл в сторону центра, присаживаясь на лавочки или ступени, и клевал носом. Знобило, мучил кашель. Он подходил к станциям метро, прижимался к решёткам и пытался отогреться. Появлялись полицейские, требовали предъявить документы, пару раз, приняв за алжирца, торгующего чем-то непотребным у метро, избивали. Он пытался объяснить, что не торгует, что журналист, писатель… На бульваре Бон-Нувель у станции метро «Strasbourg St. Denis» ему расквасили об колено нос и губы.

Однажды он занял у земляков несколько франков, чтобы сходить на фильм Трюффо. В тот вечер случилась полицейская облава, Габриеля избили, плюнули в лицо, затолкали в машину, набитую алжирцами, как сельдью бочка, отвезли в участок. За решёткой арестованные пели хором баллады Брассенса, звучавшие как революционные гимны.

Но порой голод способствовал и открытиям. Если ничего не есть день, два и пить только воду, наступает прояснение. По-другому начинаешь воспринимать окружающую действительность, которую день на шестой и особенно седьмой и действительностью-то в обычном понимании не назовёшь. Представляется всё ясным, проникновенным, прозрачным, будто рентгеновскими лучами просвеченным. И настоящим, каким, по-видимому, изначально, когда бытие ещё не определяло, не подменяло сознание, и было.

Ночуя у знакомых в Латинском квартале, как-то оказавшись во время мессы в древнейшей парижской церкви Сен-Жермен-де-Пре и стоя под сводами возле усыпальницы Декарта, он почувствовал в душе что-то новое, незнакомое, обращённое не к земному, а выше, быть может, даже к Всевышнему. Бродя по

Парижу, листая книги на прилавках букинистов, слушая музыку, он обнаружил, что начал приближаться к пониманию истинного замысла и направленности вдохновения того или иного писателя, композитора, художника. И хотелось создать своё, такое, какого не было. Ибо на сытый желудок, чувствовал Маркес, человеку представляется, что всё открыто до него и остаётся лишь восхищаться, пользоваться, пожинать чужие плоды или, видоизменяя, выдавать за свои. А вот от голода чувства обостряются. И память. Живыми представали тётя-мама Франсиска и другие тётушки, бабушка Транкилина, которая в старости не раздевалась, если работало радио, ибо ей казалось, что те, чьи голоса она слышит, возможно, смотрят на неё, дед-полковник, окружающие их люди, которых Габриель знал совсем ребёнком или не помнил, но теперь будто обретающие плоть и кровь, каждый со своим норовом, голосом, странностями, своеобычностью… Сонм характеров!

А какие женщины являлись ему в голодных снах, да и наяву, когда вечерами выходил в город и бродил, чтобы устать, обмануть чувство голода и заснуть без сновидений!

Возможно, что именно в один из таких голодных вечеров он пошёл за мелькнувшим где-то впереди на Аустерлицком мосту изумительным силуэтом, напомнившим вдруг и первую любовь, и невесту Мерседес. Свернул на набережную Генриха IV, по бульвару Бурдон дошёл до площади Бастилии, пересёк её и вышел на бульвар Бомарше, переходящий в бульвар Тампль, пересёк площадь Республики, вышел на Сен-Мартен, затем пошёл по Сен-Дени и на перекрёстке с Севастопольским бульваром подошёл…

Их отношения, их странная любовь, расставания и встречи растянутся навсегда. Некоторые исследователи считают, что эта женщина могла бы сыграть главную роль в жизни Маркеса и судьба его сложилась бы иначе. Но в далёкой Колумбии ждала другая, чья фотография висела у него над кроватью во «Фландре», в воображении нашего героя-поэта в ту голодную пору — этакая Эннабел Ли, как у Эдгара По. Которая писала два-три раза в неделю и которой он столь же регулярно отвечал.

Незнакомка действительно была хороша и чем-то напоминала Мерседес. Но значительно выше его ростом. На ломаном французском он сказал что-то о погоде, о весне, располагающей к роскоши человеческого общения. Смерив его взглядом больших чёрных глаз, она на чистом кастильяно, классическом испанском, ответила, что если хочет познакомиться, то так бы и говорил, но вряд ли у них что-нибудь получится. Возможно, благодаря хроническому голоду Маркес в

тот поздний вечер визави с красивой женщиной был в ударе. Вытягиваясь в струнку, чтобы казаться выше, как бы невзначай ступая на более высокую, ближе к домам сторону тротуара, он говорил обо всём на свете: о мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, и ассортименте продмагов Варшавы, о пиратах Карибского моря и особенностях поэтики Артюра Рембо, о римских императорах и качестве китайского шёлка, о велогонках «Тур де Франс» и ящерицах-игуанах, о стратосфере и корриде… Она поинтересовалась, откуда он такой взялся и что у него за акцент. Габриель отвечал, что из Колумбии. Она с некоторым презрением заявила, что у них там, как и в Португалии, и здесь, во Франции, ненастоящая коррида, начиная с *paso natural,* одной из главных боевых поз матадора, да и всё — суррогат. И момент истины как таковой отсутствует. Маркес, чувствуя, что эта высокая басовитая девушка с крупными сильными кистями рук всё более его привлекает, осведомился, где же, по её мнению, настоящая коррида. В Эускуаль эрриа, в Эускади, отвечала она. В Стране Басков.

Она была басконкой, звали её Тачия Кинтана, и она не имела обыкновения знакомиться с колумбийцами и вообще с мужчинами на улице. «Тощий, как палка, — вспоминала Тачия, — кудрявый, с усами, он был похож на алжирца, а мне усатые мужчины никогда не нравились. И грубоватые мачо тоже. И мне всегда были присущи свойственные испанцам расовые и культурные предрассудки в отношении латиноамериканцев, которых в Испании считают людьми низшего сорта… Габриель казался деспотичным, высокомерным и в то же время робким — весьма непривлекательное сочетание… К тому же я предпочитала мужчин зрелого возраста…»

Тачия должна была выступать на поэтическом вечере и пригласила своего нового знакомого. Но тот ответил, что ничего скучнее, чем слушать стихи, не знает, и остался ждать в кафе «Мабийон». Потом они опять гуляли по головокружительно пахучему, прозрачному весеннему Парижу. Она интересовалась, о чём он пишет, говорила, что о политике никогда не читает, спрашивала, не пробовал ли он написать, например, про корриду. Габриель отвечал, что не знает корриды, да и всё уже написал Хемингуэй. Тачия говорила, что читала «Фиесту» и из иностранцев Хемингуэй написал о корриде лучше других, но всё же его повесть смахивает на экскурсию для американцев по достопримечательностям Страны Басков с рассказами о традициях, кулинарии…

— Похожа я на *femme fatale*? — спросила она у подъезда своего мрачного, наполеоновской архитектуры дома на улице

Д’Ассиз.

— Боюсь, ты самая фатальная из женщин, — сказал Габриель.

Как-то за утренним кофе мадам Лакруа предложила ему остаться у неё в отеле, деньги за прошедшие месяцы отдать, когда сможет, а пока перебраться в комнату на чердак, где об оплате можно не заботиться, всё равно на чердачное помещение претендентов нет. Поинтересовалась, что это за высокая брюнетка, с которой недавно видела Габриеля. Тот ответил, что это девушка из Испании, случайно познакомились. Мадам посоветовала меньше «случайно знакомиться», а больше вкалывать, превратить себя в раба на галерах, ибо лишь «на пределе или за пределом возможностей» можно чего-то добиться. Маркес пообещал и поднял жалкие свои пожитки «на галеры».

Комнатушка была крохотной. В ней помещались узенькая, коротковатая даже для невысокого Габриеля кровать, тумбочка, письменный стол, маленький, как школьная парта для младших классов, и платяной шкафчик. Зато там было тихо, светло и, когда мадам Лакруа разрешила включать обогреватель (до этого иногда писал в перчатках и шапке), тепло. По издавна существующей в Париже моде Маркес пробовал писать в кафе — и в Латинском квартале, и на набережных, и в районе Монмартра. Но в кафе то и дело что-то отвлекало, он не мог погрузиться в работу с головой, чего, безусловно, требовала проза. В кафе он лишь иногда «лепил» газетные заметки и небольшие репортажи, да ещё читал со словариком французскую периодику. А вот на чердаке ночами был безраздельным хозяином и повелителем пачки бумаги, которую купила ему мадам Лакруа, и своей пишущей машинки. Той весной Маркес, ещё трудясь над «Домом», приступил к «экспериментам по священнодействию с языком», как выразилась Мину Мирабаль. Он стремился к открытию, намереваясь создать такое, что дало бы возможность оправдать своё пребывание в Париже.

Роман с Тачией развивался, не как в книге или романтическом кино мог бы развиваться роман молодых иностранцев в весеннем Париже, а сумбурно и скачкообразно, притом скачки совершались в непредсказуемые стороны.

Родилась Кончита в январе (Козерог по гороскопу) 1929 года в семье католиков. Мечтала стать знаменитой «торерой», не принимая во внимание того факта, что само слово «тореро» — мужского рода. Часами могла отрабатывать перед зеркалом всевозможные *toreos-de-salon* — упражнения с плащом и мулетой, жалела, что её имя не Вероника — так называется пас матадора с плащом по ассоциации с изображением святой Вероники,

держащей обеими руками платок, которым она вытирала лицо Христа.

По одной из версий, и первым мужчиной её был знаменитый красавец-тореадор из Страны Басков. По другой — известный поэт Блас де Отеро, годившийся ей в отцы и переименовавший Кончиту в Тачию. Она убежала в Мадрид, чтобы стать актрисой. В столице у неё случился роман с другим поэтом, зацикленным на своей гениальности и исповедовавшим свободную любовь во всех её проявлениях: он принуждал Тачию к лесбийскому и групповому сексу. Она бежала в Париж, стала посещать театральные курсы, чтобы поступить на сцену. «Она принадлежала к тому типу женщин, которые считались особенно привлекательными в период послевоенного экзистенциализма, — описывает её Мартин. — Стройная, смуглая обитательница левобережья, она обычно одевалась в чёрное, носила стрижку под мальчика и была неимоверно энергична… Поскольку она была иностранкой, её шансы добиться успеха на сцене французского театра фактически равнялись нулю…»

В Париже Тачия сумела устроиться лишь прислугой в богатой французской семье, глава которой, шестидесяти пятилетний адвокат, с первых минут стал домогаться красавицы-басконки. К тому же вовсе не по-испански и уж тем более не по-баскски. Например, в присутствии сорокалетней жены уговаривал Тачию дать ему пососать её очаровательные пальчики на ножке, при этом жена смеялась и уверяла, что это пустяшная прихоть немолодого, устающего на работе мужчины. В ту ночь, когда Маркес увидел её на Аустерлицком мосту, Тачия бродила по Парижу в думах о том, как жить дальше… «Поначалу я не была расположена к Габриелю, — вспоминала Тачия. — Но постепенно прониклась к нему симпатией. У нас завязался роман, мы стали встречаться регулярно. Поначалу он мог меня угостить в кафе бокалом вина, но потом остался вовсе ни с чем».

Хулио Кортасар в беседе со мной в Гаване вспоминал, как, ещё не подозревая о существовании Маркеса, описал историю его любви в романе «Игра в классики» (о сходстве сообщил ему позже сам Маркес):

— Это книга о латиноамериканском эмигранте, в середине 50-х блуждающем по Парижу, в основном по Латинскому кварталу в компании интеллектуалов. Оливейра ищет свой мир. Музой для него становится неуловимая и непостижимая красавица Мага, оказавшаяся как две капли воды похожей на Тачию Габриеля. Сильнее и, может быть, глубже, чем он.

Опаздывая на час-полтора на свидание у фонтана площади Сен-Мишель, Тачия объясняла, что у них в Стране Басков только

коррида начинается вовремя. Поезда, самолёты, театральные представления могут задерживаться, но рожок, оповещающий о начале корриды, всегда звучит минута в минуту. И они обязательно должны съездить в начале июля на праздник святого Фермина — и вместе пробежать в семь утра на *encierro*, перед быками через всю Памплону из корраля в *sobrepuerta* цирка. Тачия уверяла, что писателю надо это испытать, что тяжёлые увечья бывают нечасто, потому что быки держатся стадом, не проявляют норов, да и дрессированные волы, бегущие с ними, не дают им задерживаться. Но всё, конечно, бывает — и под машину можно попасть. А уже вбежав на арену, забитую людьми, которые не могут перелезть через *barrera,* забор, бык может любого поднять на рога, оружие брать запрещено, такова традиция — дать шанс быкам в последний раз нанести удар любому человеку, прежде чем их загонят в корраль, откуда они выскочат на ослепительную арену, на «смерть после полудня».

Иногда они всё-таки могли себе позволить посидеть в кафе. Но и в кафе Тачия продолжала рассказы о корриде, имея в виду, конечно, не только саму корриду (которая становилась своеобразной метафорой). Говорила, что не всегда коррида-де-торос заканчивается торжеством — даже над самым успешным боем неизменно витает призрак смерти. Это древний обычай, существовавший ещё до Рима, но римлянами культивированный — не жестокость, но напоминание о смерти. Бывают годы, когда никто из тореро не погибает. Раны не в счёт, удар рогом — почётный трофей, им гордятся. Но бывают годы нескольких смертей. Тореро много и спокойно говорят о смерти. Гарсиа Лорка писал, что в Испании именно «с приходом смерти занавес открывается». Но сам поэт не смог сдержать слёз, когда был смертельно ранен его друг и любовник, великий тореро. Маркес уверял, что пусть она и не стала торерой, но станет, безусловно, великой актрисой.

Ссорились они спонтанно, из-за пустяка, но яростно и с завидным постоянством, как выразилась Джоан, через два дня на третий, будто блюдя извечный распорядок корриды. Инициатором ссор в девяти случаях из десяти выступала Тачия, притом выступала так, что порой свидетелям становилось жутковато, Джоан, например, когда они приходили вдвоём, припрятывала острые ножи. И, по мнению мадам Лакруа, целый месяц противившейся посещениям Тачии, но всё-таки сдавшейся под напором басконки, она его любила столь отчаянно и бескомпромиссно, что могла и зарезать, как Хосе — Кармен в одноимённом произведении.

Тачия приходила во «Фландр» и сидела внизу в ожидании,

пока Габо, ночью работавший, проснётся, и они шли в гости к друзьям или бродили по сияющему и сверкающему фиолетовому, оранжевому, изумрудному, красно-синему, кипенно-белоснежному от цветущих каштанов Парижу. Они всюду, как принято в городе на Сене, целовались и, будучи по воспитанию всё-таки чуждыми этому парижскому обычаю (ни в Колумбии, ни в Стране Басков бы не поняли), забывались. Однажды в парке Бют-Шомон их едва не арестовали жандармы — Тачия на эускади обозвала их недоносками и уродами, но они, слава Богу, языком басков не владели.

Она оперировала преимущественно такими категориями, как «muy hombre», «macho» — «настоящий мужчина», «самец»… Через десять лет, завершая роман «Сто лет одиночества», Маркес вспоминал неиссякаемую выдумщицу-басконку, с которой в Париже они «утрачивали чувство реальности, понятие о времени, выбивались из ритма повседневных привычек…». В своей квартире на улице Д'Ассиз она устраивала корриду.

«Любовники… затворили двери и окна и, чтобы не терять лишних минут на раздевание, стали бродить по дому в том виде, в котором всегда мечтала ходить Ремедиос Прекрасная, валялись нагишом в лужах на дворе и однажды чуть не захлебнулись, занимаясь любовью в бассейне, — читаем в романе „Сто лет одиночества". — За короткий срок они внесли в доме больше разрушений, чем муравьи: поломали мебель в гостиной, порвали гамак, стойко выдерживавший невеселые походные амуры полковника Аурелиано Буэндиа, распороли матрасы и вывалили их содержимое на пол, чтобы задыхаться в ватных метелях. Хотя Аурелиано как любовник не уступал в свирепости уехавшему сопернику, тем не менее командовала в этом раю катастроф Амаранта Урсула с присущими ей талантом к безрассудным выходкам и ненасытностью чувств. Она как будто сосредоточила на любви всю ту неукротимую энергию, которую её прапрабабка отдавала изготовлению леденцовых фигурок. В то время как Амаранта Урсула пела от удовольствия и умирала со смеху, глядя на свои собственные выдумки, Аурелиано становился всё более задумчивым и молчаливым, потому что его любовь была погружённой в себя, испепеляющей. Однако оба достигли таких высот любовного мастерства, что, когда истощался их страстный пыл, они извлекали из усталости всё, что могли. Предавшись языческому обожанию своих тел, они открыли, что у любви в минуты пресыщения гораздо больше неиспользованных возможностей, чем у желания. Пока Аурелиано втирал яичный белок в тугие соски Амаранты Урсулы или кокосовым маслом умащал ее упругие бедра и покрытый пушком живот, она

развлекалась с его могучим дитятей, играла с ним, как с куклой, пририсовывала ему губной помадой круглые клоунские глазки, а карандашом для бровей — усы, как у турка, подвязывала галстучки из атласных лент, примеряла шляпы из серебряной бумаги. Однажды ночью они вымазались с ног до головы персиковым сиропом и облизывали друг друга, как собаки, и любились, как безумные, на полу коридора…»

Они беседовали и о творчестве, чаще не соглашаясь друг с другом. Она упрекала Габриеля в том, что он пишет об уродствах, бедах. Что герои у него несчастные, ни одного муй омбре (настоящего мужчины), ни одного фламенко, то есть живого, мужественного, преодолевающего, а не покоряющегося. Ей как простой читательнице не интересны переживания болезненных сонных меланхоликов, этот психоанализ, о котором модно рассуждать в кафе, этот Кафка, у которого сплошные уроды, да и Чарли Чаплин в том фильме, который они смотрели в киношке на Елисейских Полях, хотя признаться ей в этом было стыдно в компании, где все восторгались: «Гениально!» Она подчёркивала, что мало понимает в литературе, и не считает, что обязательно надо писать о матадорах, можно и о мужественном, несдающемся человеке — и будут покупать. Говорила, что, прочитав его «Палую листву», поняла, что не любит опали, а обожает буйную зелень, твёрдую, как побеги бамбука, как нефритовый стебель…

Хлопнув дверью, Маркес ушёл. По дороге решил выпить текилы в кафе, где собирались мексиканцы (тогда можно было «объездить» всю Латинскую Америку, переходя в Латинском квартале Парижа из одного кафе в другое: тут собираются колумбийцы, тут перуанцы, тут чилийцы, уругвайцы, аргентинцы, мексиканцы…). Знакомый художник дал свежую, за 22 июня 1956 года, мексиканскую газету «Эль Эксельсиор». В ней был опубликован репортаж об аресте в Мехико кубинца, лидера «Движения 26 июля» Фиделя Кастро, недавно отпущенного с каторги на острове Пинос, и его соратников, в том числе аргентинского врача, «международного коммунистического агитатора», Эрнесто Гевары. «Гевара учил будущих партизан накладывать „шины“, делать инъекции и получил за одно занятие более ста внутримышечных и внутривенных уколов от своих учеников… Этот доктор-журналист, — пишет в своей книге „Гевара по прозвищу Че“ Пако Игнасио Тайбо II, — уже был под огнём и бомбёжкой во время вторжения вооружённых групп из Гондураса в Гватемалу — и даже глазом не моргнул. Он читал соратникам книги „Репортаж с петлёй на шее“ и „Как закалялась сталь“…»

Две недели они не встречались. Габриель был уязвлён. Он чувствовал, что матадорша подавляет, он попадает в зависимость. А ведь мадам Лакруа предостерегала. И Джоан с Эрнаном Вьеко. Поразмыслив над своим бытием в Париже, глядя на фотографию далёкой невесты Мерседес, Маркес дал себе слово забыть эту оголтелую девицу.

Засел за работу. Писал ночами, когда было так тихо, что казалось, тишину нарушают лишь стук его машинки и бой часов на башне Сорбонны. Часы отбивали каждый час — и их древний, неотвратимый бой напоминал обитателю чердака отеля «Фландр», что жизнь проходит. Совсем недавно ему было двадцать, и он был безалаберным, но подающим надежды студентом. А скоро уже тридцать. И он давно не студент, да и не журналист уже, но и не писатель, пусть даже и вышла где-то в далёкой Колумбии несчастная книжонка мизерным тиражом, который так и не раскупили, где-то на складе пылится или сожгли.

Он сидел за машинкой, утопая в исписанных бумагах, курил одну за другой дешёвые сигареты. Путал утро с вечером. Из частей «Дома» сделал отдельную повесть или даже роман под названием «Недобрый час» (окончательное название придёт позже), который также стал угрожающе разрастаться. Печатал по двенадцать, пятнадцать страниц за ночь, и подушечки пальцев покрылись мозолями, стали нечувствительными, как у гитариста фламенко. Поймав себя на этой мысли, он вышел на улицу, но каким-то непостижимым образом очутился не в том месте, которое намечал, не на острове Сите у Нотр-Дам, а на Аустерлицком мосту. Где впервые увидел её. Которая неотступно преследовала, хотя он и гнал от себя, как чертовку, как наваждение. Она и была наваждением. Бродил по Парижу, стараясь не вспоминать. Поговорил с букинистами на набережной. Проверил в банке, не перевели ли деньги. За стаканом вина в любимом кафе Генри Миллера «Веплер» на бульваре Клиши заговорил с девушкой, похожей на молодую актрису Брижит Бардо, которую недавно видел в фильме режиссёра русского происхождения Роже Вадима «И Бог создал женщину». Но она назвала такую цену, что стало совсем грустно.

Вернувшись во «Фландр», лёг спать. Поздно вечером встал, спустился на первый этаж, принял душ. В бистро за углом выпил кофе с бутербродом. Поднялся на чердак. Просмотрел рукопись романа «Недобрый час», в которой было уже более полутысячи страниц. Взял с полки и пролистал «Хаджи-Мурата» Толстого. Повесть «Медведь» Фолкнера, тоже оказавшуюся даже более короткой, чем представлялось. Повесть «Старик и море»

Хемингуэя объёмом меньше одной пятой его «Недоброго часа». Часы Сорбонны пробили три утра. И эти удары вновь напомнили о том, чего он принуждал себя не вспоминать: правила корриды-де-торос.

Маркес извлёк из шкафа свой оранжево-салатовый широкий галстук, перевязал папку с «Недобрым часом» и убрал на верхнюю полку. Потом взял небольшую стопку оставшейся чистой бумаги, заправил лист в пишущую машинку и отстучал название: «Ожидание». Выдернул, скомкал, бросил на пол. Вставил новый лист, напечатал: «Полковник». Выдернул, скомкал… Так продолжалось почти до утра. Курил, приседал, беседовал с Мерседес, глядя на фотографию, но вместо её светлого умиротворяющего личика возникал вдруг разъярённый, неукротимый, но до скрежета зубовного прекрасный, как на полотнах Делакруа в Лувре, лик басконки-генерала. И никуда было от него не деться.

Загрохотала внизу мусоровозка — скоро рассвет. Маркес взял последнюю оставшуюся от стопки чистую страницу (а он загадал: первый, заглавный лист должен быть без помарок, тогда всё получится) и двумя пальцами медленно отстучал заголовок: «Полковнику никто не пишет». Это ему понравилось. Он закурил и задумался над тем, что будет есть этим днём, да и в последующие дни. И придумал, даже потёр от удовольствия ладони одну о другую и по-мальчишески озорно рассмеялся, последнюю фразу предстоящей и представшей перед ним от начала до конца повести, ответив на свой вопрос: «Дерьмо».

Лёг спать, проснулся — за работу. Героем стал юный казначей повстанцев округа Макондо из романа «Дом», но постаревший на полвека.

Сюжет повести «Полковнику никто не пишет» прост. Внешне он даже менее существен, чем в хемингуэевском «Старике и море». Речь идёт о старом ветеране-полковнике, ожидающем пенсии, положенной ему как герою войны, доживающем век с больной старухой-женой и бойцовым петухом. За распространение подпольной литературы убит единственный сын полковника, Агустин. У родителей остаётся его «лучший во всём департаменте» петух, имеющий шансы победить на предстоящих петушиных боях. Делясь с петухом последними горстями маиса, отказываясь продать его, полковник думает не столько о выигрыше, сколько о сыне. Ибо победа петуха Агустина стала бы и победой самого Агустина и всех его товарищей. Победой самого полковника. Достоинства человека. Остальное — в подтексте.

В окончательной редакции романа «Сто лет одиночества», правопреемника «Дома», осталось своеобразное связующее звено

между романом и повестью «Полковнику никто не пишет» — эпизод с подписанием Неерландского договора о перемирии, где появляется молодой офицер с «цвета золотистого сахарного сиропа глазами»:

«…Это был казначей повстанцев округа Макондо. Чтобы поспеть вовремя, он проделал тяжелое шестидневное путешествие, таща за собой умирающего от голода мула. С бесконечной осторожностью он снял сундуки со спины мула, открыл их и выложил на стол один за другим семьдесят два золотых кирпича. Это было целое состояние, о существовании которого все забыли. <…> Полковник Аурелиано Буэндиа заставил включить семьдесят два золотых кирпича в акт капитуляции и подписал его, не допустив никаких обсуждений. Измождённый юноша стоял перед ним и глядел ему в глаза своими ясными, цвета золотистого сахарного сиропа глазами…»

Теперь Маркес работал каждую ночь. Просыпался в час-два дня, принимал душ, перекусывал в бистро или на кухне у мадам Лакруа. Навещал Джоан с Эрнаном, напряжённо трудившимся над чертежами, друзей, где-нибудь и как-нибудь обедал, иногда выступал с венесуэльцем Хейсусом Сото по кличке Чучо в ночном клубе «Эколь», чтобы заработать на писчую бумагу, ленту для машинки, сигареты и следующий обед. Но все его мысли были — о «Полковнике». Повседневный быт для него почти перестал иметь значение. Он писал, трудно, гораздо труднее и медленнее, чем прежде, порой перебирая в уме десятки слов и словосочетаний, меняя их местами, вытачивая, как некогда дед-ювелир, вымучивая каждое предложение. Но теперь, сидя за печатной машинкой, он чувствовал, что наконец-то обретает своё дыхание. И под утро, когда громыхала внизу мусорка, слезились глаза от дыма паршивых сигарет, отодвинув ощетинившуюся окурками пепельницу (выкуривал за ночь до трёх пачек), перечитав написанное за ночь, он признавался себе в том, что это неплохо, хотя, конечно, требовало ещё работы. Другие писатели писали, пишут и будут писать, по всему миру, на разных языках, талантливо, пусть гениально. Но так, как он написал этой ночью абзац, страницу — не напишет никто.

И он продолжал рассылать письма, но не ныл и не молил о помощи. Теперь ему требовались не только деньги, чтобы выжить, но и специфический справочный материал, который в Париже, тем более на испанском, отыскать не удавалось. Например, своего друга из Барранкильи Хермана он попросил прислать наиболее полный справочник о бойцовых петухах. Но и в Колумбии такого не нашлось, так что Херман Варгас связался с Гаваной, где в то время гастролировал его знакомый профессионал петушиных

боёв. И три месяца спустя мадам Лакруа во «Фландре» вручила Габриелю полученный с Кубы пакет, содержавший не только подробнейшее рукописное сочинение о выращивании, подготовке и тактике боя петухов, но и иллюстрации.

Верные друзья — хохмачи, собравшись летним вечером в «Пещере», прочитав вслух письмо из Парижа, содвинув стаканы с ромом за великое будущее, единогласно учредили ОДПГ — Общество друзей помощи Габито. Тут же они скинулись, добрали у владельца «Пещеры», который тоже верил в Габо, пошли в ближайший банк, обменяли кучу песо на одну купюру достоинством в сто долларов США и стали размышлять над тем, как эту сотню переправить в Париж. Через неделю, в полночь, когда Маркес вернулся после их с Чучо концерта в клубе «Эколь», мадам Лакруа вручила ему открытку из Барранкильи.

— Тебя можно поздравить, Габо? — улыбнулась мадам, занятая сведением на счётах с костяшками дебета с кредитом.

Он пробежал глазами открытку. Его действительно с чем-то горячо поздравляли.

— Cabrones! — вырвалось у него. — Козлы, делать им нечего, всё хохмят!

Он вырезал ножницами марку (племянник мадам был заядлым филателистом), вышел покурить на воздухе и выбросил открытку в мусорный бак. Всю ночь работал, лёг, как обычно, утром, удивившись, что не слышал мусорщиков. А вечером того же дня мадам Лакруа, посетовав, что мусорщики объявили забастовку и Париж погрязнет в помоях, вручила ему вдобавок и письмо.

В письме, подписанном хохмачами, сообщалось, что они воспользовались опытом подпольщиков-коммунистов и выслали сто баксов, спрятав купюру между двумя склеенными открытками. Он ринулся на улицу, стал рыться в баке, свесившись туда по пояс, и — о, счастье, что мусорщики забастовали! — склеенная из двух открытка оказалась там, на самом дне. И ещё повезло, что, вырезая давеча почтовую марку для племянника, он не разрезал купюру, слегка лишь задел белое поле.

Встал вопрос, где обменять доллары (тогда это было проблемой). Кто-то сообщил ему про приятельницу по имени Пуппа, вспоминал фотограф Гильермо Ангуло. Та только что приехала из Рима, где ей заплатили гонорар. Посему он отправился к ней. Пуппа открыла дверь абсолютно нагая — роскошное тело с умопомрачительным бюстом. Села, закинув ногу на ногу, — по словам Габо, его раздражало, что она ведёт себя так, будто полностью одета, — и стала говорить об эгоизме

мужчин. Он изложил ей свою проблему. Она кивнула, прошла, виляя бёдрами, через комнату туда, где стоял маленький сундучок с деньгами. Он понимал, что ей хочется заняться сексом, а он сам изнывал от голода. Обменяв деньги, он пошёл в кафе и так объелся, что неделю страдал от несварения желудка.

Маркес вновь погрузился в почти круглосуточную работу. Главный герой повести, полковник, выходил у него таким, что мог быть в молодости и матадором, получившим, например, во время королевской корриды корнаду — глубокую рану, а теперь ожидал пенсии. Чтобы отвлечься от маниакальных мыслей о басконке, он за две ночи закончил повесть, а затем, когда в октябре пошли дожди, барабаня по черепичной крыше «Фландра», отправив рукопись друзьям, стал заново её переписывать.

«Полковник открыл банку с кофе и убедился: на дне осталось не больше чайной ложечки. <…> Стоял октябрь. Ещё одно утро, которое нелегко превозмочь даже такому человеку, как он, пережившему множество подобных дней. Вот уже пятьдесят шесть лет — с тех пор, как закончилась последняя гражданская война, — полковник только и делал, что ждал.

Октябрь — это было то немногое, чего он дождался…»

Надев плащ, взяв зонт, Габриель вышел под дождь. И сам не понял, как очутился в подъезде дома на улице Д'Ассиз. Позвонил, страшась и надеясь, что Тачия не одна, и готовясь что-нибудь соврать. Она открыла, она была одна, со стрижкой, в чёрно-красно-золотом шёлковом халате, и была ещё более, чем прежде, хороша. Она сказала: «Я ждала тебя».

Под утро он читал ей «Полковника». Басконка одобрительно кивала, говорила, что лучше бы, конечно, о молодом и сильном, но и старик-полковник ей нравится. И всё-таки многовато лирики и лишних слов. Надо быть твёрже, целенаправленнее. Он, Габо, не должен забывать, что у него одна главная задача: встать в *paso natural* и после *varas,* уколов пикадорской пикой, нанести такой *coup de grace,* чтобы сомнений уже ни у кого не оставалось. Он должен дескабельяр — окончательно и бесповоротно грохнуть своего читателя. А если не стремится к этому, то он не художник. Но петух вышел классный.

«Он держался только надеждой на письмо. Измождённый, с ноющими от бессонницы костями, он разрывался между домашними делами и петухом. Во второй половине ноября петух просидел два дня без маиса, полковник уже думал, что тот умрёт. И тут он вспомнил о горсти фасоли, которую ещё в июле повесил над печкой. Он облущил стручки и положил петуху в миску сухие фасолины.

— Поди сюда, — позвала жена…

Когда он подошёл к жене, она пыталась приподняться на кровати. От её тела исходил запах лекарственных трав. Отчеканивая каждое слово, она сказала:

— Ты немедленно избавишься от петуха.

Полковник знал, что рано или поздно она так скажет. Он ждал этого момента с того самого вечера, когда убили сына…»

Тачия воскликнула, что вот это и есть момент истины.

— «…и он решил сохранить петуха, — продолжал Габриель. — У него было время подумать, что ответить жене. <…>

Она в изнеможении откинулась на кровать. <…> Петух, живой и здоровый, стоял перед пустой миской. Увидев полковника, он тряхнул головой и произнёс гортанный монолог почти человеческим голосом. Полковник сочувственно улыбнулся ему.

— Жизнь — тяжёлая штука, приятель».

Тачия сказала, что у её хозяйки-адвокатессы подруга работает в издательстве «Галлимар», и предложила показать рукопись. Габриель выказал уверенность, что в столь крупное издательство, как «Галлимар», его на пушечный выстрел не подпустят.

— «…Плохой признак, — сказала женщина. — Это значит, ты начинаешь сдаваться. — Она снова принялась за кашу, но через минуту заметила, что муж по-прежнему погружён в свои мысли. <…>

— Сегодня мне пришлось прогнать детей палкой, — сказала она. — Принесли старую курицу, чтобы петух потоптал её.

— Обычное дело, — сказал полковник. — В деревнях полковнику Аурелиано Буэндиа тоже приводили девушек.

Жене шутка понравилась…»

Понравилась она и Тачии.

«Однажды вечером, когда мы гуляли с ним на Елисейских Полях, — рассказывала Тачия профессору Мартину, — я почувствовала, что беременна. Но, забеременев, продолжала работать — присматривала за детьми, мыла полы, — хотя постоянно мучила тошнота. А по возвращении домой начинала готовить, потому что он ничего не делал. Он говорил, что я люблю распоряжаться, называл меня „генералом“. А сам тем временем писал свои статьи и „Полковника…“ — это, конечно, была книга о нас: о нашем положении, о наших отношениях… Мы ругались постоянно, мы грызлись, как кошка с собакой. Это были жуткие, изнурительные ссоры; мы губили друг друга… Но он был и очень ласков — сама нежность. Мы обо всём говорили. Мужчины — наивные существа, и я многому его учила, прежде всего в том, что касается женщин. Я дала ему много материала

для его романов… Габриель божественно танцевал, много пел, особенно валленато Эскалоны, у него был чудесный голос. И, конечно, пусть мы ссорились, ругались почти каждый день, ночью проблем у нас никогда не было, мы прекрасно понимали друг друга. <…> Мы вместе впервые побывали на празднике газеты „Юманите“. В ту пору я вообще не разбиралась в политике и идеологиях. А Габриель, мне казалось, жил политикой и придерживался твёрдых политических убеждений. В том, что касается политических принципов, он был человек честный, серьёзный и благородный. Думаю, по своему мировоззрению он был настоящий коммунист. Помню, я сказала ему со знанием дела, будто понимала, о чём говорю: „Есть хорошие коммунисты, а есть плохие“. Габриель глянул на меня сурово и ответил, как отрезал: „Нет, мэм, есть коммунисты и некоммунисты“».

Вскоре Тачия отнесла рукопись подруге жены своего работодателя. Некоторое время спустя пришёл ответ с рекомендацией издать книгу у них в издательстве, но за счёт автора, с тем, чтобы они попробовали её как-то распространить. Но это было больше, чем он задолжал мадам Лакруа почти за год!

Иногда Маркес заглядывал в кафе к кубинцам, чтобы узнать новости. По сообщениям, яхта «Гранма», рассчитанная на восемьдесять человек, отчалила из Мексики и 2 декабря 1956 года прибыла на Кубу в районе Лас Колорадас провинции Ориенте с восьмьюдесятью двумя изголодавшимися, измученными морской болезнью людьми Фиделя. И сразу они попали под массированный огонь с катеров, самолётов и вертолётов диктатора Батисты: в местечке Алегрия-де-Пио — Святая радость — были убиты и пленены, а потом расстреляны почти все, уцелело несколько человек. «Где-нибудь в лесу, долгими ночами (с заходом солнца начиналось наше бездействие) строили мы планы, — писал в дневнике за 1957 год аргентинский доктор-революционер Эрнесто Гевара, которому кубинская братва дала кличку „Че“. — Мечтали о сражениях, о победе. Это были счастливые часы. Вместе со всеми я наслаждался впервые в моей жизни сигарами, которые научился курить, чтобы отгонять назойливых комаров. С тех пор въелся в меня аромат кубинского табака. И кружилась голова, то ли от крепкой „гаваны“, то ли от дерзости наших планов — один отчаяннее другого».

В декабре архитектор Вьеко, удачно продавший очередной проект, с подачи его супруги Джоан, по-прежнему покровительствовавшей Маркесу, на неопределённый срок одолжил полтораста тысяч франков. Сто двадцать Габриель принёс мадам Лакруа. Она не хотела брать деньги, но он с ней расплатился, чтобы навсегда покинуть отель «Фландр».

За прощальным бокалом вина мадам поинтересовалась, куда он направится и что планирует делать. Он ответил, усмехнувшись, держа в руке картонную коробку с рукописями, что продолжит любимое занятие: переписывать, пока чего-нибудь стоящего не добьётся. Мадам Лакруа пожелала ему Божией помощи и, поцеловав, перекрестила.

«За вторую половину 1956 года Гарсиа Маркес девять раз переписывал роман, — вспоминал биограф Сальдивар. — Борясь с собой, иногда по живому, с муками, но он всё время сокращал его, пока не уменьшил до объёма повести. Притом написанной предельно точным, выверенным языком, без единого лишнего слова… Габриель снова и снова перепечатывал рукопись на самой дешёвой бумаге, потому что денег совсем уже не было, и упрямо рассылал… Друзья обивали пороги издательств и Венесуэлы, и Колумбии, надеясь найти сочувствие и вкус к настоящей прозе. Но всюду получили отказ».

Он переселился к Тачии. «Их отношения складывались трудно из-за разницы характеров и взглядов на жизнь, — читаем в книге Ю. Папорова „Габриель Гарсиа Маркес. Путь к славе“. — А когда Тачия в сердцах упрекнула Габриеля в том, что он строчит на машинке какую-то ерунду вместо того, чтобы писать ради заработка, любовь и вовсе кончилась. Однако ещё какое-то время Гарсиа Маркес поддерживал с ней отношения ради того, чтобы иметь бесплатный приют, вкусную еду и женское тепло».

Встретив новый, 1957 год, уложив выпившую бутылку шампанского Тачию спать (по другой версии, накануне Рождества она уехала в Мадрид), он вновь сел за письменный стол. Полистал сборник Хемингуэя. Почитал повесть «Иметь и не иметь», задержавшись на фразе: «Потребовалось немало времени, чтобы он выговорил это, и потребовалась вся жизнь, чтобы он понял это». И вновь принялся сокращать, делать ещё более лапидарным и мужским финал, последний диалог «Полковника».

— Чтобы окончательно дескабельяр, — вспомнил он совет посапывающей Тачии.

«… — Если петух выиграет, — сказала жена. — А если проиграет? Тебе не приходило в голову, что он может проиграть?

— Этот петух не может проиграть…

— И что мы будем есть всё это время? — спросила она и, схватив полковника за ворот рубашки, с силой тряхнула его. — Скажи, что мы будем есть?

Полковнику потребовалось прожить семьдесят пять лет — семьдесят пять лет своей жизни, минута в минуту, чтобы дожить до этого мгновения. Он почувствовал себя непобедимым, когда чётко и ясно произнёс в ответ:

— Дерьмо».

Юмор, проявившийся в пятом или шестом варианте повести, прежде совершенно чуждый творчеству Маркеса, в шутках, словах полковника становится порой парадоксальным, но верным мерилом стойкости и мужества. Полковник «отшучивается, словно отстреливается». Как старый ковбой. Заметим, юмор (в широком смысле), адекватный времени — началу второй половины XX века, после революций и войн.

Горе художнику, в муках творчества создавшему дитя не своего времени. Не мог бы появиться «Дон Кихот» Сервантеса веком раньше или веком позже. И «Анна Каренина» Льва Толстого не могла бы. И «Братья Карамазовы» Достоевского. Но это — если по самому большому счёту. Конечно, «Полковнику никто не пишет» из другого разряда, другого калибра. К тому же произведение, автор этого не скрывал, не вполне самостоятельное. Но — самоценное, имеющее определённое значение и занявшее своё место в истории всемирной литературы. Потому что другого такого «Полковника» не было до Маркеса, не будет после. Сам Маркес — искренне или не совсем — порой принижал значение своей повести, причислял (несправедливо, как нам представляется) созданное на чердаке под ночной бой часов к разряду «заказной литературы».

«После „Палой листвы“, — говорил Маркес в интервью Мендосе, — я пришёл к убеждению, что любой стоящий роман должен быть художественным отображением действительности. Книга вышла в свет, когда Колумбия переживала время кровавых политических репрессий, и мои политические единомышленники, коммунисты, вбили в меня серьёзный комплекс вины. „Да это роман, который никого не обличает и ни с кого не срывает масок!“ — критиковали, даже обвиняли они меня… „Полковнику никто не пишет“, „Недобрый час“ и некоторые рассказы из сборника „Похороны Великой Мамы“ — это произведения, навеянные, а то и продиктованные колумбийской действительностью, и их рациональная структура определялась характером темы. Я нисколько не жалею о том, что написал эти книги. Однако они из разряда заказной литературы, в которой всегда есть некоторая статичность и ходульность в силу того, что она непосредственно опирается на действительность, такую, какая есть. Плохие эти книги или хорошие, но они всегда заканчиваются на последней странице. И они куда более ограниченны в сравнении с тем, что я способен создать… Да, я по-прежнему, как и в молодости, хочу, чтобы мир стал социалистическим. И думаю, что рано или поздно так и будет. Однако у меня есть много сомнений по поводу того, во-первых,

что именно мы называем социализмом, а во-вторых, что подразумеваем под понятием „заказная литература“ или, точнее, „социальный роман“, который есть наиболее законченная форма этой литературы… Мои партийные друзья-товарищи, которые почему-то чувствуют себя вправе диктовать писателям, как и о чём писать, занимают, возможно, сами того не понимая, позицию реакционную, поскольку ограничивают свободу творчества. Полагаю, что роман о любви столь же значителен, как и любой другой. На самом деле обязанность любого писателя — и обязанность, если хотите, революционная, — это писать хорошо».

Маркес чуть ли не с младых ногтей находился в некоей зависимости от своих «единомышленников», «партийных друзей-товарищей» коммунистов. Словно был перед ними виноват и оправдывался. Но это вопрос сложный, связанный не только с нашим героем, но с жизнью и творчеством многих выдающихся писателей и с природой самого явления так называемого «бума» латиноамериканской литературы. И это предмет наших дальнейших исследований. А тогда, в 1957 году, Маркесу впервые предстояло встретиться с социалистическим, коммунистическим режимом, что называется, лицом к лицу.

В феврале французская пресса перепечатала из газеты «Нью-Йорк таймс» интервью Герберта Мэтьюза, которого пригласил в расположение своего отряда в горах Сьерра-Маэстра Фидель с целью опровергнуть сообщения Батисты о разгроме «разбойников» — «форахидос». «Судя по всему, — писал американский корреспондент, — у генерала Батисты нет оснований надеяться подавить восстание Кастро. Он может рассчитывать только на то, что одна из колонн солдат невзначай набредёт на юного вождя и его штаб и уничтожит их, но это вряд ли…»

Тачия уезжала из Парижа.

«В отношении ребёнка Габриель занял пассивную позицию, — вспоминала она. — Просто предоставил мне свободу принимать решения… В итоге я обратилась к одному санитару на севере Парижа, и он вставил мне катетер. Кажется, санитара нашёл Габриель. Ему пришлось повторить процедуру, потому что в первый раз катетер выпал. Это было ужасно. И всё равно ничего не вышло… Конечно, к тому времени я — несмотря на свои корни, а может, как раз из-за этого — порвала с Богом. Тогда, когда мы всё это затеяли, у меня уже было четыре с половиной месяца. Я была в отчаянии. Жуткое время. Потом у меня открылось кровотечение. Он был в ужасе, едва не падал в обморок — Габриель… при виде крови… Восемь дней я пролежала в акушерской клинике Порт-Руаяль, это рядом с тем

местом, где я жила… После того как у меня случился выкидыш, мы оба знали, что между нами всё кончено… Я уезжала в Мадрид, на Аустерлицком вокзале Габриель устроил проводы с большой компанией друзей. Мы, конечно, опоздали. Багаж пришлось закидывать в поезд, у меня было восемь чемоданов, хотя Габриель всегда говорил, что их было шестнадцать. Я плакала в ладони, стоя у окна. Шёл снег. Когда поезд тронулся, я взглянула на Габриеля. У него было такое лицо… вся душа в нём отражалась. Он пошёл за поездом, потом отстал… Он разочаровал меня. Конечно, я никогда бы не вышла за него замуж. И ничуть не жалею об этом. Он слишком ненадёжный. Как можно растить детей с таким отцом? А разве есть на свете что-то важнее детей? И всё же, как выяснилось, я сильно в нём ошибалась: он оказался замечательным отцом».

Через много лет он напишет рассказ «Следы твоей крови на снегу». Молодая колумбийская чета, проводя медовый месяц в Европе, отправляется из Мадрида в Париж. Героиня уколола палец о шип подаренной розы, и палец кровоточит всю дорогу. «Представляешь, — говорит она любимому, — след крови на снегу от Мадрида до Парижа! Какие красивые слова для песни, правда?»

Глава третья
ПРОРЫВ В МАВЗОЛЕЙ

В конце весны из Венесуэлы вернулся Мендоса. И был поражён, как за год с небольшим его друг заматерел, «скулы на свирепом арабском лице обозначились ещё резче», освоил язык, притом не только классический, но и арго, и язык клошаров, и проституток, и спортсменов, хотя сам Габо был далёк от спорта. Он бойко переводил на испанский песни популярнейших Жоржа Брассенса и Жильбера Беко. Удивили Плинио и обширные знакомства Габриеля в разных парижских кругах, завязавшиеся и благодаря Тачии. (Кстати, из-за истории с Тачией многие парижские знакомые от него отвернулись.)

Как-то в кафе «Дё Маго» к ним за столик подсел, размахивая газетой с материалами о студенческих волнениях в Гаване, будто намеревался перебить всех мух, кубинец Николас Гильен. Приземистый мулат, сверкая тёмно-карими, почти чёрными радужницами с расширенными, как у наркомана, зрачками, пламенно заверял, что на Кубе появился настоящий лидер — талантливейший адвокат, оратор, как он говорит, надо слышать! Плинио с Маркесом возражали в том смысле, что говорить горазды многие, Муссолини был отменным оратором, Гитлер… Но Гильен клялся, что их молодой адвокат — другое дело, толковый и дико энергичный, способный кого угодно расшевелить, мёртвого поднять из гроба и всё перевернуть, в нём что-то от Ленина. И тут по радио сообщили, что свергнут колумбийский диктатор Пинилья. Ликуя, вышли на улицу и бродили, споря о судьбах человечества, умываясь водой из фонтанов, тут и там выпивая… Как упоительны в Париже вечера!

Плинио уговорил Маркеса ехать в гости к их общему приятелю боготинцу Луису Вильяру Борда, учившемуся по обмену — рекомендации колумбийских коммунистов — в Германской Демократической Республике, в Лейпциге. Вместе с ними на купленном Мендосой подержанном «Рено-4» собиралась в путешествие импозантная Соледад, сестра Плинио, прилетевшая с ним.

Ехали быстро, не менее ста километров в час, на ночлег остановились в придорожном отеле под Хейдельбергом. Днём осмотрели город, потом несколько дней провели во Франкфурте-на-Майне, отмечая невиданную чистоту, обилие всевозможных товаров даже по сравнению с Парижем и отдавая должное простой добротной немецкой кухне.

За руль села Соледад, помчались ещё быстрее по идеальным скоростным автобанам, построенным в 1930-е годы, при Гитлере (и будто не тронутые войной), переехали в Восточную Германию, сразу, на границе насторожившую настолько, что Соледад, пока пограничник сверял фотографию в паспорте с оригиналом, сказала друзьям по-испански:

— Может, вернёмся, пока не поздно, ребята?

В город Веймар приехали рано утром, и в первых лучах солнца этот древний, очень зелёный городок на берегах реки Ильм показался райским. Прогулявшись, позавтракав в ресторанчике на Рыночной площади, зашли в дом-музей Лукаса Кранаха Старшего, потом — в дома-музеи Листа, Шиллера, Гёте, который прожил в Веймаре почти всю жизнь.

Пожилой экскурсовод, несколько лет проведший в Бухенвальде близ Веймара (утром друзья побывали на экскурсии в легендарном концлагере, позже Маркес скажет, что ему так и не удалось совместить в сознании реальность лагерей смерти с характером немцев, которые были «гостеприимны, как испанцы, великодушны, как советские люди»), рассказал им, что у доктора Фауста в XV веке был реальный прототип, но о нём мало известно. Как чернокнижник, выдавая себя за учёного, разъезжал по Европе, бывал и здесь, в Германии. Фауст утверждал, в частности, что способен творить все чудеса Иисуса Христа. Экскурсовод говорил по-испански, выразительно артикулируя и в основном обращаясь к внимательно слушавшей его миловидной молодой специалистке по классической литературе Соледад, хотя вопросы больше задавал Габриель. Существует предание, согласно которому при «императоре алхимиков» Рудольфе II Фауст поселился в Праге, откуда и был живьём унесён дьяволом через дыру в крыше, говорил экскурсовод. Маркес поинтересовался: кто проделал эту дыру? Бывший узник ответил, что история умалчивает, и удивился, зачем нужны эти подробности. Плинио, рассмеявшись, объяснил, что их друг журналист, писатель и детали нужны для достоверности. Экскурсовод рассказал о том, что, согласно «Народной книге», «Фауст отрастил себе орлиные крылья и захотел проникнуть и изучить все основания неба и земли». У Гёте Фауст — символ возможностей и судеб человечества. Он является носителем главного из пороков *homo sapiens* — неудовлетворённости достигнутым. А это и есть основная приманка дьявола для слабодушных. Фауст Гёте — сверхчеловек. Добро, сотворённое Фаустом с помощью дьявола, принимается небесами как благо даже при условии, что от этого добра погибли невинные. За добрые дела Фауст прощён и вознесён на небо. По сути, Гёте

создал апофеоз капиталистическому миру, провозгласив подмену основной идеи Священного Писания: вместо «в начале было Слово» знаменитый житель Веймара написал «в начале было дело». Его не увлекли ни любовь, ни власть, ни деньги, ни молодость, ни красота — в каждодневном труде его идеал. И плевать на то, что этот труд обеспечивает Мефистофель. Именно дьявол вынуждает его произнести: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Фауст у Гёте — мыслитель и деятель мира капитала, беспринципный, алчный, но скрывающийся за велеречивой ширмой, говорил экскурсовод-гэдээровец.

Аллюзии с историей о Фаусте усматриваются в рассказе Гарсиа Маркеса «Старый-престарый сеньор с огромными крыльями», написанном в начале 1960-х, — будто сам Фауст, усталый, разочарованный, в образе старого ангела с крыльями спустился на землю, но потом вновь улетел:

«…Лишь подойдя совсем близко, он обнаружил, что это был старый, очень старый человек, который упал ничком в грязь и всё пытался подняться, но не мог, потому что ему мешали огромные крылья. <…> Вскоре все уже знали, что Пелайо поймал настоящего ангела. Ни у кого не поднялась рука убить его, хотя всезнающая соседка утверждала, что современные ангелы не кто иные, как участники давнего заговора против Бога, которым удалось избежать небесной кары и укрыться на земле…»

Из Веймара направились в Лейпциг, который не понравился друзьям. «До того, как оказались в Восточной Европе, мы побывали в Хейдельберге, студенческом городе Западной Германии, — писал Маркес. — Этот небольшой город поразил нас как никакой другой город Европы своей светлой, радостной, праздничной, оптимистичной атмосферой. Лейпциг в Восточной Германии — также город университетский, много молодёжи. Но выглядит унылым, каким-то жалким: обшарпанные дома, старые облезлые трамваи, до отказа набитые угрюмыми, худыми, плохо одетыми людьми, едущими туда, куда им явно не хочется. Атмосфера гнетущая, давящая. На пятьсот с лишним тысяч населения в Лейпциге нет, кажется, и двух десятков автомобилей… Для нас было абсолютно необъяснимо, почему народ Восточной Германии, которому теперь принадлежало, казалось бы, всё: власть, средства производства, полезные ископаемые, транспорт, банки, торговля, связь, — выглядит столь безрадостно и печально. Такой безысходности, как в глазах восточных немцев и немок, даже совсем молодых, я никогда в своей жизни не видел».

«СССР: 22 400 000 квадратных километров без единой

рекламы кока-колы» — так назывался большой очерк Маркеса о поездке летом 1957 года на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Советский Союз. Наблюдения гения, пусть и более чем полувековой давности, остры, по сей день занимательны и даже поучительны. И главное — посещение СССР многое дало творчеству нашего героя. А для романа, который сам Маркес называл своим главным произведением, — «Осень Патриарха» — та встреча с СССР имела первостепенное значение. Любопытно, что в Латинской Америке по цензурным соображениям очерк был опубликован лишь годы спустя. В СССР — запрещён, до 1998 года хранился в так называемом «спецхране».

Итак, вернувшись из Восточной Европы в Париж, Маркес с Мендосой возмечтали о поездке в «Мекку социализма» — загадочный СССР (газеты писали о предстоящем фестивале). Но визы без официальных приглашений получить не удалось.

«В таинственном сумрачном здании советского посольства на улице Гренель, — вспоминал Маркес, — меня провели через три гостиные, в каждой из которых на стене висел портрет Ленина, притом всё больше и больше, как собаки в сказке Ганса Христиана Андерсена. И тот же чиновник, который принимал меня в первом зале, в последнем соизволил наконец сказать на очень дурном французском, что без официального приглашения советской организации я визу получить не смогу. Никогда, добавил. После этого он проводил меня к выходу, не промолвив ни слова, но выражением лица давая понять, что будет лучше мне больше не появляться».

Габриель с Плинио отправились во французский оргкомитет Московского фестиваля на площадь Бастилии, попробовали объяснить руководителю, что журналисты и хотели бы поехать в СССР. Но представитель ответил, что хотят все, а документы на аккредитацию должны были подавать внесённые в реестр газеты и журналы ещё полгода назад — таковы требования советских властей. И вновь — случай! Этим случаем оказалась группа чернокожих танцоров из Колумбии, которую возглавляла Делия (что бы делал Маркес без женщин!), сестра писателя Мануэля Сапата Оливейи, приятеля Габо. Мануэль внёс исправления в бумаги, и выходило, что перед отлётом из Боготы группа недосчиталась саксофониста и аккордеониста, и в состав ансамбля «Делия Сапата» включены музыканты Гарсиа Маркес и Апулейо Мендоса. «Я неплохо исполнял паленке и мапале, но с ужасом ждал, что тот тип в посольстве на улице Гренель заставит меня сыграть на саксофоне, — вспоминал Маркес. — Обошлось».

Маркес написал письмо Тачии в Мадрид, в котором сообщал, что встречается с Соледад в кафе «Мабийон» (где Габриель с

Тачией когда-то фактически познакомились), что плевать хотел на плод их совместного труда — повесть «Полковнику никто не пишет», «пусть этот полковник жрёт дерьмо». Рассказывал о своих романтических встречах с младшей сестрой Тачии, Пас, которая тоже жила в Париже, и прозрачно намекал на интимную связь со всеми тремя сёстрами Кинтана, будто бы даже сравнивал их. Пожалуй, это письмо — самое безжалостное из того, что вообще написал Маркес. «Надеюсь, — демагогически, назидательно заканчивал молодой писатель, — ты поймёшь, что жизнь — трудная штука и лёгкой никогда, никогда не будет. Может быть, ты прекратишь выдумывать сказки про любовь и осознаешь, что, когда мужчина живёт тобой, ты должна хоть чем-то отвечать, а просто не требовать каждый день, чтобы он любил тебя больше и больше. В марксизме это как-то называется, но я сейчас не помню».

В поезд Берлин — Москва «музыкантов» пропустили, но оказалось, что у них нет ни спальных, ни даже сидячих мест. А шёл поезд тридцать с лишним часов. Друзья не унывали, большую часть времени куря в тамбуре, выпивая и спя, как кони, положив головы друг другу на плечи. Габриель зачитывал выдержки из купленной в Париже книги купца и дипломата Фоскарино, путешествовавшего по Московии за четыреста лет до них, в 1556 году. Венецианец писал, что женщины Московии добры и отзывчивы. «Ходят они покрытыми платком, так что солнце и воздух не могут им повредить, волосы заплетают в косу, украшают жемчугом и золотом. Они стройны телом, высоки, полногруды, с лица столь прекрасны, что превосходят многие нации, но не удовлетворяются естественной красотой, каждый день красятся, и эта привычка обратилась у них в добродетель и обязанность. На ногах носят кожаные сапожки разных расцветок. Знатные москвитяне ревнивы: не пускают жён ни на пиры, ни в дальние церкви. Другие же женщины совращаются за плату, особое расположение оказывая иноземцам, с которых, как с малоимущих, платы не берут…»

— С иноземцев платы не берут! — восклицал Плинио. — У них уже тогда был коммунизм!

— Не возражаешь, если будешь миланским журналистом Франко, а сестричка — парижской модельершей Жаклин азиатского происхождения? — Габриель что-то помечал в блокноте.

(Заметим, что уже в самих псевдонимах сокрыто нечто озорное, молодецки-задиристое.)

С ностальгией и юмором Маркес потом вспоминал ту поездку, какие бывают только раз в жизни — когда всё внове,

впервые и удивительно. «Меня не интересовал Советский Союз с нарядной причёской, прихорошившийся для встречи гостей. Страны подобны женщинам; если хочешь узнать их, нужно увидеть такими, какими они бывают по утрам, встав с постели».

Советские поезда колумбийцам показались самыми комфортабельными: купе — удобное отделение с двумя постелями, радиоприемником, лампой и вазой для цветов, настоящий гостиничный номер. Мешки, чемоданы, узлы с поклажей и едой, одежда и вообще явная бедность людей не сочетались с роскошными, тщательно прибранными вагонами. Едущие с семьями военные сняли сапоги и кители и ходили по коридорам в майках и тапочках. Колумбийцы убедились в том, что у советских офицеров такие же простые человеческие привычки, как, например, у чешских: так же пили чай, некоторые с лимоном, так же выходили покурить. На столике в купе журналисты обнаружили отпечатанное на трёх языках расписание, которое соблюдалось с точностью до секунды (как в Германии или Швейцарии), — и это удивляло латиноамериканцев, привыкших к непунктуальности. Удивляло, впечатляло и потрясало их тогда в СССР многое. Прежде всего — расстояния.

«Поскольку земля не является частной собственностью, нигде нет заграждений: производство колючей проволоки не фигурирует в статистических отчётах, — пишет Маркес. — Кажется, ты путешествуешь в направлении недостижимого горизонта по совершенно особому миру, где всё по размерам превышает человеческие пропорции и нужно полностью изменить представления о нормах, чтобы попытаться понять эту страну…» На следующее утро они всё ещё ехали по Украине. «Русская литература и кино с поразительной точностью отобразили жизнь, пролетающую мимо вагонного окна. Крепкие, здоровые, мужеподобные женщины, на головах красные косынки, сапоги до колен — обрабатывали землю наравне с мужчинами. Они приветствовали проходящий поезд, размахивая орудиями труда и крича: „До свидания!“ То же самое кричали дети с огромных возов с сеном, которые неспешно тащили могучие першероны с венками из цветов на головах…»

В Киеве гостям устроили шумный прием с морем цветов, знамёнами, гимнами. Высунувшись из окна поезда, друзья спросили с помощью испанца-попутчика, где можно купить лимоны, — и вдруг, как в сказке, им стали подавать отовсюду бутылки с минеральной водой и лимонадом, советские сигареты, конфеты, плитки шоколада в фестивальных обёртках и блокноты для автографов… Когда поезд тронулся, друзья обнаружили, что

на их пиджаках и рубашках не хватает пуговиц, а в купе надо было буквально продираться сквозь розы с шипами, которые бросали через окно…

«Казалось, мы попали в гости к сумасшедшему народу — даже в энтузиазме и щедрости он терял чувство меры. <…> Я познакомился с немецким делегатом, который похвалил русский велосипед, увиденный на одной из станций. Велосипеды очень редки и дороги в Советском Союзе. Девушка, хозяйка велосипеда, сказала немцу, что дарит его ему. Он отказался. Когда поезд тронулся, девушка с помощью добровольных помощников забросила велосипед в вагон и нечаянно разбила делегату голову. В Москве можно было наблюдать картину, ставшую привычной на фестивале: немец с перевязанной головой, разъезжающий по городу на велосипеде.

Надо было проявлять сдержанность, чтобы русские с их упорным желанием одарить нас чем-нибудь сами не остались ни с чем. Они дарили всё. Вещи ценные и вещи негодные. В украинской деревне какая-то старушка протиснулась сквозь толпу и преподнесла мне обломок гребёнки. Все были охвачены желанием дарить просто из желания дарить. Если кто-нибудь в Москве останавливался купить мороженое, то вынужден был съесть двадцать порций и вдобавок ещё печенье и конфеты. В общественном заведении невозможно было самому оплатить счёт — он был уже оплачен соседями по столу. Однажды вечером какой-то человек остановил Франко, пожал ему руку, и у него в ладони оказалась ценная монета царского времени; неизвестный даже не остановился, чтобы выслушать слова благодарности. В толпе у входа в театр какая-то девушка сунула делегату в карман рубашки двадцатирублёвую бумажку. Я не думаю, что эта чрезмерная и всеобщая щедрость была следствием приказа властей, желавших поразить делегатов. Но даже если это невероятное предположение верно, всё равно советское правительство может гордиться дисциплиной и преданностью своего народа».

Друзья-колумбийцы спрашивали многих мужчин, можно ли иметь в СССР любовницу. Ответ был единодушен: «Можно, но при условии, чтобы об этом никто не знал». — «Чтобы жена не знала?» — уточнял Плинио. «Нет, никто!» Супружеская измена — тяжкая и важная причина для развода, объясняли им. Крепость семейных уз охраняется жёстким законодательством. Но конфликты не успевают дойти до суда: женщина, узнав, что её обманывают, «доносит на мужа в рабочий совет».

«„Ему ничего не будет, — говорил нам один столяр, — но товарищи смотрят с презрением на человека, у которого есть

любовница“. Тот же рабочий признался, что если бы его жена не была невинна, то он не женился бы на ней. Сталиным заложены и основы эстетики, которую начинают разрушать марксистские критики, — среди них венгр Георг Лукач. Самый признанный среди знатоков кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн малоизвестен в Советском Союзе, потому что Сталин обвинил его в формализме. Первый любовный поцелуй в советском кинематографе был запечатлён в фильме „Сорок первый“, созданном три года назад».

Маркес так же, как и большинство приехавших на фестиваль в Москву гостей, опасался всесильной «Лубянки». Но всё-таки — в силу врождённой, доставшейся по линии деда склонности к авантюризму — тянулся к запретному плоду. Впрочем, движение было и встречным — на улицах, площадях, бульварах к Маркесу то и дело подходили какие-то сомнительные типы. Например, молодой человек, заговоривший кое-как по-английски в скверике между гостиницами «Москва» и «Метрополь». Начал он с того, что предложил за оранжево-зелёный галстук Габриеля какую-то безумную цену, притом не в рублях, как предлагали все в Москве, а в самой твёрдо конвертируемой валюте — десять английских фунтов стерлингов! Потом выяснилось, что у него в кармане целая пачка фунтов, американских долларов, французских франков и даже голландских гульденов. Разговорились. Новый знакомый, представившийся Майклом Коганом, подарил любознательному колумбийскому журналисту, задавшему кучу вопросов, вечное перо «Союз» и пожелал «накропать что-нибудь нетленное, типа „Преступления и наказания“» его любимого Достоевского. А через пару дней переводчик Миша сообщил Маркесу, что Коган — миллионер. Незадолго до смерти Сталина его посадили на десять лет, самый большой срок, далее следовал уже расстрел. Но через несколько месяцев, летом 1953 года, выпустили из тюрьмы по амнистии — тогда «не только политических, но всех почти выпускали, а потом годами снова отлавливали за грабежи и убийства». Михаил Соломонович Коган убийцей не был. Он работал на часовом заводе, тихо, но стабильно выносил запасные части, и в тиши на подмосковной даче у приятеля они часы собирали, затем реализовывали. Месячная зарплата тов. Когана М. С. на Первом часовом заводе составляла шестьсот пятьдесят рублей (что в 1961 году при деноминации превратится в шестьдесят пять). Дома у него во время обыска было обнаружено более двух миллионов.

Тридцать лет спустя, в 1987 году, мне, тогда разъездному корреспонденту журнала «Человек и закон», довелось познакомиться с гражданином Коганом М. С. — в одном из пенитенциарных заведений Урала, где Коган, в ту пору крупный

«теневик», отбывал очередной срок. Разговорились — естественно, в присутствии «гражданина начальника», оказавшегося поклонником Маркеса. Коган помнил и энергичного колумбийца, и перо «Союз», и как менял валюту, и как отвёз их с приятелем на Полянку, где в огромной, с высоченными потолками с лепниной квартире функционировал подпольный бордель со студентками, говорившими на иностранных языках, в том числе по-испански.

— Под крышей ГБ, конечно, — сказал Коган. — Уж не знаю, как они там разобрались.

«…Сталинская эстетика оставила — в том числе и на Западе — обширную литературную продукцию, которую советская молодёжь не хочет читать, — писал Маркес. — В Лейпциге советские студентки пропускают занятия, чтобы впервые прочесть французский роман. Москвички, которые сходят с ума от сентиментальных болеро, буквально пожирают первые любовные романы. Достоевский, которого Сталин объявил реакционером, начинает переиздаваться. На пресс-конференции с руководителями советских издательств, выпускающих книги на испанском языке, задаю вопрос, запрещено ли писать детективные романы. Отвечают, что нет. И тут меня осенило: ведь в Советском Союзе не существует преступной среды, которая вдохновляла бы писателей. „Единственный гангстер, который у нас был, — это Берия, — сказали мне однажды. — Сейчас он выброшен даже из советской энциклопедии“. Таково общее и категорическое мнение о Берии. И любые дискуссии исключены. Но его преступления не стали сюжетами для детективов. А научная фантастика, которую Сталин считал вредной, была разрешена всего за год до того, как искусственный спутник превратил её в суровый социалистический реализм. Самый покупаемый русский писатель в этом году — Алексей Толстой (нет, они со Львом Толстым вовсе не родственники), автор первого фантастического романа…»

Заинтересовала Маркеса личность Берии. По Москве в ту пору ходило множество всевозможных историй, с Садового кольца показывали особняк, где чудовищный Лаврентий в пенсне, как у писателя Чехова, забавлялся с девственницами, которых ему, точно царю Шахрияру из «Тысячи и одной ночи», свозили, но не на ишаках, а на больших чёрных машинах — со всей Москвы, из других городов и республик Советского Союза. Не девственниц Берия не признавал, бывало, едва удостоверившись в обмане, в своей построенной на заказ пятиспальной постели душил или закалывал кавказским кинжалом, а тела несчастных то ли съедал, то ли закапывали прямо под особняком; рассказывали, что был

завзятым театралом, нередко после спектаклей у служебных выходов из театров дежурила машина, куда подручные затаскивали приглянувшуюся хозяину артистку, и тот удовлетворял свою страсть прямо в машине, не раздевая и не раздеваясь; что сам Сталин якобы делился с Берией женщинами… В конце концов у Маркеса могло сложиться туманное представление о Берии. Вроде бы и ядерной державой СССР стал наравне с США во многом благодаря Берии. Так или иначе, но некоторые его черты через много лет можно будет узнать в подручных заглавного героя романа «Осень Патриарха» президента Сакариаса — Патрисио Арагонеса и Хосе Игнасио Саенса де да Барра.

«…И тогда генерал со вздохом облегчения сказал, что это фигня — так изводиться из-за бабы, но что он понимает — у Патрисио безбабье, и предложил похитить ту красотку, как он это делал не раз со всякими недотрогами, которые потом с удовольствием жили с ним. „Я положу её на твою кровать, — сказал он, — четверо солдат подержат её за руки и за ноги, пока ты будешь угощаться большой ложкой, пока не отведаешь её как следует. Пусть она покрутится! Это всё фигня! Даже самые благовоспитанные сперва исходят злостью, так и крутятся, а потом умоляют: не бросайте меня, мой генерал, как надкушенное яблоко!“».

Эпопея разыгралась с посещением Мавзолея Ленина и Сталина — нужно было буквально прорываться, как вспоминал Маркес. При первой попытке дежурный попросил предъявить специальные билеты — фестивальные пропуска не годились. Плинио обратил внимание Габриеля на телефон-автомат на Манежной площади: в стеклянной кабине, рассчитанной на одного человека, две хорошенькие девушки по очереди разговаривали по телефону. Одна немного знала английский, и друзьям удалось уговорить её быть их переводчицей. Обе девушки старались убедить дежурного позволить колумбийцам пройти без специального пропуска, но получили твёрдый отказ. Та, что говорила по-английски, покраснев, дала понять, что эти милиционеры плохие люди. «Very, very bad people!» — повторяла она. Габриель с Плинио знали, что многие делегаты прошли по фестивальному пропуску. В другой день они предприняли третью попытку, на этот раз пришли с переводчиком с испанского — двадцатилетней студенткой-художницей. Дежурные сообщили, что поздно: минуту назад запретили занимать очередь. Переводчица упрашивала, обращаясь к старшему группы, но тот отрицательно качал головой и показывал на часы. Колумбийцев окружила толпа любопытных. Внезапно послышался

разгневанный голос, громко повторяющий по-русски, словно ударяя молотом, одно слово — «бюрократ». Любопытные разошлись. Переводчица всё еще наступала, как бойцовский петух. Старший группы отвечал уже с угрозой в стальном голосе. Девушка зарыдала. За два дня до отъезда, пожертвовав обедом с икрой, предприняли последнюю отчаянную попытку. И когда отстояли очередь, милиционер доброжелательным жестом пригласил их, не спросив пропусков. Ликующе пройдя через главный вход с Красной площади, они оказались под тяжёлым сводом красного гранита. Узкая и низкая бронированная дверь охранялась двумя высокими крепкими солдатами, вытянувшимися по стойке «смирно» и с примкнутыми штыками. Кто-то шепнул Маркесу, что в вестибюле стоит солдат с таинственным оружием, зажатым в ладони, которое якобы вербует иностранцев в агенты госбезопасности. Таинственное оружие оказалось автоматическим прибором для подсчёта посетителей. Внутри Мавзолей, полностью облицованный красным мрамором, был освещён приглушённым, рассеянным светом. Друзья спустились по лестнице и оказались в помещении ниже уровня Красной площади. Двое таких же высоких и крепких солдат охраняли пост связи — конторку с полудюжиной телефонных аппаратов. Маркес с Мендосой прошли ещё через одну бронированную дверь и продолжили спускаться по гладкой сверкающей лестнице, сделанной из того же материала, что и голые стены. Наконец, преодолев последнюю дверь, они прошли между двумя вытянувшимися по стойке «смирно» высокими и крепкими часовыми и окунулись в ледяную атмосферу.

«Вспоминаешь ту минуту и понимаешь — в памяти не осталось ничего определённого, — писал Маркес. — Я слышал разговор между делегатами фестиваля через несколько часов после посещения Мавзолея. Одни уверяли, что на Сталине был белый китель, другие — что синий… Совершенно белые волосы Сталина кажутся красными в подсветке прожектора. Выражение лица живое, сохраняющее на вид не просто мускульное напряжение, а передающее чувство. И кроме того — оттенок насмешки. Если не считать двойного подбородка, то он не похож на себя. На вид это человек спокойного ума, добрый друг, не без чувства юмора. Тело у него крепкое, но лёгкое, слегка вьющиеся волосы и усы, вовсе не похожие на сталинские. Ничто не подействовало на меня так сильно, как изящество его рук с длинными прозрачными ногтями. Это женские руки».

Маркес будет вспоминать эти женские руки диктатора долгие годы и «присвоит» их своему герою-диктатору в романе «Осень Патриарха».

Почти через тридцать лет после того Московского фестиваля, но ещё в советскую эпоху, вскоре после присуждения нашему герою Нобелевской премии, в Москве побывала доминиканка-коммунистка Мину Таварес Мирабаль. Она собирала материал для диссертации на тему взаимоотношений писателей Латинской Америки с марксистско-ленинской идеологией и страной, в которой эта идеология «выступала в роли ведущей и единственной религии, подчиняя себе все прочие». То есть — СССР. Автору этих строк довелось сопровождать латиноамериканку, впервые оказавшуюся в Москве, как в 1957 году и наш герой, повторившую его путь — через ФРГ и ГДР, — и думается, будет уместно вспомнить ту работу над диссертацией, основанной на непосредственных впечатлениях.

— …Я много читала о том, что в СССР есть всё, — говорила Таварес Мирабаль (которую сопровождающие товарищи в Москве упорно называли «товарищ Мирабаль»), после того, как я показал ей, остановившейся в «Национале», чисто советскую гостиницу «Турист», где жили Маркес с Мендосой, и привёл на огромную территорию ВДНХ. — Читала статьи, очерки, интервью писателей и журналистов из разных стран, от Канады и Штатов до Австралии, от Швеции до Японии. И вот теперь, увидев страну, как иностранка, уроженка Карибского бассейна, могу сказать, что взгляд Маркеса отличается точностью и, главное, непредвзятостью. Чего не скажешь о большинстве написанного, порой вызывающего рвотные эффекты. Я убедилась в том, что Маркес ехал сюда не как подавляющее большинство западных авторов, то есть с уже заранее утвердившимся мнением, намереваясь лишь найти ему подтверждение, как бы проиллюстрировать, подогнать под готовую схему. Он ехал с готовностью видеть, слышать, открывать для себя. И взгляд на СССР у него был именно гарсиа-маркесовский, я поняла, в том числе и когда ты меня кормил замечательными резиновыми сосисками и поил приторным напитком типа кофе в гостинице «Турист». И теперь меня не удивляет, что он много общего узрел в советской и колумбийской действительности. У него Советский Союз — этакое огромное Макондо, о котором он только начинал тогда писать. Это характерно для его пространств, — рассуждала Мину, с восторженным изумлением разглядывая золочёные скульптуры фонтана ВДНХ «Дружба народов». — Во-первых, место, оторванное, отдалённое от остального мира. Во-вторых, где всё преувеличенное, гипертрофированное и фантасмагорическое. Он вроде бы как постоянно соотносит реальность с образами и символами этой действительности,

сопрягает с прошлым, настоящим и будущим этой жизни. Провинциальность, отсталость — и на этом фоне колоссальные памятники и плакаты с изображением вождей, гениальные физкультурники, женщины с вёслами, рабочие, колхозницы… Он мне говорил, что рассказ «Похороны Великой Мамы» написан под впечатлением от СССР. Там, в рассказе, самые пышные похороны в истории человечества, самые большие помойные свалки, знамёна, портреты, торговля оружием… Я поняла, что Фестиваль молодёжи для Маркеса стал моментом истины. Свободным вздохом и знаком конца эпохи Сталина… Заглавный герой «Осени Патриарха» постоянно перерождается, а в момент его политической смерти начинается карнавал, такой, каким я себе представляю тот ваш молодёжный фестиваль с его тысячами голубей, разноцветных воздушных шаров, салютом… И толпа таскает по мостовым труп вождя, ликуя… Вообще в творчестве Маркеса много аллюзий с советскими впечатлениями. Он просит своих латиноамериканских читателей не удивляться, если кто-нибудь расскажет, что изобрёл холодильник. Или сейчас вот — собирает компьютер, как мне похвастал молодой человек на одной из встреч. А в начале «Ста лет одиночества» один из главных героев в Макондо пытается с помощью магнита извлечь из-под земли золото и утверждает, что лёд — величайшее изобретение человечества. Можно сказать, в романе тот же сюжет, что в очерке об СССР: провинциальный гений открывает Америку и изобретает велосипед… Кстати, он мечтал провести ночь в том номере «Националя», где я живу, — там после переезда вашего правительства из Петербурга остановился Ленин. Полежать в его постели, посидеть за письменным столом, поговорить по антикварному, с рычажками, телефону, поглядеть из окна на Кремль… Скажи, а как в СССР восприняли «Осень Патриарха»?

— Не с таким восторгом, как «Сто лет». Но хорошо. А что?

— У нас в Латинской Америке отношение к «Осени» было неоднозначное. Многие критики сочли роман вычурно барочным и перегруженным гротеском.

— А у нас, я бы сказал, наоборот. Но ведь не только со Сталина он писал диктатора.

— Конечно, и с наших родных, но к вашему Сталину у него был интерес особый. Ещё в сороковых годах он опубликовал очерк об Иосифе Пуришкевиче…

— Ты не путаешь, Мину? Отдаёт глупейшими американскими фильмами о нашей жизни!

— Точно тебе говорю — очерк об Иосифе Пуришкевиче! В сороковых он жил в Англии. А до 1917 года был в ссылке в Сибири, где ему доводилось брить Сталина. Этот парикмахер, как

писал Маркес, держал бритву на горле истории!

Показав Мину Мирабаль не только ВДНХ, но и Кремль, и Красную площадь, с посещением, естественно, Мавзолея В. И. Ленина («очень даже симпатичный нестарый мужчина»), Арбат, всю Москву с площадки обозрения перед МГУ на Ленинских горах, Новодевичий монастырь, я привёл её «для интереса» в магазин «Берёзка» напротив входа на Новодевичье кладбище.

— А почему напротив кладбища? — удивилась она.

Отметив, что ассортимент приличный, почти как в магазине на Западе, она стала расспрашивать о системе оплаты товаров в «Берёзках». Я пытался ей объяснить, но, думаю, она не сумела вникнуть в тонкости различий между чеками Внешпосылторга, которые прежде назывались сертификатами и различались по цвету полосок на купюрах, то есть по достоинству в зависимости от того, заработаны ли «советскими специалистами» (в эту категорию входили все, от преподавателей, инженеров и спортсменов до воинов-интернационалистов) в капстране или соц — соответственно, и купить можно было более или менее качественный, «фирменный» товар.

— А-а! — чему-то обрадовалась Мину и даже хлопнула в ладоши. — В романе «Сто лет одиночества» помнишь? Пароходы банановой компании приходили в Санта-Марту, нагружались бананами и везли их в Новый Орлеан, а на обратном пути шли порожняком. Решили возить товары для магазинов, принадлежавших компании, а рабочим платить не деньгами, а чеками, бонами, за которые они бы покупали в этих магазинах товары, ввозившиеся компанией, на её же судах. И, кстати, дедушка Габо, полковник, получал эти чеки, у них на столе дома всегда были дефицитные продукты. Рабочие же потребовали, чтобы платили деньгами. Началась забастовка, правительство прислало войска. Рабочие собрались на станции — солдаты окружили их, началась бойня.

— У нас, думаю, бойни по поводу «Берёзок» не начнётся.

— Напрасно! Мне Маргарет, предсказательница Фиделя, предрекшая ему ещё четверть века правления Кубой, сказала, что через несколько месяцев к власти у вас придёт меченый, человек с родимым пятном на лбу, и всё будет иначе!

Из очерка «СССР: 22 400 000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы»:

«Когда он умер, ему было больше семидесяти, он был совершенно седой, появились признаки физической изнурённости. Но в воображении народа Сталин имеет возраст своих портретов. Они донесли его вневременное существование

даже в самые отдалённые уголки тундры. <…>

„Должно пройти много времени, прежде чем мы поймём, кем же в действительности был Сталин“, — сказал мне молодой советский писатель». Имени этого писателя Маркес не назвал, сказал лишь, что тот был его ровесником и родом из Средней Азии.

В мае 2007 года в самолёте «Аэрофлота», следовавшем по маршруту Брюссель — Москва, автору этих строк довелось беседовать с Чингизом Айтматовым, замечательным писателем, долгое время работавшим послом СССР, а затем Киргизии в странах Бенилюкса. И Айтматов, в частности, вспоминал, что ровно полвека назад, в 1957 году, учился в Москве на Высших литературных курсах и во время молодёжного фестиваля в Москве встречался с молодым колумбийским журналистом и начинающим писателем Габриелем Гарсиа Маркесом, никому тогда ещё не известным. Они долго проговорили — о Фолкнере, Ремарке, Хемингуэе, о русской, советской литературе, о сталинизме, о XX съезде компартии, об отношениях художника с властью… Естественно, откровений особых быть не могло. Но Айтматов запомнил встречу на всю жизнь (не исключено, конечно, что память «подогревала» и последовавшая всемирная популярность Маркеса, его Нобелевская премия).

— Это удивительно, — глядя через иллюминатор на терракотовые перед восходом солнца облака, степенно, философски отвечал на вопрос об общности литератур Чингиз Торекулович. — Родились мы в один год на противоположных концах земного шара. Но много общего. Может быть, век объединил? Да и в корнях, в истоках общее… Вот живу, работаю, езжу по миру и всё больше прихожу к выводу, что именно и только слово — это суть человеческого бытия. То есть в человеческой сущности, в человеческом бытии нет ничего, что могло бы быть помимо слова: любое действие, любое открытие, любое движение, любой поступок для человека идёт через слово. И только так продолжается осмысление сути жизни и освоение всей Вселенной. Я много думал об этом. Размышлял о древнейших акынах наших краёв. А акыны — это поэты-импровизаторы. В детстве часто приходилось слышать великих акынов. И ещё личный момент: мне Бог послал замечательную бабушку, сказки могла рассказывать с утра до вечера…

— И у Маркеса была замечательная бабушка!

— И лёд, с которого «Сто лет одиночества» начинается, помните, дед взял внука посмотреть на лёд. Я был корреспондентом «Правды» по Киргизии. И ко мне в гости приехал индийский журналист. Я повёз его показывать деревню,

где когда-то жил с бабушкой. Мы вышли из поезда на станции, индус вдруг говорит: «Чингиз, я хочу туда». — «Куда?» — «Вон туда, где снег. Хочу его потрогать…» Он никогда не видел вблизи и не трогал снега! А в горах снег — это жизнь, это реки, это вода для пастбищ, это дороже золота… И столько мальчишеского восторга было в огромных чёрных индусских глазах!.. И ещё, помню, Маркес всё о Сталине расспрашивал, что, как да почему, сравнивал с латиноамериканскими диктаторами и уверял, что Сталин более масштабен и ярок и нигде народ так не любил и не любит своих диктаторов, как у нас, в СССР. Мы, молодые советские писатели, журналисты, художники, жившие и буквально дышавшие ещё историческим докладом Хрущёва о культе личности, с этим не могли согласиться…

«…Сталин никогда не выезжал за пределы Советского Союза, — утверждает (ошибочно, конечно. — *С. М.)* в очерке Маркес. — Он умер в уверенности, что московское метро — самое красивое в мире. Да, оно хорошо действует, удобно и очень дёшево. В нём невероятно чисто, как и повсюду в Москве: в ГУМе бригада женщин целый день протирает лестничные перила, полы и стены, которые пачкает толпа. То же самое в гостиницах, кинотеатрах, ресторанах; но с ещё большим усердием это делается в метро, сокровище города. На деньги, истраченные на его мрамор, фризы, зеркала, статуи и капители, можно было бы частично разрешить проблему жилья. Это апофеоз мотовства…»

Но всё-таки московское метро молодым латиноамериканцам понравилось. Маркес потом рассказывал о нём Кортасару, который поведал об этом мне:

— Он не запомнил названий станций, сказал, что метрополитен носит имя Ленина, а станции — имена Маркса, известных анархистов и большевиков. Гости молодёжного фестиваля могли ездить в метро бесплатно, Маркес спускался под землю, как только появлялась возможность. У вас там ни одна станция не похожа на другую. Он ездил от центра, от Красной площади, как я понимаю, до окраин, ездил и по кольцевой, выходил, где понравилось. Говорил, что некоторые станции — настоящие галереи или музеи, с витражами, мозаичными панно, скульптурами! И утверждал, что моё любимое парижское метро, в котором происходит действие нескольких моих рассказов, не выдержит сравнения с московским, что я обязательно должен побывать в Москве и провести в метро по крайней мере день, спуститься на эскалаторе на станцию, где всё отделано сталью и где во время войны с Гитлером находилась ставка Сталина.

— «Маяковская», — предположил я.

— Я всегда говорил, что мог бы жить в метро, если бы там

было побольше кафе и туалетов. Маркес сказал, что если и жить в метро, то он бы предпочёл в московском, хотя там, кажется, нет туалетов. Рассказывал, как, надувшись пива в центре, у Кремля, поехал на метро в гостиницу, а езды было около часа, и насилу вытерпел, чтобы не справить нужду прямо посреди огромного, сверкающего мрамором зала!

— А было бы забавно, — заметил я. — Мемориальную табличку бы повесили: мол, здесь будущий лауреат Нобелевской премии…

— Он говорил, что ни в одном городе мира метро не населено столькими тенями и голосами прошлого… В тридцатых годах я жил в Буэнос-Айресе и помню, с каким восхищением газеты, вовсе не питавшие нежных чувств к коммунизму, писали о строительстве московского метро. Не исключено, что с подачи сталинской пропаганды. Кстати, Маркес, соглашаясь со мной, что в метро, как в музыке, особенно в джазе, время идёт по-своему, заметил, что в московском метро — особенно. Сразу — и прошлое, и настоящее, и будущее. За двадцать минут оказываешься за много километров, в другом конце огромного города! И где-то по подземным ходам, ведущим из Кремля и пересекающимся с линиями метро, идут опричники Ивана Грозного, по засекреченному тоннелю едет в свою тайную резиденцию Сталин, хотя на самом деле лежит в Мавзолее!.. — Огромные глаза Кортасара сияли восторженно, как у ребёнка, пересказывающего фантастическую сказку. — И три-пять минут между станциями могут растянуться на десятилетия!..

…Однажды во время фестиваля Маркес опоздал в метро. Была тёплая августовская ночь, в лужах после короткого дождичка поблескивали редкие огни. Он не спеша пошёл в предполагаемом направлении гостиницы, всё ещё восхищаясь тем, что в таком огромном многолюдном и многонациональном, то ли европейском, то ли азиатском городе можно вот так просто, безбоязненно разгуливать среди ночи. Но полчаса спустя понял, что идёт не туда, и на каком-то проспекте увидел девушку.

«Она несла целую охапку пластмассовых черепашек, в Москве, в два часа ночи! — и она посоветовала взять такси. Я, как мог, объяснил, что у меня только французские деньги, а фестивальная карточка в это время не действует. Девушка дала мне пять рублей, показала, где можно поймать такси, оставила на память одну пластмассовую черепашку, улыбнулась — и больше я её никогда не видел. Два часа я прождал такси: город, казалось, вымер. Наконец я наткнулся на отделение милиции. Показал свою фестивальную карточку, и милиционеры знаками предложили мне сесть на одну из стоявших рядами скамеек, где

клевали носом несколько пьяных русских. Милиционер взял мою карточку. Через некоторое время нас посадили в радиофицированную патрульную машину, которая в течение двух часов развозила собранных в отделении пьяниц по всем районам Москвы. Звонили в квартиры, и только когда выходил кто-либо, внушающий доверие, ему вручали пьяного. Я забылся в глубоком сне, когда услышал голос, выговаривающий моё имя правильно и ясно, так, как произносят его мои друзья. Это был милиционер…»

По-разному восприняли фестиваль Габриель и Плинио. Вот итоговые впечатления энергичного, хваткого репортёра Мендосы, которые, в отличие от очерка Маркеса, были, что называется, «с колёс», сразу по возвращении на родину, опубликованы:

«Поездку в СССР я вспоминаю как вереницу утомительных, жарких, липких дней, проведённых в атмосфере ярмарки, беспрерывного народного гулянья. На улицах, площадях, в парках, в колхозах мы постоянно были окружены толпами людей, которые разглядывали нас с головы до ног. С каким-то первобытным любопытством нас засыпали со всех сторон вопросами, всем хотелось непременно потрогать нас, будто для того, чтобы убедиться, что мы не существа с другой планеты. Нам казалось, всё, что мы там видели, слышали, обоняли и осязали, было создано специально для того, чтобы опрокинуть наши самые простые, казалось бы, представления о западном индивидуализме, о праве на частную жизнь, в соответствии с которым каждому полагается иметь в отеле отдельный номер, ежедневно принимать ванну или хотя бы душ, в кафе или ресторане сидеть за столиком для одного, максимум для двоих, но не разделять трапезу с десятком других, совершенно незнакомых индивидуумов и терпеть за столом или в номере их юмор, хохот, чавканье, отрыжки, полоскание рта, храп и прочие пусть и вполне естественные, но малоприятные физиологические отправления и звуки…»

Маркес также на всё это обращал внимание. Но его интересовали в большей степени не бытовые условия. «У меня профессиональный интерес к людям, и думаю, нигде не встретишь людей более интересных, чем в Советском Союзе», — признался он.

Два дня друзья пробыли в Сталинграде. «Гигантское изваяние Сталина возвышается у входа в Волго-Донской канал, — писал Мендоса. — Возможно, оно даже выше статуи Свободы. Каменной рукой, вытянутой над великой Волгой, Сталин как бы указывает путь своей древней, необозримой, загадочной стране».

После московского фестиваля друзья разъехались: Мендоса

— в Польшу, Маркес — в Венгрию, куда отправился в группе политических обозревателей крупнейших газет Европы. (Опять стоит отметить пробивную способность нашего героя — обманным путём получив визу в СССР и побывав на фестивале, теперь он сумел оказаться в группе ведущих журналистов, официально приглашённых в Венгрию.)

В вагоне-ресторане разговорились с солидным журналистом, представившимся Морисом Мейером из Бельгии. Мейер прошёл три войны, начиная с гражданской в Испании, где выпивал с Хемингуэем, говорил по-немецки, по-английски, по-испански, знал положение дел в Венгрии. Он признался, что Габриель из всей компании ему понравился больше всего, и предложил держаться вместе. Маркес не возражал и по журналистской привычке принялся расспрашивать бывалого коллегу. Мейер за чаем с коньяком высказал опасение, что командировка им предстоит нелёгкая, шагу не дадут ступить без присмотра, ничего толком не покажут, потому как «ничего не ясно».

Первым делом в Будапеште наш герой приобрёл на толкучке (распродавались по дешёвке товары из разграбленных магазинов) прекрасную австрийскую пишущую машинку и приличный плащ. Вообще Будапешт поначалу ему понравился. Начиналась тёплая солнечная осень со звёздными ночами, с лёгкой дымкой по утрам над Дунаем, сквозь которую проглядывала покрытая зеленью, уже чуть тронутая золотисто-пурпурными штрихами Будда, и в каком-то неясном, томном оцепенении пребывал Пешт. И не хотелось верить в то, о чём тут и там, боязливо озираясь, рассказывали мадьяры западным журналистам.

— На фонарях вот этой улицы Нэпкёстаршашак, на всём её протяжении, до самой площади Героев, вешали, — показывали жители Будапешта. — И родным не давали снимать тела — стреляли, а то, бывало, и вздёргивали рядом с мужем, братом, сыном…

Но перенесёмся из Будапешта-57 в Москву-77. Дмитрий Бальтерманц, выдающийся советский фотохудожник, тогда заведующий отделом фотоиллюстраций журнала «Огонёк», в котором автор этих строк начинал разъездным корреспондентом, первым делом порекомендовал мне, ещё студенту факультета журналистики, засесть в библиотеке за подшивки, чтобы понимать, «куда пришёл трудиться». И обратил моё особенное внимание на специальные выпуски нескольких лет, в том числе 1941-го, 1945-го, 1953-го (номер, посвящённый похоронам Сталина), 1956-го (посвящённый событиям в Венгрии)… Листая журналы с фоторепортажами из Будапешта, я был изумлён. Я не предполагал, что можно так снимать, что в официозном нашем

журнале могли такое — трое мужчин в шляпах и галстуках деловито вешают на фонаре четвёртого, обнажённый труп чекиста в луже крови с воткнутым в глаз ножом, на брусчатке десятки казнённых… — публиковать. Бальтерманц заверил, что всё — правда, нет ни единой постановочной фотографии. Потом их перепечатывали в других странах. Нельзя исключить, что и Маркес их видел и, несомненно, читал репортажи о венгерских событиях с «той» и «этой» стороны.

Главным борцом с коммунизмом и реформатором в 1956 году в Венгрии стал Имре Надь. В Первую мировую он воевал в составе австро-венгерской армии, в 1916-м попал в плен, в 1917-м вступил в Российскую коммунистическую партию (большевиков), в годы Гражданской войны сражался в Красной армии, был принят на службу в ОГПУ. Был профессиональным стукачом — сообщал органам о деятельности соотечественников-венгров, нашедших убежище в Советском Союзе, занимался «чисткой» Коминтерна, когда были репрессированы Бела Кун и ряд других венгерских коммунистов. С 1941 по 1944 год работал на московской радиостанции Кошут-радио, которая вела трансляцию на венгерском для жителей Венгрии, бывшей союзницей Германии. Вернувшись после войны на родину, Надь занимал пост министра внутренних дел, проводил зачистку Венгрии от «буржуазных элементов», в лагерях оказалось огромное количество высших военных и гражданских чинов страны. В СССР умер Сталин, началось развенчание «культа личности». Венгры требовали такого же расчёта с прошлым, который начал Хрущёв знаменитым антисталинским докладом на XX съезде компартии. Надь спровоцировал гражданскую войну — выйдя из компартии и объявив её вне закона, распустив органы госбезопасности и потребовав немедленного вывода советских войск. Фактически сразу после этого началась бойня — коммунисты вступили в схватку с «националистами» и бывшими хортистами. По Будапешту прокатилась волна самосудных казней. Были введены советские части с приказом огня не открывать. Начались убийства советских военнослужащих и членов их семей (были убиты более четырёхсот человек). Пойдя навстречу требованиям Надя, советские войска были выведены из Будапешта. На следующий же день на площади Республики толпа расправилась с сотрудниками госбезопасности и горкома партии: они были повешены на фонарных столбах головой вниз. СССР вновь ввёл войска. Янош Кадар (министр в кабинете Надя), клявшийся, что «ляжет под первый русский танк», по установке Хрущёва из Москвы занял посты премьер-министра и лидера Венгерской социалистической рабочей партии.

Две недели Маркес провёл в Венгрии. Нередко ему вместе с опытным конспиратором Мейером удавалось отрываться от сопровождающих, переводчиков в штатском, коих бывало временами до полутора десятков человек на девять журналистов делегации.

Однако в написанном им после поездки очерке «Я побывал в Венгрии» (1957) нет и попытки разобраться в сути событий, есть лишь яркое (как всё, выходившее из-под его пера) описание, констатация. Впрочем, должно быть, наш герой и не ставил перед собой задачу досконально проанализировать всё, что произошло в Венгрии, тем более что и по сей день историками и политиками даны ответы далеко не на все вопросы.

«Десять месяцев спустя после событий, которые потрясли мир, — писал Маркес, — один из самых красивых городов мира — Будапешт остаётся полуразрушенным. Многие километры трамвайных путей не восстановлены. Толпы плохо одетых людей, подавленных, озлобленных, мрачных, часами и даже ночами напролёт выстаивают в нескончаемых очередях, чтобы купить предметы первой необходимости. Многие магазины были разорены, разграблены и разрушены и теперь стоят в строительных лесах. Несмотря на ужасные репортажи в западной прессе, я всё-таки не верил, что город пострадал так сильно. Уцелело по сути лишь несколько самых больших зданий. Как я узнал, в них укрывались венгры, которые четыре ночи и четыре дня вели бой против русских танков. Тогда в Венгрию вошло восемьсот тысяч русских солдат… Однако венгры оказывали героическое сопротивление, таких боёв здесь не было даже во время Второй мировой войны. Дети забирались на танки и бросали внутрь бутылки с „коктейлем Молотова“ и просто горящим бензином или керосином. Венгры, которых я видел на улицах, в трамваях, в магазинах, в кафе, на бульварах, на набережных, которые в мирное время не уступят парижским, в парках острова Маргарита, не верят правительству, а также его гостям… На улицах, в скверах, у гостиниц и днём огромное количество проституток, от зрелых, даже пожилых женщин до совсем молодых девушек, почти девочек, которые, как и положено, берут вперёд, цена — пять форинтов, то есть полдоллара, но можно сторговаться и за меньшие деньги… Полиция не в состоянии контролировать положение в городе, люди загнаны, как звери, живут без всяких надежд на будущее… Никто не желает работать на урановых рудниках в СССР… Великое множество судов Линча, самосуда — стихийной расправы над агентами тайной полиции, что привело к ликвидации сорока двух процентов её личного состава. <…>

Члены университетского объединения студентов-марксистов, продолжающих оставаться марксистами, но выступающих против Яноша Кадара, свою позицию объяснили нам так: „Мы изучали Маркса и Энгельса по первоисточникам и являемся марксистами. Но мы принимали активное, в том числе и боевое, участие в прошлогоднем октябрьском восстании, потому что одно дело — истинный марксизм и совершенно иное — русская оккупация и политика террора“… Заборы, стены домов, постаменты памятников заклеены листовками, в которых, видимо, даётся верная характеристика ситуации в Венгрии. Цитирую лишь цензурные: „Кадар — русская легавая!“, „Кадар — убийца народа!“, „На виселицу кровавого палача Кадара!“…»

Вернувшись в Париж, Маркес встретился с Тачией, приехавшей из Мадрида, — в кафе на бульваре Сен-Мишель. Они поговорили, решили, что надо разойтись по-хорошему, по-французски, пошли в ближайшую дешёвую гостиницу, переспали и расстались навсегда. («После разрыва с Габриелем, — вспоминала Тачия, — я три года не могла прийти в себя — истерзанная, озлобленная, одинокая…») Плинио звонил из Каракаса, спрашивал, что случилось, уж не поездка ли в СССР сыграла роль. Маркес отвечал, что просто не может больше быть мосо-де-эстокес, слугой, оруженосцем матадора, который подаёт мулеты и шпаги. И ещё сказал, что соскучился по их родной Латинской Америке.

Всю осень Маркес отписывался, как говорят журналисты, за летние путешествия, надеясь отдать долги Джоан, мадам Лакруа, Тачии… Очерки, которые он тогда написал в Париже, составят книгу «О путешествии по социалистическим странам». Они интересны, динамичны, в них много острых наблюдений, мыслей. Позже Маркес включал эти очерки в собрания сочинений, и через десятилетия не отрекаясь от написанного (что случается далеко не со всеми писателями, начинавшими с журналистики).

Но не сразу Маркесу удалось опубликовать материалы. Хотя сейчас трудно понять, чем и кому были неугодны те очерки с «говорящими» заголовками: «„Железный занавес“ — это полосатый, красно-белый шлагбаум». Или «Для чешки нейлоновые чулки — роскошь». Или «Экспроприируемые встречаются, чтобы потолковать о напастях». Или «Берлин — это абсурд». В том же духе называли статьи о «загнивающем» Западе и наши международники «Правды», «Известий».

В ноябре 1957 года усердиями Плинио в венесуэльском журнале «Эль Моменто» в сокращённом виде, но всё же были опубликованы репортажи «Я был в России» и «Я посетил

Венгрию». Неожиданно и гонорары за них оказались приличными, так что Маркес частично рассчитался с долгами и, надеясь и на гонорары из газеты «Индепендьенте», решив «подтянуть английский», укатил в Лондон.

Но в «Индепендьенте» очерки не были опубликованы. Эдуардо Саламея, журналист почти коммунистических убеждений, прочитав написанное другом Габо, счёл, что публикация не только не послужит делу укрепления левых сил Колумбии, но нанесёт по ним, и без того слабым, удар.

Поначалу Лондон восхитил. В первый, солнечный, тёплый день, растерявшись среди непривычных указателей и огромных, явно для плохо соображающих иностранцев надписей на асфальте «LOOK RIGHT», едва не угодив под огромный красный двухэтажный омнибус, он взял такси, называемое кебом. С тем, дабы солидному, прилично оплачиваемому журналисту-международнику с ветерком прокатиться по столице великой империи, над которой «никогда не заходило солнце». Разговориться с кебменом — как с любым, практически, таксистом в Риме, Париже, Женеве или Москве — не удалось. Поглядывая по сторонам, начиная исподволь ощущать, что попал в «зазеркалье» Льюиса Кэрролла, автора «Алисы в стране чудес», но пока не отдавая себе в этом отчёта, Маркес обратил внимание на прайс-лист кеба, привинченный медными шурупами напротив пассажирского сиденья: «1. Согласно привилегии 1864 года кебмен имеет право отказаться везти пассажира, если предложенное направление поездки не соответствует его интересам. 2. Стоимость посадки — 5 шиллингов 24 пенса, включая 1 милю и 240 ярдов. 3. В дальнейшем — по 3,5 пенса за каждые 128 дополнительных ярдов…»

Маркес рассмеялся, чем немало озадачил кебмена. Расплатившись, наш герой вышел у станции «Waterlow». По Вестминстерскому мосту перешёл на другую сторону Темзы, разглядывая Биг-Бен, осмотрел Вестминстерское аббатство, Парламент, по Дерби-гейт вышел на набережную Виктории и прошагал до моста, знакомого по кинокартине «Мост Ватерлоо». Там, любуясь видами, выкурил сигарету, свернул налево и дошёл до Стрэнда, где заглянул в самый большой книжный магазин из тех, что ему доводилось видеть. Не удержавшись, купил сборник Вирджинии Вулф, в который вошли «Орландо», где герой превращается в женщину, «Между актами»… Вечером, невкусно поужинав на площади Сохо, Маркес понял, что долго здесь не протянет и что нигде не чувствовал себя таким одиноким и ненужным.

В тот вечер он прочитал в газете большой очерк о событиях на Кубе. О том, что вначале повстанцы не имели достаточной силы и не представляли опасности режиму Батисты, хотя и проводили отдельные операции, атакуя полицейские участки. Но данное Фиделем Кастро обещание земельной реформы и раздачи земли крестьянам обеспечило поддержку народа, движение стало наращивать силу, солдаты Батисты переходили на сторону Фиделя. Партизанские отряды были преобразованы в Повстанческую армию. По воспоминаниям соратников, точным выстрелом из снайперской винтовки Фидель подавал сигнал к бою, и нередко «этот высокородный выходец из богатой семьи, интеллигент-юрист с руками пианиста принимал участие в яростных рукопашных схватках»…

В дальнейшем, а пробыл Маркес в Лондоне больше месяца, чувства одиночества и ненужности усиливались и обострялись. Поселился он в четырёхметровой, без окна, каморке самого дешёвого отеля Южного Кенсингтона, рядом с Зоологическим, Ботаническим, Геологическим и Минералогическим музеями, в которые поначалу даже захаживал. На весь так называемый отель имелся единственный туалет с умывальником. У умывальника, как принято в Британии, было два крана — один для горячей, другой для холодной воды. Заткнув пробкой сливное отверстие, надо было наполнить раковину, добавить в смешанную воду мыла и умываться, не думая о том, кто и в каких целях использовал раковину до тебя. Но чаще вода отсутствовала или из обоих кранов хлестала ледяная или кипяток. Денег не было не то что на авиабилет, но даже на ботинки, в которых возникла необходимость: от левого из той единственной пары, в которой Маркес прибыл в Лондон, ещё в первый день в Британском музее отвалилась подошва, и её приходилось приклеивать, а когда денег не стало и на клей, прикручивать проволокой.

Неоднократно на улице его останавливала полиция, но, проверив паспорт, отпускала. Однажды, когда он присел на Пиккадилли, чтобы замотать на башмаке проволоку, немолодая женщина подала милостыню — три шиллинга. Улыбнувшись ей в ответ, он спросил по-английски, откуда она. Оказалось, эмигрантка из России. Он поинтересовался, не знакома ли она с парикмахером Иосифом Пуришкевичем, который брил Сталина, но женщина улыбнулась, как улыбаются душевнобольным, и ответила: «Таких не бывает».

Солнечные, безветренные дни он проводил в парках, которых оказалось в Лондоне на удивление много и очень красивых. В них, например, неподалёку от «Уголка ораторов» в Гайд-парке, послушав выступающих и мало что поняв, продолжая выплетать

сюжеты, ситуации, образы, диалоги из «Дома», он писал рассказы, повесть «Недобрый час». Но чаще той осенью и особенно в декабре шёл дождь с мокрым снегом, дул ветер с Атлантики, утробное леденистое дыхание которой ощущалось повсеместно.

С тоской он вспоминал завтраки мадам Лакруа, ланчи Джоан, поздние баскские ужины Тачии, перетекавшие в завтраки, и особенно советские фестивальные обеды с борщом, котлетами, севрюгой, красной и чёрной икрой. Подсчитав оставшиеся фунты и пенсы, он понял, что даже если станет отказывать себе во всём, то дотянет лишь до Нового года. Чтобы отвлечься от безрадостных мыслей и не всё время думать о еде, он погружался с Алисой «в страну чудес». Читал Вирджинию Вулф, проза которой здесь, на её родном Альбионе и родном английском языке, особенно отличается, как потом вспоминал, «фантастическим, невероятно острым ощущением мира и всех вещей, наполняющих его, конкретных, реальных секунд, минут, часов, дней, но вместе с тем — и сохранённый слепок целой вечности». Ему нравились её афоризмы. «Большие сообщества людей — существа невменяемые». «Женщина веками играла роль зеркала, наделённого волшебным и обманчивым свойством: отражённая в нём фигура мужчины была вдвое больше натуральной величины». «Самая сильная позиция — это позиция умершего среди живых». «У каждого человека есть своё прошлое, укрытое в нём, как страницы книги, известной только ему; а его друзья судят лишь по заглавию». Но с особым, садомазохистским каким-то наслаждением он перечитывал теперь мысль о писательстве и писателях, понимая, что сам не состоялся: «Я заработала первой рецензией один фунт десять шиллингов и шесть пенсов и на эти деньги купила персидского кота. А потом меня разобрало честолюбие: кот это, конечно, очень хорошо. Но кота мне мало. Я хочу автомобиль. Вот так я и стала романисткой».

Бродя под дождём, Маркес, быть может, замечал, как верно описывал Лондон Диккенс. Изводило его в Лондоне и отсутствие крепкого табака: последние деньги уплывали на французские сигареты «Голуаз». Но, несмотря на невзгоды и мытарства (в этом весь молодой Маркес — неимоверная сила воли!), он писал, и много. «Большая удача, если ты оказался в городе, где по непонятным причинам пишется особенно хорошо… где можно закрыться в номере и воспарить в табачном дыму… За месяц я написал там почти все рассказы „Великой Мамы“».

Написал он там и яркий, с английским юмором очерк об англичанах. «Приехав в Лондон, я поначалу думал, что англичане на улицах разговаривают сами с собой. Потом я понял, что это

они извиняются. В субботу, когда весь город стекается на Пиккадилли-Серкус, шагу невозможно ступить, чтобы не столкнуться с кем-нибудь. Посему на улицах стоит гул, все жужжат: „Sorry“. Из-за тумана об англичанах я вообще не имею представления — знаю только их голоса… Наконец в минувшую субботу — в свете солнца — я впервые их увидел. Они все что-то ели, шагая по улицам».

Слабеющий, с почти уже помутившимся от голода и отчаяния рассудком, он часами лежал в затхлой холодной каморке, смотрел в потолок и ни о чём не думал, не мечтал. Впервые со всей отчётливостью он понял, что ни сам он, уже немолодой, некрасивый, неталантливый, нищий, ни опусы его бредовые никому не нужны. «Soledad, Соледад… — крутилось у него в голове. — Одиночество…»

За неделю до Рождества, когда Лондон искрился, сверкал, переливался, все покупали подарки, украшали окна, двери, фасады домов, смеялись, танцевали, целовались, звучала всюду музыка, он тоже выбирал (как потом признавался): с какого моста прыгнуть? Мосту Ватерлоо отдавал предпочтение, возможно, в память о временах, когда смотрел кинофильмы в Риме, учился кинематографии. Впрочем, влёк и Вестминстерский мост. Он уже почти определил для себя день и час. Но, когда накануне в полузабытьи лежал в каморке (из которой уже выселяли за неуплату) и представлял, как разлетятся по ветру и поплывут по серо-бурой воде Темзы его жалкие исписанные листочки, в дверь постучали:

— The telegram!

Взяв телеграмму в руки и прочитав, Маркес подумал, что это мираж от голода. Карлос Рамирес Макгрегор, владелец известного венесуэльского иллюстрированного журнала «Эль Моменто», уступая настойчивым просьбам своего ответственного редактора Плинио Мендосы, мнению которого «не было оснований не доверять», приглашал «сеньора Гарсиа Маркеса на работу редактором-корреспондентом». Прилагался и авиабилет.

Глава четвёртая
КУБА, ЛЮБОВЬ МОЯ

Он возвращался в Латинскую Америку. Сверкнули на прощание инопланетными лысинами Мохерские скалы на западе Ирландии. Всю ночь самолёт летел над пустынной, покрытой седыми разводами гребней волн, поблескивающих в лунном свете, Атлантикой. Маркес не спал. Прижимаясь лбом к холодному стеклу иллюминатора, он смотрел на бескрайний океан, на полную луну, на звёзды, которые казались ближе, чем земля, где-то впереди, и думал. Как мы знаем, он боялся летать на самолёте. Но теперь у иллюминатора не спал не поэтому. И не потому, что был лунатиком (в Париже, когда жил на чердаке, был замечен мадам Лакруа разгуливающим по крыше отеля «Фландр»). Он думал о жизни — о своём прошлом в три десятка лет, сумбурном, отнюдь не всегда наполненном содержанием и смыслом и подчинённом цели, и ещё менее ясном будущем…

Два часа назад на стойке регистрации в огромном лондонском аэропорту «Хитроу» поинтересовались его багажом. Он предъявил картонный ящик из-под бананов, в котором вёз рукописи. Объяснил, что не хотел бы его сдавать, так как бумаги могут разлететься по взлётно-посадочному полю. Женщина уточнила, шутит ли он или недостаточно хорошо изъясняется по-английски. Маркес, улыбаясь, ответил, что его английский оставляет желать лучшего, но у него действительно больше ничего нет. Подошли представители службы безопасности аэропорта, полицейский. Тщательно изучили паспорт, задержавшись на визе СССР. Он напомнил, что не въезжает, а покидает Объединённое Королевство. Небольшого роста неприметный мужчина в неброском костюме, в руках которого оказался колумбийский паспорт и который обликом и манерами напомнил неприметных людей, окружавших Габриеля и в Восточной Германии, и все дни фестиваля в Москве, и в Венгрии, осведомился, кто он вообще таков: «You are traveler?» Маркес ответил, что да, в определённом роде путешественник. Мужчина, с сомнением разглядывая бедно одетого, бледного, истощённого, небритого усача, поинтересовался содержимым коробки. Маркес ответил, что там рукописи. Отведя подозрительного пассажира в сторону, в который раз листая паспорт с первой страницы до последней и в обратном порядке, неприметный человек стал уточнять, верно ли понял, что колумбиец — писатель, что два с половиной года прожил в Европе, был в Швейцарии, Италии,

Франции, Германии, у красных, даже в СССР, теперь вот побывал на территории Великобритании и уверяет, что этот ящик — всё его имущество?.. Смотрели на Маркеса, одетого в потёртые джинсы и стираную-перестираную коричневую нейлоновую рубашку (купленную ещё в Париже на «развале», стирать её приходилось порой дважды в день), так, будто подозревали в хищении Великого Могола из Британского музея…

Утром в аэропорту «Майкетия» его встречали Соледад и Плинио. После поцелуев они тоже подивились багажу, с которым прибыл из длительной загранкомандировки друг, и посмеялись над рассказом о прощальном допросе в Лондоне.

— Город Каракас был основан 25 июля 1567 года испанцем Диего де Досада, получив название Сантьяго де Леон де Каракас, — поставленным голосом, как заправский экскурсовод, рассказывала Соледад, когда проезжали через тоннели сквозь горный массив и когда уже показались десятки тысяч крохотных домов, скопище птичьих гнёзд, налепленных прямо друг на друга. — Он расположен в красивой долине, находящейся между горной грядой Авила и частью внутренней Кордильеры северного побережья Венесуэлы, на высоте около девятисот метров над уровнем моря, средняя годовая температура двадцать три градуса. Каждый угол старых городских кварталов имеет название какого-либо события, произошедшего близ него, адреса живописны и оригинальны, например, «Опасность для Пеле по прозвищу Глаз», «Сколько влезет», «Очумелый Хосе Меченый», «Здесь Карлос угодил впросак»…

Въехав в город, сразу направились в редакцию журнала «Эль Моменто». Длинноногая улыбающаяся секретарша проводила их в кабинет владельца и главного редактора издания. Невыспавшийся, взлохмаченный, небритый, в потёртом пиджаке, да вдобавок с похмелья, Маркес едва сдержался, чтобы не расхохотаться: выражение лица Карлоса Рамиреса Макгрегора было таким же, с каким вчера Габриеля провожали на другом берегу Атлантического океана служащие лондонского аэропорта. Но, положившись на авторитетного Плинио Мендосу, Макгрегор всё же взял сомнительного колумбийца на должность редактора, притом с хорошим окладом (в месяц столько Маркес не получал никогда). И дал задание: срочно подготовить новогодний номер, тираж которого должен был превысить существующий вдвое.

Несмотря на усталость, воодушевлённый окладом, встречей с друзьями и вообще возвращением на латиноамериканскую землю (сойдя с трапа, взял горсть и пригубил), в малолитражке Габо шутил, вертел головой, глядя по сторонам, и выказывал ажитацию. Он не сомневался, что в городе Боливара и

прекраснейшей Хуаны Фрейтес, спасшей ему жизнь в первые секунды после появления на свет, много красивых женщин, но чтоб настолько — можно с ума сойти, с каждой второй хочется сразу делать детей!..

И в небольшой шашлычной, куда заехали отметить приезд, уминая один стейк с кровью за другим, он всё глядел по сторонам. Соледад сочувственно констатировала факт, что в Европе он совсем изголодался и озверел, Маркес извинялся, объясняя, что за океаном, особенно в Лондоне, где обедают, когда здесь ужинают, и дают подошвы от стоптанных башмаков, он дико соскучился по родным бифштексам, по настоящей латиноамериканской говядине. Соледад спросила, получал ли он письма от Нефертити, о которой столько рассказывал во время их путешествия. Брат напомнил, что имя девушки Габо — Мерседес. Соледад согласилась с тем, что Мерседес — красивое имя, но по рассказам Габо, по фотографии сложился образ именно величественной длинношеей жены фараона Аменхотепа, скульптурный портрет которой они видели в Берлине. Маркес улыбнулся, заказав официанту на этот раз уже прожаренный кусок шейки и ещё большую кружку местного, венесуэльского пива. Соледад осведомилась, не оставил ли Габо мечты сделать свою египтянку женой фараона. Плинио, опрокинув стопку текилы с солью, уточнил, что если и не фараона, то царицей уж точно. Маркес ответил, что не оставил, что решил с первой же получки слетать за ней в Барранкилью, благо теперь рукой подать.

Поначалу брат с сестрой поселили Габриеля в пансион в районе Сан-Бернардино, населённом иммигрантами. Но вскоре пригласили в просторную квартиру, которую сами снимали. Там была огромная кухня, где Габо стал готовить по вечерам затейливые итальянские, французские, венгерские и даже русские (борщ с пампушками, макароны по-флотски, компот из сухофруктов) кушанья. Он также умело стирал бельё и убирался.

Хозяин «Эль Момента» Макгрегор улетел встречать Новый год в Нью-Йорке, так что новогодний выпуск готовили Плинио с Габриелем самостоятельно, помогала Соледад. Просмотрев подшивку «Эль Момента» и других журналов за 1957 год, потешившись над тем, как освещали Московский молодёжный фестиваль (во время которого охотники якобы застрелили медведя на Красной площади), Маркес сказал, что в Париже и Лондоне так иллюстрированные журналы уже не делают. Предложил для начала изменить макет. Плинио воспротивился, стал настаивать на согласовании с шефом. Но Габриель с перешедшей на его сторону поклонницей парижской моды

Соледад его убедили. И за одну ночь Маркес создал современный дизайн-макет, значительно увеличив фотографии в блоке и на *cover* — первой обложке, убрав кружочки и виньетки, уменьшив полосу набора, чтобы дать больше «воздуха», изменив колонтитулы, шрифт, кегль и всю цветовую гамму. Плинио смотрел с ужасом и восхищением. Но когда Габо начал перерисовывать логотип, вслух размышляя над тем, не переименовать ли журнал, Плинио с криком «Да ты просто псих!» схватил его руку и заломил за спину. Хохотали. За следующую ночь Маркес написал значительную часть материалов под разными подписями и вовсе без оных. В том числе передовицу, приведшую в восторг брата и особенно сестру, которая воскликнула, что готова выступить с ней в качестве Свободы на баррикадах.

По воспоминаниям Мендосы, собираясь на пляж, куда в первый день нового, 1958 года Соледад решила отвезти Габито, «чтобы прикрыть венесуэльским загаром его бесстыдную европейскую бледность», Маркес признавался друзьям, что, ощутив вкус и аромат гуайявы, чувствует себя так, будто заново родился, но гложет недоброе предчувствие — словно придётся бежать. Соледад уверяла, что за «железным занавесом» Габо стал мнительным.

В полдень, когда они ещё не успели и доехать до пляжа, раздались канонада зенитных батарей и рёв военных самолётов. Это лётчики военно-воздушной базы в Маракае, подняв восстание против диктатуры Переса Хименеса (просто назрел очередной военный переворот), обстреливали президентский дворец Мирафлорес.

Три недели продолжались аресты, перестрелки, взрывы. Однажды утром, когда Плинио и Габриель брали интервью на улицах, в редакцию «Эль Моменто» ворвался полицейский отряд. Перевернули всё, будто что-то искали, и объявили, что журнал закрыт, помещение редакции опечатали сургучной печатью, а коллектив в полном составе, от ответственного секретаря до длинноногой личной секретарши шефа, увезли в Комитет национальной безопасности. Вскоре, впрочем, отпустили. Отмечая в редакции освобождение коллектива, Маркес говорил, что есть что-то трагикомическое, опереточное в латиноамериканских переворотах. И очень скоро жизнь как бы проиллюстрировала его утверждения. Габриель с Плинио сидели в три часа ночи у Мендосы на балконе, пили, продолжая рассуждать о диктатурах и будущем. Вдруг над городом раздался рёв авиамоторов и показалось два красных огня взлетающего над городом самолёта — это Перес Хименес с семьёй убегал в Санто-

Доминго. Как потом стало известно, лицо диктатора дёргалось от нервного тика, он был взбешён, потому что его адъютант впопыхах, когда они поднимались по верёвочной лестнице, забыл у шасси самолёта чемоданчик с одиннадцатью миллионами долларов.

А потом по радио объявили о падении диктатуры, и начался праздник. «Правительственная хунта заседала в президентском зале дворца Мирафлорес, — вспоминал Маркес. — Мы, пишущие и снимающие журналисты, сидели в приёмной, ждали. Было около четырёх утра, когда распахнулись двери и мы увидели, как оттуда, пятясь, выходит офицер в полевой форме, в сапогах, заляпанных грязью, будто светлой глиной, и в руках он держал короткоствольный пулемёт. Он прошёл, лавируя между нами, оставляя на ковре комья глины, направляя пулемёт на дверь зала, где спорили члены нового правительства… Мне кажется, в тот момент я как-то по-особенному осознал, в чём состоит суть, таинство власти… Сбежав по лестнице, офицер в грязных сапогах со своим ручным пулемётом сел в машину, помчался в аэропорт и навсегда улетел из страны».

Приехав в редакцию, Плинио и Габриель сами по городскому радио сообщили о выходе «чрезвычайного, правдивого, отвечающего на все наболевшие вопросы» «Эль Моменто». Началось распространение хранившегося на складе типографии новогоднего выпуска журнала. Его сразу стали раскупать по всему городу и в провинции. На перекрёстке малолитражку Плинио остановил патруль бойскаутов с повязками на руках. Молодые люди сообщили, что у площади был расстрелян «Форд», в котором ехала женщина с ребёнком, погибли оба. Они повторяли: «Расстрелян!.. Из „Томпсона“!.. Оба!..»

Ещё мгновение назад хоть и сдержанно, но ликовавший Маркес побелел и откинулся на спинку сиденья. «Ни один мускул не дрогнул на его лице, — вспоминал Плинио. — С таким же неживым, каменным лицом он садился обычно в самолёт. С годами я понял, что тот его необычный, какой-то исконный, от предков, мистический страх, нет, настоящий ужас был напрямую связан с его литературной судьбой. Он — или кто-то внутри него — не мог позволить себе погибнуть, пока не сделано главное в жизни, к чему был призван свыше. Поэтому всякий раз перед посадкой в самолёт Габо обязательно должен был крепко выпить, и случалось, что по трапу его надо было сводить под руку. А после фурора „Ста лет одиночества“ и тем паче выхода „Осени Патриарха“ Гарсиа Маркеса словно подменили — он перестал бояться и спокойно садился в любой самолёт, как в такси».

Соледад специально разъезжала по Каракасу и наблюдала за

тем, как раскупают журнал, выслушивала хвалебные и восторженные отклики по поводу содержания, в особенности «революционной передовицы», и дизайна. Рекордный для Каракаса стотысячный тираж был распродан до единого экземпляра.

Чувствуя себя причастной к победе, Соледад рассказывала, что их журнал покупают и дети, и старики, чтобы осталась память об этих днях, которые уже не повторятся. Маркес, довольно улыбаясь, говорил о том, что в Латинской Америке, к сожалению, с завидным постоянством повторяется всё: перевороты, диктатуры, новые перевороты… Радует, конечно, что журнал понравился. Но сколько журнал существует — неделю, две? Ну будут хранить его, потрёпанный и пожелтевший, на этажерке, а во время очередной уборки выбросят макулатуру… Нет, говорил он, надо браться за книгу. Соледад, не выпуская из рук новогодний «Эль Моменто», возражала: большинство книг — тоже макулатура. Но Маркес твердил, что настоящая книга остаётся, что бы ни говорили. Соледад саркастически интересовалась, что он имеет в виду, говоря «настоящая книга», уж не Библию ли, не «Дон Кихота», и не постигла ли Габо мания величия. Но тот вполне серьёзно отвечал, что всё больше приходит к выводу, что без этой мании ничего великого на этом свете не создавалось, и кто-то ведь задумал и создал Библию, но трудно себе даже вообразить уровень тех амбиций…

У прилетевшего из Нью-Йорка, где якобы «был с теми, кто руководил из Штатов свержением диктатора», владельца «Эль Моменто» Макгрегора отчёт о проделанной друзьями работе и финансовые результаты (не только от продажи тиража, объём рекламы на будущий номер увеличился втрое!) вызвали двойственное чувство: радости и ревности. Он сказал, что парни неплохо поработали, но смущает то, что в Каракасе его журнал называют журналом иностранного легиона: мол, делают колумбийцы и баски. И, чтобы избежать кривотолков, он берёт в штат двух заместителей главного редактора — венесуэльцев, а Маркес с Мендосой будут им подчиняться. Но за выпуск поблагодарил, сказал, что не лучший, но и не худший получился номер, есть «удачные заметки».

Актуальны, энергичны, точны по своему посылу были написанные в ту пору Маркесом для «Эль Моменто» статьи, репортажи, фельетоны: «Каракас без воды», «Колумбия: выборы начинают играть свою роль», «Преследуемое поколение», «Лишь двенадцать часов для спасения»… По утрам в ожидании газеты у киосков выстраивались очереди.

Соледад уверяла, что Габо журналист от Бога, но в нежную

улыбку её всё чаще вкрапливалась печаль. Однажды на рассвете выскочив на балкон, Маркес вскричал, словно петух: «Я назову роман в честь тебя, Соледад — „Sien anos de soledad“!» Она поинтересовалась, не сошёл ли он с ума, но вспомнила, как в машине по дороге в Германию пьяненький Габриель всё твердил: «Соледад… одиночество…» Сказала, что его уже тринадцать лет ждёт невеста с египетскими глазами, а он — «Soledad»…

В конце марта, получив обещанные Макгрегором деньги, взяв отпуск, Маркес улетел в Барранкилью. С тем, чтобы обвенчаться. Ему было тридцать лет. Как не вспомнить Пушкина, за сто тридцать лет до того на противоположном краю света, где лёд не считается чудом, написавшего будто и про нашего героя:

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат…

Мерседес Ракель Барча Пардо родилась 6 ноября 1932 года в селении Маганга, затерянном среди малярийных болот на берегу Магдалены. Её отец был иммигрантом из Египта, из Александрии, по образованию фармацевт, имел аптеки, приносившие небольшой, но стабильный доход. «Мой дед был чистокровный египтянин, — вспоминала Мерседес. — Он сажал меня на колени и, качая, пел мне по-арабски. Он всегда носил белую сорочку с чёрным галстуком, золотые часы и соломенную шляпу а-ля Морис Шевалье». Мать её — колумбийка. Семья часто переезжала, Мерседес училась в религиозных школах, всегда была одной из лучших учениц. Диплом бакалавра она получила в 1952 году в городке Медельин. С детства Мерседес любила природу — зверей, птиц, насекомых, мечтала стать биологом. Но до того как за ней приехал Габриель, работала провизором в аптеке у отца.

«Я познакомился с Мерседес в Сукре, где жили наши родители и куда мы приезжали на каникулы, — рассказывал через много лет Гарсиа Маркес. — Ей было всего тринадцать лет (по другой версии, девять. — С. *М.),* когда однажды на танцах в городском саду я сделал ей предложение. Конечно, не всерьёз, просто сказал это, соблюдая условности, необходимые в те времена, чтобы обзавестись невестой. Не помню, может быть, под впечатлением какой-то книги, фильма или кем-то рассказанной

истории, но почему-то захотелось иметь невесту. И Мерседес должна была понять, что это не более чем условность, тем более что виделись мы потом очень редко и всегда случайно. Мы не были помолвлены, мы просто терпеливо и без томления ждали того, что нам предназначено. Мы знали, что рано или поздно условность обретёт под собой реальную почву».

Возможно, само это явление — Мерседес — одно из величайших чудес в жизни Маркеса. Снова — в который раз! — роль случая в жизни нашего героя. Судьбы. А точнее — женщины. Он, семнадцатилетний «ходок», поцеловал руку тоненькой большеглазой девочке Мече. И сказал: «Я сейчас понял, что все стихи, которые написал, были посвящены вам. Будьте моей женой!» Она была в возрасте Джульетты. И, восприняв всерьёз это предложение, как, возможно, воспринимали такие вещи её далёкие предки в Древнем Египте, глядя в глаза Габриелю, ответила: «Я согласна. Только, если позволите, я закончу школу».

Она дождалась. Она знала о похождениях Габриеля, о романе с испанской актрисой в Париже (через много лет, познакомившись с Тачией, она изумится, как он мог отказаться от такой женщины), но ждала. А вот теперь, в пятницу 21 марта 1958 года, в чёрном костюме и галстуке стоя с родными и друзьями у входа в церковь Вечного Спасения, он её не мог дождаться. Прошло четверть часа, сорок минут, час… Друзья успокаивали, пытались отвлечь шутками. Но он молчал, не зная, что и думать, и мысленно прокручивал, как киноленту, всю свою непутёвую тридцатилетнюю жизнь, внутренне исповедовался, хотя никогда прежде, по его признанию, этого не делал. Вспоминал библейские заповеди, внедрённые ему едва ли не в подкорку головного мозга ещё в раннем детстве дедом-полковником, и понимал, что если дед за свою долгую бурную жизнь нарушил их все или почти все, то он, Габриель, — уже, по крайней мере, половину. И поэтому если бы Мерседес не явилась в церковь, для него это не стало бы полной неожиданностью. Подошёл Габриель Элихио Гарсиа, отец, обнял, потрепал сына по загривку, чего раньше не бывало, вспомнил, как тридцать два года назад он так же сходил с ума и предполагал самое худшее, ожидая опаздывавшую к венчанию Луису, будущую мать Габо. Отец рассказал, что настолько боялся полковника до последней минуты, что купил небольшой пистолет, помещавшийся в кармане пиджака, и, помня о том, что произошло в дождливый день Пресвятой Девы Пилар у церкви в Барранкасе (напомним, дед застрелил человека), даже на венчание захватил пистолет.

Опоздав на полтора часа, Мерседес появилась. Выяснилось, что портнихе пришлось перешивать и подгонять под худенькую

фигуру невесты подвенечное платье её мамы.

Возле церкви и во время венчания эта двадцатишестилетняя девушка по имени Мерседес, вылитая Софи Лорен, как сказал брат, казалась Габриелю чужой, почти незнакомой. Но он отгонял от себя эти мысли, пытаясь вникнуть в истинный смысл слов венчавшего их священника. И была первая брачная ночь. Молодые, будучи по латиноамериканским меркам для брака уже не очень молодыми, привыкали друг к другу. На третий день отправились в Венесуэлу.

В самолёте, глядя через иллюминатор на закат, Мерседес спрашивала, что удивительного в том, что она его дождалась, ведь она дала слово. Интересовалась, много ли женщин у него было — и дома, и в Европе. А он, целуя её, говорил, что всё, что было прежде, лишь укрепляло его уверенность в том, что лучше её не найти, потому что лучше не бывает. И всё-таки ему интересно — и как писателю, и как мужчине: каким чудом ей, такой молодой, красивой, с такой фигурой, удалось дождаться его. Но Мерседес, потом вспоминал Маркес, отвечала, что просто ждала и что все вокруг знали об обещании, которое она дала, а если не знали, то она ставила их в известность. Габриель уверял, что недостоин её, что у церкви, когда ждал, отдавал себе отчёт, что она будет права, если не приедет на венчание, но готов был «башку разбить об угол», друзья — Альваро, Херман, Алехандро, Альфонсо еле удержали. Она спрашивала, что же он такого натворил в жизни, не грех ли взял на душу. Он отвечал, что виновен в том, что заставил её ждать целых тринадцать лет, но теперь она будет счастлива, он клянётся. Он станет писать рассказы, закончит роман, который раньше назывался «Дом», обещал написать настоящую книгу о диктаторе, которую уже видит, так хорошо представляет главного героя, будто с ним лично знаком. И, помолчав, глядя на горизонт, тихо сказал, что к сорока годам напишет самый лучший роман, который всё затмит. Но надо потерпеть. И её, его жену, и их будущих детей этот роман сделает счастливыми, он даёт слово. Он обещает завалить её золотом — класть будет некуда…

(Именно эту фразу Маркес повторит в романе «Сто лет одиночества», вложив её в уста непоседливого Хосе Аркадио Буэндиа, выменявшего у цыган магнитные бруски.)

— Я верю тебе, — отвечала золотоокая в заходящих лучах солнца Мерседес.

Маркес научил молодую жену готовить (живя с мамой, Мерседес была не слишком в этом искусна), притом не только традиционные латиноамериканские блюда, но и французские, итальянские и даже баскские, индийские и китайские. Научил

быстро и эффективно убираться в доме — они сняли квартиру с хорошим видом из окон неподалёку от Плинио и редакции. Он растолковал ей, что к чему в его уже весьма многочисленных рукописях, к которым Мерседес отнеслась с таким пиететом, таким благоговением — как к ценнейшим папирусам, Книге мёртвых Хунефера, — что ему стало не по себе. И в ту минуту он окончательно понял, что она, полагаясь только на него, ему верит. В него — верит. Что-то в нём чувствует исконным, возможно, древнеегипетским или ещё гораздо более древним и верным чутьём — женским.

Крупнейшая газета «Насьональ», главным редактором которой был писатель, мэтр Мигель Отеро Сильва, объявила вселатиноамериканский конкурс на лучший рассказ и лучший репортаж. Плинио уговаривал Габриеля участвовать в конкурсе, аргументируя тем, что редактор известен левыми политическими убеждениями и «вообще свой и хорошо ориентируется». Уверял, что премии за ними, его, Мендосы, репортаж и рассказ Габо наверняка будут признаны лучшими, никто сейчас сравниться с ними не может.

Чувствуя себя обновлённым после женитьбы, Маркес не пожелал выступать со старыми рассказами, решив представить новый — «Сиеста во вторник». В этом коротком рассказе, написанном за несколько ночных часов, пока молодая жена спала в сладостном изнеможении, есть нечто моцартианское. И потом, после Нобелевской премии, автором и большинством критиков он считался одним из лучших, если не лучшим его рассказом.

Сюжет, как в большинстве рассказов Маркеса, внешне прост. В городок, где убили сына, едет женщина с двенадцатилетней дочкой. Одеты они бедно, в строгий траур. В облике женщины «ощущалось подчёркнутое спокойствие человека, привыкшего к бедности». По дороге в вагоне третьего класса перекусывают — сыр, маисовая булка и сладкая лепёшка.

Автор постепенно, как бы вместе с прибывающим поездом (классическая начальная мизансцена мирового кинематографа — фильм Огюста и Луи Люмьера «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты», 1895), вводит в атмосферу рассказа, точными мазками рисуя пейзаж.

«Поезд вышел из подрагивающего коридора, образованного ярко-красными скалами, и углубился в симметричные и бесконечные банановые плантации; воздух стал влажным, но и здесь всё равно ещё не ощущалось моря. Едкий дым проник сквозь вагонное окно. По узкому шоссе, идущему параллельно железной дороге, тащились повозки, запряжённые быками,

нагруженные зелёными банановыми гроздьями. <…> На станции не было ни души. На другой стороне улицы, где на тротуар отбрасывали тень миндальные деревья, была открыта только бильярдная. Городок плыл в знойном мареве…»

Они сошли с поезда и, «стараясь быть всегда в тени от деревьев и не нарушать сиесту, женщина и девочка прошли весь городок. Они направлялись к дому священника…». Священник, как и весь город в это пекло, спал. Но женщина была настойчива, хотя и внешне спокойна. Она попросила ключи от кладбищенских ворот. И пояснила, что хотела бы навестить могилу Карлоса Сентено.

«Священник явно не понимал.

— Это вор, которого убили здесь на прошлой неделе, — сказала женщина всё тем же ровным тоном. — Я — его мать.

Священник внимательно посмотрел на неё. Она глядела ему прямо в глаза, со спокойным превосходством, и священник смутился. Он опустил голову и начал писать…»

За несколько дней до этого в нескольких кварталах от дома священника сеньора Ребека, одинокая вдова, услышав сквозь шум дождя, что кто-то пытается с улицы открыть дверь её дома, поднялась с постели, отыскала на ощупь в платяном шкафу старый револьвер, из которого никто не стрелял со времени полковника Аурелиано Буэндиа, и вышла в прихожую. «Ведомая не столько звяканьем замка, сколько страхом, накопившимся в ней за двадцать восемь лет одиночества, она определила внутренним зрением не только место, где была дверь, но и точную высоту, на которой находился замок. Сжала револьвер обеими руками, зажмурила глаза и нажала на собачку…»

Она застрелила Карлоса Сентено, единственного сына приехавшей в городок женщины.

«— Вы никогда не пытались наставить его на честный путь?

Женщина ответила, только окончив расписываться:

— Он был очень честным.

Священник поочерёдно взглянул на женщину и на девочку и с жалостливым изумлением убедился, что они и не собираются заплакать.

Женщина продолжала всё тем же ровным тоном:

— Я ему говорила, чтобы он никогда ничего не смел красть, как бы сильно ни был голоден, и он слушался меня. Раньше, когда занимался боксом, он, ослабевший от ударов, по три дня отлёживался в постели.

— Ему выбили все зубы, — сказала девочка.

— Да, — подтвердила мать. — У каждого куска, съеденного мной, был вкус ударов, которые получал мой сын по субботам

вечером…

— На всё воля Господня, — сказал священник».

У дома священника собрались люди и смотрели на женщину с девочкой. Священник предложил подождать до вечера или выйти через внутренний двор, сестра священника дала зонтик от солнца.

«— Спасибо, — ответила женщина. — Нам и так сойдёт.

Она взяла девочку за руку и вышла на улицу».

На этом рассказ кончается. Очень короткий, на несколько страничек рассказ. И по-прежнему слышен в нём великий североамериканец Хемингуэй — но присутствует настолько мощный, уже маркесовский подтекст, вплетённый в неповторимо переданную атмосферу, что именно «Сиесту во вторник» автор этих строк вспомнил, увидев уже в 2000-х годах в селе Городня Тверской области в жаркий июльский полдень женщину на церковном кладбище над излучиной Волги, стоявшую с девочкой у могилы недавно застреленного бандитского авторитета по фамилии Заморин. И зевающего после сытного обеда батюшку увидев… Казалось бы, где колумбийский городок с неким Карлосом Сентено, Ребекой, полковником Аурелиано Буэндиа, а где Городня Тверской области с бандюганом, носящим гордое погоняло Замора! Но их объединяет Маркес.

…На конкурсе ни репортаж Мендосы об аристократе-коммунисте Густаво Мачадо, ни рассказ Маркеса не были отмечены никак. Плинио проиграл спор на бутылку «Гаваны-клаб», которую друзья и распили, обсуждая события на Кубе.

В Каракасе Маркес взял интервью у сестры лидера кубинских повстанцев Эммы, которое было опубликовано в «Эль Моменто» 18 апреля 1958 года под заголовком «Мой брат Фидель». Сестра поведала читателям, что любимое блюдо Кастро — спагетти, он сам готовит «лучше итальянцев». «„Он простой человек, — говорит его сестра. — Хороший собеседник, а главное, умеет слушать, с неугасаемым и неподдельным интересом может слушать любой разговор“. Способность принимать близко к сердцу заботы и проблемы товарищей вкупе с железной силой воли, видимо, и есть сущность его натуры». Отметим, что после публикации интервью с Эммой кубинцы стали регулярно снабжать Маркеса информацией, которую он публиковал в журналах и газетах, где работал, порой и без согласования с руководством.

Пятнадцатого мая 1958 года в Каракас с официальным визитом прибыл вице-президент США Ричард Никсон. В аэропорту вице-президента, представлявшего администрацию

Эйзенхауэра, ожидала торжественная встреча. Но когда чёрный лимузин проезжал по беднейшим кварталам, полетели бутылки, яйца, гнилые фрукты, дохлые крысы, рваные башмаки… Машину пытались остановить. На перекрёстке имени «неистового Педро и хромой ненасытной Марго» это почти удалось, и, если бы не полиция, Никсона могли выволочь и вздуть, а то и пришибить. После столь тёплой «протокольной» встречи корабли военно-морского флота США были срочно направлены к берегам Венесуэлы.

Владелец журнала «Эль Моменто» Рамирес Макгрегор написал низкопоклонническую передовицу, в которой приносил извинения и заверял лично мистера Никсона и в его лице все Соединённые Штаты в полной преданности. Подпись свою под передовицей Макгрегор не поставил. По сложившейся за последние месяцы традиции эта статья могла принадлежать перу Маркеса, который тоже подписи чаще не ставил. И Плинио с Габриелем решили в последний момент, уже в типографии, всё-таки поставить под передовицей фамилию редактора. Когда сигнальный номер положили на стол перед Макгрегором, того чуть не хватил удар. Был вызван на ковёр Мендоса. Брызжа слюной, с перекошенным лицом хозяин орал на Плинио как резаный, обвинял в предательстве и терроризме, а потом, не удержавшись, бросился с кулаками. Мендоса послал Макгрегора «аль карахо» (на три буквы).

На лестнице он встретил Маркеса и всё рассказал. Тот воспринял информацию с юмором, объяснив свою улыбку, возмутившую Мендосу (мол, ты-то писатель, а мне что делать?!), что и Макгрегора можно понять, его могут обвинить в том, что он «вылизал и встал раком перед Штатами», а на них, Габриеля и Плинио, свалить вину не удастся. На следующий день Маркес тоже написал заявление об уходе. А вслед, в знак солидарности с друзьями, — и большинство сотрудников редакции «Эль Моменто», даже длинноногая секретарша Лили, которую, по её словам, «Макгрегор уже затрахал». И Плинио, как делал это всегда, принялся устраивать коллег на работу — кого в газету, кого в журнал, кого на радио… Повторив крылатую фразу, брошенную секретаршей, но не столько по отношению к Макгрегору, сколько ко всей второй древнейшей профессии, Габриель сообщил, что берёт творческий отпуск на неопределённое время.

С июня по ноябрь он работал над прозой. Окончательно выправил и отточил повесть «Полковнику никто не пишет», к которой «вроде бы кое-кто кое-где» начал проявлять интерес. (За полгода до того, в декабре 1957 года, «широко известный в узких

кругах» боготинский журнал «Эль Мито» («Миф») напечатал «Полковника», но публикация прошла незаметно.) Написал рассказы, которые вошли потом в предвестник романа «Сто лет одиночества» — сборник «Похороны Великой Мамы» (1962): «Незабываемый день в жизни Бальтасара», «Искусственные розы», «Вдова Монтьель», «Один из тех дней», «У нас в городе воров нет»…

С каждым рассказом Маркес делал заметный шаг вперёд. А осень 1958-го стала для него своеобразной «болдинской осенью». Он по-прежнему извлекал сюжеты из своего кладезя, волшебного сундучка — неиссякаемого романа «Дом», от которого уже мало что оставалось. Но сюжеты претерпевали метаморфозы, обращались в короткие филигранные произведения, большинство из которых через десять лет будут переводиться на десятки языков и признаваться критиками всего мира маленькими шедеврами.

Он продолжал творить свою страну. Рассказы перекликаются, «перемигиваются», как говорил сам Маркес, между собой, нередко стрела, выпущенная в одном рассказе, достигает цели в другом. Так, в рассказе «Незабываемый день в жизни Бальтасара» появляется сеньор Хосе Монтьель, уклоняющийся от споров, потому что доктор запретил ему волноваться. А рассказ «Вдова Монтьель» свидетельствует о том, что причиной скоропостижной смерти этого благоразумного господина явилась как раз вспышка гнева.

Возможно, именно с рассказа о «Великой Маме», которой принадлежали «христианская мораль, валютный голод, право на политическое убежище, коммунистическая угроза, верный курс правительства, растущая дороговизна, обездоленные классы, послания солидарности…» и на похоронах которой, куда является герцог Мальборо в тигровой шкуре (как витязь у Руставели), дюжие стрелки-арбалетчики расчищают представителям власти дорогу, — начинается разрушение, как скажет Маркес, «демаркационной линии между тем, что казалось реальным, и тем, что казалось фантастическим, ибо в мире, который я стремился воплотить, этого барьера не существовало».

На похороны Великой Мамы приезжает папа римский, что казалось невероятным. Но через одиннадцать лет папа римский действительно посетил впервые в жизни Латинскую Америку и даже побывал в Колумбии.

«Когда я писал „Похороны Великой Мамы“, — рассказывал Маркес, — президент страны был высок и костляв, и, чтобы избежать намёка на его личность, я изобразил своего президента кургузым и лысым, — но штука в том, что президент, который

ныне принимал папу в Колумбии, оказался, волею судьбы, кургузым и лысым».

Но отдавать себя исключительно просиживанию за машинкой сутками напролёт Маркесу ни в юности, ни теперь, когда остепенился и жена создавала условия (у неё обнаружился великий дар для совместной жизни с писателем — отсутствие женской разговорчивости, напротив, она отличалась «молчаливостью Сфинкса»), не позволял темперамент. Он продолжал обучать супругу кулинарному искусству, водил на дальние прогулки, смотрел новые кинофильмы, участвовал в деятельности литобъединения «Сардио», собиравшегося в кафе «Ирунья», где не хватало столиков, сидели на полу.

Но как ни нравилась Маркесу жизнь свободного художника — Мерседес была уже беременна. И поэтому всё настойчивее он просил друга Плинио подыскать ему «денежную работёнку более-менее по специальности». Ещё живя в Париже, Маркес высылал свои репортажи Плинио, чтобы тот пристраивал. Мендоса публиковал материалы в том числе и в изданиях крупного газетно-журнального картеля магната Каприлеса, которому эти оригинальные корреспонденции из Европы нравились. Теперь Плинио (что бы делали гении без таких!) пошёл на приём к Каприлесу, в одной из новых газет которого, «Эль Мундо», сам устроился, и в красках представил Маркеса, сумевшего «буквально за двое суток удвоить тираж „Эль Моменто“». Босс сказал, что есть место шеф-редактора в одном его журнале, который необходимо раскручивать. Но поинтересовался, не смутит ли рекомендуемого писателя то, что придётся работать в журнале «Венесуэла графика», который завистники прозвали «Венесуэла порнографика». Плинио ответил, что его друга после парижской школы ничем не смутишь. И на другой день Маркес вышел на работу.

Над столом главного редактора журнала «Венесуэла графика» висел плакат: «Самая быстрая мысль — это ножницы!». Однако мысли энергичного каталонца работали преимущественно в одном направлении: конкурсы красоты, проводимые в Венесуэле повсюду (редактор и пикантными фотосессиями предпочитал руководить непосредственно). Через пару недель Маркес, на этот раз уже в качестве репортёра, ознакомился со злачными заведениями Каракаса и пригородов. Домой возвращался под утро, с красными от недосыпания глазами и часто «не в форме». Но Мерседес не роптала: целовала обросшего за сутки колючей щетиной мужа и отправлялась варить кофе. Журналы, в которых публиковались хоть и без подписи, но узнаваемые репортажи о премьерах, конкурсах красоты, ресторанах, дансингах, клубах, он

жене сам не показывал. Единственным, что в именуемом читателями журнале «Венесуэла порнографика» (тогда самом популярном еженедельнике) было, по мнению Маркеса, пристойным — зарплата.

Да и кроме зарплаты, гонораров есть определённые преимущества у корреспондента раскрученного, пусть и с явной желтизной, журнала — в этом наш герой вскоре убедился.

Вечером 18 января в редакцию вошёл длинноволосый, худощавый молодой человек в армейских ботинках. И с порога заявил, что он с Кубы, от Фиделя. Довольный произведённым эффектом, он пояснил, что прибыл в Каракас с личным поручением Фиделя Кастро доставить корреспондентов ведущих газет и журналов Венесуэлы в Гавану на процесс «Правосудие Свободы». Вылет на кубинском военном самолёте через час. Он проговорил это громко, таким «революционным» тоном, что сомнения были неуместны. Маркес бросился звонить Плинио…

…Новый, 1959 год Плинио и Соледад встречали в квартире у Габриеля и Мерседес. Под утро сидели на балконе, выходящем на площадь, и поднимали стаканы с неразведённым кубинским ромом за победу революции на Кубе. По площади и прилегающим улицам раскатывали, мигая фарами, гудя на разные лады клаксонами, автомобили, переполненные людьми с кубинскими флажками, в шарфах и платках цветов кубинского флага. Всюду обнимались и целовались. Соледад сказала, что такое впечатление, будто сборная Венесуэлы по футболу выиграла чемпионат мира. Плинио ликовал, восклицая, что произошедшее в Гаване — потрясающее, эпохальное событие: маленький партизанский отряд, в котором в какой-то момент оставалось лишь двенадцать человек, как апостолов, в конце концов победил, совершил революцию! Маркес спросил, помнит ли Плинио, как они сидели в Париже на бульваре Распай с кубинским поэтом Николасом Гильеном, который, получилось, был прав. Плинио, махая руками в ответ на приветствия с площади, кричал, что прав был на все сто. Возбуждённый Маркес задавался вопросом, что, может, действительно кончилось время диктаторов: Хуан Доминго Перон пал в 1955 году, Мануэль Одрия — в 1956-м, Густаво Рохас Пинилья — в 1957-м, затем Маркос Перес Хименес, и вот — кубинский сержант-генерал Батиста. С государственной казной в восемьсот миллионов долларов и пятьюдесятью чемоданами бриллиантов Батиста драпанул к собрату-диктатору Трухильо в Доминиканскую Республику, но и тому недолго осталось. Соледад говорила, что «все эти диктаторы — необразованные, тупые. Их ставили кукловоды — земляки-олигархи, а чаще воротилы из Штатов. И вот впервые выбор

сделали сами люди, притом не рабочие, на которых ссылались в Восточной Европе, на эту пресловутую диктатуру пролетариата, не крестьяне, а студенты, которые всегда мыслят свежо, по-новому — вот что важно! Во главе революции в Гаване — молодой высокий симпатичный юрист с университетским дипломом!». Плинио восклицал, что многое бы отдал, чтобы оказаться на Кубе, где решается судьба Америки. Маркес сказал, что ему кажется, что в Гаване решается и их судьба.

В первые дни 1959 года СМИ трубили — перепечатывая статьи и фоторепортажи из американского журнала «Newsweek» и прочих — о массовых расстрелах в Гаване. По сообщению корреспондента Хью Томаса, во рву гаванской крепости Ла-Кабанья, где размещался революционный трибунал, были расстреляны сотни солдат и полицейских.

…И вот вечером 18 января Маркес позвонил и проорал в трубку, что в редакцию явился соратник Фиделя и они с Плинио срочно вылетают в Гавану!

Военный самолёт был старым, двухмоторным, дребезжащим, продуваемым сквозь щели, кашляющим, «провонявшим мочой» и в любое мгновение готовым заглохнуть. Журналисты, как водится, пили, шутили по поводу того, что останется от летательного аппарата, когда он грохнется об землю или уйдёт под воду, — летели над Карибским морем. «Маркес сидел бледно-зелёный, всё время полёта молчал, — вспоминал Мендоса. — И только прикладывался к бутылке рома. Я пытался его как-то отвлечь, но он, увидев, что за иллюминатором вдобавок ко всему сверкают молнии, вообще чуть не потерял от ужаса сознание. „Вот ты женишься, тогда узнаешь!..“ — твердил Габо, сжимая подлокотники кресла, но думал, как мне кажется, о ненаписанном, о незаконченном…»

— В любой стране Латинской Америки присутствует элемент абсурда, — рассказывал Маркес нам, гаванским студентам. — Без этого невозможно представить Колумбию, Венесуэлу, Уругвай, Чили, Боливию… Но я хорошо помню свои первые впечатления от Гаваны — там был, как показалось поначалу, абсурд в чистом, наивысшем проявлении, какой-то очистительный и гениальный абсурд! Нищие чёрные кварталы с дивными названиями — например, Эль Пало Кагао (Палка, измазанная дерьмом) или Йего э Пон (Приди и вставь) — там в любое время дня и ночи можно было найти проститутку на любой вкус всего за доллар. И район Мирамар с богатейшими виллами — зеркала, мрамор, цветы, бассейны, сверкающие на солнце лимузины… А яхт-клубы, а казино, а бордели, равным которым тогда не было, пожалуй,

нигде в Центральной и Латинской Америке, тем более в ханжеских США, потому что там жёны, дети, церковь, библейские заповеди! А тут — никаких заповедей, никаких богов! В Гаване Штаты обустраивали собственный шикарный курорт, где можно было отрываться по полной программе! Нам рассказывали об оргиях, которые там устраивались с участием знаменитостей! По крайней мере треть женского населения работала на улице: мы разговаривали с проститутками, и они, да и все, считали древнейшую профессию достойной, даже уважаемой. Ну что с того, если жена и мать, наделённая от природы привлекательной внешностью, за которую мужчины готовы платить, при том, что муж сидит без работы, приводит мужчин? Да ничего. Муж берёт у жены выручку, подсчитывает и отправляется в ближайшую бодегу на углу пропустить с такими же, как он, у которых жёны зарабатывают, по стаканчику, выкурить сигару… А рестораны! «Эль Бохио» с хижинами под крышами из пальмовых листьев, с разноцветными гирляндами в зарослях! А кабаре «Тропикана», которое повсюду массированно рекламировалось! Там была юная солистка — Жар-птица! Вся в искрящихся, фосфоресцирующих павлиньих и страусовых перьях, она пела, танцевала на сцене и между столиками и вдруг, присев какому-нибудь миллионеру на колени, от чего тот готов был сойти с ума и купить весь ресторан, воспаряла в подсвеченные кроны деревьев, где сладкоголосо щебетали птицы и на ветвях сидели обнажённые умопомрачительные фурии-мулатки!.. Можно понять янки — им, конечно, было что терять на Кубе, когда пришёл Фидель!..

Латиноамериканских журналистов поселили в отеле «Ривьера» на гаванской набережной Малекон. Маркесу достался номер с видом на океан. Мини-бар был заполнен бутылками пива, колы, содовой, бутылочками рома, виски, водки, вина. Прежде Маркесу не доводилось пользоваться мини-баром. Поразило и то, что не надо было платить за напитки и угощения в барах и ресторанах — лишь расписаться в счёте. Плинио Мендоса не исключает, что именно в гаванской «Ривьере» Маркес «впервые стал осознавать, по-настоящему ощутил, что значат деньги и как хорошо на них можно жить».

Ровно двадцать лет спустя, в 1979-м, оказавшись на Кубе в качестве студента-стажёра Гаванского университета, автор этих строк интересовался первым приездом Маркеса и вообще всем, что связано с его именем. Страна, конечно, была уже другая, многие очевидцы революции или умерли, или эмигрировали. Но некоторые из кубинских знакомых вспомнили и те дни эйфории, многосуточного карнавала, и приезд иностранных журналистов, и «Правосудие Свободы». Народный поэт Кубы Николас Гильен,

глава UNIAC — Союза писателей и деятелей искусств Кубы — мне доводилось с ним встречаться; знаменитый тровадор — бард, исполняющий свои песни под гитару Пабло Миланес, с которым меня познакомила доминиканка Мину Мирабаль; политический обозреватель правительственной газеты «Гранма» Роландо Бетанкур, с кем вскоре довелось работать над советско-кубинским фильмом, названным мною строчкой из стихотворения Гильена «Взошла и выросла свобода»; и ещё мама Роса, содержательница подпольного гаванского борделя для иностранцев, — во время революции 1959 года она была одной из самых востребованных проституток Гаваны, сразу признавшая барбудос.

— Да, я присутствовал на стадионе во время «Правосудия Свободы», — сказал Гильен. — Судили врага народа полковника Бланко, приспешника диктатора Батисты. У него были руки по локоть в крови! И его приговорили к высшей мере наказания! Его судили по закону! — прокричал Гильен.

— …И было что-то потрясающе величественное, древнеримское!.. — перебирая гитарные струны, вспоминал тровадор «пронзительный и нежный», как его называли критики, Пабло Миланес, не способный обидеть и мухи.

— …Я был студентом, и репортаж о «Правосудии Свободы» был одним из моих первых, — рассказывал Роландо Бетанкур. — Полный стадион, толпились в проходах. В виновности полковника никто не сомневался, привели свидетельства очевидцев и жертв его карательных операций… Конечно, некоторые отступления от закона революционным трибуналом имели место. Но время какое! Лично я с Маркесом не встречался, но помню его. И суд над полковником, конечно, произвёл на него впечатление. Ты знаешь, что первый вариант его «Осени Патриарха» строился на монологе диктатора во время суда над ним на переполненном стадионе? А как именно всё было тогда у нас на стадионе, нюансы я не помню, старик!..

Оставалось надеяться на память престарелой блудницы.

— Что касается «Ривьеры», — вспоминала мама Роса, когда мы сидели с ней в баре у бассейна отеля, — то я здесь часто работала. Ты знаешь, конечно, что построена была наша «Ривьера» на деньги итало-американской мафии? Смотрел фильм «Крёстный отец-II» с моим любимым Аль Пачино? Сам фильм снимали в Санто-Доминго, потому что с Фиделем не договорились бы, но дело происходит у нас, в Гаване…

— А что же Маркес и приехавшие журналисты? — пододвигал я её ближе к теме.

— Хорошо помню, когда приехали журналисты и был приём здесь же, вокруг бассейна. Вот там стоял стол с напитками и там,

в углу, под пальмой. Звучали песни наших дореволюционных звёзд — Бени Море, Селии Крус, Ла Лупе… И пришла жена полковника Соса Бланко с дочкой. Стала просить подписать письмо в защиту полковника, мол, сам он ни в чём не виноват, выполнял приказ, пытая и расстреливая крестьян, которые поддерживали Фиделя, Камило и Че в горах. Ну, женщина она видная была, да и дочурка прелесть, куколка… Короче, подписали письмо, я ей помогала уговаривать. И Маркес подписал. Хотя нет, кажется, подписывали они уже потом, просили пересмотреть решение суда… Впрочем, какая разница? Полковника приговорили и казнили.

— Прямо на стадионе?

— А ты как думал? Не церемонились. На глазах у всех, чтобы знали! Там была целая дюжина судей, и, как только приговорили, а это было вернее, чем быка убивают на корриде-деторос, — каждый из судей достал пистолет и выстрелил в полковника, только в голову две или три пули…

Я усомнился, что было всё именно так. Тем более что вскоре после её леденящего кровь рассказа у бассейна отеля «Ривьера», весной 1980 года, когда Фиделю надоели очередные наезды буржуазной прессы по поводу отсутствия свобод на Кубе и он решил открыть на ночь границу для желающих бежать, мама Роса эмигрировала, уплыла из Гаваны на какой-то барке в США вместе с другими так называемыми *gusanos* — червями.

Я специально пошёл на бокс, чтобы посидеть на трибуне среди кубинцев, представить, как всё было тогда, в январе 1959-го. И, глядя на орущих, беснующихся, но дружелюбных болельщиков, верил и не верил.

Сам Маркес во время моего краткого интервью с ним в гаванском «Доме Америк» сказал, что Куба сразу «угодила в сердце», стала любовью с первого взгляда, так и сказал: «Куба, любовь моя!», будто процитировал наш советский шлягер 60-х годов. Рассказывал о Гаване той поры — «городе контрастов», о нищих и проститутках на улицах и богатеях в клубах и ресторанах. Но ни словом не обмолвился о «Правосудии Свободы». И в своём очерке «Не приходит на ум ни один заголовок», опубликованном в журнале «Каса де лас Американас» (1977), посвящённом тому его первому приезду в январе 1959-го, Маркес живописно, остроумно описывает Кубу, Гавану, события, людей… Но не упоминает о процессе, ради которого был приглашён.

«Произошедшее тогда на стадионе в Гаване у Габо вызвало содрогание», — вспоминал Плинио Мендоса. Проведя ещё пару дней в гаванской «Ривьере», попытавшись взять интервью у

Хемингуэя, они вернулись в Каракас.

Двадцать лет спустя Маркес, будучи в СССР, рассказывал об истории создания романа «Осень Патриарха» и так вспоминал гаванское «Правосудие Свободы»:

«Я давно обдумывал книгу о диктаторе. Предполагалось, что это будет его жизнь, рассказанная им самим, когда его судят. Эту мысль подал мне суд над Сосой Бланко в Гаване. Я думаю, что сегодня такой суд уже не мог бы повториться, такого кубинская революция уже не сделала бы. Но тогда они это сделали — сделали и всё. Это произошло сразу же после революции, когда были созданы народные революционные суды. Надо было вершить революционное правосудие. Кубинская революция, наверное, единственная в истории человечества, в ходе которой народ никого не казнил, когда толпа не высыпала на улицу собственноручно вершить правосудие. Но ведь были военные преступники, и их надо было казнить по приговору народного суда, чтобы не говорили, что устраивают кровавую баню… Это было одно из самых страшных зрелищ, какое я помню. Его судили на стадионе. Он вместе с прокурором, с обвинителем, вместе со всем составом суда находился в центре стадиона. А вокруг — телетайпы американских газет и агентств, связанные прямым проводом с Соединёнными Штатами, которые транслировали всё, что там происходило. Трибуны были набиты битком, как во время боксёрских матчей за титул чемпиона мира. Вокруг стадиона продавали напитки и еду, жареное-пареное, и проститутки прогуливались взад-вперёд, предлагая себя, и их услугами пользовались… Было как на ярмарке, настоящее гулянье… Суд начался в семь вечера, а закончился в шесть утра, и обвиняемый был приговорён к смерти. Без сомнения, были доказаны все зверские преступления, которые совершил этот человек, потому что туда собрали всех оставшихся в живых и родственников убитых. Всю ночь они шли и шли. Целый парад женщин в чёрном прошёл перед нами, казалось, всё было хорошо подготовлено, но на самом деле никакого сценария не было. И всё это было страшно. Страшно, что такое могло происходить с человеческим существом. На меня та ночь произвела ошеломляющее впечатление, я сидел не шелохнувшись, не пропустил ни слова. Когда зачитывали смертный приговор, я находился напротив Бланко вместе с фотографами. На лице у него не дрогнул ни один мускул. Он стоя выслушал приговор, и лишь в тот момент, когда сказали „к смерти“, у него чуть задрожали колени».

«Несмотря на потрясающее впечатление, которое произвёл этот „римский цирк“, — писал Сальдивар, — Габриель и Плинио через четыре дня вернулись из Гаваны в Каракас в чудесном

настроении, с готовностью внести вклад в дело кубинской революции, объявившей своей главной целью создание „нового человека“ Латинской Америки».

Зимой 1983 года Рауль Кастро, брат Фиделя, нынешний президент Кубы, а тогда министр обороны, побывал в гостях у артиста Михаила Ульянова, в ту пору моего тестя. (Который, кстати, мечтал сыграть маркесовского полковника, которому никто не пишет, или «Осень Патриарха».) За ужином в квартире на Пушкинской площади, в доме, где позже открылся первый в России «Макдоналдс», мы пили ледяную водку, закусывали мясом кабана, застреленного Раулем в Завидовском правительственном заказнике, где охотился и сам Фидель, и разговаривали. Естественно, главной темой была роль маршала Жукова, которую в те годы хронически, во всех кинокартинах о войне играл по решению Министерства культуры Михаил Ульянов. Это была любимая роль Рауля, особенно в киноэпопее «Освобождение», он смотрел сериал раз десять и то и дело с восторгом повторял: «Жюкав! Живой Жюкав!» И произносил тосты за великий Советский Союз и великого Жюкава-Ульянова. Но вместо тогда уже вовсе не пьющего Михаила Александровича приходилось отдуваться мне, и усидели мы с младшим братом легендарного команданте под отменную закусочку не менее полутора литров. После пятой или седьмой, уж не помню, я стал уточнять, кто же всё-таки сдал Эрнесто Че Гевару в Боливии, да и вообще, зачем он туда отправился, зная, что никакая революция там невозможна. Я о чём-то ещё спрашивал, рассказывал о своих кубинских впечатлениях. Осведомился, не помнит ли товарищ Рауль писателя Маркеса сразу после революции, в январе 1959-го, когда тот побывал в Гаване впервые в качестве журналиста.

— Журналистов было много, — ответил Рауль, налегая на тёщины грибочки и кисло-сладкую хрустящую капустку. — Это была идея Фиделя — освещать всё, что мы делаем, ничего не скрывать, так что на десятках военных самолётов доставляли корреспондентов отовсюду, именно Габо я тогда не помню. Но Фидель его всегда обожал! Они так хохочут, когда встречаются! Габо — прекрасный рассказчик, ему веришь, даже когда рассказывает самые фантастические вещи! Пожалуй, я не назову и двух-трёх друзей, которые были бы ближе Фиделю, чем Гарсиа Маркес. С одной стороны, это объяснимо, руководитель государства всё-таки, дружить с ним в обычном понимании непросто, охрана, протокол и всё такое, а Габо иностранец, колумбиец, всемирно известный, сразу понявший и однозначно поддержавший нашу революцию…

— Сразу, с первого приезда? — пытал я.

— С первого, я в этом уверен! Он потом рассказывал, какое впечатление на него произвела Гавана и всё, что у нас происходило.

— Имеются в виду расстрелы? — уточнил я, к вящему неудовольствию присутствовавшего на ужине офицера КГБ по имени Сергей, который по-испански не понимал, но профессионально, по интонации, что ли, улавливал нить и даже нюансы разговора. — В Гаване мне рассказывали, что после революции много расстреливали.

— Мы не расстреливали, — холодно поправил меня Рауль, не выпив и поставив рюмку на стол. — Мы карали, — помолчав, тихо и жутковато выговорил: — Врагов народа и революции. И только по приговору суда. Вершилось «Правосудие Свободы».

— Но скажите, пожалуйста, компаньеро Рауль, вы помните, как 19 января 1959 года на стадионе в Гаване судили полковника Соса Бланко?

— Помню, — ответил Кастро-младший. — На совести полковника были массовые расстрелы крестьян, оказывавших нам помощь в горах Сьерра-Маэстра.

— Я слышал в Гаване много версий того, что на самом деле произошло на стадионе. Полковника приговорили к смерти. Мне говорили, что расстреливали во рву, которым окружена крепость Ла Кабанья.

Рауль промолчал. Кагэбэшник взирал на меня уничтожающе.

— А как вы думаете, почему Маркес так полюбил Кубу? Враги клевещут, вы ему хорошо платили американскими долларами. Не очень понятны, даже загадочны отношения с Кубой и Маркеса, и Кортасара… Другие латиноамериканские писатели, Варгас Льоса, например, да и почти все называют Фиделя диктатором, а Маркес с Кортасаром — души не чают. В чём же дело?

— Может быть, потому, что они умнее и талантливее? — предположил Рауль. — Мы не платили. Тем более американскими долларами, — добавил с такой брезгливой интонацией, будто говорил о каких-то слизняках. — А что сказал Кортасар?

— Кортасар, который, кстати, утверждал, что «Че Гевара на бильярдном столе кубинской революции оказался шаром большего, чем нужно, размера…». Он был уверен, как и многие, что его разлад с Фиделем возник на политической почве, что сначала он отправился делать революцию в Конго, откуда был вывезен чуть ли не на нашей советской подлодке…

Повисла пауза.

— …Так вот Хулио Кортасар сказал, что Гавана для него — маленькая родина, что там у него больше друзей, чем в Париже,

где прожил тридцать лет, что обожает встречаться с кубинской молодёжью. Что чувство любви кубинцев к родине, к революции — это не наивное чувство, основанное на лозунгах и фразёрстве, это политически осознанное чувство, присущее даже детям, которые с естественной для их возраста наивностью говорят очень справедливые вещи. Они знают о той борьбе, которую ведёт правительство, солидарны с ней и участвуют в ней. А конверты с приглашениями и рукописями «Дома Америк», которые приходят к нему в Париж, сравнивает с птицами. Которые рождаются и летят с далёкой земли, как бы говоря нам всем, что истинный мир не имеет границ и что красота и правда выше любой системы радаров и перехватчиков.

— Хорошо сказал Кортасар, — оценил Рауль Кастро. — Фидель гордится нашим «Домом Америк».

— И Маркес высказывается примерно в этом же духе. Но почему беженцы покидали Кубу — простите, я сам был свидетелем, как в 1980 году, когда в очередной раз ненадолго открыли границу, они уплывали на барках, лодках, плотах, чуть ли не на корытах и надувных матрацах, несмотря на то, что залив кишмя кишит акулами?

— Gusanos, — промолвил Рауль, густо поливая кетчупом запечённую кабанятину. — Убийцы, грабители, воры… Черви.

— Но ведь среди них были не только бандиты и гнилая интеллигенция, хотя интеллигенции много, мои знакомые поэты, художники бежали, и простые люди.

— Gusanos, — повторил Рауль с едва не угрожающим нажимом. — А Гарсиа Маркес — замечательный человек, большой писатель. Он сразу принял нашу революцию. Потому что она была народной. Потому что он сам является частью этого народа. Не важно — колумбийского, кубинского… Латиноамериканского. Это неразрывная общность, имеющая сотни составляющих. Кстати, Габо нам рассказывал, что, когда был в Москве на фестивале молодёжи, ему говорили, что он похож на армянина. Он смеялся, что вовсе не исключено, что в его жилах течёт и армянская кровь. Он как-то перечислял свои крови: испанская, французская, африканская, его отец был метис, индейская… Да дело не в этом. Дело в его всемирной отзывчивости.

— А это правда, что он благодаря своей дружбе с Фиделем освободил из тюрем Кубы сотни политических заключённых? — не унимался я, чувствуя, что чекист Сергей уже готов применить в отношении меня табельное оружие.

— У нас нет политических заключённых, — сказал Рауль Кастро, тоном давая понять, что продолжать разговор не намерен.

Через своего блистательно незаметного переводчика Рауль стал говорить Ульянову, что в «Освобождении» ему больше всего нравится тот момент, когда маршал Жуков спорит со Сталиным, который министру обороны Острова Свободы тоже очень нравился.

Уже на лестничной площадке, когда мы вышли проводить гостя, младший брат Фиделя сказал мне, чинно перейдя на «вы», хотя весь вечер называл на «ты»:

— А вообще-то не берите в голову бабьи сплетни, молодой человек. Имеет значение лишь то, что мы, а главное Фидель с Че Геварой замышляли ещё в Мексике и потом в горах Сьерра-Маэстра, когда сражались с войсками диктатора. А замышляли мы то, чтобы все были счастливы, — помолчав и как-то вдруг совершенно протрезвев, чётко, делая паузы между фразами, каждую из которых как бы нагружая памятью о двадцатипятилетней борьбе, говорил Кастро-младший. — Чтобы не было голодных и нищих. Чтобы дети учились. Чтобы все, даже никому тогда не нужные старики имели возможность бесплатно лечиться. Чтобы развивалась наука. Фидель с Эрнесто мечтали о том, чтобы учёные на Кубе изобрели лекарство от рака. Чтобы автомобили и вообще все машины и механизмы работали на солнечной энергии и энергии ветра. Космический корабль, который мог бы долететь до Марса… И чтобы все в мире узнали, что Куба — страна не только боксёров, шахматистов, сахарного тростника, красивых девчонок, не только место жительства Хемингуэя! Тебе, как журналисту, будет интересно, — уже стоя в лифте, бросил напоследок Рауль. — Это была идея Фиделя и Че Гевары создать на Кубе крупнейшее информационное агентство, которое рассказывало бы правду в ответ на море лжи. Хотели назвать «Пренса Кубана», но аргентинец Че настоял на том, что агентство должно представлять континент. Назвали «Пренса Латина». А начинал будущий нобелевский лауреат Гарсиа Маркес. Вот такие парни работали на революцию! — донеслось уже снизу, из шахты лифта.

С молодости, ещё в Картахене и Барранкилье, когда печатался в «Эль Эральдо», и потом, особенно в Париже, где, казалось, столики в кафе помнят молодого высоченного американца, сидевшего в углу и писавшего карандашом в блокноте, Маркес мечтал взять интервью у Хемингуэя. По публикациям в газетах, журналах, радиопередачам, сообщениям информационных агентств наш герой, как и миллионы людей, следил за удивительными приключениями североамериканского писателя, охотника, рыболова, эпикурейца — ценителя и знатока

напитков, женщин, корриды-де-торос и т. д. Всё, что было так или иначе связано с именем Хемингуэя, представлялось значимым и красивым — будь то новая повесть, опубликованная сразу миллионным тиражом, фоторепортаж в журнале «Life» об охотничьей экспедиции в Африку, сплетня о романе с кинозвездой, приезжавшей к нему на финку «Ла Вихия» близ Гаваны, или интервью для светской хроники, пусть даже выспреннее и ни о чём, об особенностях ловли марлина в Гольфстриме, например, или о многочисленных своих домашних кошках и котах. В компании хохмачей-интеллектуалов из «Пещеры» признаваться в этом было неуместно, там в авторитете были Фолкнер, Пруст, Борхес, Камю. Но Маркес любил Хемингуэя. И на Кубу в январе 1959 года отправлялся в том числе и с надеждой на встречу с ним.

Популярнейший поэт Кубы Гильен отговаривал Габриеля и Плинио ехать к Хемингуэю на финку «Ла Вихия», утверждая, что хоть и знаменит этот янки, и пишет неплохие вещи, но слишком высокомерен, заносчив. А их, кубинских литераторов, тем более со смуглой, как у него, Гильена, кожей, держит за людей второго сорта, если вообще за людей. Так что колумбийцев он может и не принять. Кубинского журналиста, писателя Лисандро Отеро, когда тот подошёл к нему в ресторане «Флоридита», Хем едва не нокаутировал за то, что отвлёк от работы, он там писал что-то за барной стойкой.

— У меня каждый второй, если не первый журналист спрашивает о Хемингуэе! — горячо сетовал Гильен, когда в 1979-м автор этих строк брал у него интервью в старом особняке в центре Гаваны (похожем на наш Центральный дом литераторов на Большой Никитской и Поварской улицах — Гильен и выбрал гаванский особняк после того, как выпил с советскими писателями русской водки в ЦДЛ и оставил автограф на стене «пёстрого» буфета), принадлежащем Союзу писателей и деятелей искусств Кубы. — Как будто этот американец — наша достопримечательность! Американская реклама его раздула!

— Так вы считаете, компаньеро Николас, что Хемингуэй — дутая фигура? — чуть ли не обиделся я, будучи тогда преданным поклонником Хемингуэя и собирая материал для очерков о его жизни в Гаване.

— Мне нравится его испанский антифашистский роман «По ком звонит колокол» и кое-что ещё. Но как можно кубинскую литературу сводить к Хемингуэю, этому ненадёжному элементу, жившему у нас потому, что удобно и дёшево? Это меня бесит!

— Но ведь он много сделал для пропаганды Кубы во всём мире! Как потом и другой иностранец — Маркес.

— Габо наш.

Думается, Гильен был не объективен по отношению к Хемингуэю. Возможно, в нём говорила писательская ревность. Эрнест Хемингуэй действительно много сделал для Кубы (сопоставимо с тем, что через годы сделает для Острова Свободы Маркес). В журнале «Картелес» был опубликован материал «Запоздавшее чествование»:

«Куба давно была должником Эрнеста Хемингуэя. И в прошлый понедельник долг этот был отдан. В обстановке любви и почитания в окружении более чем полутысячи кубинцев Хемингуэй отобедал. В конце обеда старый писатель обратился к морю своих поклонников с краткой, но яркой речью — образцом выступления на банкетах. Он засвидетельствовал свою вечную любовь к Кубе: „Я благодарен и взволнован этим чествованием, которое не заслужил. Я всегда считал, что писатель должен творить в уединении, а не выступать публично. Поэтому, без лишних слов, просто хочу передать медаль, полученную мною вместе с Нобелевской премией по литературе, в дар Святой Деве Каридад дель Кобре, покровительнице Кубы, которую я так люблю“».

Маркес не раз перечитывал и поучительную статью самого Хемингуэя, опубликованную в американском журнале «Look» в ответ на упорные слухи о том, будто он покидает Кубу, где его замучили назойливые посетители и суета, связанная в том числе и с работой над фильмом «Старик и море». Приведём фрагменты этой статьи (в которой Хем изменяет своему правилу никого не цитировать), потому что она, как представляется, имеет отношение и к нашему герою, к его дальнейшей жизни, уже в славе и почестях.

«„Чем больше книг читаешь, тем яснее понимаешь, что писатель должен создавать шедевры. Больше ничего не имеет для писателя никакого значения… Все эскапады в журналистику, в работу на радио, пропаганду чего бы то ни было, в написание сценариев, какими бы грандиозными ни казались, обречены на разочарование. Вкладывать в эти формы лучшее, что есть в нас, — равносильно сумасшествию, ибо таким образом мы сами же обрекаем себя на забвение. Работа эта недолговечна в силу своей природы, и поэтому мы никогда не должны посвящать себя ей…“

Эти строки принадлежат перу Сирилла О’Конноли. Они взяты мной из его книги „Неспокойная могила“, которая никогда не будет иметь достаточно читателей, сколько бы она их ни имела. Посему, перечитывая… я твёрдо знаю, что больше никогда, до самой смерти не прерву работы, ради которой родился и живу, которую научился делать… Общество назойливых, шумных, по

сути своей пустых людей никоим образом не возмещает потерянного времени. Есть масса способов избежать контакта с ними, и ты вынужден овладевать этими способами. Однако болтуны, алкаши, бездари, блюдолизы, фанфароны процветают!.. Я никогда больше не буду работать для кино».

Наш герой многому учился у Хемингуэя, порой буквально воспринимал его рекомендации. Например, заканчивать работу тогда, когда знаешь, что именно в рассказе, повести или романе произойдёт дальше. Или: «Первый закон писателя — никогда не писать о том, чего не знаешь. Второй — найти верную модель». Но к советам, опубликованным в журнале «Look», Маркес так и не прислушался.

…До Сан-Франсиско-де-Паула Габриель и Плинио домчали за полчаса. Мальчишки, игравшие на улице в бейсбол, указали на финку «Ла Вихия», где живёт мистер Хемингуэй. Открыл худощавый мулат. Друзья назвались, объяснили, что являются журналистами, прилетели из Колумбии по приглашению Фиделя Кастро на процесс «Правосудие Свободы» и хотели бы взять интервью у мистера Хемингуэя. Молодой человек, назвавшийся Рене, рассмотрел удостоверения, расспросил о том, какую газету представляют колумбийцы, сказал, что вообще-то Папа интервью не даёт, тем более корреспондентам никому не ведомых изданий, но просьбу передаст.

В тени ягрумы они прождали два часа. Вышел Рене, направляясь, видимо, в магазин, удивился, увидев их, сказал, что до мистера Хемингуэя, катающегося на лыжах в Сан-Вэлли в Штатах, не дозвонился, а вернётся хозяин на Кубу не ранее чем через месяц.

— Если хотите, возьмите интервью у Грегорио Фуэнтеса, капитана яхты Хемингуэя, который постоянно выходите ним на рыбную ловлю, — смягчился Рене, получив от колумбийцев в подарок пару сигар и глотнув их виски. — Он живёт в Кохимаре.

Вечером в отеле «Ривьера», как вспоминал Плинио, читали в американских газетах интервью Хемингуэя корреспонденту Эммету Ватсону по поводу событий на Кубе:

«Восстание против Батисты — это первая революция на Кубе, которую следует действительно считать революцией. Движение Кастро вселяет большие надежды. <…> Некоторые среди приближённых Батисты были стоящими и честными людьми. Но большинство — воры, насильники, садисты, палачи. Они пытали даже детей, иногда с такой жестокостью, что им ничего не оставалось потом, как убивать своих жертв. Суды и казни, предпринятые Кастро, необходимы… Я высказываюсь за революцию Кастро, ибо она пользуется истинной поддержкой

народа. Я верю в его дело».

На прощальном коктейле в «Ривьере» Плинио и Габриель познакомились с молодым, весёлым, показавшимся поначалу немного не в себе (впрочем, эйфория революции многих таковыми сделала) журналистом, критиком, поэтом, карикатуристом Самуэлем Фейхоо, как раз бравшим интервью у Хемингуэя перед самым его отъездом в Сан-Вэлли в Штаты. А о том знакомстве с Маркесом уже автору этих строк в Гаване рассказывал Самуэль Фейхоо ровно через двадцать лет, в 1979-м, в ресторане «1830» у речушки Альмендарес, отделявшей от остальной Гаваны престижный район Мирамар.

— Я увидел его во «Флоридите», подошёл, заговорили о кризисе литературы, о бейсболе, о том, почему он отказался от предложения стать членом Академии искусств и литературы США (был убеждён, что все заседания, банкеты противопоказаны литературе), о роли войны для писателя, о правде и вымысле, о детективах и порнографии, об астрономии!..

— Прошу прощения, но обо всём этом со всемирно знаменитым Хемингуэем говорили вы, компаньеро Фейхоо, в ту пору начинающий кубинский литератор? — недоверчиво спросил я уже немолодого, но порой словно уносящегося куда-то то ли ввысь, то ли вообще в прострацию поэта-исследователя, похожего чем-то на страуса.

— Он мне чуть в лоб не дал, когда я в пятый раз назвал его мистером, он требовал называть себя амиго, другом! И я читал ему стихи, свои и в собственном переводе…

— А компаньеро Гильен говорил, что Хемингуэй был зазнавшимся янки и кубинских литераторов не жаловал, — удивлялся я.

— Это Гильен, у него амбиции! А я был простым парнем, активным журналистом. И я спросил Хемингуэя: «Давно ваших вещей не выходило, что вы сейчас делаете, амиго?» Он помрачнел и так взглянул на меня исподлобья, что я не сомневался: врежет, кулак у него с мою голову! Но подумал, что удар всё же получу от классика! «Дерьмо ем!» — ответил он. Когда я рассказал о разговоре Габо, он в восторг пришёл! А потом я увидел, что именно этим он и завершил повесть «Полковнику никто не пишет»! Так что и я, Самуэль Фейхоо, внёс лепту. Хотя, конечно, что до какого-то Фейхоо лауреатам Нобеля?

Двадцать первого января 1959 года в Национальном дворце Фидель Кастро произнёс пятичасовую обличительную речь. Он сравнивал преступления, совершённые в период диктатуры, с теми, которые были осуждены в Нюрнберге, приводил шокирующие факты, утверждал, что общенациональный опрос

показал: «девяносто три процента населения Кубы одобряют суды и казни»!.. На следующий день газета «Ла Революсьон» писала, что расстрелы являются возмездием «варварам, которые насиловали детей и женщин, вырывали у людей глаза, кастрировали, жгли огнём, отрывали яички и сдирали ногти, запихивали железки в женские влагалища, отрезали пальцы — тем, чьи действия, мягко выражаясь, представляют собой ужасающую картину».

Вернувшись из Гаваны, Мендоса улетел в Колумбию. Маркес остался в Каракасе — зарабатывал деньги в журнале «Венесуэла графика», а по ночам корпел над прозой. Перечитав «Полковнику никто не пишет», сопоставив «Старика и море» с кубинской действительностью, с рыбаками из Кохимара, с мальчишками, с которыми разговаривал на улицах, Маркес вновь принялся за повесть. Мерседес была против — она считала, что художники, слишком долго работающие над одной картиной, её «записывают», она утрачивает первоначальную свежесть и вянет, как цветы.

В конце февраля Маркес получил письмо из Мехико от друга Мутиса. Тот описывал Мексику, её памятники, природу, политические свободы, вернисажи, книжные ярмарки, кинофестивали… Мутис писал, что в Мексике Габо осуществит мечту писать сценарии, по которым будут сниматься картины со звёздами. Но когда Маркес решился-таки перебираться в Мехико, пришло известие, что за левацкие взгляды, прокоммунистические, протроцкистские высказывания (на самом деле — за растрату средств на угощения и поддержку многочисленных друзей, в том числе Маркеса, из бюджета компании «Эссо», отдел рекламы в которой возглавлял) Мутис угодил в тюрьму.

В иллюстрированном журнале «Боэмия», который, как и прежде, доставляли из Гаваны, Маркес читал пространные выступления Фиделя. Тот уверял, что у кубинской национально-освободительной революции нет и никогда не будет ничего общего с «коммунистическими диктатурами СССР и Восточной Европы, держащими свои народы в застенках и утопившими в крови попытку народного восстания в Венгрии».

Почти ежедневно латиноамериканские газеты писали о Кубе. Высказывались и недоумения по поводу того, что Фидель и его молодые соратники-барбудос, захватившие власть, не повели себя так, как поступают обычно после переворота, например, как в своё время большевики в России, и не расселились в царских хоромах — в многочисленных шикарных резиденциях диктатора

Батисты.

«В очень тесном помещении, приспособленном под спальню, где всюду были разбросаны книги, оружие и длинные толстые сигары, — рассказывал о встрече с Че Геварой корреспонденту одной из газет посетивший Гавану чилийский сенатор Сальвадор Альенде, врач по образованию, как и Че, — на походной раскладушке лежал голый по пояс человек в зелёно-оливковых штанах, с длинными волосами, с пронзительным взглядом огромных тёмных глаз и ингалятором в руке. Жестом он попросил меня подождать, пока справится с сильным приступом астмы. В течение нескольких минут я наблюдал за ним и видел лихорадочный блеск его глаз. Передо мной лежал скошенный жестоким недугом один из великих борцов Америки. Потом мы разговорились. Он без рисовки мне сказал, что на всём протяжении повстанческой войны астма не давала ему покоя…»

«Венесуэла графика» тем временем становилась на потребу публики всё более «порнографика». Однажды утром увидев в киоске продающийся номер со своим репортажем со съёмочной площадки, где снималось мягкое порно, Маркес понял, что ему уже неудобно представляться корреспондентом такого журнала. Дома Мерседес, его «священный крокодил», робко спрашивала, не лучше ли ему всё-таки бросить эту работу, хотя за неё и платят деньги — репутация дороже.

Ночью, когда Маркесу захотелось порвать рукопись «Полковника» и переписать заново, из Боготы позвонил Плинио, хмельной и весёлый, заявил, что их ждут великие дела. Габриель осведомился, сколько его друг выпил. Плинио ответил, что не важно, сколько, главное, с кем и за что, а пил он с мексиканцем Родриго Суаресом, которого послал Фидель создавать первое в Америке революционное информационное агентство с целью надрать буржуям жопы, расхерачить, как выразился мексиканец, со слов, видимо, самого Кастро, империалистическую монополию на информацию. Мексиканец для этого и прилетел в Колумбию, а другие полетели в Аргентину и повсюду! Этот гонец обратился к нему, Плинио Мендосе, как к одному из лучших колумбийских журналистов, с предложением возглавить агентство «Пренса Латина» и вывалил на стол кучу долларов, мол, открывай офис, деньжат подкинем, национализируем остатки банков, гостиниц, кораблей, да и всё к чёртовой матери!.. В общем, Плинио согласился возглавить агентство Фиделя и аргентинца Че Гевары, но с условием, что Габо в нём станет редактором и получать они будут одинаковую зарплату. Мексиканец согласился. За это и выпили.

Через несколько дней Плинио встречал Габриеля и Мерседес

в боготинском аэропорту «Эль Дорадо». В машине, перекрикивая друг друга, строили планы на будущее и восхваляли Фиделя. Плинио говорил, что ему будет сложно, просто так Штаты не сдадут всё то, что они с Габо видели в Гаване, ведь там сотни миллионов долларов вложены и крутятся, принося барыши. Мерседес сказала, что читала в венесуэльских газетах, будто Фидель на деньги ЦРУ сделал революцию, потому что янки надоел полуграмотный диктатор допотопный Мачадо и они решили его заменить молодым, современным. Но муж, обнимая её, уверял, что всё это чушь, Фидель самостоятелен, и превосходно то, что он, судя по выступлениям, не собирается ложиться ни под США, ни под СССР.

На следующий день, впервые чувствуя себя предпринимателями, Мендоса с Маркесом сняли офис в центре Боготы, на престижной Седьмой каррере, между 17-й и 18-й улицами. Напротив располагалось модное кафе «Тампа» — в нём друзья пили кофе и проводили переговоры. Всё больше людей с разными, порой безумными идеями по поводу переустройства Колумбии и мира стали приходить к ним. Габриель с Плинио устраивали на окрестных улицах митинги в поддержку Кубы. Маркесу нравилась такая жизнь. Мечтам, фантазиям не было предела: их трудно было втиснуть в привычные измерения. Ему казалось, что в жизни нет невозможного.

— Тогда, в конце пятидесятых, в воздухе носился полёт в космос, — говорил мне в 1980 году в гаванском «Доме Америк» Марио Бенедетти, выдающийся уругвайский поэт, один из любимых поэтов Маркеса. — Было предчувствие, что мы все стоим на пороге чрезвычайных открытий, ещё немного — и будет создан новый человек, не только разумный, но и отважный, мудрый, красивый, благородный, добрый — идеальный, который спасёт планету от грядущей катастрофы! Было время поэзии — столь редкое в истории человечества. И я ждал сообщений о реальном полёте в космос почему-то именно из вашей России, не только потому, что вы уже запускали собачек Белку и Стрелку, но и потому, что в юности читал Толстого, Достоевского, Чехова… Ленина читал!..

Кубинцы зарплату не задерживали. Маркес позволил себе снять в самом центре, неподалёку от офиса квартиру с антикварной мебелью, стал покуривать сигары. 24 августа 1959 года у Мерседес родился первенец — Родриго Гарсиа Барча, в котором Габриель с радостью увидел черты не только своей красавицы-матери, но и деда-полковника.

Работа в агентстве была несложной: по телетайпу или по телефону обменивались новостями с Гаваной, принимали

информацию о деятельности революционного правительства и лично Фиделя Кастро, туда отправляли наиболее интересную, с левым уклоном информацию о событиях в Колумбии.

Маркес настолько разошёлся, что в довесок к новостной информации стал высылать сокращённые варианты своих старых интервью и очерков, опубликованных ещё в газете «Эль Эспектадор». Но вскоре эйфория кончилась: с очередной пачкой долларов пришло требование предоставить публикации о Кубе в колумбийской прессе. В бочке мёда всей затеи Че Гевары под названием «Пренса Латина», или «Прела», как называли агентство в народе, это оказалось ложкой дёгтя — сама по себе Куба постепенно переставала быть информационным поводом, как прежде, да и по мере ухода революции влево газеты Колумбии публиковали кубинские материалы всё менее охотно. Финансирование из Гаваны сокращалось. Мексиканец, обещавший «всё отнять у буржуев», не объявлялся, хотя с Кубы доходили вести об успешной, но, конечно, не бескровной национализации.

В сентябре Маркес представлял «Палую листву» на Первом фестивале колумбийской книги. Она вызвала интерес. К стенду, на котором работал наш герой, даже выстроилась очередь из трёх человек за автографом. Его фотографировали, взяли интервью. Он впервые примерял шкуру писателя, раздающего автографы и позирующего перед фотокамерой. И шкура ему пришлась по душе. Мерседес гордилась мужем.

На выходные он уехал в Барранкилью, чтобы обсудить вопрос создания киношколы, о которой мечтал его друг Альваро Сепеда. Она должна была стать подобием Экспериментального кинематографического центра в Риме. За завтраком в ресторане отеля «Прадо» Альваро познакомил Габо с преуспевающим адвокатом, киноманом, который и должен был финансировать киношколу, — Альберто Агирре. Кроме кинематографа Альберто увлекался и художественной литературой и даже купил книжный магазин в центре города. Время от времени он также позволял себе тратить деньги на издание понравившихся книг.

Адвокат охотно делился соображениями. Дешёвые детективы, где всё понятно с первой страницы, его не увлекали, для него важен язык, архитектоника книги. Он прочитал повесть Маркеса об одиноком полковнике, который готовит своего петуха к бою и не получает пенсию, и она ему понравилась. Маркес поблагодарил за добрые слова. Адвокат поинтересовался, выходили ли прежде у него книги, каковы были продажи. Маркес признался, что единственную его книгу «Палая листва» в первый день купили пятеро его друзей, но больше не покупал никто.

Адвокат сказал, что ему действительно понравилась повесть «Полковнику никто не пишет», он её издаст и заплатит Маркесу тысячу песо.

Агирре вытащил из кармана чековую книжку и сказал, что если Габриель возражений не имеет, то он выписывает двести песо аванса. Мутис рассмеялся, глядя на ошарашенного друга, сказал, что Габо думает, будто издеваются, не ведая, что настоящий писатель.

К 1960 году в агентстве «Пренса Латина» почувствовалось оживление, стабилизировалось финансирование. Учредитель и генеральный директор агентства аргентинец Хорхе Рикардо Масетти, приближенный к своему высокопоставленному земляку — Че Геваре, сообщил, что работой колумбийского отделения доволен и вскоре сделает предложение, от которого нельзя отказаться. Предложение поступило в сентябре, когда Масетти проездом в Рио-де-Жанейро на пару дней заглянул в Боготу.

Сидя в гостиной Маркеса и потягивая приготовленный Мерседес мате, Масетти, кинематографически эффектными манерами напоминавший своего земляка Че, говорил, что и ему лично, и Эрнесто, и самому Фиделю нравятся репортажи Габриеля о Колумбии. Остальные отделения агентства или вообще ни черта не делают, или гонят халтуру, а этого не потерпит революция. Если бы Габо знал, с какой самоотверженностью трудятся день и ночь Че с Фиделем, да все честные люди, которым не наплевать на революцию! Но Колумбия сейчас — не приоритет. Им, Мендосе с Маркесом, двум столь мощным журналистам, слишком жирно сидеть здесь, тогда как у них явная нехватка голов для тотального мозгового штурма. Короче говоря, спросил Масетти, кто из них летит в Гавану, чтобы затем открыть отделение агентства где-нибудь в Северной Америке, например, в Монреале — Гарсиа Маркес? Приказывать он не может, зная, что у Габриеля жена и маленький сын, но он нужен революции. Маркес спросил, надолго ли, и получил ответ: на столько, сколько потребуется революции. Маркес взглянул на Мерседес, она кивнула — и Маркес сказал, что согласен, полетит пока один, семью заберёт позже. Масетти допил мате и сообщил, что в гаванском аэропорту «Ранчо Бойерос» его встретит первый заместитель директора агентства, Родольфо Уолш, тоже аргентинец, как Че и он сам, и тоже писатель, автор серии полицейских детективов «Вариации в кровавых тонах». Оказалось, что Маркес пару лет назад зачитывался «Вариациями».

Укладывая рубашки в чемодан, Мерседес позволила себе заметить, что это кубинская революция с каким-то аргентинским акцентом, а он писатель. Но Маркес, целуя своего «священного

крокодила», сказал, что это их общая революция, а что до писательства, то он приходит к выводу, что революция есть лучшая школа для писателя.

— Мне было семнадцать, и это было самое счастливое время! — вспоминал политобозреватель «Гранмы» Роландо Бетанкур, с которым мы в 1984 году работали над сценарием фильма «Взошла и выросла свобода». — 1960-й, 1961-й… Люди жили на площадях и улицах! Никто не работал! Было ощущение, что теперь и не надо работать! Остаётся всё окончательно отнять у капиталистов, у мафии, поделить — и все кубинцы до конца дней будут счастливы! Будут играть в шахматы, как Капабланка, боксировать, как наши чемпионы, побивавшие янки, танцевать, петь, заниматься любовью…

— Эрос революции парил над страной, как у нас в России — с лёгкой руки соратницы Ленина, посла Советского Союза Коллонтай?

— Ещё как! — отвечал Роландо, усатый кареглазый красавец, разбивший, судя по внешности и повадкам, не одну сотню сердец, зять кого-то из окружения Фиделя.

— И действительно, как говорят, проститутки давали бесплатно? — любопытствовал я.

— Даже те, к которым было не подступиться, раньше работали только с американцами за доллары! К любой подходишь и говоришь: «Пойдём?» — и она идёт в честь революции, притом не как обычно, механически, а с неподдельным, душевным оргазмом! Только они, кажется, и трудились в то время. Потом их заставили таксистками работать, выселили на остров Пинос, но это потом. А тогда, в 1960-м, кажется, никто никому не отказывал, любовью занимались в парках, скверах, на набережной Малекон, на пляжах… Потрясающее было время, все любили друг друга! Притом без презервативов, поставки из Штатов прекратились, но никто не заразился — революция!

— Вот о чём надо было в фильме рассказывать, Роландо! А мы с тобой про колхозы и интернационалистов! Скажи, а Маркеса в ту пору помнишь?

— Он жил в новой Гаване, на Рампе, в Доме медицинских работников, где размещалось агентство «Пренса Латина». Мы, студенты, завидовали им, молодым, энергичным и уже опытным журналистам. Маркес провёл в Гаване месяца три-четыре. Дружил больше с аргентинцами — Хорхе Масетти и Родольфо Уолшем, хотя и с кубинскими журналистами, он был коммуникабельным, не как потом, когда стал знаменитым. Обедали в центре, в Ведадо, тогда много было баров, ресторанчиков на авениде

Рампа. Видел я его и в «Клубе Наутико Интернасиональ», членом которого, кстати, был Хемингуэй, и в «Бодегите-дель Медио», где собирались писатели и художники, и в баре на двадцать четвёртом этаже отеля «Гавана-Хилтон», переименованного революцией в «Гавана либре»…

Наш герой вспоминал, что в те месяцы в Гаване почти забыл о литературе и коллегам по агентству, вообще никому не говорил, что писатель. (Поняли бы не так, а как в нашем анекдоте: «Ты кто?» — «Пишу, прозаик». — «Про каких, на хрен, заек?..») «Сильно образованных» и «больно умных» революции не жалуют.

Отдушиной были посещения дома Родольфо Уолша и его супруги, тоже писательницы, которая познакомила Маркеса с драматургом, мастером телевизионных новелл Феликсом Б. Кайгнетом (Габо смотрел их ещё в Боготе и находил исполненными тонкого юмора и изящества).

Прочитав книгу «Палая листва» и рукописи, Феликс, человек среднего возраста и уже умудрённый опытом, говорил, подкрепляя мысли длинными рядами перечислений, что писать о детстве, отрочестве, юности — дело естественное, у Диккенса, Толстого, Золя, Бальзака, Мопассана, Горького, Твена, Фолкнера, Джойса, Андерсена, Хемингуэя и других это получалось блестяще — когда они умели абстрагироваться именно от своего детства и обобщать, то есть, опираясь на реальные события, создавать собирательные, художественные образы. Говорил, что его привлекают взгляд и стиль Габо, оригинальные даже для храбро экспериментирующих латиноамериканских прозаиков, увлекающие и как бы ненавязчиво, не дидактически, но диктующие свои законы. Предрекал тернистый, но успешный путь в литературу. Давал и конкретные профессиональные советы. Например, уделять больше внимания запахам и звукам, которые способствуют достоверности. И большему, чем в ранних рассказах, динамизму.

Потягивая на балконе ром с кока-колой и мелко колотым льдом, глядя на океан, Кайгнет говорил, что чрезвычайно важен сюжет. Нет, он не считал, что все произведения обязательно должны строиться по законам детектива, но не сомневался, что занимательность — уважение к читателю. В любом художественном тексте обязательно должно что-то случаться, происходить, двигаться куда-то. Читатели не любят долгих описаний и статичных размышлений, пусть даже глубоких и оригинальных. Должна пульсировать жизнь: вот раздался где-то выстрел (сказал Феликс, когда со стороны порта донёсся звук короткой автоматной очереди), или крикнула чайка, или героиня споткнулась, или сверкнула молния, или герой что-то увидел

такое, что потом сыграет свою роль… Кайгнет (поклонник Чехова, цитировавший мысль о том, что если ружьё висит на стене в первом акте, то в третьем обязательно должно выстрелить) рекомендовал ничего не бросать — если сказал «а», то обязательно скажи «б», пусть даже не явно, а опосредованно, самой логикой развития сюжета. Но сюжет должен постоянно развиваться, всё, даже мелочи обязаны работать на сюжет. А вот в «Полковнике» у Габриеля сюжет вяловат. Взять Драйзера, того же Хемингуэя, под мощным влиянием которого — и в этом ничего плохого! — создана повесть. В «Старике и море» всё время что-то происходит: то летучие рыбки пролетают, то акулы появляются, и даже воспоминания и размышления динамичны. Надо держать читателя в напряжении, не давать расслабиться. Не советовал Феликс писать неудобными для читателя, корявыми, длинными фразами, использовать инверсию, без необходимости переставлять слова местами. Хотя, конечно, не только признавал право за писателем на свой язык, но считал это необходимым условием для настоящей литературы, которую нельзя смешивать ни с журналистикой, ни с драматургией. А у Маркеса, по мнению Кайгнета, свой язык уже отчётлив — особенно в описании мест и людей, которых он знает.

В наполненной запахами, звуками музыки, цикад и отдалённых выстрелов ночи мэтр убеждал, что нет ни одного великого произведения без юмора, что если вглядеться даже в «Одиссею» Гомера — и там замечательный юмор. Шекспир — весь на юморе, перечитываешь «Гамлета» и по полу чуть не катаешься. Пусть чёрный, какой угодно — но юмор, необходимо уметь даже в самом трагическом увидеть толику комического.

Советы драматурга пригодились Маркесу. Не все он воспринял буквально, порой, как нередко с ним бывало, ровно наоборот — взять, например, маркесовские перегруженные на первый, неискушённый взгляд сложные фразы… Но — так или иначе — пригодились.

С Антонио Нуньесом Хименесом, соратником Фиделя, президентом Академии наук Кубы, историком, писателем, мы говорили о многом — автор этих строк брал у него интервью в Гаване. Обсуждали и острую тогда, в 1979 году (а именно в конце декабря, когда советские войска входили в Афганистан, а кубинские интернационалисты сражались в Анголе, Эфиопии и по всему миру), тему выбора Кубой социалистического пути развития.

— Конечно, существовали и другие варианты, — признавал учёный. — Но путь, выбранный товарищем Фиделем Кастро, —

единственно верный и единственно возможный. Хотя и, быть может, с точки зрения вечности — в бесконечной череде случайностей. У команданте — как вождя, принявшего на себя великую историческую, эпохальную ответственность за народ Кубы, — не было другого выхода! Не забуду ту апрельскую ночь в 1961-м, когда товарищи из агентства «Пренса Латина», в котором работал Гарсиа Маркес, сообщили нам о готовящемся ЦРУ США вторжении на Кубу в заливе Кочинос!..

— Получается, сами Штаты подтолкнули Кубу к СССР? — сказал я. — Ведь вначале особой любви ни к марксизму-ленинизму, ни к Советскому Союзу Фидель не испытывал. И не то, что Хрущёв на Генеральной Ассамблее ООН стучал ботинком по трибуне и демонстративно обнимался, норовил взасос поцеловать товарища Кастро, сыграло роль!

— Мы шутили, что тому, кто задумал эту операцию, надо присвоить звание героя Кубы.

— Так, может быть, это была тончайше, до микронов продуманная операция внешней разведки? — осмелился предположить я.

(Существует понятие в психологии: множественность возможных путей. На выборе как таковом — религии, социально-экономической формации, вектора развития, союзников и т. п. мы задержались недаром. Попробуем экстраполировать это на создающего себя под воздействием внешней среды и обстоятельств нашего героя.)

Кубинский бард Пабло Миланес так объяснял мне выбор Кубы:

— Никогда бы не было у нас столько любви, столько поэзии, музыки, живописи, столько нежности, щедрости, мечты, восторга, свободы! Не соверши мы революцию, не вырвись мы из-под янки, которым всё наше, кубинское, было по фигу, нас и самих бы не было… Потом, правда, подпортили картину товарищи, ни к поэзии, ни к музыке, ни к восторгу, ни собственно к революции отношения не имевшие, — хотя громче всех о ней кричавшие. Стали указывать, кого нужно нам любить, сколько раз и как… И о чём петь…

— А мне кажется, Куба после революции, была, как мы, — не знала толком, кому дать, — с ностальгической грустной улыбкой рассуждала пожилая, высланная из Гаваны на остров Пинос бывшая проститутка Леопольдина, с которой, по одной из версий, Хемингуэй писал Умницу Лил из «Островов в океане» и с которой мне порекомендовали встретиться знакомые журналисты, когда я собрался лететь на Остров Молодёжи (бывший Пинос). (На пороге 1980-х я мечтал опубликовать книгу о Кубе, наивно намереваясь

рассказать в том числе и о судьбах легендарных в прошлом жриц любви.) — Куба, красивая, желанная, ты, совьетико, представить себе не можешь, со всего мира слетались, словно пчёлы на мёд, на гаванских девчонок! Но мы, вкусив революцию, обещавшую сделать нас из подстилок для янки женщинами, людьми! — выходили на площади и скандировали, размахивали плакатами: «CUBA — SI, YANQUI — NO!» Советский Союз, как настоящий мачо, особо не спрашивая и не ухаживая, овладел красавицей-мулаткой Кубой, и она, как истинная баба, уже не смогла потом без него, снова и снова хотела! А надоевшие, импотентные, как говаривал Папа, Штаты, весь мир пытавшиеся поставить раком, — кинула! Это была любовь, чико, а что может быть прекрасней любви на этом свете?

Мы о многом говорили с «Умницей Лил». Она рассказала, как сражалась плечом к плечу со всеми, когда проклятые наёмники янки пытались высадиться в заливе Кочинос, была там санитаркой и её контузило…

Но вернёмся к нашему герою. Как-то под утро, когда прокричали первые гаванские петухи, Хорхе Рикардо Масетти, Родольфо Уолшу и Гарсиа Маркесу при помощи криптографического справочника, используемого английской разведкой, удалось расшифровать часть поступившего на телетайп зашифрованного текста. Это было сообщение представителя ЦРУ в Гватемале, в котором тот подробно, с цифрами и именами, извещал Вашингтон о ходе морально-психологической и военной подготовки наёмников и заверял руководство, что к середине апреля 1961 года отряды будут полностью готовы для высадки и взятия Кубы.

Глядя на мерцающие в океане огни, Масетти торжественно произнёс, что час их пробил. И что история не простит, если они упустят свой шанс спасти революцию. План был таков. Под видом аргентинского, а акцент никуда не денешь, продавца Библий и святой воды заслать Родольфо Уолша (с горящими, как у Че, глазами, но в то же время похожего на священника) в лагерь наёмников Кэмп-Тракс. Там он должен будет пробыть несколько дней и ночей и собрать доказательную базу для всемирного разоблачения. И это будет бомба посильнее тех, что янки сбросили на Хиросиму и Нагасаки. Маркес, подумав, согласился с тем, что план Масетти неплох, но выдвинул другое предложение. Во-первых, он сам говорит без аргентинского акцента, а аргентинцы, как известно, после Че Гевары во всей Латинской Америке вызывают подозрение. Во-вторых, этот лагерь Кэмп-Тракс находится в горах Гватемалы, а он знает горы, дед с детства учил его в них ориентироваться и всё такое. В-третьих, он учился

в церковно-приходской школе, знает молитвы и помнит наизусть большие куски из Писания, знает, как принять исповедь, а этот сброд наверняка пожелает исповедаться перед тем, как отправляться убивать, и сможет спеть псалмы. Учитывая всё это, в Гватемалу должен ехать не Уолш, а он, Маркес. Родольфо, разумеется, возражал.

Масетти сообщил по телефону Фиделю Кастро, что получены совершенно секретные документы чрезвычайной революционной важности, и немедленно выехал к команданте. А Маркес с Уолшем продолжили спор о том, кто из них более подходит на роль шпиона. Вспоминали похождения агента 007 Джеймса Бонда в романах Яна Флемминга «Казино „Рояль“», «Бриллианты навек», «Живи и дай умереть», «Из России с любовью»… Сильнейшим аргументом стал тот, что Родольфо не был в России, а Габриель был, как и Флемминг, побывавший в СССР в качестве корреспондента «The Times», и Маркес знаком с тонкостями работы советских спецслужб…

Утром вернулся мрачный, вымокший под дождём Масетти. Выпил три чашки кофе с ромом, закурил. Маркес спросил, как наверху отнеслись к их гениальному плану, когда выезжать и где раздобыть сутану и Библии. Масетти ответил, что Фидель, изучив расшифровку, вынес благодарность сотрудникам агентства и сказал, что этим займутся специально обученные люди из внешней разведки.

Кубинский поэт Элисео Диего в 1979 году в Гаване рассказывал автору этих строк о событиях двадцатилетней давности, в частности, о работе редакций газет и журналов, а также информационного агентства «Пренса Латина». В течение нескольких месяцев после революции сложилась спаянная группа или батальон, как они себя называли, «настоящих партийных журналистов». Одним из руководителей батальона был член компартии Кубы Элисео Санчес, успевший поучиться даже в партийной школе в Москве и сыпавший цитатами из Маркса, Энгельса и Ленина. Он и внешне походил на Ленина: низкорослый, лысый, картавый, носил, несмотря на пекло, кепку, жилетку, галстук в горошек. То и дело лукаво прищуриваясь, засунув пальцы под мышки, откинув назад голову, заразительно расхохотавшись, он выдавал что-нибудь эдакое: «Гляжу я на тебя, Габо, и думаю, вот сомневается же человек, всё не уверен, как-то робок, не зная, что великий Ленин давно снял вопросы и отбросил прочь сомнения: „Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!“». По утрам, попивая кофе, он интересовался: «Ну, не решились ещё вступать в наши ряды коммунистической партии?

Глядите, потом может и поздно быть, попутчики ведь лишь до поры нужны…» И вдруг, вскочив, выбежав на балкон, сорвав с головы кепку, как Ильич в кино, сверкая лысиной, возглашал: «Литература, журналистика должны быть партийными! Долой литераторов беспартийных!»

Писали бойцы батальона партийных журналистов плохо, не умея выбрать главного, наваливая ворох бессмысленных цитат — из Маркса, Ленина, Хосе Марти, Боливара, из речей Фиделя и Че Гевары. Писали со множеством орфографических ошибок и без знаков препинания. Глубокой ночью на пару с Родольфо исправляя ошибки, правя, а чаще переписывая тексты партийцев, в которых за цитатами и непонятными аббревиатурами, выдуманными «революционными» словечками трудно было уловить смысл, Маркес уныло вздыхал. Нельзя было не заметить, что реальные бразды правления агентством переходили от «умников-аргентинцев» к «закалённым борцам за победу коммунизма». Неистовый Элисео Санчес поучал техников, обслуживающих агентские телетайпы, что коммунизм есть высшая, против капиталистической, производительность труда добровольных, сознательных, объединённых, использующих передовую технику рабочих, тянущихся к знанию, потому что оно необходимо им для победы. Он поучал даже слепого негра преклонных годов, игравшего на банджо и просившего милостыню на улице, и корил в ответ на нищенские причитания, уверяя, что революция уничтожит деление общества на классы, а следовательно, и всякое социальное неравенство.

Как рассказывал мне Диего, на вечеринке у одного из сотрудников агентства в Мирамаре, на Третьей авениде Маркес выпил и пел болеро, вспоминал русские цыганские романсы. Но Элисео Санчес его то и дело перекрикивал словами Ленина: «Ничего не знаю лучше „Appassionata“, готов слушать её каждый день! Изумительная, нечеловеческая музыка!»

Никому, повторим, кроме Масетти и Уолша, Маркес не говорил, что пишет прозу. Но имевший «пролетарский нюх» Санчес что-то подозревал и пытался вывести Габо на откровенный разговор, «по косточкам» разбирая его журналистские, но с писательским, как всегда у Маркеса, взглядом, образно написанные материалы, иногда получавшиеся большими по объёму, чем у других. Санчес настаивал на том, чтобы было поменьше политической трескотни, побольше внимания уделялось самым простым, но живым, жизнью проверенным фактам коммунистического строительства — этот лозунг, мол, надо неустанно повторять писателям, агитаторам, пропагандистам, организаторам, а особенно писателям! Он

уверял Маркеса, аргентинцев, уругвайцев, венесуэльцев, работавших в агентстве, что в обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть «свободы» реальной и действительной! Что писатель не свободен от буржуазного издателя, от буржуазной публики, которая требует порнографии в рамках и картинах, проституции в виде «дополнения» к «святому» сценическому искусству!..

Утром Маркес попросил Масетти ускорить решение вопроса с командировкой в Канаду. Хорхе сказал, что знает этих партийцев и тоже на пределе: ещё чуть-чуть — и выгонит к чёртовой матери. От них главная угроза исходит всему делу. Впрочем, Масетти не сомневался, что при малейшей возможности эти коммунисты сдуют в Штаты. Пообещал вопрос с командировкой Маркеса решить максимум через неделю.

Но вопрос решился в тот же день, к вечеру: позвонили от Че Гевары и передали, что срочно требуется открыть отделение агентства «Пренса Латина» в Нью-Йорке. Габриель посетовал на свой английский, сказал, что во франкоговорящей Канаде скорее бы освоился, но и на командировку в Штаты согласился. Спросил, нельзя ли съездить в отпуск, на что Масетти ответил, что можно, но в краткосрочный, по-революционному.

Отметить свой отъезд из Гаваны Маркес решил в ресторанчике «Бодегита-дель-медио» в нескольких шагах от Кафедральной площади, где собралось человек десять.

— Я помню тот вечер, — рассказывал мне Роландо Бетанкур. — Я сидел у стойки бара и слышал, о чём они говорили: о будущем Кубы, об альфабетизации — борьбе с неграмотностью, о волнениях мачетерос в провинции Матансас, о кино, о том, что Мэри электрошоковым лечением делает из Хемингуэя идиота… Маркес — по традиции «Бодегиты» — расписался углём на задней стене, где расписывались все звёзды, побывавшие на Кубе, — Марлен Дитрих, сам Хемингуэй незадолго до отъезда.

Улетая из Гаваны, в аэропорту «Ранчо Бойерос» Маркес увидел врезавшуюся в память сцену. Агенты госбезопасности отбирали у эмигрировавших ценности: валюту, часы, портсигары, ювелирные украшения вплоть до нательных крестов и обручальных колец. За перегородкой мужчин и женщин заставляли раздеваться догола и осматривали всюду: трудились гинекологи, проктологи и прочие специалисты. У некоторых стоматолог снимал даже золотые зубные коронки. Агенты поясняли, что этого требует революция. Пожилой профессор, жену которого также подвергли унизительному обыску и

гинекологическому досмотру, возмутился, назвал их извергами хуже фашистов, а Фиделя — исчадием ада. Его увели, и на борту самолёта потом он не появился.

В Мехико Маркес прилетел, чтобы повидаться с Мутисом. И давний друг-спонсор, только освободившийся из тюрьмы «Лекумберри», показал Габо такую Мексику, какую тот видел в кино, которая, приворожив раз и навсегда, потом будет ему сниться и манить.

Альваро поведал, что здесь, в Мехико, Андре Бретон, путешествовавший в конце 30-х годов по Мексике в компании с Диего Риверой и Львом Троцким (поселившимся в Мексике), которые по-братски делили жену Риверы художницу Фриду Кало, назвал Латинскую Америку «сюрреалистическим континентом». Показывал дом Фриды в Койоакане и Троцкого — на углу Рио-Чурубуско и Виена, фрески Сикейроса и Риверы на стенах — монументальные плакаты и комиксы, Священный колодец, в который ацтеки бросали самых красивых девушек, жертвуя их богу дождя Чаку.

— Они были страстными игроками в мяч, — рассказывал Мутис, сам яростный футбольный и баскетбольный болельщик. — Каменный мяч размером с голову надо было пробросить сквозь каменное кольцо. Болельщики ставили на кон драгоценности, наложниц, города, свободу. Игра оканчивалась жертвоприношением лучшего игрока победившей команды. На верхней площадке пирамиды жертву укладывали на каменную плиту, разрезали живот, потому что ритуальным обсидиановым ножом сложно раскрыть грудную клетку, вынимали сердце победителя и поднимали вверх, к Солнцу.

Рождество и Новый, 1961 год Маркес встречал в Боготе с женой, сыном, близкими друзьями. Плинио пришёл с девушкой Марвель, которая уже утром 1 января — по совету Габо («Не женись на столичной, на дочери богача или знаменитости, бери „с первого этажа“, которая будет рядом, понимающая, чуткая, с берегов нашего Карибского моря!») — превратилась в невесту.

Мерседес, перемывая за мужем вчерашнюю посуду, сказала, что Марвель ей тоже понравилась. Спросила, куда они дальше. Габриель ответил, что в Нью-Йорк, но на этот раз все втроём, и поинтересовался, рада ли она. Мерседес ответила, что для неё главное — вместе. За день до их вылета в США стало известно, что Санчес с другими «партийными журналистами» сбежал в Майами, прихватив кассу агентства.

Третьего января, в тот день, когда США разорвали отношения с Кубой (будто подгадывал наш герой), семья Гарсиа Барча — так

правильно именовать Габриеля и Мерседес — прибыла в Нью-Йорк. Шёл снег, которого Мерседес, а уж тем более полуторагодовалый Родриго не видели. Первое время Мерседес испуганно молчала, вцепившись в руку мужа, среди сверкающих рекламами небоскрёбов, грохота, многоязычной толпы. Муж, к её удивлению, заговорил по-английски, его даже понимали.

Офис агентства «Пренса Латина» располагался в Рокфеллер-центре, поселились в отеле «Вебстер» рядом с Пятой авеню, неподалёку по нью-йоркским меркам, в получасе ходьбы, так что на общественном транспорте Маркес ездил редко. Да и зарплата, представлявшаяся из Гаваны солидной, в Нью-Йорке оказалась более чем скромной и не располагала к использованию транспортных средств. Как и к хождению по китайским, итальянским, греческим, японским, русским и прочим ресторанам; Мерседес отыскала самый недорогой в районе продовольственный магазинчик, так что питались дома.

Пожалуй, единственное из не самого необходимого, что позволял себе в «Большом яблоке» Маркес, это кино — смотрел не только ленты с участием Мэрилин Монро, Марлона Брандо, Одри Хепбёрн и других звёзд Голливуда, но по-настоящему открыл для себя мексиканский кинематограф, который и в США пользовался популярностью.

Он говорил Мерседес, что всё чаще снится Мексика, он чувствует, это их страна. Мерседес напоминала, что то же самое он говорил, прилетев с Кубы. Габриель признавал, Куба — это его любовь. Но Мексика — это Мексика, это кино! Маркес, по его словам, никак не видел себя в Голливуде, в то же время всё острее чувствовал, что кинематограф — его призвание. Мерседес спрашивала, что же будет с журналистикой, литературой, он отвечал, что журналистика — лучшая в мире профессия, и всё-таки это не главное, для чего он рождён. Литература — его стезя. Но литература, с начала, с первого рассказа шла как бы через кино: он видел, словно на экране, то, что должно произойти, людей, их лица, жесты, слышал голоса, смех, плач, а потом записывал, будто монтировал. Мерседес призналась, что сама об этом думала, когда читала его вещи: вот это так бы выглядело на экране, этого героя сыграл бы такой-то актёр… Маркес уверял, что ему обязательно надо попробовать себя в кино, Альваро Мутис обещал помочь, у него связи. Книгу, говорил Габриель, можно писать годами, а сценарий — месяц, в Мексике даже за пару недель пишут, но деньги-то в литературе и кино несравнимые, в кино миллионерами становятся. Мерседес спросила, что же будет с работой в агентстве Че Гевары, Маркес ответил, что, конечно, будет работать, Мексика, кино — это так,

грёзы…

Во время пресс-конференции в Колумбийском университете Маркес встретил земляков-колумбийцев, преподавателей и студентов. Некоторые из них знали его как журналиста, автора нашумевшей в своё время серии очерков «Рассказ не утонувшего в море». А кое-кто, и это Маркеса поразило здесь, в США, и как автора «Палой листвы». Расспрашивали о Кубе, Фиделе, Че Геваре, о бесследно исчезнувшем в океане Камило Сьенфуэгосе, приглашали в гости и в свою университетскую библиотеку, которая отныне в его распоряжении, интересовались творческими планами… Маркесу был растроган и, придя домой, сказал Мерседес, что «Нью-Йорк тоже замечательный город».

По ночам он возвращался к работе над прозой. Как ни хотелось ему вновь переделать и поджать «Полковника», усилием воли он заставил себя прекратить это безумие и, ещё раз перечитав и не поправив ни запятой, отложил в сторону. Зато активно правил «Недобрый час» — оттачивал ритм, твердя про себя фразу за фразой, сцепляя их, как вагоны поезда, и интонационно складывая в абзацы… Он решил вернуть повести первоначальное название — «Четырнадцать дней недели». Мерседес сказала, что это обращает на себя внимание, но посоветовала ещё подумать, ведь у него такие необычные и поэтичные названия: «Ева внутри своей кошки», «Глаза голубой собаки», «Тот, кто ворошит эти розы», «Набо — негритёнок, заставивший ждать ангелов»… Спросила, почему он не рассказывает ей о работе в агентстве, но он ответил, что это рутина, сплошная политика, ничего интересного.

В инаугурационной речи 20 января 1961 года президент США Джон Фицджералд Кеннеди, благодаря молодости и обаянию (на теледебатах «выглядел моложе и гораздо здоровее») с трудом, но победивший на выборах Ричарда Никсона, призвал американцев «с достоинством нести бремя долгой и неблагодарной борьбы с общими врагами человека: тиранией, бедностью, болезнями и самой войной». Он заявил: «Мои братья-американцы, не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас. Спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны».

Мерседес, смотревшей трансляцию инаугурации по телевидению, Кеннеди понравился.

«Крохотный островок — агентство „Пренса Латина“, детище Фиделя Кастро и Че Гевары, — был буквально окружён океаном враждебности, — писал Мендоса. — Отовсюду слышались скрежет зубовный и шипение ненависти. По телефону, звонившему каждую минуту, сыпались оскорбления, притом по-

испански, смертельно обидные, касающиеся матери, жены, сестёр и всех близких женщин, а также угрозы. „Ты скажи это своей матери, козёл!“ — хладнокровно отвечал Габо, если оказывался в этот момент у аппарата. Звучали и конкретные угрозы в адрес Гарсиа Маркеса и его семьи. „Слушай сюда, колумбиец! — произнёс однажды в трубку сиплый мужской голос. — У тебя жена-красавица и маленький сын. Нам известно, где вы живёте. Сына ты можешь лишиться, с жёнушкой вволю позабавимся… Уяснил, колумбиец? Ме каго эн ла лече (срал я в молоко твоей матери), пока не поздно, хватай их и вали-ка ты, карахо (член), отсюда!“».

Маркес подумывал приобрести пистолет или, по крайней мере, боевой нож. На столе рядом с печатной машинкой лежали бейсбольная бита и железный прут — на случай нападения на агентство. С детства не отличаясь физической отвагой, почти ни разу не приняв участия в обыкновенных мальчишеских драках, в Нью-Йорке зимой 1961 года Маркес мучился от постоянных угроз, напряжения и страха. В конце февраля, после очередного телефонного звонка, он запретил Мерседес выходить на улицу, а сам передвигался по городу только в светлое время и почти бегом, запутывая маршруты, озираясь, едва ли не в каждом встречном видя убийцу. Неотступно по пятам сотрудников кубинского агентства следовали агенты ФБР, это морально поддерживало — по идее, должны были вмешаться, если что, — но от страха не избавляло.

Как ни странно, Маркес открыл в те дни, а особенно ночи, что страх служит и определённым допингом. Он заканчивал начатые рассказы, повесть, обнаруживая, что верные, точные слова подбираются быстрее, чем в мирных условиях.

Тем временем в Гаване Масетти, как и обещал, уволил из агентства оставшихся никчёмных партийцев-журналистов. Но вскоре получил из Министерства труда Кубы предписание восстановить их. Масетти пытался дозвониться Че Геваре, но тот ездил по провинциям и личным примером показывал мачете-рос, как надо по-революционному рубить сахарный тростник, портовым грузчикам — разгружать корабли, рыбакам — ловить рыбу, работницам табачных фабрик — скручивать сигары, учителям — учить, строителям — строить… Прочитав как-то в кубинской прессе репортаж о деятельности Че, Мерседес с улыбкой высказала удивление, что этот герой революции не заезжает в роддома. Здесь пишут, что он хочет вообще отменить деньги как пережиток, сказала она мужу. И ещё она читала в американских газетах, как на заседании Совета министров кто-то задал вопрос: «Есть ли у нас настоящие экономисты?» В ответ —

тишина. Все посмотрели на Че Гевару. А он делал пометки в блокноте, возможно, писал стихи, и ему послышалось: «Есть ли у нас настоящие коммунисты?» «Есть», — поднял руку Че. «Значит, Че Гевара и будет главой Центробанка!» — было принято единогласное решение. (Когда кубинская делегация приехала на родину Че Гевары к его родителям рассказать об успехах сына, отец, услышав, что Эрнесто назначен на эту должность, не мог поверить, а потом грустно заметил: «Я-то надеялся, у вас серьёзно. Ну, тогда пи…ц вашему банку».)

По сложившейся традиции, Мерседес за ужином (когда удавалось вместе поужинать) пересказывала мужу содержание газетных публикаций, не относящихся к политике, которой Маркес был пресыщен. Рассказала, что Че взял в одно из своих министерств бездомного бесхвостого пса, которого назвал Муралья, и тот посещает заседание коллегии министерства, как и любой из её членов, — лежит в ногах у Че Гевары, требуя, чтобы его гладили. Че со всеми бездомными собаками в округе дружит, кормит их, они ходят за ним следом, как телохранители, а живодёрам он велел их не трогать.

Генеральный директор агентства «Пренса Латина» Масетти отказался выполнить распоряжение Министерства труда. Тогда коммунисты с отрядом вооружённых «милисианос» (милиционеров) ворвались в помещение агентства, вышвырнули ненадёжную, мечущуюся, гнилую интеллигенцию и заняли кабинеты. Убедившись в том, что захват произошёл с ведома Фиделя, не найдя поддержки у Че, Масетти, Уолш и с ними ещё несколько первоклассных журналистов из стран Южной Америки направили лидеру кубинской революции заявления об отставке.

Тринадцатого марта 1961 года в качестве аккредитованного журналиста Маркес слушал в Белом доме речь президента США Кеннеди, в которой тот объявил о создании антикубинского «Союза ради прогресса». «Пластырем, перекрывающим путь свежему вольному ветру кубинской революции», назовёт этот «Союз» писатель Варгас Льоса.

Детальную информацию о том, что собой представляет Джон Кеннеди, как бы его фамильный психологический портрет (дед, отец, разбогатевшие в том числе и на бутлегерстве во время сухого закона, сам Джон служил в военно-морском флоте на Тихом океане, во время Второй мировой войны был тяжело ранен и дважды награждён за отвагу, самый молодой президент в истории США…), а также точную информацию о намерениях Кеннеди Фидель Кастро получил из нью-йоркского отделения агентства «Пренса Латина» прежде, чем от своей внешней разведки и посольства Кубы в США.

Четвёртого апреля 1961 года Совет национальной безопасности под председательством президента Кеннеди принял решение о подготовке операции «Плуто» по вторжению на Кубу. Группа вторжения должна была продержаться 72 часа, после чего вторгались главные силы — американские войска. Корабли Атлантического флота США с авиацией и морской пехотой заранее были сосредоточены у острова. 12 апреля 1961 года Кеннеди, уже дав разрешение на операцию, заявил на пресс-конференции: «Вооружённые силы США ни при каких обстоятельствах не начнут интервенцию на Кубу». (Не исключено, что на психическое состояние президента повлияла информация о том, что в тот день Юрий Гагарин, крикнув «Поехали!» впервые в истории полетел в космос.)

Сама высадка сил вторжения в заливе Кочинос (в переводе «Залив Свиней», что, по словам Фиделя, весьма символично) началась в час ночи 17 апреля. Рано утром в офисе агентства «Пренса Латина» прошёл по телетайпу текст обращения Фиделя Кастро ко всем прогрессивным и честным организациям с просьбой поддержать Кубу, выступить против интервенции. Маркес размножал и направлял текст в правительства, парламентариям, руководителям профсоюзов, творческих объединений, ректорам университетов, в информационные агентства, в редакции газет, журналов, в студии радио и телевидения — прежде всего, конечно, своим знакомым в Колумбии, Венесуэле, Перу, Мексике, а потом всем, всем, всем! Он больше суток не отходил от телетайпа.

Почти сразу же наёмники, которым американцы обещали лёгкую победоносную прогулку по острову, наткнулись на ожесточённое сопротивление. Кубинская авиация (не без помощи советских инструкторов) господствовала в воздухе, отсекая высадившихся от подвоза боеприпасов и подкреплений, а подтянувшимся к бухте основным силам революционной армии понадобилось всего 72 часа для полного разгрома интервентов. Более тысячи человек было взято в плен и почти все они заявили, что их обманули ЦРУ. Всенародного восстания против Кастро, в неизбежности которого уверяли президента Кеннеди руководители ЦРУ, не произошло. Решившись на последнюю попытку спасти ситуацию, президент Кеннеди разрешил использовать американские истребители с авианосца «Эссекс» для прикрытия с воздуха новой атаки. Но из-за несогласованности и B-26 прошли над местом боя за час до назначенного времени и были сбиты.

Вскоре после победы Фидель лично предложил Масетти брать интервью, а точнее, вести в прямом эфире допросы пленных

наёмников. Масетти согласился — миллионы латиноамериканцев не отрывались от телеэкранов в течение нескольких вечеров.

«Нас обманули! — звучало лейтмотивом. — Нам внушили, что Куба только и ждёт минуты, чтобы сбросить ненавистного Фиделя, что ЦРУ всё подготовило, и Штаты…»

Хорхе Рикардо Масетти оставался одним из немногих друзей, единомышленников и соратников Че Гевары. Пытался настроить на революцию Фронт национального освобождения Алжира. Разрабатывал операцию «Сегундо Сомбра», целью которой были организация партизанской войны и совершение революции в Аргентине, в Перу — по тайному «Андскому проекту», разработанному Че. Группа получила название Народной партизанской армии (НПА). Масетти взял себе псевдоним «Командир Сегундо» в честь гаучо Сегундо Сомбры, главного героя аргентинского народного эпического повествования «Дон Сегундо Сомбра». Че в качестве «почетного члена» НПА выбрал псевдоним «Мартин Фьерро» — по названию поэмы Эрнандеса, также превратившейся в эпос. В апреле 1964 года партизанская кампания Масетти завершилась, не начавшись: часть партизан была расстреляна аргентинскими жандармами, несколько человек сброшены со скалы, трое заблудились и умерли от голода. Родольфо Уолш, коллега и друг Маркеса и Масетти, написал: «Масетти так и не объявился. Он просто исчез в джунглях, в дожде и во времени. В каком-то неведомом месте труп командира Сегундо держит в руках ржавое оружие. Когда он погиб, ему было тридцать пять лет».

Шестнадцатого июня 2009-го, в день пятидесятилетнего юбилея кубинского агентства «Пренса Латина», в официальных хрониках отмечалось, что «у истоков его в 1959 году стояли легендарный революционер Эрнесто Че Гевара, аргентинский журналист Хорхе Масетти и знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Габриель Гарсиа Маркес. На церемонии, посвящённой юбилею, агентство „Пренса Латина“ было награждено почётным дипломом за подписью кубинского лидера Рауля Кастро. Директор агентства Франсиско Гонсалес сказал, что „Пренса Латина“ возникло в тяжёлый период вскоре после революции на Кубе в противовес засилью американских СМИ, которые манипулировали информацией в Латинской Америке…»

…Вскоре Плинио Мендоса подал заявление об отставке. 25 мая 1961 года примеру друга последовал и Маркес, хотя оставался без средств, без жилья, с женой и ребёнком на руках. Безропотная жена спросила, что им теперь делать, и, получив

ответ, что надо ехать в Мексику, вздохнув, принялась укладывать чемодан.

Прилетевший в Нью-Йорк Плинио советовал Маркесу потребовать у нового руководства «Прелы» выходное пособие. Не веря в успех, Маркес отправил в Гавану запрос по поводу денег или хотя бы авиабилетов до Мехико для двух взрослых и ребёнка. Ему порекомендовали обратиться по этому вопросу в колумбийское отделение агентства, то есть к уволенному Мендосе.

Мне в Гаване журналисты со стажем рассказывали, что Маркеса сочли чуть ли не *gusano,* червём, предателем. Мол, пусть в угоду писательскому творчеству, но изменил революции, бросив «Прелу» в трудную минуту. Кстати, и Рауль Кастро мне намекал на это (он вообще к Маркесу был не столь расположен, как его старший брат).

В середине июня 1961 года семья тронулась в долгий путь «на перекладных» — на автобусах с пересадками в Новый Орлеан, куда Плинио пообещал прислать хоть какие-то деньги. Недолго Маркес радовался пребыванию в стране Фолкнера. Жирный, лоснящийся от пота негр, сидевший у водопроводной колонки возле автобусной станции в Атланте, угрожающе процедил сквозь зубы: «Only for whites!» Мерседес попросила набрать воды ребёнку, но негр повторил, что только для белых, а «для остального сброда вода за сортиром». В Алабаме огненно-рыжий бородатый мордоворот, высунувшись из окошка джипа, оценивающе оглядев Мерседес, сказал: «Жена? Неплохие сиськи. Да и ножки. Отсосёт — дам пять баксов». В Монтгомери никто не согласился сдать им комнату, так что ночевать с ребёнком пришлось на газоне. На рассвете подъехала полиция, лежащего Маркеса пнули ногой. Мерседес с трудом держалась, чтобы не расплакаться. Да и самому главе бедного семейства впору было плакать. Но внутренний голос — хрипловатым тембром деда-полковника — твердил: «Не сдавайся! Не сдавайся! Не сдавайся!»

В Новый Орлеан приехали поздно вечером, попытались устроиться в дешёвую гостиницу, но их не пустили, и они заночевали в зловонной ночлежке для «перемещённых лиц» — чёрных и мексиканцев, расположенной у городской выгребной ямы. Ночь была жаркой, душной. Мерседес с сыном заснули, а Маркесу зловоние спать не давало.

Нам, студентам, в Гаване он говорил: «Есть книги вовсе без запахов, и от этого, может быть, они не становятся менее значимыми. Но я в какой-то момент понял, что запахи — это важно, запах может изменить всю картину, восприятие

окружающей действительности. Вот пахнуло морской утренней свежестью — и ты опять мечтаешь, творишь. Вот прошла мимо благоухающая женщина — и хочется куда-то идти, ехать, плыть. Вот донёсся запах гнили, тлена — и всё мрачнеет, насыщается какой-то тлетворной безысходностью…»

Пожалуй, ни у кого из классиков нет такой пахучей прозы. У Маркеса запахи не только играют важную роль, являются изобразительным средством, погружают читателя в атмосферу, но оживают и творят чудеса. Из романа «Сто лет одиночества»:

«Мелькиадес нечаянно разбил пузырёк с хлорной ртутью.

— Это запах дьявола, — сказала она.

— Совсем нет, — возразил Мелькиадес. — Установлено, что дьяволу присущи серные запахи, а тут всего лишь чуточку сулемы…» «…Он всю ночь искал её, всю ночь чудился ему запах дыма, который исходил от её подмышек: этот запах, казалось, впитался в его тело… запах был повсюду, такой же неуловимый и в то же время определённый, как тот, что теперь он постоянно носил в себе». «В постели лежала молоденькая мулатка. Она была совсем голая, и груди её напоминали собачьи сосцы. До Аурелиано здесь побывало шестьдесят три мужчины. Воздух, пропущенный через столько пар лёгких и насыщенный запахом пота и вздохами, стал густым, как грязь», «…он отчалил от скалистых берегов печали и встретил Ремедиос, обратившуюся в бескрайнюю топь, пахнущую грубым животным и свежевыглаженным бельём». «Мужчины, искушённые в любовных муках, познавшие любовь во всех странах мира, утверждали, что им никогда не доводилось испытывать волнение, подобное тому, которое рождал в них природный запах Ремедиос Прекрасной. <…> Чужеземцы, которые прибежали на шум из столовой и поспешили унести труп, заметили, что кожа его источает ошеломляющий запах Ремедиос. Этот запах прочно вошёл в тело покойного, и даже из трещины в его черепе вместо крови сочилась амбра, насыщенная тем же таинственным ароматом; и тут всем стало ясно, что запах Ремедиос Прекрасной продолжает терзать мужчин даже и после смерти, пока кости их не обратятся в прах». «Как только он вошёл, в нос ему сразу ударило зловоние от горшков — они стояли на полу и были неоднократно использованы по назначению…»

…От зловония Мерседес проснулась. Вышли с малышом на улицу и сели на скамейку в скверике, не заметив таблички у входа: «Четвероногим домашним питомцам, неграм, мексиканцам и кубинцам вход воспрещён!» Прижимая к груди вновь уснувшего сына, Мерседес молча смотрела на брезжащий над морем рассвет. И наш герой молчал.

А утро было солнечным, чистым, радостным. Тем более что на главпочтамте Нового Орлеана Маркес получил целых сто пятьдесят долларов, присланных верным другом Плинио. Решили шикануть — пошли во французский ресторан «Ле Вье Карре».

За столиком Маркес обещал жене, что не повторится никогда такого, как в Атланте, где её хотели купить, как в Алабаме и здесь, в этой вонючей ночлежке, где они совсем опустились на дно. Обещал, что будут жить в лучших отелях, обедать в шикарных ресторанах. Обещал, накрыв рукой руку жены, а другой погладив по голове сидящего рядом в детском стульчике сынишку Родриго, — завоевать мир.

«Я всегда знал, — пишет Плинио Мендоса в книге „Те времена с Габо“, — что Гарсиа Маркес умеет справляться с трудностями, возникающими в жизни. Во всяком случае лучше, чем со славой. Испытание „огнём и водой“ Габо проходил более стойко и мужественно, чем „медными трубами“. Унижения, лишения, удары судьбы ему всегда шли только на пользу, он закалялся и крепчал. В конечном счёте и его необыкновенный, фантастический писательский успех обусловлен именно этой борьбой с обстоятельствами, с жизненными трудностями, борьбой напряжённой, мужественной и азартной».

Глава пятая
ПРЕДСТОЯНИЕ

В понедельник 26 июня (сам Маркес уверял, что это произошло вечером 1 июля, «накануне выстрела дуплетом из „Босса“») 1961 года на железнодорожном вокзале «Буэнависта» города Мехико Альваро Мутис обнимал Маркеса, прибывшего с семьёй. Мутис провёз их по Мехико, поселил в отеле «Апартаментос Бонампак», дал денег.

Второго июля по радио сообщили, что в своём доме в городке Кетчум, штат Айдахо в США, застрелился писатель Эрнест Хемингуэй. Сообщил об этом мексиканский писатель Гарсиа Понсе, один из немногих друзей Маркеса в Мехико: «Прикинь, этот болван Хем прострелил себе башку!» Позвонил и Альваро Мутис, спросил, напишет ли что-нибудь Габриель. Маркес ответил, что попробует, потерянно стал рассказывать почему-то о том, что так и не понял отношения к нему кубинцев. Альваро сказал, что недавно перечитывал кубинские вещи — «Иметь и не иметь», «Старик и море», — и считает, что памятник должны ему поставить в центре Гаваны из малой частицы того золота, которое он принёс Кубе.

Мексиканский журнал «Сьемпре» опубликовал статью революционного кубинского литератора Эдмундо Десноэса, кишащую какими-то островными комплексами (процитируем, так как нашему герою в плане зависти уготована примерно та же участь):

«Фидель Кастро был чрезмерно великодушен, заявив, что „всё творчество Хемингуэя представляет собой защиту прав и достоинства человека“. <…>На Кубе он жил, как некий англичанин, изгнанный из колонии, выражая симпатии кубинскому народу, но глядя на него сверху, с холма „Ла Вихии“. Он писал свои книги по-английски и издавал в самых крупных в мире издательских домах. Он был богатым путешественником, он стрелял самых дорогих зверей, останавливался исключительно в „люксах“ самых роскошных отелей мира, пил самое дорогое шампанское и заедал его чёрной белужьей икрой, которую брал ложкой. <…> Я смотрел на Хемингуэя с завистью и бешенством. А испытывал бешенство я от сознания того, что мы в те годы были обречены на бедность, ограничения, отсутствие свободы, постоянно подвергались надругательствам. <…> Ни один боливийский, например, писатель никогда не удосуживался чести посещения легендарной Марлен Дитрих в „люксе“ шикарного

отеля Нью-Йорка „Шерри-Несерлэнд“! В лучшем случае, боливийский писатель имел возможность заниматься онанизмом перед её фотографией с обнажёнными ножками, застрахованными на миллион долларов!»

Уругвайский поэт Бенедетти в интервью мне сказал, что Куба и вся Латинская Америка ещё недооценили той великой роли, которую сыграл Эрнест Хемингуэй.

В ночь со 2 на 3 июля Маркес сел писать нечто вроде некролога. Но ком подступал к горлу. Не верилось. Жизнь без Хемингуэя стала казаться менее настоящей. Листал потрёпанный январский журнал «Look» за 1954 год с очерком и фоторепортажем об охоте в Африке — этот очерк лёг в основу повести «Лев миссис Мэри» с пронзительным финалом, который Маркес, несколько раз прочтя, выучил наизусть: «В Африке всегда пребываешь в состоянии счастливой беззаботной грусти… У меня была воистину восхитительная бабушка с лицом ангела, если только ангелы могут быть похожи на орлов, и однажды, проведя шесть дней у моей постели после того, как я, боксируя под чужим именем, получил сотрясение мозга (в ту пору никто не хотел платить денег, чтобы посмотреть, как дерётся мальчишка по фамилии Хемингуэй), она, написав мне объяснительную записку за пропуск занятий в школе, сказала: Эрни, обещай мне делать только то, чего тебе действительно хочется. Всегда поступай так. Я уже старая женщина, и я всегда старалась быть хорошей женой твоему деду, а ты сам знаешь, каким он подчас бывает. Но я хочу, чтобы ты запомнил, Эрни. Ты запомнишь, Эрни?

— Да, бабушка, я могу запомнить всё, кроме шести раундов.

— Не в них дело, — сказала она. — Запомни-ка лучше вот что. Единственное, о чём я жалею, так это о том, чего я не сделала.

— Спасибо большое, бабушка. Я постараюсь запомнить».

Маркес вспоминал, как в начале 1957 года увидел в Париже седобородого Хемингуэя — с женой Мери он шёл по бульвару Сен-Мишель к Люксембургскому саду. На нём были потёртые джинсы, куртка, бейсболка. Маркес хотел броситься к кумиру, но лишь крикнул через улицу: «Маэстро!» Хемингуэй поднял руку и «каким-то дурашливым мальчишеским голосом крикнул в ответ: „Adios, amigo!“» («Прощай, дружище!»).

Дописать сумел лишь через неделю. Мутис передал некролог под названием «Человек умер естественной смертью» своему другу, мексиканскому писателю Фернандо Бенитесу — главному редактору литературного приложения к газете «Новедадес». Это эссе-некролог стало своеобразной визитной карточкой Маркеса в Мексике:

«На этот раз, похоже, правда: Эрнест Хемингуэй умер. Сообщение это взволновало многих в самых отдалённых и удалённых друг от друга уголках мира: этих его официантов, этих его проводников на сафари и подмастерьев тореро, этих его таксистов, нескольких боксёров, которым перестала улыбаться удача, да ещё пару вышедших на пенсию наёмных убийц. <…>

Его судьба в определённом смысле была судьбой его героев, которые проживали мгновение в любой точке Земли, но оставались в вечности благодаря верности тех, кто их любил. Пожалуй, это и есть наиболее точное определение величины Хемингуэя. И, возможно, это определяет не конец, а лишь начало жизни в мировой литературе. Он — естественный образец великолепного человеческого экземпляра, настоящего и невероятно честного труженика, который, пожалуй, заслуживает большего, нежели места в высших сферах мировой славы».

…Гарсиа Маркес сожалел о том, что жизнь развела его с Хемингуэем, хотя несравненная Гавана могла бы свести — несмотря ни на что; сам виноват, не проявил настойчивости, которой учил дед-полковник. И ещё, будучи уже тридцатитрёхлетним, «в возрасте Христа», вновь сменив место жительства, без денег, с женой и ребёнком, он думал о том, что и «местом в высших сферах мировой славы», пожалуй бы, удовлетворился.

Мутис хоть и был колумбийцем, иностранцем (в пределах Латинской Америки это понятие относительное, как некогда было у нас в СССР), но благодаря своему характеру, темпераменту, деньгам имел в Мексике множество друзей, приятелей, знакомых в деловых кругах и среди творческой интеллигенции. «Его способность очаровывать помогла ему пробраться в высшее общество и заставить всех забыть, что он отбывал срок в тюрьме „Лекумберри“, — читаем в книге профессора Мартина. — И теперь он протаскивал в это неприступное и колючее, как кактус, общество Гарсиа Барча». С первых дней в Мехико Мутис «протаскивал» Габо с Мерседес, ещё не оправившихся от «шокотерапии», испытанной на юге Штатов.

Вообще, роль друзей в судьбе нашего героя велика, друзья столько раз ему помогали, его выручали, вытаскивали буквально со дна! Позволим себе здесь отступление и обобщение и задумаемся о роли друзей и товарищей в «жизни замечательных людей». Кто из них входил в науку, искусство, литературу (сосредоточимся на литературе) группой, компанией, поколением, кружком, а кто — в одиночестве, по крайней мере внешнем, входил и существовал эдаким «степным», по выражению

Германа Гессе (кстати, роман «Der Seppenwolf» произвёл на Маркеса сильное впечатление), «одиноким волком»?

Несмотря на то что главным произведением Маркеса является роман с «говорящим» названием «Сто лет одиночества», «одиноким волком» его не назовёшь. Он с детства, едва оторван был от легендарного деда-полковника, — в «стае», в компании. Друзья — и однокашники, и барранкильские хохмачи, и коллеги-журналисты, и писатели — его любили, уделяли ему, несмотря на собственные проблемы (например, отсидка Альваро в мексиканской тюрьме с уголовными преступниками), много внимания, бескорыстного сердечного тепла. Трудно предположить, что относились к нему так из-за того, что чувствовали в нём будущую знаменитость. Думается, ему сопутствовали друзья потому, что он и сам умел дружить: не только брать, но и давать, помогать, слышать, сочувствовать, сопереживать, соболезновать… (И то, как он умеет сразу — рукопожатием, мягким, но волевым смешком в усы, шуткой, подмигиванием — обаять людей, вызвать дружеское расположение, автор этих строк испытал на себе.)

Мутис поселил семью Маркесов, прибывшую в Мехико с двадцатью долларами, сперва у себя, потом в отдельной квартире на улице Ренан, 21, в районе Ансурес, обставленной, правда, в спартанском стиле: два стула, стол, выполнявший функции обеденного и письменного, кроватка для Родриго и матрас на полу для взрослых. Но это не мешало Габриелю и Мерседес влюбляться в город ацтеков — многомиллионный мегаполис, в котором представлено всё, что только может представить себе человек, тем паче латиноамериканец, и где ранним солнечным утром снова кажется, что ты можешь всё.

Однажды ночью, глядя на тёмно-лиловое звёздное небо с серебряным аметистового отлива месяцем, как бы игриво откинувшимся со словами: «Эх, поживём!», Мерседес сказала Габриелю, что ещё до встречи с ним знала, что всё у них будет хорошо.

Альваро не терпелось показать другу Мексику. Пирамиду ацтеков, кафедральный собор, часовню Саграрио Метрополитано, замок Чапультепек, базилику Святой Девы Гваделупской — главную святыню страны, Олимпийский стадион, «холмы», на которых покупают роскошные виллы кинозвёзды… Несколько дней ушло на знакомство с брошенными городами, к которым Габо проявил особый интерес: Тула, Паленке, Теотиуакан, что в переводе означает «место, где люди становятся богами». Взобравшись по крутым ступеням на пирамиду Солнца, прикрыв ладонью глаза от солнечных лучей, наш герой долго смотрел на

процветавший ещё до ацтеков густонаселённый город с золотыми вершинами пирамид, окружённый каналами, по которым скользили пироги, и по неизвестным причинам заброшенный, умерший. Чем-то он напоминал его Аракатаку.

На верхней площадке пирамиды Альваро вспомнил о польской дворянке-иммигрантке Елене Понятовской, писательнице, которой он отдал рукопись Маркеса «Похороны Великой Мамы», а она обещала со своей рекомендацией передать её в издательство университета в Эксалапе, столице штата Веракрус на Атлантическом побережье. Габриель, стоя у жертвенного камня, не успел обрадоваться, как Альваро огорошил сообщением, что пани Понятовская благополучно рукопись потеряла. Но тут же и успокоил, напомнив о том, что у Габо есть друзья, которые в его, Альваро, скромном лице успели рукопись переснять и восстановить в первозданном виде, и завтра они вместе отправляются в то самое университетское издательство.

Утром выехали в порт Веракрус, оттуда в Эксалапу, где встретились с директором типографии, который с неожиданным почтением отнёсся к Маркесу. Похожий на профессора сеньор в очках с роговой оправой, налив текилы, сказал, что ожидал увидеть человека гораздо старше и что ему доставляет настоящее удовольствие печатать настоящую литературу, а «Похороны Великой Мамы» — настоящая.

На кораблике (Мутис решил развлечь унывающего друга и проплыть вдоль мексиканского побережья их родного Карибского моря) Маркес сетовал на удручающую нищету — хоть мусорщиком или могильщиком иди. Бывалый (и «сиделый») Альваро, усмехнувшись, сказал, что и мусорщиком, и могильщиком в Мехико не так просто устроиться — мафия, но он постарается что-нибудь «по теме» подыскать.

Кроме помощи, которую Маркес получал от Мутиса, он немного зарабатывал на радио Национального университета и в университетском журнале, куда его «сблатовал» всё тот же Мутис. Работа на радио была для нашего героя внове. Он должен был комментировать текущие события, в основном — культурной жизни столицы. Полагая, что сложного в этом ничего нет, в первый день Габриель пришёл в студию неподготовленным, лишь пробежал глазами по дороге в автобусе утреннюю газету. Но когда его усадили перед микрофоном и, проверив готовность, дали команду начинать — звукооператор в наушниках услышал лишь звуки, похожие на лягушачье кваканье, змеиное шипение и оглушительное откашливание: Маркес не смог выдавить из себя ни одного внятного слова. На этом бы и закончилась его карьера радиожурналиста, но он уговорил редактора дать ещё шанс.

Выпив воды, вспомнив о том, что сыну Родриго и Мерседес нечего есть, хоть и казённым, деревянным голосом, точно глухонемой, научившийся изъясняться, прокомментировал новости кино, литературы, университетской жизни. И с тех пор стал сотрудничать на радио. Однако так и не научился, как другие, лихо заскакивать в студию, садиться к микрофону и сколь угодно долго нести околесицу. Он заранее писал тексты и старался зачитывать их так, чтобы производить впечатление непринуждённого комментария.

Прожить на зарабатываемые гроши было трудно, хотя Мерседес экономила на всём, прежде всего на себе, умудряясь оставаться предметом восхищения для мужчин. Мутис пытался устроить Габо то в одну, то в другую редакцию, но не получалось, пока он не уговорил своего партнёра по бизнесу, мебельного фабриканта, купить пару иллюстрированных журналов и вложить деньги в их «раскрутку», а на должность редактора пригласить «наиболее подходящую кандидатуру». Габриель допытывался у Альваро, что же это за журналы, в которые сватает его друг: о коневодстве, свиноводстве, разведении кроликов, эротические? Ведя тайные сепаратные переговоры с Мерседес, Мутис долго не признавался, но всё же выяснилось, что имеются в виду журналы для женщин с названиями «Семья» и «Это интересно всем». Маркес было заартачился, напомнил о том, что всё-таки писатель, но Мерседес в свою очередь мягко напомнила, что они в долгах и не могут вечно сидеть на шее Альваро. Чертыхаясь, наш герой согласился, но всё же тихим, хрипловатым, упрямым, «дедовским» голосом выдвинул условия: его фамилии не должно значиться в списке редколлегии и ни одной заметки в этих журналах он не подпишет собственным именем.

На первую встречу с мебельным магнатом в бар Маркес пришёл за полчаса до назначенного времени, а ушёл последним — чтобы работодатель не увидел его стоптанных башмаков с расслоившимися подошвами.

Началась новая жизнь — главного редактора модных журналов. Попробовать себя в роли главного редактора Маркес мечтал со студенческих пор. Тогда в Боготе ему казалось, что он смог бы делать журнал типа североамериканского «Life» один, то есть еженедельно заполнять полсотни, а то и больше журнальных страниц текстами, притом в разных стилях, чтобы читатель был уверен, что трудится целый авторский коллектив. В журнале «Венесуэла графика» он некоторое время работал шеф-редактором, но чувствовал себя всё-таки подневольным и чудаковатому главному редактору, и владельцу всего газетно-

журнального картеля Каприлесу, вмешивавшемуся в творческий процесс со своими пожеланиями: «Побольше сисек, читатели это любят!»

На этот раз владелец, Густаво Алатристе, мебельщик, издатель, кинопродюсер, обещал свободу в выборе тем, жанров, дизайна и т. п. Впервые в жизни у нашего героя появился отдельный кабинет. С жалюзи, кондиционером, письменным столом для редактора с зелёной настольной лампой и перекидным календарём, с приставленным к нему перпендикулярно небольшим столиком для двоих посетителей и, кроме того, длинным, блестящим полировкой столом для совещаний.

Несколько дней он изучал подшивки журналов, знакомился с коллективом и как бы нащупывал для себя оптимальную манеру поведения и стиль работы. «Я никогда прежде не был руководителем, отвечал только за самого себя, и сесть в кресло главного редактора было для меня, как написать первую фразу повести, — вспоминал потом Маркес. — Пожалуй, даже труднее. Мне всё казалось, что вот-вот меня поднимут на смех. Я и сам себе со стороны казался смешным в этом кабинете».

Чтобы обновить концепцию журналов, к моменту смены владельца нещадно устаревшую, он проделал значительную работу по уточнению целевой аудитории. По сути, он на время переквалифицировался в социолога-маркетолога и уже через месяц досконально знал процентное соотношение мужчин и женщин (последних оказалось более 80 процентов), возрастной состав читателей, их социальное и материальное положение, количество детей и внуков, увлечения и предпочтения в самых разных областях…

Проявляя невиданную (а для него вполне привычную) работоспособность, он написал материал на два номера собственноручно, чтобы сотрудникам было ясно, в каком направлении теперь двинется «корабль», какие и под каким углом поднимать «паруса» и что в «трюмах». Иногда он брал с собой на встречи того или иного молодого журналиста, расстраивался, если интервью не ладилось, и откровенно радовался, когда даже самого трудного на первый взгляд собеседника, похожего на закрытую наглухо раковину, удавалось разговорить, раскрыть. Работал он и с фотокорреспондентами, не вмешиваясь в их профессиональную кухню, но вместе с ними придумывая сюжеты, как бы сочиняя фабулы, выстраивая композиции не «через видоискатель», а с литературной точки зрения. С ним спорили, отстаивая традиции, чистоту жанра, возражая против «литературщины», — но, судя по всё более многочисленным от

номера к номеру откликам читателей, а затем и росту тиражей, чаще Маркес оказывался прав. Большое внимание он уделял и работе художников, подбору картин для репродукций, дизайну вёрстки… Кое-что Маркес привнёс в мексиканские женские журналы из своей картахено-барранкильской журналистской практики. Так, например, заголовки придумывались всем миром — садились и выдавали варианты по кругу, пока не удавалось попасть в «десятку». Вместе отмечали дни рождения, праздники. Выбирали лучший материал номера, который поощрялся премией. Не стеснялись говорить друг другу в глаза «Говно ты написал, старик!» или «Старина, это гениально, нетленка!..».

У самого же Маркеса с «нетленкой» было туго: редактирование двух многостраничных, от выпуска к выпуску всё толстеющих журналов оставляло для творчества лишь несколько ночных часов, которые, впрочем, по праву принадлежали жене Мерседес.

Месяца через три журналы уже трудно было представить без Габо. Его любили, ему подражали. Работать в «Семье» и в «Это интересно всем», которые ещё недавно в журналистской тусовке считались «отстоем», становилось престижно. Сам Маркес, показав, «как надо», но считая, что журнал не должен исполняться одним автором, писал немного — передовицы, изредка эссе о городах мира, об искусстве… Но все публикуемые материалы добросовестно прочитывал и редактировал. Полгода спустя и тот и другой журнал увеличили тиражи вдвое, стоимость и объём размещаемой рекламы выросли втрое, а в рождественских номерах (где печатался главный редактор) — в семь раз!

Но Маркес делался всё более молчаливым и замкнутым. Уже носилась в воздухе их квартиры сакраментальная фраза про лёд, с которой начнётся величайшая эпопея с эпохальным романом «Сто лет одиночества». Но тогда ещё лёд оставался образом, порой лишь маняще сверкал издалека и был недвижен.

«Лёд тронулся» в конце лета 1961 года. 17 августа, получив письмо из Медельина от издателя Альберто Агирре, сообщавшего, что скоро выйдет «Полковник», и интересовавшегося, нет ли для них ещё чего-нибудь, Маркес отвечал: «Мой роман уже совсем готов, хотя окончательного названия всё ещё не имеет. Но я тебе его не отдам. И знаешь почему? Потому что я стал, чёрт возьми, честолюбивым и желаю, чтобы роман был издан сразу на нескольких языках».

Речь шла о романе, многажды менявшем название — «Недобрый час», «Скверное время», «Жуткая пора», — если переводить на русский с японского, французского, шведского,

хинди, корейского, греческого, арабского и прочих языков, на которые роман был впоследствии переведён, то вариантов названия будут десятки, так как сам испанский оригинал — «La mala hora» («Недобрый час») — и прост, и в то же время многозначен. Но к роману мы вернёмся. Здесь важно отметить то, что впервые Маркес ясно и не шутя заявил о своих амбициях: «Чтобы роман был издан сразу на нескольких языках».

Семнадцатого сентября (и тут семёрка!) в Боготе отдельной книгой, небольшой, но со вкусом оформленной, вышла повесть «Полковнику никто не пишет». Получив первые пять экземпляров по почте, Маркес листал пахнущую типографской краской книжку, задерживал взгляд на каком-нибудь описательном абзаце или диалоге с подспудным желанием «выискать блох», мазохистски обнаружить тот или иной недочёт. Но повесть теперь представлялась безупречной, как он признается потом в беседе «Запах гуайявы» с Плинио Мендосой. Хохмачи из барранкильской «Пещеры», да и все друзья-приятели публиковали восторженные рецензии и всячески рекламировали книгу в Колумбии и по всей Латинской Америке. В определённом смысле происходило коллективное если не творчество, то, по крайней мере, его продвижение — чуть ли не всем латиноамериканским миром, как в своё время продвигались, например, произведения Хемингуэя всем огромным, могущественным англоязычным миром.

«На первый взгляд повесть „Полковнику никто не пишет“ — это история о том, как сохранить чувство собственного достоинства и не поддаться унижению, — рассуждал в большой, обратившей на себя внимание читающей публики рецензии мексиканский критик Эммануэль Карбальо (приятель всё того же Мутиса). — Однако если смотреть глубже, то мы увидим, что это масштабное обобщение, ярчайшая метафора, поскольку подобное могло произойти в любом другом месте и в какую угодно эпоху: герой повести пытается обмануть время…»

Сам автор тоже неустанно повторял: «Роман „Сто лет одиночества“ был превзойдён мною самим ещё до того, как я его написал. В действительности я считаю, что лучшая моя книга — „Полковнику никто не пишет“. Скажу больше, и это не шутка: мне пришлось написать „Сто лет одиночества“ для того, чтобы люди прочли „Полковнику никто не пишет“. Этой повести просто не повезло».

Действительно не повезло: за два года из двух тысяч отпечатанных экземпляров «Полковника» было продано меньше половины, издатель Агирре сдавал нераспакованные пачки книг на вес как макулатуру.

По совету Мутиса Маркес отправил рукопись романа

«Скверное время» (тогда ещё не поставив названия) в Боготу на организованный нефтяной корпорацией «Эссо» литературный конкурс с солидным премиальным фондом. «Бесполезно! — уверял Габриель. — Там тысячи желающих, а мне капитально не везёт!»

Но материальная сторона жизни всё-таки понемногу налаживалась. Квартира была обставлена приличной и удобной новой мебелью, притом приобретённой со значительной скидкой на фабрике владельца журналов. Мерседес накупила детских вещей и игрушек, пару костюмов, множество рубашек и джинсов Габриелю, кое-какую одёжку для себя, а также настоящую французскую косметику. Они уже могли себе позволить выбраться в кино и даже в театр, поужинать в ресторане, куда-нибудь съездить, не напрягая безотказного, возившего их на машине Альваро, который вновь налаживал какой-то бизнес, но имел редкую способность не грузить своими проблемами окружающих.

Однажды, наблюдая за тем, как Габриель что-то смешивает, переливает из одной ёмкости в другую, что-то подсыпает, Альваро поинтересовался, уж не отравить ли его намерен, а коли так, то он против. Маркес объяснил, что девчонки в редакции научили делать коктейль «Дочь Мексики». Говорят, тонизирует, снимает тяжесть после обильной трапезы, нервное напряжение, придаёт мужчинам уверенность в своих силах, а всего-то: двести граммов свежего томатного сока, шепотка чёрного перца, щепотка соли, граммов десять лайма, на кончике ножа — толчёный мускатный орех, взболтать и подавать к мясу. Попробовав, Альваро счёл «Дочь» гадостью, но Маркес поспешил добавить в стакан водки, пояснив, что мебельщик за его талантливые статьи о мебели снабжает его русской водкой. Сказал, что о мебели была заказана рекламная статья, хозяин велел «сделать красиво, чтоб никто не догадался, что это реклама его шкафов и стульев». Писал, героически преодолевая тошноту, о соответствии и несоответствии характера мебели характеру её владельца… Проклинал «чёртову журналистику за эту мебель, которую взяли на фабрике за полцены», говорил, что всё опостылело, что не может больше писать про семейные кровати, чулки на резинках и воскресные обеды у мамы.

Выпили ещё водки. Альваро порылся в портфеле, извлёк пару книг, положил на стол. Уходя, порекомендовал «прочесть этого алкаша и поучиться, как надо писать», отложив на время тексты про шифоньеры.

Мутис оставил книги мексиканского писателя Хуана Рульфо «Долина в огне» и «Педро Парамо». Маркес принялся скептически

— он не был высокого мнения о мексиканской прозе (он вообще имел довольно смутное представление о прозе Латинской Америки, хорошо знал разве что Борхеса, наименее латиноамериканского из латиноамериканцев) — листать книги, больше думая о своём: что делать дальше? Но втянулся и к полуночи так увлёкся, что забыл и о туманном, как всегда, будущем, и о мебельщике. Ему нравилось, как пишет Хуан Рульфо. Он читал эти то ли сказки, то ли поэмы в прозе и наслаждался слогом, ритмом, поэтикой, образами, метафорами каждого абзаца, неправильностями, как казалось, неожиданными изломами. Читал и перечитывал. По сути, это была его первая встреча с «магическим реализмом», художественным методом, подразумевающим, что повествование ведётся с точки зрения мировосприятия самих персонажей, причём автор не даёт понять, что это мировосприятие соткано из суеверий.

«Проза Хуана Рульфо буквально заворожила меня!» — вспоминал Маркес. Он столько раз перечитывал книги Рульфо, что большие куски запоминал наизусть и декламировал всем знакомым, хотели они того или нет. Альваро сам уже был не рад, что открыл Рульфо для неистового, к тому же обладающего великолепной памятью друга. Когда они встречались, Габо ни о чём другом не мог говорить, а только о Рульфо, и цитировал страницами, держа Альваро за руку, однажды вынудив опоздать на подписание важного контракта.

Под гипнотическим воздействием книг Хуана Рульфо Маркес, прежде об этом не помышлявший (разве ещё когда в Лондоне пытался читать по-английски «Алису в стране чудес»), возомнил себя детским писателем, уверовав, что именно детская литература сделает его знаменитым. И с этой идеей не расставался два месяца, пока не написал серию рассказов для детей, как сам думал. Мерседес, прочитав их, пришла в замешательство, но мужа это не смутило. Он сочинил ещё несколько рассказов, оставшись довольным и сочтя, что переписывать их, как он многажды переписывал «Полковника», не стоит, собрал все «детские» рассказы и объединил в сборник, который озаглавил: «Море исчезающих времён». Рукопись послал Плинио, заверив, что «дело верное», — чтобы друг «как можно скорее и получше пристроил книгу».

Через две недели пришло письмо, в котором верный Плинио выражался в том смысле, что «хоть ты мне и друг, но истина дороже» — рассказы ему не понравились. Во-первых, Мендоса в принципе не очень любил фантастику, а во-вторых, издавна излюбленная Габо кафкианская манера письма не совсем, на его взгляд, подходила маленьким читателям. Маркес было вспылил,

хотел написать отповедь, но Мерседес осторожно присоединилась к мнению Плинио — и Габриель без боя, что редко с ним случалось, сдался.

Много лет спустя Варгас Льоса назовёт «Море исчезающих времён» зародышем и предвестником романа «Сто лет одиночества». Так или иначе, но если и можно назвать «Море исчезающих времён» (парафраз названия романов Марселя Пруста «В поисках утраченного времени») детским произведением, то специфическим.

«— А ты, — крикнул ей сеньор Эрберт, — у тебя что за проблема?

Женщина перестала обмахиваться.

— Я не участвую в этом празднике, мистер, — крикнула она через всю комнату. — У меня нет никаких проблем, я проститутка и получаю своё от всяких калек…

У неё была проблема в пятьсот песо.

— А ты за сколько идёшь? — спросил её сеньор Эрберт.

— За пять.

— Скажи пожалуйста, — сказал сеньор Эрберт. — Сто мужчин.

— Это ничего, — сказала она. — Если я достану эти деньги, это будут последние сто мужчин в моей жизни».

Кроме того, в «Море» Маркес впервые безусловно и однозначно определяет главного виновника бед Латинской Америки — американский империализм. «„Море исчезающих времён“ Маркес писал с антиимпериалистических позиций, которые он занял под влиянием событий на Кубе, — считает профессор Мартин. — Но теперь он утратил связи с Кубой, ибо Куба, судя по всему, отвергла его. Посему в Мексике, потерянный и слепой — без политической души, как сказал бы Мао Цзэдун, — теперь, утратив Кубу, он начал задумываться, уже не впервые, о том, чтобы навсегда отказаться от литературного творчества и заняться написанием киносценариев».

Во всяком случае, детских книг, вняв просьбам Плинио, Альваро и Мерседес, Маркес больше не писал. И с должности главного редактора женских журналов всё-таки не ушёл. Не рискнул вновь, уже не молодым, не начинающим, не холостым, не бездетным, остаться не у дел. Он жаловался, как вспоминал Мутис, что не хватает духу и силы воли, что он уж точно не Хемингуэй, имевший мужество бросить журналистику, не имея ни гроша за душой и уже имея жену и сына. Что ему скоро тридцать пять, Байрон в его возрасте главное написал, и Шелли, и Артюр Рембо, тот же Хемингуэй уже четыре года как создал «Прощай, оружие!», Фолкнер — «Шум и ярость», «Сарториса»!

Микеланджело изваял «Оплакивание Христа», «Давида», расписывал Сикстинскую капеллу, Рафаэль создал в этом возрасте «Сикстинскую мадонну»! И кинорежиссёры — Феллини, Висконти, Антониони, Де Сика, Росселлини уже сняли достаточно, чтобы остаться в истории!

Новый, 1962 год встретили тихо, по-домашнему. Всю первую половину января дул ветер, было холодно и промозгло. Маркес редакторствовал, выкраивая время на эксперименты в сценарном деле: брал всё из того же своего нескончаемого «Дома» наиболее кинематографичные сюжеты и пытался переделать их в сценарии короткометражек. И на этом пути начал сталкиваться с довольно жёсткими киношными ограничениями. Проанализировав написанное, начиная с ранних рассказов и до последнего романа без названия, безнадёжно отосланного на конкурс «Эссо» и не вызвавшего там, казалось, ни у кого интереса, Маркес понял, что при переложении на язык кино от его опусов мало бы что осталось. Вот ходит, например, старый немощный полковник, носит петуха, препирается с больной женой — ну и на что там смотреть? Разве можно из этого сделать фильм? Из «Листвы», может быть, что-нибудь и вышло бы, но для этого понадобилось бы перекроить всё заново. Нет, с сюжетом, с действием у него обстоят дела явно не ахти. Это принципиально разные вещи — проза и кинодраматургия. Ведь Пазолини не снимает фильмы по своим стихам. Ничего из написанного прежде им, Маркесом, для кино не годилось, это точно. Надо было брать что-то другое. Но что?

Он также понимал — ещё с тех пор, когда в Венеции и Риме впервые приблизился к загадочному и блистательному миру кино, что успех обеспечивает не только владение киноязыком, но и связи, *connections,* как говорят в Голливуде. Маркес много сил и времени отдавал налаживанию связей: через Мутиса, других друзей и приятелей заводил знакомства на киностудиях, старался подружиться с продюсерами, сценаристами, режиссёрами, кинозвёздами… Но, несмотря на старания, природную контактность, обаяние, в замкнутый круг киноэлиты, которая определяла всё, просочиться не удавалось.

Семнадцатого (опять семёрка!) января позвонили хохмачи из Барранкильи, трубку взял Херман, поинтересовался здоровьем, семьёй и между прочим сообщил, что Академия языкознания Колумбии, уполномоченная корпорацией «Эссо» подвести итоги литературного конкурса, первую премию присудила роману без названия «некоего Гарсиа Маркеса». Маркес попросил не пороть ерунды. Херман спросил, как всё-таки будет называться роман, если не «Четырнадцать дней недели». Всё ещё не веря, Маркес

сообщил, что ему звонили из этой Академии, и он сказал, что роман называется «Este pueblo de mierda» («Это говёное село»). Расхохотавшись, Херман обратил внимание Габо на то, что «пуэбло» — это и село, и народ и что в Академии шокированы таким названием.

«— Пусть будет „Недобрый час“, — отозвался Маркес. — Кому на хер какая разница?

— Твой „Недобрый час“ победил, карахо! Первая премия — три тыщи баксов!»

Грамоту «Эссо» и Академии языкознания Колумбии друзья, по распоряжению Маркеса, обрамили и повесили на видном месте в «Пещере» в Барранкилье, а деньги Херман переслал ему в Мехико.

На семейном совете обсуждали вопрос, что делать с этакой уймой денег. Вложить в акции? Накупить бриллиантов на чёрный день? Мерседес предложила хоть частично отдать долг Альваро. Маркес сказал, что деньги друг не возьмёт, лучше купить ему модных рубашек. Он предлагал совершить кругосветное путешествие, о котором мечтал ещё дед-полковник: Азорские острова, Марокко, мыс Доброй Надежды, Кения, Индия, Гонконг, Япония, Новая Зеландия… И тут Мерседес призналась, что беременна, и не хотела бы рожать посреди океана. Муж возликовал, пообещал, что рожать она будет в лучшей клинике и они снимут виллу. Мерседес напомнила о его давней мечте — машине, Габриель сказал, что «в честь родного священного крокодильчика» купит «мерседес».

Но ни на виллу, ни на «мерседес» трёх тысяч долларов, увы, не хватило.

Двадцатого марта 1962 года Маркес пишет издателю Агирре в Медельин: «Здесь, в Мексике, разумеется, большой продажи не будет, зато критика будет сногсшибательной. Мои друзья, которым всё время нужны свежие темы для газет и журналов, с нетерпением ожидают экземпляры „Полковника“, чтобы начать строчить. Я пока их сдерживаю, чтобы скоординировать критику и продажу книги, а это можно сделать только при наличии здесь необходимого количества экземпляров. Так что срочно высылай!»

Необходимое количество экземпляров было прислано, и критика действительно была организована Маркесом сногсшибательная — но книги не покупали. Мерседес, грустно улыбаясь, предложила самой встать на площади и разложить перед собой книжки — может, у беременной купят?..

В ночь с 16 на 17 (опять семёрка!) апреля 1962 года Мерседес родила второго сына, которого назвали Гонсало. (4 декабря 1961 года Маркес писал своему другу-хохмачу Альваро Сепеде в

Барранкилью: «В мае ты должен приехать и крестить Алехандру, мы ждём её появления в конце апреля. Смотри не упусти свой шанс, потому что это наш последний ребёнок, которому ты можешь стать крёстным. Потом мы закрываем лавочку». Прагматик! Не в деда и отца, у которых вообще «лавочка не закрывалась».) Из денег, полученных от «Эссо», отдали долги, купили Мутису, который брать деньги отказался, полдюжины рубашек и почти такую же, как Маркес видел в СССР, пижаму. Сняли трёхкомнатную квартиру в зелёном районе Флорида, на улице Истаксиуатель, дом 88.

Двадцать седьмого апреля (семёрка!) произошло сразу два знаковых события: Маркес купил первый в жизни автомобиль — трёхлетний «Опель» и в университетском издательстве Веракруса тиражом две тысячи экземпляров вышел сборник рассказов «Похороны Великой Мамы».

Месяц Маркес пребывал в эйфории по поводу рождения второго сына, выхода книг, обладания машиной, которую с удовольствием осваивал, хотя движения на центральных площадях и улицах Мехико побаивался. Но летом стало ясно, что, несмотря на старания друзей — а положительные, хвалебные и восторженные статьи, рецензии, отзывы публиковались в Мексике, Колумбии, Перу, Венесуэле, Аргентине, — книги не покупали.

Мутис познакомил Маркеса с бизнесменом, продюсером Луисом Висенса, колумбийцем, живущим в Мексике и обладающим реальным весом в мире кино: Висенса владел агентством по найму актёров, учредил и издавал журнал «Новое кино», сам снимал фильмы и даже получал престижные премии. Всё лето Габриель приходил, как на работу, в офис Луиса Висенса, который пытался ему помочь, — что-нибудь из написанного земляком-колумбийцем пристроить в кино. Луис говорил, что считает Маркеса настоящим писателем, но «пруд пруди своих сценаристов и режиссёров, тысячи мечтают покорить мексиканский кинематографический олимп». Но у него, Висенса, есть друг, Карлос Фуэнтес, потомственный дипломат, много лет проживший в Европе, в других странах и вообще космополит, автор романа «Край безоблачной ясности», сейчас пишет фантастическую повесть «Аура» и большой роман. И уже имеет опыт и имя в кино. С ним в дуэте Габо, возможно, будет легче пробиться. Дал адрес.

Маркес написал Фуэнтесу, они заочно, по переписке, почувствовали взаимную симпатию. Позже, когда Фуэнтес приехал в Мехико, стали встречаться, обсуждать, что бы такое всё-таки (всё-таки — потому что начинался средний возраст,

обоим было за тридцать, но ещё далеко до сорока) создать, чтобы покорить, а лучше перевернуть мир.

Благодаря Карлосу Фуэнтесу Маркес проник в дипломатическую тусовку, которая перемешивалась с заветной кинематографической: вокруг становилось всё больше богатых влиятельных мужчин и супермодных красивых женщин, не только мексиканок, но со всей Латинской Америки. Почти каждый вечер удавалось завязывать полезные знакомства. Надо отдать должное Мерседес, не устраивавшей сцен ревности, даже если Габриель возвращался под утро, и ни о чём не спрашивавшей.

На одной из *party* Фуэнтес познакомил Маркеса с Кармен Балсельс, темпераментной каталонкой, живущей «в самолёте между Старым и Новым Светом» и вызвавшейся быть литературным агентом в Испании и далее везде.

— У каждого уважающего себя писателя должен быть литературный агент! — наступательно уверяла Кармен, танцуя с Габриелем твист и перекрикивая магнитофон.

Семнадцатого декабря 1962 года (будто высшие силы ставили на семёрку, чтобы взять куш) во многом благодаря пробивной силе Кармен в мадридском издательстве «Тальерес де Графика Луис Перес» вышло первое издание романа «Недобрый час», удостоенного премии корпорацией «Эссо». Когда Маркес по почте получил пару экземпляров книги, то возникло желание поступить с этой Кармен так же, как Хосе, герой новеллы Проспера Мериме — со своей беспутной Кармен. Было ощущение, что рукопись подверглась пыткам в застенках диктатора Франко.

— Они отрезали моему «Недоброму часу» не только крайнюю плоть, но и яйца, Альваро! — негодовал Маркес. — Что они натворили! — Он стал наугад открывать оригинал рукописи и читать, сверяя с вышедшей книгой. — Карамба, с первой страницы режут, изуверы! Вот, пожалуйста: «Познав однажды прелести любви, судья Аркадио с тех пор стал налево и направо похваляться своей способностью заниматься любовью три раза за ночь…» Вырезали! И это выкинули, смотри: «Сладким мечтательным голосом рассказывал он о беззаботном прошлом, о бесконечных воскресеньях на берегу моря и ненасытных мулатках, занимающихся любовью стоя прямо у двери гостиной…» А вот: «…в начале века к услугам клиентов на стене в столовой висела коллекция масок и гость в случае необходимости надевал одну из них, выходил во двор и прямо там, у всех на виду, справлял малую нужду». — Альваро смеялся, наслаждаясь прозой и артистичным чтением друга, но Маркесу было не до смеха: — «Женщина распустила узел пышных волос, тряхнула несколько раз головой и, как из пушки, полетела вниз по

лестнице, отчаянно выкрикивая: „Суки, суки!“ Алькальд перегнулся через перила и заорал во всю мощь своих лёгких: „Отъе…сь вы от меня со своими анонимками!“». И это выкинули — будто в Испании вообще их не используют: «Матео Асис поднял с полу презерватив и трусы и направился в ванную; презерватив он выбросил в унитаз…»

— Цензура у Франко в Испании, что ж ты хотел, — успокаивал друга Мутис. — Но хорошо, что хоть напечатали.

— Чего хорошего?! А эту важнейшую сцену вообще выкинули: «Куда он может пойти? — сказала жена. — К этим вонючим блядям… Выблядок! — неожиданно заорал он. — Хоть под землёй, хоть в утробе своей бляди-матери прячься, всё равно, до живого или мёртвого, мы до тебя доберёмся! У правительства длинные руки…»

В апреле 1966-го роман «Недобрый час» выйдет в мексиканском издательстве «Эра». В предисловии Маркес объяснится с читателями: «Когда в 1962 году „Недобрый час“ был опубликован впервые, издатели позволили себе выкинуть целые куски, „причесать“, как они выразились, стиль „во имя сохранения чистоты великого испанского языка“. Но на этот раз книга печатается именно такой, какой была написана, со всеми идиомами, вульгаризмами, „эсхатологическими сентенциями“ — такова воля автора. И таким образом, вы держите в руках первое издание романа „Недобрый час“».

Напишет он это через три с лишним года. А тогда, в январе 1963-го, Маркес опубликовал в колумбийской газете «Эль Эспектадор» письмо испанскому издательству с протестом и запретом продавать его книги. Их, впрочем, никто и не покупал.

Сидя в густом влажном паре турецкой бани, Густаво Алатристе, владелец многоотраслевой корпорации, продюсер нашумевших фильмов великого Луиса Бунюэля (главные роли в которых сыграла жена Алатристе, первая красавица мексиканского кино Сильвия Пиналь), говорил, что главное — попасть в своё время и выверить целевую аудиторию, а Габриель не понимает потребительской психологии, это не рассказики пописывать. Впрочем, у него, Маркеса, не отнять креативности, способности из говна сделать конфетку. Но Габриель твердил, что хотел бы получить свои деньги…

В последнее время выручали деньги, которые Маркес зарабатывал в рекламном агентстве «Вальтер Томпсон», с хозяином которого свёл всё тот же Мутис. Некоторое время удавалось совмещать редакторство в журналах и сочинение, в основном ночами, «всяческой рекламной галиматьи», как сам он

выражался. Потом он понял, что сил и времени ни на литературу, которую продолжал считать для себя главным делом, ни на кино не остаётся, и подал заявление об уходе с должности главного редактора журналов «Семья» и «Это интересно всем».

— Помнишь комедию «Сирано де Бержерак» Ростана? — говорил Маркес по телефону другу Мутису.

— Хочешь сказать, что мебельщик тебе напоминает богатого красавца Кристиана де Невиллета, не умеющего связать двух слов, а ты себя чувствуешь Сирано, объясняющимся Роксане в любви?

— Во-первых, он уже три месяца ничего не платит. А во-вторых, не хочу я больше работать ни на кого. Да, Альваро, я говорил и повторяю: я честолюбив, тщеславен, амбициозен. Чем больше я об этом думаю, тем яснее понимаю, что не только в актёрском, но и в писательском деле скромность — весьма сомнительная добродетель. Надо вобрать в себя всё честолюбие мира и поспорить с великими! Сразиться с ними — и все силы отдать для того, чтобы хотя бы не позорно проиграть! Раз пять уже ты меня отговаривал, Альваро, но теперь всё, не могу больше! Твой друг-мебельщик действительно уже перевоплотился в главного редактора, всюду так и представляется, намекает, что очерки в своих газетах публикует в основном свои, хоть и без подписи из скромности. А я — в полное дерьмо. Так что, Альваро, я решил. Буду продолжать подвизаться в рекламном агентстве, даже в двух, куда ты меня устроил, — в «Вальтер Томпсон» и в «Причард энд Вуд», они больше на рекламно-издательской деятельности специализируются, — пусть и небольшие деньги, но на работу ходить не надо. Рекламщики утверждают, у меня подсознательное, звериное чутьё — при незнании психологии потребителя — на позиционирование товара, что я способен оживить любой брандмауэр, картуш, не говоря уж о билбордах! Короче, буду писать промо-слоганы, всяческий бред, которым завешаны Нью-Йорк и Мехико, могу и в стихах, тем более что Мерседес иногда выдаёт такое, например, «Клинекс — основа жизни!», что мало не покажется. Но буду и продолжать долбить стену мексиканской кинокрепости!

— А ты в курсе, что «Причард энд Вуд» — часть глобального гиганта «Маккэнн Эриксон»? — осведомился искушённый Альваро. — Ведущий мировой рекламный холдинг. Так что трудитесь вы с женой на знаменосца американского монополистического капитализма!

— А что делать, если жрать нечего?..

Тиражи журналов под редакторством Маркеса росли, увеличивался доход от публикуемой рекламы, а зарплату магнат

Алатристе не платил, на телефонные звонки не отвечал. Маркес принялся его разыскивать и через несколько дней с помощью Карлоса Фуэнтеса поймал на приёме в одном из посольств, откуда по предложению Алатристе отправились в «шикарную баню, где отдыхают политики, бизнесмены, кинопродюсеры и где якобы проводятся кинопробы приезжающих из провинции девочек, мечтающих стать звёздами». Предложил пригласить блондиночку и мулаточку, целочек, ещё не прошедших «кинопробы». Но Маркес, взяв ковш с кипятком, сказал, что честно пашет на Алатристе, и если он, негодяй, тотчас с ним не расплатится… Продюсер-мебельщик-издатель шмыгнул за дверь — и вернулся с подписанным банковским чеком.

Ночью, нетрезвым возвращаясь домой на машине, предвкушая завтрашний шопинг с Мерседес и мальчишками, а потом семейный ужин в ресторане в центре Мехико, Маркес извлёк из кармана чек, развернул. И с ужасом увидел, что чернила от влажного пара расплылись, нельзя разобрать ни подписи Алатристе, ни суммы прописью, ни даже цифр. Ни один банк мира не принял бы к оплате такой чек. Узрев впереди рекламный щит, вдруг раздвоившийся, со своим слоганом, Маркес решил проехать между и разбил машину.

Но тут, наконец, как показалось Маркесу, в стене кинокрепости была пробита небольшая брешь, забрезжил едва угадывающийся свет (софита).

В сентябре 1963 года Мутис и Маркес совместными усилиями убедили их друга, продюсера и режиссёра Альберто Исаака сделать фильм по рассказу «У нас в городе воров нет». Сценарий для короткометражного экспериментального (тогда эта категория давала в Мексике дополнительные возможности) фильма написал сам Маркес совместно с друзьями Гарсиа Рьерой и Исааком. Сочиняли музыку, прямо на записи импровизируя, осуществляли художественное оформление, снимали с двух камер и снимались в качестве актёров тоже все друзья. Состав был знаменательный, сплошь звёзды, сияющие, мерцающие и которым ещё уготовано было вспыхнуть. В ролях: Луис Бунюэль, уже классик, Луис Висенс, человек-оркестр в кино, Хуан Рульфо, изумительный прозаик и поэт, Хосе Луис Куэвас, впоследствии знаменитый художник, Карлос Монсиваес, впоследствии популярнейший писатель, автор бестселлеров, сам Гарсиа Маркес в роли билетёра кинотеатра, Артуро Рипштейн, впоследствии самый известный кинорежиссёр Мексики, Элеонора Каррингтон, впоследствии самая «дорогая» художница… «Неплохо, — сказал пожилой Бунюэль, сыгравший роль священника. — По крайней мере,

ребята, с вами было нескучно». Картина «У нас в городе воров нет» имела успех, на Первом фестивале экспериментальных фильмов получила две премии: «За лучшую адаптацию» (надо понимать, за наиболее дерзкий эксперимент) и «За лучшую работу кинооператора».

В сентябре же, 7-го (опять семёрка — и как не поверить в мистику?), один из самых преуспевающих продюсеров, основатель нового кино Мексики, «не зависящего от правительства и Голливуда», Мануэль Барбачано Понсе с подачи Альваро Мутиса предложил Маркесу контракт на написание сценария по новелле Рульфо «Золотой петух». Маркес опасался, что произойдёт нечто подобное тому, что случилось с рекламным агентством «Вальтер Томпсон», но Альваро заверил, что Барбачано Понсе человек конкретный и честный: пятнадцать месяцев, которые Альваро Мутис просидел в тюрьме, Барбачано Понсе начислял ему зарплату и даже индексировал с учётом инфляции.

Барбачано, прочитав сотни сценариев и не сумев найти достойного, решил обратиться к прозе Хуана Рульфо, но был уверен, что в Мексике и во всей Латинской Америке не найдётся сценариста, который бы любил и понимал Рульфо так же, как он сам. Но Мутис напомнил ему замечательную журнальную статью о «Золотом петухе» некоего Гарсиа Маркеса и убедил в том, что тот и со сценарием справится.

Над своим первым сценарием для полнометражной картины Маркес, забросив остальные дела, работал, то удаляясь от первоисточника, то приближаясь настолько, что работу его можно было назвать и переписыванием Хуана Рульфо, три месяца. А потом ещё три недели не решался показать знаменитому, «на равных» работавшему с самим Бунюэлем продюсеру. Но Барбачано сценарий неожиданно понравился. Диалоги, правда, показались «излишне колумбийскими».

Вечером за ужином Мерседес спрашивала мужа, что значит «излишне колумбийские». Маркес признался, что сам не понимает, возможно, слишком цветистые или с пиратски-бандитским акцентом. Мерседес, читавшая сценарий, заметила, что не обнаружила почти ни одной неприличной сцены или ругательства, как обычно у него, и на ста страницах только раз пять или шесть покраснела. И вообще не понимает, почему все с придыханием говорят, что Барбачано работает с Бунюэлем, чем так прославился этот Бунюэль?

К этому времени Бунюэль был знаменитостью. Выходец из богатой семьи землевладельцев, он учился в Мадридском университете, подружился с Гарсиа Лоркой, Сальвадором Дали,

основал один из первых в Европе киноклубов, переехал в Париж, где трое суток с Дали они обменивались своими сновидениями и фантазиями и в 1929 году написали сценарий, по которому на деньги, вырученные от проданной Дали картины, сняли «Андалузского пса». Но Мерседес этот культовый сюрреалистический фильм вряд ли бы понравился: серия бессвязных необъясняемых образов, шокирующие сцены, когда, например, муравьи пожирают человеческую руку, что показано крупным планом, или когда молодой женщине медленно, методично вырезают глаз бритвой… В 1930 году Бунюэль снял сюрреалистичный шедевр «Золотой век» — и эти свирепые нападки на Церковь, на истеблишмент, привычную мораль стали его главной миссией. От режима Франко он уехал в США, долго ничего не снимал. А в Мексике вернулся к кино и снял «Забытые». В газетах, правда, писали, что этот фильм о молодёжной преступности слишком жесток: насилуют, жгут, режут… Его «Сусану», «Женщину без любви» обвиняли в порнографии.

На написание диалогов в сценарии Маркеса продюсер Барбачано заключил контракт с Фуэнтесом, вернувшимся в Мексику из дипломатических разъездов. Эти в будущем известнейшие писатели Латинской Америки на коктейле на вилле Фуэнтеса в престижном районе Сан-Анхеле-Инн на Серрада де Галеано констатировали перед «всем Мехико», что «по-настоящему, по-мужски» подружились. (Заметим, что на престижных виллах с бассейнами разных городов мира Маркес, рвавшийся к славе, умел по-настоящему, по-мужски подружиться.)

Карлос Фуэнтес, потомственный дипломат, изысканные манеры впитавший с молоком матери, получивший блестящее образование, свободно говоривший на английском и французском, стал «править» сценарий Маркеса как «талантливо, но неровно, местами неуклюже, порой с откровенными ляпами написанный текст».

— Слушай, соавтор, — модулируя густым баритоном, задевал он мрачневшего Маркеса, — мне говорили, что ты весёлый, забавный малый…

— Я и есть забавный, — угрюмо отвечал тот.

— Ты почему такой неадекватный, старик? То великого корчишь, прямо не подступишься, то унылый, будто только тем и занимаешься, что хоронишь близких? Странно как-то одеваешься — то вычурно, кричаще, то как провинциальный учитель ботаники. То робеешь и заикаешься, а то вдруг хамишь. Неужели так уж наглухо засел в тебе провинциальный комплекс? Даже хуже — комплекс неудачника! Горе неудачникам! Знаешь, когда в

комнату входит неудачник со своим неудачливым лицом и неудачливой осанкой, в своём неудачливом костюме с потёртыми локтями и обтрёпанными обшлагами, — всем остальным тут же хочется выйти. Ни черта не получится, если с такой физиономией будешь ходить! Скоро и приглашать-то тебя перестанут — у всех своих проблем хватает. Казалось бы, главный редактор журналов, муж замечательной жены, отец двоих великолепных пареньков… Ты вроде и ростом ниже становишься, общаясь с некоторыми моими гостями, даже заискиваешь перед ними… По большому счёту дипломат, даже посол — это чиновник, от которого ничего не зависит, просто говорящая кукла. А ты писатель, карахо! Я слышал, у тебя в Испании вышла книжка?

— Да, у друзей моего друга Альваро, в издательстве «Эра». «Полковнику никто не пишет».

— Подарил бы соавтору.

— А мы ещё соавторы? — неуверенно уточнял Габриель.

Вскоре в культурном обозрении ведущего еженедельника «Сьемпре» появилась рецензия Фуэнтеса на книгу. Такая, что Маркесу неловко было её читать, всё казалось, что автор измывается, ёрничает и вот-вот его коварный замысел обнаружится. Фуэнтес сравнивал «Полковника» с классическими образцами прозы XIX и XX веков, обращал внимание на скульптурно вылепленные характеры, на мощную энергетику авторского стиля, на лапидарную точность, выверенный, прямо-таки музыкальный ритм повествования, из которого, как из песни, не выкинешь ни слова.

Они продолжали работать совместно, чаще встречаясь в доме Фуэнтеса, где бар с подсветкой возле бассейна был наполнен винами и крепкими напитками со всего мира и где в свободное от съёмок время обнажённой принимала солнечные ванны его красавица-супруга, кинозвезда Рита Маседо, присутствие которой не могло не вдохновлять. Снимать картину продюсер Барбачано пригласил маститого режиссёра Рикардо Гавальдона. Сценаристы присутствовали на съёмках, высказывали соображения, пытались спорить, режиссёр жаловался продюсеру, тот своих ретивых сценаристов осаживал… «Гавальдон был коммерческим режиссёром старой школы, — вспоминал позже Маркес. — С великим множеством штампов, дурных привычек и лишённым какого бы то ни было воображения. Прервав вдруг съёмки, он устроил нам с Карлосом невыносимую жизнь, заставляя ходить по кругу и с упорством Пенелопы переделывать сценарий семь, а то и восемь раз в неделю. Он сам не знал, чего хотел. И в один прекрасный день мы с Карлосом заявили Барбачано Понсе, что более не желаем работать с Гавальдоном, что мы оставляем ему

сценарий, пусть делает с ним, что хочет…»

Премьера фильма «Золотой петух» состоялась в декабре 1964 года. Фильм провалился.

Маркес с Фуэнтесом в то время уже работали над сценарием подругой повести Рульфо — «Педро Парамо». Поначалу продюсер заключил контракт только с Фуэнтесом. Но сценарий не удовлетворил заказчика, и наученный предыдущим горьким опытом Барбачано стал привлекать в качестве «подкрепления» других сценаристов, в частности — Хоми Гарсиа Аскота и Альваро Мутиса, который вновь порекомендовал Маркеса.

Здесь напрашивается небольшая справка, кто же всё-таки такой Альваро Мутис, волшебник, «добрый гений», всю жизнь выручающий, поддерживающий нашего героя.

Сын дипломата, он родился в 1923 году в Боготе, рос в Бельгии (кстати, многие писатели Латинской Америки, например Кортасар, родились в дипломатических семьях, росли именно в Бельгии, посреди Европы). После смерти отца в 1932 году Альваро с матерью вернулись в Колумбию, где он получил хорошее образование. Занимался бизнесом, журналистикой, начал публиковать стихи (которые и свели их, напомним, с Маркесом). В 1956 году переехал в Мехико, попал в тюрьму, где просидел полтора года. Активно работал в кино и добился успехов. Автор известных стихотворений и поэм, вошедших в хрестоматии, а также эссе и романов, лауреат престижнейших премий, как национальных, так и международных, в том числе французской премии Медичи за лучший зарубежный роман (1989), Литературной премии принца Астурийского (1997), премии королевы Софии по иберoамериканской поэзии (1997), премии «Мигель де Сервантес» (2001), Нейштадтской литературной премии (2002), которой, кстати, тридцатью годами раньше удостаивался и наш герой. То есть Альваро Мутиса нельзя назвать «прилипалой», кои всегда сопутствуют большим художникам. Альваро — в истинном понимании друг и соратник.

Но вернёмся в середину 1960-х. Продюсер Барбачано стал привлекать и других сценаристов, а потом и вовсе каких-то журналистов, пиарщиков, даже имиджмейкеров… Когда писаный-переписаный сценарий лёг на стол Маркеса, то кроме имени заглавного героя — Педро Парамо — он не узнал ничего. Поэтическая проза Хуана Рульфо местами превратилась в какую-то претенциозную, глупую политическую публицистику, местами — в мелодраматическое нытьё с набором пошлых штампов, не годившихся и для третьесортного телесериала, а то и с примесью какой-то зловещей порнографии.

За три недели Маркес с Фуэнтесом заново переписали

сценарий, вернув сюжет на уровень Рульфо, с большим трудом убедили Барбачано принять его (тот упирался, доказывая, что мексиканская публика, которая смотрит фильмы, не читает книг, а та, которая читает, не смотрит фильмов).

— Чёрт с вами, делайте что хотите! — в конце концов сдался продюсер. — Я смирился уже с тем, что с вами окончательно разорюсь.

И пригласил снимать фильм дорогого испанского режиссёра Карлоса Вела. Но и «Педро Парамо», несмотря на мощную рекламу, с треском провалился в прокате.

Летом 1964 года Маркесу с помощью Альваро Мутиса удалось удачно продать права на экранизацию повести «Полковнику никто не пишет». К съёмкам так и не приступили — в Мексике не нашлось достаточно «кассового» актёра на роль полковника, а голливудские звёзды запрашивали на порядок больше всего бюджета картины.

Писал в ту пору Маркес и свой, оригинальный сценарий под названием «Ковбой». Идея родилась неожиданно. Возвращаясь домой с вечеринки, Маркес увидел, как привратник, бывший когда-то профессиональным киллером, на счету которого не одно убийство, сидит и вяжет себе свитер. Писал этот сценарий Маркес с удовольствием, на удивление легко, воодушевлённый надеждой. И сперва надежда оправдывалась: кинокомпания «Аламеда Фильме» сразу купила сценарий и, после того как Фуэнтес переписал диалоги, пригласила для съёмок очень молодого, ничего ещё толком не снявшего, но уже модного кинорежиссёра Артуро Рипштейна, отец которого был владельцем кинокомпании.

Ради коммерческого успеха отец принудил сына, тянувшегося к экспериментаторам в кино, снимать вестерн в голливудском стиле. Прочитав режиссёрский сценарий, Маркес впал в депрессию — от его работы почти ничего не осталось. Стал спорить, но бесполезно… Да и в кинокомпании, где Маркес год проработал на зарплате с именитым сценаристом Луисом Алькорисом, ничего путного не вышло, хотя написал не менее трёх законченных киносценариев для полнометражных картин. Он говорил, что чувствует себя выжатым лимоном, что разочаровался в кино и только напрасно убил столько времени.

Карлос Фуэнтес, также утомлённый кинематографом, но оставаясь дипломатом, был не столь категоричен. Считал, что кино даёт деньги, на которые, между прочим, Маркес смог себе позволить снять дом не где-нибудь, а в Сан-Анхеле-Инне, по соседству с Фуэнтесом (по совету супруги Карлоса, Риты, убедившей Габо в том, что для карьеры важен и район, в котором живёшь). Ещё кино даёт возможность путешествовать, а ничего не

может быть прекрасней. Но главное — даёт возможность писать романы. На что Маркес возражал, что не может так, частично, по совместительству, да и вообще уже ни в чём не уверен…

«Работа для кино требует великой покорности, — много лет спустя говорил Маркес, отвечая на вопрос журналистов о том, в какой мере работа в кино повлияла на его писательскую судьбу. — И в принципе отличается от литературной работы. В то время как новеллист, сидящий перед пишущей машинкой, свободен и независим, сценарист есть лишь деталь сложнейшей системы зубчатых колёс и в своей работе он почти всегда движим чуждыми ему интересами».

Уругвайский журналист, критик Эмир Родригес Монегаль, побывавший у Маркеса в его «большом светлом комфортабельном доме на улице Лома в элитном районе Мехико», констатировал: «Гарсиа Маркеса я нашёл совершенно опустошённым, изнурённым, он вроде бы что-то делает, но живёт в самом страшном для творческого человека аду, имя которому — бесплодие».

В начале лета 1965 года у Маркеса гостил известный чилийский литератор, драматург, живший в США, Луис Харсс, и засвидетельствовал, что колумбийский писатель, переживая глубокую депрессию, связанную с сомнениями и неуверенностью в себе, «почти не прикасался к перу и в наиболее чёрные часы чувствовал себя как писатель полностью опустошённым, исчерпанным и конченным».

Он жаловался на судьбу другу Мутису. Он писал депрессивные письма родителям, Плинио Мендосе, хохмачам в Барранкилью, даже хозяйке борделя в «Небоскрёбе»… Много пил. И беспрерывно заводил недавно написанную Карлосом Пуэбло невесёлую, с трагическим подтекстом, будто заранее прощальную, песню «Hasta Siempre, Comandante!» («Навек, команданте!»), посвящённую Эрнесто Че Геваре (оказавшуюся, как выяснится, пророческой; ей более полувека, по крайней мере, суждено будет неизменно занимать первые места в мировых рейтингах наряду с «Love me tender…» Элвиса Пресли и «Yesterday» Пола Маккартни).

Поздним вечером, вернувшись с женой из дома Карлоса Фуэнтеса и Риты Маседо, где по воскресеньям в английских традициях устраивался *open five o'clock* и на пятичасовой чай собирался мексиканский бомонд, Маркес говорил, что если бы не Мерседес, не дети, то всё бы бросил, что ему очень худо, что смертельно надоело, что растрачивает себя на полнейшую ерунду… Но жена перебивала, что случалось исключительно редко, — латиноамериканская жена, притом с египетскими

корнями, — уверяла, что гордится им, что только что у бассейна ей высказывали всяческие комплименты в его адрес, расхваливали «Полковника», «Великую Маму», ей было приятно слышать. И, помолчав, с какой-то нездешней, не латиноамериканской, но действительно с древнеегипетской торжественностью и величавостью в тоне, напомнила о его обещании к сорока годам создать великое произведение и прославиться.

«Возьми себя в руки, — говорила Мерседес. — Мы ни в чём практически не нуждаемся. Ты пишешь сценарии, выходят фильмы, ты получаешь престижные награды, нас принимают в светском обществе. Но можно отказаться от всего этого, — ещё помолчав, сказала Мерседес. — Если это мешает тебе выполнить обещание, данное мне тогда, в день нашего венчания. Слышишь меня? Ты мужчина. Ты воин».

В июле 1965 года съёмки вестерна «Время умирать» («Ковбой») по сценарию Маркеса и Фуэнтеса были в разгаре. Маркес, недовольный режиссёрским сценарием и уже отснятым материалом, всё же часто приезжал на съёмки, ругая себя и обманывая в том смысле, что в любую минуту может понадобиться как сценарист для переделки, усиления той или иной сцены, диалога, поворота сюжета. Но «новая волна кинематографа» в лице молодого, изначально знающего себе цену режиссёра нужды в участии сценариста не испытывала.

— Это вы написали сценарий? — спросил писателя критик Луис Харсс, глядя на то, что происходит на съёмочной площадке. — Вы пошутили?

— Конечно, шутка, — мрачно отвечал Маркес. — Так что, собственно, вас интересует?

— Всё. В том числе теперь и ваши отношения с кинематографом.

— Отношения у меня самые нежные, можно сказать, любовные. Как видите, он меня имеет в извращённой форме…

Почти через сорок лет, в 75-летний юбилей Гарсиа Маркеса, в 2002 году мне довелось побывать на предпремьерном показе картины Рипштейна «Порочный девственник», а также посмотреть «Полковнику никто не пишет», снятую по повести Маркеса тремя годами раньше тем же Рипштейном.

Артуро Рипштейн, сын киномагната, дружившего и с власть предержащими, и с великими художниками, Бунюэлем например (сошлись на почве обшей странной страсти пострелять из револьвера в замкнутом пространстве, что, кстати, стоило Бунюэлю слуха), входил в круг продвинутой «золотой молодёжи»

Мехико 1960-х годов. «Сюжеты Рипштейн выбирает самые что ни на есть знойные: трагическая судьба дивы из кабаре, мексиканской Марлен Дитрих, или страсть „проклятых любовников“, толкающая их на серию неимоверно жестоких убийств, — писали критики. — В общем-то, мелодрамы, но отстранённые, снятые совсем не так, как их положено вроде бы снимать, обретающие благодаря движениям камеры или подбору актёров тревожное, не банальное, не бульварное звучание».

Фильм «Порочный девственник» — талантливый, но размытый, как мечтания мастурбатора, чем, собственно, и занимается главный герой-официант, влюблённый в разбитную пышногрудую девицу Лолу, то ли русскую, то ли испанку, в прошлом то ли агента Коминтерна, то ли звезду парижских кафешантанов, и на этот сюжет накручены испанские эмигранты, спорящие об анархо-синдикализме и Сталине, бравирующие готовностью убить Франко… — словом, вся прокатная конъюнктура налицо. И чем-то «Порочный девственник» перекликается с худшими образцами нашего «нового русского кино» 1990-х про бандитов, «коммуняг» и проституток. Не исключаю, что такое впечатление фильм произвёл в сравнении с простым, строгим, мужественным фильмом Рипштейна «Полковнику никто не пишет» по повести Маркеса — сохранившим дух и даже, что почти никогда не удаётся кинематографу, подтекст автора. Разница между этими двумя фильмами Рипштейна поразительная. Что ни говорите, а литература и в кино — первична, вновь и вновь подтверждается библейская истина: «В начале было Слово».

…А пока съёмки дебютной картины молодого Артуро Рипштейна по сценарию Маркеса и Фуэнтеса были в разгаре: актёры-ковбои скакали на лошадях, били друг другу огромными костистыми кулаками в тяжёлые, квадратные, почти голливудские челюсти, на которые можно «вешать чайник», стреляли с одной и с двух рук, лапали и целовали взасос грудастых крашеных блондинок и брюнеток…

Тем временем Луис Харсс работал над антологией о девяти ведущих писателях Латинской Америки: Борхесе, Карпентьере, Астуриасе, Онетти, Кортасаре, Гимарайсе, Рульфо, Варгасе Льосе, Фуэнтесе. Последний настоятельно порекомендовал включить в эту книгу под названием «Наши» очерк о Гарсиа Маркесе. То есть в антологии участвовали представители почти всех стран латиноамериканского конгломерата. (С ностальгией вспомним, что в то же время и у нас, в СССР, выходили примерно такие же антологии с очерками о белорусе Быкове, киргизе Айтматове, русском Распутине, молдаванине Друцэ, грузине Думбадзе,

армянине Матевосяне…)

Чтобы написать полноценный литературный портрет, Харсс по совету Фуэнтеса отправился искать Маркеса в окрестностях озера Пацкуаро, где проходили съёмки фильма «Время умирать». И Маркес, заметив, что в общем-то настроение у него не совсем подходящее для литературного портрета, но, безусловно, польщённый тем, что его включают в такую компанию, дал самое подробное и откровенное интервью в своей тогда ещё не богатой на интервью литературной биографии. Сидя в кресле возле съёмочной площадки, попивая пиво из банки, покуривая, позируя фотографу, он рассказал Луису Харссу почти всё, начиная с детства, обошёл лишь самый важный для него вопрос:

«— Над чем вы сейчас работаете?

— Как видите и слышите, пишу сценарии для бдиж! бах! бум! падай, а то играть не буду!..

— Но я имею в виду серьёзную прозу, которую так высоко ценят ваши друзья, в частности сеньор Фуэнтес.

— Друзья меня переоценивают. Я сейчас ни над чем серьёзным не работаю. Сижу, пью пиво, с вами разговариваю об умных вещах… Лучше вы ответьте: а в личном общении они какие, эти знаменитые аргентинцы: Хорхе Луис Борхес, Хулио Кортасар?

— К Борхесу однажды в Буэнос-Айресе подошёл у светофора на переходе узнавший его читатель и спросил: „Вы Борхес?“ А он ответил: „Иногда“».

«Коренаст, но лёгок на подъём, — писал Харсс в своём очерке „Габриель Гарсиа Маркес, или Утраченная гармония“, — колючие усы, бугристый нос, все зубы в пломбах… Полная тягот жизнь, сломившая бы любого другого, вооружила Гарсиа Маркеса богатым жизненным опытом, который образует стержень его творчества… Говорит он быстро, спеша озвучить мысли, мелькающие в его сознании, сматывая и разматывая их, словно бумажные ленты, следя за их ходом, как они перетекают одна в другую, и в итоге теряя их, не успев поймать. Небрежный тон с глубоким подтекстом предполагает, что он выбрал тактику безразличия. Он будто подслушивает сам себя, будто пытается услышать обрывки разговора в соседней комнате. Но важно то, что осталось невысказанным».

На берегу ацтекского озера Пацкуаро Маркес ни словом не обмолвился о романе, который почти уже «выносил» и со дня на день готов к нему приступить. Возможно, боялся сглазить — и бабка, и тётки его верили в сглаз.

Из Нью-Йорка прилетели испанские литературные агенты

Гарсиа Маркеса — Кармен Балсельс с мужем Луисом Паломаресом. Маркес успел уже поостыть после того, как в Испании с лёгкой руки каталонки Кармен «кастрировали» его «Недобрый час». И посему с порога не напустился на агентшу. Угощая гостей кофе, он выслушал рассказ супружеской пары о том, как, «преодолевая нечеловеческие трудности, проявляя чудеса дипломатичности и изворотливости», им удалось разместить в американском издательстве «Харпер и Роу» все четыре его книги в английском переводе. Внимательно прочитав от начала до конца, как учил Мутис, переведённый на испанский контракт, Маркес сказал, что не понял, сколько же денег ему причитается. Кармен ответила, что гонорар составит тысячу долларов США. В воздухе, в табачном дыму повисла пауза. Литагенты чувствовали, что в эту минуту находятся рядом с пороховой бочкой.

«— Одну тысячу долларов — это за четыре книги? — уточнил Маркес. — За всё, что я написал за пятнадцать лет? За всю жизнь?.. А почему так много? Почему не двадцать, например, долларов или, скажем, семь долларов тридцать пять центов? Мало того что с вашей подачи был изуродован „Недобрый час“, так теперь вы предлагаете за всё тысячу долларов? Не будь здесь женщины, я бы не стал стесняться. Но выражусь культурно: засуньте себе этот ваш контракт в жопу».

После шоковой паузы Кармен потихоньку, но всё настойчивее стала уверять Габриеля в том, что сейчас не столько важен размер гонорара, сколько сам факт выхода книг на английском языке в Соединённых Штатах, а это удаётся лишь немногим, да почти никому из латиноамериканских писателей, и это-то и есть самое важное, потому что по-настоящему «раскрутить» писателя в XX веке способны только Штаты, как «раскрутили» Фолкнера, Хемингуэя, Фицджеральда, Стейнбека… Кармен говорила, что последнее время они только этим и занимались, что уйму денег истратили на перелёты…

Маркес, молча прикурив одну сигарету от другой, встал и вышел из комнаты. Бог знает, о чём он думал, может быть, о Каталонии, о Барселоне, к которой с барранкильской молодости благодаря «учёному старику-каталонцу» Виньесу был неравнодушен, или о своей «раскрутке», но через десять минут, когда семейная пара собралась уже тихо ретироваться, он вернулся в гостиную и сказал, как потом вспоминала Кармен, что «пусть будет, как будет, но надо бы хорошенько отужинать».

Для начала они поехали в один из лучших рыбных ресторанов Мехико, где отведали свежайших морских гадов, потом в другой, под утро продолжили в третьем… За трое суток,

что Маркес возил каталонцев по ресторанам, барам, театрам, музеям, мастерским художников, домам друзей, он эту возмутившую его тысячу баксов и просадил, добавив ещё из своих кровных киношных песо. Они подружились, как выяснилось, — на всю оставшуюся жизнь.

В последнюю ночь перед отъездом Кармен и Луиса, переходя из бара в бар, говорили обо всём на свете, возводили грандиозные, как творения Риверы и Сикейроса на стенах, планы и запивали их вином, коктейлями, текилой. Кармен уверяла, что талант Габо несомненен и уникален, «напоён земельными соками его родной Колумбии» и не меньше, а может быть, и больше, мощнее, ярче, чем у знаменитостей, с которыми он вошёл в антологию «Наши», что у неё, когда его читает, возникают аналогии с Сервантесом, что все ждут от него большой гениальной книги…

Луис, для храбрости ещё выпив, предложил подписать новый контракт. И Маркес, уже не раздумывая, поднялся из-за стола и провозгласил, что он, Габриель Хосе де ла Конкордия Гарсиа Маркес, будучи в трезвом уме и здравой памяти, торжественно обещает и клянётся с завтрашнего дня, седьмого (!) июля тысяча девятьсот шестьдесят пятого года, «не заниматься фигнёй, а работать исключительно на века, и предоставляет Кармен Балсельс все права на издания всего, что уже написано, и ещё будет написано до конца жизни и издано на всех языках во всех странах мира сроком на сто пятьдесят лет».

— На больше не могу, ребята, — присев на стул, серьёзно промолвил Маркес. — Извините.

Ночью он читал дневники Кафки:

«Сегодня вечером от тоски три раза подряд мыл руки в ванной… Читаю в письмах Флобера: „Мой роман — утёс, на котором я вишу, и я ничего не знаю о том, что происходит в мире“ <…> Страшная ненадёжность моего внутреннего бытия… Особый метод мышления. Оно пронизано чувствами. Всё, даже самое неопределённое, воспринимается как мысль (Достоевский).<…> Ты разрушил всё, ничем, собственно говоря, ещё не овладев. Как ты собираешься теперь восстановить это? Откуда возьмёт силы для этой огромной работы твой мятущийся дух?..»

Соавтор и друг Маркеса Фуэнтес получил дипломатическое назначение и уезжал в Европу. Его провожали, вспоминая, как сложно, запутанно, бурно, безумно, но хорошо жили. С ностальгией вспоминал эти годы потом и Карлос Фуэнтес:

«Литературная жизнь в Мехико бурлила в двух кафе района

Зона Роса: „Le Kineret“ и „Le Tirol“. Мы с Габо решили проводить воскресные вечерние собрания. Все собирались — в одном из кафе или у меня дома. Много курили, выпивали, спорили. Мы были молоды и подавали надежды, раздавали направо и налево, а прежде всего самим себе обещания. Впоследствии кто-то не сдержал обещаний, а кто-то сдержал ценой собственной жизни, кто-то отдал свои способности, свой талант за земные блага. Мы танцевали под музыку „The Beatles“ и „Rolling Stones“, только открывшихся для нас, у меня сохранилось забавное фото, где Габо выплясывает рок-н-ролл с высокой очаровательной девушкой с распущенными волосами, в короткой юбке… Да и все наши девушки тогда были прекрасны, влюблены и несчастны… Мы с Габо должны были написать сценарий, гениальный, естественно. Все имели очень небольшой опыт жизни и творчества. И мы взялись писать в четыре руки сценарий „Золотой петух“ по известной сказке Хуана Рульфо, режиссёром должен был быть Роберто Гавальдон. Но процесс явно затянулся: беспрерывные вечеринки, танцы, споры о литературе, философии, о жизни… И Габо как-то сказал мне: „Слушай, старина, а мы что вообще-то делаем? Мы будем спасать кинематограф Мексики или писать свои книги?“ Вопрос был решён. Я уехал в Париж, о котором он мне столько рассказывал. Габо засел за „Сто лет…“».

Габриель Гарсиа Маркес проснулся на рассвете. И удивился, что нет похмелья, хотя выпили накануне изрядно. Каким-то необыкновенно чистым было утро. Впору было и помолиться.

Кто рано встаёт, тому Бог подаёт, говорил дед-полковник. И ещё дед говорил, что, если желаешь славы и богатства, не позволяй солнцу застать тебя в постели. Как большинство людей, особенно мужского пола, Маркес многажды начинал новую жизнь: с понедельника, с первого числа, с первого января нового года, с рождения сына… Таким образом мужчины испокон веков пытались, да, наверное, и будут вечно пытаться избавиться от грехов — бросить курить, пить, распутничать, унывать, бездельничать в праздности, — и приняться за дело, для которого, по утверждению внутреннего голоса (если он, конечно, что-то утверждает), явились на свет. Мужчины всё время собираются жить иначе, лучше, осмысленнее, плодотворнее, праведнее. Этому посвящены мириады страниц исповедей-дневников (один из ярчайших — дневник Льва Толстого). Но лишь избранные действительно находят в себе силы переломить судьбу.

Маркес не бросал ни пить, ни курить (он бросит курить раз и навсегда много позже). Но новую жизнь начал — засел за книгу

своей жизни. Во многом благодаря жене, как потом рассказывал, укреплявшей его в минуты сомнений, когда казалось, что ничего не выйдет.

Из беседы Гарсиа Маркеса с Плинио Мендосой в 1982 году:

«— …Знаю, что ты уже много времени работал над романом „Осень Патриарха“, но прервался, чтобы взяться за „Сто лет одиночества“. Почему?

— Потому, что толком не знал, каким должен быть роман. А „Сто лет одиночества“ действительно был задуман давно, и я не раз уже приступал к нему… И вот однажды по пути в Акапулько, куда мы с Мерседес и мальчишками отправились покупаться и позагорать, на меня будто снизошло озарение. Я вдруг понял, что должен излагать так, как это делала моя бабушка, рассказывая мне разные истории, и начать с того дня, когда дед повёл меня посмотреть на лёд. Я как бы услышал основную мелодию романа.

— И это правда, что ты развернулся на трассе, приехал домой и засел за сочинение романа?

— Именно так и было. На полпути в Акапулько.

(В который раз отметим: фантастика, волшебство сопутствуют Маркесу всю жизнь. Именно в тот день, когда он ехал с Мерседес на мексиканский курорт Акапулько и по дороге в машине „услышал мелодию“ своего главного романа „Сто лет одиночества“, на другой стороне Атлантического океана, в Португалии, родилась песня „Yesterday“ — на курорт Алгарве покупаться и позагорать ехал с подругой тогдашний бас-гитарист, солист группы „The Beatles“ Пол Маккартни и, внезапно услышав свою главную песню, в которой наконец-то мелодия срослась со стихами, развернул машину и улетел в Лондон, чтобы срочно записать песню в студии. Тут уж явно не без сигнала, без вмешательства — может быть, с других планет, выстроившихся на парад, из космоса, а скорее всего, и воли Всевышнего, изредка осеняющего избранных Им, направляющихся с подругами или жёнами к морю покупаться и позагорать. Случайным совпадением такое быть не может. А что касается Маккартни, „Битлз“ — это любимая группа Маркеса. Бах, Бетховен, Брамс, Барток, „Битлз“ — в шутку он говорил друзьям, что слушает только музыкантов на букву „Б“. В творчестве Маркеса и „Битлз“ есть общее — народность, то, что заставляет плакать, смеяться, любить, думать, мечтать сотни миллионов людей.)

— А что же Мерседес? — спрашивал друга Плинио Мендоса.

— Мальчишки, конечно, расстроились, захныкали. А Мерседес… Ты же знаешь Мерседес — она всегда терпеливо сносила мои причуды. Но многажды говорил и повторяю: без Мерседес я бы не написал эту книгу. Я в этом абсолютно

убеждён».

Дом на улице Лома, в котором жила семья Маркесов, был большой, каменный, двухэтажный, с садом и просторным гаражом, где поместилось бы и четыре машины. С помощью своего привратника, того самого киллера, вдохновившего на написание сценария «Время умирать», в чуть ли не стометровой гостиной первого этажа Маркес выгородил щитами комнатушку три на два метра с одним окном, которую назвал Пещерой мафии. В комнатушке помещались стол, тахта, этажерка для необходимых в работе книг и электрообогреватель. Мерседес укоряла за то, что он «вечно что-то выдумывает, хотя мог бы и наверху обустроить нормальный кабинет». Но Маркес заверял, что всё хорошо, не сказав, что комнатушка, которую он себе сделал в этом большом престижном доме, — копия каморок, в которых живал у мадам Матильды в Картахене, у мадам Марии в Барранкилье, у мадам Лакруа на мансарде парижского отеля «Фландр».

Ровно в восемь утра, выпив кофе с галетами, он заводил свой белый «опель» и к началу занятий отвозил сыновей в колледж «Уильямс». После этого возвращался, загонял машину в гараж и удалялся в Пещеру мафии. Там он садился за машинку и писал до половины третьего, порой насильно удерживая себя от того, чтобы не встать и не пойти прогуляться или съездить на съёмки.

Он приказывал себе, он заставлял себя (как избавляются от наркозависимости) не перечитывать Фолкнера и Рабле, чтобы не попадать под влияние. Но шкодливая рука сама порой от пишущей машинки тянулась к читаному-перечитаному. Неоднократно Мерседес случайно (в Пещеру мафии она была не вхожа в священные рабочие часы) заставала мужа мечтательно листающим буклеты, пестрящие длинноногими блондинками в бикини, белоснежными яхтами, шикарными отелями (в их престижном районе почтовые ящики были забиты рекламой).

— Я где-то читала, что жена привязывала мужа-писателя к стулу, — говорила Мерседес, когда Габриель приходил по какому-то якобы делу, а на самом деле без всякого дела на кухню, — и не развязывала до тех пор, пока он не вырабатывал дневную норму. Может, и мне так делать?

— А кто установит норму? Иногда я за весь день и абзаца толкового не могу написать!

В три часа обедали. После обеда Маркес гулял с детьми или ложился отдохнуть, но больше тридцати-сорока минут сиесты Мерседес ему не позволяла — снова гнала за машинку. И он работал уже до изнеможения, до восьми — половины девятого, но заканчивать пытался, блюдя завет Хемингуэя, тогда, когда знал,

что произойдёт в романе дальше. Вечером приходили друзья — кинорежиссёр Хоми Гарсиа Аскот с женой, Альваро Мутис тоже с женой, писательница Мария Луиса Элио, иногда заезжал, непременное новой пассией-актрисой усталый после съёмок, саркастичный Артуро Рипштейн…

Временами совсем не писалось: положенное время Маркес просто отсиживал за машинкой, вспоминая что-нибудь из детства или юности, мечтая о чём-нибудь таком, что было вполне доступным в холостяцкой жизни, но теперь стало почти нереальным… Ныл зуб мудрости… Беспокоила то ли аллергия, то ли простуда… Слишком шумно за щитами играли дети… Но и когда писалось, долго не оставляло ощущение, что пишется как-то слишком вязко, трудно, а следовательно, пишется не то. Хотелось на пляж в Акапулько или вдруг в Мадрид… Чтобы усидеть за столом, требовалось мужество.

Вот как писатель Юрий Казаков (кстати, того же «древесного кольца», ровесник нашего героя, 1927 года — и в чём-то неожиданно близок по манере письма, особенно с «Полковником», это у обоих, колумбийца и русского, от Хемингуэя) размышлял «О мужестве писателя»: «Писатель должен быть мужественен, думал я, потому что жизнь его тяжела. Когда он один на один с чистым белым листом бумаги, против него решительно всё. Против него миллионы написанных ранее книг — просто страшно подумать! — и мысли о том, зачем же ещё писать, когда про всё это уже было. Против него головная боль и неуверенность в себе в разные дни, и разные люди, которые в эту минуту звонят к нему или приходят, и всякие заботы, хлопоты…»

«Не замахивайся, — вспоминал Маркес уроки деда-полковника, — а замахнулся, так бей что есть силы. Не начинай, а начал — доводи до конца, как бы ни хотелось бросить».

Позже Маркес рассказывал, что, решившись на отречение от суеты, праздности и уныния, засев в Пещере мафии за машинку, он не сочинял, а напряжённо вспоминал, шаг за шагом восстанавливая, «прокручивая» в памяти, точно киноленту, события своей жизни с первых мгновений и отбирал, будто за монтажным столом, главное, нужное сюжету и поэтичное. Он возвращался памятью к дедовской дуэли — или убийству, к «банановой лихорадке», к расстрелам, к «электрифицированному курятнику»… Он называл себя не писателем, а унылым нотариусом (хотя знал, что творит грандиозное).

Седьмого (!) сентября 1965 года во Дворце изящных искусств проходил творческий вечер Карлоса Фуэнтеса, приуроченный к завершению романа «Мечта» (в окончательной редакции — «Смена кожи»). Присутствовал на вечере и Маркес. Заканчивая

выступление, Фуэнтес вдруг заявил, что ценит и любит всех своих друзей, но с особым уважением относится к другу, соратнику по кино и замечательному, самобытному писателю Габриелю Гарсиа Маркесу: «Моё истинное восхищение вызывает оригинальный, ни на кого не похожий талант и глубокие познания этого певца старой доброй Аракатаки! И я уверен, что он создаст замечательное произведение!»

Аплодировали Маркесу почти так же, как кинозвезде Рите Маседо, он вынужден был — впервые на такой аудитории — встать и раскланяться. После вечера Мутис пригласил компанию к себе, и вышло так, что к полуночи героем стал не виновник торжества — Фуэнтес, а Маркес, сочиняющий, по слухам, что-то неслыханное. Те, кто уже читал куски из романа, расспрашивали о том, что будет дальше, говорили, что это нарушение законов литературы, но что это, например, зависающий в воздухе священник, напившийся кипящего шоколада, или честный цыган Мелькиадес, — гениально!..

В ноябре автор антологии «Наши» Харсс вновь приехал в Мехико, чтобы задать Маркесу несколько дополнительных вопросов для литературного портрета и узнать, как продвигается работа над романом «Сто лет одиночества», о котором уже много говорят.

«— Схожу с ума от счастья! — отвечал Маркес. — После пяти лет полного бесплодия эта книга бьёт из меня фонтаном, и я не испытываю никаких затруднений с языком!.. Надеюсь, да почти уверен, что закончу роман к весне 1966 года, крайний срок — апрель!..»

Но недаром говорят: не зарекайся. К весне он книгу не закончил, перестал всем показывать направо и налево, чтобы не сглазили, и «даль свободного романа» уже ясно различал, хотя не говорил об этом.

А деньги — те пять тысяч долларов, которые он выдал Мерседес, чтобы она обеспечивала семью всем необходимым до тех пор, пока он не закончит роман, — кончились. Более полугода не платили за аренду дома, полгода хозяева мясной и овощной лавок отпускали Мерседес продукты в долг, но терпение их, знавших, что Габриель сочиняет нечто грандиозное и чувствовавших себя причастными, иссякало. Когда нечем стало кормить сыновей, Мерседес не выдержала и сказала мужу всё как есть. Он молча надел пиджак, вышел из дома, сел в свой любимый белый «опель» и уехал — через два часа вернулся из центрального ломбарда «Монте де Пьедад» без машины, но с деньгами, которые дали возможность частично погасить долги и протянуть ещё пару месяцев. После этого, уже ни слова мужу не

говоря, Мерседес стала продавать и закладывать всё, что было в доме: свои драгоценности, затем радиоприёмник, телевизор, велосипеды мальчишек… Из электроприборов она оставила лишь фен для укладки волос, чтобы совсем не отвратить от себя мужа, миксер, с помощью которого готовила еду для сыновей, и электрообогреватель, без которого по утрам и вечерам от холода Габриель не мог работать. Друзья — Альваро Мутис и его жена Кармен, Хоми и Мария Луиса, некоторые другие — стали приходить с продуктами, делая вид, что случайно заглянули в магазин…

«Мужество писателя должно быть первого сорта, — писал Юрий Казаков в то самое время, в тот самый, может быть, день и час, когда колумбийский его коллега и ровесник на другом конце земли пребывал, пропадал в „столетнем одиночестве“. — Оно должно быть с ним постоянно, потому что то, что он делает, он делает не день, не два, а всю жизнь».

Книга была кончена. Долго не давала покоя Ремедиос Прекрасная — не ведающая стеснений святая, которую её создатель наделил небесной красотой и греховной мощью искушения. По первоначальному замыслу, красавицей всё же овладевает (грозово, в типичном для Маркеса ураганном духе) какой-то чужеземец и она убегает с ним, а семья, чтобы избежать позора, распускает слух, будто она вознеслась на небо.

«Но святая Ремедиос не согласилась с таким банальным концом, — вспоминал Маркес, — она требовала всамделишного вознесения. Я ужасно мучился в поисках надёжного подъёмника. Однажды, раздумывая над этой проблемой, я вышел во двор дома. Дул сильный ветер. Крупная, очень красивая негритянка пыталась развесить на верёвке только что выстиранное бельё. И не могла — ветер его уносил и задирал ей юбку, обнажая бёдра. И тут меня озарило. Вот оно, подумал я, Ремедиос Прекрасная может вознестись в небо на простынях. Простыни будут необходимым элементом реальности. Я снова уселся за пишущую машинку. И Ремедиос Прекрасная возносилась и возносилась в небо, не испытывая никаких трудностей. И не было Господа Бога, который бы её остановил».

По официальной версии, Маркес завершил роман «Сто лет одиночества» в октябре 1966 года. Но на самом деле книга была кончена уже летом, когда главному герою сказания о Макондо — «полковнику Аурелия был назначен день и даже час ухода из жизни».

Автор долго не мог решиться на это. Казалось, он знал полковника всю жизнь — да так оно и было. Расстаться со старым полковником, отливавшим золотых рыбок, чтобы сразу

расплавить их и снова отлить, участвовавшим в тридцати двух войнах, познавшим тысячи прекрасных женщин, из которых семнадцать, по крайней мере, зачали детей, с полковником, выжившим после выпитого смертельного яда, после расстрела, после самоубийства, с полковником, оставшимся на закате дней в полном одиночестве, — оказалось труднее, чем проститься навсегда со старым верным другом. Маркес пускался на ухищрения, пытаясь как-то спасти полковника, будто речь шла о реальном человеке.

— Были варианты, — рассказывала мне (со слов самого Маркеса) Мину Мирабаль, — отправить его в далёкую страну, например в Венгрию и даже в СССР. Или на необитаемый остров. Или вообще переселить в другую эпоху, например Фрэнсиса Дрейка. Маркес перебрал по крайней мере полсотни образцов кончины героя, известных по мировой литературе, от Гомера и Шекспира до Гюго и Толстого. Он вспомнил сцену из «Войны и мира», в которой после Аустерлицкого сражения Бонапарт видит павшего на поле боя князя Андрея:

«— Faites advancer celles de la reserve[1], — сказал Наполеон, и, отъехав несколько шагов, он остановился над князем Андреем, лежавшим навзничь с брошенным подле него древком знамени (знамя уже, как трофей, было взято французами).

— Voila une belle mort[2], — сказал Наполеон, глядя на Болконского.

Князь Андрей понял, что это было сказано о нём и что говорит это Наполеон… Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. Он не только не интересовался ими, но он и не заметил, а тотчас же забыл их. Ему жгло голову; он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собою далёкое, высокое и вечное небо…»

И наступил последний день полковника Буэндиа. Маркес проснулся рано, в торжественно-трагическом настроении. Умылся, надел белую свежевыстиранную сорочку. От завтрака отказался. Сел за письменный стол и, перелистав рукопись, вспомнив всю жизнь Аурелиано, с того далёкого вечера, когда отец взял его с собой посмотреть на лёд, и уже осознав, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит, но внешне спокойно, будто составлял полицейский протокол, несколькими ударами подушечек указательных пальцев покончил с полковником. Герой войн умер вовсе не геройски. Это не была *une belle mort*. Он умер так, как умер когда-то один из однополчан деда, о чём полковник Маркес рассказывал внуку в Аракатаке. Полковник Аурелиано Буэндиа умер под старым раскидистым каштаном в луже собственной мочи.

Когда глаза полковника закрылись навеки, Гарсиа Маркес встал из-за стола, поднялся на второй этаж, вошёл в спальню, где спала Мерседес, констатировал факт смерти, лёг рядом с женой и тихо заплакал. Мерседес не произнесла ни слова, молча взяв мужа за руку.

— В чём дело, Габо? — испугались друзья, увидев лицо Габриеля, открывшего им вечером дверь. — Почему такой похоронный вид? Что-то с Мерседес? С мальчиками? Они дома?!

— Все дома, — ответил Маркес. — Полковника нет. Я убил его.

Книга была кончена, когда летом Гарсиа Маркес сочинил последнее, апокалипсическое предложение «Ста лет одиночества»:

«Но, ещё не дойдя до последнего стиха, понял, что ему уже не выйти из этой комнаты, ибо, согласно пророчеству пергаментов, прозрачный (или призрачный) город будет сметён с лица земли ураганом и стёрт из памяти людей в то самое мгновение, когда Аурелиано Бабилонья кончит расшифровывать пергаменты, и что всё в них записанное никогда и ни за что больше не повторится, ибо тем родам человеческим, которые обречены на сто лет одиночества, не суждено появиться на земле дважды».

Рукопись предстояло править, сокращать, пристраивать в издательства, продвигать, объяснять, что хотел сказать (такие вопросы, поначалу обескураживавшие, Маркесу задавали нередко: «А что вы, собственно, этим хотели сказать?»). Но книга была кончена — и это Маркес понял, поставив точку в последнем предложении, которое далось ещё труднее, чем первое. Всё дальнейшее не имело значения.

Точной статистики нет, но можно с уверенностью сказать, что по количеству данных интервью Маркес — абсолютный чемпион (притом не только среди писателей, но и кинозвёзд, и знаменитых футболистов, но и даже самых популярных политиков планеты). Неустанно твердя, что не любит давать интервью, выступать, он дал их тысячи!

Давал он интервью — и до окончания романа, ещё в 1963 году, и после — мексиканскому критику Эммануэлю Карбальо, несколько лет издававшему вместе с Фуэнтесом «Мексиканский литературный журнал». Карбальо отмечал то чувство внутреннего достоинства, с которым держался Маркес, будучи ещё никому не известным колумбийским литератором в яркой рубахе, потёртых голубых джинсах и сандалиях на босу ногу.

Предприимчивый критик задумал выпустить на базе УНАМа — Автономного государственного университета Мексики

пластинку в популярной серии «Живой голос Латинской Америки», где писатель Гарсиа Маркес читал бы отрывки из своего нового романа. (Подчеркнём: романа ещё не то что не опубликованного, но и не отредактированного до конца, по мнению автора, — такова была творческая атмосфера в Мехико той поры, «шестидесятники» гремели.) Вступление должен был написать и прочесть сам Карбальо.

По предложению Маркеса критик приходил к ним домой по субботам, отдавал должное кулинарным способностям Мерседес (порой вынужденной буквально «из топора варить кашу»), забирал одну-две главы романа, по которым уже прошёлся сам автор, и через неделю, в следующую субботу приносил с «весьма толковыми замечаниями». Карбальо потом неоднократно заявлял в интервью журналистам, что никакие это были не «толковые замечания», как выражался сам Гарсиа Маркес, а «просто ловля „блох“» или, в лучшем случае, работа шлифовальщика, который «лишь шлифовал, полировал превосходно выструганное сочинение, с которым в XX веке мало что может сравниться».

Но справедливости ради следует отдать должное работе Карбальо как редактора. Читая рукопись «незамыленным глазом» (сам Маркес говорил, что роман «Сто лет одиночества» оказался длиною в жизнь, поэтому глаз «замылился», как в детстве, когда бабушка или тётя мылили ему голову, мыло попадало в глаза, щипало, и он плакал, а помывка казалась бесконечной), редактор замечал неоправданные повторы, длинноты, путаницу с почти одинаковыми именами многочисленных героев, кое-где неточности языка, сбои ритма, которые были особенно ощутимы при подготовке записи пластинки.

Завершая роман, Маркес торопился, и тому были веские причины. Во-первых, уже стало совсем непонятным, каким образом Мерседес умудряется сводить концы с концами. Во-вторых, столько было ожиданий этого «чудо-ребёнка», столько сказано, растрезвонено о романе, притом уже и незнакомыми людьми по всей Латинской Америке, что всё более реальной и угрожающей (в особенности для самого Маркеса, вновь ставшего суеверным) делалась перспектива рождения «мёртвого ребёнка». В-третьих, в-четвёртых, в-пятых…

Карбальо сказал, что уверен: пора «принимать роды» — публиковать роман. Стоя у окна гостиной, глядя на капли дождя, стекающие по стеклу, Маркес спросил, уверен ли Эммануэль в том, что он, сам Маркес, уверен.

Габриелю Гарсиа Маркесу понадобилось прожить ровно тридцать девять лет, семь месяцев и семь дней, чтобы сказать, глядя в окно на Мерседес, в стареньком платьице, в стоптанных

туфлях отправившуюся под дождём куда-то раздобыть что-нибудь на ужин: «Пора».

Маркес признается, что, являясь плохим читателем, бросает книгу, как только становится скучно. А когда сам пишет — едва лишь начинает казаться, что читателю будет скучно, ищет способ оживить книгу. Так было с романом «Сто лет одиночества» — в какой-то момент показалось, что слишком много поколений, хотя так было задумано изначально, дабы создать ощущение повторяемости, цикличности, — и в середине, где описывается Макондо после войны, он не написал, точнее, выбросил историю жизни двух поколений Буэндиа. Но было — пора.

«Удивительно также сообщение в начале девятой главы, — писал Борхес о „Дон Кихоте“, — что весь роман переведён с арабского и что Сервантес приобрёл рукопись на рынке в Толедо и дал её перевести некоему мориску, которого больше полутора месяцев держал у себя в доме, пока тот не закончил работу… Нам вспоминается кастильский раввин Моисей Леонский, сочинивший „Зогар, или Книгу сияния“ и выпустивший её в свет как произведение некоего палестинского раввина, жившего во втором веке».

«— Уже, казалось бы, закончив, я всё-таки не знал, чем закончу, — вспоминал Маркес. — Изначально у меня не было продуманного плана, было лишь общее представление, и я сочинял эпизод за эпизодом, эпизод за эпизодом, и так восемнадцать месяцев подряд. Когда же я почувствовал, что пора кончать, то понял: необходимо придумать нечто такое, что приподняло бы всю книгу, так как, закончи я её обычно, она рухнет, развалится на части… Поначалу я мыслил так: когда у последнего Буэндиа появляется сын со свиным хвостиком, а роженица в муках умирает, сам Буэндиа запирается в доме, чтобы тоже умереть. Но я чувствовал: никудышный финал для книги, где была серьёзная и глубокая критика определённой исторической реальности, персонажей и мира. Однако я и сам до последнего мгновения не знал, что записывал Мелькиадес в своих пергаментах. Всё думал: „Что бы я ни сообщил о его письменах, всё окажется ниже самой тайны. Какое бы объяснение ни дал, оно будет хуже сознания, что никогда не станет известно, что же всё-таки там написано“. Но когда я перечитал всю книгу, чтобы решить, как закончить эту бодягу, то вновь задался вопросом: „Так что же всё-таки мог написать Мелькиадес?“ И однажды, когда в очередной раз и уже всерьёз был близок к помешательству, вскочил среди ночи: „Карамба! Я знаю, что пишет Мелькиадес! Он пишет книгу, которую я пишу и не могу закончить! И он, разумеется, знает, что Макондо будет сметено с

лица земли ветром!..“ Сейчас мне нравится финал, я представить не могу, как можно было закончить иначе, — всё, выхода нет, книга замкнута, на книге замок. А когда я поставил последнюю, самую последнюю точку, когда я невозвратно уже закончил, прожил „Сто лет одиночества“, в комнате появилось нечто невероятное, фантастическое — большой синий кот! Но недолго я дивился чуду. Потому что следом вбежали мои мальчишки с перемазанными синей акварелью руками».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПОСЛЕ «СТА ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА»

Глава первая
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

И далее — после завершения романа «Сто лет одиночества», который Варгас Льоса окрестит литературным землетрясением, — рассказ о жизни нашего героя напоминает военные сводки с фронтов о действиях армии, перешедшей в наступление на всех направлениях. Города, страны и целые континенты «покорялись» один за другим. По темпам роста популярности Гарсиа Маркес мог бы сравниться разве что с «The Beatles», Че Геварой, футболистом Пеле и войти в Книгу рекордов Гиннесса — если бы таковые замеры осуществлялись.

В марте 1966 года Маркес сплавал на теплоходе на Картахенский кинофестиваль, где представлялась картина «Время умирать» и неожиданно (был готов к провалу, даже к закидыванию тухлыми яйцами или гнилыми авокадо) получила первую премию, звучали запальчивые формулировки типа «наш ответ Голливуду!». Возможно, этот приём и банкет с чествованием сподвигли Маркеса показать (с волнением, будто в первый раз) друзьям в газете «Эль Эспектадор», где некогда он слыл «золотым пером», первые главы «Ста лет одиночества». На редколлегии было принято единогласное решение публиковать с 1 мая.

Пятнадцатого июня позвонил Фуэнтес, которому Маркес по почте высылал главы романа в Париж, и отозвался в столь восторженном тоне — «это грандиозно, феноменально!» — что автору показалось, будто писатель-дипломат-соавтор глумится. Но Карлос был искренне восхищён и заявил, что немедля пересылает главы «Ста лет одиночества» Фернандо Бенитесу в «Сьемпре» со своей врезкой, которую тут же и зачитал и которую можно было выразить словом «шедевр». Фуэнтес высказал патриотическое мнение, что сначала роман лучше издать дома, в Латинской Америке, и пообещал показать в Париже имеющиеся у него главы романа Кортасару.

Хулио Кортасар, аргентинец, живший в Париже, автор культовых сборников рассказов «Бестиарий», «Конец игры», «Жизнь хронопов и фамов», романов «Выигрыши», «Игра в классики», в ту пору был чрезвычайно популярен — особенно среди молодёжи. Он был одним из основных ваятелей «бума» латиноамериканской литературы, начавшегося в середине 1960-х. Это по его инициативе Луис Харсс создал психолого-биографический сборник «Наши», с подачи Кортасара сборник был выпущен беспримерно большим тиражом в крупнейшем

издательстве «Судамерикана» и переведён на английский — под названием, которое дал сам Кортасар: «Into the mainstream» («В фарватере» или «На гребне волны»), — этим он как бы запалил бикфордов шнур грядущего «бума».

Автор этих строк оказался единственным журналистом из СССР, которому довелось брать очное интервью у гениального писателя-джазиста, сыгравшего одну из важнейших «партий» и в жизни Маркеса. Так что уделим его раздумьям здесь некоторое внимание.

Как было условлено, мы встретились на гаванской набережной Малекон перед гостиницей «Ривьера», в которой Кортасар остановился с молодой спутницей. (У него было немало жён и подруг и каждая — на поколение моложе предыдущей.) В «Доме Америк», где я к нему подошёл накануне, чтобы договориться об интервью, он, на голову возвышавшийся над толпой, казался неприступно-монументальным классиком. Но на набережной показался долговязым молодым человеком, вышедшим поразвлечься с гаванскими парнями запусканием разноцветного воздушного змея. Интервью было ограничено по времени — своей спутнице он ещё в Париже обещал «удрать от всех и просто покататься по сказочной Гаване на велосипедах». Я расспрашивал о детстве, литературных университетах, о метафизике в его рассказах… Зашёл разговор и о Маркесе — это было естественно, у нас в СССР тогда не читать Маркеса считалось дурным тоном, притом не только в московских и питерских интеллигентских компаниях, но и в рабочих общежитиях и в деревнях, в чём лично я не раз убеждался на всём безграничном пространстве СССР от Кушки до Норильска, от Калининграда до Курильских островов.

— Я знал, что у вас в стране он станет знаменитым, — выслушав меня, с видимым удовольствием после «шведского стола» в «Ривьере» доставая сигарету из пачки «Житан», закуривая и глубоко затягиваясь, сказал Кортасар. — Мне всегда казалось, что у вас много общего с латиноамериканцами, но с колумбийцами — в особенности. Достоевский, Гоголь, Булгаков… Кстати, в интервью нашему общему знакомому венесуэльцу Армандо Дурану Маркес высказал убеждение, что ни один критик не сможет дать читателям реальное представление о романе «Сто лет одиночества», если он не решится исходить из очевидной предпосылки, что эта книга начисто лишена серьёзности. А познакомились мы с Маркесом в 1968 году, когда ваши танки вошли в Прагу. Ещё в самом начале шестидесятых я впервые услышал это имя. Но особого внимания не обратил: просто он мне показался энергичным и симпатичным колумбийским малым

— какие-то скандалы были вокруг его журналистских расследований по затонувшему эсминцу, какая-то политика… Мы в одно время жили в Париже, ходили по одним улицам, но судьба свела нас, когда ей самой стало угодно. Карлос Фуэнтес передал мне в кафе на Сен-Мишель рукопись, я взял её почитать, как брал рукописи, которые мне давали и Карлос, и Карпентьер, работавший культурным атташе посольства Кубы, и другие латиноамериканские писатели и критики, жившие в Париже, их было немало. Я убрал рукопись в сумку, чтобы прочесть, когда будет время, работаю переводчиком при ЮНЕСКО, мотаюсь по миру и читаю, как и пишу стихи и рассказы, чаще в самолётах. Но Карлос настоял на том, чтобы я посмотрел прямо в кафе. Так и сказал: «Пожалуйста, Хулио, взгляни, это настоящий писатель, но пребывает в тяжелейшем состоянии!» Я извлёк рукопись из сумки, страницы не были скреплены, перепутались, так что начал не с начала, а со второй главы, которая, кстати, так и осталась моей любимой в маркесовском романе: «Когда в XVI веке пират Френсис Дрейк осадил Риоачу, прабабка Урсулы Игуаран была так напугана тревожным звоном колоколов и громом пушечных выстрелов, что не совладала со своими нервами и села на топившуюся плиту. При этом прабабка получила столь сильные ожоги, что навсегда сделалась непригодной для супружеской жизни…» И был захвачен. Как однажды в Италии на заводе, где переводил делегации. Было жаркое лето, в широкой рубахе навыпуск, гуайявере, которые ношу, я стоял рядом с лентой конвейера, что-то объяснял, жестикулируя, и вдруг пола рубахи зацепилась за вращающуюся шестерёнку, я попытался её высвободить, но почувствовал, что имею дело с необыкновенной силой, которая меня повлекла.

— И остались без рубашки? Какой пассаж.

— Почти, — улыбнулся своей детской улыбкой Кортасар, худой, необычайно высокий, как Хемингуэй и Фидель Кастро, и с очень длинными тонкими конечностями, с широко поставленными глазами, бородатый, похожий на осеннего хиппи, каких ещё можно встретить где-нибудь в Катманду, Гоа или Дурбане. — Читая тогда в кафе Маркеса, я почувствовал, что это новое, что это многое даёт и мне самому, и латиноамериканской прозе. Это было необычно и изумительно! Казалось бы, ничего для меня нового — индейский, афроамериканский эпос, что-то от Кафки, что-то от Фолкнера, от Хемингуэя… Но — своё, оригинальное! Ведь музыкальные ноты — я обращусь к музыке, недаром говорят, все искусства стремятся подражать музыке, а я без музыки не мыслю жизни, всё ею поверяю, если фальшиво, отказываюсь, — так вот семь нот известны всем. Вопрос в том, как

сложить их: как Бах, Моцарт, как величайший джазовый импровизатор Чарли Паркер или… Мы разные. Маркес мне сказал при первой нашей встрече, что был уверен, будто я не латиноамериканский, а парижско-барселонский писатель. И вот я взял главы у Фуэнтеса и со своей рекомендацией отправил уругвайскому издателю Монегалю, который опубликовал их в августовском номере «Mundo Nuevo» («Новый мир»)…

— У нас в СССР есть знаменитый литературный журнал с таким же названием.

— Да, я читал, что там публиковали Солженицына, прочих бунтарей, впоследствии, кстати, лауреатов Нобелевской премии, — сказал Кортасар. — «Mundo Nuevo», выходивший в Париже, тоже отдавал своеобразным, конечно, но диссидентским душком. И важно было именно там предъявить миру Маркеса, такая публикация свидетельствовала об определённом уровне и новизне, свежести авторского взгляда на мир.

— Оригинальность, необычность — конечно… Но что именно вас привлекло в Маркесе?

— Поэзия.

— Это вы говорите как поэт, у вас выходят поэтические сборники, пластинки… А Маркес ведь никогда, насколько известно, стихов, которые писал в юности, не публиковал?

— И позже писал, думаю, и сейчас пишет. Но не публикует, считая их неизмеримо слабее поэзии его любимого Рубена Дарио и своей прозы.

— А вы всю жизнь стихи слагаете?

— Каждый из нас повторяет в себе путь развития человечества. Произведения «детства человечества», первые философские труды, вся жизнь древних были поэзией. Некоторые дети пишут стихи, некоторые не пишут. Но каждый нормальный ребёнок — поэт, и что бы он ни сказал — поэзия. Я сочиняю стихи. Кроме всего прочего, они помогают и прозе. Экономичностью, насыщенностью, образностью. Вообще современная проза, — и я не открываю этим Америки, — гораздо ближе к поэзии, а поэзия в свою очередь ближе к прозе, чем хотя бы полвека назад. Поэзия стала входить, врываться в повествование. И особенно в латиноамериканской литературе — романах Маркеса, Карпентьера, Льосы, Фуэнтеса… И обратный процесс — стихотворения и поэмы, которые с определённой точки зрения можно назвать кусками прозы, остаются поэзией.

— Некоторые критики называют вас, «бумовцев», вождями неоавангардизма.

— Просто мы иногда увлекаемся игрой больше, чем другие. В моём понимании, авангардизм, в вульгарном, естественно,

понимании, начинается тогда, когда между содержанием и формой образуется разрыв или когда они движутся в противоположных направлениях. В лучших романах «бумовцев», как выражаются критики, того же Маркеса разрыва нет. И композиция, и ритм, и язык обеспечены «золотым запасом» мыслей и чувств. Почти каждая книга «наших» — это попытка подняться по некоей спирали. Есть писатели, которые, дойдя до определённого уровня, уже не хотят или не могут его превысить, ограничивают себя, приходя к кругу, а не к спирали. Иные же стараются обратиться к экспериментам, более отдалённым от ранее сделанного. Кроме того, символический язык латиноамериканской литературы, её юмор, а одно из самых тяжких наследий, оставленных нам испанцами, — отсутствие юмора…

— Испанцами, давшими миру «Дон Кихота»?

— К сожалению, не все конкистадоры — Сервантесы. И Борхес, и я, и Маркес, и все «наши» поначалу страдали угрюмой недостаточностью юмора, а между тем это в крови у латиноамериканцев — образность, игра, фантазия, фантастика, неотделимые от юмора.

— Но что такое фантастика в преломлении к магическому реализму? Не фэнтези же…

— По-моему, точно определить, что такое фантастика, невозможно. Что-то исключительное, что не в состоянии охватить рациональное мышление, опирающееся на законы логики. То, что никогда не повторяется, ибо внутренние законы её непостижимы. Фантастическое можно ощутить лишь интуитивно, вопреки законам. Творческий процесс в чём-то схож, вернее, находится в обратной зависимости по отношению к процессу, происходящему в фотокамере во время поиска необходимой резкости, когда несколько изображений совмещаются в одно. Большинство людей, да и художники иногда подсознательно, ищут в жизни привычное своему складу ума и вековым законам изображение и всё остальное подгоняют под это. Творческий же ум, напротив, пытается разнообразить изображение. И это несовпадение, этот взгляд с разных расстояний и сторон — есть творчество. Но чтобы оно вылилось в конкретные формы — рассказ, роман, стихотворение, — для меня необходимо, чтобы в разнообразии изображений мелькнуло нечто совершенно необычное. Его и пытается постигнуть герой, пусть на первый взгляд фантастического в книге не видно.

— Но вы оставили свой континент ради Франции.

— У нас, латиноамериканцев, положение особое. Во-первых, язык один из самых распространённых в мире. Во всяком случае,

по количеству стран, в которых творят писатели. Латиноамериканские писатели не так разрознены, как писатели других стран. Кроме того, для нас не существует такого глубокого и определённого понятия родины, как, к примеру, для вас, русских, насколько я могу судить по литературе и встречам с русскими эмигрантами в Аргентине, во Франции. В наших жилах течёт кровь и европейская, и африканская, и американская, и азиатская, и еврейская…

— Маркес считает, что «бум» латиноамериканской литературы явился логическим следствием кубинской революции, которая заставила Европу обратиться к Латинской Америке, заинтересоваться ею. Какую роль сыграла кубинская революция в вашей судьбе и творчестве?

— Решающую, как и в судьбах многих писателей, того же Маркеса. Я покинул Аргентину, искал и нашёл в себе европейца. И мыслить начал европейскими категориями, и писать стал во многом по-европейски, на европейском материале. Казалось, уже пропасть отделяла меня от Латинской Америки. Сообщение о революции перевернуло всё! Вернуло чувство кровной связи с нашим континентом. Революция перевернула и творчество — я начал открывать для себя человека, его рабство и свободу, задумываться о роли писателя, интеллектуала в мире. Буквально через несколько месяцев я приехал на Кубу и увидел то, о чём так и не смог по-настоящему рассказать до сих пор…

— Говорят, большинство учёных, врачей, инженеров, писателей эмигрировали.

— Это позже, да и не думаю, что большинство. Но тогда, в первые месяцы, и именно это было моментом истины революции, каждый человек, от политического деятеля и учёного до мачетеро и рыбака, почувствовал себя личностью, человеком, свободным выбирать судьбу, творить… Журналисты спрашивают меня, что я больше всего ценю в человеке. Верность. Идеалам. И считаю символичным, что вождя кубинской революции зовут Фиделем, в переводе — Верный.

— Вы, «бумовцы», разделились на два лагеря, не так ли? Одни, вы с Маркесом в том числе, всячески поддерживают режим Кастро, другие осуждают, публикуют письма протеста против преследований инакомыслящих… Здесь, в Гаване, у меня есть друзья, не согласные с Фиделем, — музыканты, художники, писатели… Так вот, отдавая должное вашему с Маркесом великому художественному дару, они в то же время считают, что вы, извините… ну, в общем, лояльность, поддержка режима Кастро небескорыстна… Скажите, вы по воле сердца, искренне воспеваете режимы на Кубе, в Никарагуа?

Кортасар не ответил, глядя на океан. Сухо сказал, что времени у него больше нет.

— Кстати, о поэзии, — сказал напоследок. — Никарагуанскую армию Сандино звали «армией поэтов». Любимым занятием сандинистов было соревнование в чтении стихов Рубена Дарио, о котором Пабло Неруда, обожающий вашу страну и Маркеса, говорил: «Латиноамериканцы без Дарио вообще не умели бы говорить». Сандино любил стихи Дарио до безумия — и считал, что просто обязан всех ознакомить с ними.

— В смысле — насильно? В этом следовал ему и Че Гевара?

— Когда герильерос занимали селение или город, обязательным элементом пропаганды было чтение стихов Дарио. Особенно любили сандинисты, понятно, те стихи Дарио, которые были официально запрещены, — за «подрывную направленность». Например, «Рузвельту»: «США, вот в грядущем / захватчик прямой / простодушной Америки нашей, туземной по крови… / Ты прогресс выдаёшь за болезнь вроде тифа, / нашу жизнь за пожар выдаёшь, / уверяешь, что, пули свои рассылая, / ты готовишь грядущее. / Ложь!..»

— Да уж… — отозвался я, пытаясь понять, не подтрунивает ли тонко аргентинец-француз Кортасар — сам сложнейший и тончайший поэт-метаметафорист с очевидным релятивистским уклоном. Хотелось спросить: «Вы это серьёзно, Хулио?» Но он не шутил, он был даже как-то вдохновенно, возвышенно, по-чегеваровски торжествен. И я задумался над тем, что мы, европейцы, всё-таки очень далеки от латиноамериканского видения и восприятия мира, их менталитета.

— У сандинистов были «лучшие чтецы» такого-то стихотворения и такого-то, — задорно и с ностальгией, как о несбывшемся в молодости, продолжал Кортасар. — Выходил в центр круга партизан — и читал пламенное стихотворение «Лев»: «Народ разбил свои оковы вековые; / всесильный, как поток, и мощный, как титан. / Бастилию он сжёг; пожары роковые / поёт труба; сигнал к спасенью мира дан. / Рыча и прядая, спускается с высот / лев — Революция, как ветер очищенья, / и щерит пасть свою и гривою трясёт!..»

— Сильные стихи, — отметил я. И, дабы снизить политический накал, вернулся к связям музыки с литературой, которых мы касались, говоря о московском метро.

— Между прочим, Маркес, который ещё больший, чем я, почитатель, настоящий фанат Рубена Дарио, — говорил Кортасар, — он битый час однажды у меня на даче в Провансе читал наизусть его стихи, так вот Гарсиа Маркес — неплохой музыкант. Вы не слышали о колумбийском композиторе и

исполнителе Пачо Рада? Гарсиа Маркес увековечил его в романе «Сто лет одиночества» под именем Франсиско Эль Омбре. В четыре года Пачо взял в руки аккордеон и не расставался с ним, бродя по Колумбии, Венесуэле, переходя из деревни в деревню, из города в город. Праздники не обходились без него, он и сейчас играет в своей хижине на окраине городка Санта-Марта…

Сам Маркес так ответил на вопрос о связях литературы с музыкой:

«Я сам, более всерьёз, чем в шутку, сказал однажды, что „Сто лет одиночества“ — это валленато на четыреста страниц, а „Любовь во время холеры“ — болеро на триста восемьдесят. В некоторых интервью я признавался, что не могу писать, слушая музыку, так как больше обращаю внимание на то, что слышу, чем на то, что пишу. По правде говоря, я слышал больше музыкальных произведений, чем прочёл книг. Думаю, что осталось совсем немного не знакомой мне музыки. Больше всего меня удивил случай, когда в Барселоне двое молодых музыкантов навестили меня, прочтя „Осень Патриарха“, чья структура напоминала им третий фортепьянный концерт Б. Бартока. Я их, конечно, не понял, но меня удивило то совпадение, что на протяжении почти четырёх лет, когда писалась книга, я очень интересовался этими концертами, особенно третьим, который и по сей день остаётся моим любимым… Я считаю, что литературное повествование — это гипнотический инструмент, как и музыка, и что любое нарушение его ритма может прервать волшебство. Об этом я забочусь настолько, что не посылаю текст в издательство, пока не прочитаю его вслух, чтобы убедиться в необходимой плавности. Главное в тексте — это запятые, потому что они задают ритм дыханию читателя и управляют его душевным настроением. Я называю их „дыхательными запятыми“, которым позволено даже внести беспорядок в грамматику, чтобы сохранить гипнотическое действие чтения. Вот мой ответ на вопрос читателей: не только повесть „Полковнику никто не пишет“, но даже наименее значительное из моих творений подчинено гармонической стройности. Только нам, писателям с хорошей интуицией, можно не исследовать тщательно тайны этой техники, так как в этом занятии для слепых нет ничего опаснее, чем потерять невинность».

— …Да, и если говорить о музыке в связи с Маркесом, — продолжал Кортасар, — то, конечно, о маркесовских цыганах! Я не большой поклонник их душераздирающего пения, предпочитаю, конечно, джаз, но цыгане — это в чистом виде музыка. У Маркеса отчётливо прослеживается связь литературы с музыкой, с первых же строк любого романа. Цыган Мелькиадес —

музыкальнейший и поэтичнейший образ! — Кортасар закурил и бросил в море пустую пачку «Житан» с голубым силуэтом танцующей цыганки — она затанцевала на волнах между камнями волнительно-ритмичный танец, и будто послышались её маленькие кастаньеты. — Прислушайтесь: «Он остался в живых, хотя болел пеллагрой в Персии, цингой на Малайском архипелаге, проказой в Александрии, бери-бери в Японии, — Кортасар улыбался, как мальчишка, очарованный приключениями героев Жюля Верна, — бубонной чумой на Мадагаскаре, попал в землетрясение на острове Сицилия и в кораблекрушение в Магеллановом проливе, стоившее жизни множеству людей. Это необыкновенное существо, утверждавшее, что ему известны секреты Нострадамуса, имело облик мрачного мужчины, обременённого горькой славой, его азиатские глаза, казалось, видели обратную сторону вещей. Он носил большую шляпу, широкие чёрные поля которой напоминали распростёртые крылья ворона, и бархатный жилет, покрытый патиной вековой плесени…» Цыгане с их музыкой вообще у латиноамериканцев, но особенно у Маркеса, как, по-моему, и в русской литературе — у Толстого, Достоевского, — играют столь важную роль, что это могло бы стать темой исследования. Не внешнюю сторону брать — фламенко с гитарными переборами, конокрадство, поножовщина, гадания, — но внутреннюю, глубинную. Цыгане — не только музыка, не только тысячелетиями хранящая себя нация и образ жизни. Это философия.

Утопив мою кисть в своей костистой «лопате», неожиданно крепко, жестковато пожав руку, Кортасар моложавой, чуть вихляющей, богемно-хипповой походкой направился к поджидавшей его под козырьком «Ривьеры» молодой особе. А тёмно-голубая одинокая «Цыганка» всё танцевала на зелёной прозрачной воде между подёрнутыми тиной, блестевшими на солнце валунами пористого ракушечника.

Кортасар настоятельно советовал отдать роман в одно из крупнейших издательств континента, аргентинское «Судамерикана». Но у Маркеса была договорённость с совладельцами издательства «Эра», которое печатало его прежние вещи, когда никто другой не брался, — с Висенте Рохо и испанкой Неус Эспресате, супругой Эммануэля Карбальо. Чтобы не обижать друзей, Маркес решил договориться с Висенте, профессиональным художником книги, чтобы он оформил обложку романа, а с Эммануэлем — чтобы тот написал предисловие. Альваро Мутис сомневался, что «Судамерикана» возьмёт, ему они уже трижды отказывали в публикации, «эти

зажравшиеся аргентинцы во главе с каталонцем-владельцем Лопесом Льяусасом и крутым главным редактором Франсиско Порруа». Но Маркес отвечал, что они ещё в начале года предлагали ему издать «Палую листву», «Полковнику никто не пишет», «Недобрый час» и «Похороны Великой Мамы», которые передал им вместе с его литературным портретом для «Наших» Харсс. Тогда он отказался, объяснив, что связан контрактами с другими издательствами. Но недавно Порруа сам попросил выслать ему несколько глав.

Главы романа «Сто лет одиночества» Маркес выслал в Аргентину вместе с откликом Кортасара, статьёй Фуэнтеса, публикациями в «Мундо нуэво» и в «Эль Эспектадор». Порруа ответил сразу: Маркес получил контракт и чек на пятьсот долларов в качестве аванса. Мерседес обрадовалась, заплатила мяснику и отдала часть первоочередных долгов. Но возникла вдруг литагент Кармен Балсельс, она из Барселоны позвонила своему земляку-каталонцу Лопесу Льяусасу, владельцу «Судамериканы», и стала требовать увеличить аванс хотя бы до тысячи. Мутис предположил, что аргентинцы и послать могут куда подальше. Маркес позвонил в Барселону, хотя там была ночь, сказал Кармен, чтобы не мелочилась, не устраивала склок из-за паршивых пятисот баксов, главное, чтобы напечатали роман, притом немедленно, и вложились в рекламу, в распространение.

Вскоре Маркес получил по почте и подписал контракт с издательством «Судамерикана», по которому ему причиталось десять процентов от продажной стоимости книги. Но и после подписания он продолжал править рукопись. И это, по мнению Мендосы, могло продолжаться бесконечно, роман в триста с лишним страниц мог с течением времени превратиться в «небольшую, но неуязвимую повесть или даже рассказ» — если бы не категоричность Мерседес, настоявшей на немедленной отправке рукописи в издательство.

Маркес подчинился, снарядил её на почту (по другой версии, сперва они пошли вместе). Служащий взвесил пакет и сообщил цену: восемьдесят два песо. Покраснев, Мерседес спросила, сколько граммов можно отправить в Буэнос-Айрес за пятьдесят одно песо. Отправив часть, она собрала дома вещи, которые ещё могли принять в ломбард, — миксер, свой фен, отнесла, заложила и отправила оставшиеся страницы рукописи. «Вот, Габо, — устало сказала, вернувшись с почты. — Теперь нам с тобой только не хватает, чтобы твоя книга оказалась никому не нужным барахлом».

В конце осени 1966 года, заняв денег у Мутиса, Мерседес

отправила экземпляр рукописи и в Барселону — её ждала Кармен, чтобы начать массированную рекламную кампанию, публиковать фрагменты и организовывать переводы на основные европейские языки, так как уже имелась договорённость с переводчиками на французский, английский, итальянский. Пятьсот долларов «Судамериканы» к тому времени иссякли, Маркес почти бросил курить, и взрослая половина семьи Маркесов старалась через день обходиться без обедов: Мерседес похудела, но делала вид, что весьма рада этому.

От Кармен о романе узнал редактор испанского издательства «Сейс-Барраль» Ферратер и попросил рукопись. Прочитав роман за ночь, он позвонил и стал уверять, что с «Судамериканой» контракт надо расторгнуть, а заключить с ними, ибо издание в «Сейс-Барраль» такого потрясающего романа практически гарантирует автору получение самой престижной для испаноязычных авторов Премии Малой библиотеки. Маркес отказался.

Накануне Рождества Мутис, уже год работавший представителем крупнейшей американской кинокомпании «XX век Фокс» в Латинской Америке, отправился в командировку в Буэнос-Айрес — главным образом для того, чтобы лично отвезти в «Судамерикану» копию рукописи романа «Сто лет одиночества»: Маркес почему-то был уверен, что отправленная Мерседес рукопись затерялась.

Мутис позвонил поздно вечером того же дня, когда прилетел в аргентинскую столицу. Сообщил, что не успел по телефону и заикнуться о романе, как Порруа заорал, что получил оба пакета, роман гениальный! Сказал, что необходимо встретиться, — и через двадцать минут примчался в отель «Пласа», где остановился Альваро. В баре главный редактор «Судамериканы», точно военачальник, докладывал Мутису о полной боевой готовности к изданию романа — уже были «заряжены» наиболее влиятельные газеты, журналы, радиостанции, телевидение, рекламные агентства… В конце разговора Альваро поинтересовался, решил ли Габо проблему с друзьями — Висенте Рохо, Неус и Карбальо?

Проблему с друзьями Маркес не решил. Было стыдно. Друзья поддержали его в тяжелейшую пору, верили в него, помогали, надеялись… Продумав предстоящий тяжёлый разговор, всячески обосновав и всесторонне подкрепив свои аргументы, настроившись на дружески-ласковый лад, он пришёл под вечер в издательство «Эра».

Поцеловавшись с Габриелем, Неус спросила, почему он мрачный, когда они ждут не дождутся его «Ста лет», и сказала, что готовится нечто невообразимое. Висенте Рохо объяснил, что

они уже договорились со многими книготорговыми организациями Мексики, Венесуэлы, Перу, Колумбии… Маркес спросил про Аргентину, Неус сказала, что в Аргентине пока артачатся, там монополия этого монстра «Судамериканы», но обязательно пробьют и Аргентину. Набрав воздуху в лёгкие, как перед прыжком в воду, выдохнув, глотнув кофе, Маркес попросил ничего не пробивать. Неус и Висенте уставились на него. Неус сказала, что Эммануэль уже написал шикарнейшую рецензию на их будущую книгу. И Маркес признался, что роман у них печатать не будет, право на издание «Ста лет» он продал аргентинскому издательству «Судамерикана».

— За тридцать сребреников продали, сеньор Гарсиа Маркес? — помолчав, спросила Неус.

— Поймите! — вскричал Маркес. — Этот роман — может быть, самое главное в моей жизни! И я не мог упустить такого шанса, которого больше не будет, точно знаю! — напечатать книгу в крупнейшем издательстве Латинской Америки!

Маркес предложил Висенте Рохо сделать обложку для книги и пообещал договориться, даже поставить непременное условие хозяевам «Судамериканы», что вступительную статью напишет муж Неус Эммануэль Карбальо.

— Они колоссальный маркетинг провели! — оправдываясь, улыбался Маркес.

— Вы не Габриель Гарсиа Маркес, — сказала Неус. — Вы Габриель Гарсиа Маркетинг.

И вышла, хлопнув дверью. Прозвище это приклеится к Маркесу.

В начале мая Мерседес за ужином прочитала мужу газетную статью, в которой рассказывалось о том, что Че Гевара тайно проник в Боливию и почти год успешно вёл герилью (партизанскую войну). Попытки армии бороться с его отрядом напоминали бой с тенью, военные несли потери, толком не зная, кто сражается против них. Дело дошло до того, что суеверные солдаты начали утверждать, что воюют не с людьми, а с призраками. Всё изменилось, когда солдаты захватили двух мужчин, показавшихся подозрительными. Был приказ живыми никого не брать. Но спасла случайность — репортёр боливийской «Пренсии» ухитрился сфотографировать пленников. Новость о том, что сам Реже Дебре схвачен в Богом забытой деревушке в далёкой стране, облетела мир. В Америке и Европе знали этого двадцатишестилетнего французского интеллектуала, сына влиятельных родителей, написавшего книгу о кубинской революции, и личного друга Фиделя Кастро. В его защиту

выступил весь левацкий истеблишмент Франции во главе с Жаном Полем Сартром, делом занялся лично президент де Голль и даже папа римский отправил письмо диктатору Боливии Барриенто, выражая обеспокоенность судьбой Дебре. О том, чтобы тайком расстрелять и захоронить пленников, теперь не могло быть и речи…

Мерседес спросила, действительно ли этот Че верит в мировую революцию и что он всё-таки за человек. Маркес, помолчав, ответил, что он, может быть, и не человек вовсе…

Весной 1967 года Висенте Рохо сделал эскизы к книге и показал их Маркесу, которому они очень понравились, особенно развёрнутая в обратную сторону буква «е» в слове «Soledad» («Одиночество»).

— Так пишут у нас, в Колумбии, простые люди, — сказал Маркес. — Эта перевёрнутая буква в названии словно делает одиночество ещё более одиноким. И синие прямоугольники со срубленными углами и чёрными и оранжевыми картинками из наших сказок: и рыбки летающие, и ангелы, и падающие звёзды… И хорошо, что всё на девственно-чистом белом фоне. Я — за! Но кажется, они уже прогнали первый тираж, подгадывая к каким-то уже готовым к публикации рецензиям, статьям, интервью, я уже сам дал несколько… Но не беда — даю тебе сто процентов гарантии, что будет и второй тираж, и третий — и уж точно с твоей обложкой, даже не сомневайся!

Книга вышла 30 мая 1967 года тиражом восемь тысяч экземпляров (и Маркес сразу написал письмо, что не несёт ответственности за затоваривание склада издательства). На обложке был изображён галеон в зарослях сельвы. Но следующие тиражи — в десять, пятнадцать, тридцать, сто, двести, пятьсот тысяч, миллион экземпляров — неизменно печатались с обложкой Висенте Рохо и сделали его популярным во всей Латинской Америке оформителем книг. Не все, правда, сразу поняли идею художника — например, владелец книжного магазина в Гуаякиле выставил рекламацию и потребовал не поставлять бракованный товар — книг с опечаткой на обложке, которую он «вынужден, прежде чем пускать в продажу, на каждом экземпляре исправлять от руки».

Крупнейший еженедельник «Примера Плана» в июне направил своего ведущего обозревателя Шоо в Мехико для эксклюзивного интервью с Гарсиа Маркесом, которое планировалось дать с портретом автора романа на первой полосе к началу продаж. Но газета опоздала — тираж был раскуплен. (Кстати, как и вышедший в те дни альбом «Сержант Пеппер»; было две темы для обсуждений в прессе, в кафе — «Битлз» и

Маркес.)

Двадцатого июня, когда Маркеса пригласили в Буэнос-Айрес уже в качестве автора бестселлера, а также члена жюри литературного конкурса «Примера Плана Судамерикана», был запущен второй тираж книги, о чём и поспешил сообщить прямо в аэропорту счастливый главный редактор Франсиско Порруа. Рейс из Мехико был поздний, самолёт приземлился в половине второго ночи.

— Добро пожаловать! — сказал Порруа, преподнеся Мерседес огромный букет белых роз. — Каково будет ваше первое желание на гостеприимной аргентинской земле?

— А что, если нам сразу отправиться в пампу? — спросил Маркес. — Встречать рассвет, пить вино, есть асадо, мне так расхваливали по-аргентински жаренное мясо!

«Глядя на Гарсиа Маркеса, — писал Мендоса, — на его яркий, пёстрый, карибской расцветки пиджак, на его узкие брюки а-ля Пьетро Креспи, цыганские золотые зубы, слыша его менторский тон, грубоватый юмор и обескураживающую прямолинейность, Франсиско Порруа и Томас Злой Мартинес начали понимать, что только такой cataquero, выходец из Аракатаки, странствующий собиратель историй, мог сочинить роман, который за две недели „положил на обе лопатки“ тысячи аргентинских читателей».

О том незабываемо-триумфальном пребывании Маркеса в Буэнос-Айресе мне рассказала исследовательница его творчества Мину Мирабаль:

— Папина младшая сестра Хулия тогда работала редактором издательства «Судамерикана». Она знала Буэнос-Айрес лучше многих байресцев и иногда сопровождала чету в поездках и прогулках по городу. В принципе, Габо уже не был безвестным. За год до того там вышла антология латиноамериканского рассказа «Десять заповедей», в которую были включены рассказ «У нас в городе воров нет» и литературный автопортрет Маркеса, как и других участников антологии. Маркес, прирождённый рекламщик, о себе написал, что родился под знаком Рыб, о чём не жалеет, женился, писателем стал из робости, а истинное его призвание — маг, но слишком нервничал, пытаясь творить чудеса, и поэтому стал искать прибежище в одиночестве литературы. Литература же даётся ему с превеликим трудом, он физически борется с каждым словом, и почти всегда победа остаётся за словом. Он никогда не говорит о литературе, ибо не знает, что это такое, но ему кажется, что он бы принёс человечеству гораздо больше пользы, если бы стал не писателем, а террористом.

— Габо нравилось всё, начиная с потрясающего полного

названия — Город Пресвятой Троицы и Порт нашей Госпожи Святой Марии Добрых Ветров, — рассказывала Мину. — В Байресе Габо принимали как настоящего ВИП-гостя: кормили, поили, возили… Но иногда он выкраивал или даже вырывал — а он может быть резким, особенно с теми, от кого не зависит, — немного времени, чтобы просто пройтись, и чуть ли не из каждой витрины с обложки журнала «Примера Плана» смотрел на них с Мерседес, лукаво улыбаясь в чёрные усы, Габриель Гарсиа Маркес. Однажды они обедали в ресторане на Авениде Касерос, столики стояли на улице под платанами, и Маркес увидел женщину с полными авоськами продуктов, а между помидорами, кабачками, баклажанами виднелась до боли знакомая обложка его «Ста лет» — он аж подскочил на месте, рот был занят пищей, так что замычал восторженно, замахал руками, чтобы и Мерседес с Хулией увидели эту картину!.. Вечером Габо попросил отвезти его в бар «Лондон», в котором собирались герои романа «Выигрыши» Кортасара, потом прошёлся по улицам, там упомянутым, — Перу, 25 Мая, Флориды… И сказал, что только теперь, побывав в этом месте, в Буэнос-Айресе вообще, удостоверился в том, что Кортасар — писатель латиноамериканский. Пару раз он посещал и злачные портовые заведения, в которых зарождался танго-танец, — это и сейчас бордели, но настоящих не осталось, всё на потребу туриндустрии.

— А почему всё-таки Маркес выбрал для своей премьеры именно Аргентину?

— Интуиция. Как потом многие «наши» признавали, в биографии Габо именно потрясающая, какая-то звериная, генетическая интуиция, доставшаяся ему от предков, сыграла главную роль. Только Буэнос-Айрес обладал условиями для создания бестселлера, каковым стал роман «Сто лет одиночества», прежде чем был отмечен в Нью-Йорке, Париже, Риме, Стокгольме… Они с Мерседес бывали в магазинах, покупали кое-что из одежды, в Байресе множество модных бутиков. Хотя потом Габо уверял, что купил только собрание сочинений Борхеса. Были, естественно, в оперном театре «Колон», где, по-моему, давали Чайковского. Их пригласили на премьеру в театр Института Ли-Телла. Они опоздали на несколько минут — я не исключаю, что Габо задержался умышленно, усвоив и как бы процитировав манеру появления на аудитории триумфаторов, от Юлия Цезаря до Иосифа Сталина. Между рядами по партеру шли при погашенном свете, когда спектакль уже начался. И вдруг — по команде Порруа, как выяснилось, — прожектор выхватил их из темноты и «повёл», приковав внимание всех зрителей, — Мерседес так растерялась, что стала закрываться ладонями и

вообще хотела убежать. Раздались аплодисменты, крики «Браво!», «Виват!», «Спасибо за блистательную книгу!», «Да здравствует Гарсиа Маркес!». Оглушительные аплодисменты (актёры со сцены в костюмах и гриме тоже аплодировали) перешли в овацию…

До отеля их сопровождала толпа, забрасывая цветами. На следующий день Маркеса с супругой переселили в гостевую резиденцию с охраной и секретаршей, которая должна была отвечать на шквал телефонных звонков. Но отбоя от поклонников не было, они и ночью дежурили на улице, вожделея получить автограф. Мерседес спросила мужа, не снится ли ей, так и не выкупившей фен из ломбарда, всё это.

Задержимся в Буэнос-Айресе. Как рассказывала тётушка Хулия, там могла и иначе решиться судьба будущего романа Маркеса «Осень Патриарха» — не исключено, что в роли главного героя могла бы выступить и женщина (ведь была женщина папой римским, точнее, папессой, были императрицы с диктаторским нравом, королевы).

— Во всяком случае, — рассказывала Мину Мирабаль, — пребывание Маркеса в Байресе, его посещение могилы жены президента Аргентины Перона Эвиты, которая уже много десятилетий является местом паломничества, рассказы о ней наложили отпечаток на образ супруги его Патриарха в романе. Но интерес к этой выдающейся женщине пробудил в Маркесе, возможно, Борхес. А Борхес, один из главных противников перонизма, будучи, как и большинство значительных писателей, далёк от объективности и не лишён чувства ревности (неслыханная популярность Эвы в народе при жизни граничила с массовым психозом), об Эвите, после её смерти, естественно, говорил вот как: «Жена Перона была обыкновенной проституткой. Содержала бордель около Хунина. И это должно бы её раздражать: я имею в виду, быть шлюхой в большом городе — совсем не то же самое, что в городишке среди пампасов, где все всё обо всех знают. Быть там шлюхой — это всё равно что быть парикмахером или хирургом. Должно быть, её это страшно злило — неприятно, когда тебя все знают, презирают и при этом пользуют». Моя тётя, тоже феминистка, была знакома с Эвой, они родились в один день, 7 мая. И тётушка Хулия до сих пор высокого мнения об Эвите. Да, она была сексапильной, обладала сексуальной харизмой. Да, на своей вилле на Итальянской Ривьере она сразу занялась любовью с Онассисом, а утром приготовила греческому магнату-судовладельцу знаменитый омлет с помидорами и получила от него десять тысяч долларов на благотворительность — это был «самый дорогой в жизни

омлет», как выразился Онассис. Маркес заинтересовался судьбой Эвиты вовсе не как шлюхи, а как действительно незаурядной женщины (мы помним, он и раньше о ней писал). Мать Эвиты, когда отец погиб в автокатастрофе, содержала бордель. Эвита в четырнадцать стала любовницей певца и танцора танго Хосе Армани, который отвёз её в Буэнос-Айрес, где она первое время танцевала в борделях Боки — старого порта, где танго зародилось, изначально было танцем проституток, так и называлось: «Дай жетончик», потому что зарплату жрицам любви выдавали по жетонам, которыми расплачивались с ними клиенты в номерах. Она позировала для порнографических журналов, играла в полуподпольных театриках, где совокуплялись на сцене… Короче говоря, познакомившись с полковником Пероном, она сказала: «Если, как вы говорите, дело народа — ваше дело, каких бы жертв это ни требовало, то я буду с вами до самой смерти!» И была. Во время «радужного тура» по Европе Эвитой восхищались римский папа Пий XII, генералиссимус Франко, португальский президент Салазар, все европейские президенты и премьер-министры! Её авторитет был исключительно высок, в Аргентине ей присвоили титул «Духовного лидера нации». До сих пор простые люди её помнят как «Эву, пожертвовавшую жизнью ради народа». К сожалению, Маркес не написал о ней. А вот Томас Элой Мартинес написал роман «Святая Эвита». И Эндрю Ллойд Уэббер создал мюзикл в духе «Иисус Христос — суперзвезда» — «Эвита» с Мадонной в главной роли.

И по свидетельствам других исследователей, Маркес размышлял над книгой о жене диктатора и неоднократно возвращался к этой мысли. «Женщины правят миром», — убеждённо повторял он. И частенько, как потом признавался Мину, вспоминал рассказ тётушки Хулии о том, как влиятельный аргентинский дипломат Брамуглия заявил Эвите: «Не забывайте, сеньора, что во время моих заграничных поездок президент мне каждый день пишет». Что было правдой. Но Эвита парировала: «А вы, Брамуглия, не забывайте, что со мной президент каждую ночь спит». И Брамуглия был отправлен в отставку.

Женские образы Маркеса превосходны. Его всегда прельщали первые лица — а в XXI веке женщины Латинской Америки начали выходить на лидирующие политические позиции, становясь президентами и премьер-министрами. Если уж, как утверждают некоторые историки, латиноамериканское бытие в принципе немыслимо без диктатур, то смеем надеяться хотя бы на то, что очередная диктатура в Парагвае, скажем, или в Никарагуа будет не со свиным рылом Сомосы, а с привлекательными женскими чертами.

В перуанском журнале «Амару» была опубликована статья писателя Марио Варгаса Льосы о романе «Сто лет одиночества» — «Амадис в Америке». Она стала самым основательным откликом на появление романа и, как выяснилось, — основополагающей, притом написанной «равным по званию», что делает её особенно примечательной.

«Выход в свет романа Габриеля Гарсиа Маркеса „Сто лет одиночества“ представляет собой событие чрезвычайное… — пишет Варгас Льоса. — Невероятно насыщенная проза, технически непогрешимое очарование и дьявольская фантазия…»

С Льосой Маркес был знаком прежде по переписке и по книгам без фотографий автора. Поэтому, увидев его в аэропорту Каракаса «Майкетия» (самолёты из Мехико и Лондона приземлились с разницей в четверть часа), принял этого высокого, длинноволосого, с чёрными бровями вразлёт, сросшимися на переносице, модно одетого парня, прилетевшего с Туманного Альбиона, за плейбоя, если не мафиозо. И удивился, когда тот с голливудской улыбкой представился на манер агента 007 Джеймса Бонда:

— Варгас Льоса, Марио Варгас Льоса!

— Вот уж никогда бы не подумал, встретив тебя, что это серьёзный писатель!

— Я бы сразу понял! — обнял он Маркеса и, немного, в три четверти повернувшись к теле- и фотокамерам, оказавшимся тут как тут, провозгласил: — Я потрясён и смят, считаю, что такое, как «Сто лет…», появляется уж точно не чаще, чем раз в сто лет! Это величайший роман нашего времени!

— Ну уж, скажешь тоже, — отвечал Маркес, не зная, куда деться от вспышек и вопросов со всех сторон. — Не скромничай, твой роман «Город и псы» изумителен!

Тут из «накопителя» вывалила толпа пассажиров сразу нескольких прибывших авиарейсов, писателей узнали, окружили, с восторженными криками стали просовывать что угодно для автографа (у пассажиров оказалось даже несколько экземпляров романа «Сто лет одиночества», что поразило Маркеса): блокноты, пакеты, журналы, пачки сигарет… Девушка умоляюще протянула свой авиабилет, а её подруга, рослая грудастая блондинка в чилийском пончо, приблизилась к Маркесу вплотную, повернулась к толпе спиной, задрала пончо и подставила для автографа левую грудь.

— А вот такого, пожалуй, ни с кем из самых великих не приключалось! — восторгался Марио в машине.

В номере Маркеса пили коньяк, закусывали лимоном.

— Между прочим, старик Ромуло Гальегос нашёл в наших с

тобой судьбах много общего, — говорил Варгас Льоса. — И я был поражён тому, как много! Во-первых, он считает, что у нас один писательский масштаб и калибр. Мы с тобой оба воспитывались дедушками по материнской линии, оба были избалованными детьми. Детство в раю и у тебя, и у меня закончилось в десятилетнем возрасте. Мы оба поздно узнали родителей. Обоих отцы пытались отвратить от писательства. Оба учились в религиозной школе. Оба получили диплом бакалавра в интернате. И ты, я не сомневаюсь, писал в отрочестве стихи. И оба напечатали первые рассказы в двадцатилетием возрасте. И книжки читали, конечно, одни и те же: Рабле, Дефо, Дюма, Гюго, Достоевский, Дарио, Борхес, Фолкнер… И начали добывать хлеб насущный журналистикой. И притянул магнитом обоих Париж…

— Давай за него!

— За Париж и за женщин! За мадам Лакруа!

— Что?! — вскричал Маркес. — Откуда ты её знаешь?

— Я жил у неё во «Фландре». Милейшая женщина! И так же, как ты, выпивал по вечерам в баре «Шоп Паризьен». И нам отказали в публикации первых романов…

На следующее утро, 4 августа, едва выйдя из отеля, Маркес вновь был окружён и взят в плен журналистами и поклонниками — освободил его лишь решительный Варгас Льоса. Но и за завтраком не было отбоя — то тут, из фойе, то там, с улицы, блеснёт фотовспышка…

Обладая ораторским даром, великолепной памятью, чувством юмора, красивым бархатистым тембром голоса, выступил Варгас Льоса с ответной речью после получения премии Ромуло Гальегоса прекрасно — на зависть другу, сидевшему в президиуме с краю и беспрерывно дымившему (как ВИП-гостю Маркесу разрешалось курить в президиуме). Он говорил о большинстве населения континента, живущего в тяжелейших условиях; о роли писателя и литературы в Латинской Америке и в современном мире вообще, о трудностях, с которыми сталкивается писатель, и порой смертельных опасностях, которым подвергается, о мужестве писателя… Ему аплодировали. По настоянию Льосы заключительное слово было предоставлено Маркесу. Ровно за сутки до этого тот потерял аппетит, готовя речь, вновь и вновь переписывал её… «Мы сидели с ним рядом в президиуме, — вспоминал Варгас Льоса. — И, пока он не вышел к трибуне, я чувствовал, как физически мне передаётся его даже не волнение, а отчаянный страх: окутанный клубами дыма, как летучая мышь, он был мертвенно-бледен, капли пота катились у него по вискам, вспотели ладони… Он начинает говорить и первые секунды едва ворочает языком, вызывая недоумение

присутствующих: кажется, вот-вот надо будет вызывать „неотложку“… Но слово за слово, фраза за фразой — и постепенно сплетается какая-то необыкновенно увлекательная история. И вознаграждает его зал бурными, как никого из опытных ораторов, аплодисментами… У Габо есть одна характерная черта, которая особенно меня восхищает: всё превращать в анекдот, притом с завязкой, кульминацией, развязкой и вызывающий смех, хотя впору нередко плакать».

Двенадцатого августа переместились в Боготу. Глядя из самолёта на огни колумбийской столицы, некогда так неприветливо его встретившей, он тихо сказал: «Ты сделал это!» — и, чокнувшись со своим отражением в иллюминаторе, выпил виски. Но нельзя сказать, что на этот раз Богота приняла его как родного. Роман туда ещё не дошёл, да и критика, и вообще было впечатление, что колумбийцы на что-то обижены. Так что особых почестей земляку не воздавалось. В очередной раз подтвердилась истина: в своём отечестве пророков нет. Льоса улетел к себе в Лиму, чтобы загодя «подготовить фанфары и расстелить ковровую дорожку к приезду Габо». Маркес — в Барранкилью, чтобы побыть с родителями, женой, детьми, с хохмачами из «Пещеры».

Сразу по прилёту в Лиму Маркес попал на крестины — стал крёстным отцом второго сына Варгаса Льосы, названного в честь нашего героя — Габриелем.

Через два дня, заполненных приёмами, встречами и пресс-конференциями, в присутствии интеллектуальной элиты Перу и при огромном стечении народа (не висели разве что на люстрах) в актовом зале архитектурного факультета Национального инженерного университета состоялся «исторический диалог самых знаменитых писателей Латинской Америки», посвящённый латиноамериканскому роману.

О том диалоге классиков писали многие исследователи, цитировали и по сей день его цитируют, он вошёл в учебники, диссертации, так что мы вправе его здесь опустить.

«— …В заключительной главе романа Макондо, подхваченный ветром, взлетает на воздух и исчезает, — завершая беседу, сказал Варгас Льоса. — Будешь ли ты следить за полётом Макондо в пространстве?

— Напомню, что рыцарю отрубают голову столько раз, сколько нужно для повествования, — ответил Маркес, — и я не вижу ничего страшного в том, чтобы воскресить Макондо, позабыв, что его унёс ветер, если мне это понадобится. Потому что писатель, который сам себе не противоречит, — это догматик, а писатель-догматик реакционен. Вот уж кем бы я не хотел быть, так это реакционером.

— Твои книги имели успех на родине, они принесли тебе известность, тобой восхищаются в Колумбии, но я думаю, что книга, которая сделала тебя по-настоящему популярным, — это „Сто лет одиночества“. Как ты думаешь, в какой мере может повлиять на твою будущую литературную работу тот факт, что ты вдруг превратился в звезду, в знаменитость?

— У меня возникли серьёзные осложнения. Я даже подумал, что, предвидь я заранее то, что случится с романом „Сто лет одиночества“, — что его станут продавать и поглощать как горячие пирожки, — я бы не стал его публиковать. Я написал бы „Осень Патриарха“ и издал бы оба романа вместе.

— Я знаю, что ты уезжаешь. Скажи, не повлияли ли на твоё решение покинуть Латинскую Америку эта популярность и опасения за последствия успеха?

— Я еду писать в Европу только потому, что жизнь там дешевле».

Шестого октября 1967 года в аэропорту Маркес купил журнал «Life» с фотографией Че на обложке и анонсом. В журнале был опубликован фоторепортаж под названием «Боливийские портреты исчезнувшего Че Гевары». Это были фотографии, найденные офицером боливийской армии в пещере, где останавливался на ночлег отряд Че. На одной из фотографий можно было сразу узнать худого, длинноволосого, бородатого революционера-авангардиста, сидевшего на траве в окружении двенадцати бойцов — точно апостолов.

Глава вторая
ТРИУМФ. ТРАГЕДИЯ. ФАРС

Читателей Советского Союза страсть к творчеству неизвестного до того латиноамериканца обуяла тотчас после публикации романа на русском. Тираж сразу расхватали, книгу достать было невозможно, её давали почитать «на одну ночь».

Но страсть была, безусловно, продолжением какой-то неуёмной любви советского народа к Кубе, барбудос, Фиделю Кастро, Че Геваре…

«Куба, любовь моя!..» — разливалась песня о героях-бородачах «от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей». Фиделя Кастро встречали в Москве почти как Юрия Гагарина — сотни тысяч человек восторженно размахивали кубинскими флажками и, крича «Вива, Куба!», запускали в небо разноцветные воздушные шары. В сознании советских граждан они были сопоставимы: отважные, страшно симпатичные молодые люди атаковали и победили, один — космос, другой — Америку, оба открыли новые миры.

О Фиделе ходили легенды, сочинялись задорные частушки: «Валентине Терешковой за полёт космический / Фидель Кастро подарил х… автоматический!» Он был молод, высок, благороден (тем более по сравнению с нашим низеньким, толстеньким, лысым и в летах Хрущёвым). Он восхищался красотой русских женщин, особенно стюардесс. Егерь правительственного Завидовского заповедника Александр Н. рассказывал мне, как обслуживал Хрущёва с Фиделем на охоте. Чтобы добыча была гарантирована, зверьё — кабанов, а то и лосей, оленей — во время «королевских», сиречь политбюровских, охот не только загоняли целыми батальонами, не только усиленно прикармливали перед вышками, но и привязывали, дабы ни один высокий гость даже с трясущимися от старости и обильных возлияний руками не мог бы промазать. Увидев такое, Фидель возмутился и покинул заповедник. Молва разнеслась по окрестным верхневолжским деревням и всему Союзу. И в тысячах изб поднимались и со звоном сталкивались гранёные стаканы с национальным русским напитком за товарища Фиделя Кастро Рус (ходил слух, что и Рус он присовокупил к своему имени из любви к русскому народу, что, конечно, не так).

Че Гевару, тоже приезжавшего в СССР в начале 1960-х, народ полюбил не меньше, а прекрасная половина, может, и больше.

Сыновей называли Эрнестами — как в честь Хемингуэя, так и в честь Че. Носили, как он, береты. Отпускали бороды. Курили сигары (на Комсомольском проспекте в Москве открылся сигарный магазин «Гавана», в который выстраивались очереди). Фотографии Че Гевары вырезали из журнала «Огонёк», обрамляли, вешали на стены — у нас в деревне Новомелково на Волге я видел и рядом с образами. На другом берегу, у Видогощи (где егерем работал писатель Саша Соколов), студенческий отряд из Москвы строил коровник. Отряд был интернациональный, и один из студентов, большеглазый, носивший берет со звёздочкой, бородку, говоривший с акцентом и певший под гитару, назвался Геварой, двоюродным братом команданте Че. Однажды после танцев я стал свидетелем лютой драки деревенских девчонок за этого Че Гевару-младшего. Потом выяснилось, что звали стройотрядовца Эрнест Геворкян.

Вначале открыла Маркеса, естественно, интеллигенция, увидев в содержании «Ста лет одиночества» и то, что выразил латиноамериканист Валерий Земсков: «Роман Гарсиа Маркеса — это копилка всего арсенала мифотем XX века и идей философии „кошмара истории“ и „абсурда бытия“. Но сделал Гарсиа Маркес со всем этим арсеналом по своему внутреннему смыслу примерно то же, что в своё время сделал с рыцарским романом Сервантес, — он травестировал, опроверг, как не отвечающих времени, и жанр, и тип сознания, что его порождает, он высмеял, разоблачил и уничтожил их смехом…»

Латинская Америка ворвалась, вторглась, вломилась в нашу бедную, но спокойную и размеренную жизнь 1960-х годов. Внесла смятение чувств. Мы начали осознавать, что прозябаем, когда где-то творится такое! А поскольку советский народ был самым читающим в мире, прочитали роман «Сто лет одиночества» рекордное количество человек (сейчас, в XXI веке, самые раскрученные американские блокбастеры вряд ли собирают столько зрителей). Однажды, направляясь за город, я в сквере, трамвае, на эскалаторе, в вагоне метро, на площади трёх вокзалов, в электричке насчитал шестьдесят шесть мужчин и женщин, читающих «Сто лет одиночества»!

Виктор Астафьев и Василий Белов, называемые в 1970–1980-х годах «писателями-деревенщиками», неоднозначно относясь к творчеству Маркеса (смущали, конечно, слишком откровенные сцены), в разговорах с автором этих строк тем не менее причисляли его к «своим», «деревенщикам».

— Горожанин так не напишет! — помню, как всегда энергично, торопливо, убеждённо говорил Виктор Петрович Астафьев. — Только человек, в деревне выросший, до корней

знающий и любящий её, будь то русская или колумбийская. У него герои похожи на наших мужиков, ей-богу. Ну чем не чудики Шукшина Василий Макарыча? Те аэроплан изобретали, чтоб улететь к еб…й матери, а у Маркеса золото искали с магнитом, который цыгане принесли. Я сам таких знал, и в деревне, и на фронте… И бабушка сказки мне рассказывала, кое-что удалось вспомнить в «Последнем поклоне». Конечно, деревенщик! Образ, подход у него деревенский. И слышит, и жалеет по-деревенски. Испанского не знаю, но и язык у Маркеса не городской блёкло-стёсанный — деревенский, своеобычный.

Василий Иванович Белов, работавший тогда над книгой «Лад», «энциклопедией народной эстетики», как назовёт её Валентин Распутин, также отметил, что русский «лад» и латиноамериканский в чём-то — главном — созвучны, хотя история и культура не то что не похожи, а где-то и прямо противоположны.

«В те времена никто ничего не замечал, — пишет Маркес в романе „Сто лет одиночества“, — и, чтобы привлечь чьё-то внимание, нужно было вопить…» Казалось, это не про них, латиноамериканцев, это про нас. Роман представлялся едва ли не бунтарским, зовущим на бой — за честь и достоинство человека. Тогда едва-едва отгрохотали автоматные очереди по забастовавшим рабочим в советском Новочеркасске, когда чудом уцелевший маркесовский герой, ставший свидетелем расстрела рабочих банановой «United fruit company», возвратился домой, в Макондо. Но официальные средства информации твердили: «Мёртвых не было». Хосе Аркадио Второй говорит, что мёртвые были, но ему не верят, его не понимают, ему даже сочувствуют:

«— Там было, наверное, тысячи три… — прошептал он.

— Чего?

— Мёртвых, — объяснил он. — Наверное, все люди, которые собрались на станции.

Женщина посмотрела на него с жалостью:

— Здесь не было мёртвых…»

«В этом забвении, отчасти искусственно организованном, — писал знаменитый поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко, — отчасти являющемся самозатумариваем с целью не думать о чём-то страшном, что, не дай бог, может повториться завтра, Гарсиа Маркес видит одну из опаснейших гарантий возможности повторения кровавого прошлого. Люди, помнящие о вчерашних преступлениях, среди тех, кто забыл об этом или старается забыть, чувствуют себя изгоями, мешающими общей самоуспокоенности, и выглядят подозрительными маньяками в своём усердии напоминать. Книга Гарсиа Маркеса — это попытка

связать в единый узел все разорвавшиеся или кем-то расчётливо разъединённые звенья памяти. Память с выпавшими или устранёнными звеньями — лживый учебник. <…> В этой книге нет хилых, ковыляющих чувств, — даже, казалось бы, низменные страсти исполнены возвышающей их силы… Эта книга, несмотря на то, что она взошла на перегное всей мировой литературы, не пахнет бумагой и чернилами: она пахнет сыростью сельвы, горьким по́том рабочей усталости и сладким по́том любви, мокрой шерстью бродячих собак, дымящейся фритангой, амброй женской кожи и порохом. Эта книга матерится и молится…»

В СССР Маркес не то что сделался модным, он стал «своим». Его мировой масштаб, всемирная отзывчивость и покорили нас, русских. В стране, где пытались убить Бога, где по площадям в праздники носили изображения идолов-убийц и безверие возводилось в ранг государственной религии, роман Маркеса стал зеркалом и приговором.

— У меня есть подруга, — рассказывала испанистка Вера Кутейщикова, — которая как-то подошла ко мне и спросила: «Что такое этот Гарсиа Маркес?» Дело в том, что у той моей подруги тоже есть подруга и так далее, цепочка была очень длинная. Так вот та, последняя подруга подруги после того, как прочитала роман «Сто лет одиночества», поняла, что жить без этой книги не может. А так как купить её было невозможно, она поступила по-другому: выпросила у кого-то эту книгу и стала ее переписывать. Придёт с работы домой, поставит пластинку с классической музыкой — и переписывает. И так изо дня в день, строчку за строчкой, чуть ли не полгода, пока не переписала всю до конца. Потом она говорила, что это были счастливейшие часы её жизни. Когда я рассказала эту историю Маркесу, он как-то не особенно на неё отреагировал. Тогда же я взяла с него слово, что в Москве он будет нашим гостем. Он приехал в середине 1980-х на Московский международный кинофестиваль. Был большой переполох, всё начальство встречало его в аэропорту «Шереметьево». Визит был расписан буквально по часам. Но я спросила: «Габо, помнишь, что ты мне обещал?» Сказал, что помнит. И приехал. Что было! Налетела вся наша испанистская, латиноамериканистская кодла, человек тридцать набилось. Поболтали, погалдели. Было ощущение радостной полноты общения с необыкновенным человеком. Когда наболтались, я принесла стопку книг, чтобы Маркес надписал их тем, кто не смог прийти. Когда осталась последняя, я сказала: «А эту надпиши той женщине, которая тебя переписывала». Маркес спросил: «Как её зовут?» Но я этого не знала. И он написал: «Безвестной Пенелопе, которая переписывала мои книги в переводе на русский.

Габриель».

Исследователь творчества писателя Осповат писал, что стержень романа «Сто лет одиночества» — история шести поколений семьи Буэндиа… но история эта развёртывается как бы в нескольких измерениях. Наиболее явственное — классическая семейная хроника, но с первых же страниц начинают высвечиваться и другие измерения, каждое из которых всё шире раздвигает рамки романа во времени и пространстве. В одном из этих измерений столетняя история Макондо обобщённо воспроизводит историю провинциальной Колумбии, точнее, тех областей страны, которые поначалу были отрезаны от внешнего мира, потом задеты вихрем кровавых междоусобиц, пережили эфемерный расцвет, вызванный «банановой лихорадкой», и опять погрузились в сонную одурь.

(«Но влекут меня сонной дер-р-ржавою, / Что раскисла, опухла от сна-а-а!» — пел о России в те годы Владимир Высоцкий, который, кстати, в 1979 году на концерте в МГУ, куда мне удалось проломиться, отвечая на вопрос из зала, с восхищением отозвался о творчестве Маркеса и заметил, что «будто про нас читаешь, какое к чёрту Макондо».)

В другом измерении судьба Макондо отражает судьбу всей Латинской Америки — падчерицы европейской цивилизации и жертвы североамериканских монополий. В третьем измерении — история семьи Буэндиа вмешает в себя целую эпоху человеческого сознания, прошедшую под знаком индивидуализма, — эпоху, «в начале которой стоит предприимчивый и пытливый человек Ренессанса, а в конце — отчуждённый индивид середины XX века». Но нашлось и ещё одно измерение — сопрягающееся с советской действительностью. И тут я не имею в виду социологическую концепцию романа, выдвинутую Осповатом, согласно которой в истории рода Буэндиа представлена, высмеяна, разоблачена и похоронена суть «буржуазного правопорядка», «буржуазного эгоизма». И не имею в виду яростные споры на страницах «Литературной газеты» и других изданий, а также многочисленных брошюр и книг о «силовом поле» сказки, о том, какой именно миф лежит в основе «Ста лет одиночества»: одни видели библейский миф с его сотворением мира, казнями египетскими и апокалипсисом, другие — античный с его трагедией рока и инцеста, третьи — структурный миф по Леви-Строссу, психоаналитический по Фрейду… Четвёртое (или какое-то по счёту) измерение в романе Маркеса — для не столько умных и заумных критиков, философов, сколько советских инженеров и рыбаков, колхозников и врачей, студентов и футболистов, машинистов и учителей, виноградарей и

шахтёров, милиционеров и заключённых, грузчиков и бухгалтеров… Короче говоря, всего этого фантастически-реалистического явления под названием «советский народ», проживавшего в самой большой и могучей стране мира.

Отмечались эпизодические персонажи, которыми наполнен роман, — от колоритного капитана Роке Мясника, специалиста по массовым казням, удручённого своим кровавым ремеслом, до изумительного бродячего певца Франсиско Человека. В них усматривалась схожесть с эпизодическими персонажами русской классической и советской литературы и, как обычно в СССР, высвечивались некие аналогии с советской действительностью.

— А каково отношение Церкви к роману Маркеса? — поинтересовался я у знакомого батюшки, о. Алексия, служившего в древнем храме на берегу Волги (из тех священников, которые читали не только Священное Писание, требники, но и художественную литературу, а славился он тем, что тайно крестил, венчал детей высокопоставленных советских чиновников).

— Да как тебе сказать, Сергий… — задумался он. — С одной стороны — всё так, занятно. Но прямо-таки прёт из всех щелей бесовщина…

«Если „Дон Кихот“ — это Евангелие от Сервантеса, — писал в статье о творчестве Маркеса философ Всеволод Багно, — то „Сто лет одиночества“ — это Библия от Гарсиа Маркеса, история человечества и притча о человечестве».

Эпическая, социальная, философская составляющие романа в СССР, конечно, произвели колоссальное потрясение. Но и эротическая, сексуальная составляющие «Ста лет одиночества» оказались не на последнем месте в стране, где «секса не было».

Помнится, Юрий Нагибин в 1980 году в беседе со мной восхищался умением Маркеса писать распахнуто, но без пошлости, с чувством меры и гармонии.

— Я не очень понимаю, как ему это удаётся, — рассуждал Нагибин. — Хочется испанский язык на старости лет выучить, честное слово! Вот прочитал «Улисса» Джойса в подлиннике, по-английски, хотя с трудом осилил — и иначе всё предстало, точнее и глубже, в том числе и знаменитая джойсовская эротика. Это чрезвычайно сложная и скользкая тема! В кино вот лишь единицы, ну, может быть, великие итальянцы — Феллини, Висконти — умеют показывать эротику, секс, добиваясь желаемого эффекта, не вызывая у зрителя привкуса пошлости. Обратным же примерам несть числа. В нашей эротике непременно присутствует нечто казарменное.

Трудно было с мэтром не согласиться. Кстати о казарме.

Когда я служил в армии, у нас в казарме передавали друг дружке зачитанную буквально до дыр, измятую страницу «про это» из «Ста лет…».

«Маркес лишён фрейдистского однобокого толкования любого человеческого порыва как следствия того или иного сексуального комплекса, — писал Евг. Евтушенко, — но он справедливо ощущает духовное и физическое в неразрывной связи… Волей-неволей Гарсиа Маркес противопоставил свою сагу о семье Буэндиа саге о Форсайтах, ибо правда о человечестве… не только в элегантно страдающей Флер, но и в бывшей крестьянке, теперешней проститутке со спиной, стёртой до крови после стольких клиентов…»

Художница Наталия Аникина, в пору триумфа Маркеса в СССР возлюбленная Евтушенко, рассказывала мне, сколь ошеломляющее впечатление на поэта произвела эротика «Ста лет…»:

— Гроза началась, молнии ослепительные сверкают, ливень!.. Он никогда прежде таким не был!.. И потом писал, писал, массу всего написал! Мне кажется, Женя, обожавший Кубу, Латинскую Америку, и сам как-то иначе, более по-настоящему стал писать после Маркеса — словно новое в нём что-то открылось.

Пожалуй, «Сто лет одиночества» оказалась самой популярной и нужной советскому народу книгой, сделавшейся даже не глотком, а полным вдохом свободы.

С того мгновения, как в иллюминаторе самолёта показался храм Саграда Фамилия — Искупительного храма Святого Семейства Антонио Гауди, Маркеса не оставляло ощущение, что он уже бывал в этом городе. Не сразу он понял, что видел Барселону глазами своего учителя — «учёного каталонца» Рамона Виньеса, завещавшего Габриелю причаститься к каталонской столице, которая не похожа ни на один город мира. Обворожительно женственная, восхитительная, она влюбляет в себя с первого взгляда.

И это, пожалуй, лучший город для вечерних прогулок. Художнику, композитору, писателю, хорошо поработавшему с утра, доставит наслаждение пройтись, чтобы размять ноги и зарядиться на завтрашнюю работу, от площади Каталонии по впадающим, как реки, одна в другую, бульварам Las Ramblas — по Рамбле Каналетас, Рамбле Эстудис, Рамбле Сан-Жузеп, которая круглый год в цветах… От памятника Колумбу у старого порта повернуть налево и пройти вдоль моря, вдыхая приглушённый запах, сотканный из множества запахов древнего Средиземноморья, любуясь женственными абрисами белоснежных

яхт, думая о далёких странах, о будущем. Можно побродить по Кварталу Раздора между улицами Кунсель-де-Сен и Aparo, поделённому великими каталонскими архитекторами-модернистами, задержаться у подножия дома Аматлье, где заложена плитка, от которой берёт отсчёт европейская дорога модернизма. Или погулять по Парку Гуэль Антонио Гауди, который издавна облюбовали кинематографисты и который так похож на «Страну чудес» Алисы Л. Кэрролла; в этом парке собирались анархисты и здесь «пошли под руку анархизм и феминизм». А на закате подняться на Монсерат, послушать лучший в мире хор мальчиков, поющий хвалебную песнь Пресвятой Богородице…

День ото дня Маркес всё глубже осознавал, что не только завещание Рамона Виньеса, но судьба привела его в Барселону: чем-то неуловимым его роман становился созвучен готически-барочно-модернистской архитектуре и ритму этого города, сочетающего, казалось бы, несочетаемое, обращающего едва ли не хаос — в гармонию. Этого города, где творили Гауди, Гранадос, Бунюэль, Миро, Дали, Пикассо…

«Когда читаешь „Сто лет одиночества“, то слишком заметно: автору не хватило времени написать книгу как следует, — признавался Маркес. — С „Осенью Патриарха“ было совсем иначе, на эту книгу у меня было семь лет, я мог работать спокойно».

Маркес называл всё им написанное прелюдией к роману о власти, о выборе, о рабстве, о свободе. Он предполагал, что если бы не «закрыл на ключ» «Сто лет одиночества», а полковник Аурелиано Буэндиа не проиграл войну (тем более что в XX веке войны оказались более «невозвратными», чем в рыцарские времена), а выиграл — он и стал бы патриархом. И есть момент, когда Буэндиа мог победить, взять власть и сделаться самым кровавым из диктаторов.

«Но в таком случае моя книга бы вышла совсем другой. Поэтому я оставил такой — неожиданный — поворот на потом, а именно для книги о диктаторе, которую держал в голове очень давно. В этом смысле, думаю, „Сто лет одиночества“ можно считать прелюдией к „Осени Патриарха“. А иными словами, книга, которую я всё время искал, вынашивал, хотел написать — это не „Сто лет“, а „Осень“. Вот так».

А между тем «Сто лет…» и в Европе продолжали своё триумфальное шествие. Маркес познакомился с Росой Регас, сексапильной красавицей, похожей на Ванессу Редгрейв в фильме Антониони «Фотоувеличение» (по мотивам рассказа Кортасара), фривольной писательницей, носившей такие мини-юбки, что

казалось, будто она просто забыла надеть юбку, самой энергичной и скандальной рекламщицей в Барселоне. От романа «Сто лет одиночества» Роса «торчала, была в полнейшем экстазе», он «доводил до оргазма, вышибал дух». «Я безумно влюбилась в эту книгу, — вспоминала она через много лет, став владелицей одного из крупнейших издательских домов. — В сущности, я до сих пор всюду вожу её с собой и всегда нахожу в ней что-то новое. Она, как „Дон Кихот“, книга на века. Но в те дни казалось, она апеллирует непосредственно ко мне. Это был мой мир. Мы все были от неё без ума, были помешаны на ней, как дети; передавали её из рук в руки».

Маркес понимал, что книга о диктаторе требует иного подхода. Она должна была стать гораздо более литературно усложнённой, чем «слишком лёгкий» роман «Сто лет одиночества», который и нравится читателям не за то, что самому автору казалось в нём хорошим, а за то, что, наоборот, представлялось слабым, «похожим на многосерийный телевизионный фильм». (К слову, пресловутые мексиканские сериалы с Ромарио, Марианной и иже с ними, дошедшие до СССР в перестройку, к середине 1980-х, как раз в 1960-х в самой Мексике входили в моду, их показывали постоянно. Когда Маркес работал в Мехико над романом, Мерседес их смотрела, муж, освободившись, посматривал краем глаза и подтрунивал над женой, но влияния они не могли не оказать.)

Итак, в Барселоне, одной из европейских интеллектуальных столиц, переполненной ещё свежими напоминаниями о всевозможных «измах» — анархизме, дадаизме, символизме, футуризме, кубофутуризме, модернизме, натуризме, эклектизме, конструктивизме, сюрреализме и т. д. и т. п., — Маркес умышленно, порой и «злонамеренно» создавал сложную конструкцию, требующую от читателя недюжинной литературной подготовки.

В ту пору, в конце 1960-х, много экспериментировали. Словно затеяна была игра: кто кого переусложнит, напишет такое, чтобы вообще никто так и не понял, не разгадал, что же на самом деле имел в виду автор. Кортасар «конструировал» один из самых усложнённых романов в истории литературы, даже не роман, а «гипотетическую структуру» — «62. Модель для сборки». Непростые для читательского восприятия, изощрённые романы писали, также находясь в Европе, и Фуэнтес — «День рождения», «Мексиканское время», и Льоса — «Ла Катедраль», и Астуриас — «Маладрон», «Страстная пятница», и Карпентьер — «Концерт барокко», «Превратности метода»… Кстати, «Превратности метода» кубинца Карпентьера вышли на год раньше «Осени

Патриарха» Маркеса и продолжили ставшую традиционной для латиноамериканской литературы диктаторскую тему, с 1940-х годов разрабатывавшуюся в романах «Сеньор Президент» Астуриаса, «Великий Бурундун Бурунда умер» Саламеа, «Я, верховный» Роа Бастоса…

В Барселоне Маркес испытывал наслаждение от самого процесса работы. Вообще-то странно, по-маркесовски парадоксально то, что он поселился при диктатуре Франко в Испании, откуда свободомыслящие интеллектуалы, наоборот, бежали в Колумбию, Мексику, Францию, куда угодно. Впрочем, имеет право на существование и мысль, что при диктатурах, тоталитаризме и создаются великие произведения.

«— Я, латиноамериканец, оказался в исключительном положении, — рассказывал Маркес в Москве латиноамериканистам, — мне не довелось или почти не довелось жить при диктатуре. В это время в Латинской Америке просто не было подходящей для меня диктатуры, чтобы посмотреть, что это такое. И во многом из-за этого я поехал в Испанию, там была настоящая, старая диктатура одного человека. Ведь диктатура семейства Сомосы, например, не являлась в этом смысле старой, она передавалась как бы по эстафете. В Испании оказалось не так просто писать по памяти о Латинской Америке. Но в то же время чуть ли не ежедневно происходило нечто такое, что обогащало роман. Скажем, я написал эпизод, в котором жена диктатора становится жертвой покушения. Её автомобиль оказался неисправен, она с сыном отправляется на рынок на машине мужа, под которую заложен динамит, и, когда приезжает, происходит взрыв — машина взлетает над рынком. И вдруг утром открываю газету и читаю, что то же самое произошло в действительности. И выходила у меня прямо-таки фотографическая иллюстрация к газетному сообщению о теракте. А писатель, имея, конечно, право использовать реальные события, обязательно должен проделать литературную переработку».

И Маркесу пришлось сочинить новую сцену, несомненно, к лучшему, потому что история с собаками, которых специально натаскивали, чтобы они разорвали Летисию Насарено на рынке, — одна из сильнейших в романе, по драматизму сопоставимая с классической сценой у Достоевского в «Братьях Карамазовых».

«Это была дьявольская кровавая вакханалия, круговерть чудовищной смерти, клубок собачьих тел, из которых на краткий миг с мольбой простирались руки то Летисии, то мальчика; но очень быстро обе жертвы превратились в куски с жадностью пожираемого мяса; и всё это происходило на глазах у рыночной

толпы, на глазах сотен людей; лица одних были искажены ужасом, другие не скрывали злорадства, а кто-то плакал от жалости…»

Обратим внимание на перекличку (не по смыслу, но по накалу) с рассказом брата Ивана Карамазова, в котором также фигурирует генерал, своего рода патриарх:

«Ну вот живёт генерал в своём поместье в две тысячи душ. <…> „Почему собака моя охромела?“ Докладывают ему, что вот, дескать, этот самый мальчик камнем в неё пустил и ногу зашиб. „А, это ты, — оглядел его генерал, — взять его!“ Взяли его, взяли у матери… Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть, ребёночка раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть… „Гони его!“ — командует генерал. „Беги, беги!“ — кричат ему псари, мальчик бежит… „Ату его!“ — вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребёнка в клочки!..»

«— Однажды, когда в очередной раз застопорилось, — рассказывал Маркес, — и я не знал, как дальше писать „Осень Патриарха“, случайно на книжном развале на Рамбле я купил „Охоту в Африке“ с предисловием Хемингуэя. Меня заинтересовало, что написал Хемингуэй к такой книге. Предисловие оказалось не слишком интересным, но, раз уж взял в руки книгу, я стал читать и про охоту, и про нравы слонов. И вот, изучая нравы, повадки, даже особенности экскрементов слонов, я понял, в чём моя ошибка и как мне дальше писать. То есть — неожиданно нашёл ключ к характеру и поведению героя…»

Испания и вообще Европа питала, обогащала книгу реальным жизненным содержанием. Именно реальным. Каким-то европейски стабильным. Всё у него теперь было, недостатка ни в чём не испытывал. Почти ежедневно счёт в банке пополнялся. Жизнь текла размеренно и респектабельно. Друг Плинио так вспоминал о Маркесе в Барселоне:

«Хорошо известно, что каталонская буржуазия наложила на Барселону свой отпечаток. Весь город дышит их цепким коммерческим практицизмом, успехом и дымом их дорогих сигар. Барселона — царство предприимчивых, активных, мажорных людей, одетых в отменно сшитые костюмы, посещающих самые дорогие рестораны, офисы банковских воротил, концертные залы, в которых выступают „звёзды“ первой величины. Их также можно часто встретить на шикарных пляжах Коста-Бравы, где они любуются голубой далью Средиземного моря или купаются около своих больших белоснежных яхт, ни на секунду не переставая думать о новых выгодных сделках. <…> Барселона не годится

для писателей, которые только начинают оттачивать своё перо, — там они рискуют быть раздавленными, в лучшем случае они получат работу корректора, станут вычитывать гранки или будут переводчиками. Издатели — всюду, но в Барселоне особенно — даже не принимают рукописи к рассмотрению только потому, что авторы их неизвестны. А вот для писателя с именем Барселона — место идеальное! Мало того что она является столицей издательского испаноязычного мира и полна разнокалиберных интеллектуалов и художников всех мастей, сияющих и сверкающих, как морская пена на солнце, — именитого там всюду приглашают, окружают вниманием, заботой, обслуживают по высшему классу, рекомендуя, если у него возникает желание, рестораны, где подают лучших устриц и другие искусно приготовленные дары моря, лучшую испанскую ветчину и самое выдержанное изысканное вино; ателье, где на заказ шьют великолепные рубашки и пиджаки из замши и кашемира; ночные клубы, где показывают высшего разряда и самый откровенный стриптиз, и лучший дом терпимости на бульварах Рамблас с юными девочками и мальчиками.

…По тому, как новые друзья рассаживались вокруг знаменитого писателя, как вдруг шумно начинали расхваливать какую-нибудь вещицу или одежду, недавно им купленную, и как громко дружно хохотали над плоскими шутками, порой срывавшимися с его языка, я начинал ощущать, что окружавшая его атмосфера, прежде мне незнакомая, полна той тонкой придворной лести, какой в своё время были окружены монархи Версаля. Кинозвёзды и режиссёры, оперные певицы и певцы, театральные светила, бизнесмены, издатели всех мастей, даже высшие правительственные чиновники — вот те люди, которые теперь окружали Габо».

Седьмого октября 1967 года Че Гевара записал в своём дневнике: «Переход был очень утомительным, и мы оставили за собой многочисленные следы в каньоне, по которому проходили. Поблизости не было никаких домов, но имелись крохотные клочки посадок картофеля, орошавшиеся с помощью канав, отходивших от одного из ручьёв…»

По радио сообщили, что боливийская армия окружила партизан между Рио-Гранде и рекой Асеро, и на сей раз это было правдой… Внезапно партизаны, измученные и израненные, увидели скалу, перегородившую им путь, и разом остановились. В гребне скалы имелась пятифутовая расщелина, через которую им необходимо было пробраться, а под ней — яма, полная ледяной воды. Аларком, один из партизан, вспоминал потом: «И Че смотрел на нас. Никто не желал первым совершить попытку

взобраться на эту скалу. Человек — не кошка. Тогда Че сам полез, цепляясь пальцами за мельчайшие выступы…»

Барселона конца 1960-х оказалась лучшей «мастерской» для Маркеса. Своему литературному агенту Кармен Балсельс он признавался, что для него даже странно: говорят кругом по-испански, а на него внимания никто не обращает, тогда как дома, в Латинской Америке, глазеют, пальцем тычут: «Вон тот, который…» Счастливая Кармен смеялась, говоря, что быстро он привык к купанию в лучах славы.

Смеяться было отчего: её карьера понеслась в карьер. Почти одновременно с французским издательством и итальянское ведущее издательство «Фельтринелли» подписало с Кармен контракт на издание пяти книг Маркеса, а американское «Харпер и Роу» заказало перевод «Ста лет одиночества» лучшему переводчику. За несколько месяцев она подписала десятки контрактов. Долгое время оставалась «неприступной» Западная Германия, где четыре крупнейших издательства — во Франкфурте, Кёльне, Гамбурге и Мюнхене — упорно отказывались издавать роман на немецком. Но после информации о фантастических продажах по всему миру и получении Маркесом самых престижных премий «пала и Германия» — в лице издательского дома «Киепенхеур».

Маркес жаловался жене Варгаса Льосы (Льоса с супругой переехали в Барселону вслед за четой Маркесов и поселились в пяти минутах ходьбы, что в конце концов привело к мордобитию, но об этом позже) на то, что популярность, шумиха, вся эта суета, горы писем, в том числе от сумасшедших, то звезду его именем предлагают назвать, то остров пытаются продать или обменять на будущую книгу, то присылают свои фотографии в голом виде, умоляют переспать, — всё это выматывает и забирает ужасно много времени. Раскачиваясь в гамаке в саду за домом Маркеса, Патрисия, смеясь, говорила, что ничего в этом ужасного не видит, он становится похож на его героя-полковника в романе, которому приводили дочерей, чтобы он спал с ними. Интересовалась, как продвигается новый роман о диктаторе. Маркес признался, что, написав бóльшую часть, отвлёкся — может, и под влиянием этих тысяч идиотских писем, и пишет рассказы, чтобы объединить в сборник под названием «Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и её бессердечной бабке». Патрисия спросила, та ли это история, вкратце описанная в романе «Сто лет одиночества», — про бабку, которая продавала внучку солдатам, грузчикам и циркачам, — и насколько она автобиографична, заходил ли он сам к девочке, отстояв очередь. Высказала

уверенность, что заходил, настолько всё реально описано.

«Теперь я должен был, — признавался Маркес в одном из барселонских интервью, — доказать сотне тысяч неизвестных мне людей, раскупивших „Сто лет одиночества“ меньше чем за год, что эта книга не была, как выразился один критик, счастливой случайностью… и что у меня ещё хватает горючего для других книг». В предисловии к одному из первых сборников Маркеса, вышедших в 1970-х годах в СССР, известный советский исследователь творчества Маркеса и переводчик Лев Осповат писал: «Первым, что осознал он, обратившись к уже давно возникшему замыслу романа о латиноамериканском диктаторе, была необходимость решительно преодолеть инерцию того стиля, который он так долго искал, вынашивая предыдущую книгу. „Я понял, что нужно полностью разрушить этот стиль, зайти с другой стороны. Как же это сделать? Надо начать с нуля. Как начать с нуля? Я буду писать детские рассказы“. Рассказы, которые стал писать Гарсиа Маркес (они вошли в книгу под заглавием „Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и её жестокосердной бабке“), трудно назвать „детскими“ — они рассчитаны на достаточно искушённого читателя. Но и автор по-своему прав: мы встречаемся в этих рассказах с такой детской чистотой воображения, населяющего мир самоценными чудесами, а порой и с таким мажорным преображением действительности, каких у Гарсиа Маркеса ещё не бывало…»

В основу «детской» (мы помним, Маркес уже брался за «детскую» литературу) «Невероятной и грустной истории…» положен эпизод из «Ста лет одиночества» — судьба девочки, по неосторожности которой сгорел дом, где она жила с бабушкой.

«…Когда бабка окончательно и бесповоротно убедилась, что в груде обгорелых обломков нет ничего путного, она посмотрела на внучку с самым искренним состраданием.

— Бедная моя детка, — вздохнула она, — тебе до конца твоей жизни не расплатиться со мной за такие убытки.

Эрендира начала расплачиваться в тот же самый день, когда под назойливый шум дождя бабка свела её к хилому и раньше времени овдовевшему лавочнику; его хорошо знали в пустыне как большого охотника до нетронутых девочек, за которых он платил не скупясь. На глазах у невозмутимой бабки скороспелый вдовец с научной взыскательностью осмотрел Эрендиру, оценил упругость её ляжек, величину грудей, диаметр бёдер. И пока не подсчитал в уме, чего она стоит, не проронил ни слова.

— Она ещё совсем зелёная, — произнёс он, — у неё грудки острятся, как у сучки.

Он поставил Эрендиру на весы, чтобы цифры подтвердили его правоту. Девочка весила сорок два килограмма.

— Красная цена ей сто песо, — сказал вдовец.

Бабка возмутилась.

— Сто песо за такую молоденькую целочку! — вскричала она. — Ну, любезный, у тебя, оказывается, нет никакого уважения к добродетели!..»

Если учесть, что впервые публиковалось это в одном из самых академических издательств СССР — «Прогресс», то становится очевидным: Осповат был прав, говоря о «детской чистоте воображения»:

«Бабка велела Эрендире идти с лавочником, и тот повёл её за руку в складское помещение, точно первоклассницу в школу.

— Я подожду тебя здесь, — сказала старуха.

— Хорошо, бабушка, — сказала Эрендира.

…При первой попытке вдового лавочника Эрендира заорала по-звериному и рванулась в сторону… Вдовец взял её под лопатки, не дав встать на ноги, ударом под дых повалил в гамак и так прижал коленкой, что она не смогла пошелохнуться. <…> Когда в посёлке не осталось ни одного мужчины, готового заплатить хоть самую малость за любовь Эрендиры, бабка повезла её на грузовике в края контрабандистов. <…> Бабушка обмахивалась веером, восседая на своём троне, — ей будто и дела не было до всей этой ярмарки. Единственное, что её интересовало, — это порядок в очереди клиентов и правильность суммы, которую она брала за вход к Эрендире… принимала в доплату образки святых, семейные реликвии, обручальные кольца — словом, всё, что было из золота, которое она пробовала на зуб, когда оно не блестело…

Сержантик вошёл внутрь, но тут же вышел, потому что Эрендира взмолилась, чтоб он позвал бабку. Бабка повесила на руку корзину с деньгами и скрылась в походной палатке, где было тесно, но опрятно и прибрано. В глубине на раскладушке пластом лежала измученная и грязная от солдатского пота Эрендира. Её била мелкая дрожь.

— Бабушка! — зарыдала она. — Я умираю…

— Да там всего ничего. Какой-нибудь десяток солдат.

Эрендира не заплакала, нет, она завыла, как загнанное животное… Когда Эрендира затихла, бабка вышла на улицу и вернула сержантику деньги.

— На сегодня всё, ребята! — сказала она. — Завтра в девять — пожалуйста!

Солдаты и гражданские, сломав очередь, разразились угрозами. Но бабка взмахнула своим жезлом и дала им

решительный отпор.

— Ах вы изверги! Аспиды ненасытные! — надрывалась она. — Вы что думаете, она у меня железная? Вас бы на её место! Христопродавцы! Кобели поганые!..»

Об этой сцене, прочитанной Маркесом Патрисии, жене Льосы (под настроение Маркес охотно читал свою прозу вслух, чтобы «обкатать» на слушателях), она, Патрисия, сказала, что если бы не «образки святых», «семейные реликвии», если бы не эти «Аспиды ненасытные!», «Христопродавцы!», то было бы в духе секс-шоу на Рамбле. А так рассказ — как всё у Габо — не пошл и потрясающ. Но не про бедную, конечно, девочку, которую бабка укладывает в постель с мужиками, ведь не случайно он сравнивает купающуюся бабку с «белой самкой кита», что ассоциируется с Белым китом из романа Мелвилла «Моби Дик», где кит олицетворяет мировое зло, так что это про всех, какие к чёрту девочки! Маркес оценил редкое сочетание в женщине красоты и ума, Патрисия добавила, что прелестно сказано про бабушку: «И ни с того ни с сего, так, как поют только во сне, она пропела эти горькие для неё строки:

Господи, Господи, верни мне невинность,
Чтоб насладиться его любовью, как в первый раз.

И только Улисс заинтересовался бабушкиными печалями…»

Непростой, многозначный и многослойный рассказ, точнее, повесть Маркеса. Даже — короткий роман-драма, со множеством живых, неповторимых, «со своим ДНК» героев, перипетий, а главное (что Пушкин считал главным в прозе) — мыслей… Чрезвычайно интересен, сложен и даже в чём-то «поэтичен» образ бабушки, предсказывающей вконец истерзанной тысячами мужчин внучке:

«Ты станешь великой госпожой, — обратилась она к Эрендире. — Родоначальницей, которую боготворят те, кому она покровительствует, и почитают высшие власти. Капитаны будут слать тебе открытки со всех концов света».

Недаром «Эрендира» вызвала бурную дискуссию в прессе и неоднократные попытки экранизации. (В Париже на улице Сен-Дени, где располагались десятки секс-шоу, эротических театров, кинотеатров и т. п., мне довелось посмотреть в одном из заведений, где хозяином был иммигрант из Колумбии, порнопостановку, в которой блеснула «бессердечная бабка» Эрендиры — актрисе сокрушительных форм аплодировали, что нечасто случается на Сен-Дени и Пигаль.)

«Невероятная и грустная история…» развёртывается в целую притчу «о мытарствах души человеческой, — подметил в 1979

году Осповат, — о власти и покорности, о любви и бунте. Самая грубая и площадная проза (чего стоят одни только вымокшие от пота простыни, на которых Эрендира отрабатывает свой долг!) органически срастается со сказочной феерией, причём соединительной тканью служит всепроникающий юмор. <…> Даже любви, ворвавшейся вместе с юным и самоотверженным Улиссом в горестную жизнь Эрендиры, не суждено вызволить девушку из-под власти злых старухиных чар. Стоит заметить, что вообще в чудотворном мире Гарсиа Маркеса, кажется, одна лишь любовь неспособна творить чудеса. Избавление приходит слишком поздно и покупается слишком дорого — Улисс вынужден своими руками зарезать старуху, и тяжесть этого убийства он не в силах снести. А ожесточившаяся Эрендира, сняв с убитой жилет с зашитыми в нём золотыми слитками, убегает неведомо куда…»

В сборник, над которым Маркес работал с 1961 года и почти всё время пребывания в Барселоне (параллельно с романом «Осень Патриарха»), кроме «Невероятной и грустной истории…» — вошли рассказы «Старый-престарый сеньор с огромными крыльями», «Море исчезающих времён», «А смерть всегда надёжнее любви», «Последнее плавание корабля-призрака», «Блакаман добрый, продавец чудес», «Самый красивый утопленник в мире».

«…Женщины не могли не заметить, что покойный встретил свою смерть с достоинством, — в его лице не было выражения одиночества, столь частого у погибших в море, как не было и отвратительного убожества, отличающего речных утопленников…» Один из наиболее философских рассказов (у Маркеса все философские, но в этом сборнике — в особенности), рассказ-поэма. Сюжет рассказа «Самый красивый утопленник в мире», как обычно, незамысловат: жители селения обнаружили на берегу утопленника. Философия заключается в самом простом, казалось бы, но неизбывном, неиссякаемом, как самая жизнь, — женской мечте о Мужчине.

«Мало-помалу женщины очистили покойника от наслоений, и, когда он предстал перед ними в первозданном виде, у всех перехватило дыхание. Это был самый высокий, самый красивый и самый мужественный мужчина из всех существующих на свете… Женщины тайком сравнивали усопшего со своими мужьями и с грустью понимали, что он способен был в одну ночь сделать то, чего их мужьям не дано было сделать за всю жизнь, и они разочаровывались в глубинах своих сердец и раз и навсегда отвергали мужей как немощных и ни на что не годных. Забыв обо всём, они блуждали в трепетных рощицах своих фантазий…»

…Всего было в достатке у Маркеса. Но он почувствовал, вернувшись к роману «Осень Патриарха», что не хватает антильской поэзии. И тогда он отложил книгу в сторону и улетел на Антильские острова, которые объездил, остров за островом, останавливаясь, где нравилось, отдавая должное своему более чем завидному материальному положению.

Напоённый антильской музыкой и поэзией, Гарсиа Маркес продолжал работу.

«Представляю, сколько сложностей было у переводчиков „Осени Патриарха“, — признавал он позже. — Книга насыщена стихами карибских народов: там есть кубинские песни, мексиканские и одна пуэрто-риканская. И это сделано сознательно, это своего рода литературная игра, доставляющая автору удовлетворение. Кроме того, она вся наполнена поэзией Рубена Дарио. Когда работал, я думал: какой поэт был бы типичным для эпохи великих диктаторов, которые правили подобно феодалам периода упадка? И таким поэтом, вне всяких сомнений, был никарагуанец Рубен Дарио».

В романе «Осень Патриарха» более двадцати пяти эпизодов, ситуаций, так или иначе заимствованных у Дарио, — это помимо того, что в романе действует и сам поэт как персонаж. «Присутствие личности и творчества Рубена Дарио подтверждает слова Гарсиа Маркеса о том, что именно этот роман содержит в себе наибольшее количество автобиографических моментов», — считает Сальдивар.

Роман о диктаторе тоже в общем-то с простым внешним сюжетом — Патриарх умер, народ вошёл во дворец и увидел, как он жил, а он вроде бы и не умер, но всё-таки умер, — сам по себе напоминает поэму об одиночестве во власти. Сочинял его Маркес, как пишут стихи, слово за словом, даже «букву за буквой». И бывали недели, когда удавалось написать только одну фразу, один абзац.

«Знаете, какая у меня была проблема? — признавался Маркес в одном из интервью. — Обычные фразы и даже диалоги у меня выходили в александрийском стиле или в десятистопнике. И мне пришлось потом разбивать и александрийский стиль, и десятистопник, чтобы этого не было заметно. При появлении Рубена Дарио, особенно во время его выступления, когда он читает стихи, в мой текст вкрапливается строка — los claros clarines (звонкие трубы). В этом изюминка».

«— В этой книге, Габо, ты позволил себе полную свободу, — говорил ему Плинио Мендоса. — Ты вольно обращался с синтаксисом, с категорией времени, даже с географией, а кое-кто

утверждает, что и с историей… Однажды ты вообще назвал роман о диктаторе своей зашифрованной биографией. Но это странно и является скорее материалом для психоаналитика.

— Почему? Одиночество писателя схоже с одиночеством во власти…»

Маркес часто бывал в ту пору и в Париже. «У него была светлая, просторная и тихая квартира на бульваре Монпарнас, — вспоминал Мендоса. — Стены были выкрашены в светлые тона, повсюду чувствовались достаток, высокий уровень качества жизни и вкус: тёмно-коричневые английские кожаные кресла, гравюры супермодного Вильфредо Лама, роскошный стереопроигрыватель, всегда свежие жёлтые розы в хрустальных вазах. „Они приносят удачу, Плинио“… Теперь, кажется, он намного лучше, чем раньше, разбирается в хорошей живописи и музыке, ценит красивых женщин и шикарные отели, знает толк в очень дорогих шёлковых рубашках, эксклюзивной обуви, винах, сортах сыра, устрицах под острым индийским соусом, чёрную икру предпочитает красной. Его новые знакомые и приятели — только известные и состоявшиеся люди, неудачников нет: политики, режиссёры, кинозвёзды или обыкновенные мультимиллионеры, которые могут позволить себе роскошь иметь в друзьях знаменитость, так же, как они покупают квартиру или шиншилловую шубу любовнице. Но он не теряет из виду и старых друзей, с которыми когда-то пил дешёвое вино в борделях. Теперь он расплачивается по счетам. „Шампанского?“ — спрашивает он и делает это не из хвастовства и не потому, что питает слабость к „Вдове Клико“ или „Дом Периньон“…»

Утром 8 октября 1967 года в Ла-Игуэре Эрнесто Че Гевара решает принять бой. Казалось, удастся прорваться через кордон. Но получил пулевое ранение в правую ногу, чуть выше лодыжки. Тут ещё одна пуля разбила приклад его карабина «М-2», а другая пробила дыру в берете. Он был вынужден отступить назад в ущелье, а группа рассеялась.

В 14.30 солдаты роты «В» батальона рейнджеров (конная полиция) в ущелье Куэбрада-дель-Юро увидели, как на уступе холма появился партизан, тащивший на себе раненого. Рейнджеры прицелились. «Не стреляйте! — послышался голос (по одной из многочисленных версий). — Я Че Гевара и сто́ю для вас больше живым, чем мёртвым». Его схватили и повели. Едва держась на ногах, увидев раненых, он сказал, что является доктором, и предложил свою помощь. Но получил удар прикладом. Его привели в полуразрушенное здание школы, где продержали всю ночь и где получен был приказ из ЦРУ о его казни. В споре за право убить Че Гевару короткую соломинку

вытянул солдат боливийской армии Марио Теран. Чтобы инсценировать, что Че погиб в бою, а не казнён без суда и следствия, Терану было приказано начать с ног и ни в коем случае не повредить лица его для последующей идентификации. Теран, коротышка ростом 150 сантиметров, выпив бутылку виски, взял «М-2» и вошёл к нему. Что-то сказал. «Что ты волнуешься? — ответил Че. — Ты же пришёл убить меня». «Я не мог заставить себя выстрелить, — вспоминал Теран. — И тогда этот человек сказал мне: „Стреляй, трус, ты убьёшь мужчину“. Я отступил к двери, закрыл глаза и выпустил первую очередь. Он упал на пол с перебитыми ногами. Он корчился, обливаясь кровью. Я собрался с духом, выпустил вторую очередь и поразил его в руку, плечо и сердце». В комнату вошли сержант и другие рейнджеры и стреляли в уже бездыханное тело. Военный хирург ампутировал ему руки…

Но подробности станут известны миру позже. А в тот день, 9 октября 1967 года, точнее, накануне ночью, Маркес перечитывал рассказ Кортасара «Воссоединение» с эпиграфом из книги Эрнесто Че Гевары «Горы и равнина»: «Я вспомнил старый рассказ Джека Лондона, в котором герой, прислонившись к дереву, готовится достойно встретить смерть».

— Безусловно, кубинская революция, а в особенности судьба Че Гевары стали катализатором «бума» латиноамериканской литературы, — говорил мне в интервью в Гаване Кортасар. — И дело не в так называемом экспорте революции, в троцкизме и тому подобном — он, Че, будто разбудил задремавшее после страшных войн человечество. Трагичной и прекрасной своей судьбою, своей мученической, жертвенной гибелью показал или напомнил, что существуют и другие, вечные темы и вечные ценности, ради которых принимают смерть… Не погибни он в горах Боливии — и всё могло сложиться иначе: не было бы и 68-го года, поколением которого нас называли. Ведь и прежде выходили первоклассные романы латиноамериканцев… Че взывал к протесту, он стал знаменем нового, свежего, смелого!..

Вскоре после гибели Че Гевары Кортасар опубликовал в журнале «Каса де лас Американас» письмо и стихотворение «Че», в котором рассказывалось о том, как хотелось ему плакать и кричать от боли: «Че умер, мне осталась только тишина…» Первая строфа заканчивается строчкой, которая содержит в себе смысл стихотворения: «Был брат у меня».

Когда тело Эрнесто Че Гевары было выставлено напоказ боливийскими властями, людей шокировали широко раскрытые зелёные глаза на мёртвом лице. Ночью в домишках окрестных деревень зажглись свечи. Крестьяне, посчитав его святым,

обращались к нему: «San Ernesto de la Higuera», прося «святого Эрнесто» о милости. Очевидцы утверждали, что никто из мёртвых не был так похож на Иисуса Христа.

С приходом в январе 1968 года к руководству Коммунистической партией Чехословакии Александра Дубчека Чехословакия начала демонстрировать всё большую независимость от СССР. Политические реформы Дубчека и его соратников, которые стремились создать «социализм с человеческим лицом», не представляли собой полного отхода от прежней политической линии, как это было в Венгрии. Но при Дубчеке была существенно ослаблена цензура, повсеместно проходили свободные дискуссии, началось создание многопартийной системы. Было заявлено о стремлении обеспечить полную свободу слова, собраний и передвижений, строгий контроль над деятельностью органов безопасности, облегчить возможность организации частных предприятий и снизить государственный контроль над производством. Кроме того, планировались федерализация государства и расширение полномочий органов власти субъектов — Чехии и Словакии… Период политического либерализма в Чехословакии закончился уже через несколько дней, с вводом в страну более трёхсот тысяч человек и около семи тысяч танков стран Варшавского договора в ночь с 20 на 21 августа.

В Хельсинки состоялась демонстрация против ввода войск в Чехословакию. Со стороны Запада последовала лишь устная критика — в условиях ядерного противостояния западные страны были неспособны что-либо противопоставить советской военной мощи в Центральной Европе. В Советском Союзе протестовали некоторые представители интеллигенции. В частности, 25 августа 1968 года на Красной площади прошла демонстрация в поддержку независимости Чехословакии. Несколько демонстрантов развернули плакаты с лозунгами «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!», «Позор оккупантам!», «За вашу и нашу свободу!». В самой Чехословакии в знак протеста произошли акты публичного самосожжения, в частности студентами Карлова университета Яном Палахом и Яном Зайицем.

В Чехословакии результатом стала большая волна эмиграции (около трёхсот тысяч человек). Подавление Пражской весны усилило разочарование многих представителей западных левых кругов в теории марксизма-ленинизма и способствовало росту идей «еврокоммунизма» среди руководства и членов западных коммунистических партий — впоследствии приведшему к

расколу во многих из них. Раскол произошёл и в среде интеллигенции. По «разные стороны баррикад» оказались с одной стороны Сартр, Борхес, Варгас Льоса, написавший гневную статью по поводу вторжения в журнале «Маски», Доносо, Бовуар, Моравиа, Гойтисоло, Грасс, Пазолини, Фуэнтес, Кабрера Инфанте — и с другой стороны, например, наш герой и Кортасар. Но позже Маркес признался: «Мир рухнул для меня, когда я узнал о советском вторжении в Чехословакию. Но теперь думаю: нет худа без добра; я понял, что мы все живём между двумя империализмами, в равной степени беспощадными и алчными. И в каком-то смысле это освобождение сознания. Меня потрясло, что по степени цинизма советские даже обошли гринго».

Хотя публично по поводу подавления Пражской весны Маркес не высказался. Так же, как и по поводу происходящего на Кубе, в частности ареста по обвинению в контрреволюционной деятельности и, по некоторым данным, пыток в гаванской тюрьме поэта Эберто Падильи и его жены, поэтессы Белькис Куса Мале. Куба вообще стала камнем преткновения, эдаким Рубиконом. Роман с Кубой Маркеса — пожалуй, самый загадочный из его романов в стиле магического реализма. Некие «тонкие властительные связи» соединяют его на протяжении десятилетий с «антильской красавицей». И Кортасар, утончённый интеллектуал-эрудит, с первого взгляда влюбился в Остров Свободы, в его молодых вождей-барбудос. «Я тебе откровенно скажу, — писал он литератору Блэкборну, — не будь я уже стар для подобных вещей и не люби я так сильно Париж, я бы вернулся на Кубу, чтобы быть с революцией до конца».

Говорил он подобное, напомню, и автору этих строк в Гаване. Но суть отношений с кубинским правительством и Кортасара, и Маркеса так и останутся, возможно, тайной. Повторюсь, некоторые диссиденты в Гаване договаривались до того, что Куба якобы щедро финансировала их лояльность и поддержку, что, впрочем, весьма маловероятно — скажем, Маркес после всемирного фурора «Ста лет одиночества» сам мог кого и что угодно финансировать. Но факт остаётся фактом. Кортасар, например, даже согласовывал с кубинскими властями — чаще всего в лице литератора, общественного деятеля, приближённого к высшему руководству Кубы Фернандеса Ретамара, — саму возможность публикации в легендарном американском журнале «Life» своего интервью. (Что было весьма странно, если не сказать большего: мне доводилось в Гаване встречаться с этим Фернандесом Ретамаром — обыкновенный партийный функционер, похожий на одного из многочисленных лауреатов-секретарей Союза писателей СССР тех лет.)

В конце 1968 года, на волне всемирного интереса к Латинской Америке, когда среди молодёжи считалось чуть ли не позором не знать, кто такой Че, не носить майку с изображением Че Гевары или берета со звездой «а-ля Че», журнал «Лайф» обратился к Кортасару, известному и модному — особенно среди «продвинутой», «левой» молодёжи — писателю, с предложением взять у него интервью по поводу публикации новых произведений. Первая реакция была негативной: никаких отношений с Соединёнными Штатами, — какого чёрта! (Незадолго до этого Кортасар, возможно не без влияния Гаваны, отказался от приглашения прочесть курс лекций в Колумбийском университете в США.) Но тут же он подумал о возможностях, которые это интервью ему даст: он сможет высказать своё мнение по многим важнейшим вопросам, в том числе по позиции мирового империализма в отношении Острова Свободы. И Кортасар, поразмыслив, решил согласиться при условии, если ему будет предоставлена возможность тщательно просмотреть и в случае необходимости скорректировать текст перед отправкой в печать. Редакция журнала, в то время одного из наиболее влиятельных в мире, в недоумении (ни Уинстон Черчилль, ни Джон Кеннеди, ни Элвис Пресли не ставили подобных условий) согласилась, работа над публикацией началась. (Журналисты «Лайфа» вспоминали, что Кортасар отстаивал буквально каждое своё слово, так или иначе работающее на кубинскую революцию.)

После гибели Че, студенческих волнений в мае 1968 года в Париже и во всей Европе, подавления Пражской весны позиции Кортасара и Маркеса всё более сближались. 1968 год сыграл важнейшую, ещё до конца не исследованную роль в новейшей истории, и писателей латиноамериканского «бума» называли «поколением 68-го года». (Кроме Праги и Парижа — убиты Мартин Лютер Кинг, Бобби Кеннеди, Энди Уорхол, мексиканской армией расстреляны сотни бастующих рабочих накануне Олимпиады в Мехико…)

Вскоре после волнений во Франции — «Видишь витрину для богатых — бери булыжник и действуй! Видишь дорогую машину — бери „коктейль Молотова“ и действуй!..» — Гарсиа Маркес побывал в Париже и активно расспрашивал очевидцев недавних событий, от таксиста до министра. Но особого впечатления на него, бывалого латиноамериканца, эти рассказы не произвели, сложилось впечатление, что ничего серьёзнее громкой ругани и махания кулаками не было. Да и сам Париж, с кое-где разобранной ещё брусчаткой, людный, шумный, многоголосый, на этот раз разочаровал.

«Друг мой! — писал он своему старому верному другу

Мендосе. — Нашего Парижа больше не существует, он неинтересен для меня, хотя и трудно в это поверить. Не ступить два раза в одну реку, и больше не будет того Парижа, который знали мы, — прошла молодость, да и сам Париж изменился… Я исторг из себя Париж, как застрявшую в ноге занозу…» И ещё в письме есть абзац, любопытный для нас, помнящих его роман в Париже в середине 1950-х с актрисой, некогда мечтавшей стать тореадором: «Судьба отвела мне роль тореадора, и я не знаю, как с этим совладать. Чтобы просмотреть перевод „Ста лет одиночества“, я был вынужден искать прибежища в доме Тачии. (Спрашивается почему, когда и квартира была своя шикарная, и полно отелей? — *С. М.)* Она теперь степенная дама, у неё чудесный муж, без акцента говорящий на семи языках. При первой же встрече у неё с Мерседес установились добрые дружеские отношения, направленные главным образом против меня».

В Барселоне, где Маркес жил при настоящей якобы диктатуре, многие считали его аполитичным. Хотя, конечно, это было не так. Романист Хуан Марсе поведал профессору Мартину, как в конце лета 1968 года ездил в Гавану в качестве члена жюри конкурса Союза писателей и деятелей искусств Кубы. Как только стало очевидно, что премия за лучшее поэтическое произведение будет присуждена контрреволюционному поэту Эберто Падилье, а театральная — ярому гомосексуалисту Антону Арруфату, членов жюри задержали на пять недель. Поили и кормили в «Ривьере» как на убой, обеспечивали лучшими девицами, но разрешения на вылет не давали. Жюри настояло на своём, премии вручили. (И задержка жюри положила начало изменению имиджа Кубы, которую до этого считали выбравшей умеренный либерально-социалистический путь развития.) Марсе вернулся в Барселону, в доме Кармен рассказал о своих злоключениях Маркесу. «Да, действительно, Падилья оказался провокатором и вообще извращенцем, психом, — вспоминал Марсе. — Но его книга была лучшей, и этим всё сказано… Как сейчас вижу Габо: красный платок на шее, ходит туда-сюда. Он был зол на меня, взбешён. Сказал, что я идиот, ни черта не смыслю в литературе и ещё меньше в политике. Политика всегда на первом месте. Пусть бы хоть всех нас, писателей, перевешали. Падилья — ублюдок, работающий на ЦРУ, и мы ни в коем случае не должны были присуждать ему премию!..»

В середине сентября Маркес нарочно задержался в Париже, чтобы дождаться возвращения из командировки Кортасара, с которым очень хотел познакомиться лично. Об их знакомстве мне рассказывал Кортасар в Гаване:

— Настроение у меня было препаршивейшее, тем более что ко всем удовольствиям 68-го я и с женой расстался. И вот Маркес — радостное, светлое пятно того года! И он, и Мерседес мне показались просто чудом! Мы гуляли по Парижу, ужинали, кажется, в «Куполе», поднимались как туристы на Эйфелеву башню, что оказалось впервые и для меня, и для них, говорили о литературе, он благодарил за поддержку романа, твердил, что с него причитается, все смеялись! О Кубе говорили, о том, что теперь и Льоса, и Доносо, и Гойтисоло, и Фуэнтес — по другую сторону баррикад, что, конечно, сознавать было больно. Мы с Габо обратились лично к Фиделю с просьбой не наказывать Падилью, а его за контрреволюцию уволили из «Каса де лас Американас», могли тогда уже и посадить. Фидель не ответил, но Падилью не посадили, восстановили в должности.

В начале декабря 1968 года по приглашению Союза писателей Чехословакии Маркес с Кортасаром и Фуэнтесом совершили поездку в Прагу. (Через шестнадцать лет в своём пронзительном некрологе по Кортасару Маркес вспомнит, как в пражском отеле за завтраком Фуэнтес между прочим осведомился о значении рояля в джазовой музыке, а в ответ Кортасар прочитал им на эту тему и вообще о джазе и использовании его приёмов и законов в литературе потрясающую лекцию.)

Обратим внимание на закономерность: Маркес, как правило, оказывается на месте событий после их окончания. Так было в Венгрии в 1956-м, в Париже и Праге в 1968-м, так будет и впоследствии… Некоторые, в том числе и те, у кого он учился, например, Хемингуэй, стремились под пули и мины… Но, может быть, по большому счёту Маркес прав, считая, что у писателя-романиста и у репортёра из «горячих» точек — разные задачи?

Хулио Кортасар в 1968-м в Париже был на баррикадах антиголлистов, которых полиция пыталась усмирить с помощью слезоточивого газа, находился среди толпы, закидывавшей камнями фургоны с эмблемой органов безопасности (CRS) в Латинском квартале, участвовал в романтическом захвате Сорбонны, предпринятом студентами под крики «Долой все запреты!» и «Живи настоящим!»…

Двадцать девятого апреля 1969 года по радио сообщили, что при загадочных обстоятельствах загорелся в воздухе и разбился вертолёт, на котором летел диктатор Боливии Рене Барьентос Ортуньо, в октябре 1967-го утвердивший приказ о казни Че Гевары.

Под объявлением об аукционе вещей, оставшихся от Че, — курительной трубки с остатками табака, наручных часов, носков и страниц дневника — газеты публиковали его последнее письмо

родителям. Будто с того света.

«Дорогие старики! Я вновь чувствую своими пятками рёбра Росинанта, снова, облачившись в доспехи, я пускаюсь в путь… Считаю, что вооружённая борьба — единственный выход для народов, борющихся за своё освобождение, и я последователен в своих взглядах. Меня называют авантюристом, и, что ж, в этом есть доля правды. Но я из тех авантюристов, которые расплачиваются собственной шкурой, доказывая свою правоту. Может быть, я пытаюсь сделать это в последний раз. Я не ищу такого конца, но он возможен — и если так случится, примите моё последнее объятие. Я любил Вас крепко, только не умел выразить свою любовь. <…> Вспоминайте иногда этого скромного кондотьера XX века. Поцелуйте всех. Крепко обнимает Вас Ваш блудный и неисправимый Эрнесто».

(«Меня называют авантюристом…» Эти слова до сих пор украшают миллионы футболок во всём мире. Подсчитано, что «сувенирный» Че с 1967 по 2010 год принёс совокупного дохода больше, чем любая другая сувенирная продукция в мире.)

Газеты, особенно с утра, Маркес старался не читать, потому что это мешало работе. Он создавал, он ваял образ диктатора — и это оказалось самым трудным в романе, даже труднее, чем найти необходимые форму и стиль. Он отказался от первоначального замысла писать весь роман от первого лица, придя к выводу, что в таком случае как писатель будет связан языком персонажа и окажется как бы в смирительной рубашке. Затем он изобрёл свой метод: много лет подряд читая всё, что только можно было о диктаторах, — романы, свидетельства, письма, биографии, интервью, репортажи, он затем всё это откладывал и на какое-то время пытался забыть. А затем, на основе того, что знал и помнил, но что перемешалось, как игральные карты на столе, сочинял всё заново, стараясь не брать ни одного реального случая, а пользуясь «набором правил, составляющих механизм диктатуры». И в том числе и этот метод как бы подспудно диктовал язык и стиль повествования, его полифонию.

Он был невысокого мнения о романе-родоначальнике диктаторской темы в латиноамериканской литературе «Сеньор Президент» Мигеля Анхеля Астуриаса. Но справедливости ради заметим, что Маркес многим ему обязан и немало оттуда почерпнул — конечно, не впрямую, а творчески. Прежде всего — стихию звучащей в романе гватемальца речи: с первых слов и до финала Астуриас чуть ли не в каждой фразе нагромождает аллитерации и омонимы, сталкивает слова друг с другом, максимально использует их многозначность, вынуждая их сверкать и играть всеми возможными оттенками. Язык в романе

«Сеньор Президент» — а написан он был в самом начале 1930-х годов, когда латиноамериканского литературного языка ещё никто «не слышал», — не является чем-то второстепенным, аккомпанирующим, напротив, постепенно, от абзаца к абзацу становится самостоятельной энергией, дающей поле высокого напряжения, в котором развивается сюжет. Народ, прозябающий и нищенствующий, задвинутый и задавленный, забитый и отстранённый, казалось бы, безмолвствует. Но если вслушаться, то услышим: от имени народа говорит сам вековой язык народный. Не этого ли добивался в своих упорных радениях Гарсиа Маркес? Парализованное страхом, бездеятельное общество у Астуриаса — обезличенный «коллективный герой». Не так ли и у Маркеса: «…тогда мы осмелились войти, и не было нужды брать приступом обветшалые крепостные стены, к чему призывали одни, самые смелые, или таранить дышлами воловьих упряжек парадный вход, как предлагали другие… и вот мы шагнули в минувшую эпоху и чуть не задохнулись в этом огромном, превращённом в руины логове власти, где даже тишина была ветхой, свет зыбким, и все предметы в этом зыбком, призрачном свете различались неясно; в первом дворе, каменные плиты которого вздыбились и треснули под напором чертополоха, мы увидели брошенное где попало оружие и снаряжение бежавшей охраны…»

Язык, стиль, тон были найдены и утверждены. С образом главного героя оказалось сложнее. Маркесу приходилось выступать первооткрывателем, эдаким Колумбом, потому как у того же Астуриаса, по сути, диктатор не выписан, видны лишь внешние атрибуты: орденская лента на чёрном платье, очки, седые усы, белые пальцы… С юношеских стихов и рассказов Маркес мечтал создать свой, сугубо собирательный, но достоверный, живой образ диктатора, ни на кого из реальных диктаторов не похожий и в то же время походящий на всех, воплощающих власть. Ту абсолютную власть, которая представляется большинству населения планеты наивысшим, чего только может достичь человек в своей деятельности, карьере, жизни.

— Это как пробка в воде, — рассказывал Маркес, — поднимается и поднимается вверх, а потом доходит до поверхности, и выше подниматься некуда. Всё, предел. И абсолютная власть — тоже абсолютный предел. А меня этот объект всегда интересовал с точки зрения писателя — то есть как кульминация в писательских поисках.

— Но многие классики не касались темы абсолютной власти.

— Назови их, попробуй. Все так или иначе касались — или

власти, или стремления к ней: и Толстой, потому что у него Наполеон показан именно в абсолютной власти и её, кстати, одиночестве, и Достоевский, потому что Раскольников на преступление само идёт именно ради власти… А для латиноамериканской литературы это вообще постоянная и главная тема. Я полагаю, что каждый писатель, родившийся в Латинской Америке, рано или поздно сталкивается с искушением обратиться к диктаторской теме. Потому, что диктатор — это, может быть, единственный законченный типологический образ, который дала миру Латинская Америка. Одни страны могли бы дать и давали ковбоев и гангстеров, другие — искателей приключений, третьи — мистиков-философов… В Латинской Америке единственный персонаж, который реально дала наша история, — диктатор, прежде всего феодальный диктатор, не из современных. Современные диктаторы — технократы, что-то в них от «конструкторов», составленных из готовых деталей, от компьютеров… А те, феодальные, опирались ведь и на поддержку народа, ибо являлись отражением верований, их идеализировали и даже обожествляли, как Сталина, например, в СССР…

По свидетельству Осповата, в Испании тогда Маркес общался и с испанцами, вернувшимися на историческую родину из СССР, где жили при Сталине, и с советскими переводчиками, филологами, с Кивой Майданеком например. И всё время Маркес просил рассказывать ему анекдоты и разные случаи из жизни Иосифа Сталина. Читал воспоминания маршала Жукова и другие мемуары. И тогда, в процессе работы над «Осенью Патриарха», и позже Маркеса интересовал взгляд советских, российских исследователей — писателей, журналистов, драматургов — на власть имущих, он непременно знакомился с новыми книгами на эту тему, выходившими на понятных ему языках: испанском, французском, итальянском или английском.

«Я всегда говорил и повторяю, — утверждал Гарсиа Маркес, — что самые интересные, самые масштабные люди живут в России».

Многие годы общения, а затем и творческой дружбы связывают Маркеса с драматургом Эдвардом Радзинским, с которым он познакомился сначала как с драматургом, а затем — «глубоким и тонким писателем-исследователем исторических личностей, наделённых абсолютной властью».

«История — это воистину бездонный колодец, из которого мы, наверное, вечно будем черпать мудрость, глупость, полезный и бесполезный опыт, знания, массу открытий и так далее, — пишет Маркес в рецензии на произведения Радзинского. — Но история России — это особый колодец, полный мистики и чем-то

напоминающий „русские горки“ (в России, как я недавно узнал, их, в отличие от всего остального мира, почему-то называют „американскими“). Меня в том убедили книги Эдварда Радзинского о Николае II и Сталине. С творчеством Радзинского я познакомился давно: на Международный кинофестиваль в Колумбии впервые привезли советское кино. Это был фильм „Ещё раз про любовь“, снятый по сценарию Эдварда. Впервые мы соприкоснулись с киноискусством Советского Союза. Фильм получил Гран-при фестиваля. А потом я видел пьесу Радзинского „Старая актриса на роль жены Достоевского“ в одном из парижских театров. Постановка мне очень понравилась и хорошо запомнилась, ибо великая русская культура, и особенно творчество Достоевского, всегда волновала меня, да и сама „анатомия“ спектакля показалась мне весьма необычной. Честно говоря, сначала меня удивило, что известный драматург решил так круто изменить жанр, стиль и обратиться к художественно-документальной прозе. <…>

Многие интересные моменты своего путешествия по СССР в 1957 году я вспоминал, читая книгу Радзинского „Сталин“. Главный персонаж советской истории, который по-прежнему занимает мои мысли, — Иосиф Сталин. С трудом укладывается в голове, насколько он был всесильным, насколько жители его древней загадочной страны верили в него. И это была какая-то ирреальная, невидимая власть: Сталина мало кто лицезрел воочию… Хрущёв был не таким, он был обычным земным человеком, который для советского народа олицетворял возврат к действительности. Вместо того чтобы раздувать свой „культ личности“, он ездил по деревням и колхозам и, выпив водки, запросто заключал пари с крестьянами, что сумеет подоить корову. И доил. Мне сложно представить Сталина, сидящего на табуретке и дергающего корову за вымя. Сталин создал собственную империю, которая не могла существовать без него. <…> Боюсь, русских мне не понять никогда. Конечно, чужая душа потёмки, но души россиян — просто кромешная тьма! Несмотря на то, что на дворе стояла „хрущёвская оттепель“, повсюду мне мерещился ехидно улыбающийся в усы грузин с неизменной трубкой в зубах… Я вспоминал своё посещение Мавзолея много лет спустя, в Барселоне, когда писал „Осень Патриарха“ — книгу о латиноамериканском диктаторе. Я придумывал всё так, чтобы этот диктатор был ни на кого не похож и одновременно имел черты всех каудильо нашего континента. Но есть в нём что-то и от Сталина — великого азиатского тирана, в том числе изящные женственные руки… Думаю, главное достоинство книги Радзинского в том, что в ней

Сталин — не изваяние, не гигантская статуя у входа в Волго-Донской канал, а живой человек. Он сумел понять Хозяина… этого полуграмотного крестьянина из Гори, ослеплённого богатствами Кремля…»

Безусловно, и Сталин послужил прообразом Патриарха, и — даже в большей степени — сам автор, Гарсиа Маркес, в чём он многажды признавался:

«Будь то женщина или мужчина, плохой или хороший, сам автор — во всяком случае, у меня — является основой, сердце автора присутствует во всех персонажах. А уж на это наслаивается всё остальное».

И всё-таки представляется, что основным «материалом для ваяния» Маркесу послужили не он сам, не Сталин, а родные его латиноамериканские каудильо-диктаторы.

Как и при Сталине в СССР, простой народ в Латинской Америке в меньшей степени непосредственно страдал от преследований со стороны диктатора, чем политизированные, а значит, подспудно угрожавшие диктатуре слои — политики, военачальники, интеллигенция… Народу более всего была видна магия, которой обладал диктатор. По свидетельству доминиканки Минервы, похороны доминиканского диктатора Трухильо, например (который жесточайше расправился с её отцом, известным адвокатом, и матерью), вылились в апофеоз, в его обожествление. Кое-что Маркес взял от кубинца Батисты. Кое-что — от никарагуанца Сомосы-старшего, который изобрёл клетки с решёткой посредине, куда в одну половину помещали хищника, например ягуара, а в другую — политических заключённых; эти клетки стояли в саду дома старого диктатора, и люди, которые приходили к нему, видели их. Больше — от Хуана Висенте Гомеса, который был столь ярким диктатором, что «венесуэльцы не смогли устоять перед искушением и реабилитировали его как выдающегося венесуэльца». Иными словами — не забыв и не простив зверств Висенте Гомеса, его запредельной жестокости, всего того, что он натворил, они и по сей день стараются помнить и то, что «в характере этой личности было национальным».

«Потому что он, конечно, был наделён определённым обаянием, — едва ли не с симпатией, не с ностальгией (не по диктатору, конечно, но по времени, когда работал над своим Патриархом, по своей молодости в Барселоне) объяснял Маркес. — Отличался интуитивным умом, поразительной народной мудростью. Так что из всех, о ком я читал и слышал, меня более всего заинтересовал Висенте Гомес, и мой персонаж более всего походит на него».

На рубеже 1960–1970-х годов Карлосу Фуэнтесу пришла в

голову мысль сделать книгу под названием «Отцы родины». Каждый известный латиноамериканский романист должен был написать о диктаторе своей страны. Отеро Сильва взялся написать о Хуане Висенте Гомесе, Кортасар хотел писать о судьбе Эвиты Перон, сам Фуэнтес — о мексиканце Санта-Ана, Карпентьер — о кубинце Мачадо, Бош — о доминиканце Трухильо, Роа Бастос — о докторе Франсиа, запершем Парагвай на замок и оставившем лишь окошечко для почты… А наш герой остался без «своего диктатора», хотя давно уже работал над книгой о диктаторе и неоднократно излагал замысел книги в печати. Он позвонил другу Карлосу по телефону, сказал, что тот поступает непорядочно. (Это тоже к вопросу о достойных восхищения взаимоотношениях между вершителями «бума».) План Фуэнтеса повис в воздухе, фундаментальный и единственный в своём роде цикл романов о диктаторах не состоялся, хотя кое-кто — Карпентьер, Бастос — продолжали свои сочинения, которые спустя время были опубликованы и имели успех.

Продолжал и Маркес, живя в Испании, которой правил генерал Франсиско Паулино Эрменехильдо Теодуло Франко Багамонде. После выхода романа «Осень Патриарха» на одной из встреч читатели спросили его о генерале Франко.

«— Нет, от Франко я ничего практически не взял в образ своего Патриарха, — отвечал Маркес. — Возможно, от самой Испании, от обстановки, в которой жила страна. А у самого Франко было крайне мало от Испании. Однажды я даже хотел попросить у него аудиенцию, чтобы посмотреть его вблизи, и наверняка получил бы её. Но я бы не смог объяснить, какого чёрта мне надо видеть Франко. Не мог же я сказать ему: знаете, я пишу сейчас книгу о сукине сыне и вот хотел бы…»

Как и многим творцам, Маркесу была свойственна энергия заблуждения. Нежелание, порой подспудное, на уровне инстинкта самосохранения художника, дабы не размывались, тем паче не меняли цвета устоявшиеся в сознании, целостные суждения, представления, вникать в глубинные перипетии. Некоторая даже боязнь объективности или объективизма (который, наверное, и в принципе невозможен). В отношении генерала Франко наш герой следовал в фарватере левых взглядов на историю Испании XX века, художественным выражением коих стал роман Хемингуэя «По ком звонит колокол», воспевший республиканцев, противников Франко. (Хотя и Хемингуэй сказал, например, об агенте Коминтерна Андре Марти: «У него мания расстреливать людей».)

Но почему-то кажется, что если бы Маркес, по своей,

повторим, воле выбрав для жизни и творчества именно Испанию Франко, вник в суть испанской трагедии, в документы, свидетельства очевидцев и с той, и с другой стороны, постоял бы перед крестом в Valle de los Caidos (Долине павших) неподалёку от Мадрида, постоял в пятидесятикилометровой очереди испанцев, желающих проститься со своим почившим генералиссимусом, признававшим ответственность «лишь перед Богом и Историей»… то не ограничился бы «сукиным сыном». Зимой 2011 года мне довелось побывать в Долине павших. Смею утверждать, что нет на земле мемориала более величественного. Завораживающего. Возносящего. Его начали создавать по приказу Франко сразу после окончания гражданской войны. Вековые сосны, лиственницы, скалы. 150-метровый крест над вырубленной в скале базиликой, по величине превосходящей собор Святого Петра в Ватикане. Под крестом, который видно за пятьдесят километров, — Дева Мария, склонившаяся над Христом. Полумрак. Тишина. Пред алтарём плита с надписью: «Francisco Franco». Всегда свежие цветы. На стене высечено посвящение — как покаянная молитва: «Павшим за Бога и Испанию. 1936–1939». Всем павшим в братоубийственной войне.

Палмарианская испанская католическая церковь объявила генерала Франко святым. После завтрака с Франко назвал его святым и Сальвадор Дали — впрочем, это тоже, возможно, энергия заблуждения художника.

Тема Франко вновь и вновь возникала, пусть не впрямую, в «Осени Патриарха», в процессе его создания — и, как представляется, сама тень легендарного генералиссимуса придавала книге дополнительные тона и полутона, усложняла, углубляла её, делала более многозначной, европеизированной.

Посмотрев вышедший на экраны фильм «Че!» кинокомпании «XX век Фокс» с Омаром Шарифом в роли Че Гевары и Джеком Паланcом в роли Фиделя, Маркес кричал Мутису по телефону, что они совсем в Голливуде обалдели и снимают полный бред! Альваро клялся, что не имеет к этой картине ни малейшего отношения, и тоже пришёл в ужас: чудовищные голливудские штампы, стереотипы, вопиющее незнание не только истории Че, но вообще Латинской Америки. Маркес говорил, что этот так называемый Че — какой-то фанатичный монах, начисто лишённый чувства юмора, и вообще маньяк, и Фидель у них тоже маньяк, к тому же алкоголик, и что эти янки их, латиноамериканцев, за полных идиотов держат! Мутис отвечал, что согласен и что в Каракасе, например, подожгли экран, а в Сантьяго-де-Чили после премьеры «Че!» вообще забросали

кинотеатр бутылками с «коктейлем Молотова»!..

Четырнадцатого июля 1969 года, в День взятия Бастилии, по радио сообщили, что убит Онорато Рохас, предоставивший в 1967 году информацию, благодаря которой боливийскими войсками была устроена засада и погиб отряд соратницы Че Гевары Тани (Хайд Тамара Бунке Бидер по прозвищу Таня, немка, в прошлом агент секретной службы ГДР «Штази» и, по некоторым сведениям, КГБ СССР). Рохас был застрелен на своём ранчо, подаренном ему в награду «за Че» президентом Рене Барьентосом, двумя выстрелами в голову.

В начале 1970 года «Сто лет одиночества» во Франции был признан лучшим иностранным романом. В высшей степени консервативная лондонская газета «Таймс» (ещё недавно вовсе не печатавшая фотографий) отдала целую полосу первой главе «Ста лет…», притом с иллюстрациями практически из битловского мультфильма «Жёлтая подводная лодка». Премии сыпались как из рога изобилия, притом 36,2 процента дохода, как подсчитал Маркес, приносила Кармен, которую писатель прозвал Супермен.

Как-то вечером, выслушав за ужином объяснение друга-психиатра Луиса Федучи, какие необратимые процессы в мозгу человека происходят от курения и как пагубно влияет оно особенно на память, Габриель, выкуривавший с юности до восьмидесяти, а когда писал «Сто лет…» и до ста сигарет в сутки, бросил курить. Сам Федучи потом перешёл на трубку, а Маркес больше не курил никогда (сила воли — иные Маркесами не становятся).

Пабло Неруда, легендарный поэт-коммунист, боявшийся, как и Маркес, летать, возвращался с женой Матильдой из Европы домой, в Чили (чтобы принять участие в выборах, на которых Неруда снимет свою кандидатуру от компартии на пост президента страны в пользу Сальвадора Альенде) и пожелал лично познакомиться с автором романа-землетрясения. Вечером после их знакомства Маркес писал другу Мендосе: «Жаль, что ты не видел Неруду! Этот м…к поднял такой хай в ресторане, что Матильде пришлось послать его на х… Мы выпихнули его в окно, привезли сюда и классно провели время до отхода корабля». И ещё Маркес вспоминал о том дне: «Мерседес возжелала получить у Неруды автограф. Он подписал: „Читающей в постели Мерседес“. Посмотрел на этот свой автограф и говорит: „Как-то подозрительно“. И написал: „Мерседес и Габо в постели“. Поразмыслил. „Нет, — говорит, это ещё хуже“. И написал: „С приветом, брат Пабло“. Захохотал и закончил: „Ну вот, теперь совсем плохо, но с этим уж ничего не поделаешь“».

Кстати, художница Наталия Аникина, дочь Чрезвычайного и Полномочного посла СССР Александра Аникина, открывавшего наши посольства в Латинской Америке, рассказывала мне, что первым в их доме в Чили появился лауреат Международной Сталинской премии Пабло Неруда, «восхищавшийся всем, что связано с СССР, и сразу, преклонив колено, объяснился в любви моей маме».

Габриель пригласил Плинио, который обижался, что друг забурел и в своём величии скоро «своих узнавать перестанет» (хотя часто останавливался у него в барселонской квартире на Капоната, «где также останавливались важные дамы в жемчужных ожерельях, знаменитости»), провести вместе с семьями несколько недель «у мафии» на Сицилии. Выбрали малообитаемый островок Пунта-Фрам, где Маркес арендовал виллу с бассейном, отделённым от моря лишь стенкой. Не исключено, что результатом того счастливого отдыха стала новелла «Счастливое лето госпожи Форбес».

«…Госпожа Форбес, нагая, как-то неловко лежала в луже высохшей крови, окрасившей весь пол в комнате, и всё её тело было в кинжальных ранах. У неё оказалось двадцать семь смертельных ран, и само их количество и бесчеловечность говорили о том, что наносили их с яростью любви, не знающей, что такое усталость, и с такой же страстью принимала их госпожа Форбес, без крика, без слёз, декламируя Шиллера своим звучным солдатским голосом, понимая, что это цена её счастливого лета и она неизбежно должна её заплатить».

Так заканчивается рассказ о двух мальчиках, которые, будто назло оставившим их родителям, вознамерились отравить надоевшую воспитательницу, подлили ей отравленного вина из древнегреческой амфоры со дна моря и до поры были уверены в том, что яд подействовал. Любовь и кровь как бы рифмуются в рассказе. Без объяснений, кто и за что зверски зарезал бедную госпожу Форбес. Рассказ можно назвать и детективом, хотя преступление в нём не будет раскрыто.

На отдыхе Маркес ничего серьёзного не писал. Читал, слушал диск «Let It Be» «The Beatles», дегустировал местные вина, отдавал должное сицилийской кухне… Когда им надоело на острове, вернулись в Палермо и разместились в «Гранд-отель вилла Илья» у подножия горы Пеллегрино, похожем на норманнский дворец. С «благословенной» Сицилии перебрались в «город миллионеров» Неаполь. Из Неаполя отправились на машине в Рим, оттуда по автобану на север.

В августе 1970 года компания писателей, составляющих «бум» латиноамериканской литературы, собралась на ранчо

Хулио Кортасара в Сеньоне, чтобы отметить успех пьесы Фуэнтеса «Одноглазый король» на театральном фестивале в Авиньоне.

— У меня были Карлос, Марио Варгас Льоса, Гарсиа Маркес, Пепе Доносо, Гойтисоло в окружении своих подруг и почитательниц (а также почитателей), общим числом до сорока человек! — рассказывал Кортасар. — Сколько бутылок было уничтожено и сколько было разговоров и музыки!..

Мария Пилар Доносо, жена чилийского писателя Хосе Доносо, с весёлой ностальгией вспоминала ту встречу, не утаив и «квинтэссенцию вечера» — как их с красавицей Ритой, женой Фуэнтеса, приняли в Авиньоне за проституток:

«— Кортасар и Угне Карвелис, литовка по происхождению, моложе его почти на четверть века, отбившая Кортасара у жены Ауроры, чувствовали себя в Авиньоне как дома, поскольку ранчо Хулио в маленьком городке Сеньон находилось совсем близко. Вечером после спектакля мы все отправились ужинать в ресторан. Рита, жена Карлоса, была очень хороша и дико сексапильна в тот вечер в шикарном туалете тёмно-зелёного цвета, который она сама придумала, — что-то наподобие индийского сари, но с разрезом до бедра. Я тоже была в чём-то вроде сари, поскольку моё длинное платье опадало книзу драпированными складками, оставляя одно плечо и верх груди обнажёнными, как у индийских женщин. Мы держались чуть поодаль от остальных, шли не спеша по средневековой улице, заполненной народом. Было много молодёжи и много, как везде в то время, хиппи. Атмосфера была праздничная, погода тёплая и приятная, и мы с Ритой разговаривали об увиденном спектакле, о проблемах воспитания наших детей… Вдруг послышался визг тормозов и около нас остановилась огромная полицейская машина. „Мадам!“ — окликнул нас полицейский и подошёл к нам. Рита тут же сообразила, в чём дело. Я же, в простодушии своём, не понимала ничего. „Но месье!.. — произнесла она с ярко выраженным акцентом и с драматической, будто со сцены только что закончившегося спектакля интонацией. — Мы отнюдь не те, за кого вы нас приняли!“ — „А за кого я вас принял?“ — сказал полицейский, смущённый вниманием вокруг, — а сцена сразу привлекла гуляющих, особенно почему-то хиппи. „Вы нас приняли за проституток! — по-авиньонски театрально произнесла роскошная Рита, чем-то действительно напоминавшая очень дорогую гетеру. — Но мы отнюдь не проститутки, вы ошиблись!“ Подошли Хулио с Габо, лучше других изъяснявшиеся по-французски, всё объяснили, полицейский попросил извинить его и уехал. Габо рассказал в тот вечер в кафе на площади, как много лет назад, когда он был совсем беден и одинок, его арестовали

возле станции метро в Париже, приняв за алжирца, избили и посадили в „обезьянник“ с алжирцами и другими иммигрантами, где продержали до утра. Рассказывал он так смешно, что мы хохотали на всю площадь, и полиция вновь стала на нас поглядывать… Разговаривали, спорили о Кубе, о Фиделе, о Че… Мы провели в Авиньоне три или четыре дня. В один из этих дней Кортасар и Угне пригласили на обед, устроенный в одной очаровательной деревенской гостинице, друзей из Барселоны, из Парижа и других мест, оказавшихся в то время в Авиньоне. После чего мы все отправились в домик Кортасара, чтобы провести там вечер, и там произошли важные вещи: Хулио основал журнал „Либре“, Габриель дал своей Мерседес и всем присутствующим обещание ни на что не отвлекаться от романа, который пишет (это была „Осень Патриарха“, насколько я понимаю, хотя у него всегда трудно что-либо понять, а отвлекался он тогда, да и всегда, то и дело на всё что угодно), а Марио Варгас Льоса сменил причёску…»

Неделю спустя после «бумовского шабаша» Кортасар написал: «Всё было одновременно мило и как-то очень странно: что-то непреходящее, бесподобное, конечно, и имевшее некий глубинный подтекст, смысла которого я так и не уловил».

Десятого октября 1970 года по радио передали, что третья годовщина гибели была отмечена автомобильной катастрофой, в которой погиб лейтенант Уэрт, командовавший отрядом, взявшим в плен Че Гевару. Вскоре погиб и подполковник Селич, в октябре 1967-го допрашивавший и пытавшийся унизить пленного раненого Че.

В декабре «бумовцы» и их жёны встретились в Барселоне в ресторане национальной каталонской кухни «Птичья купальня», где по традиции посетители писали заказы на фирменных бланках. Разговорились, бланки не заполнили, официант сообщил об этом хозяину. «Вы что, писать не умеете?» — выйдя из кухни, сердито осведомился тот. «Не умеют, — рассмеялась Мерседес, — я за них пишу».

Рождество праздновали в квартире Марио Варгаса Льосы и его двоюродной сестры-жены Патрисии, где Кортасар с Мари и Габо, ползая на четвереньках, с криками гоняли гоночные машинки на батарейках, подаренные детям на Рождество. Потом устроили party Луис Гойтисоло и его жена Мария Антония. «Для меня „бум“, — вспоминал Доносо, — как организм прекратил своё существование — если это вообще был организм, а не плод чьего-то воображения — в 1970 году в доме Гойтисоло в Барселоне. Его жена Мария Антония, увешанная дорогими украшениями, в цветастых шароварах и чёрных туфлях,

танцевала, вызывая в памяти образы, созданные русским Леоном Бакстом для „Шахерезады“ или „Петрушки“. Кортасар с недавно отпущенной рыжеватой бородой что-то лихо отплясывал с Угне, чета Варгас Льоса кружилась в вальсе. Позже в круг гостей вошли и Гарсиа Маркес с женой и, сорвав аплодисменты, стали танцевать тропическое меренге. Тем временем наш литературный агент Кармен Балсельс, возлежа на диване, лакомилась мясом и, размешивая ингредиенты ароматного жаркого, кормила фантастических голодных рыбок в освещённых аквариумах, украшавших стены комнаты. Кармен, казалось, держала в своих руках нити, заставляя нас плясать, словно марионетки, и пристально наблюдала за нами — может быть, с восхищением, может быть, с алчностью, может быть, одновременно и с тем и с другим, так же, как она наблюдала за танцами рыбок в аквариумах».

И Кортасар в разговоре со мной вспомнил тот вечер — кто-то заговорил об О’Генри, процитировал «Дороги, которые мы выбираем»… Это был своего рода прощальный вечер — перед развалом группы «бума» латиноамериканской литературы XX века.

Кармен всё увеличивала обороты по «раскрутке» Маркеса. Его имя становилось международным брендом. Известная компания обратилась с предложением выпустить шипучий прохладительный напиток «Гарсиа Маркес» с портретом, но писатель отказался, сославшись на то, что «всё уйдёт в пену».

Проявляя силу воли, воспитанную ещё дедом-полковником и закалённую десятилетиями лишений, он не давал себя оглушить «медными трубами». Живя в большом особняке в самом престижном районе Барселоны с прислугой, сторожем-садовником, бывшим нападающим сборной Каталонии по футболу, он установил для себя железный распорядок дня (на то время, когда не был в отъезде). Утром легко завтракал, после кофе с первой сигаретой садился за печатную машинку до трёх часов дня, при этом в доме соблюдалась полная тишина, отключался телефон, хозяина не должны были беспокоить ни в коем случае. Затем — обед, приготовленный поваром и кухаркой, «переманенными» высокой зарплатой из лучшего барселонского ресторана. Затем — отдых, прослушивание классики, «Битлз», колумбийских мансанеро и валленато. Как вспоминал Мендоса, у него был великолепный стереокомбайн. И ещё Маркес любил наблюдать из огромного, во всю стену, окна гостиной, как его садовник-футболист срезает жёлтые розы, чтобы ровно в пять заменить вчерашние в гостиной, в кабинете и в спальнях. К

вечеру садовник-консьерж переодевался в униформу, дабы встречать у кованых ворот и пропускать «бентли», «мерседесы», «феррари», на которых приезжали навестить модного писателя высокопоставленные, богатые и очень богатые друзья.

Балсельс пришла к соглашению с барселонским издательством «Тускетс» (что для издательств становилось всё более накладным, гонорары Маркеса росли не по дням, а по часам) о публикации отдельной небольшой книжкой документальной повести «Рассказ не утонувшего в море». Идея переиздать эту злободневную некогда (пятнадцать лет назад!) журналистскую работу была рискованной — но издание не только окупилось, а превзошло самые смелые ожидания издателей. Впоследствии эта книга издавалась в десятках стран мира общим тиражом более десяти миллионов экземпляров.

Являясь также литературным агентом Варгаса Льосы, проживавшего с женой и детьми в Барселоне, Кармен Балсельс постепенно, со свойственной ей вкрадчивой настойчивостью, внедрила в сознание (и в подсознание, как он уверял) знаменитого перуанца мысль написать книгу о крёстном отце его сына, то есть почти родственнике — Гарсиа Маркесе. Тот, на полгода отложив свой роман, сценарии, взялся за работу — с помощью Кармен, исправно снабжавшей его публикациями о Маркесе, появлявшимися по всему миру.

«Писать романы — значит бунтовать против действительности, против самого Господа Бога и его творения, которое есть реальная жизнь, — сразу, с первых строк круто берёт Льоса. — Это попытка исправить, изменить или упразднить существующую реальность, заменить её реальностью вымышленной, которую создаёт автор… Он диссидент: он создаёт иллюзорную жизнь, порождает мир из слов, поскольку не принимает мир реальный. Природа писательской сущности — это неудовлетворённость окружающей жизнью; каждый роман есть скрытое богоборчество… Писатель стремится уничтожить существующую действительность, вызвать её распад, заменить её другой, созданной из слов. И в этом смысле все писатели — бунтари».

Книга Варгаса Льосы «Габриель Гарсиа Маркес. История богоубийства» была опубликована в конце 1971 года и сыграла значительную роль в дальнейшей судьбе нашего героя, вызвав огромный интерес прежде всего в профессиональной среде — литературоведов, критиков, издателей, преподавателей, — тех, от кого зависят звания и премии (в том числе Нобелевская). Вскоре после выхода книги и перевода её на английский и французский языки Маркес становится почётным доктором Колумбийского

университета (США) и удостаивается высокого звания кавалера ордена Почётного легиона. Роман «Сто лет одиночества» продолжает собирать урожай всевозможных международных премий, в их числе — итальянская премия Чьянчяно, Ньюштадтская и Гальегоса, которая когда-то сдружила Маркеса и Льосу…

Но до этого произошли события, вылившиеся в самый значительный политический кризис в литературе Латинской Америки XX века. Гражданская война в культуре.

Фидель всё-таки посадил поэта Падилью, «провокатора, извращенца, контрреволюционера». Группа всемирно известных писателей направила из Парижа Кастро письмо, в котором высказывалась поддержка принципов кубинской революции, но не признавались «сталинские» репрессии в отношении писателей и интеллектуалов. Инициатором протеста выступил Варгас Льоса. Подписали: Жан Поль Сартр, Симона де Бовуар, Гойтисоло, Кортасар, Мендоса и… Гарсиа Маркес. Хотя на самом деле Маркес не подписывал, за него подписал Мендоса. Маркес с негодованием вычеркнул свою фамилию, но это уже мало что изменило — Фидель оскорбился, поссорился наш герой и с друзьями-писателями. В интервью колумбийскому журналисту Хулио Роса Маркес сказал, что письмо не подписывал и что если бы на Кубе присутствовали элементы сталинизма, Кастро бы искоренил их. Вскоре на пресс-конференции, когда от него потребовали «занять твёрдую и определённую позицию по кубинскому вопросу», Маркес заявил: «Я — коммунист». И добавил: «Который пока ещё не нашёл своего места».

Двадцатого апреля 1971 года в газетах была опубликована фотография Моники Эарит, члена Национально-освободительной армии. Девушка вошла в консульство Боливии в Гамбурге (ФРГ) и двумя выстрелами в упор застрелила консула — полковника Роберто Кинтанилью, бывшего руководителя разведки МВД Боливии, отдавшего приказ об ампутации кистей рук казнённого Че Гевары.

Если «Сто лет одиночества» написаны «на одном дыхании», хоть и за восемнадцать месяцев, то «Осень Патриарха», по признанию автора, приходилось буквально «выдавливать» по букве. И найти следующую букву всегда было ужасно трудно. Но он знал, на что шёл, мечтая написать целиком экспериментальную книгу.

Главное в «Осени Патриарха» — эксперимент поэтический, стремление «показать самому себе, до какой степени роман может стать сродни поэзии». Вызвать «тотальный поэтический

эффект», как говорил Хорхе Луис Борхес. Даже в самые удачные дни Маркесу удавалось написать четыре-пять строчек, которые, как правило, на следующий день перечёркивались. Надо было выдерживать заданную тональность, ритм, которому придавалось едва ли не решающее значение и который, по утверждению Маркеса, сам устанавливал длину предложений. А предложения в «Осени…» беспрецедентно длинные: в первой главе их 29, во второй — 23, в третьей — 18, в четвёртой — 16, в пятой — 13, в шестой — 1. Кроме того, и через год, и через два года работы над романом в сознании не утвердилось окончательно композиционное решение, которое бы вполне соответствовало замыслу. От линейной композиции Маркес отказался, но мучился со «спиралью, опрокинутой вершиной вниз и с каждым витком всё глубже проникающей в действительность», понимая, что читателя можно окончательно запутать и отпугнуть.

Отказавшись и от повествования от первого лица (диктатора), решив вести рассказ и от второго, и от третьего, и в единственном числе, и во множественном (огромный оркестр!), Маркес всё же испытывал некоторые сомнения по этому поводу и порой делал попытки возврата к монологу. Он как бы сверял часы со своим любимым испанским романом «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения» (в 1554 году издан анонимно), где впервые используется внутренний монолог (первооткрывателями которого в литературе считаются Джойс и Вирджиния Вулф, творившие гораздо позже). В силу фабульных обстоятельств — так как речь в «Ласарильо» идёт о слепце, старавшемся перехитрить зрячего плута, — автор должен был обязательно раскрыть читателю течение мыслей этого слепого. И единственный выход, который он нашел, — это изобрести то, чего еще не существовало, то, что потом стало называться внутренним монологом. Постоянно перечитывал Маркес Нуньеса де Арсе и всю «слезливую испанскую поэзию, которая нравится человеку в студенческие годы, когда он влюблён».

«— В испанской литературе необходимо прежде всего знать поэзию, — был уверен Маркес. — Я начал интересоваться литературой благодаря плохой поэзии, ибо невозможно подняться к хорошей иначе как через плохую. Это западня, ловушка, навсегда приковывающая тебя к литературе. Поэтому я большой поклонник плохой поэзии, в испанской литературе больше всего люблю не роман, а поэзию. Более того, я думаю, что ещё не бывало такого чествования Рубена Дарио, какое есть в „Осени Патриарха“… Она полна перемигиваний со знатоками Дарио — ведь я старался разобраться в том, кто был великим поэтом в эпоху великих диктаторов, и оказалось, что это Рубен Дарио».

На «Осень Патриарха» было израсходовано беспримерное количество бумаги — десятки тысяч листов. Он начинал страницу всегда сразу на машинке, и если сбивался или просто делал ошибку, опечатку в машинописи, у него возникало ощущение, что это не просто машинописная ошибка, а творческая. И он начинал всю страницу заново. Так накапливались листок за листком. И когда получалась целая страница, он брал ручку с чёрными чернилами, делал поправки и перепечатывал страницу уже набело. Однажды, в очередной раз отвлёкшись от «Осени Патриарха», Маркес написал двенадцатистраничный рассказ, но к концу работы над ним израсходовал более пятисот листов бумаги!

В Барселоне он привык работать на электрической пишущей машинке, придя к выводу, что механические трудности воздвигают препятствие между тем, что пишется, и тем, кто пишет. И заметив, что просто лучше думается, когда прикасаешься кончиками пальцев к клавишам именно электрической машинки.

«Я знаю многих писателей, которые боятся работать на электрической машинке, — рассказывал на пресс-конференции в ещё докомпьютерную эпоху Маркес. — И в частности, потому что существует романтический миф, будто писатель и вообще художник должен быть очень несчастен, должен испытывать голод, чтобы творить. Как раз наоборот! Я считаю, что именно в лучших условиях можно лучше писать, и неправда, что, голодая, напишешь лучше, чем не испытывая голода. Всё это потому, что художники и писатели так наголодались, что голод кажется им необходимым условием, — и всё же несомненно лучше писать не на пустой желудок и с помощью электрической машинки».

В процессе работы над «Осенью Патриарха» он вновь обращался в «литературную мастерскую» Хемингуэя, ценя открытия и советы в писательском деле даже выше его романов и рассказов. Не только в молодости, но и ныне, уже именитым, Маркес частенько перечитывал «Маэстро задаёт вопросы (Письма с бурного моря)», открывая всё новые и новые грани «полезных советов» предшественника. Другу Мендосе он однажды сказал, что, по его мнению, литератор всё время должен учиться и, как лицеист, повторять пройденное, потому что экзамен приходится держать постоянно, ежеминутно, плевать всем на прошлые заслуги. «Это как с женщиной, — выразился он в духе Хема. — Ты обязан каждый раз доказывать, что ты мужчина. Остальное — лишь воспоминания».

Хемингуэй писал стоя. Фолкнер — только на голубой бумаге. Гёте — сидя на деревянной лошадке. Достоевский — шагая по

комнате. Гарсиа Маркес в Барселоне пробовал и так и этак, но мешало и отвлекало очень многое, порой — всё.

«По-моему, — признавался он, — это лишь предлоги, чтобы не писать. Иными словами, человек ставит перед собой всякого рода препятствия, лишь бы не садиться писать. Мне, внявшему советам Хемингуэя, всё же внушает ужас мысль о том, что надо сесть за пишущую машинку. Я поглядываю на неё, кружу вокруг, говорю по телефону, хватаюсь за газету — тяну время, чтобы не остаться с машинкой один на один, но в конце концов это случается. Между пишущей машинкой и собой человек воздвигает поистине бесконечное множество препятствий».

Довольно долго он мог писать лишь в комнате, которую называл «горячей», всегда при одной и той же температуре в тридцать градусов, потому что начинал в тропиках, у Карибского моря. И в Барселоне, и в Париже, особенно зимой, ему было нелегко. Должна была быть непременно хорошая белая бумага почтового формата, исправления делались только чёрными, ни в коем случае не синими чернилами… Изобретались всё новые причуды, к которым, впрочем, Маркес относился со вниманием, считая их тоже частью жизни. Хотя боролся с ними. В том числе и с помощью журналистики, которая обязывает писать к назначенному часу, при любой температуре, в любых условиях.

«Главной бедой было то, что между одной и другой моей книгой образовывался большой временной разрыв, — объяснял Маркес студентам-журналистам. — И рука у меня совершенно остывала, но зато накапливались новые причуды, „помогавшие“ снова и снова откладывать работу. Журналистика помогает писателю не только тем, что поддерживает живую искру в работе, она обеспечивает постоянный контакт со словом, а главное — постоянный контакт с жизнью. В тот день, когда писатель утратит связь с действительностью, он перестанет быть таковым. Занимаясь журналистикой, этот контакт сохраняешь, а вот литературная работа, напротив, всё дальше и дальше уводит нас от жизни. Слава же вообще рвёт последние нити, и если упустишь момент, окажешься под непроницаемым колпаком, навсегда лишившись способности понимать, что происходит вокруг».

И, дабы не засиживаться в барселонской башне из слоновой кости, он нередко и порой неожиданно выезжает, вдруг оказывается на другом конце света, в Японии или на родине. В 1972 году в Колумбии с огромным успехом, как и всюду, гастролировал советский цирк, в то время в составе циркового оркестра был известный ныне музыкант и шоумен Левон Оганезов. Вот что он рассказал мне о тех гастролях:

— Цирковые — люди нечитающие, а я читал, был без ума от

«Ста лет одиночества» и, конечно, мечтал увидеть Маркеса. Но мне сказали, что он давно не живёт в Колумбии. Полторы недели мы выступали в большом шапито в центре Боготы. Стоим как-то у входа — и вдруг: «Маркес! Маркес!» И въезжает на площадь длинный такой джип, за рулём действительно Маркес в джинсовом костюме, а в машине куча детей, не менее дюжины, видимо, с его улицы. А у меня как раз была с собой книга «Сто лет…», она тогда уже вышла в прекрасном переводе на русский. Ну, я подошёл, произнёс единственное слово, которое знал по-испански: «Буэнас», протянул раскрытую книгу. Он взял и долго внимательно разглядывал, листал, будто пытаясь вникнуть. Подписал, сказал, что мы с ним чем-то похожи, в нём тоже находят нечто армянское. Сфотографировались, он, понимая, как мне это важно, обнял меня… Обаятельнейший человек! Но я только через много лет по-настоящему осознал, у кого тогда возле шапито взял автограф! В Латинской Америке он просто бог! И как музыкант скажу: его книги, и «Сто лет…», и «Патриарх» — глубокие философские симфонии!

Весной 1973 года в Париже Габриель с Мерседес присутствуют на свадьбе Тачии и Шарля, которые, имея восьмилетнего сына, решились официально расписаться и поселились напротив больницы, где она когда-то потеряла ребёнка от Маркеса. «Габриель был шафером на моей свадьбе, — вспоминала Тачия. — Он также является крёстным моего сына Хуана…»

Осенью Маркес издаёт сборник своих журналистских работ — «Когда я был счастлив и невежествен». Основывает (за свой счёт и содержит) журнал «Альтернатива», в котором сам занимается политической журналистикой — «под влиянием» Аугусто Пиночета.

Напомним, что 11 сентября 1973 года армией и корпусом карабинеров в Чили был осуществлён государственный переворот (при непосредственном участии ЦРУ США). В результате переворота был свергнут президент-социалист Сальвадор Альенде и правительство Народного единства. Цели: прекращение экономических преобразований, в частности аграрной реформы и национализации крупной промышленности, возвращение национализированных предприятий прежним владельцам, включая корпорации США, разгром левого движения — социалистов, коммунистов, радикалов, левых демохристиан…

Маркес немедленно отправил телеграмму: «11 сентября 1973 г. Членам военной хунты. Вы несёте ответственность за смерть президента Альенде, и чилийский народ никогда не смирится с тем, чтобы им правила банда преступников,

находящаяся в услужении у североамериканского империализма. Габриель Гарсиа Маркес». Судьба Альенде была в тот момент ещё не решена, но Маркес сказал, что хорошо знал Альенде, и был уверен, что живым он президентский дворец не покинет. «Переворот в Чили я воспринял как катастрофу», — скажет он позже.

Официально состояние «осадного положения», введённого для совершения переворота, сохранялось в течение месяца после 11 сентября. За этот период в Чили было расстреляно и умерло от пыток свыше тридцати тысяч человек. Однако все бессудные убийства, совершённые в ходе военного переворота 1973 года, попали под амнистию, объявленную Пиночетом в 1978 году. Но Пиночета, конечно, ошибочно было бы изображать лишь «чёрной» краской. Например, Виталий Найшуль, наш известный экономист, которому принадлежит сама идея ваучерной приватизации в СССР (другой вопрос, как воспользовались идеей его друзья-коллеги Чубайс и Гайдар), едва ли не с восторгом рассказывал мне о Чили, о Пиночете, с которым неоднократно встречался и беседовал.

— Очень яркая, неординарная личность, сила воли колоссальная! — делился впечатлениями Найшуль. — Конечно, после переворота экономика Чили упала — как после любого переворота. Потом объективная причина — катастрофическое падение цен на медь, которая для чилийцев — как для нас нефть. Но с 1984 года чилийская экономика растёт и растёт, их чуткая машина работает, даже когда вокруг, во всей Латинской Америке, бушуют кризисы. И это — во многом благодаря Пиночету, этому консервативному католическому антикоммунисту, при нём блестяще сделанным, скроенным реформам… Пиночет за пятнадцать лет не встретился ни с одним профсоюзным лидером, ни с одним предпринимателем. Были действительно созданы равные условия для всех!

…Заканчивая «Осень Патриарха», проникнув «вглубь разума тирана», Маркес решает, что не будет писать художественных произведений, пока не падёт поддерживаемый США диктаторский режим Пиночета, а всецело сосредоточится на публицистике.

Роман «Осень Патриарха» был опубликован в 1975 году и вызвал у большинства поклонников Гарсиа Маркеса во всём мире разочарование.

«— Когда „Сто лет одиночества“ стал продаваться десятками и сотнями тысяч экземпляров, — рассказывал Маркес журналистам, — когда его перевели на множество языков и я стал получать колоссальное количество писем, то я понял, что мои читатели прочли только „Сто лет одиночества“ и ждут

продолжения. Я не стал продолжать, это было бы нечестно. Мне пришлось создать „анти-Сто-лет-одиночества“. Я начал искать и разрабатывать совершенно другую манеру повествования, получилась „Осень Патриарха“. Но эта книга провалилась: её не покупали. Читателю она казалась слишком непохожей на „Сто лет“. И выйти из этого положения было сложно…»

Автору этих строк от многих латиноамериканских литераторов и литературоведов приходилось слышать мнение, что ожидали от романа, о котором столько всего говорилось и писалось до выхода, гораздо большего, что в чём-то книга показалась «перетянутой», а в чём-то «недотянутой», тем более что как раз в то время появилось много документальных свидетельств о преступлениях диктатур Латинской Америки.

— А мне «Осень Патриарха» представлялась всегда художественным произведением, — говорила Мирабаль. — Можно было нагромоздить, конечно, ужасов, но Маркес сознательно не стал кошмарить читателя, внимание уделив именно художественности всего повествования и образа главного героя — диктатора. Сам Габо квинтэссенцию романа выразил гениальной фразой: «Жажда власти — это результат неспособности любить». Фактически он ничего не придумывал и не преувеличивал. Вот тебе пример — Рафаэль Трухильо, «El Chivo» — «козёл». Родился в бедной семье, мать была проституткой. Одно время работал в имении моей бабушки, которая была тогда ещё ребёнком, пока его не выгнали за распутство, конокрадство и контрабанду. Когда Доминиканскую Республику оккупировала морская пехота США и они создали так называемую Национальную гвардию, Трухильо в неё вступил, иначе бы повесили как сельского бандита. Эта гвардия подавляла народные восстания, Трухильо отличался изуверством, от которого содрогались даже сами каратели: живьём сжёг детей и женщин, загнав в церковь! Американцам «крутой парень» нравился. Стал командующим.

— Но, значит, были задатки, лидерские качества — не просто же он поднялся с самых низов.

— По горе трупов поднялся. И вот этого полуграмотного полковника Штаты сделали полновластным хозяином страны. Он установил кровавую диктатуру.

— Но выборы были?

— В том-то и дело, что были! Он четырежды переизбирался на пост президента при единодушной поддержке избирателей! И когда хоронили, то искренне оплакивали, была давка… В масштабах нашей маленькой страны он был, как ваш Сталин. Конгресс присвоил Трухильо звание генералиссимуса, адмирала

флота, титулы «Благодетель отечества», «Восстановитель независимости», «Освободитель нации», «Покровитель изящных искусств и литературы», «Первый студент», «Первый врач», «Корифей всех наук»… По всей стране возводились огромные памятники Трухильо. Санто-Доминго, старейший город Америки, был переименован в Сиудад-Трухильо (город Трухильо). «Доминиканцев бросают в тюрьмы даже за жалобы на плохую погоду», — писала «Times». Трухильо постепенно забрал себе весь прибыльный бизнес в стране: сахар, ром, табак, мясо… Он отнимал лучшие земли, а если какой-нибудь фермер отказывался продать за гроши приглянувшийся диктатору участок земли, то спустя несколько дней это была вынуждена делать уже его вдова. Девиз Трухильо: «Кто не мой друг, тот мой враг».

— Много у диктаторов общего всё-таки. Наш Ленин: «Кто не с нами, тот против нас».

— В глубоком экономическом кризисе Трухильо обвинил гастарбайтеров из соседнего Гаити, приезжавших к нам на сезон рубить сахарный тростник. Но он не выслал их, а убил всех, больше двадцати тысяч, в основном закопав живьём. В Гаити возмутились, чуть до войны не дошло, Трухильо был вынужден принести соболезнования и после продолжительного торга заплатить за каждого убитого по двадцать пять долларов. Он обожал казнить собственными руками: вешал, сжигал в топке парохода, пристреливал дарственное оружие на своих жертвах, бросал акулам или крокодилам и наблюдал, как людей съедают. Женщины не имели права ему отказывать. По всей стране у него были организованы бордели, в которые отбирались лучшие. Он и в женских монастырях, мне монашенки рассказывали, которых он насиловал, оргии устраивал! У него была мания лишать невинности — блея, как козёл, трясясь, он разрывал девственную плеву порой и публично. Официальной идеологией режима был антикоммунизм. Много лет Трухильо домогался моей мамы, она была очень красивой. И взбеленился, когда мама вышла замуж за моего будущего отца-коммуниста. Во время подавления очередного восстания он уничтожил моих родителей, я была ещё маленькой: маму на глазах у отца он изнасиловал и отдал солдатам, отец умер под пытками. Десятки тысяч людей сидели в тюрьмах и были расстреляны! А когда он надоел Штатам, они дали команду прикончить его. И когда люди вошли в его дворец, то увидели то же самое, что описал Маркес в «Осени Патриарха».

Критических публикаций было много, критики как бы исподволь привыкали к роману, но окончательно привыкли лишь через много лет, уже к концу XX столетия.

«Почти каждое предложение в романе „Осень Патриарха“ —

победа автора над языком, — пишет американский критик Пол Берман. — Предложения начинаются голосом одного персонажа, а кончаются голосом другого. Или тема меняется в середине предложения. Или меняется век. Читаешь, задыхаясь. Хочется отложить книгу и зааплодировать, но тут предложение делает такой поворот, что оторваться от него невозможно… У Маркеса диктатор (чей портрет рождается из фраз, похожих на тропические цветы) — отвратительный монстр, но он представлен как человеческое существо, достойное жалости и даже чего-то вроде горькой любви. Мне всегда было непонятно, какие политические взгляды выражает Маркес этой странной двусмысленностью».

Заметим, что и нам не совсем понятно в отличие, например, от вышеприведённой однозначной характеристики Трухильо. В самом деле, Патриарх, «отвратительный монстр», порой вызывает чувство жалости. Ещё одно свидетельство величия Маркеса как писателя, воспринимающего мир во всей его многозначности и парадоксальности. Главное, может быть, — что «диктатор, каким бы грубым он ни выглядел в изображении Гарсиа Маркеса, как политик был гением, — утверждает профессор Мартин, — по очень простой причине: он „видит всех насквозь, знает, кто чем дышит, в то время как его собственных мыслей и замыслов не может угадать никто“… Он был невероятно терпелив, и победа в итоге всегда оставалась за ним… Это ли не портрет самого Гарсиа Маркеса, всегда стремящегося „одержать верх“ над всеми, кто бросал ему вызов: над друзьями и родными, над женой и любовницами, над собратьями по ремеслу (Астуриас, Варгас Льоса), над целым светом? И не станет ли Фидель Кастро единственным человеком — его собственным Патриархом, фигурой сродни его деду, — над которым он не сможет, не посмеет, даже не пожелает одержать верх?»

На исходе лета, завершив роман, Маркес вдруг почувствовал, что ему пришла пора «преодолеть свой единственный большой недостаток — неспособность выучить английский». И они с Мерседес улетели в Лондон, оставив сыновей в Барселоне на Кармен. (На самом деле, как потом выяснится, в Лондон он направился главным образом для того, чтобы через живущего там кубинского писателя Лисандро Отеро, посла Кубы в Великобритании, и министра иностранных дел Кубы Рафаэля Родригеса попытаться восстановить отношения с Фиделем.) Естественно, и здесь его осадили журналисты. Его впечатления от Лондона начала 1970-х, как ни странно, актуальны для нас, россиян, москвичей начала 2010-х — ещё Карамзин заметил, что

мы всегда отстаём от Европы на сорок лет. «Лондон — самый интересный город на свете, огромная меланхоличная столица последней колониальной империи, находящейся на стадии распада, — читаем в очерке Маркеса. — Двадцать лет назад, когда я приехал сюда в первый раз, ещё можно было увидеть сквозь туман англичан в котелках и брюках в полоску. Теперь они ищут прибежища в своих загородных особняках, одинокие в своих унылых садах, со своими последними собаками, со своими последними георгинами, побеждённые неукротимым потоком людей, стекающихся со всей утраченной империи. Оксфорд-стрит ничем не отличается от любой улицы в Панаме, на Кюрасао или в Веракрусе: у дверей своих лавок, ломящихся от шелков и слоновой кости, сидят неустрашимые индусы, роскошные негритянки в ярких нарядах продают авокадо, фокусники демонстрируют публике, как из-под чашек исчезают мячики… заходишь в бар выпить пива, а у тебя под стулом бомба взрывается… Вокруг слышна испанская, португальская, японская и греческая речь. Из всех, кого я встретил в Лондоне, только один разговаривал на безупречном английском с оксфордским произношением. Это был министр финансов Швеции». Журналисты спросили Маркеса, появится ли когда-нибудь у какого-либо режима в Латинской Америке безоружная полиция, как в Британии. Он ответил, что такая уже давно есть — на Кубе.

Оставив Европу, Маркес вернулся в Латинскую Америку — жил в Боготе, в Мехико, в Каракасе… В июле с сыном Родриго он отправился наконец после многолетнего перерыва на Кубу — кубинские власти по распоряжению Фиделя дали возможность путешествовать по всему острову и встречаться с кем угодно. «У меня была идея написать о том, как кубинцы преодолели блокаду, — вспоминал Маркес. — Интересовала не деятельность правительства или государства, а то, как люди справляются со своими собственными трудностями — стряпают, стирают, шьют, строят». В Гаване, Камагуэе, Сантьяго и других городах Родриго сделал около полутора тысяч (!) цветных фотоснимков! Мой кубинский приятель-журналист Роландо Бетанкур взял в те дни интервью у сына Гарсиа Маркеса, и отрок, объездивший с родителями десятки стран, сказал, что «кубинцы — бедные, но гордые, красивые, искренние и необыкновенно добрые люди». В сентябре Маркес опубликовал три репортажа под заголовком «Куба от края до края», которые понравились Фиделю, хотя имела место и критика, довольно, впрочем, безобидная.

Двенадцатого февраля 1976 года по радио передали, что в Буэнос-Айресе тремя выстрелами в голову убит генерал Хуан Хосе Торрес, который был начальником Генерального штаба

вооружённых сил во время действий Че Гевары в Боливии и поставил вторую подпись на приказе о казни Че.

В тот же день в прессе появилась информация о том, что в одном из кинотеатров Мехико знаменитый перуанский писатель Марио Варгас Льоса дал в глаз своему бывшему лучшему другу, знаменитому колумбийскому писателю Габриелю Гарсиа Маркесу. Слухов ходило много, но действительная (якобы) причина выяснилась лишь годы спустя, в течение которых Варгас Льоса запрещал переиздавать свою книгу «История богоубийства» и вообще не сказал о Маркесе ни слова.

По утверждению мексиканского фотографа Родриго Мойя, сфотографировавшего Маркеса на следующий день после инцидента на кинопремьере, Маркес, даже не пытаясь загримировать фингал, сам ему признался, что здесь замешаны семейные дела Льосы.

Биографы, журналисты и раньше предполагали, что у красавицы-жены Льосы Патрисии с Маркесом роман, начавшийся, ещё когда они соседствовали в Барселоне, и будто бы и Варгас Льоса и Мерседес об этом романе знают. Не исключено, что так оно и было. Нашему герою в его «золотую» пору с какими только красавицами не приписывались романы — и с Софи Лорен, и с Джиной Лоллобриджидой, и с Катрин Денёв, и с Жаклин Кеннеди-Онассис, и с Далидой, и с «какой-то русской», не говоря уже про первых красавиц Колумбии, Венесуэлы, Бразилии, Мексики, Перу, Кубы… Правда, папарацци не удалось сделать хоть какой-то компрометирующей фотографии. А в кинотеатре, по мнению фотографа Мойя и Мину Мирабаль, присутствовавшей на той премьере в Мехико, драка произошла из-за совета, который Маркес дал Патрисии. Расцеловавшись при встрече с неотразимой Патрисией, он будто бы сказал, что блудливый, напропалую изменяющий ей Марио не достоин такой жены и что он, Маркес, советует развестись. Простодушная Патрисия передала совет их друга Габо — и Марио, в военном училище занимавшийся боксом, встретил друга хуком справа, подбив ему левый глаз.

— Возможно, у Габо с Патрисией действительно был роман, — говорила Мину. — Но главная причина того удара на премьере фильма «Выжившие в Андах», снятого по сценарию Льосы, в ревности иного свойства: писательской. Книги Маркеса беспрерывно награждались и признавались лучшими, он считался знаменем левых сил континента, не было писателя, не только в Латинской Америке, но и во всём мире, который бы не завидовал ему. Это было подло — исподтишка, при женщинах, детях, сотнях людей… Габо шагнул к нему с возгласом: «Брат!» — чтобы обнять.

Он ведь никогда не дрался, не умел и, получив вдруг удар в лицо, при падении сильно ударился головой, почти потерял сознание. Все были возмущены. Мерседес этого Льосе не простит.

В Мехико Маркес поселяется в новом, приличествующем его положению в обществе — *noblesse oblige* (положение обязывает), — доме. Творчеством и существенными пожертвованиями он неизменно поддерживает левых в Колумбии, Аргентине, Никарагуа, Анголе… Он помог основанию и становлению организации, деятельность которой посвящена борьбе против насилия латиноамериканских властей и освобождению политических заключённых. Он завязал дружбу с «Высшим лидером Панамской революции» Омаром Эфраином Торрихосом, продолжал и крепил дружбу с Фиделем Кастро — однажды в апреле, когда Маркес вновь был в Гаване и ждал решения по своему предложению написать очерк или книгу о героизме кубинцев в Африке, Фидель вдруг сам приехал к нему на джипе в отель «Насьональ», вывез за город и два часа говорил о еде, вдаваясь в необыкновенные сельскохозяйственные и гастрономические тонкости. «Откуда вы так много знаете о еде?» — спросил Маркес. «Узнаешь, друг мой, когда отвечаешь за то, чтобы прокормить целый народ!» Естественно, эти действия внушали колумбийским и североамериканским властям не слишком пылкую любовь к писателю. Его поездки в США совершались по лимитированной визе (случалось, отказывали без объяснений) и должны были одобряться Госдепартаментом. (Ограничения были отменены только президентом Клинтоном.) Он встречался и с Раулем Кастро, министром обороны Кубы. «В увешанной картами комнате, где находились все советники, он начал раскрывать военные и государственные секреты, что вызывало удивление даже у меня, — вспоминал Маркес. — Специалисты приносили закодированные сообщения, расшифровывали их и объясняли мне всё — секретные карты, суть операций, инструкции, всё — в мельчайших деталях. Мы просидели с десяти утра до десяти вечера…» В 1977 году Маркес опубликовал «Операсьон Карлота», цикл эссе, посвящённых роли Кубы в Африке, эссе перевели на множество языков и перепечатали в десятках стран, братья Кастро остались довольны. Но, несмотря на дружбу с Фиделем (Льоса неустанно называл его «лакеем Фиделя Кастро»), поздние 1970-е Маркес проводит за написанием в том числе и, по его признанию, «резкой, очень откровенной» книги об ошибках кубинской революции и о жизни при правлении Кастро. Книга эта до сих пор не издана, и Маркес говорил, что придерживает её до тех пор, пока отношения между Кубой и США не нормализуются.

Так или иначе, он постоянно напоминал миру о себе. И мир о нём не забывал — то и дело выходили критические статьи, рецензии, интервью, эссе. О его творчестве спорили.

Нельзя сказать, что критики были единодушны. Некоторые высказывали сомнения, можно ли Гарсиа Маркеса называть великим писателем (уже называли), а «Сто лет одиночества» — бессмертным шедевром. Американский критик Джозеф Эпстайн в «Комментэри» превозносит композиционное мастерство романиста, однако находит, что «его безудержная виртуозность приедается». «Вне политики, — отметил Эпстайн, — рассказы и романы Гарсиа Маркеса не имеют нравственного стержня; они не существуют в нравственной вселенной». И всё же — «Его книги озарены искромётной иронией и верой в то, что человеческие ценности нетленны, — отмечает Джордж Р. Макмарри в монографии „Габриель Гарсиа Маркес“. — В своём творчестве Гарсиа Маркес проник в суть не только латиноамериканца, но и любого другого человека».

— Но политика в жизни Габо играла всё более важную роль, — говорила Минерва Мирабаль. — Никогда он не был лакеем Фиделя, это чушь! Он всё время бился за освобождение политзаключённых! Я сама была свидетельницей, как на приёме в Гаване в честь премьер-министра Ямайки Мэнли Фидель подошёл к Габо и сказал: «Ладно, можешь забирать своего Рейноля». А Рейноля Гонсалеса обвиняли в заговоре с целью убийства Фиделя из базуки, а также в уже совершённых убийствах, взрывах… Притом все обвинения он признал. Маркес беседовал с ним в тюрьме, когда собирал материал для очерков. Жена Рейноля пришла к Габо в гостиницу, умоляла спасти мужа. Маркес много раз просил Фиделя, тот обещал, но ссылался на своих коллег из Госсовета, которые были против помилования. И вот, наконец, — добился, я видела, как счастлив был Габо!

В июле 1978 года в доме у Маркеса на улице Огня, 144, в Мехико побывал корреспондент АПН Владимир Травкин:

«Открылась тяжёлая деревянная дверь в стене, сложенной из грубо отёсанного камня, на пороге стоял человек средних лет, одетый в тёмно-синий комбинезон, какие носили испанские республиканцы в годы войны против Франко, а сейчас носят автомобильные механики… Хозяин сразу перешёл на „ты“. Это принято в Мексике, да и в других странах Латинской Америки, особенно среди интеллигенции.

„— Я должен тебе признаться, — говорит автор „Ста лет одиночества“, — что очень не люблю давать интервью. Поэтому давай просто поговорим, а ты потом напечатаешь всё, что сочтёшь нужным“.

Встреча состоялась накануне Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Гаване. С этой темы и началась беседа. Габо говорит спокойным, тихим голосом, иногда усмехается сказанному, жестикулирует мало, движения рук плавные. „Стало уже штампом утверждать, что будущее принадлежит молодёжи, но надо иметь в виду, что тогда, в будущем, она уже не будет молодёжью. А многое зависит и от того, кто это мнение высказывает. Я — профессиональный оптимист, всегда верю в молодёжь. Я гораздо лучше понимаю молодых людей, чем моих сверстников. Сейчас, когда мне пятьдесят, я очень хорошо понимаю двадцатипятилетних. Когда мне исполнится пятьдесят пять, я ещё лучше буду понимать двадцатилетних. Это, что ли, форма самозащиты, защиты против усталости и смерти. По сути, это выражение подсознательного стремления к бесконечности, к бессмертию. И неудивительно, что персонажи моих книг живут до ста лет и больше. Я лично очень оптимистически смотрю на молодёжь. <…> Что же касается поколения моих детей, то у меня нет ни малейшего сомнения, что революция Фиделя Кастро была важнейшим фактором формирования их сознания. А ведь кубинская революция — это революция молодых… Я вспоминаю, с каким энтузиазмом встретили в Западной Европе весть о кубинской революции. Мгновенно всё кубинское стало модным, вплоть до длинных волос и бород. В Европе радовались потому, что кубинцы ‘забили гол’ в ворота Дяди Сэма, который всем надоел своим зазнайством. Латинская Америка стала интересна всем… И однажды я вдруг почувствовал, что могу быть гражданином любой страны Латинской Америки. В моём сознании исчезли разделяющие её границы. Я стал сознавать, что я — латиноамериканец… Но где, кстати, я чувствую себя лучше всего, где я нахожу больше всего моих корней — это Ангола, Чёрная Африка…“».

Год спустя Травкин вновь посетил Маркеса на улице Огня в Мехико. На этот раз писатель собирался в большое зарубежное путешествие: Япония, Вьетнам, СССР…

«— Я еду во Вьетнам потому, что уже давно хочу это сделать, — рассказал Маркес. — Несмотря ни на что, я продолжаю верить, что основной враг Вьетнама и основной враг Советского Союза — это американский империализм, а не Китай. И хотя я отдаю себе отчёт в том, что он тоже большой враг, мне всё-таки хочется верить, что это враг эпизодический… Я хочу написать серию репортажей о правде Вьетнама и опубликовать их на Западе. А после Вьетнама я поеду на Московский кинофестиваль. Меня часто спрашивают о состоянии культурных связей между СССР и Латинской Америкой, о советском

культурном влиянии. Оно, к сожалению, недостаточное. Несмотря на то, что американская пропаганда кричит, например, о советизации Кубы. Однажды вечером мы с одной латиноамериканской журналисткой сидели в баре отеля в Гаване. Она уже несколько дней находилась там. Так вот она мне говорит: „Если я и не могу чего-то выносить на Кубе, так это сильнейшего советского культурного влияния!“ Я ей ответил: „Ты не обратила внимания, что этот человек, который играет на фортепиано здесь, в баре, где мы с тобой разговариваем, уже два раза исполнил мелодию из ‘Крёстного отца’, три песни из репертуара Фрэнка Синатры, сыграл две кубинские песни и до сих пор не сыграл ни одной советской? А в Советском Союзе есть очень красивые песни!“ И этот случай можно отнести и ко всей Латинской Америке. Трудно давать рецепты, но мне кажется, что я уже сделал кое-что в этом направлении. Мои книги издаются большими тиражами в СССР, и я считаю, что внёс свой скромный вклад в это важное дело. У вас есть прекрасные писатели: Толстой, если мне предложат выбирать из всей мировой литературы, я назову Толстого, „Война и мир“ самый великий роман в истории человечества! У вас гениальный Достоевский! Из современных — Шолохов и Булгаков. Но дело в том, что ни русские классики, ни современные советские авторы ещё не известны широким массам латиноамериканцев… А с пропагандой и у вас, и у нас дело обстоит не лучшим образом. Я как-то сказал Фиделю, что на свете есть только одна газета хуже „Гранмы“[3]. Это — „Правда“».

Ещё через год, 19 июля 1980-го, Травкин встретил Маркеса на площади Революции в Никарагуа — шёл парад по случаю первой годовщины победы народа над диктатором Сомосой. Маркес сидел среди самых почётных гостей.

«— Ещё один год мировой революции, — сказал он. — Никарагуанская революция — первая, которая у нас получилась, потому что в кубинской революции, вернее, в её победе, мы не принимали участия. А в этой — да, она нам удалась, и необходимо бороться за то, чтобы победили другие. Урок Никарагуа может быть очень полезным для остальных стран Латинской Америки. Сейчас в нескольких сотнях километров отсюда льётся кровь, народ Сальвадора ведёт гражданскую войну против тирании. Так вот, я считаю, что через год Сальвадор будет накануне первой годовщины победы революции!»

Предсказание Маркеса не сбылось. Да и с никарагуанскими сандинистами оказалось всё не так просто и радужно. Их лидер, Даниэль Ортега, — в котором и советские деятели души не чаяли, — заявит позже, что приветствует частную собственность и

крупный капитал, а «команданте Ортеги давно уже не существует». Дочь обвинит пламенного революционера в том, что тот с раннего детства систематически насиловал её, притом на глазах матери. Вслед за девушкой в газете «Эль Паис» в педофилии и инцесте обвинит Ортегу и писатель Варгас Льоса, а бывший вице-президент первого сандинистского правительства Серхио Рамирес — в установлении вслед за диктатурой Сомосы диктатуры своей собственной «кровосмесительной» семьи; Гарсиа Маркес же никак не откликнется.

Впрочем, всё это вполне могло быть наветами и происками американского империализма, для которого победа сандинистов была второй после Кубы костью в горле.

Круг власть имущих друзей нашего героя неизменно расширялся. Но порой — и трагически сужался. 31 июля 1981 года пришло известие о том, что панамский генерал Омар Торрихос Эррера погиб в авиакатастрофе. На похороны Маркес, к всеобщему удивлению, не полетел, заявив: «Я не хороню своих друзей». (И на похороны одного за другим уходивших хохмачей из «Пещеры», притом именно в той очерёдности, которую предсказывал в романах Маркес, он не ездил.)

…В середине 1960-х молодые панамцы всё чаще стали проникать в зону Канала и выражать несогласие с американской оккупацией. В октябре 1968 года в Панаме произошёл военный переворот, которым руководил полковник Национальной гвардии Омар Эфраин Торрихос Эррера (названный отцом редким в Латинской Америке именем Омар в честь поэта Омара Хайяма). Полковник больше всего на свете любил две вещи — девушек («ничто человеческое ему не чуждо», по словам Маркеса; Торрихосу, как Боливару, юные наложницы согревали постель чуть ли не в каждой деревне) и самолёты. На одномоторном самолёте он совершал облёты отдалённых территорий Панамы, называя это «домашним патрулированием», во время которых решал проблемы простых панамцев. Нередко он брал с собой в небеса и своего колумбийского друга Гарсиа Маркеса. Однажды диктатор, как называла Омара американская пресса в том числе и из-за дружбы с Фиделем, отправился с визитом в Мексику и мгновенно (как обычно в Латинской Америке) произошёл организованный ЦРУ военный переворот. Но Торрихос тайно вернулся в Панаму и прошёл до столицы победным маршем, к которому примкнуло более ста тысяч человек. Он провёл аграрную реформу, превратил Панаму в международный финансовый центр, покончил с неграмотностью. Среднегодовой доход панамца при Торрихосе стал выше, чем в любой другой стране Латинской Америки. Но самой сокровенной мечтой

мятежного полковника, которым восхищался наш герой, была передача Панамского канала под юрисдикцию Панамы. Переговоры длились десятилетия. В сентябре 1977 года, уже с администрацией президента Джимми Картера, они пошли более конструктивно, договор был подписан, и с 1 января 2000 года Канал передавался Панаме, как и гора Анкон — символ столицы. Если бы США отказались подписывать договор, то террористическая группа «последователей Че» взорвала бы дамбу на искусственном озере Гатун, вода бы вытекла в Атлантику, а чтобы снова создать запас воды для работы Канала, потребовалось бы не менее трёх лет тропических ливней (как в романе Маркеса). Торрихос часто повторял: «Я не хочу войти в историю, я хочу войти в зону Канала». Но ему не довелось попасть туда живым. Подписав исторический американо-панамский договор, посчитав свою программу выполненной, «Высший лидер Панамской революции» пытался отойти от активной политической деятельности. Его всё чаще стали посещать мысли о смерти.

Маркес встречался с Торрихосом 20 июля 1981 года, за десять дней до трагического конца, и также разговаривал с генералом о смерти, причём именно в авиакатастрофе. «Может быть, это вызвано тем, что генерал знал, насколько Гарсиа Маркес боится летать на самолётах, хотя вынужден делать это постоянно, — предполагал Мутис. — Генерал, зная, что Маркес ненавидит летать, часто шутил, что Габо чувствует себя в полёте спокойно только тогда, когда вместе с ним летит Торрихос. А чтобы ещё больше успокоить знаменитого писателя, генерал обычно предлагал ему сразу после взлёта стакан виски».

Тело генерала Торрихоса принесли на гору Анкон, где к тому времени уже развивался национальный флаг Панамы. Там состоялось прощание.

Тем же летом 1981-го Маркес побывал в СССР в качестве гостя Международного Московского кинофестиваля. Приезд его был окутан тайной. Автор этих строк по заданию газеты «Советская культура» вместе с другими журналистами дважды безуспешно пытался встретить классика в аэропорту Шереметьево-2. Прилетел Маркес с Мерседес и сыновьями самолётом одной из западных авиакомпаний «под покровом ночной темноты». Поселился на семнадцатом этаже гостиницы «Россия» в «люксе» с видом на Кремль.

— Он был безупречно вежлив, — рассказывала мне Мария, работавшая в Западном корпусе ныне снесённой (упразднённой) «России». — Однажды поздно вечером вернулся выпивши, где-то

его накачали. И в буфете стал расспрашивать о жизни, преимущественно личной… Я ради смеха предложила ему одну из наших постоянных девочек, работавших в Западном корпусе, под крышей КГБ, но он рассмеялся, развёл руками, мол, рад бы, да жена, дети, кейджиби, опять-таки завтра во всех газетах напишут… Я ему сделала чай с лимоном, он пил, разглядывая подстаканник, и расспрашивал, кто из знаменитостей пил чай с этим подстаканником, я говорила, что руководители партии и правительства, а также звёзды кинофестивалей, он цокал языком почти как кавказец… А вообще-то он простой, с ним как-то сразу легко. Сам он сказал, что прост в общении лишь с красивыми женщинами, а с мужчинами хитёр и коварен.

В тот приезд Маркеса заполучили в гости к поэту Андрею Вознесенскому в Переделкино. Корреспондент журнала «Огонёк» Феликс Медведев принёс в «Россию» книжечку рассказов Маркеса, выпущенную в серии «Библиотечка „Огонька“», вручил её автору, но интервью не получил (позже кто-то в писательских кулуарах предположил, что сопровождающие лица, переводчики что-то об «Огоньке» и его главном редакторе, «русофиле и жидоморе» Софронове, наговорили). Как ни умолял Медведев (один из самых пробивных интервьюеров 1980-х) — мол, журнал имеет миллионный тираж, мы выпустили книгу, что хотя бы десять минут… всё было бесполезно. Тогда он у подъезда Западного блока, как сам мне рассказывал, втолкнул в «чайку», выделенную для разъездов Маркесу, своего переводчика, — а Маркес отправлялся в Звёздный городок на встречу с космонавтами, — и велел записывать и запоминать всё, что тот будет говорить, а потом пересказать… И в «Огоньке» было опубликовано то, что писатель рассказывал другим на всевозможные темы, этакий поток сознания с лёгким налётом безумия, да вдобавок с фотографией, на которой Маркес похож на Сурена Айрапетяна, державшего недалеко от нашей редакции, за Савёловским вокзалом, полуподпольный ломбард.

И на обратном пути домой, когда в аэропорту он торопливо, не глядя по сторонам, проходил через общий зал вылета в «депутатский» зал, ни одного вопроса нам, журналистам, задать не удалось — его профессионально прикрывали, оттесняя всех, крепкие мужчины в штатском.

…По радио передали, что Гари Прадо Сальмон, армейский капитан, взявший Че Гевару в плен, при невыясненных обстоятельствах получил тяжёлое ранение в позвоночник и парализован. До этого сообщалось о суицидах и психических помешательствах людей, так или иначе связанных с казнью Че Гевары.

Своему другу Мутису Маркес сказал по телефону, что, возможно, сейчас уже мог бы согласиться с утверждением, будто это дело рук спецслужб Фиделя — как израильский МОССАД мстил за своих убитых спортсменов во время Олимпиады в Мюнхене, например. Но ведь много случаев, заметил он, без вмешательства человеческих рук: виновные или причастные к гибели Че кончают с собой, сходят с ума… Кубинские историки, побывавшие в южной части Боливии, где действовали партизаны Че, рассказывали Маркесу, что среди боливийских военных и их родственников получило обращение «цепное», то есть святое письмо, рассылаемое по определённым адресам, с тем чтобы получатель разослал его другим. В письме говорилось, что смерть президента Боливии Баррьентоса явилась Божьей карой и всех виновных в убийстве Че ждёт страшная участь: для спасения они должны трижды прочесть Отче наш и трижды Аве Мария, письмо нужно переписать девять раз и разослать девяти людям. Альваро ответил, что это мистика, сам Че Гевара не верил ни во что подобное. Маркес пересказал рассказ отца Рохера Шильера, доминиканского священника из ближайшего прихода: «Когда я узнал, что Че содержится под стражей в Ла-Игуэре, я добыл лошадь и отправился туда. Я хотел выслушать его исповедь. Я знаю, что он сказал бы: „Я потерян для вас“. Я хотел ответить ему: „Ты не потерян. Бог всё ещё верит в тебя“. По дороге я встретил крестьянина. „Не торопись, отец мой, — сказал он мне, — они уже покончили с ним“». Альваро спросил, а что он, Габриель, думает по этому поводу: потерян был Че или в последние минуты всё-таки верил? Маркес ничего не ответил.

Глава третья
НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Известный кинорежиссёр Сергей Соловьёв (мой «многолетний товарищ по запутаннейшей, но хорошей жизни», как он надписал мне свою книгу) в Колумбии снимал картину «Избранные» по роману Альфонсо Лопеса Микельсена, приятеля и соседа Маркеса. На экраны картина вышла в 1983-м, а в конце 1970-х, когда Микельсен был президентом страны, Соловьёв писал там сценарий.

В общей сложности Соловьёв прожил на родине нашего героя около двух лет и подметил немало любопытного.

Начался соловьёвский «роман» с Колумбией масштабно и абсурдно, прямо-таки по-маркесовски. С того, что один правитель — президент Колумбии, А. Л. Микельсен в свободное от политических хлопот время написал книгу, а другой правитель — президент и генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, тоже к тому времени уже пописывающий «Малую Землю» и прочее, в ответ на обращение колумбийского коллеги снять общий фильм — «чтобы картина знаменовала рождение колумбийской кинематографии и чтобы в совместной работе с русскими кинематографистами обучились кинематографическим профессиям колумбийские кинематографисты» — тотчас оттелеграфировал в Колумбию: «Раз такое желание имеется, конечно, сделаем».

— Прочитав роман президента, я убедился в полном отсутствии литературной одарённости автора и какой бы то ни было художественной мысли, — рассказывал мне Сергей Соловьёв. — Зацепившись за три случайных абзаца, пяток имён и кое-какие фактуры, я жульнически вплёл их в сочинённый мною вполне бредовый сюжет, не имевший к роману ни малейшего отношения, но которым я вдруг всерьёз увлёкся. И вот мы с группой полетели в Колумбию. Оператор Паша Лебешев, художник Саша Адабашьян… И ещё заведующий иностранным отделом «Мосфильма» Юра Доброхотов, в прошлом то ли полковник, то ли генерал КГБ, высланный из Нью-Йорка за злобный шпионаж, и Людмила Николаевна Новикова, милейшая женщина, толковый журналист, жена высокопоставленного дипломата, который, впрочем, оказался генерал-лейтенантом КГБ, вершившим нашу тайную политику в Латинской Америке ещё с далёких военных лет. Она была не просто знакома с

президентом Колумбии, а даже дружна с ним, поскольку долгие годы вместе с мужем варилась в том же самом дипломатическо-разведывательном котле. Звали мы её, с лёгкой руки Адабашьяна, Маушка, ласкательное производное от «матушки» или «мамушки». Своих тесных связей со спецслужбами она не скрывала. Тем более что службы эти были вовсе не убого-стукаческими, а серьёзными, мощными и в высшей степени профессиональными.

— Во всяком случае, — уверял меня Соловьёв, — во времена нашего пребывания в Колумбии внутреннюю политику страны примерно на равных осуществляли правительство Колумбии и опекавший киногруппу первый советник посольства генерал КГБ Саша, которого по аббревиатуре его фамилии-имени-отчества все любовно кликали Гав. Он нас и встречал на аэродроме в Боготе. Маушка проинструктировала меня, как вести себя с президентом. То, что президент сказал, когда мы пришли к нему домой, было для меня полной неожиданностью: написанное мною ему понравилось. Хотя действительно никакого отношения к его книге не имело. Другой на месте Микельсена посчитал бы подобное сочинение моим личным хулиганским выпадом. Но тот даже не поморщился. «Вы знаете, это интересно. Очень оригинальный, нестандартный подход», — оторопело услышал я отзыв автора. Трудно было не поразиться широте и незаурядности ума собеседника. — «Мы будем с вами над этим работать. У меня есть возможности, — сказал он и задумчиво поглядел в окно на вверенную ему страну, — активно помочь вам». Его слова напомнили мне случай из отечественной истории. Николай I ободрил просителя, к которому был расположен: «Попробую тебе помочь. Я, брат, тоже не без связей». У меня ещё хватило наглости сказать Микельсену, что если он имеет желание что-то дописать к моей истории, то я возражать не стану. «Нет, зачем же? Я не буду лезть в вашу работу, — ответил невозмутимо умный президент. — Но если хотите, можем подключить к этой работе моего соседа. Он милейший человек. И работал в кино».

Соседом, как выяснилось, был Габриель Гарсиа Маркес, живший в одном доме с президентом. Я аж присел. И тут же представил, во что может превратиться моя халтурная заявка под пером гениального автора, и торопливо отказался: «Нет-нет, вот этого совсем нам и не надо». — «Ну а просто дать ему почитать? Давайте с ним встретимся, поговорим?» Я изобразил на лице «глубокое удовлетворение», но на встрече не настаивал. Честно говоря, я его дико боялся! Мне так ярко представилось, как Маркес у себя на родине делает из меня размазню, как из случайно убитой мухи, этакую рашн пыльца. «Напрасно, он

хороший писатель и знает толк в кино, — говорил президент. — Ну, ладно, с Богом! — завершил он встречу. — Начинайте. Только прошу, ни в коем случае не отчаивайтесь ни от чего и не уезжайте. Сидите спокойно здесь. Пишите. Работайте. Если вам нужно будет поговорить со мной или с Габриелем либо увидеть что-то своими глазами, я всегда к вашим услугам». — «Я совсем не знаю страну, — сказал я. — Можно ли куда-нибудь поехать?» — «Да куда хотите. Возьмите карту. Выберите, что вам интересно». — «В заявке есть поездка героев на юг». — «Ну и поезжайте на юг, хотя бы в Барранкилью. Там, кстати, рядом деревня, где родился Маркес, которую он описал в романе „Сто лет одиночества“. Он может вам о ней и её обитателях многое рассказать…»

— Всё, что обещал Паша Лебешев, уже бывавший до этого в Колумбии, не просто сбылось, а сбылось «в кубе», — смеялся Соловьёв. — Мандонго оказался в миллион раз вкуснее, чем следовало из Пашиных рассказов, мясо нежнее, кукуруза толще и слаще, навар наваристее. Шишкебаб и просто был немыслимый. Тёмное пиво начинали пить из огромных литровых кружек с одиннадцати утра. Кружки можно было попросить и трёхлитровые. Пиво подавали свежайшее: узнав, что мы — русские, услужливо и без напоминаний делали «долив после отстоя». Рай, земной рай.

Но если говорить всерьёз, — продолжал Соловьёв, — о Колумбии сохранились у меня самые нежные воспоминания. Хотя они и не лишены мрачного и даже несколько демонического оттенка. Конечно, я Маркеса и до этого читал — его знаменитый роман «Сто лет одиночества». И думал: вот фантазия у человека, какую невероятную страну он создал, целую планету! Какие картины этой нафантазированной планеты!.. Но когда я приехал в Колумбию и прожил там месяца два-три, я понял, что Маркес никакой не «поэтический фантаст», не «фантастический поэт», не «магический реалист», как у нас любят о нём писать. Он гиперреалист с натуралистическим оттенком, натуралист и очень, я бы даже сказал, ха-ха, бескрылый натуралист. Постольку-поскольку всё, что казалось немыслимой фантазией, было бытом. Про «миргородскую лужу» Гоголя иностранцы тоже думают — «фантастический реализм», а это просто лужа, существующая в Миргороде, вероятно, и по сей день.

— Маркес неоднократно утверждал, — напомнил я, — что сама действительность Латинской Америки фантастична: «В общем, мы, писатели Латинской Америки и стран Карибского моря, должны положа руку на сердце признать, что реальная действительность — писательница поталантливее нас. Наш удел

и, возможно, наша почётная задача — в том, чтобы копировать её, проявляя как можно больше скромности и старания».

— Мало того: Маркес сам был частью этой действительности, этого быта. Мой соавтор по сценарию Лопес Микельсен спасал своего соседа Гарсиа Маркеса — физически, физиологически, биологически — раз восемь, наверное, если не больше. Накануне каких-то ужасных акций, которые время от времени те или иные политические группировки, те или иные оппозиции, притом совершенно разных, порой диаметрально противоположных взглядов и устремлений, затевали против Маркеса. Да просто арестовывать его несколько раз должны были — и Лопес Микельсен его буквально за считаные минуты до ареста вывозил неизвестно куда на своём личном самолёте. Именно за его взгляды, политические высказывания в поддержку Кубы, Фиделя Кастро, социализма, коммунизма и против олигархического капитализма Латинской Америки, который Маркес яро ненавидел. Естественно, Маркес не участвовал ни в каких группировках, но открыто публично высказывал своё мнение по тому или иному вопросу, словно не особо заботясь о том, что будет, и неоднократно высказывания по всем колумбийским понятиям должны были стоить ему головы. И вот Микельсен, человек прямо противоположных политических воззрений, который был на самом деле таким грандиозным ирландским банковским боссом — просто по дружбе и, конечно, понимая значение Маркеса, спасал его.

— Но неужели не лестно было выступить соавтором сценария с самим Гарсиа Маркесом?!

— Очень, конечно, хотелось — одно имя Маркеса было бы колоссальной рекламой во всём мире! Но я понял, что он меня сотрёт в порошок. И решил, что лучше уж буду царём и хозяином своей маленькой латифундии, нежели стану обречённо сражаться с великим Маркесом по поводу тех или иных художественных решений, приёмов… Ведь я уже работал с незаурядными драматургами — Геной Шпаликовым, Женей Григорьевым… Во что всё это выливалось? В безумное, выматывающее душу и выжимающее все соки из организма пьянство в течение нескольких лет, что называлось «написание сценария». Потом я садился и самостоятельно писал сценарий. Не знаю, что вышло бы с Маркесом, может быть, пил он и не так, как наши великие. Но в том, что мы с ним обязательно бы поехали на Кубу, ещё куда-нибудь, чтобы я вжился в материал, узнал бы настоящую Латинскую Америку, — я уверен. За нами бы следили, кто-нибудь обязательно куда-нибудь подложил бы бомбу, что-нибудь рвануло, что-нибудь оторвало мне, потом бы они ходили в

больницу, а то и печально стояли с цветами… Да, да, там, в нашем посольстве я взял книгу Маркеса на русском, ещё почитал и понял, что именно так всё и будет. Я просто чувствовал романное развитие моей жизни, которое мне было не очень интересно. А с Маркесом Микельсен у себя дома познакомил, сказал, что это рашн писатель, это американо писатель, что-то мы с ним выпили, о чём-то поговорили… Но я костьми лёг, чтобы остаться, так сказать, при своих… Вообще-то среди деловых людей мира Колумбия славна как страна великих банковских спекулянтов. Это центр банковской спекуляции во всей Латинской Америке. Известна она ещё и как страна изумрудов. Не знаю уж, имеет это отношение к Маркесу или нет. Впрочем, наверное. Так вот оказалось, что у этих камней девяносто шесть или что-то около того характеристик подлинности. Поверь, никакой нормальный колумбиец не будет подвергать свой камушек девяносто шести экспертизам. Наши грузины по сравнению с колумбийцами могут показаться трудолюбивейшими китайцами, день и ночь не разгибающими спины. Эти практически не работают никогда, нигде и ни при каких условиях.

— И как же там Гарсиа Маркес — великий труженик уродился?

— Действительно, вопрос. Буквально в каждом доме лежит подушка с изумрудами — такой же непременный атрибут достойной колумбийской квартиры, как у нас когда-то была герань, фикус и портрет Хемингуэя. На подушке этой часто спит хозяин, не ведая притом, спит он на бутылочном стекле или на миллиардах, припасённых на чёрный день. Но более всего, конечно, знаменита Колумбия своей изысканнейшей преступностью! Я бы сказал, страна поэтов преступления. То, что каждый вечер пересказывала нам Маушка, прочитывавшая почти все колумбийские газеты, не только ошеломляло жестокостью и неистощимостью преступной фантазии. Было ясно, что новый тип преступления сначала кем-то любовно изобретается, потом идёт в тираж, месяца за два — за четыре набирает размах и затем выдыхается, но тут же на смену ему приходит ещё какой-то новый преступный финт, прежде неведомый. Первое же преступление, о котором поведала нам Маушка, привело нас в весьма задумчивое состояние. Известно, что в Колумбии, как, впрочем, и во всей Латинской Америке, терпеть не могут американцев, гринго…

— У Маркеса с ними «нежнейшие» отношения — много лет они ему вообще визу не давали за великую к ним любовь!

— Так же, как прежде во всех бывших соцстранах «нежно» относились к нам. И всё это несмотря на то, что американцы

кормят и поят Латинскую Америку точно так же, как мы кормили и поили соцстраны. Первое, о чём сразу предупредила меня Маушка: очень опасно быть гринго в Колумбии. Если что, сразу кричи: я — русский, поляк, кто угодно, только не гринго. А меня, кстати, чаще всего и принимали именно за гринго. Рассказывали, что какой-то дикий гринго, вроде меня, заходит вечерком в симпатичный ресторанчик выпить кружечку пива. Хозяин незаметно подбрасывает туда таблетку, вскоре гринго обмякает и начинает на глазах растекаться, расползаться. Хозяин, поддерживая непутёвого гринго, ведёт его через зал, чтобы посетители видели, как тот насосался (это с одной-то кружечки!), но выводит его не на улицу, а через чёрный ход — во двор. Там их уже ждёт автомобиль, несчастного американца запихивают в него и везут в горы, кольцом окружающие Боготу. Там, в лесочке, гринго, заснувшего мёртвым сном (таблеточка, полагаю, не из слабых), догола раздевают и шприцем выкачивают из вены чуть ли не всю кровь, но строго до минимума, чтобы гринго тут же не отдал концы. Донорская кровь в Колумбии в большой цене. Кровь тут же, на месте, запечатывают в бутылки, консервируют, одежду, бумажник приходуют и уезжают. На рассвете гринго просыпается голый, с ощущением дикой слабости, в лесу. Кругом — никого, внизу блещет огнями беспечная Богота, до которой ему кое-как, скуля и подвывая от ужаса, удаётся за сутки-двое доползти. В общем, почти по нашему классическому анекдоту: «Ни хрена себе, попил пивка!» Согласись, это круто. Не какое-то там пошлое убийство, бессмысленный мордобой, вульгарная кража — нет, целое уголовное сочинение, придуманное и разыгранное с истинным артистизмом и вдохновением! Так что фантазия там у всех богатая, не только у Маркеса. А многообразнейшая деятельность наркоимперии!

— Творческая нация, что и говорить! Почему-то Маркес, родившийся и выросший на карибском побережье, Боготу, когда приехал туда учиться, невзлюбил. Дождь, холод, люди мрачные…

— Я в слякотной промозглой Москве, сочиняя картины далёкой колумбийской жизни, представлял себе тропики, жару, героя, расхаживающего по городу в белом костюме. Приехав в Боготу, увидел, что там в белых штанах никого, кроме меня, нет (белые штаны я прихватил с собой из Москвы, видимо, во исполнение золотой мечты Остапа Бендера). Каждое утро в моё окно продолжало бить солнце, а после полудня на улицы ложился туман. Причём и туман-то какой-то странный: он стелился по земле и доставал тебе лишь по пояс, а твоя голова торчала уже над ним. И целый город так бродил после обеда — по пояс в тумане. Я опять привязался к Гаву: «Саша, отчего туман тут такой

странный?» — «Это не туман, — объяснил он. — Это облака. Город расположен на уровне двух тысяч семисот метров над уровнем моря». В своих воспоминаниях о Колумбии мне до сих пор сладостно грезятся романтические преступники, бродящие по пояс в тумане, а рядом с ними и я — в ослепительно-белых штанах.

— А СССР с Колумбией, значит, тогда были друзья не разлей вода?

— Отношения были интересные. С чекистом Гавом я несколько раз обедал — он возил меня в какие-то рестораны на какие-то встречи, как я вскоре понял, не просто для украшения стола. Поскольку я ни слова не понимал по-испански, мне оставалось только надувать щёки, по-дурацки улыбаться и невпопад кивать. Обедали, помню, с колумбийским Андроповым — их министром госбезопасности, ещё как-то раз — с колумбийским Щёлоковым, министром их внутренних дел. Гав о чём-то с ними говорил, что-то у них строго выяснял, грозил пальцем, тут же обворожительно улыбался, стучал кулаком по столу — всё это происходило в частных ресторанах. Я мог воочию убедиться в том, какую силу влияния имел этот человек да и все «тайные наши» не только на внутренние дела далёкой страны, но и на весь огромный далёкий континент.

— А президент-соавтор Микельсен, товарищ и сосед Маркеса, что из себя представлял? Было в нём нечто диктаторское, что Маркес мог использовать, рисуя своего «осеннего Патриарха»?

— Абсолютно ничего! Я был свидетелем того, как Микельсен величественно и достойно проиграл президентскую кампанию. Притом кампанию, по сути, к вечеру выборов им уже выигранную.

— Не поверю, в Латинской Америке выборы, как у нас теперь примерно. Военный переворот, приход к власти полковников — это ещё куда ни шло, это понятно…

— Клянусь! К пяти вечера в день выборов стало ясно, что победа конечно же за Микельсеном. По телевидению ежечасно передавали баланс голосов, в пользу моего соавтора был мощный, подавляющий перевес. Осталось проголосовать только южным районам, которые всегда традиционно были на его стороне. И вдруг к семи вечера перевес Микельсена стремительно сошёл на нет. Никто ничего не мог понять. Мы с Гавом метались по Боготе, он тоже был в полной растерянности. Я же понимал лишь то, какой это удар для Гава, для всей нашей, извини за выражение, внешней политики. Вся она в Колумбии была ориентирована исключительно на соседа и приятеля героя твоей книжки — Микельсена. О том, что в этот момент происходило, мы узнали позднее. И я ещё раз убедился в том, что Маркес ничего не

выдумывал. Голосование в Колумбии происходит забавно. Урну ни при каких обстоятельствах не разрешается выносить из помещения избирательного участка, охраняемого вооружённой стражей. На участке же пришедшие макают палец в баночку с несмываемой красной краской. Это единственный способ избежать жульничества: иначе будут сотнями нанимать людей, которые по десять раз получат бюллетени, а в урну, отнеси её хоть на метр от участка, напихают такого, что потом сам чёрт не разберёт. Так вот, к концу рабочего дня на юге полил тропический ливень. Крестьян, людей к политике достаточно равнодушных, заставить в такую погоду тащиться по горным дорогам к урнам, за кого-то там голосовать — дело безнадёжное. Прорвавшая небеса стихия вместе с глиной и гравием стала смывать и самого президента. А он уже выпил со своими ближними за победу шампанского, и вдруг… Микельсен метался по своей штаб-квартире в боготинском «Хилтоне», понимая, что всё идёт прахом. Вся жизнь. Он был так сражён обрушившейся ситуацией, что решился на крайнее — позвонил Рейгану с просьбой о помощи: «Я всегда был лоялен к США. Сейчас меня может спасти лишь ваша помощь. Если вы вышлете с ваших военных баз вертолёты в горные районы, чтобы крестьяне могли в них долететь до участка и проголосовать за меня… То через пару часов всё может перевернуться. А если ваших вертолётов не будет, то мне конец». Через какое-то время моему соавтору уклончиво так ответили, что, к сожалению, погодные условия не позволяют вертолётам подняться. Видимо, Рейган долго советовался с людьми из серьёзных ведомств и, не исключаю, при этом разглядывал фотографии нашего лысого Гава. «Мы желаем вам всяческих успехов, но участие американских вооружённых сил в этой акции не представляется нам возможным». А голосование ещё шло всю ночь — до семи утра. В двенадцать часов ночи, когда получен был этот ответ из Вашингтона, мой соавтор попрощался со всеми. Пошёл в спальню, разделся, принял душ и…

— Застрелился?

— …и на следующее утро проснулся рядовым колумбийским гражданином, а вовсе никаким не президентом. Проигрывать с таким достоинством, с таким мужественным самосознанием и спокойствием — это тоже, согласись, поступок.

— С достоинством маркесовского полковника?

— Да, что-то такое было. Я всё это хорошо помню.

Заметим, что в ту пору Маркес уже работал над «Историей одной смерти, о которой знали заранее» (также с очень простым сюжетом: публично решают убить человека и публично убивают).

Без сомнения можно сказать, что смерть в творчестве нашего героя играла одну из главных ролей, наряду с любовью и одиночеством. Ещё, кажется, не подсчитывали, но и без того очевидно, что само слово «смерть» — одно из наиболее часто употребляемых Маркесом. Притом не просто в фигурах речи, а по существу, по замыслу, по сюжету и сверхзадаче произведений. Мало того. Представляется, что если проделать своеобразный эксперимент и вычленить, убрать из контекста эпизоды, в которых герои убивают и умирают, то тексты превратятся в мутное, бессмысленно-бредовое повествование о каких-то анемичных людях, что-то говорящих, куда-то перемещающихся, чем-то питающихся, зачем-то совокупляющихся. Конечно, убрав трагедию смерти, так можно сказать о большинстве произведений мировой литературы. Однако в латиноамериканской прозе почти любой сюжет зиждется на смерти, всё замешено на крови, обусловлено, детерминировано, цементировано кровью. Смерть — притом насильственная — является краеугольным камнем произведений Астуриаса, Карпентьера, Льосы, Фуэнтеса… Но в особенности — Маркеса. Судя даже по названиям: «Другая сторона смерти», «Похороны Великой Мамы», «Самый красивый утопленник в мире», «А смерть всегда надёжнее любви», «Гости смерти», «Я был покойником», «Я хочу умереть» и т. д.

И как бы мог развиться сюжет «Ста лет одиночества» без ключевой, хрестоматийной сцены, к которой мы вынуждены прибегать вновь и вновь:

«…Хосе Аркадио Буэндиа с невозмутимым видом поднял с земли своего петуха. „Я сейчас приду“, — сказал он, обращаясь ко всем. Потом повернулся к Пруденсио Агиляру:

— А ты иди домой и возьми оружие, я собираюсь тебя убить.

Через десять минут он возвратился с толстым копьём, принадлежавшим ещё его деду. В дверях сарая для петушиных боёв, где собралось почти полселения, стоял Пруденсио Агиляр. Он не успел защититься. Копьё Хосе Аркадио Буэндиа, брошенное с чудовищной силой и с той безукоризненной меткостью, благодаря которой первый Аурелиано Буэндиа в своё время истребил всех ягуаров в округе, пронзило ему горло. Ночью, когда в сарае для петушиных боёв родные бодрствовали у гроба покойника, Хосе Аркадио Буэндиа вошёл в спальню и увидел, что жена его надевает свои панталоны целомудрия. Потрясая копьём, он приказал: „Сними это“. Урсула не стала испытывать решимость мужа. „Если что случится, отвечаешь ты“, — предупредила она. Хосе Аркадио Буэндиа вонзил копьё в земляной пол.

— Коли тебе суждено родить игуан, что ж, станем растить

игуан, — сказал он. — Но в этой деревне никто больше не будет убит по твоей вине».

Memento morí. Помни о смерти. Ибо смерть — момент истины. Всё прочее — суета сует и томление духа. Который, как душа, тоже смертен — *mors animae.* Если не вдумываться и не вчитываться (а «Сто лет одиночества», например, по уверению Фуэнтеса, «надо читать много раз»), то латиноамериканская проза, в том числе её высочайшие образцы, надежд, кажется, не оставляет, все уходят — чтобы не возвратиться: «…ибо тем родам человеческим, которые обречены на сто лет одиночества, не суждено появиться на земле дважды». Но в том-то и дело (и «бум» литературы Латинской Америки в самом страшном в истории человечества XX веке с его невиданными войнами, с расщеплённым атомом тому свидетельство и подтверждение), что надежда не умирает, не уходит, — слишком мощны силы, глубинны корни этого немыслимого латиноамериканского смешения рас, культур, традиций, обычаев, темпераментов, всех трёх измерений… И непонятно, что превалирует — вера ли (на генетическом уровне) в африканских богов, вудуизм, вера в Христа, или древние индейские верования, или нечто ещё более древнее и мистическое. Притом смерть почти неизменно соседствует с сексом, в той или иной мере сакральным. По большому счёту в латиноамериканской литературе лишь две темы, но главные: любовь и смерть. И отношение к тому и другому незамутнённое.

Помнится случай, поразивший нашу студенческую группу, прибывшую для стажировки на Кубу. Поселили нас на финке в престижном гаванском районе Мирамар. Разобрав чемоданы, присели на крыльце, разлили, чтобы отметить приезд. В соседнем дворе, сокрытом тенью церковной колокольни и вековой раскидистой сейбы, смеялись женщины, радостно кричали дети, грохотали барабаны, тамтамы, гудели вувузелы.

— Поминки, — пояснила консьержка Чело, сухая пожилая негритянка. — Пятилетний мальчик умер от мозга.

— И они это событие отмечают?

— Очень верующая семья, много детей, — ответила набожная Чело.

— Ну да, понятно, одним больше, одним меньше.

— Дело не в этом, — возразила Чело. — Он сразу угодил в рай, ему хорошо, сытно. К падре Антонио в храм они не ходят. У них своя религия, не христианская. Духов теперь вызывают, чтобы они там присмотрели за мальчуганом. Слышали о вудуизме? Религия очень древняя, от наших предков. А соседи — коммунисты-вудуисты…

Кто-то из стажёров вспомнил, что режиссёра Эйзенштейна здешний культ смерти настолько потряс, что он вознамерился свою мексиканскую эпопею завершить всенародными плясками со скелетом — главным героем праздника, где все до упада веселятся, впадая в транс, потому что смерть — радость обновления и возрождения. Доминиканская коммунистка Мину Мирабаль просвещала советских студентов-стажёров:

— Вудуизм — из Африки, конечно. Но и индейцы, особенно колумбийские, много размышляют о жизни и смерти, их умы постоянно занимают вопросы о бытии и ином мире, который простирается за границы осязаемой реальности. Наши аборигены обладают специфическим взглядом на мир вообще и мир мёртвых в частности. Земная и загробная жизнь не противопоставляются. Существует поверье, что жене умершего на рассвете после похорон желательно совокупиться с чужеземцем, лучше из дальних стран, в позе сзади, глядя на восход солнца, и на семью снизойдёт благодать.

Смерть для латиноамериканца — и трагедия, и фарс, и комедия. Обусловливающие жизнь, «…и он с наслаждением посмотрел на не верящих людей, раскрыв рот глазевших на океанский лайнер, такой огромный, что вряд ли что с ним сравнится и в этом мире и в том, застрявший перед церковью, более всего в округе, в двадцать раз выше колокольни и почти в сто раз длиннее деревни, и имя его — халалчиллаг — железными буквами сверкало на бортах, по которым лениво стекали древние воды мёртвых морей». Слово «Halalcsillag» на лайнере из рассказа «Последнее путешествие корабля-призрака» по-венгерски означает «Звезда смерти». Юмор Маркеса, поскольку Венгрия — не морская страна.

В 1981 году Гарсиа Маркес, заявив, что «как писатель более опасен, чем как политик», нарушил данный самому себе и миру обет писательского молчания: увидела свет повесть «История одной смерти, о которой знали заранее». (Писал несколько лет тайно, как нарушают пост.) Впрочем, «литературную забастовку» он окончил ещё 6 сентября 1980-го публикацией рассказа «Следы твоей крови на снегу» (который, напомним, является аллегорией того отрезка его прошлого, когда он жил в Париже с Тачией) и как бы приуроченной к этому покупкой первой в своей жизни нешуточной недвижимости в Париже (квартиры на рю Станислас) и заодно в родной Картахене (особняка на первой линии у Карибского моря). Вообще надо признать, что тот «обет» был не более, но и не менее чем прекрасным рекламным ходом опытного, собаку съевшего рекламщика. Если взять шире, то

вообще колоссальный успех Маркеса — одна из самых успешных в истории человечества глобальных рекламных кампаний. Сродни «„The Beatles“ for ever!» — его любимой группы «Битлз» (с которой он как бы параллельно в 1960-х покорял мир). Кстати, 8 декабря 1980 года, узнав об убийстве Джона Уинстона Оно Леннона, Маркес, по свидетельству его соседки в Париже, моей знакомой адвокатессы Сильвии Бако, «напился с горя, как русский. В ресторанчике напротив, как герой Достоевского, рассуждал о смысле жизни, о смерти…». Дома сел писать (писание ему до поры заменяло лекарственные препараты). «Сегодня днём, глядя в хмурое окно на падающий снег, я размышлял обо всём этом, о том, что у меня за плечами более пятидесяти лет, а я так толком и не знаю, кто я такой, какого чёрта я здесь делаю. И мне подумалось, что с момента моего рождения мир не менялся до тех пор, пока не появились „Битлз“». Маркес утверждал, что Джон Леннон прежде всего олицетворяет любовь…

Итак, в 1981 году он закончил «Историю одной смерти, о которой знали заранее» — «своего рода фальшивый роман и фальшивый репортаж», как сам выразился, «недалеко от американской „новой журналистики“». Финал подсказал друг юности Альваро Сепеда незадолго до своей смерти.

«В ту пору, в середине 70-х, я только вернулся из Европы, — вспоминал Маркес. — Мы уехали на воскресенье в загородный дом Альваро, стоявший на берегу мутного моря, в Сабанилье, и стряпали там его прославленное санкочо из рыбы мохарра… „У меня для тебя потрясающая новость, — неожиданно сказал Альваро. — Байардо Сан Роман вернулся к Анхеле Викарио“. Как он и рассчитывал, от удивления я остолбенел. „Они живут вдвоём в Манауре, — снова заговорил Альваро, — старые, затраханные жизнью, но — счастливые“. Он мог не говорить мне больше ничего — я это понимал и сам: мои долгие поиски закончились. Эти две фразы означали, что двадцать три года спустя человек, расставшийся со своей женой прямо в свадебную ночь, снова вернулся к ней. Один из моих закадычных друзей юности — а я в нём души не чаял — был назван виновником позора, хотя его виновность так и не была доказана, и на глазах у всего городка зарезан братьями оскорблённой новобрачной. Его звали Сантьяго Насар; жизнерадостный и красивый, он был заметной фигурой местной арабской общины. Это убийство произошло незадолго до того, как я понял, кем я буду: у меня возникла такая острая потребность рассказать об этом случае, что, вероятно, именно он раз и навсегда определил моё писательское призвание».

Через пять лет в публичном доме негритянки Эуфемии Маркес впервые рассказал об этом преступлении друзьям-

хохмачам Херману и Альфонсо, а также девочкам. К тому времени Маркес уже решил стать писателем, на что отец ему заметил: «Будешь есть бумагу». Несколько лет ему снилось, как он рвёт пачки бумаги, делает из них шарики и ест их. Но это не была газетная или туалетная бумага, это была отличная белая бумага, шероховатая, с водяными знаками — он покупал её, когда были деньги. Тем не менее и Альфонсо, и Херман, и Эуфемия с девочками в один голос заявили: история об этом преступлении заслуживает того, чтобы быть написанной, даже если придётся есть бумагу.

«Не важно, что она будет придумана, — сказал Альфонсо. — Софокл придумывал тоже, но посмотри, как здорово это у него получалось!»

Позже Альваро сказал Габриелю почти то же самое, но добавил: «Беда только в том, что твоей истории не хватает одной ноги».

И в самом деле, истории не хватало непредсказуемой концовки — именно той, какую Альваро рассказал Маркесу двадцать три года спустя после совершённого преступления, — но тогда предугадать её было невозможно. Херман, со своей врождённой осторожностью, посоветовал Маркесу подождать ещё год-два, пока книга не будет хорошо продумана. Маркес ждал не год и не два, а целых тридцать лет.

И это не было чем-то исключительным; он никогда не садился писать о том или ином событии, пока не проходило лет двадцать. В данном случае он выжидал намеренно: искал ту недостающую ножку для треноги, пытался придумать концовку истории и даже не подозревал, что то же самое делает жизнь, но лучше и изобретательнее, чем он.

«Почаще рассказывай историю, — советовал „учёный каталонец“ Виньес. — Только так сможешь выявить её внутреннюю суть». В течение многих лет, надеясь на то, что кто-нибудь заметит в его истории изъян, Маркес рассказывал её повсюду — с начала и до конца и наоборот. Мерседес ещё с детства помнила некоторые детали этого преступления и, наслушавшись пересказов Маркеса, полностью историю восстановила; в конце концов она стала рассказывать её лучше, чем он. В молодости Луис Алькориса записал эту историю на магнитофон у себя дома в Мексике. В глухом селении Мозамбика Маркес рассказывал её Руйю Герре целых шесть часов: это было ночью, когда кубинские друзья угощали его мясом бродячей собаки, убедив в том, что это — мясо газели; но и тогда не удалось найти, чего же не хватает истории. В течение многих лет Маркес неоднократно рассказывал её своему литературному

агенту Кармен Балсельс: в Барселоне и других городах мира, в самолётах — и всякий раз, как и впервые, как когда-то чёрная Эуфемия, она принималась плакать, а писатель терялся в догадках, «плачет ли она от нахлынувших чувств или от того, что он ещё не написал этой истории и её не продашь».

«— Две фразы, сказанные Альваро в то воскресенье, когда мы готовили у него на даче санкочо из рыбы мохарра, — вспоминал Маркес, — поставили для меня всё на свои места. Возвращение Байардо Сан Романа к Анхеле Викарио и являлось конечно же недостающей концовкой. Всё становилось предельно ясным: из-за своей любви к убитому другу я всегда считал, что это — рассказ об отвратительном преступлении. А на самом деле здесь была сокрыта история о необычайной любви…» (По другой версии, окончательную форму книга приняла, когда в 1979 году он с семьёй возвращался из кругосветного путешествия и в аэропорту Алжира увидел очень красивого арабского принца с соколом.)

Соответственно был выбран и эпиграф к повести: «Любовная охота сродни надменной — соколиной. Жиль Висенте».

Мощно, как всегда, сразу захватывающе начинает Маркес небольшую по объёму, но насыщенную, как роман, повесть (блестящий перевод Л. Синянской):

«В день, когда его должны были убить, Сантьяго Насар поднялся в половине шестого, чтобы встретить корабль, на котором прибывал епископ. Ему снилось, что он шёл через лес, под огромными смоквами, падал тёплый мягкий дождь, и на миг во сне он почувствовал себя счастливым, а просыпаясь, ощутил, что с ног до головы загажен птицами…»

Когда читаешь повесть, возникает ощущение причудливого симбиоза журналистского репортажа и музыкального произведения, симфонии или даже рок-оперы высочайшего класса (в чём-то созвучной опере Эндрю Ллойда Уэббера — «Иисус Христос — суперзвезда», созданной примерно в то же время). Атмосфера накаляется и нагнетается ритмично, по неким законам то ли фламенко, то ли болеро, то ли джаз-рока.

— Габриель Гарсиа Маркес — один из самых музыкальных писателей, которых я знаю, — говорил мне в Гаване один из лучших гитаристов XX века испанец Пако де Лусия. — Честно говоря, я не очень-то заядлый читатель, с трудом одолеваю какую-либо толстую книгу, многие так и недочитал. Музыка мне понятнее. Но Маркес сразу увлёк, «Сто лет одиночества» — как мощная симфония и начинается, и захватывает, и возносит, и завершается… Все его рассказы и романы поразительно музыкальны! Не берусь судить в литературоведческом, стилистическом смысле, некоторые говорили, что он кому-то там

подражал, что больше журналист, чем писатель, или даже в большей степени политик, друг всех великих, Кастро, Миттерана, Гонсалеса… Но я-то слышу его вещи, а они именно в музыкальном смысле почти совершенны. Даже пробовал композиции делать. И сделал бы — будь я Мануэлем де Фалья, великим композитором. Вот эта вещь — о том, как человек выходит из дома, зная, что его наверняка до захода солнца убьют, и весь город знает, но никто ничего не может поделать, полнейшая обречённость — она же сама музыка! — в стиле фламенко, канте хондо, с цыганско-арабскими мотивами… — Лусия касается струн, постукивает по корпусу пальцами, и кажется, что действительно слышишь «Историю одной смерти…». — Кстати, Габо сам прекрасно играет на гитаре и поёт. Замечательны у него эти колумбийские валленато, болеро о розах, жгучих красотках, любви, разбитых сердцах, смерти! У нас с ним во многом вкусы сходятся, лишь в одном, кажется, разнятся: он любит жёлтые розы, а я выращиваю в своём саду в Мадриде только голубые.

Из «Истории одной смерти, о которой знали заранее»:

«…И я увидел его. Только что, в последнюю неделю января, ему исполнился двадцать один год, он был стройным и белокожим, с вьющимися волосами и такими же арабскими веками, как у отца… От матери он унаследовал инстинкт. А у отца с детства обучился владению огнестрельным оружием, любви к лошадям и выучке ловчей птицы…»

— …Нагнетание у Маркеса идёт такое, — говорил Пако де Лусия, наигрывая на гитаре, словно аккомпанируя прозе, — что смерть неизбежна, никуда не деться — она как сам рок.

— Джаз-рок? — уточнил я.

— Ну да, и в этом, и в другом, и в библейском смысле. А у него там и имена какие-то библейские, по-моему: Пётр, Павел, Сантьяго… Не помню, есть ли Мария. Должна быть.

— Сантьяга вместо неё — это имя матери Маркеса, — напомнил я Пако.

В «Истории…» много прямых автобиографических мотивов. Начиная с рассказчика, его матери Луисы Сантьяги («Мама — лучший из моих читателей. Она безошибочно находила ключ ко всем моим книгам и точно угадывала, кто являлся прототипом того или иного персонажа… Прочитав роман, она расстроилась, потому что всю жизнь пыталась скрыть своё, как она считала, некрасивое второе имя Сантьяга, а теперь о нём узнал весь мир»). С его жены Мерседес, его братьев Луиса Энрике и Хайме, сестры Марго, другой сестры — монахини… И местную проститутку, с которой рассказчик проводит время в постели, зовут Марией

Алехандриной Сервантес — мы помним роскошную блудницу из борделя городка Махагуале, из-за которой юный Габриель «потерял голову во время самой долгой и разгульной попойки в жизни», и других его Марий. («Габо обожает женщин, — сказала в одном из немногочисленных интервью Мерседес. — Это видно и по его книгам. У него всюду есть друзья из числа женщин, которых он очень любит. Хотя большинство из них не писательницы. Женщины-писательницы такие зануды».)

Мастерски, предельно точно, по-латиноамерикански (а мы бы добавили, что и по-толстовски) выписана, выткана, сыграна сцена самого «объявленного убийства»:

«Сантьяго Насару нужно было ещё несколько секунд, и он бы вошёл в дом, но тут дверь захлопнулась. Он успел несколько раз кулаками ударить в дверь и повернулся, чтобы, как полагается, в открытую встретить своих врагов. <…> Нож пропорол ему ладонь правой руки и по рукоятку ушёл в подреберье. Все услышали, как он закричал от боли:

— Ой, мама!

Педро Викарио резким и точным рывком человека, привыкшего забивать скот, нанёс ему второй удар… Сантьяго Насар, смертельно раненный трижды, снова повернулся к ним лицом и привалился спиной к двери материнского дома, он даже не сопротивлялся, будто хотел одного: помочь им поскорее добить его с обеих сторон. „Он больше не кричал, — сказал Педро Викарио следователю. — Наоборот: мне почудилось, он смеялся“. Оба продолжали наносить удары ножами, легко, по очереди, словно поплыв в сверкающей заводи, открывшейся им по ту сторону страха. Они не услышали, как закричал разом весь город, ужаснувшись своему преступлению… Отчаявшись, Пабло Викарио полоснул его горизонтально по животу, и все кишки, брызнув, вывалились… Ещё мгновение Сантьяго Насар держался, привалясь к двери, но тут, увидев блеснувшие на солнце чистые и голубоватые собственные внутренности, упал на колени…»

Рецензируя «Историю…», профессор Бафорд писал, что автор — «безусловно, один из самых блестящих и самых „магических“ политических романистов современности».

«В „Истории одной смерти, о которой знали заранее“ Гарсиа Маркес предстал в новой ипостаси — великого трагика, создав произведение, не уступающее по своей эмоциональной и нравственной мощи античной трагедии, — пишет исследователь его творчества Всеволод Багно. — Согласимся, что любая человеческая жизнь — это хроника заранее предрешённой смерти, в сущности, заранее объявленной, о которой знают все, а ведут себя так, как будто ни о чём не подозревают и очень

удивляются и огорчаются, когда она приходит. Поэтому-то книга Гарсиа Маркеса и прозвучала как набат о человеческой жизни, её хрупкости и бесценности. Набат, но также и напоминание о нашем равнодушии и нашем беспамятстве. Убийство, совершающееся в романе Гарсиа Маркеса, — заурядно и по месту действия, и по исполнителям, и по мотивам. Зауряден и человек, которого убивают в захолустном городке по подозрению в преступлении, совершаемом по молодости на каждом шагу… <… > „История одной смерти, о которой знали заранее“ — это, вне всякого сомнения, коллективная исповедь народа, не только не препятствовавшего совершению преступления, но и соборно участвовавшего в нём. Как ни кощунственно на первый взгляд подобное сопоставление (однако и сам Гарсиа Маркес подсказывает его именем своего героя: Насар — из Насарета), но в романе отчётливо звучат евангельские мотивы. Мотивы искупительности жертвы Сантьяго для народа, живущего в отчуждении, скорее предрассудками, чем нравственными устоями. И писатель настаивает на том, что об искупительной смерти, на этот раз абсолютно ничем не примечательного человека, должно быть возвещено так же, как и о смерти Христа. Будет ли жертва искупительной?..»

И ещё о смерти.

В октябре 1981 года, как бы завершая скорбную вереницу смертей великих певцов, «начатую» в России Владимиром Высоцким, «продолженную» Джо Дассеном во Франции и Джоном Ленноном в США, ушёл из жизни Жорж Брассенс. Для нашего героя он был больше чем певцом или поэтом — Брассенс для Маркеса олицетворял ту Францию, которую он любил и в которой стал писателем.

«Не так давно на одной литературной дискуссии, — вспоминал Маркес в конце 1981 года, — меня спросили, кто, по моему мнению, лучший современный поэт, пишущий на французском языке. И я ответил не задумываясь: Жорж Брассенс. В аудитории присутствовали и те, кто не слышал этого имени. Одни были слишком старыми, другие — слишком юными… Он умер не в своём доме на берегу моря, утопающем в цветах, где беззаботно бродят многочисленные кошки, а из скромности, своей легендарной скромности уехал умирать к другу, чтобы об этом никто не знал. Известно о его смерти стало только через семьдесят два часа, когда несколько родных и близких людей уже тихо, без прессы и TV похоронили его на местном кладбище. И он не мог поступить иначе, для таких людей смерть — сугубо личное событие, не подлежащее широкой огласке. Я его встретил лишь

однажды после его выступления в „Олимпии“, и он навсегда запал в моё сердце. Он был похож скорее на машиниста, чем на звезду: усы, как у турка, стоптанные башмаки… Мы поговорили совсем немного, но что-то позволило мне считать его своим близким другом… В пятидесятых, когда я жил во Франции, Париж нельзя было представить без Брассенса. Однажды вечером меня остановили полицейские, проводившие облаву, плевали мне в лицо и били, как и других алжирцев, которых была полная машина. Меня тоже приняли за алжирца, я провёл с ними ночь в камере, набитой битком, словно сельди в бочке. И мы всю ночь пели песни Жоржа Брассенса. В то время он уже написал своё завещание в стихах. Его стихи я учил, ещё не зная французского, но чувствуя их силу. (В переложении советского барда Юрия Визбора его тексты тоже звучали забористо: „Он идёт по шикарному пляжу, / А вокруг красота, красота: / Толигэ, толигэ, дювиляже, / Тра-та-та-та, та-та-та, тра-та-та“. — *С. М.)* … Изменился Париж, там больше не танцуют, не обнимаются и не целуются на улицах, — констатировал Маркес. — В Париж без Жоржа Брассенса я не хочу. Как будто на нём повесили табличку, о которой он просил: „Закрыто по случаю похорон“».

«История одной смерти, о которой знали заранее» вышла сразу в нескольких крупнейших издательствах в Испании, Колумбии, Аргентине, Мексике… Вскоре «Эль Эксельсиор» рапортовала, что в продажу на испаноязычный книжный рынок поступило более миллиона экземпляров — по 250 тысяч в мягкой обложке в каждой из стран, где вышла, и 50 тысяч — в твёрдом переплёте в Испании; что переводится сразу на тридцать один язык мира, чего не случалось прежде ни с одной книгой. (На самом деле колумбийское издательство «Овеха Негра», оправдывая своё название — «Паршивая овца», — обманно напечатало на один миллион экземпляров больше, но раскупили!)

«Историей…» торговали на всех углах, в том числе продавцы газет, кока-колы и мороженого. Сам Маркес на пресс-конференции назвал «Историю…» своей «лучшей работой». Не все газеты публиковали такие восторженные отзывы: «Шекспировский уровень!.. Божественная обречённость и поэзия древнегреческой драмы!.. Раз прочтя — никогда не забудешь!..» Некоторые критики сочли повесть «растянутым, как жвачка, рассказом, который ничего не добавляет к творчеству Гарсиа Маркеса». Однако рейтинги, как говорится, зашкаливали, книга била все рекорды продаж. Это был бесспорный бестселлер, а наш герой подтвердил и упрочил свою репутацию писателя номер один в

мире.

Адвокат из Боготы Альварес предъявил Маркесу иск на полмиллиона долларов за клевету в «Истории…» на братьев Чика: они представлены автором убийцами, хотя были признаны невиновными. И некоторые другие персонажи вознамерились подавать в суд и требовать компенсации от писателя-миллионера. Доброхоты даже разыскали престарелую проститутку и посулили ей деньжищи — но блудница Мария Сервантес (одно имя чего стоит!) лишь усмехнулась и сказала, что «Габо её увековечил». Отсудить никому ничего не удалось — судьи в Колумбии все поголовно почитатели творчества Гарсиа Маркеса.

Двадцать первого мая 1981 года вместе с Кортасаром, Фуэнтесом и вдовой Сальвадора Альенде Хортенсией он присутствует на инаугурации Миттерана, которому суждено было рекордное в истории Франции по продолжительности четырнадцатилетнее президентство. Эта инаугурация станет первой в череде инаугураций президентов и премьер-министров, на которые потом приглашался Маркес. Через много лет, когда Франсуа Миттерана не стало, Маркес рассказал, как они познакомились: «Однажды, очень давно, в конце приёма в резиденции французского посла в Мехико мы собрались у камина выпить кофе с коньяком. Там были и несколько французов, которые помогли мне, так сказать, стать гостем Миттерана. Невозмутимый, с улыбкой на губах, сидя в своём кресле, он предложил нам всем рассесться вокруг и побеседовать о литературе. Пабло Неруда до этого говорил ему про меня, дарил мои книги, переведённые на французский, так что он знал… Миттеран был, конечно, политиком и говорил в основном о политике, как и все другие политики мира, с которыми мне приходилось общаться. Но он был и писателем, у него замечательные дневники! Субъективные, разумеется, как у всякого писателя, например, у меня. Когда ему указывали на его субъективность, он очаровательно отвечал: „Это лишь иллюзия лирического характера“. А в тот вечер у камина в Мехико он сказал, что иногда наши мысли напоминают стихи, которые нам снятся…»

— Под этим мостом я пил дешёвое вино с клошарами! — сказал Маркес, когда вышли после инаугурации на набережную Сены. — Я сам в середине пятидесятых был здесь фактически клошаром, на вечеринках, относя посуду на кухню, доедал, впервые признаюсь, даже Мерседес об этом не рассказывал.

И пригласил друзей «прямо сейчас, немедленно», как вспоминал Кортасар, вместе полететь «отдохнуть, наговориться вдоволь о поэзии, о музыке, придумать вместе что-нибудь». Но, к

сожалению, ни Кортасара, ни Фуэнтеса из Парижа не отпустили в тот раз дела (а другого раза, как бывает в жизни, не представилось).

Отдыхать Маркес любил в Гаване в отеле «Ривьера», где по распоряжению правительства лучший сьют был всегда зарезервирован для него. Или на острове Кайо Ларго — резиденции самого Фиделя, где носились по волнам на быстроходном американском катере «Акуарамас». Особенно довольна была Мерседес, как сама она рассказывала профессору Мартину. Кастро умел очаровывать женщин — всегда был обходителен, по-старомодному галантен, что ей льстило. Маркес вёл себя с Фиделем, как младший брат, жаловался на невзгоды, но знал, «когда можно подурачиться, выступить в роли придворного шута, но не переступал границ дозволенного». Отдыхал он и в резиденциях других глав государств — Панамы, Колумбии, Венесуэлы… Но и отдыхая, забавляя власть имущих анекдотами, принимал участие в политической жизни. Так Маркес откликнулся гневной статьёй «С Мальвинами или без них» на быстротечную войну Англии с Аргентиной за Фолклендские (Мальвинские) острова. Не совсем понятно было из статьи, на чьей стороне автор (порой это было для нашего героя характерно — политическим журналистом с ясной, выверенной на верхах и однозначной позицией в отношении того или иного события он не стал), но скорее всё-таки — Аргентины.

Напомним, что весной 1982 года произошла война между Великобританией и Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) островов. Аргентинская военная хунта решила подправить тогда своё пошатнувшееся внутреннее положение, вернув острова, ещё в 1833 году захваченные Великобританией. Великобритания по приказу «железной леди» Тэтчер, которой для укрепления собственных позиций тоже нужна была «маленькая победоносная война», направила к Фольклендам военные силы, и Аргентина сразу потерпела полное поражение. Благодаря этому военная хунта была свергнута.

Между тем коммунистические и прокоммунистические режимы по всему миру погружались в тяжелейший, «последний и решительный», как покажет время, кризис, начавшийся с польской «Солидарности». Реакция Маркеса, этого Чарли Чаплина мировой литературы, в эпоху наступающего мирового кризиса коммунистической идеи была оригинальной. По заданию нескольких журналов он полетел на «Конкорде» «в компании апатичных бизнесменов и сияющих дорогих проституток» в Гонконг и Бангкок и написал забавный, откровенный, на грани с порнофолом репортаж из мировой столицы секс-туризма, в

котором констатировал, например, что американские отели, где воздух свежий, а простыни чистые, как нельзя более располагают к занятиям любовью. Он уверял, что по большому счёту только любовь и секс — достойные литературы темы, что сам он лишился невинности в тринадцать лет и никогда ничего не имел против секса, но секс, по его мнению, «особенно хорош в любви, а иначе грозит превратиться в простую механику и физические упражнения, к которым лично он с детства тяги не испытывал…».

Возможно, кризис «коммунистического жанра» склонил его в начале 1980-х и к интервью журналу «Playboy», от которого много лет он отмахивался. Интервью состоялось по его предложению в Париже, мировой столице любви. Журнал послал на интервью наиболее цепкую и сексапильную из своих молодых корреспонденток — Клаудию Дрейфус (которая станет впоследствии — в том числе и благодаря откровенному, вызвавшему огромный интерес интервью Маркеса — всемирно известным интервьюером, специализируясь именно на знаменитых писателях).

Вначале Маркес разъяснил читателям «Плейбоя» в США и во всём мире свою политическую позицию, особенно подчеркнув то, что они с Фиделем Кастро «гораздо больше говорят о культуре, чем о политике», и что «это настоящая давняя мужская дружба без всякого расчёта». Затем обратился к главной теме журнала — любви и сексу. Сказал, что никто, «ни один из нас не знает другого, даже очень близкого человека», и они с Мерседес — не исключение; он до сих не имеет ни малейшего представления о том, сколько ей лет. «„Да, в молодости у меня было много проституток, — признавал Маркес. — Они были моими друзьями. Я ходил к ним не столько заниматься любовью, сколько для того, чтобы избавиться от одиночества. Как коллекционер хранит монеты или марки, я храню воспоминания о моих проститутках. И с сентиментальностью пишу о них в моих книгах… Вообще, надо сказать, что сексуальная инициация начинается дома. О ком тайно мечтает отрок? О кузинах, о тётушках… Но там — табу. А проститутки — это совсем другое. И они действительно были моими добрыми друзьями — и те, с которыми спал, потому что не было ничего ужаснее, чем спать одному, и те, с которыми почти никогда не спал, а просто делился своей повседневной жизнью, своими мечтами о будущем… Я всегда говорил в шутку, что женился, чтобы не завтракать в одиночестве. Конечно, Мерседес считает, что я порядочный сукин сын… Вы спрашиваете, есть ли у меня слабости? Сколько угодно! Главная — моё сердце. В эмоционально-сентиментальном смысле. Если бы я был женщиной, то не мог отказать… И в характере у меня много

женского. Мне необходимо, чтобы меня любили. Это для меня главное. Я и писать стараюсь как можно лучше, чтобы меня сильнее любили“. — „Это похоже на нимфоманию“, — замечает Клаудия Дрейфус. „Совершенно верно, — соглашается Маркес. — Но нимфомания своеобразная — нимфомания сердца… Если бы я не стал писателем, то был бы пианистом в баре, чтобы любящих наполнять ещё большей любовью и притяжением, влечением друг к другу… Извечное, неизбывное половое влечение — что может быть сильнее и выше этого? Для меня несомненно: смысл жизни — это любовь… И писать стоит только о любви, потому что всё остальное — от лукавого. Мой следующий роман будет конечно же о любви, о страстной безумной безнадёжной вечной любви мужчины и женщины…“».

Это интервью в «Плейбое» не публиковалось почти год, а когда было напечатано, то заняло несколько разворотов, что противоречило устоявшемуся формату главного журнала для мужчин. Его прочли миллионы, в редакцию пришло около тридцати тысяч писем из разных стран, что тоже было рекордом. Двадцать процентов писем — от мужчин, пятьдесят восемь — от женщин, остальные — от девочек в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет (что, безусловно, польстило пятидесятичетырёхлетнему писателю, он даже перечёл интервью Владимира Набокова тому же «Плейбою» и его «Лолиту»). Адресованы письма были «настоящему мачо», «блестящему душевному стриптизёру», «нимфоману сердца», «мужчине мечты» и т. п. Когда из редакции позвонили и осведомились, не переслать ли хотя бы часть этой корреспонденции ему в Мехико, Маркес, заслушав особо эмоциональные, откровенные выдержки, отказался: «Ни в коем случае! Мерседес зачитается и поймёт, что я не тот, под личиной которого так долго и ловко скрывался».

Итак, он на весь мир объявил о том, что возвращается в литературу. Напомним, что после прихода к власти в Чили Пиночета Маркес дал обет не писать и не публиковать прозу, а посвятить себя всецело публицистике. Впрочем, некоторые биографы допускают, что причинами такого обета могли быть не только категории политического, социального, нравственного порядка, но и вполне прозаические: заканчивая «Осень Патриарха», Маркес почувствовал, что устал, ему стало казаться, что он исписался и необходимо время, чтобы «ключи вновь наполнили исчерпанный колодец». Теперь он задумал роман о любви своих родителей.

Шестнадцатого сентября 1982 года младший брат нашего героя, Элихио, «семейный литературный эксперт», по телефону сообщил Габриелю, что «Нобель обеспечен».

Этому сообщению предшествовал ряд немаловажных событий. Ещё летом 1981-го Гарсиа Маркес с помощью своего друга юности Альфонсо Фуэнмайора, неоднократно бывавшего в Стокгольме, установил контакт, а затем и подружился с известным писателем Артуром Лундквистом, возглавлявшим левое крыло Шведской академии. Лундквист имел огромный авторитет и влияние на Комитет по присуждению Нобелевской премии — в своё время он добился того, что премией были награждены латиноамериканцы Мигель Анхель Астуриас и Пабло Неруда. Летний отпуск 1981-го Маркес провёл на Кубе, в Варадеро и других курортах с послом Швеции в Мексике (все расходы, разумеется, взяв на себя, хотя таковых фактически и не было у «личного друга команданте Фиделя»). Были проведены и прочие превентивные мероприятия.

Двадцатого октября 1982 года мексиканские газеты писали, что Гарсиа Маркес уже наверняка получит премию. Всю ночь они с Мерседес не спали. На следующее утро, в 5.59, Пьер Шори, заместитель министра иностранных дел Швеции, позвонил Маркесу в Мехико и подтвердил известие: «С премией вопрос решён». «Гарсиа Маркес, — пишет профессор Мартин, — побледнел, медленно положил трубку, будто боясь, что она отскочит, повернулся к Мерседес и тихо сказал: „I'm fucked“ („Мне п…ц“). Позвонил президент Колумбии Бетанкур и сказал, что услышал новость от Франсуа Миттерана, который узнал это от шведского премьера Улофа Пальмё. Бетанкур кричал в трубку, что это победа Колумбии. Габриель и Мерседес умылись и сели завтракать».

А потом обрушился шквал звонков: Миттеран (напрямую, без секретаря), Кортасар, Мейлер, Онетти, спикеры парламента Колумбии, Тачия и ещё многие. Фидель не смог дозвониться и прислал телеграмму: «Справедливость восторжествовала! Телефон у тебя занят наглухо. Второй день пьём твоё здоровье, поздравляю тебя и Мерседес от всего сердца!» Грэм Грин тоже прислал телеграмму с «горячайшими поздравлениями», Норман Мейлер… От журналистов и поклонников не было отбоя, дом брали буквально штурмом, и полиции пришлось взять его в оцепление. Сотни журналистов всё равно его описывали — в репортажах непременно фигурировали жёлтые розы и цветы гуайавы.

— В 1982 году я приехала в Мексику, — вспоминала латиноамериканистка Вера Кутейщикова. — Маркес в это время был там. И как раз в те дни стало известно о том, что ему присуждена Нобелевская премия по литературе. Дом Маркеса был осаждён, все рвались его поздравить. Мне с огромным трудом

удалось к нему прорваться с жёлтыми розами — я знала, что он их очень любит. Уже потом я зашла в книжный магазин и купила книгу «Запах гуайавы», куда вошли интервью, данные Маркесом журналисту Плинио Апулейо Мендосе. Тут же в автобусе открываю её — и на странице 101, я прекрасно помню номер, натыкаюсь на вопрос о книге «Сто лет одиночества»: «Кто, по-твоему, лучший читатель этой книги?» И на ответ Маркеса: «Одна моя приятельница в Советском Союзе повстречала сеньору, немолодую уже, которая собственноручно переписала всю мою книгу, а на вопрос, зачем она это сделала, ответила: „Потому что мне захотелось узнать, кто на самом деле сошёл с ума — автор или я“. Мне трудно представить себе лучшего читателя, чем эта сеньора»…

Сотни раз Гарсиа Маркес набирал номер телефона матери — но её телефон в Картахене не работал. Так что в течение трёх недель мать не знала о том, что сын удостоен Нобелевской премии. А когда репортёр из Боготы всё-таки дозвонился и сообщил, то Луиса Сантьяга после паузы только и вымолвила: «Ну вот, может быть, теперь мне обеспечат нормальную телефонную связь». А ещё она сказала, что всегда надеялась на то, что Габито никогда не получит Нобелевскую премию, так как «была уверена, что он сразу после этого скончается». В ответ на это Маркес заявил, что возьмёт с собой в Стокгольм букет жёлтых роз, «чтобы спасти и сохранить себя» (мать тоже любила жёлтые цветы).

Он размышлял над тем, как себя правильнее в этой ситуации позиционировать. Перечитывал свидетельства о получении Нобелевской премии учителями — Фолкнером, Хемингуэем, их первые интервью, их торжественные речи. «Я не смогу поехать получать эту премию, — сказал Фолкнер журналистам, собираясь на охоту. — Это слишком далеко. Я фермер и не могу надолго отлучаться». И поведение Хемингуэя озадачило: сославшись на нездоровье — «Я только выгляжу здоровым, и, безусловно, из меня получится прекрасный труп, но путешествовать сейчас я не в состоянии» и на то, что «никогда не надевал фрака и даже галстука, а уж тем более бабочку», — Хем отказался ехать в Стокгольм за Нобелевской премией, вместо этого отправившись со стариком Грегорио на рыбалку.

— Может, мне тоже не ездить? — сомневался Маркес. — Сказаться больным или задержавшимся в каком-нибудь индейском племени в горах…

— Больным — уже было, — отвечал Мутис. — Ты не охотник, не рыбак… Что бы ты ни придумал — всё будет плагиатом!

За поездку ратовали Плинио и хохмачи, Кармен, Тачия… В конце октября Маркес устроил в Мехико пресс-конференцию для

сотни с лишним журналистов, на которой заявил, что премию принимать поедет, но не собирается надевать на церемонию в Стокгольме положенного по этикету фрака, сюртука, вечернего костюма, — сойдёт и *liquiliqui* (ликилики) — колумбийско-венесуэльская белая туника с белыми штанами, как принято показывать латиноамериканцев в голливудских фильмах. На следующий день пресса обсуждала вопрос о том, чего хочет добиться Маркес: вызвать международный скандал и ещё больший интерес к собственной персоне, которого и так не занимать, или «окончательно опустить свою страну»?

Между тем по всему миру родные, друзья и поклонники Маркеса торжествовали и праздновали победу. Отец, Габриель Элихио, заявил журналистам в Картахене, что всегда, с первой же написанной Габито страницы, знал, что он рано или поздно станет лауреатом Нобелевской премии (никто не напомнил о его предречении сыну, что тот, если станет писателем, будет «есть бумагу»). И всё-таки язвительно добавил, точнее, намекнул на то обстоятельство, что Габито — всего лишь один из немногих писателей в их семье и он, отец, не очень-то понимает, почему ему уделяется так много внимания. А премию Нобелевскую, мол, Габриель получил благодаря своей «пронырливости, втёршись в доверие к Миттерану и шведам». Мать, Луиса Сантьяга, сказала, что её отец-полковник, предсказывавший Габито великое будущее, празднует на том свете и поздравляет внука.

Губернатор департамента Магдалена решил объявить 22 октября всеобщим праздником и даже выходным днём и предложил присвоить старому дому полковника Маркеса статус национального достояния, памятника культуры, охраняемого государством. В Боготе коммунистическая партия организовала уличные манифестации с требованием назначить Гарсиа Маркеса спикером парламента «во спасение Колумбии». Таксисты включали радиоприёмники в машинах на полную громкость, когда передавали новости из Стокгольма. Репортёр городской газеты Барранкильи опрашивал прохожих, среди них уличную проститутку, и та призналась, что новость о том, что их земляк удостоен Нобелевской премии, ей сообщил в постели клиент и она так обрадовалась, что не смогла удержаться от оргазма, «что, конечно, непрофессионально». Это стало, как потом со смехом заметил сам лауреат, наивысшим признанием милых его сердцу барранкильцев.

Газеты и журналы стали именовать Маркеса «новым Сервантесом», подхватив мысль, высказанную Пабло Нерудой. Американский журнал «Newsweek», который, как и сотни других журналов в мире, поместил фотографию Маркеса на обложке,

назвал его «чарующим сказителем», Салман Рушди в английской прессе — «Магическим Маркесом», а «Сто лет одиночества» — «одним из двух-трёх самых значимых и самых мощных произведений, созданных после мировой войны». Нескольким крупнейшим аргентинским и перуанским изданиям Маркес поведал, что «не сможет умереть счастливым, ибо уже бессмертен». Шутил. Но в каждой шутке, как известно, лишь доля шутки.

Расстроил старший сын Родриго — позвонил, поздравил, но сказал, что занят на съёмках своего фильма на севере Мексики и не сможет вырваться с родителями в Стокгольм.

Незадолго до описываемых событий, 8 октября 1982 года, повторно избранный премьер-министром Швеции лидер социал-демократов, давний друг Маркеса Улоф Пальмё заявил, что Маркес помог ему «понять, что мир гораздо шире, чем порой кажется, раздвинул горизонты». (Пальмё в немалой степени способствовал получению Маркесом Нобелевской премии.) Через несколько дней после объявления о присуждении премии один из лучших новых друзей Маркеса, Филипп Гонсалес, лидер социалистической партии Испании, был избран премьер-министром страны. 1 декабря 1982 года президентом Мексики стал Мигель де ла Мадрид, и одним из почётных гостей на церемонии инаугурации был Маркес. (В который раз отметим завидный дар Маркеса дружить — притом дружить перспективно, плодотворно.) Посетив своего давнего друга Фиделя на Кубе, проговорив с ним одиннадцать часов (!), наш герой вылетел в Европу: сначала в Испанию, чтобы лично поздравить Гонсалеса, затем в Париж.

В понедельник, 6 декабря самолёт авиакомпании «Авианка джумбо джет», совершив двадцатидвухчасовой перелёт из Колумбии в Швецию, приземлился в аэропорту города Стокгольма. На самолёте прибыла правительственная делегация Колумбии, двенадцать близких друзей Маркеса (кандидатуры и количество друзей — именно двенадцать — утверждал сам виновник торжества, хотя уверял, что некий Ангуло), а также группа музыкантов.

Когда из Парижа прибыл сам Маркес (намеренно задержавшись), сотни латиноамериканцев, проживающих в Европе, встречали его в аэропорту — как тореадора, как нападающего, забившего решающий гол, как национального героя. С ним прилетели Мерседес, сын Гонсало, жена Миттерана Даниэлла, Реже Дебре, Плинио, Тачия…

Было около десяти градусов мороза. Шёл снег, по взлётно-посадочной полосе мела позёмка. Первые фотографии Маркеса, в

северной декабрьской тьме ступившего на шведскую землю, сделала его бывшая возлюбленная — Тачия, сама себя назначившая «официальным фотокорреспондентом лауреата Нобелевской премии по литературе Гарсиа Маркеса» и получившая аккредитацию, так называемый *press-pass.* Отказавшись от пресс-конференции в аэропорту, Маркес с семьёй сразу направился на протокольном «вольво» в Гранд-отель и поселился в трёхкомнатном сьюте № 208.

«Вообще-то я плохо сплю на новом месте, — вспоминал Маркес. — Но в ту первую ночь в морозном Стокгольме заснул быстро. И вдруг среди ночи проснулся — будто толкнули. Огляделся — Мерседес рядом тихонько посапывает. Накануне вечером мне сказали, что все лауреаты Нобелевской премии по литературе селятся именно в этом номере. То есть и Киплинг, и Томас Манн, и Неруда, и Астуриас, и Фолкнер спали в этой постели, подумал с ужасом я… Встал, взял подушку и пошёл спать на кушетку в гостиной».

С лауреатами Нобелевской премии 1982 года в Стокгольме работала в качестве переводчика-гида-консультанта Карин Лиден — профессор Упсальского университета, журналистка-полиглот, переводчица, в том числе и латиноамериканской литературы, давняя, с университетских пор, добрая моя подруга.

— На второй вечер в сьюте Гарсиа Маркеса собралось много народу, — рассказывала мне Карин. — Друзья, друзья друзей, знакомые и незнакомые, режиссёр Педро Клавихо снимал всё это на камеру для документального фильма… Выпивали, закусывали, шумели. Маркес увлёк в ванную своего друга Альфонсо Фуэнмайора и дал прочесть заготовленную им речь — Фуэнмайору она понравилась, «особенно в политическом аспекте», он, помню, просил ещё что-то вставить, потом дополнял, вспоминал какие-то неизвестные имена, факты… Маркес очень волновался, я физически ощущала исходящие от него нервные флюиды. По-моему, он даже выпил лишнего, по крайней мере, я видела, как он плеснул себе в фужер бутылочку коньяку из мини-бара, но Мерседес не отходила ни на шаг. Она, как и многие, не была в восторге от идеи Габо появиться на торжественной церемонии в ликилики, но не спорила с мужем, наоборот, приводила аргументы в пользу его решения, что-то в смысле необходимости публичной поддержки латиноамериканской культуры и независимости. У меня он поинтересовался, как читается на шведском языке «Сто лет одиночества» и не знаю ли я, какого мнения о романе наш король. Я не читала роман по-шведски и не знала мнения короля,

но слукавила, что король в восторге, а читается роман превосходно, будто швед написал. Маркес расхохотался. «Психически больной швед, не правда ли? — спросил. — Буйный, да?» В тот вечер в Гранд-отеле вообще много и нервно смеялись, чувствовалось напряжение, но больше всех переживала Мерседес, хотя виду не показывала.

Речи лауреатами произносились традиционно с 17.00 до 18.30 в Театре Шведской академии литературы в присутствии двухсот специально приглашённых гостей и общей аудитории в четыреста человек. Ровно в 17.00 известным писателем, секретарём Академии Лэнком Ларсом Гилленстеном был представлен залу наш герой, появившийся на сцене в клетчатом пиджаке, тёмных брюках и белой сорочке с ярко-красным дизайнерским галстуком в горошек.

«— Своим галстуком он показывает всем, — услышала я за спиной шёпот, — что сам красный и красные обеспечили ему премию, Кастро и Брежнев, — вспоминала Карин Лиден. — Следующим лауреатом будет советский или китаец. Старик Нобель в гробу перевернулся!» И ещё: «Этот колумбийский петух в своём репертуаре». Я была так возмущена, что хотела обернуться и треснуть этих буржуев сумкой, едва сдержалась! Ларс Гилленстен говорил по-шведски, а многочисленные комментаторы, особенно латиноамериканские, горячо и громко комментировали происходящее, как финальный матч чемпионата мира по футболу, с выкриками на весь зал. Гилленстен отмечал, что Гарсиа Маркес получил Нобелевскую премию по литературе «за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента»…

— И вот начал свою речь Маркес — тихо, надо было вслушиваться, — продолжала Карин. — Но вдруг, почему-то на некоем Нуньесе Кабесе де Ваке (в экспедиции которого не обошлось без людоедства), исследовавшем север Мексики в поисках источника вечной молодости, сорвался, от волнения, конечно, перешёл в атакующий, агрессивный, обвинительный, прямо-таки «красно-террористический», как буркнули сзади, стиль. Будто пробуждая и зал, и Стокгольм, и Скандинавию, и всю старушку Европу от зимней спячки. Смотрелся он великолепно в своём красном, почти пионерском галстуке. Хотя само содержание речи показалось мне, да и не только мне, странноватым. Какое-то причудливое смешение речей Боливара, Фолкнера, Фиделя Кастро, Че Гевары… Речь называлась «Одиночество Латинской Америки». Маркес рассказывал о флорентийском мореплавателе Пигафетти, отправившемся с Магелланом в первое кругосветное путешествие, о том, что тот

повидал в Латинской Америке. Аудитория даже и не знала, как реагировать. Этот Пигафетти, по уверению Маркеса, видел в Южной Америке свиней с пупком на спине, безногих птиц, чьи самки высиживают яйца на спинах самцов, а другие напоминают пеликанов без языка, с клювом, как ложки. Видел позорное существо с головой и ушами осла, телом верблюда, ногами оленя, которое при этом ржало как лошадь. Маркес говорил, что одной из величайших загадок человечества является то, что из одиннадцати тысяч мулов, гружённых по сто фунтов золота каждый, которые вышли из Куско, чтобы заплатить выкуп конкистадорам, ни один не достиг пункта назначения. Впоследствии, уже в колониальные времена, в Картахене продавались индюки, в чьих зобах находили золотые крупицы. «Одержимость золотом наших основателей преследовала нас! — восклицал Маркес. — Ещё в прошлом веке немецкая миссия, которой поручено было изучить возможности и условия строительства межокеанской железной дороги через Панамский перешеек, пришла к замечательному выводу, что проект выполним лишь при одном условии: если рельсы будут не из железа, которого мало в регионе, а из золота!» «Наша независимость от испанского господства не избавила нас от безумия! — почти кричал Маркес с кафедры, и в шведской чопорной атмосфере выглядел изумительно, совершенно безумно. — Генерал Антонио Лопес де Сантана, трижды диктатор Мексики, устроил великолепные похороны своей правой ноги, потерянной в ходе так называемой Кондитерской войны. Генерал Габриель Гарсиа Морено правил Эквадором шестнадцать лет как абсолютный монарх, а когда умер, то его труп продолжил неусыпно нести вахту в полной парадной форме и броне наград, сидя в президентском кресле…»

Из нобелевской речи Гарсиа Маркеса:

«— …Между тем двадцать миллионов латиноамериканских детей умерли в возрасте до двух лет, это больше, чем родилось в Европе с 1970 года. Пропавших без вести из-за репрессий насчитывается около ста двадцати тысяч… На континенте гибнут сотни тысяч людей!.. Из Чили, страны, славившейся своим гостеприимством, бежало более миллиона человек… Почтенная Европа могла бы нам помочь, если бы взглянула на нас не как на пешку в большой шахматной игре без всякой свободы выбора…»

Он вспоминал Фолкнера, с этой же трибуны категорически отказавшегося принять конец человека, и заявлял, что всецело присоединяется к постулату своего великого учителя. Закончил Маркес свою речь выражением надежды на то, что любовь и истина восторжествуют и человечеству, осуждённому на сто лет

одиночества, будет дан ещё один шанс на Земле.

Гарсиа Маркес, единственный из лауреатов-82, был приглашён на ужин к премьер-министру, и Министерство иностранных дел Швеции отметило, что это приглашение — знак особого почтения.

Но всё это было прелюдией к главному действу Нобелевского фестиваля. 10 декабря 1982 года в Концертном зале король Швеции Карл XVI Густав торжественно представлял и награждал лауреатов. Журналисты отметили, что Гарсиа Маркес появился на церемонии «as wrinkled as an accordion» («сморщенным, как аккордеон») на фоне отутюженных фраков и сорочек. Цветы, фотовспышки, люди в чёрных фраках, красные ковры, всё было обставлено в античном стиле. «Чёрт! — шепнул Маркес сопровождавшему его другу Мендосе. — Как на собственных похоронах!»

В зале присутствовали 1700 человек, из них 300 колумбийцев. Справа от сцены, украшенной жёлтыми цветами, располагалась королевская фамилия — сам король Карл XVI Густав, его жена Сильвия, урождённая Соммерлат, дочка бразильянки Алис де Толедо (королевская тёща, по мнению Карин Лиден, тоже сыграла свою роль в том, что на Латинскую Америку в 1982 году Нобелевский комитет обратил внимание), принцесса Лилиан и принц Бертил. Слева — лауреаты в области медицины, физики, химии, экономики… Лауреат в области литературы Гарсиа Маркес в своём белоснежном ликилики резко выделялся. (Он облачился в ликилики «в память о деде-полковнике», но, по словам почтенного дона Гомеса Авилеса, дружившего с полковником Маркесом, тот «ни за что бы не появился на церемонии в ликилики, это — фантазии Габито».)

«Габриель Гарсиа Маркес!» — объявили. Под «Интермеццо» Бартока, выбранное им самим (лауреатам предоставляется право выбора музыкального сопровождения), Маркес встал, положил жёлтую розу, которую держал в руке, на своё кресло и пошёл — не слишком уверенно, так, что и Мерседес, и Карин молились про себя и держали пальцы скрещёнными, чтобы он не споткнулся и не растянулся на полу перед королём и миром.

— Когда наш король прикреплял ему на грудь лауреатскую медаль и пожимал руку, — вспоминала Карин в стокгольмском «Погребке ратуши», где мы с ней заказали «нобелевское меню» (филе из оленины, форель, шампанское, херес — около двухсот долларов на человека), — выглядел Маркес в ликилики, как чаплиновский персонаж. Но аплодисменты ему длились дольше, чем другим, — не менее трёх минут! Даже здравицы доносились из зала — неслыханное дело для нобелевской церемонии,

видимо, земляки-колумбийцы не могли сдержаться, хорошо, что пальбу не открыли!.. А затем был банкет в Голубом зале городской ратуши. Естественно, форма одежды — фраки и вечерние платья, никаких исключений ни для кого не было за многие десятилетия. В разработке меню принимают участие повара этого «Погребка» и кулинары, когда-либо получавшие звание «Повар года». В 1982 году меню готовил главный шеф-повар Швеции Йон Йоханссен. Загодя, ещё в сентябре три варианта меню дегустируются членами Нобелевского комитета, которые решают, что будет подаваться «к столу Нобеля». Известен только десерт — шербет с миндалём и бананами. Для банкета используются сервиз и скатерти со специально разработанным дизайном, с портретом Нобеля. Посуда ручной работы: по краю тарелки проходит полоса из трёх цветов шведского ампира — синий, зелёный и золото. Столы расставляют с математической точностью, зал украшают двадцать три тысячи цветов, присылаемых из Сан-Ремо. Движения официантов прохронометрированы. Во время ужина звучит музыка — приглашаются очень именитые музыканты, в их числе был ваш Ростропович. Завершается банкет выносом мороженого, увенчанного, как короной, шоколадной монограммой-вензелем «N».

— Маркес курил огромную сигару, подаренную ему накануне в Гаване «капитаном пиратов», как называли Фиделя, — рассказывала Карин. — Сигара была столь характерного абриса, длинна и толста, так раздувалась и вспыхивала пепельной головкой, когда Маркес с видом истинного мачо глубоко затягивался, что вызывала двусмысленные улыбки у дам, которые все сплошь были в декольте и бриллиантах. Каждый лауреат должен был произнести трёхминутную речь в виде тоста. Первым выступил Маркес — он говорил о поэзии как «наиболее убедительном доказательстве существования человека на земле», о любви и вечности… Его тост понравился больше, чем сумбурная речь об одиночестве Латинской Америки, я потом узнала, что этот тост написал ему друг Мутис, знающий толк в великосветских приёмах. Двое из лауреатов попросили надписать им на память «Сто лет одиночества», принеся книги с собой, — а этого, как сказал мне старейший нобелевский церемониймейстер, не случалось прежде ни с одним писателем за всю нобелевскую историю. Затем по знаку короля все присутствующие переместились в Большой Золотой зал для танцев. Там исполнялись вальс, фокстроты, румбы. По просьбе Габо повторяли: «Besame, besame mucho, como si fuera esta noche la ultima vez» («Целуй, целуй меня так, будто в последний раз»).

Глава четвёртая
БОЛИВАРИАНА

Отпраздновав Рождество в Барселоне, навестив премьер-министра Испании («выглядит Филиппе так и с таким задором рассуждает, что больше походит на студента», — написал Маркес в своей еженедельной газетной колонке, которую вёл с железной дисциплиной), лауреат Нобелевской премии вылетел в Гавану. На пресс-конференции в «Каса де лас Американас» он подробно рассказал о том, как всё было в Стокгольме, как принимали его речь о Латинской Америке, его высказывания о Кубе. Признался, что в Стокгольме ему не хватало кубинских друзей, а теперь у него появилось множество планов, связанных с литературой и особенно кинематографией Острова Свободы.

Минерва Мирабаль, часто тогда в Гаване встречавшаяся с Маркесом, рассказала мне, что Габо долго не мог «очухаться от ошеломившего Нобеля».

— Он одновременно будто и помолодел после Швеции, и посолиднел, даже взгляд изменился. Он ведь стал одним из самых молодых и в то же время самых популярных нобелевских лауреатов, а это открывало для него массу возможностей. И прежде Габо любил — может быть, больше всего на свете — накоротке общаться с сильными мира сего, а теперь они встречали его с распростёртыми объятиями. Он и сам как бы обрёл статус президента. Фидель был с этим согласен, но сказал как-то: «Конечно, Гарсиа Маркес — практически президент страны. Вот только вопрос: какой страны?» Открывались новые политические возможности — и Габо их использовал, всё более активно участвуя во всякого рода переговорах, саммитах, выступая посредником… Мне кажется, — говорила Мину, — что посредничество у него в крови, досталось по наследству от деда-полковника Маркеса, часто выступавшего в роли третейского судьи. Конечно, всё это было не очень серьёзно, и политики воспринимали Габо как всемирно известного, почитаемого, но всё-таки писателя, так что сколь-нибудь серьёзного влияния на переговоры, на решения вопросов он оказывать не мог, что и сам сознавал…

Разумеется, Нобелевская премия его изменила — это признавали все, кто его хорошо знал. Одни говорили, что он зазнался, другие, например его кузина Гог, — что «Габо и всегда был таким, будто только что удостоенным Нобелевской премии». Кармен Балсельс утверждала, что любой другой на его месте

изменился бы гораздо более разительно, рост его славы был невиданным. «Да с таким писателем, как Гарсиа Маркес, — восклицала Кармен, — вы можете основать политическую партию, совершить революцию, создать новую религию и вообще перевернуть мир!»

Самым близким друзьям Маркес признавался, что прилагал все силы, чтобы остаться прежним, как до Стокгольма. Но это было дико сложно — «когда люди кругом говорят только то, что ты хочешь услышать, беспрерывно открыто и завуалированно льстят тебе. А если ты начинаешь говорить на какой-нибудь вечеринке, даже среди старых друзей, то все разом замолкают и буквально смотрят тебе в рот… Премия очень ко многому обязывает. Ты не можешь, как раньше, отмахнуться или послать: *Fuck off* (Отъе…сь!) Ты должен быть сдержанным, интеллигентным, выслушивать даже полную чепуху… Ты будто вечно под фотообъективами, освещён со всех сторон софитами. И чем больше народу тебя окружает, чем больше слышится со всех сторон комплиментов, тем меньше чувствуешь, какой ты есть на самом деле».

Он уже не мог просто прогуляться по улице, сходить в кино, посидеть в ресторане. Его всюду узнавали. В ресторане посетители, завидев Маркеса, вскакивали с мест, неслись в ближайший магазин или киоск, покупали его книги, журналы с интервью и налетали за автографами. Пилоты и стюардессы в самолётах, завидев Габо, забывали о своих служебных обязанностях… Он стал роптать на славу, ради которой положил столько сил. Жаловался друзьям, будто не знал, что это такое на самом деле, а теперь не пожелал бы сей участи и врагу. Хохмачи из Барранкильи хохотали над ним, но, как заметила Мину Мирабаль, тоже, может быть, сами того не замечая, подстраивались и смеялись над его анекдотами, даже если слышали их много раз.

— И тут, конечно, сказывалось то, что он из совсем простых людей, — говорила Мину. — Истинный *self made man,* сам себя сделавший. Всё казалось, что ему недодано, словно навёрстывал упущенное во времена лишений. Останавливался Габо только в самых шикарных отелях, в президентских сьютах, а если они были заняты, вообще мог отказаться от поездки. В ресторанах заказывал изысканные дорогие блюда, нередко повара и официанты вынуждены были куда-то посылать за свежайшими устрицами, трюфелями или чёрной русской икрой, которую он предпочитал иранской…

Зная слабость друга к икре (которую Маркес, по его словам, полюбил ещё в 1957-м на молодёжном фестивале), Фидель

Кастро привёз пятикилограммовую банку осетровой астраханской икры с похорон Брежнева из Москвы, где с Индирой Ганди они обсуждали предстоящую встречу глав государств Движения неприсоединения и вопрос приглашения на эту встречу в качестве почётного гостя Гарсиа Маркеса. Встречали новый, 1983 год с икрой и русской водкой в Гаване в «Протокольной резиденции № 6», которую позже Фидель подарил другу Габо. (По поводу чего, помню, кубинские литераторы ёрничали: «Палата № 6, как у Чехова».)

В январе на Кубе побывал Грэм Грин, и 16-го в своей постоянной колонке в «Эль Паис» Маркес опубликовал заметку под названием «20 часов Грэма Грина в Гаване». 23 января он написал заметку «Возвращаясь в Мехико», где назвал пять важнейших в его жизни стран, не считая Венесуэлы: «Колумбия, Куба, Франция, Испания, Мексика». Через неделю, 30 января, в «Эль Паис» появилось его антиамериканское эссе о Рональде Рейгане: «Да, волк действительно приближается».

После Нобелевской премии он совершил ряд «знаковых возвращений», но самым важным было возвращение в Колумбию. Президент Бетанкур настоял на том, чтобы Маркесу были выделены телохранители, оплачиваемые из правительственного бюджета, и Маркес этим гордился, особенно последним обстоятельством. «Из правительственного бюджета!» — подчёркивал он. Через несколько дней Маркес написал в своей колонке заметку — эти заметки читала вся Латинская Америка, тираж «Эль Паис» стремительно рос — «Возвращаясь к гуайявере» (кубинская удлинённая рубашка навыпуск), в которой признавался, что даже не предполагал, что будет разгуливать по Боготе с отрядом охранников. Но некоторые газеты и напустились на него — «респектабельного олигарха».

В конце мая Маркес улетел в родную Картахену, которая стала его главным прибежищем в Колумбии, «приютом вдохновения». С испанским лидером Филиппе Гонсалесом, прилетевшим по приглашению Маркеса, они возглавляли жюри ежегодного Картахенского кинофестиваля, высокопоставленный испанец ходил исключительно в «легендарном» белоснежном ликилики и вечерами танцевал с первыми красавицами.

В последних числах июля Маркес в составе правительственной делегации Колумбии присутствовал на торжествах по случаю дня рождения Симона Боливара в столице Венесуэлы Каракасе, где не бывал до этого пять лет. С Мерседес (а разъезжал он почти всюду с Мерседес, и подавали им правительственного класса «мерседесы», что стало игрой слов,

без супруги он терялся, часто не знал, по его признанию, «что куда надевать») они встретились с аргентинским журналистом, писателем, издателем Томасом Элоем Мартинесом, с которым когда-то задумывали учредить газету «Эль Отро» («Другой»).

«Мы встретились около трёх часов ночи, — вспоминал Мартинес, — в одном из отдалённых кафе. Мерседес была в роскошном вечернем платье, с причёской, они ужинали с президентом Венесуэлы и королём Испании Хуаном Карлосом. Одноногий официант принёс нам пиво. „Томас, — сказала она, — а менее подходящего места для встречи ты не мог подыскать?“ — „Чтобы нам вообще не дали поговорить? — возразил жене Маркес. — Мне нравится это кафе — никто не пристаёт“. — „Ты, Томас, когда-нибудь мог себе представить, что Габо станет такой знаменитостью?“ — спросила Мерседес. „Я был свидетелем, как вспыхнула его звезда. Тогда, в театре в Буэнос-Айресе, когда из темноты вас выхватил луч прожектора и все зааплодировали!“ — „Нет, Томас, — сказал Маркес. — Это было раньше“. — „Ещё в Париже, когда ты закончил ‘Полковника’“? — „Раньше“. — „В Риме, когда увидел Софи Лорен и она тебе подмигнула?“ — „До этого, — отвечал Гарсиа Маркес, сидя за пластиковым столиком в молодёжном кафе. — Я был знаменитым, уже когда мы с дедом забирались в горы Сьерра-Невада и купались там в ледяной речке. Я всегда был знаменитым, я родился таким. Но только я один об этом знал“».

Наконец, поздней осенью 1983 года состоялось и возвращение в Аракатаку, где Маркес не был шестнадцать лет. Он сказал журналистам, что чем дольше живёт, тем отчётливее помнит всё, что было в детстве, с самых первых мгновений, все мелочи, запахи, звуки.

Встречать новый, 1984 год Маркес пригласил Реже Дебре и друзей со всей Латинской Америки (в их числе бывшего личного телохранителя Альенде Макса Марамбио) в гаванский отель «Ривьера», тот самый, в котором когда-то, прилетев на процесс «Правосудие Свободы», он впервые почувствовал «вкус и качество жизни». Новогодние празднества, естественно, оплачивались гостеприимной Кубой, всё было включено, от гостей лишь требовалось расписываться на счетах ресторанов и баров.

В том январе автор этих строк и кинорежиссёр Тенгиз Семёнов, лауреат Ленинской премии, тоже жили в «Ривьере» и тоже были «подписантами». Посреди нищей, в общем-то, Гаваны, где товары отпускались по карточкам, по-прежнему можно было расплатиться за любовные утехи с какой-нибудь мулаткой колготками или духами типа «Красная Москва», в шикарной атмосфере «Ривьеры» было что-то изысканно-извращённое. Но,

говоря откровенно, и что-то тешащее самолюбие — подобного я не испытывал потом ни в одном из «The Leading Hotels of the World» («Лучших отелей мира»), в которых останавливался: ни в Лозанне, ни в Риме, ни в Бангкоке (слаб и тщеславен человек).

В гаванской «Ривьере» Маркес поведал нам с режиссёром, что наступивший год намеревается посвятить роману о любви. И не без гордости добавил, что писать его станет уже не на допотопной печатной машинке, а на электронно-вычислительной машине, которую профессионалы называют словом «компьютер»; он уже начал потихоньку осваивать «„машину“, за которой будущее». Марамбио, с которым я как-то ночью выпивал в лоби-баре, возносил Маркеса до небес и уверял, что, перед тем как принять смерть, его шеф Сальвадор Альенде читал «Полковнику никто не пишет».

Почти весь 1984 год Маркес провёл в Картахене. В очередной раз жизнь он подчинил строгому распорядку дня: подъём в 6.00, холодный душ, лёгкий завтрак, чтение газет, настраивающих на работу, и собственно работа за компьютером с 9.00 до 13.30–14.00. Мерседес с друзьями ждала его на пляже. Там, после купаний, в ресторанчике они обедали — королевские креветки или лобстер с белым вином. Затем — сиеста. Курил мало и вообще вёл почти здоровый образ жизни. Вечером, когда спадала жара, раскатывал по древнему пиратскому городу на своём новеньком красном мощном «мустанге» или прогуливался, по привычке «обкатывая», то есть пересказывая друзьям произведение, которое было в работе.

Часто общался с родителями, особенно с матерью, расспрашивая её о юности, о любви… С отцом отношения были по-прежнему непростые, хотя понемногу налаживались («отец ведь когда-то забрал у него маму, — пишет Мартин, — а самого Габито забрал у любимого деда-полковника, полной противоположностью коего отец являлся; он, Габо, всю жизнь, до недавнего времени, до Нобелевской премии был не более чем одним из шестнадцати или даже двадцати семи детей телеграфиста Габриеля Элихио»).

Непросто оказалось перейти с пишущей машинки на компьютер — Маркес не мог отделаться от укоренившейся привычки печатать, с силой ударяя по клавишам, с треском вырывать из каретки страницы с опечатками, заправлять новые, перепечатывать, вновь вырывать с веселящим душу треском… Работал компьютер бесшумно и, как казалось, бездушно. Слова, фразы, абзацы, целые главы выходили какими-то не такими, как задумывал, и одолевали сомнения, лучше получится или хуже. Мерседес ничего определённого на этот счёт сказать не могла,

боясь не то что стереть пыль, а даже приблизиться к компьютеру, будто это какой-то таинственный опасный зверёк.

К августу 1984 года Маркес написал более двухсот страниц нового романа, три большие главы из шести задуманных. В еженедельной колонке в «Эль Паис» он сообщил, что его новая вещь — о мужчине и женщине, влюбившихся друг в друга, но не поженившихся в двадцать, так как были слишком молоды, и не поженившихся в восемьдесят после всевозможных жизненных перипетий, так как были уже слишком старыми. Он признавался, что это весьма рискованная работа, совмещающая в себе элементы массовой культуры: примитивную мелодраму, мыльную оперу, болеро…

Сам по себе сюжет действительно прост, как либретто рок-оперы. Надо думать, наш герой намеренно выбрал временем действия начало XX века, ибо даже он, автор признанных во всём мире произведений, не сумел бы, оставаясь самим собой, Гарсиа Маркесом, создать мыльную оперу, сюжет которой разворачивается в конце XX века, и при этом остаться серьёзным, не скатиться к фарсу и комедии. А роман «Любовь во время холеры» (или «чумы» в некоторых переводах на русский и другие языки), посвящённый «конечно же Мерседес» и с эпиграфом из валленато великого слепого тровадора Леандро Диаса — «Эти селенья уже обрели свою коронованную богиню», — очень серьёзен. Пожалуй, из наиболее серьёзных вещей Маркеса и, как водится, непохожих на прежние произведения — с новым языком, структурой, ритмом, конструкцией, тонами, запахами… Одно оставалось неизменным, всё поверяющее собой, — смерть, точнее, «память смертная», которая и в этом произведении играет главную, наряду с любовью, роль.

«Так было всегда: запах горького миндаля наводил на мысль о несчастной любви. Доктор Урбино почувствовал его сразу, едва вошёл в дом…» Позже в статье «Ностальгия по горькому миндалю» Маркес даст важные пояснения к роману, проливающие дополнительный свет и на весь его творческий метод: «Херемия де Сент-Амур, казалось бы, является „лишним“ героем романа „Любовь во время холеры“. Однако он настолько хорошо выполнил порученное ему задание, что сейчас было бы нелегко воспринимать книгу без его участия. Посмотрим: главная задача романа — чтобы первая же его строка захватила читателя. На мой взгляд, есть два великих „начала“ у Кафки. Первое: „Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое“. И другое: „Это был гриф, который клевал мои ноги“. Есть ещё третье (автора я не помню): „Лицом он был похож на Роберто, но

звали его Хосе“. Первая строка романа „Любовь во время холеры“ стоила мне пота и слёз, но однажды в одном из произведений Агаты Кристи мне встретилась фраза: „Так было всегда: запах горького миндаля наводил на мысль о несчастной любви“. Следующая трудность была в том, чтобы первая фраза удерживала читателя в напряжении и заразила его страстью…»

Как всегда, особое внимание Маркес уделил героине — Фермине, любовно вырисовывая её образ, как бы составляя мозаику из обликов и черт характера трёх известных нам женщин: Мерседес, Тачии, какой она была в Париже 1950-х, и своей матушки Луисы Сантьяги в молодости. Замечательно изображённых женщин у Маркеса множество. Но Фермина Даса выделяется и в его богатейшем, роскошнейшем «цветнике».

И пример Фермины в очередной раз объясняет нам нерасположенность Маркеса к экранизации своих произведений. (Хотя двадцать два года спустя, к восьмидесятилетию автора, по роману всё-таки будет снят фильм, сценарий напишет сам Маркес, «для поправки семейного бюджета», как объяснит, будто оправдываясь, что поступился принципами.) Мало кто даже из талантливейших актрис мирового кинематографа способен прожить на экране полвека и более, а изображение героини двумя-тремя артистками разного возраста почти не бывает удачным.

В конце лета, когда книга была наполовину готова, Маркес отправил рукопись в Мехико с инструкцией «хранить в неприкосновенности, пока сам не прибуду и не перечеркаю её всю». Осенью он совершил продолжительный бизнес-тур по Европе: выступления, пресс-конференции, заключение новых контрактов… 13 декабря 1984 года пришло известие, что в клинической больнице «Бокагранде» города Картахена после десятидневной болезни накануне своего восьмидесятитрёхлетия скоропостижно скончался его отец Габриель Элихио Гарсиа.

«С отцом у меня были сложные отношения, — признавался Маркес в интервью журналисту Мигелю Паласио. — Только когда мне перевалило за тридцать, мы наконец начали понимать друг друга и с течением времени всё больше сближались. Несмотря ни на что, я многим обязан отцу: пропагандировавшийся им „культ чтения“ в значительной мере повлиял на моё решение стать писателем».

Своим многочисленным сыновьям и дочерям отец не оставил наследства. Долго не могли договориться о том, где и как хоронить.

«Противоречивая натура отца, — вспоминал младший брат писателя, Элихио Габриель, — проявилась и в его похоронах.

Долго вся наша большая семья была будто парализована, а потом, когда все встретились, чтобы обсудить детали похорон, разгорелся жаркий спор и все были не согласны друг с другом…»

По словам брата Хайме, «все мужчины семьи были абсолютно раздавлены, превратились в кучку плачущих детей, совершенно не способных решать практические вопросы. Слава богу, женщины всё сами организовали». (Однако «раздавленность» не помешала братьям «нанести традиционный визит в бордель — в память о былых временах», а может быть, и об отце, жизнь которого была немыслима без борделей.)

«Через несколько дней после похорон, — вспоминал Элихио Габриель, — наша мать как истинная гуахирьянка собрала нас всех и сказала, обращаясь к Габито: „Ну вот. Теперь ты у нас глава семьи“. Он чуть не взвыл: „Мама, что я тебе плохого сделал?“».

Он с юности помогал братьям и сёстрам — устраивал в школы, на работу, на лечение, просто давал деньги… Но теперь мать провозгласила его главой — это ко многому обязывало ответственного Гарсиа Маркеса.

Смерть отца и «провозглашение» наложили отпечаток на роман, «вынудив думать не только о любви и сексе, но и о других вещах, в частности, старости и смерти» (хотя, повторим, о смерти он никогда не забывал). «Смерть отца, — пишет биограф Мартин, — окончательно примирила с ним сына и придала роману „Любовь во время холеры“ более личностные, хотя это всегда имело место у Гарсиа Маркеса, более искренние, пронзительные и глубокие мотивы».

Влиял и компьютер, изменив не только устоявшийся за десятилетия ритм работы, но даже «вмешиваясь» в композицию. Однажды, забыв сохранить текст, Маркес утратил (неожиданно вырубили свет) написанное почти за весь день, больше двух страниц. Он был в ярости, хотел даже поступить с компьютером так, как когда-то в молодости во время волнений в Боготе они с Фиделем поступили с пишущей машинкой: грохнуть об пол. На следующее утро стал пытаться восстановить текст по памяти, но написалась совсем другая сцена, которая оказалась точнее и сильнее…

Ещё в 1982 году Маркес опубликовал статью «Юная старость Луиса Бунюэля», в которой рассуждал не только о философии старости, но и о любви и сексе в пожилом возрасте, — возможны ли новизна и свежесть чувств и чувственности, когда тебе за?.. И теперь, работая над романом «Любовь во время холеры», он вернулся к этим вечным вопросам. Заканчивал роман он уже в Мехико. И всё более заметной делалась перекличка с линией из повести коллеги, нобелевского лауреата Ясунари Кавабаты «Дом

спящих красавиц»: «У стариков есть смерть, у молодых — любовь, и смерть приходит однажды, а любовь много раз…» Эта мысль будет прослеживаться и в последующих произведениях Маркеса.

Серьёзен и символичен роман «Любовь во время холеры». Он весь словно пропитан символами. С большим основанием его можно причислить к жанру романтико-символического, чем магического реализма. И символы, как всегда, высочайшего, библейского уровня.

«Фермина Даса вздрогнула, она узнала этот голос, осенённый благодатью Святого Духа, и поглядела на капитана: он был их судьбой. <…>

Капитан посмотрел на Фермину Дасу и увидел на её ресницах первые просверки зимней изморози. Потом перевёл взгляд на Флорентино Арису, такого непобедимо-твёрдого, такого бесстрашного в любви, и испугался запоздалой догадки, что, должно быть, жизнь ещё больше, чем смерть, не знает границ.

— И как долго, по-вашему, мы будем болтаться по реке туда-сюда? — спросил он.

Этот ответ Флорентино Ариса знал уже пятьдесят три года семь месяцев и одиннадцать дней.

— Всю жизнь, — сказал он».

Hasta siempre… Любимое, кстати, выражение Че Гевары, которое на русский, увы, точно не переведёшь, в ней латиноамериканский менталитет: «До всегда».

Обратим внимание на то, что чем старше становится Маркес, тем более оптимистичные, жизнеутверждающие выходят у него произведения со счастливым финалом (начинал он, как мы помним, с безысходно-юношеского пессимизма).

Весной 1985 года колумбийской журналистке Марии Эльвире Сампер удалось взять у Маркеса интервью для журнала «Ла Семана». (Попасть к нему на интервью становилось всё труднее. Я и сам столкнулся с этим. Попросив от имени газеты «Советская культура» об интервью, услышал от уполномоченного, якобы самим Маркесом, PR-агентства, что придётся раскошелиться: за интервью лауреат Нобелевской премии берёт по 30, а с американцев взял 80 тысяч долларов.) Откровенное, раздумчивое, философское интервью было лишено обычной для Маркеса игры и посвящено старости, любви и смерти. Он сказал, что считает себя сильным, но согласен с Че Геварой в том, что нельзя давить в себе мягкость. Что все мужчины от природы нежные создания, а оберегает и спасает их суровость женщин. Что очень любит женщин, потому что чувствует, что они о нём заботятся, он в безопасности с женщинами. Но недавно осознал, что и с женщинами, и с мужчинами ему всё труднее разговаривать,

разговоры почти со всеми, кроме друзей, утомляют, он с трудом заставляет себя слушать, а чаще просто делает вид, что слушает. «Я самый вспыльчивый из всех, кого знаю. Потому и самый сдержанный». Сказал, что все его фантазии сбылись. Что сам не ощущает себя старым — но замечает признаки старения и объективно оценивает реальность. Сказал, что у него нет корней — он не испытывает привязанности к месту, где бы ни находился, и чувствует себя сиротой.

Кармен Балсельс, прочтя рукопись романа «Любовь во время холеры», проплакала в лондонской гостинице «двое суток кряду». (Плачущие над рукописями литагенты — тоже уникальное, маркесовское явление.)

Маркес придумал самый невероятный «любовный треугольник» из всех известных мировой литературе. Его герои, по определению, никогда не должны были встретиться. Но мир тесен и чудесен… Любовь победила. Овидий эпохи СПИДа, Маркес создал свою «Науку любви», полную веры в человеческое сердце и с надеждой на Божественную благодать. Овидий, печатающий на компьютере… Понимая, что он, скорее всего, первый из крупных писателей написал роман на компьютере, Маркес дико волновался, не исчезнет ли текст с дискет, не повредятся ли они, не отсыреют ли… В аэропорту Нью-Йорка он вышел из самолёта с дискетами, висевшими у него на шее, как бусы у папуаса.

Опубликованный почти через двадцать лет после «Ста лет одиночества» роман «Любовь во время холеры» был почти так же восторженно принят и читателями, и критикой Латинской Америки, США, Испании, Англии, Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Японии, Индии. Эта «чарующая, блистательная и душераздирающая», как писала критика, книга продемонстрировала «миру, что талант великого колумбийца не только не угас, не померк, но обрёл чрезвычайную новую силу, глубину и яркость».

Роман имеет несколько ложных завязок, а герой появляется лишь на шестидесятой странице текста, когда читатель вдруг оказывается у гроба персонажа, которого он с полным основанием уже зачислил в штат главных. Впрочем, когда всё встаёт на свои места, оказывается, что персонаж, которого читатель похоронил (в прямом и переносном смысле слова), всё-таки не совсем уж и второстепенный. И так, волнами, от одного героя к другому, течёт река повествования, то поворачивая вспять, ко временам давно ушедшим, то стремительно нагоняя современность, закручивая омуты отдельных часов и дней.

Один из основных литературных мизантропов, беспощадный

критик всего и вся писатель Томас Пинчон (кстати, ярый антикоммунист), разругавший даже «Сто лет…», признал, что «надо иметь невероятное мужество, чтобы писать про любовь в нынешнее время, но Гарсиа Маркес блестяще справился с задачей». И далее: «Боже! — как же здорово он пишет! Со страстной сдержанностью, с маниакальной безмятежностью… А последняя глава — просто чудо! Никогда не читал ничего подобного. Настоящая симфония… восхитительный, душераздирающий роман».

Через много лет Маркес сказал, что, перечитав «Любовь…», удивился, как это у него получилось тогда — хотя думал, что скоро умрёт. И был горд за себя.

Здесь будет логичным нарушить хронологическую последовательность и перенестись вперёд, к экранизации книги.

В августе 2004 года после двадцати лет уговоров Маркес продал права на экранизацию романа «Любовь во время холеры» голливудской кинокомпании «Stone Village Pictures». Съёмки проходили в 2006 году в Картахене-де-Индиас, на Карибском побережье Колумбии. «Ранее, — писали картахенские газеты, — Маркес изредка позволял снимать фильмы по своим книгам латиноамериканским, испанским, итальянским режиссёрам, но никогда — североамериканским. По словам дона Габриеля, на сотрудничество с Голливудом, выгодное в материальном плане, его подвигла неуверенность в будущем благосостоянии его семьи — жены Мерседес и сыновей Родриго и Гонсало».

Снимать фильм Голливуд доверил Майклу Ньюэллу — режиссёру известных фильмов «Четыре свадьбы и одни похороны», «Улыбка Моны Лизы» и одной из серий про Гарри Поттера. Над сценарием вместе с самим Маркесом работал Рональд Харвуд, получивший «Оскара» за историю для ленты Романа Полански «Пианист».

«Переводить язык Маркеса в киноязык мне было очень трудно, — поведал режиссёр Ньюэлл на пресс-конференции. — Маркес рассказывает историю, потом отматывает её назад и рассказывает снова с дополнительными деталями. И история начинает звучать иначе. А потом опять отматывает и опять рассказывает по-другому. Его романы — как слоёное тесто. Снимаешь верхний слой-смысл, а под ним — бесконечное число других тонких смыслов-слоёв…»

В главных ролях — итальянка Джованна Мецоджорно и испанец Хавьер Бардем — звезда фильмов «Призраки Гойи» Милоша Формана и «Старикам здесь не место» братьев Коэнов.

«Конечно, любовь у Маркеса всегда странная, — сказала актриса Джованна Мецоджорно. — Она основана на физиологии,

но при этом слишком сильная и вечная, чтобы быть просто животной страстью. Мы снимали в Колумбии, откуда родом и Маркес, и его история. „Любовь во время холеры“ — это межнациональная и в то же время очень колумбийская история, хотя и звучит в данном случае по-английски. Это история всепобеждающей, торжествующей любви!..»

Тридцативосьмилетний Хавьер Бардем, в середине 2000-х переживавший роман с одной из самых красивых актрис мира Пенелопой Крус, на той же пресс-конференции заявил, что был счастлив сыграть и пережить столь возвышенную любовь.

«— Полагаю, мы все в этом мире верим в романтическую любовь, подобную той, что испытывает мой персонаж, иначе зачем просыпаться по утрам?.. Мне как раз и было четырнадцать, когда я увидел на тумбочке у сестры этот роман. Я тут же схватил книгу, сестра закричала: „Положи на место!“ — но не тут-то было. Девяносто процентов я тогда, конечно, не понял, но меня полностью загипнотизировали описания Колумбии. Кажется, это было моё первое путешествие при помощи книги — меня словно перебросили в другую страну. Я, конечно, следил за сюжетной линией, но в конце концов всё равно увяз в описаниях вкусов и запахов фруктов. Это же Маркес!

— По-вашему, любовь — это болезнь?

— Определённо. Я согласен с Маркесом и уверен, что можно провести параллель между любовью и холерой — и то и другое сопряжено с чувством умирания. Умирания от заразы и умирания от страданий неразделённого чувства. Ну да, любви всегда сопутствует боль.

— В книге ясно дано понять, что при всех своих многочисленных увлечениях герой сохраняет верность одной женщине. Как считаете, вам это удалось передать на экране? И поверила ли Пенелопа Крус?

— Не знаю насчёт Пенелопы… Трудность в том, что говорит он одно, а делает совершенно противоположное. В книге он произносит фразу, которая, кажется, в итоге не попала в фильм: „Я могу её обмануть, но изменить ей — никогда“. Каждая любовница приближает героя к предмету его пожизненной страсти… А вообще работать на родине великого Маркеса было прекрасно!

— Вы лично знакомы с ним?

— Мне посчастливилось дважды говорить с ним по телефону. Он дал мне очень ценные советы в смысле трактовки образа. „Мой герой, — сказал писатель, — ни разу в жизни не повысил голоса. Он из тех, кто ни за что не станет привлекать к себе внимание. В нём есть что-то от бездомной собаки — он вызывает

желание о нём позаботиться. Потому что по всему его виду, даже по походке, заметно, как ему не хватает любви“.

— Вам не кажется, что именно это свойство — вызывать желание о нём позаботиться — помогло вашему герою переспать с шестью сотнями женщин?

— По-моему, женщины — они все чокнутые. В том смысле, что они могут разглядеть в мужчине нечто совсем уж непонятное! Я даже сказал режиссёру: жаль, что в фильме нет шестисот двадцати двух дам, которые на самом деле, по книге, побывали в постели моего героя, — ведь как можно было всё это показать!.. А если серьёзно, то благодаря Маркесу я понял, что такое любовь».

В середине 1980-х, во времена «перестройки и гласности», Маркес зачастил в СССР, чувствуя, что именно на этой одной шестой части земли решаются судьбы человечества.

— Перестройка только начиналась, — вспоминает Людмила Синянская. — Ещё были нерушимы дружба и Союз Советских Социалистических Республик, включая и прибалтийские, ещё высилась незыблемым утёсом Берлинская стена, и самая правдивая на свете газета «Правда» оповещала обо всём многообразии мировых событий в свете решений последнего съезда партии (именно в этой газете на следующий день будет напечатана беседа Горбачёва и Гарсиа Маркеса, состоявшаяся в то утро). И даже самые смелые умы ещё не могли предположить, каким образом, а главное — с какой головокружительной скоростью будут разворачиваться события в стране. Но основное было ясно — есть стремление изменить то, что дальше не могло длиться, хотелось сделать что-нибудь… Очертания грядущих изменений чётко не представлялись никому, уж мне-то во всяком случае, но верилось, что и на своём месте можно сделать что-то полезное. Гарсиа Маркес был не просто очень известным писателем, взлетевшим на гребне «бума» латиноамериканской литературы, но и заметной политической фигурой, к нему не только прислушивались в его родной Латинской Америке, но и в Европе его имя звучало среди первых.

В Москве прошёл международный форум деятелей культуры, который был задуман в поддержку Горбачёва, испытывавшего жёсткое противодействие мощных сил внутри страны. Форум организовывали энергичные молодые деятели, желавшие избежать рутинных контактов и бюрократических привычностей и пригласить в Москву интеллектуальную элиту мира — писателей, художников, композиторов, архитекторов, учёных… Меня попросили связаться с Гарсиа Маркесом и пригласить его на этот форум. Маркес сам отказом не ответил, но через своего литературного агента Кармен Балсельс дал понять, что вот так, «в

куче», — нет, а вот если пригласят одного, да на самом высоком официальном уровне и к тому же если ему обещают встречу с Горбачёвым, то — да. Организовать встречу Горбачёва с Гарсиа Маркесом было заманчиво, тем более что это была бы первая встреча один на один инициатора перестройки со всемирно известным интеллектуалом.

После долгих переговоров, не напрямую, через литературного агента, Гарсиа Маркес дал согласие, и вот под вспышки блицев, стрекотание кинокамер и восторженные восклицания друзей он вошёл в спецзал московского аэропорта.

Первый раз я увидела его шесть лет назад. Он был гостем Московского кинофестиваля. Пятидесятилетний крепкий мужчина с живым взглядом. У меня сохранилась любительская фотография: мы стоим у трапа самолёта, он только что сошёл по этому трапу в простой куртке поверх ковбойки и слушает женщину, которая что-то говорит ему; женщина, стоящая спиной к фотографу и разговаривающая с Гарсиа Маркесом, — поэтесса Римма Казакова. И разговаривает она с ним на его родном испанском языке.

Было известно, что он принимает самое непосредственное участие в делах никарагуанских мятежников, и даже ходили слухи, что именно его посредничеством пользуются «наши», оказывая никарагуанцам военную помощь. И потому не возникло особого недоумения, когда выяснилось, что улыбчивая, русая, чубатая голова, то и дело возникавшая во время этого визита рядом с колумбийским писателем, оказывается, принадлежала полковнику госбезопасности Николаю Леонову.

Тот Гарсиа Маркес уже знал силу своего имени, но ещё не успел обронзоветь, в нём ещё чувствовался «нерв», любопытство к тому или тем, кто попадался ему на пути, и он легко согласился встретиться с латиноамериканистами в редакции журнала «Латинская Америка» и несколько часов говорил с ними естественно и интересно и горячо клялся, что «Мастера и Маргариту» Булгакова он прочитал уже после того, как написал «Сто лет одиночества», и то́, что литературоведы в применении к его творчеству окрестили «магическим реализмом», было его собственным детищем. Он даже позволил себе признаться публично (беседа эта была затем опубликована в журнале «Латинская Америка»), что не имеет ничего против «пиратских изданий» его произведений (это его литературные агенты выступают против них, сказал он), потому что и таким путём они доходят до читателя. Он согласился встретиться с латиноамериканистами в приватной обстановке, в доме у Веры Кутейщиковой. На этой встрече лично я потерпела

профессиональное поражение. Мне показалось, что интересно было бы познакомить Гарсиа Маркеса с писателем Владимиром Богомоловым, автором «Ивана», «В августе 44-го». С Владимиром Богомоловым мы были знакомы к тому времени лет двадцать, и я пригласила его на эту «латиноамериканскую» встречу, а точнее — «на Маркеса», и сама села между ними, чтобы помочь их общению, представила их друг другу. Но произошло непредвиденное: оба литературных утёса совершенно отчётливо повернулись друг к другу спинами, и, сколько я ни старалась, мобилизовав весь свой опыт и желание завязать между ними разговор, они так и просидели весь вечер, каменно равнодушные друг к другу, а я — между ними, как в глубоком холодном ущелье…

— Да, но, когда мы встали из-за стола, — дополнил и уточнил Лев Осповат, — я увидел, как Маркес притянул Богомолова к себе и сказал: «Ты мне нравишься. Ты похож на какое-то странное морское животное, которое сидит где-то в глубине. Но ты своего добьёшься».

— …На следующее утро состоялась беседа с Горбачёвым, — продолжила Синянская. — Мне хотелось успеть в гостиницу, пока впечатления у Гарсиа Маркеса были свежими и ещё не оформились в ответы на вопрос, который в то время, думается, мучил не меня одну: что такое Горбачёв? В телевизоре, который показывал Генерального секретаря ЦК КПСС часто и без разбору, он выглядел партийным говоруном среднего ума, заурядным секретарём крайкома, эдаким «говорилычем», который, начиная свою речь, казалось, не знал, чем её закончит. Меня, однако, смущало несовпадение этого образа с тем, каким он мне показался однажды, когда я увидела его вблизи в очень важный для него момент. Дело было на съезде писателей, проходившем в Кремле. В зале сидели писатели, делегаты съезда и гости, в том числе и иностранные с переводчиками (среди которых была и я), а на сцене, в президиуме, — писательские начальники и члены Секретариата ЦК КПСС. Среди них был Горбачёв. Все знали, что дни, а быть может, и часы умиравшего Андропова, совсем недавно сменившего на высшем посту Брежнева, сочтены, и наверняка не я одна, глядя из зала на президиум, гадала, кто же следующим взойдёт на этот Олимп, издали уже начинавший выглядеть катафалком. Впрочем, похоже, гадать особенно было нечего, всё вроде бы было уже ясно. В то время как на трибуну один за другим поднимались писатели и произносили речи, заведомо всем хорошо известные, в президиуме шла своя напряжённая жизнь. То и дело из-за кулис появлялись строго одетые люди с папками или просто бумагами в руках и, пройдя позади задних

рядов до середины, спускались вниз по проходу к человеку, сидевшему на крайнем стуле у прохода во втором или третьем ряду президиума, и подавали ему бумаги. Внимание всего президиума было приковано к нему, излучавшему высокое энергетическое поле. Казалось, даже писатели, вещавшие с трибуны, замирали и делали паузу в то мгновение, когда человек, сжимавший в руке перо, прикасался к бумаге и ставил на судьбоносных документах свою подпись. Подписывал документы Михаил Горбачёв. Было ясно: в руках этого человека — огромная власть, её дыхание чувствовал президиум и даже мы, глядевшие на него снизу, из зала.

Было известно, что именно Андропов привёл Горбачёва из провинции в Москву, и вполне логично, что он сделает его своим преемником; в отсутствие Андропова, во время его болезни, именно он, Горбачёв, подписывал документы. В тот день в Кремле тому были десятки свидетелей… Однако всё, что происходило вслед за его приходом к власти, такого не обнаруживало: бесконечное словоговорение, абсурдный призыв «Перестройка и ускорение» и никаких перемен. Кто и что намеревался перестраивать, что и в каком направлении ускорять?..

«У вас ещё не было такого умного, такого масштабного руководителя у власти», — ответил писатель на мой нетерпеливый вопрос. Маркес был погружён в своё и, казалось, всё ещё не выбрался из-под обрушившейся на него харизмы нашего нового вождя.

«А на телевизионном экране он выглядит почти глупым», — усомнилась я.

«Значит, у вас глупое телевидение».

На следующий день в «Правде» была напечатана их беседа: два гиганта, облечённых огромной властью, один — государственной, другой — духовной, рассуждали о судьбах мира.

В том сне, что приснился мне много лет спустя, беседы ещё не было, сон вернул меня в минуты, когда я тёплым летним днём шла от метро к гостинице «Россия»… Я иду по улице, но во сне никак не могу дойти до угла, чтобы, свернув, пройти вверх по Варварке (в ту пору — улице Разина) и повернуть к гостинице «Россия». Странная тяжесть давит к земле, ноги увязают в гладком асфальте, душит тоска. Нет, не потому, что вчерашний Гарсиа Маркес так устало и без интереса смотрел на собравшихся в аэропорту почитателей, и не потому, что некоторая политическая суетливость так не соответствовала его писательскому дару, умевшему передать цвет, вкус и запахи того необычного, загадочного мира. <…>

— В последний раз, — рассказывает Вера Кутейщикова, — я видела Гарсиа Маркеса во время очередного Московского международного кинофестиваля. Только что воцарился Михаил Горбачёв. На пресс-конференции шумели, но я была недалеко и услышала, как он сказал: «Я впервые увидел лидера СССР, который моложе меня». Маркес не очень-то уважает любых президентов, но было видно: он Горбачёва принял.

И принял всерьёз — судя по его интервью и пресс-конференциям, на одной из которых довелось присутствовать и автору этих строк.

Официальные международные коммюнике сообщали, что 11 июля 1987 года в Кремле состоялась встреча М. С. Горбачёва, «самого известного в мире политика», и Г. Гарсиа Маркеса, «самого известного в мире писателя», лауреата Нобелевской премии. Они обсудили изменения, происходящие в СССР, роль интеллигенции в процессе демократизации общества. Горбачёв отметил, что книги Гарсиа Маркеса, которые он прочёл, «наполнены гуманизмом, идеями добра и человеколюбия». Гарсиа Маркес сказал, что сделавшиеся знаменитыми на весь мир великие слова «гласность» и «перестройка» — не просто слова, а уникальный исторический шанс, который ни в коем случае нельзя упустить. Писатель сказал, что не все, конечно, настроены оптимистично, например, как он может предположить, скептичен в этом вопросе Фидель Кастро, и всё-таки история не простит, если Советский Союз упустит шанс…

Сейчас тот уже давний разговор в Кремле «двух гигантов» представляется едва ли не анахронизмом с лёгким налётом, дымкой, сфуматто абсурда — если учитывать тот факт, что распад СССР и всё, что за этим последовало, сам Гарсиа Маркес, по его признанию, воспринял «как личную трагедию».

В июле 1987 года Маркеса ждали и в редакции журнала «Огонёк», где я тогда работал. Но ждали уже, конечно, не с таким фанатизмом, как если бы он заехал несколько лет назад, когда его уговаривали. Накануне в Париже на встрече с журналистами (не мог он полететь в СССР, не устроив превентивной массовой пресс-конференции) Гарсиа Маркес заявил, что не намерен встречаться в СССР ни с какими журналистами, но хотел бы встретиться с «Огоньком», о котором много слышал. (Однако он дал тогда в Москве целых семьдесят пять интервью, в том числе журналам весьма специфическим, их названия, что ли, его завораживали — например, «Химия и жизнь» и чуть ли не «Советское свиноводство».)

И вот — прибыла знаменитость. Быть может, на этот раз и сам Маркес, и его команда что-то недоучли, просчитались.

Советский Союз был в буквальном смысле слова притчей во языцех, на него, перестраивающийся и ускоряющийся, обращено было внимание мира.

Мне, всё ещё не утратившему пиетет к латиноамериканским писателям и в особенности Маркесу, с вящим огорчением пришлось констатировать, что на этот раз в Москву на кинофестиваль прибыл не тот Габриель Гарсиа Маркес, Габо, которого дедушка когда-то брал с собой посмотреть на лёд; не тот, который голодал в Париже, которого забирали в полицейский участок вместе с клошарами и который писал «Полковника» о достоинстве человека; не тот, у которого не было даже денег, чтобы отправить рукопись «Ста лет одиночества» в издательство (впрочем, было бы странно, если бы тот же)… Апофеоз гордыни, привередливости и ещё многого, чем предательски награждают человека «медные трубы». В Москве, варившейся в крутом бульоне перестройки, «медными трубами» Маркеса не встретили, потому что встречали гостей кинофестиваля — Федерико Феллини, Джульетту Мазину, Марчелло Мастроянни, Тонино Гуэрру, Настасью Кински, Жерара Депардье, Стэнли Крамера, Роберта Де Ниро, Эмира Кустурицу, Ванессу Редгрейв и многих других.

Никто не знал, чего ждать от этого — нового — Маркеса. Он согласился встретиться с редакцией и авторами журнала «Новый мир», но категорически запретил снимать эту встречу для телевидения: съёмочная группа так и прождала в предбаннике у дверей. Он дал интервью газете «Московский автозаводец», но отказал «Правде» и «Литературной России». Я был свидетелем того, как сопровождающие лица привезли его в кинотеатр «Октябрь» на премьеру картины Андрея Тарковского «Ностальгия», он вошёл в зал, сел, но едва картина началась, поднялся и демонстративно вышел, сочтя, видимо, что встретила его публика недостаточно учтиво, зрители не встали, не раздались аплодисменты.

Тогдашний главный редактор «Огонька», «застрельщик перестройки» Виталий Коротич и корреспондент Феликс Медведев заехали за Маркесом в гостиницу «Россия», в машине перебросились несколькими фразами по-английски, после чего Коротич покинул машину. Гарсиа Маркес поднялся на пятый этаж журнального корпуса «Правды», где располагалась редакция «Огонька». Представлялось, что небольшой «огоньковский» зал не сможет вместить желающих увидеть «живого» Маркеса, чему, безусловно, будут способствовать и феноменальная популярность магического реалиста, и вся обстановка в СССР, в которой вознеслись и Джуна, и Кашпировский, и Чумак и где вся страна

взывала: «Чуда! Чуда!..» Ещё недавно я был уверен, что тем из наших представительниц прекрасного пола, коим достанутся пронизывающе-обволакивающие взгляды чёрных глаз классика, будет впору вспорхнуть вслед за Ремедиос Прекрасной на простынях…

Ан нет. В то время, когда за Маркесом поехали, я чувствовал вызывавшую сердцебиение неловкость: судя по летней, кинофестивальной (кинофестиваль был ещё культовым событием) атмосфере, царившей в редакции, становилось очевидным, что близится если не катастрофа, то уж конфуз. Я заметался по этажам журнального корпуса, пытаясь хоть кого-нибудь — из «Смены», «Журналиста», «Крокодила», «Крестьянки» — затянуть на встречу, но знакомые отмахивались: «Старик, не до Маркеса, все в отпусках, в Пицунде или на кинофестивале, а надо номер к печати подписывать!..» И вдруг на выходе из столовой на третьем этаже я встретил ретушёршу Галину. «Ты-то мне и нужна!» — воскликнул я, прокрутив в голове спасительную, как показалось, комбинацию. Галина была похожа на Пилар Тернеру из «Ста лет одиночества» — яркая брюнетка с роскошными статями, пятикратно или даже семикратно разведённая. Я вкратце объяснил, в чём дело, она, «с присущим ей горьким ароматом дыма — запахом несбывшихся надежд», любившая Маркеса и «всё такое», рассмеялась «звонким смехом, похожим на звон хрустального колокольчика», и согласилась прийти. Так же я привлёк ещё нескольких дам наиболее смелых форм, попросив их сделать форсированный *make up* (боевую раскраску): игривую завотделом писем Виту Морозову, мечтательную литсотрудницу Лику, бой-бабу завмашбюро Ирину, томную библиотекаршу Зою… Мало того, когда я увидел, что в зале собралось всё-таки не более двенадцати человек, и памятуя о том, что случилось давеча на «Ностальгии» в кинотеатре «Октябрь», я пошёл на отчаянный шаг: уговорил азартную, склонную к озорству Галину удалиться и «войти в историю» с распущенными волосами, в гипюровой полупрозрачной кофточке и занять позицию перед великим писателем. Как ни странно, это сгладило ситуацию. Во всяком случае, Маркес не ушёл, возмущённый неучтивым приёмом. Он делился впечатлениями от Москвы, вспоминал приезд на фестиваль в 1957 году, отвечал на вопросы, подписывал книжки, делал женщинам комплименты. Жгучую ретушёршу он попросил «по блату» закрасить ему на фотографии в журнале седину. На вопрос фотокорреспондента Саши Награльяна, не армянин ли Маркес, он пожал плечами и, подмигнув, ответил, что в Латинской Америке всё возможно и никто не знает, с кем, кому, чья бабушка изменила. Но больше всего, кажется, ему пришёлся

по душе неожиданный вопрос доброго, улыбающегося миру редакционного курьера дауна Володи: «А вы о чём пишете?» Гость переспросил переводчика, решив, что неверно понял, — но вопрос был поставлен именно так. Бескомпромиссно. С мягкой понимающей улыбкой Маркес объяснил пучеглазому, со знанием высшей мудрости во взгляде Вове, что ответить непросто, понадобилось бы пересказать свои книги, а у него, к сожалению, нет сейчас времени, опаздывает на фильмы друзей, «Ночь карандашей» аргентинского режиссёра Эктора Оливера и «Самое важное — это жить» мексиканца Луиса Алькориса…

Я пошёл проводить Маркеса, чтобы смикшировать случившееся. Но он вдруг рассмеялся:

— У меня, пожалуй, в жизни не было столь прелестно-абсурдной встречи в редакции — румын Ионеско, ирландец Беккет, швейцарец Дюрренматт отдыхают по сравнению с вами, русскими! У вас что, все такие?

— Все! — заверил я.

— Кто-то из ваших прекрасных дам сунул номер телефона, — сказал Маркес, извлекая мятую бумажку из кармана клетчатого пиджака, с интересом её разглядывая и вдыхая аромат «Шанель № 5». — Я опоздал в «Россию» на «Ночь карандашей», Эктор на меня обиделся. Расскажу ему хоть о нашей фантасмагорической пресс-конференции…

Но суть того эпизода с «Огоньком» вот в чём. Ретушёрша Галина попросила меня перевести надпись на книжке, сделанную Маркесом. Ровным, тщательным почерком (факт: большие писатели старательно надписывают книги) он написал, что всё у неё будет хорошо, но пока она просто не встретила достойного её мужчину. Над нашей перезревающей красавицей подтрунивали в редакции. А она поверила. И ждала. Перечитывая Маркеса. Надеюсь, дождалась.

В воспоминаниях журналиста Владимира Весенского о том приезде Маркеса в Москву и других встречах наш герой открывается с новой стороны, предстаёт едва ли не ведьмаком:

«Мы с Геннадием Бочаровым, для друзей просто Гек, обедали в ресторане высотной гостиницы „Гавана Либре“ на самом последнем, 25-м, этаже. За соседним столиком, лицом ко мне, сидел мой давний приятель из Колумбии, известный в Латинской Америке бард и поэт. Он оживлённо обсуждал что-то с сидящим ко мне спиной человеком. Поймав мой взгляд, колумбиец поднялся и подошёл к нашему столику: „Я сижу с Маркесом, хочешь познакомлю?“ — спросил он… Маркес ждал, когда с ним сможет встретиться Фидель Кастро. Нам везло. Фидель был занят, и встреча откладывалась со дня на день. Когда мы прощались с

Маркесом в третий раз, он строго спросил: не собираетесь ли вы, ребята, что-то написать об этих разговорах? У меня ёкнуло сердце. Вдруг он скажет: ничего не пишите, поговорили, и ладно… Я перевёл вопрос Маркеса Геку, и тот, как мне показалось, нахально ответил: не считаете же вы, маэстро, нас такими наивными… Маркес засмеялся, он вообще быстро переходит от полной серьёзности к веселью и смеху, и сказал: я запрещаю вам писать только то, о чём мы не говорили. А говорили мы о многом… Бочаров, влюблённый в Хемингуэя, пытался выяснить, что Маркес думает о его жёсткой, скупой и выразительной фразе, о Хеме как о романисте, о его отношении к любви. Мы сказали: Хемингуэй говорил, что если ты пишешь роман и одновременно влюблён в женщину, то лучшее ты отдашь ей. А что вы думаете по этому поводу? Маркес задумался на мгновение. „Сначала нужно решить проблему любви, а потом писать“, — сказал он».

Потом Весенский многажды встречался с Маркесом:

«Габриель и Мерседес устали в Москве от протокола официальных приёмов и попросили меня устроить неформальную встречу с друзьями. „И чтобы была гитара“, — сказал Маркес. Решили устроить ужин у Бочаровых. На ужин, оставив сыновей в Большом театре, Габриель и Мерседес, это его слово, „удрали“ со спектакля. Я их забрал от гостиницы „Россия“, и мы поехали на Алтуфьевское шоссе. На ужин собралось, наверное, человек восемь друзей дома. Ужин был отменный. Потом начались весёлые разговоры, анекдоты, шутки, расспросы… И вдруг Ярослав Голованов достал из-под стола одну книгу „Сто лет одиночества“ и попросил автограф для его друга, который не мог прийти на встречу. Габриель насторожился, но подписал. Слава достал из-под стола ещё одну книгу. Снова просьба подписать. Потом ещё одну. Маркес был вне себя, но виду не подал. Последней Слава попросил подписать книгу ему и его жене, сидевшей по правую руку от Габриеля. Тот внимательно посмотрел на одного и другого супруга. Раскрыл книгу, прочертил пунктирную линию сверху вниз посреди страницы. Нарисовал внизу ножницы, спросил, как зовут того и другого, и написал: „Разрезать здесь в случае развода“. Надпись он сопроводил историей: „Самый первый экземпляр ‘Ста лет одиночества’ я подарил моим друзьям, в доме которых мы жили, поскольку денег на найм квартиры у нас с Мерседес не было. Вот теперь эти состоятельные люди развелись. И единственным спорным вопросом оказалось владение этим экземпляром книги. До сих пор судятся“, — закончил он. Через некоторое время Ярослав и его жена разошлись. Я часто думаю, вспоминая этот

эпизод: у Маркеса такой острый глаз, что он заметил намечавшийся раздор в семье, или это опять брухерия, ведьмацкая сила гремучей смеси латиноамериканских кровей?..»

В те же дни в Москве Маркес выступил в необычной для себя роли театрального режиссёра и даже гримирующегося лицедея.

Маркес и театр. Почти все большие писатели-романисты рано или поздно обращаются к театру. Но мало кому удаётся покорить Мельпомену. Примеров множество, от Золя и Бальзака до Толстого, Достоевского, Тургенева, Хемингуэя… И «Живой труп», и «Пятая колонна» — прежде всего материал для чтения. Чехов (которому Лев Николаевич Толстой настоятельно рекомендовал «пьес не писать») — одно из исключений, которое, как известно, подтверждает правило, и он всё-таки не романист. Конечно, и Маркеса Мельпомена влекла, его произведения ставили — и в Мексике, и в Колумбии, и во Франции, и в Испании… Мне доводилось видеть спектакли по его вещам в Праге, Гаване, Швеции… Справедливости ради следует отметить, что успехом маркесовского масштаба, то есть в сравнении с его прозой, ни одна театральная постановка по его произведениям пока не увенчалась. Мало того: с театром связан и один из уникальных в жизни нашего героя провалов. После премьеры в Национальном театре имени Сервантеса в Буэнос-Айресе 20 августа 1988 года спектакля по его пьесе «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине» авторитетнейший театральный критик Освальдо Кирога написал в газете «Ла Насьон»: «Трудно узнать автора „Ста лет…“ в этом длинном монологе женщины, уставшей жить без любви… Автор совершенно не владеет драматургическим языком. „Любовная отповедь…“ — поверхностная, скучная, утомительная мелодрама». А сын Гарсиа Маркеса, кинорежиссёр Родриго сказал профессору Мартину, что отец безнадёжен по части диалогов даже в своих романах, не говоря уже о драматургии.

Но задержимся на одной из театральных историй, связанной с Маркесом и произошедшей в эпоху наших перемен. Вот что рассказал мне известный актёр, режиссёр Вячеслав Спесивцев, первым отважившийся поставить Гарсиа Маркеса в стране победившего социализма:

— В конце 1970-х Маркес был у всех на устах. Как ко мне попал роман «Сто лет одиночества», не помню, но помню, как был им потрясён. Он был ещё в каком-то плохом переводе, перепечатанный на машинке, изданный где-то в Молдавии. Я сказал себе: «Вот бы это поставить!» А роман был запрещён. Но я решил, дескать, раз опубликован, значит, поставлю. Я-то не знал, что секретарь ЦК Молдавии получил за это втык, да ещё какой —

будь здоров! У меня был тогда Театр на Красной Пресне, очень популярный, но тем не менее молодёжный, где-то студенческий. Мы ставили Шукшина, Айтматова. Распутина…

То ли потому, что мы были молодёжным театром, то ли по какой-то другой причине, но нам спускалось до поры до времени — даже то, что не позволили бы другим театрам. И я провёл «Сто лет…» как дипломный спектакль ГИТИСа, где у меня был курс, а потом перевёл на основную сцену. Древо рода Буэндиа я прочёл в прямом смысле: было сварено из металла огромное, семиметровое дерево с деревянными планками — ветками. На ветках лежали персонажи. Ствол был начало рода — внизу сидели Хосе Аркадио и Урсула, дальше шли Амаранта и все прочие члены семьи, а на противоположном конце сидел полковник Аурелиано Буэндиа. А потом это древо как бы смывалось водой, и ничего не оставалось, как и в романе. Зрители говорили, что это было потрясение. Резонанс был огромный. За билетами стояли ночами. Однажды выхожу ночью из театра — старушка стоит в подъезде у касс. Я спрашиваю: «Что вы тут делаете?» Она: «В очереди стою» — и показывает номер на ладони. Я позвонил администратору и сказал, чтобы эту женщину пропустили на спектакль бесплатно на следующий день… Но на следующий день меня вызвали в ЦК партии и сказали: «Вы этот спектакль играть не будете». По мнению ЦК КПСС, «Сто лет одиночества» был романом развратным, который нашей молодёжи не нужен. Но я был молод и нагл и ответил: «А я буду играть». На что мне сказали: «Тогда вы не будете нигде играть. Вас вообще не будет в Советском Союзе». Разговор был простой и жёсткий, без образов и экивоков. «Вы дворником не устроитесь», — пообещали мне. Так и случилось потом. Спектакль закрыли, меня уволили.

Я никогда не любил коммунистов, хотя по иронии судьбы театр был при комсомоле, ЦК комсомола давал нам деньги. Я был лауреатом премии Ленинского комсомола — но это меня не спасло. Уволили меня за аморалку. За любовь к женщинам, за пьянство. И более того, за непрофессионализм. Мне сказали, что я не имею права руководить театром, потому что у меня нет режиссёрского образования. Только я пикнул, что у большинства главных режиссёров нет режиссёрского образования, у Ефремова, например, у Любимова, — мне ответили, что теперь у нас новое постановление и режиссёрское образование обязательно. Короче говоря, я был свободен. И никуда, совсем никуда я не мог устроиться. Вышла статья в «Литературной газете», написала её Нелли Логинова, она была заведующей отделом коммунистического воспитания или что-то в этом роде. Она

написала, что Спесивцеву мешают. После этого они меня просто сожрали — какая-то «Литературка» ради какого-то Спесивцева будет ещё на ЦК партии наезжать!.. Письма писали в мою поддержку. Сам Михаил Ульянов, народный, Герой Социалистического Труда, член ЦК, пошёл со мной к первому секретарю горкома партии. Я его спросил в приёмной: «Что мы там будем делать, Михаил Александрович?» А он был настроен очень решительно: «Пока не победим, я оттуда не выйду». Но даже Ульянов не смог ничего добиться. Сергей Михалков мне так сказал: «Что вы хотите — они там на нас смотрят, как на клоунов». И это автор гимна! Если даже у таких людей не было никакого влияния на власть, о чём было говорить, какой уж там Маркес! Поэтому и держала власть всех в кулаке… Но наступает перестройка, 1986 год, в СССР приезжает Маркес. И меня вдруг вытаскивают с этим спектаклем. Тогда уже Горбачёв был у власти. И ему нужно было как-то выделиться. Все цари, все сильные мира сего любят, когда около них Мольер или Шекспир. Так вот он решил пригласить Маркеса — будто бы тот приехал к Горбачёву. Об этой встрече говорили во всём мире. Но это неправда, потому что Маркесу абсолютно всё равно было, Горбачёв это или Гитлер.

— Не скажите, Вячеслав Семёнович!

— Нет, он никогда бы не поехал к Горбачёву! Но Горбачёв — не идиот, и помощники его не идиоты. Они пригласили Маркеса как гостя Московского кинофестиваля и устроили встречу с Горбачёвым. Пресс-конференция была в гостинице «Россия». Я был туда приглашён — как режиссёр единственного спектакля по произведению Маркеса, поставленного в Советском Союзе. Вёл встречу Ярослав Голованов. И он сказал: «Вот, уважаемый Габриель Гарсиа Маркес, у нас печатают ваши романы, поставлен спектакль». Маркес встал — и как понёс всех! Просто разгром устроил! Он возмущался: «Вы делаете что угодно, а на художника вам насрать! Вы испортили мой роман!» (В журнале «Иностранная литература» вышла «Осень Патриарха», откуда выбросили целые главы.) «Напечатали мои романы — без моего согласия!» (Наша страна не входила тогда в конвенцию, поэтому мы что хотели, то и печатали.) «И ещё что-то там поставили! — чуть ли не кричал. — Да „Сто лет одиночества“ вообще поставить на сцене невозможно! А вы, понимаете ли, поставили — без моего разрешения, без согласования!..»

Я почувствовал, что дело плохо — скандал! — и решил сматывать удочки. Ушёл с этой пресс-конференции, вернулся к себе в театр, мне вернули театр, я закончил к тому времени Высшие режиссёрские курсы. У нас проблемы, говорю актёрам, — ведь мы уже начали тайно репетировать «Осень Патриарха». Через

несколько часов звонит главный редактор журнала «Латинская Америка» Серго Анастасович Микоян, сын того самого Микояна, члена Политбюро, и говорит: «Слушай, Слава, — требует тебя Маркес». А Серго смотрел мой спектакль. И он сказал Маркесу, что спектакль грандиозный. «Лучше, чем ваша книга!» — прямо так ему сказал. И Маркесу конечно же стало интересно. Я приехал на приём в редакцию журнала «Латинская Америка». Там было полно людей. Вы даже не представляете, что такое был приезд Маркеса в то время! Это как похороны Ленина — все участвовали. Кого там только не было: и Евтушенко, и Вознесенский, и… вся Москва, короче! И каждый норовил с ним перекинуться парой слов, пожать руку. Микоян подвёл меня к нему.

— И каково впечатление?

— Гений. Парадоксален и прост. Иногда кажется, что гении какие-то не такие, не простые, заносчивые. Но это не так. Гений — это очень простой человек. Там нет барьеров. Но если ты ему не интересен, он тут же перестаёт с тобой разговаривать. Он не продолжает общения из-за того, что надо продолжать, чтобы соблюсти нормы. Ему, как всякому гению, очень время важно. Очень жалко времени. А я был всё-таки обижен. «Знаете, — говорю ему, — я работал с неплохими авторами — Шукшиным, Айтматовым, Васильевым… И мы с ними всегда договаривались, что я не буду им показывать инсценировку, сценарий. (Ведь показывать сценарий автору романа — это самоубийство.) И я хотел также с вами поступить — показать вам спектакль, когда вы приедете. Понравится — буду играть, не понравится — нет». Он всё никак не мог успокоиться, не верил, что его поставить можно. Спросил: «А вы можете мне всё показать?» Я предупредил, что спектакль не сделан, что он в стадии репетиции. И предложил приехать на репетицию. Он мне говорит: «У меня завтра личная встреча с Горбачёвым, я могу заехать перед ней к вам в театр — пятнадцать минут я вам даю». Он приехал на следующий день на репетицию, как и обещал. Смотрел, смотрел… А я всё время вынужден был вмешиваться, подсказывать, потому что шёл репетиционный процесс. И вот я объясняю артистам, что Патриарх такой-то и такой-то. Вдруг раздаётся громкий возглас Маркеса: «Нет, это не так!» Он вылетает на сцену и говорит: «Намажьте меня!» Дело в том, что старение персонажа происходило прямо на глазах у зрителя. Сначала герой молод, потом ему дорисовывают две морщинки, потом ещё и ещё. Прямо на сцене. И в итоге получалась латиноамериканская туземная маска. И Маркес начал репетировать! Вместе с нами, ломая все каноны. Когда кто-то из персонажей умирал — подносили воду, и тот смывал грим и становился снова таким, каким рождался. И

Маркес, когда смыл этот грим, когда побывал в этом действе, — был сам потрясён. Конечно, он пробыл не пятнадцать минут, как обещал, а все три часа. Ему то и дело напоминали, что его Горбачёв ждёт, но он только отмахивался — я занят, мол, и всё тут!

— Серьёзно? Как-то на него не очень похоже… — усомнился я.

— Честное слово! И он потрясающе репетировал! Актёр он грандиозный. Наверное, все поэты и писатели пусть немножко, но артисты. Вспомнить только, как Толстой радовался, когда придумал Анну Каренину задавить поездом! Радовался, что нашёл выход! Придумщики — они сродни лицедеям.

— Перевод не мешал?

— Я его понимал абсолютно, потому что у него была шикарная русская то ли любовница, то ли помощница, с которой он здесь везде болтался, — Галя, кажется. Она так хорошо переводила, что было впечатление, как будто её и не было.

— Кто писал инсценировку по роману? — спросил я. — Это ведь сама по себе колоссальная работа — попробуй драматургически сведи концы с концами!

— Обычно я читал роман с артистами — так, я думаю, поступал и Шекспир, именно так он писал пьесы, вместе с артистами, — и мы ставили этот роман и записывали сценарий уже после премьеры. Потому что неизвестно было, что войдёт в спектакль.

— Оригинально!

— Одно дело роман, другое — сценарий, пьеса. Второстепенные вещи в романе могут стать главными на сцене.

— И что же Маркес? Виделись после той репетиции?

— Он в Москве ещё пробыл несколько дней, был прощальный приём в «Латинской Америке». Он подписал мне книгу. Причём подписал своим, гениальным образом — либо всё, либо ничего: «Разрешаю Вячеславу Спесивцеву делать с моими произведениями всё, что угодно, но только ему в его театре». После его визита по мановению волшебной палочки восстановили «Сто лет одиночества». Да и «Осени Патриарха» особенно не препятствовали. И хотя там аллюзии прямые, но наш Леонид Ильич Брежнев уже скончался, а Горбачёв был молод и никоим образом с Патриархом не ассоциировался.

— Больше Маркеса не ставили?

— Нет. Не так просто поставить Маркеса. Его надо увидеть. Вот это древо я увидел сразу — и мне это дало понимание, как играть спектакль, как существовать на сцене.

— И время менялось, конечно. У нас в Театре МГУ примерно

та же была история. Вот в чём главная трагедия — если бы тогда, когда старушка ночью за билетом стояла…

— Если бы…

— Потом не доводилось с Маркесом встречаться?

— В 1995 году мы поехали на гастроли в Латинскую Америку. По приглашению Маркеса, министра культуры Мексики и бывшего Чрезвычайного и Полномочного посла Мексики в СССР Абелардо, большого поклонника Маркеса. Он видел спектакль в Москве и сказал: «Это обязательно нужно везти!» У него был приятель министр культуры. Если там что-то делают — то делают по большому счёту. Мы объездили огромное количество городов Мексики. На Кубу заехали — были участниками молодёжного фестиваля. Когда мы только прилетели в Мексику, везде висели огромные плакаты, на которых было написано: «Молодёжный театр под руководством Вячеслава Семёновича». И всё. У них же нет отчеств, и они решили, что Семёнович — это фамилия. Успех был настолько ошеломительный, что в Гвадалахаре, где мы давали заключительный спектакль, мексиканцы после окончания ворвались на сцену и разломали всё дерево на палочки и забрали на сувениры. Всё это огромное дерево, которое собиралось очень долго, целый день на это уходил. У нас, кстати, были потом неприятности с таможней, мы же ввезли в страну что-то — а куда девали? Значит, продали — а где деньги?! Это особенность латиноамериканцев. Они никогда просто не сидят и не разговаривают, как мы. Они бегают, орут, жестикулируют, а то и открывают пальбу в воздух. Я, когда побывал там, пересмотрел игру своих артистов. Она стала более импульсивной, более эффектной. Потому что наша же школа актёрская — переживания, а у них представления в чистом виде. У меня вообще поменялся взгляд на жизнь. Пока я не попал туда, я думал, что они просто другие. Но они перпендикулярные! Они смотрят на мир по-другому. Хотя бы то, что они не плачут, когда умирает человек. Они говорят: «Тот уже устроился, ему там хорошо, он сожалеет о нас». Они радуются жизни. Они в восторге от того, что живут. Нет плохо живущих, там есть бомжи, но даже последняя бомжиха ощущает себя королевой. Мы, русские, по природе своей рабы. Мы всегда жили в обществе, где начальник, боялись начальства. Страх — это основное в России, наш главный недостаток. Самое ужасное — это человек в футляре. Российские пужалки — самые страшные. Самые страшные сказки — это наши сказки. Если начать в них вдумываться — не приведи Господь! В Библии сказано, что начальство надо любить. Я думал всегда: за что его любить?! И всё же нашёл ответ. За то, что они самые несчастные, на них ответственность. Вот так надо жить. Вот такой

есть и сам Маркес. Вот он мне навеял, что так надо жить.

— Во время тех гастролей не виделись с ним?

— Маркес — летучий голландец. Его застать невозможно. Вы думаете, что он в Колумбии, а он в Париже в это время или в Китае. Но в последнее время он всё-таки тяготеет к своей деревне. Мы с ним встретились на Кубе. В тот момент он уже немного отошёл от Кубы и социалистических идей. Он мог появиться и тут же исчезнуть, он был в этом летоисчислении — и не в этом. Парадокс гения. Как-то заговорили с ним о русской литературе. Он восхищался: «У вас такая литература сказочная! Всё сплошь сказки, всё фантазии». Я говорю: «Какие сказки? Какие фантазии? Вот „Сто лет одиночества“ — это фантазия». Он: «Да нет же, это моя деревня Макондо, я там жил, это реальность. А вот у вас фантастика. Астафьев, к примеру». Я изумился: «Астафьев — фантастика? Что ж там фантастического?» Он: «Ну, вот в „Царь-рыбе“ мужик с утра до вечера пьёт — это же невозможно. Это же помереть можно! А он не умирает»… Конечно, «Сто лет одиночества» — произведение фантастическое. Там непонятно, где придумка, а где — правда. Маркес открыл новые пути в литературе. Обратите внимание, что «Сто лет одиночества» можно взять и начать читать с любого места. Дочитать до конца и начать сначала. И ты придёшь в ту же точку. Он не горизонтален, он вертикален. И Маркес предвосхитил развитие литературы и искусства XXI века. Чем отличается XX век от XXI? Почему родители не понимают своих чад? Потому что прошлый век — век анализа, век космоса, век уравнения, то есть век опыта. Сейчас — век клипового сознания. Почему наши дети живут в клипе? Клипы — это много картинок и сюжетов, которые не надо понимать. Как только ты попытаешься понимать клип — тут же сломаешь глаза, ноги и голову. Потому что это — чувственный поток. И наши дети живут в чувственном потоке. Вот что открыл Маркес — чувственный литературный поток. Он его записал, зафиксировал. И дальше все передовые писатели писали и пишут под Маркеса, порой не сознавая и не признаваясь в этом. Вытягивают из него по ниточке. А он — созвездие, бездонный колодец… Связь с ним многие годы мы поддерживали через посла Абелардо. И она прервалась, когда Абелардо умер. Они дружили. Абелардо тоже писал стихи. Однажды он мне позвонил утром, около десяти часов, и сказал, что сейчас приедет. Приехал с чемоданчиком, а в нём — текила, коньяк, ром, водка. А тогда с напитками очень сложно было. И мы сидим, выпиваем — час, два. Утро понедельника. Я не удержался и спросил о поводе его приезда. Он сослался на то, что в посольстве санитарный день, всё опрыскивают и работать невозможно, вот он и решил заехать

ко мне в театр. Потом я уже понял, что он приезжал прощаться. Но тогда он ни словом не обмолвился, что у него рак. Выпивали за Россию, которую он любил, за Москву, за здоровье его друга Габо… Маркеса, кстати, я однажды похоронил, в начале 2000-х. Пришла моя директриса и сказала, что Маркес скончался. Ему действительно делали тяжелейшую операцию, отказывало сердце. Я послал телеграмму-соболезнование. Мне позвонили из посольства, сказали, что это мы Гарсиа Маркеса похоронили, а у них всё слава Богу. Я ответил: отлично, значит, по русскому обычаю будет долго жить — так ему и передайте!

Продолжим тему лицедейства. Гениальный кинорежиссёр Бунюэль ещё в 1950-х подметил, что мало кто из прозаиков мыслит так кинематографично, как Маркес. Нашего героя без преувеличения можно назвать одним из созидателей нового латиноамериканского кино (хотя его собственная судьба в кино сложилась нельзя сказать, чтобы ослепительно).

В 1979 году во многом благодаря радению Маркеса и его дружбе с Фиделем был учреждён ежегодный Гаванский международный кинофестиваль, в программу которого включаются также теле- и видеофильмы, в рамках фестиваля действует крупнейший на континенте кинорынок (МЕКЛА).

В январе 1983 года Маркес, впервые после того, как стал нобелевским лауреатом, отдыхая с Фиделем Кастро на курорте Кайо Пьедрас, заговорил о «комплексном решении и развитии кинематографии на Кубе и во всей Латинской Америке». Фидель, как водится, произнёс речь о многочисленных проблемах сельского хозяйства и индустриализации, о том, сколько материальных затрат требуют развитие науки и образования, деятельное участие Острова Свободы в Движении неприсоединения, а тем более выполнение интернационального долга… Но Маркес научился разговаривать с одним из величайших ораторов XX века мягко, как бы между прочим, приводя примеры и Мексики, и Индии, и Аргентины, и Советского Союза, и Соединённых Штатов, но настойчиво продолжая внедрение своих идей… И однажды утром, прочитав в газетах очередные восторженные рецензии, дискуссии, славословия по поводу творчества своего всемирно известного друга — лауреата Нобелевской премии, Фидель сам поделился с Габо своей идеей создания на Кубе латиноамериканской школы кино и телевидения, которая, по мнению Фиделя, должна была стать своеобразным продолжением того агентства «Пренса Латина», у истоков которого некогда стоял Гарсиа Маркес, но на современном этапе, и сыграть важнейшую роль в агитации и пропаганде идей добра, справедливости, гуманизма… Как часто у

них случалось — заспорили. И договорились о том, что Маркес возглавит «всё это направление и будет работать, несмотря на занятость в других сферах, столько, сколько потребуется, по-революционному». Габо дал обещание. И вскоре уже началась работа по созданию Фонда нового латиноамериканского кино в Гаване и структурно входящей в него Международной школы кинематографии и телевидения для студентов из Латинской Америки, Азии, Африки.

1986 год Маркес планировал начать с активной работы над фильмами, но начал с книги о фильме. Его друг, чилийский сценарист и режиссёр Мигель Литтин, один из пяти тысяч чилийцев, которым был запрещён въезд в Чили, тайно побывал на родине в мае — июне 1985 года и сумел отснять сто пятнадцать тысяч футов плёнки о «Чили Пиночета». Десятки часов интервью с чилийцами, взятые на улицах, на стадионах, в барах, в деревнях! После предварительного монтажа осталось восемнадцать часов уникальных свидетельств… Для Маркеса, публично давшего слово (и не единожды) не публиковать своих художественных произведений до тех пор, пока не падёт диктатура Пиночета, это был повод достойно обратиться к чилийской теме. Из шестисот страниц расшифровки записей он сделал сто пятьдесят, которые стали сценарием, дикторским, закадровым текстом и, как это часто бывало у Маркеса, сложились в книгу. «Конечно, я переработал текст, — рассказывал он журналистам, — внёс изменения, сделал сокращения, которые счёл полезными для драматургии. Но основа, подлинник Литтина остались. Я старался сохранить дух, атмосферу, стилистику Чили».

Книга «Приключения Мигеля Литтина» «под редакцией» Маркеса о том, «как снималось кино в Чили», вышла в мае 1986 года тиражом 250 тысяч экземпляров. И Маркес испытал чувство глубокого удовлетворения, как он выразился, узнав о том, что 13 тысяч экземпляров было сожжено сразу после доставки прямо в чилийском порту Вальпараисо.

«Кинематографическая» энергия Маркеса в 1980-х поражает. Но, естественно, все эти фестивали, фонды, рынки, преподавательская работа отвлекали, а может быть, и предумышленно уводили от главного — литературы, к которой становилось всё труднее обращаться. Уж слишком высоко поднята планка, почти нереален стал личный рекорд, если выражаться спортивным языком. Ведь надо было пробовать (а иначе какой смысл?) написать что-то лучше «Полковника», «Ста лет», «Осени», «Истории убийства»…

Свою кинематографическую миссию, особенно в Гаване, Маркес исполнял с удовольствием. Он месяцами жил на Кубе,

работая по многим проектам одновременно, решая массу вопросов, в том числе, конечно, и благодаря дружбе с Фиделем, во всём принимая участие… Кинематограф — это не литература, которая делается в одиночестве. Кинематограф — это то, что всегда любил Маркес: энергия, шум, гам, постоянная круговерть, веселье, амбиции, самые красивые молодые девушки со всей Латинской Америки… Мерседес, конечно, это не очень радовало. И то, что Габо тратит на кинематографическую школу свои деньги. «Когда мы с тобой были молодыми и очень бедными, — отвечал он ей, — мы почти все деньги тратили на кино. Теперь у нас есть деньги. И я просто продолжаю их тратить на кино, ну что в этом такого, Мече?» Говорят, он потратил более пятисот тысяч долларов из своих гонораров на гаванский кинофонд, камеры и всё прочее для студентов… Тогда, в середине 1980-х, Маркес мог себе это позволить: огромными тиражами выходили книги по всему миру, делались радиопостановки, всё дороже оценивались его интервью и фотосессии (с ценами на последние он, точнее Мерседес, сама не любившая фотографироваться и его отговаривавшая — «у тебя под глазами тени», — переборщила; мало его фотографий, как ни странно)…

Да и кино всё-таки составляло немалую долю семейного бюджета Гарсиа Барча. В то время как сам Маркес был увлечён «новой волной» независимого кинематографа Латинской Америки, преподавательской деятельностью, режиссёры были поглощены созданием картин по его романам и оригинальным сценариям. В 1979 году мексиканский кинорежиссёр Хайме Хермосильо снял фильм «Мария моего сердца» по сценарию Маркеса, написанному много лет назад (вдохновила блудница, отроческая его любовь, как сказала мне Мину). В фильме «Вдова Монтьель», снятой в копродукции четырёх стран — Венесуэлы, Кубы, Колумбии, Мексики, — главную роль сыграла дочь Чарли, кинозвезда международного уровня Джеральдина Чаплин, решившая, с подачи нашего героя, помочь беглецу от Пиночета Литтину. В 1980 году «Вдова Монтьель» была награждена премией жюри на Фестивале иберийского и латиноамериканского кино в Биаррице (Франция).

В начале 1980-х бразильский режиссёр Руй Герра снял «предельно натуралистичный, но и поэтичный» фильм «Эрендира» по знаменитой «Невероятной и грустной истории о простодушной Эрендире и её бессердечной бабке», имевший коммерческий успех. В июле 1984 года режиссёром Хорхе Али Трианом была начата работа над ремейком фильма «Время умирать», снятого по сценарию Маркеса мексиканским режиссёром Артуро Рипштейном двадцать лет назад, — на этот

раз возникла идея сделать «Время…» продолжительным сериалом для колумбийского телевидения, что и оправдалось. В 1986 году итальянский режиссёр Франческо Рози снял картину «Хроника объявленной смерти» по сценарию, написанному Маркесом в соавторстве с Тонино Гуэррой. В главных ролях — мегазвёзды: Орнелла Мути, Руперт Эверетт, Джан Мария Волонте, Энтони Делон (начинал сниматься и Ален Делон, но изменились планы). Создавались и другие фильмы по его произведениям — продюсерами-звёздами, режиссёрами-звёздами, операторами-звёздами, с актёрами-звёздами. (Несмотря на всю эту «звёздность», сам Маркес как-то саркастически заметил, что его отношения с кино чем-то напоминают разновидность несчастливого брака: и друг без друга долго не могут, и друг с другом.)

Четвёртого декабря 1986 года, во время Восьмого Гаванского международного кинофестиваля состоялась торжественная инаугурация Фонда Маркеса, как его тут же окрестила пресса (имея в виду, что если бы не энергия Габо и дружба с Фиделем, то никакого фонда бы не было). Прислал приветствие-напутствие Фидель Кастро, произнёс речь президент Фонда Гарсиа Маркес, выступил легендарный голливудский актёр Грегори Пек… Благодаря Маркесу в Гавану стали приезжать, в том числе и для того, чтобы дать мастер-классы, всемирно известные звёзды кинематографа (что ещё недавно казалось фантастикой): Фрэнсис Форд Коппола, Роберт Редфорд и многие другие.

Диссонансом, контрастом с отцовской деятельностью на Кубе — с митингами, демонстрациями, знамёнами, лозунгами, устремлениями — послужил отъезд сына Родриго в Американский институт кинематографии в Лос-Анджелес.

Забегая на четверть века вперёд, в 2010-й, на московскую премьеру фильма «Мать и дитя», снятого сыном Родриго Гарсиа, коснёмся темы отцов и детей. И констатируем, что сын, конечно, пошёл по стопам отца и как бы доосуществляет отцовскую мечту о кино. Хотя и считалось, что выбрал свою дорогу, чему подтверждение некоторые усмотрели в отказе от родовой, ещё от деда-полковника фамилии Маркес. Думается, причина в другом — уж слишком громкая и мощная фамилия, из тени которой вполне можно было бы никогда и не выбраться.

Родриго Гарсиа, не пользуясь авторитетом отца, стал кинооператором, потом голливудским режиссёром, довольно успешным. В его послужном списке — сериалы «Сопрано», «Клиент всегда мёртв», фильмы «9 жизней», «Женские тайны». Его фильмы — в основном о сложной интимной (не только постельной) жизни женщин, которая оказывается полна тайн. Таков и фильм «Мать и дитя», героини которого не знают друг друга, хотя они — мать и дочь.

«Женщины всегда интересовали меня больше мужчин, потому что они куда более сложно устроены, — рассказал на пресс-конференции Родриго Гарсиа (больше похожий на мать, Мерседес). — К тому же для меня сочинять и снимать о женщинах — это экзотика, ведь я же мужчина. Мне интересно влезать в шкуру женщин, я воображаю себе, каково это — быть ею. Хотя мне и мужчины стали сейчас интересны, главным образом пожилые. Они тоже не столь просты… Кто повлиял на моё творчество в большей степени? Нет, не отец. Главным образом предмет моего вдохновения — это классические рассказы, причём не обязательно о женщинах. От Чехова до Джойса и Хемингуэя. В кино сначала интересовали сюрреалисты, потом неореалисты… А что касается отца, то повлияло на меня не столько творчество, сколько сам мир моего отца. Я ведь рос в его доме, полном знаменитых писателей, поэтов, кинорежиссёров… Жаль, конечно, что не обратились к творчеству отца такие гиганты, как Феллини, Куросава… Куросава мечтал снять „Осень Патриарха“, но не сложилось. Впрочем, отец — мой большой поклонник. К моему счастью. „Мать и дитя“ он ещё не смотрел, но сценарий читал и одобрил. Вообще ему все мои фильмы очень нравятся. Он прекрасный преподаватель, его безумно ценят его ученики и ученицы на Кубе, в Колумбии… Даёт ли он мне советы? Даёт, но самого общего свойства. Например, что утверждать на роли

нужно самых лучших актёров…»

…Младший сын нашего героя, Гонсало, всегда был ближе к отцу. В середине 1980-х, вернувшись после учёбы в Мехико, жил с родителями и работал над своим первым собственным проектом по созданию элитного издательского дома под названием «Эквилибрист», который начался с шикарного подарочного издания книги отца «Следы твоей крови на снегу».

Колодец вновь должен был наполниться животворными ключами. Этому — уже привычно — способствовали и кинематограф, и политическая деятельность, и в особенности журналистика. Закончившему в своё время факультеты журналистики МГУ и Гаванского университета, мне представляется, что Маркес (на лекциях, мастер-классах которого доводилось бывать) — великолепный преподаватель, прежде всего учащий думать. Особенно впечатляли (и студенты киношколы подтверждали это) дискуссии. Маркесу нравилось, когда его не просто слушали и скрупулёзно за ним записывали, а сомневались, возражали, спорили. Одновременно и как равный, и с высоты Олимпа Маркес радовался, видя неподдельную ажитацию, когда страсти-мордасти (юные, афроамериканские) рвались наружу. Редких встреч с Маркесом студенты не пропускали.

Девиз созданной им Ибероамериканской школы журналистики: «Мало быть просто лучшим; нужно, чтобы тебя считали лучшим». Маркес не только сам платил или доплачивал наиболее отличившимся, смелым, подающим надежды молодым журналистам, но и, например, «раскрутил» мексиканского «цементного короля» Лоренцо Замбрано де Монтери на ежегодные сто тысяч долларов в качестве премии от созданного Маркесом Фонда ибероамериканской журналистики в Картахене. Убеждённо и настойчиво он проповедовал идею о том, что журналистика по определению должна быть возмутителем спокойствия.

«В мире, где мы живём, — неустанно заявлял Маркес, — не принимать активного участия в политической борьбе — преступление!» Сам он, то бурно и яростно, как с Чили, то исподволь, но всё-таки неуклонно делался настоящим возмутителем спокойствия, набирающим вес политическим борцом. Он охотно откликнулся на предложение выступить 6 августа 1986 года на Второй конференции «Group of Six» («Группы шести» — Аргентина, Греция, Индия, Мексика, Швеция, Танзания), главной политической целью которой являлось предотвращение ядерной войны. Конференция была посвящена

41-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы. Речь Маркеса («Ты превращаешься в Демосфена, старик!» — восхищался Мутис) называлась «Дамоклов катаклизм». Он говорил о важнейших проблемах, стоящих перед человечеством, о настоящем и будущем планеты. Репортёры сошлись во мнении, что «лауреат Нобелевской премии Гарсиа Маркес поднял локальную конференцию на мировой уровень».

Кино, журналистика, преподавательская деятельность, «возмущения спокойствия», поездки, встречи с людьми, как родники, наполняли творческий колодец Гарсиа Маркеса — и к 1988 году он уже довольно ясно различал «даль» своего нового романа — о Боливаре, к которому подступался не одно десятилетие.

Романом «Генерал в своём лабиринте» Маркес совершал, по сути, ещё одно «богоубийство». Ибо Симон Хосе Антонио де ла Сантисима Тринидад Боливар де ла Консепсьон и прочая и прочая для Латинской Америки являлся (и является) богом или почти богом. Лишь в конце 1980-х, то есть двадцать лет спустя, наш герой почувствовал себя вправе, наконец, обратиться к архивам своего друга Мутиса и художественно препарировать канонический образ Боливара. Показать не богом, но человеком.

Эпиграф-посвящение таков: «Альваро Мутису, который подарил мне идею этой книги. „Словно бы злой дух направляет мою жизнь“. (Из письма Боливара Детандеру от 4 августа 1823 года)».

В истории Латинской Америки Боливар сыграл примерно такую же по значимости роль, как Пётр I — в истории России. Известно, что в своё время великий Пушкин едва не надорвался, по императорскому велению работая над историей Петра, — слишком многозначна, непроста личность. Так же неоднозначен Боливар, одни считали его диктатором, убийцей, другие — великим и даже святым. И те и другие были правы.

И тут, в связи с Боливаром, уместно вспомнить историю отношений России и Колумбии (романтических поначалу, стоит заметить — мы, советские студенты-стажёры Гаванского университета, касались этой темы на встрече с Маркесом, она его интересовала).

Первым латиноамериканцем, вступившим на российскую землю, был уроженец Новой Гранады (вице-королевство, куда входили современные Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Панама) Франсиско де Миранда, предтеча Боливара. В борьбе за независимость от Испании де Миранда искал помощи у Екатерины II. Императрица, которой осенью 1786 года заморского

гостя представил один из её фаворитов, Григорий Потемкинский, оказала ему тёплый приём, даже предложила остаться жить в России… По утверждению некоторых историков, имела место и любовная связь между любвеобильной нашей императрицей и пылким латиноамериканцем — Миранда был моложе её на двадцать лет, хорош собой, галантен, отменно танцевал, владел семью иностранными языками, покорял своей игрой на флейте (хотя в принципе мужские достоинства чужеземцев наша великая немка ценила не высоко, предпочитая великороссов). Императрица пожаловала усердному гостю десять тысяч рублей золотом (колоссальные деньги), а её рекомендательные письма открывали ему двери в королевские дворы Европы. Сам Миранда в дневниках признавался, что Екатерина как женщина, несмотря на возраст (ей было под шестьдесят), произвела на него «чрезвычайно сильное впечатление».

Путешествие Миранды в Россию породило легенду о российском происхождении национального флага Великой Колумбии — государства, которое образовалось уже после победы легендарного Симона Боливара. Этот флаг Великой Колумбии, после распада её на несколько государств, стал — с небольшими различиями — национальным флагом вновь образованных стран: Колумбии, Венесуэлы, Панамы и Эквадора. Существуют две версии этой легенды. Согласно одной, Миранда получил в подарок от Екатерины Великой российский трико лор, однако во время плавания под воздействием влаги белая краска пожелтела, так появился жёлтый цвет на национальном флаге, который Миранда поднял на побережье Венесуэлы в 1806 году. По второй версии, более романтической, Франсиско де Миранда запечатлел на национальном флаге своей родины цвет волос, глаз и губ Екатерины — женщины, которая навсегда покорила его сердце и «вселила уверенность в собственных силах». Миранда первым восстал против испанского владычества.

Благородное дело Миранды и его последователя Боливара по освобождению Южной Америки вдохновило декабристов. Многие из них мечтали отправиться за океан и, как говорил Михаил Лунин, «вступить в ряды тамошних молодцов, которые теперь бунтуют». В армии Боливара сражались несколько русских добровольцев, особо отличились Иван Минута, Иван Миллер и Михаил Роль-Скибицкий. Выдающийся русский историк, писатель Николай Полевой в своих эмоциональных письмах клянётся Боливаром, даёт обеты во имя Боливара, радуется, что на Гаити Боливару «хотят посвятить храм и молиться о человеке выше человеческого». Узнав, что кто-то нелестно отозвался о его кумире, он пишет: «На Боливара? Мерзавец! — Я в восторге от

этого Боливара: вот человек!» Для своего журнала «Московский телеграф» Полевой написал немало статей о латиноамериканском Освободителе… Нет, положительно у нас с ними много общего!

Напомним, что Симон Хосе Антонио Боливар освободил от испанского господства Венесуэлу, Новую Гранаду, то есть современные Колумбию и Панаму, провинцию Кито — современный Эквадор… В 1819–1830 годах Боливар — президент Великой Колумбии, созданной на территории этих стран. В 1824 году он освободил Перу и стал во главе образованной на территории Верхнего Перу республики Боливии, названной в его честь. Был провозглашён Освободителем и, по сути, стал всевластным абсолютным диктатором Южной Америки, по крайней мере испаноязычной её части. Но под напором сепаратистских выступлений, возможно, не обладая должной жёсткостью и жестокостью, удержать власть не сумел. Перед смертью Боливар отказался от всех своих земель, сотен домов, несметных драгоценностей и даже от государственной пенсии. Он поселился в маленьком домике на окраине городка Санта-Марта и проводил дни, созерцая заснеженные вершины гор Сьерра-Невада. 17 декабря 1830 года он умер. Имя его увековечено в названиях государства Боливия, провинций, городов, улиц, денежных единиц — боливиано в Боливии, боливар в Венесуэле. Ему установлены тысячи памятников по всей Латинской Америке, посвящены тысячи произведений литературы и изобразительного искусства, о нём сняты и продолжают сниматься фильмы. Сильнейший футбольный клуб Боливии носит название «Боливар». Победами (а выиграл он 472 битвы!), всей легендарной судьбой Боливар обязан был своей преданной спутнице, прекрасной креолке Мануэле Саэнс.

«Словно бы злой дух направляет мою жизнь…» Так размышляет герой континента. Одиночество «Генерала в лабиринте», созданного Маркесом, — более глубокое, трагичное и безысходное, чем одиночество его полковников. И даже Патриарха — персонажа собирательного, трагикомического в своей невероятной оболочке. Боливар у Маркеса — быть может, потому, что материалы к роману в основном собирались системным поэтом-бизнесменом Мутисом, более склонным к документальности, чем к магическому реализму, — получился чуть ли не протокольно-натуральным. И — гораздо более угрюмым, рефлексирующим, сомневающимся и в своём прошлом, и в будущем, и в то же время более никчёмным, чем вылепленные Маркесом прежде сопоставимого масштаба персонажи.

Вода, вода, кругом вода… В 1492-м, то есть в год, когда

Христофор Колумб, продолжив дело, начатое задолго до него, открыл Америку, испанский поэт Хорхе Манрике закончил свой многолетний труд — «Стансы на смерть отца», в которых есть такие строки: «Наши жизни — это реки, / Что в море текут, / И смерть оно…» Без малого пять столетий спустя колумбийский писатель Маркес написал книгу о генерале, который, исполнив свой долг — рыцарский, — поплыл по реке Магдалене к Карибскому морю, доплыл до него и умер. У моря. Как Наполеон, закончивший свои дни в окружении моря в одиночестве и забвении.

Письма, письма… Десять тысяч писем написал Боливар! (Наполеон написал даже больше.) Он писал ежедневно и еженощно, порой забывая, что и кому, сбиваясь, повторяясь, путаясь… И роман «Генерал в своём лабиринте» порой словно воспроизводит строки писем, уцелевших в огне, но лишь частично, обгоревших по краям, кое-где размытых водой, кое-где просто выгоревших на солнце. Лёгкий флёр покрывает повествование. И чуть отстранённая как бы пародийность это впечатление усиливает.

Отношения Боливара с возлюбленной Мануэлой описаны Маркесом, будто пародия на отношения Бонапарта с Жозефиной (кстати, Боливар присутствовал на коронации Наполеона в Париже в декабре 1804 года, что произвело на латиноамериканца потрясающее впечатление): «Она следовала за ним, пока не обнаружила, что в то время, как она не может до него добраться, он утешался со случайными женщинами, каковые встречались ему. Среди них была Мануэлита Мадроньо, метиска восемнадцати лет, — это она озаряла его бессонные ночи. Вернувшись в Кито, Мануэла решила оставить мужа — она называла его пресным англичанином, который любит без наслаждения, говорит без изящества, ходит медленно, здоровается с реверансами, садится и встаёт с осмотрительностью и не смеётся даже собственным шуткам. Но генерал убедил её на полную мощь использовать своё гражданское состояние, и она подчинилась его доводам».

Через месяц после победы при Аякучо (сплошные аналогии — Наполеон родился в Аяччо на Корсике), уже будучи правителем «половины мира», генерал отправился в Верхнее Перу, которое позднее стало республикой Боливией. Он не только уехал без Мануэлы, но перед отъездом поставил перед ней как проблему государственного значения вопрос о разрыве. «Я думаю, ничто не может соединить нас под покровительством невинности и чести, — написал он ей. — В будущем ты останешься одна, но рядом со своим мужем, я же останусь один на целом свете. И только сознание победы над самими собой будет нам

утешением». За три месяца до того он получил от Мануэлы письмо, где она извещала, что вместе с мужем уезжает в Лондон. Новость застала его в постели с Франсиской Субиага де Гамарра, храброй воительницей, супругой маршала, который позднее стал президентом республики. Генерал, прервав любовные ласки посреди ночи, немедленно послал Мануэле ответ, который скорее напоминал военный приказ: «Скажите ему правду и никуда не уезжайте». И подчеркнул собственной рукой последнюю фразу: «Я люблю вас, это несомненно». Она подчинилась, переполненная радостью…

Очевидны проекции, аллюзии, ассонансы с закатом Наполеона. «Однажды ночью, не то во сне, не то наяву, он слышал, как Карреньо говорил в соседней комнате, что для здоровья нации законно даже предательство. Тогда он взял Карреньо за руку, отвёл в патио и переубедил, употребив для этого всё своё знаменитое обаяние, называя его на „ты“, к чему прибегал только в самых крайних случаях (как и Наполеон. — *С. М.)*. Карреньо рассказал ему правду. Конечно, его огорчало, что генерал оставил своё дело и плывёт по течению со всеми и что его не трогает сиротское положение остальных…»

Перекличка протокольно-натуральная, но в то же время и пародийная, чарли-чаплиновская, что всё чаще — особенно почему-то после Нобелевской премии, становится заметно в творчестве Маркеса. У него и в других поздних произведениях больше пародийности, сарказма, чем в прежних. Перекличка с Наполеоном Бонапартом слышна и в биографии Боливара, и в мировоззрении, и в привычках, и в прихотях, и в сексуальной жизни. Намёки, параллели, скрытые цитаты, отсылки… Наполеон лишился девственности с проституткой, которую подобрал, вернее, которая его подобрала и заманила на площади Пале-Рояль в Париже, и юноша точно знал, что делает, — это был «uno experience philosophique» («философский эксперимент»), как он записал в дневнике. Пародируются также отношения Наполеона с Жозефиной, от которой исходил «некий интригующий аромат истомы — типичная креольская черта», как написала в воспоминаниях одна из её подруг. И с Эжени, и с примадонной Ла Скала Ла Грассини, и с Гортензией, и с Марией Антуанеттой Дюшатель, и с Марией Валевской, и с Полин Форе, сопровождавшей мужа в египетской кампании, обладавшей «телосложением розового лепестка, прекрасными зубами и отменной геометрии фигурой» (молоденькая Полин носила мундир, её ножки, обтянутые офицерскими панталонами, Бонапарта «просто сводили с ума»)…

В жизни Боливара, как и в жизни Наполеона, имели место и

связи с блудницами (философские эксперименты), и семейный промискуитет, упоминая который всеобъемлюще и символично выражает Маркес извечную мужскую мечту: «…генерал утешался идиллическим любовным многообразием с пятью неразлучными женщинами, что жили в Гаракоа по принципу матриархата, без которого он и сам не знал бы, какую ему выбрать: бабушку пятидесяти шести лет, дочь тридцати восьми или одну из трёх внучек — каждая в расцвете юности».

С течением времени в Боливаре (как и в Наполеоне) начинают проявляться задатки не только выдающегося военачальника, но и чуть ли не стареющего сексуального маньяка: «В лимском раю он провёл однажды счастливую ночь с девушкой, тело которой было сплошь покрыто нежным пушком, словно кожа бедуина. На рассвете, когда брился, он посмотрел на неё, обнажённую, плывущую по волнам спокойных сновидений, которые снятся удовлетворённой женщине, и не смог воспротивиться искушению навсегда сделать её своей с помощью священного обряда. Он покрыл её с ног до головы мыльной пеной и с любовной нежностью побрил её всю бритвенным лезвием, то правой рукой, то левой, сантиметр за сантиметром, до сросшихся бровей, и она стала дважды обнажённой, сверкая великолепным телом новорождённой…»

Впрочем, если верить легендам, у большинства «Отцов Отечеств» сексуальные пристрастия были своеобразны. Гитлер обожал, когда обнажённые полногрудые блондинки стегали его хлыстом. Великий кормчий Мао Цзэдун, чтобы по примеру древних китайских императоров продлить свою жизнь, любил «выпивать» прекрасных юных девственниц, которых брал с собой в постель по полдюжины. Африканцы Иди Амин и Жан Бокасса лишённых ими невинности девушек с аппетитом съедали…

Работая над образом Боливара (трагическим, шекспировского масштаба, великим и никчёмным, до исступления одиноким), наш герой выполнил, как представляется, обязательства — прежде всего перед самим собой, взявшим дневники у Альваро Мутиса, замышлявшего когда-то эпопею. Маркес написал роман мастерски, используя свой высочайший профессионализм, заготовки, штампы (без которых ни одно крупное произведение, конечно, немыслимо). Кстати, очевидно, что Маркес держал в голове и образ Фиделя, «в списке величайших людей Латинской Америки уверенно занимающего вторую строку после Боливара». Во всяком случае, думается, — в плане одиночества, которое неизменно, неотвратимо сопутствует власти, одиночества, на которое власть, тем более абсолютная, — обречена.

Смеем высказать мнение, что роман о Боливаре вышел не

вполне оригинальным, не только пародийным, но и не без перепевов прошлых вещей, порой даже не совсем маркесовским — возможно, сказывался сам факт собственности друга Альваро, будто глядевшего сквозь строки с лёгкой дружеской укоризной…

Фрагменты «Генерала» начали публиковаться задолго до появления книги. Проводилась своеобразная артподготовка, хотя сам Маркес от неё открещивался — дескать, он ничего раньше времени не публиковал и «впереди паровоза не бежал», понимая, что «произведение воспринимается только в законченном виде, целиком». Но мы знаем, что главы «Ста лет одиночества» и других произведений публиковались до выхода книг. И эта тактика в том числе (продуманная и просчитанная: где, что, когда должно появиться) давала некоторым повод называть нашего героя Габриелем Гарсиа Маркетингом.

Первой реакцией на «Генерала» — ещё в машинописном варианте — было письмо экс-президента Колумбии Альфонсо Лопеса Микельсена (знакомого нам по работе с режиссёром Соловьёвым), напечатанное 19 февраля 1989 года в газете «Эль Тьемпо». Учитывая то, что повесть ещё не была опубликована, письмо производило странное впечатление. «Я восхищён книгой! — восклицал политик. — Вам удалось проникнуть в самую суть власти, её психологии, её природы, препарировать власть, совместить несовместимое, казалось бы, — магический реализм и высочайшего класса натурализм, которому бы позавидовал сам Эмиль Золя… Глубоко философский роман!..»

Откликнулся рецензией и другой экс-президент — Бетанкур, хотя и более сдержанно, — «ну да, это хоть и бесспорно талантливая, но либеральная интерпретация истории, не во всём для нас приемлемая». И действующий президент Колумбии Виргилио Барко роман «читал всю ночь напролёт…». И Фидель Кастро вскоре, буквально через несколько дней, отозвался о книге положительно, хотя и высказал замечания. (Все герои Маркеса одиноки, но особенно Патриарх и Боливар — и много в их одиночестве от одиночества друга Фиделя, который однажды признался другу Габо, что больше всего на свете ему хотелось бы «просто поторчать на углу какой-нибудь улицы».)

Публика же от романа в восторг не пришла. И критика. Не разносили, конечно, больше хвалили. Но как бы по накатанному, лауреатов Нобелевской премии по литературе за литературные произведения критиковать не очень-то пристало. Мол, роман-жизнь, роман-эпопея, полный драматизма… Хотя и критиковали и в Испании, и, разумеется, в Соединённых Штатах, в родной Колумбии роман назвали «антиколумбийским». Стали слышаться и реплики в том смысле, что «Гарсиа Маркес скорее возводил

мавзолей не Симону Боливару, а себе любимому», именовали его «высокомерным бароном Макондо», оторвавшимся от корней, общающимся исключительно с власть имущими…

Так или иначе, но «Генерал» из «лабиринта» не выбрался — ни в прямом, ни в переносном смысле. И роман очередной победой не стал. Да и не только в Боливаре дело. Рейган, Тэтчер при поддержке папы римского и пособничестве фактически капитулировавшего перед ними Горбачёва, как утверждает англо-американский профессор Мартин, вели наступление на коммунизм, в результате чего международная ситуация быстро менялась… Вместе с Берлинской стеной рушился миропорядок, человечество вступало в новую эру. «Больше всех пострадает Куба Фиделя, — пишет Мартин. — 1989 год будет годом апокалипсиса. И пока тучи сгущались, Гарсиа Маркес — невероятно! — почти всё время сидел в Гаване и писал роман о последних днях жизни ещё одного латиноамериканского героя — единственного, кто мог соперничать с Кастро и который, по мнению большинства историков, на закате своей политической карьеры превратился в диктатора». 9 июня на Кубе был арестован и предан суду генерал Арнальдо Очоа, «один из величайших кубинских героев Африканской кампании», друг Маркеса. Также были преданы суду и два других его друга: полковник Тони ла Гуардиа, кубинский Джеймс Бонд, как его называли, совершавший по приказам Фиделя и Рауля невероятные подвиги (теракты) по всему миру, и его брат-близнец Патрисио. Маркес в те дни вёл занятия в своей школе кинематографии близ Гаваны. Подсудимых признали виновными в торговле наркотиками, что равносильно измене революции, и приговорили к смертной казни. Семья Тони ла Гуардиа умоляла Маркеса вмешаться. Он обещал попросить Фиделя о помиловании. Но приговоры были приведены в исполнение, Кастро заявил, что не мог повлиять на решение суда. (Враги утверждали, что Очоа устранён, чтобы скрыть, что Фидель и Рауль сами были замешаны в крупном наркобизнесе в Карибском регионе.) Игнорируя советы даже самых близких друзей, Боливар казнил своего соратника генерала Мануэля Пиара за непокорность. «Более жестоко он не поступал никогда, — читаем у Маркеса, — но только эта жестокость позволила ему укрепить свои позиции: он снова сосредоточил управление страной в своих руках и уверенно пошёл по дороге славы».

Со своим романом о Боливаре, а больше со своей политической позицией, однозначной поддержкой Фиделя, социализма, коммунизма наш герой оказался на рубеже последнего десятилетия века между двух или даже трёх огней —

как бравый солдат Швейк на передовой в бессмертном произведении Ярослава Гашека. Маркеса атаковали. Репутация его меняла конфигурацию (некстати прокатилась и волна сплетен о его любовных связях с молоденькими актрисами, «не школа кинематографии, а гарем Габо», клеветали завистники), атмосфера вокруг сгущалась. Стали поговаривать, что исписался, что, дескать, как и многие, — величина дутая, кончается великое противостояние супердержав, СССР и США, двух систем и мировоззрений, кончаются и эти художники, плоть от плоти противостояния, пройдёт немного времени — их и не вспомнят.

И действительно, несметное было множество таких, коих можно уподобить накипи на аккумуляторе, образующейся между выводными борнами со знаками плюс и минус (на вопрос, где плюс, а где всё-таки минус, история, конечно, окончательного ответа ещё не дала, потому и «искрит» то и дело). И всевозможные премии получали (в том числе Нобелевскую), и земные блага имели, и на короткой ноге были с власть предержащими…

И друзей, естественно, не становилось больше. Верный Мутис, как всегда, был рядом (будучи и за тысячи километров), он повторял, что Габо не должен забывать «Старика» их любимого Хема, потому что «эти все, как акулы, почувствовали, вернее, им кажется, что почувствовали запах крови», и Полковника своего не должен забывать, главное — он сделал, что должно было, а теперь ему надо «плотно потусоваться» (в приблизительном переводе на современный русский язык).

Маркес улетел в Париж и попал «с корабля на бал» — на празднование двухсотлетней годовщины взятия Бастилии. На торжественном ужине личный гость Франсуа Миттерана Гарсиа Маркес сидел за столом рядом с Маргарет Тэтчер («глаза Калигулы, губы Мэрилин Монро», по выражению Миттерана), напротив обворожительно-гламурной, говорящей на всех языках Беназир Бхутто (наследственной индийской княжны, дочери главы правительства Пакистана, в будущем тоже премьер-министра, первой в новейшей истории женщины — главы правительства мусульманской страны, своей трагической судьбой будто обречённой проиллюстрировать повесть Маркеса «История одной смерти, о которой знали заранее»). Придерживая белый платок-шаль на голове, выразительно глядя на нашего героя, Беназир отметила в своём тосте, что Великая французская революция «научила мир говорить и на языке коммунизма». Повисла пауза. И все присутствующие почему-то обратили взоры на Маркеса — он в ответ улыбнулся улыбкой Джоконды, как заметил потом Миттеран (и поинтересовался, что, собственно, его

друг Габо этой загадочной улыбкой хотел сказать).

На следующий день, в Мадриде, на вопрос журналистов о возобновлении смертной казни на Кубе Маркес ответил, что казнили не за наркотики — за измену, а «измена карается смертью во всём мире, но Кастро не только против казни, но и против смерти вообще».

«…Генерал не оценил виртуозность ответа, но вздрогнул от озарения, открывшегося ему: весь его безумный путь через лишения и мечты пришёл в настоящий момент к своему концу. Дальше — тьма.

— Чёрт возьми, — вздохнул он. — Как же я выйду из этого лабиринта?!»

Последнюю фразу Гарсиа Маркес написал, по всей видимости, уже зная, что врачи обнаружили в его лёгких опухоль. Нельзя исключить, что онкологическое заболевание стало следствием многолетнего пристрастия Маркеса к курению — с журналистской молодости, с парижских ночных бдений на мансарде за работой он выкуривал по три-четыре пачки сигарет в день, хотя причины этого заболевания до сих пор, как известно, не установлены.

Как принято на Западе, ему не стали морочить голову и вводить в заблуждение обманом о простом воспалении лёгких, ему прямо сообщили: рак. Известие это Габо принял по-мужски. Первым, кто поддержал его, был Фидель, сказавший, что высылает за ним свой самолёт со своим личным врачом. Маркес всё же предпочёл лечиться на родине, в Колумбии. И вот тут ему снова удалось (теперь, двадцать с лишним лет спустя, когда пишутся эти строки, можно сказать с уверенностью) одержать большую победу. Прежде всего — психологически, силой воли.

После операции в 1992 году болезнь приостановилась. Но медицинское обследование через несколько лет выявило у Маркеса другую форму рака — лимфому. Ему пришлось перенести ещё две сложнейшие операции в лучших клиниках Лос-Анджелеса и Мехико и затем пройти продолжительный курс лечения. Он мужественно и стойко — сродни своим героям, прежде всего Полковнику — боролся с болезнью. Притом с переменным успехом, иногда он брал верх, иногда болезнь, — публично, как и всё, что связано с его именем.

В 1992 году выходит сборник «Двенадцать странствующих рассказов» — причудливое ожерелье из дюжины жемчужин прозы, основной темой которых явились, по словам Маркеса, «странные вещи, какие случаются с латиноамериканцами в Европе».

«Двенадцать этих рассказов были написаны за последние восемнадцать лет, — отвечал он на вопросы о том, почему двенадцать, почему рассказы и почему странники. — Пять из них были журналистскими очерками и киносценариями, а один — сценарием длинного телесериала. Ещё один я рассказал пятнадцать лет назад в интервью, а мой друг записал его на магнитофон, потом опубликовал, и теперь я заново написал его на основе той версии. Это весьма необычный творческий опыт, и о нём, мне кажется, стоит рассказать поподробнее, хотя бы для того, чтобы юноши, которые намереваются стать писателями, знали, сколь ненасытен этот порок — испепеляющая страсть к писанию».

Замысел родился ещё в начале 1970-х, когда в Барселоне Маркес закончил роман «Осень Патриарха» и увидел вещий сон. Приснилось, что он присутствует на собственных похоронах и идёт вместе с друзьями, облачёнными во всё чёрное, траурное, но настроение у всех — праздничное. Было такое ощущение, что все счастливы, потому что вместе. И он, Маркес, больше всех счастлив, что смерть дала ему такую замечательную возможность вновь оказаться с его старинными любимыми друзьями из Латинской Америки, и он хочет идти с ними дальше… Но вдруг один из друзей решительно и строго даёт понять, что для Габо праздник закончен. «Ты единственный, кто не может идти», — говорит друг. И тут Маркес понял, что умереть — значит никогда больше не быть с друзьями.

Тот сон Маркес почему-то истолковал как осознание своей сущности и решил, что это неплохая отправная точка для того, чтобы написать о странных вещах, какие случаются с латиноамериканцами в Европе. Года два он набрасывал приходившие в голову темы, не зная ещё толком, что с ними делать. Когда он всё-таки начал писать, у него не оказалось бумаги и дети дали ему школьную тетрадь. А потом, чтобы она не потерялась, во время их частых поездок возили её по очереди в своих ранцах. Таким образом, Маркес записал шестьдесят четыре (по количеству шахматных клеток на доске, пришло в голову, когда играл с младшим сыном в шахматы) темы с такими подробностями, что оставалось лишь сесть и написать книгу.

В 1974 году в Мексике, куда он с семьёй вернулся из Испании, ему стало ясно, что эта книга должна быть не романом, как он вначале думал, а сборником коротких рассказов, основанных на журналистских фактах, которые будут спасены от забвения тонким флёром поэтичности. До того Маркес написал три книги рассказов, но ни одна из трёх не была задумана как единое целое, каждый рассказ был самостоятельным и в общем-то

случайным в сборнике, на его месте мог быть и другой. Поэтому написать шестьдесят четыре рассказа, если бы удалось написать их на едином дыхании, соблюдая внутреннее единство тона и стиля, так, чтобы они неразрывно соединились в памяти читателя, представлялось ему увлекательнейшей затеей.

Маркес решил не позволять себе ни дня отдыха, писать где угодно, даже в ненавистных самолётах. Но на середине рассказа о своих похоронах почувствовал, что устал больше, чем если бы писал роман. И потом понял: на короткий рассказ тратишь столько же сил, сколько нужно, чтобы начать большой роман. Потому что в первом же абзаце романа надо определиться во всём: как писать, в каком тоне, стиле, ритме, знать, как длинен он будет, а иногда даже обрисовать характер какого-нибудь персонажа. «Но вообще-то роман — как брачные узы, их можно укреплять день ото дня. А рассказ — занятие любовью: коли не заладилось у партнёров, ничего уже не поправишь».

«Всё остальное, — рассказывал журналистам Маркес, — наслаждение самим процессом писания, требующим величайшего самоуглубления и одиночества, какое только можно себе представить. И если до конца своих дней ты не продолжаешь править и переписывать роман, то лишь потому, что та же самая железная сила, которая необходима, чтобы начать книгу, заставляет тебя закончить её. А когда берёшься за рассказ, там нет ни начала, ни конца: он или завязывается, или не завязывается. И если он не завязывается сразу, то — знаю и по собственному опыту, и по чужому — в большинстве случаев лучше начать его заново и совсем иначе или выкинуть в мусорную корзину. Кто-то, не помню кто, замечательно выразил это утешительной фразой: „Хороший писатель лучше узнаётся по тому, что он разорвал, чем по тому, что он опубликовал“. По правде говоря, я не разорвал черновики и наброски, я поступил хуже: начисто о них забыл».

Эта ученическая тетрадка в Мехико на его письменном столе тонула в ворохе бумаг до 1978 года. Однажды Маркес искал что-то совсем другое и подумал, что она давно уже не попадается ему на глаза. Но не обеспокоился. А когда осознал, что её и на самом деле не было на столе, — по-настоящему перепугался. В доме на улице Огня не осталось и угла, который бы он не обшарил. С Мерседес и сыновьями они двигали мебель, снимали с полок книги, чтобы убедиться, что тетрадка не завалилась за них, и подвергали непростительным расспросам обслугу и друзей. Никакого следа. Единственно возможным — или приемлемым? — объяснением было то, что, расчищая в очередной раз стол от бумаг, что делал периодически, вместе с бумагами он отправил в

мусорную корзину и тетрадь.

Его удивила собственная реакция на это: вспомнить темы, о которых он думать не думал почти четыре года, стало для него делом чести. Он старался вспомнить их во что бы то ни стало и с таким напряжением, как если бы писал. И в конце концов восстановил наброски к тридцати из шестидесяти четырёх рассказов. А поскольку, вспоминая, он одновременно подвергал их строгому отбору, то без особого сожаления отбросил те, из которых, как ему показалось, ничего нельзя было сделать, и в результате осталось восемнадцать. На этот раз Маркес решил писать их сразу, без передышки. Но скоро понял: запал прошёл. Однако же, вопреки тому, что сам всегда советовал начинающим писателям, он не выбросил их на помойку, а снова отложил. Так, на всякий случай.

Когда в 1979 году Маркес начал писать «Историю одной смерти…», он в очередной раз понял, что, делая перерывы между книгами, иногда по три-четыре года, теряет навык и ему с каждым разом становится всё труднее начинать новую работу. И потому в период между октябрём 1980 года и мартом 1984-го еженедельно писал журналистские заметки для газет разных стран — ради дисциплины и чтобы «не остывало» перо (178 публикаций — абсолютный рекорд для писателя его уровня!). Ему подумалось, что его конфликт с набросками в той тетради связан с определением их литературного жанра и что всё-таки это должны быть не рассказы, а газетные или журнальные очерки. И лишь после того, как опубликовал пять очерков, написанных на основе набросков из злополучной тетради, он снова переменил мнение: они больше подходят для кино. Так были написаны пять сценариев для кино и один — для телесериала.

Не предвидел Маркес, как потом говорил, одного — что работа для газеты и для кино может изменить его представления относительно рассказов. Так что, когда он стал писать их в том виде, в каком они потом и вышли в свет, приходилось тщательно, пинцетом, отделять его собственные представления от тех, которые были привнесены режиссёрами во время работы над сценариями. И, кроме того, одновременная работа с пятью разными творческими личностями подсказала новый метод: Маркес начинал писать рассказ, когда выдавалось свободное время, и откладывал его, когда уставал или возникала какая-нибудь непредвиденная работа. Таким образом, шесть из восемнадцати набросков рассказов оказались в мусорной корзине, и среди них — рассказ о его собственных похоронах, потому что ему так и не удалось по-настоящему передать ощущение праздника, испытанное когда-то во сне.

Основная тема рассказов — странные и часто весьма таинственные происшествия, выпадающие на долю латиноамериканцев в Европе. Каждый из «Двенадцати рассказов-странников» — это роман в концентрированном виде. Эти рассказы-романы написаны в разных жанрах, от *love story*, мелодрамы до триллера, полицейского и даже политического детектива: и «Счастливого пути, господин президент!», и «Самолёт спящей красавицы», и «Я пришла только позвонить по телефону», и «Августовские страхи», и «Трамонтана»…

«В принципе, „Двенадцать рассказов-странников“ — книга о латиноамериканских туристах, — рассказал Маркес летом 1994 года первому в новой России туристическому журналу „Вояж“ (основателем и первым главным редактором которого явился автор этих строк). — В основном мои герои отправляются в Европу как туристы, а там начинаются приключения и злоключения, свидетельствующие о глубокой разнице менталитетов… Кстати, смею предположить, что нечто подобное скоро ждёт и вас, бывших граждан СССР. О том, как из герметичного общества, из занавешенной железным занавесом империи впервые люди выезжают, об их ощущениях, мыслях, переживаниях было бы любопытно узнать, по крайней мере, мне, побывавшему в СССР ещё на молодёжном фестивале в 1957-м, вскоре после смерти Сталина… Большинство моих вещей, журналистику не имею в виду, это само собой разумеется, — о путешествиях, герои всё время в движении или в стремлении к движению — и в „Сто лет одиночества“, и в „Эрендире“, и в „Генерале“… И я сам всё куда-то еду, плыву или, не дай бог, лечу… Может, в этом и есть смысл жизни?.. Желаю вашему „Вояжу“ ярких радостных вояжей».

Воодушевлённый интервью, взятым по моей просьбе друзьями в Мексике, я написал Маркесу письмо, в котором заверил его, что журнал будет «не хуже немецкого „GEO“ или американского „National Geographic“», сообщил, что согласились сотрудничать с нами Жак Ив Кусто и Тур Хейердал, известные писатели, журналисты, фотохудожники… И попросил (наглость!) присылать заметки о любых его передвижениях по земле. Ответа не последовало.

Если позволяли дела и самочувствие, Маркес с Мерседес совершали туристические поездки — хотя, конечно, больше эти поездки походили на официальные визиты на высшем уровне, обставленные с соответствующей помпой. Но часто мечтали, например, тайно, инкогнито отправиться на какие-нибудь острова в Тихом океане, в Африку, в Исландию или на Байкал… С неизбывной всё-таки неприязнью опуская информацию о

перелётах даже на первоклассных, надёжнейших авиалайнерах, Маркес листал журналы и рекламные проспекты всевозможных поездок, круизов, новых шикарных отелей и вздыхал: «Лет бы двадцать назад, когда ещё никто нас с тобой не знал, были бы такие возможности, как сейчас…» Однажды вечером, читая за ужином жене свежую газету, он наткнулся на рекламное объявление об «экзотических турах в Аргентину». Мерседес от этого объявления взяла оторопь.

В 1997 году кубино-аргентинская экспедиция обнаружила в Боливии, рядом с взлётно-посадочной полосой возле местечка Вальегранде останки Че Гевары. Оборотистые туроператоры организовали экзотический вид Че-туризма. Многие туристические компании, особенно французские, немецкие и даже японские, предлагали «эксклюзивные туры с правом участия в похоронах Эрнесто Гевары». Захоронение на Кубе обнаруженного экспедицией скелета с биркой «Е-2» привлекло немалое количество туристов со всего мира. Рекламировались туры по «тропе Че», а госпиталь в Вальегранде стал местом религиозного паломничества.

Любителей острых ощущений, купивших сувениров на определённую сумму, в том числе «фирменный» берет со звездой, ставили к стенке и расстреливали из М-2 (холостыми).

В начале 1993 года Маркес вошёл в состав «Форума мыслителей» ЮНЕСКО, дабы участвовать в обсуждении международных проблем в условиях нового миропорядка (что даст возможность завязать множество новых важных знакомств, в частности с Федерико Майором, первым главой ЮНЕСКО из испаноязычной страны).

Он по-прежнему вёл бурную общественную деятельность (ни на день не забывая о своём главном призвании и, закончив книгу, приступал к следующей, в то время — о наркобизнесе, о Пабло Эскобаре, что до поры держал в тайне). С группой известных американских журналистов Маркес совершил поездку в тюрьму. «Президенты приходят и уходят, а очкастый писатель, во всём мире известный под своим прозвищем Габо, остаётся, — писал Джеймс Брук. — День, проведённый с господином Гарсиа Маркесом, даёт представление о том, какой это человечище!.. В тюрьме Итагуи в предместьях Медельина торговцы кокаином из кожи вон лезли, состязаясь за честь подать ему обед. В казармах Нейвы пилоты вертолётов полиции по борьбе с наркотиками, не обращая внимания на окрики командира, расталкивали друг друга, чтобы сфотографироваться с кумиром». Но сам Маркес чувствовал, что увядает. «Любопытно, как человек начинает понимать, что стареет, — сказал он журналисту Дэвиду

Страйтфельду. — Я стал забывать имена и номера телефонов, потом и того хуже. Я не мог вспомнить какое-то слово, лицо, мелодию…»

В 1994 году Маркес посетил Апрельскую ярмарку в Севилье, о чём давно мечтал, во многом и благодаря рассказам своего друга-андалусца — премьер-министра Испании Фелипе Гонсалеса, убеждавшего в том, что жизнь без севильской ярмарки неполная.

Автору этих строк через несколько лет тоже посчастливилось побывать на ярмарке в Севилье по приглашению писателей и журналистов, которые встречались с Маркесом и отчасти сопровождали его. Интервью он почти не давал, разве что симпатичной журналистке газеты «Эль Паис» Росе Мора (мои приятели из Андалусии тоже подметили, что Маркес не отказывал хорошеньким интервьюершам — редакторы этим пользовались, подсылая длинноногих фотомоделей с диктофонами, которые смутно себе представляли, кто этот седоусый мужчина и что именно у него брать).

Маркес прибыл в Андалусию загодя, на Святой неделе. Андалусцы гордятся своими торжествами, где ярмарка и карнавал сливаются воедино, где фигура Богоматери в карнавальных одеяниях проплывает по улицам среди арабских скакунов и танцоров фламенко, где рядом со скульптурами святых, разукрашенных как ярмарочные зазывалы, бойко продаются пирожки с «волосиками ангела» или тянучки «монашкины вздохи»…

Андалусия, которую поэты назвали «арабской красавицей с цыганской кровью», явилась одной из прародительниц Латинской Америки как таковой и Колумбии в особенности. Вся Испания — смешение кровей, традиций, культур. Но в Андалусии «замес» особенно крут и гремуч. Финикийцы, греки, римляне, вандалы, цыгане, мавры…

Торжества Святой недели в Севилье длятся от Вербного воскресенья до Пасхи: роскошные и многолюдные службы в соборах, театрализованные представления на темы священной истории, обеты и благодарения за услышанные молитвы. После Святой недели Севилья погружается в безумство Апрельской ярмарки. На смену торжества духа приходит разгул плоти: вино, коррида, лошади, фламенко… Мой знакомый литератор Фернандо Монтеро, родившийся в Севилье, живущий в Марбелье, в апрельские дни 1990 года наблюдал за Маркесом, иногда и сопровождал его.

— Роса Мора из «Эль Паис» взяла его в оборот, — рассказывал Фернандо. — Но я, намереваясь писать о превратностях латиноамериканского литературного «бума»,

полностью, как мне тогда думалось, замешенного на политике, почти всё время был рядом. С субботы, когда я видел, как задумчиво слушал он «Gloria in Excelsis Deo» («Слава вышних Богу») в нашем соборе и звон колоколов, которому нет равных в мире. И с парада арабских скакунов вот здесь, на Прадо-де-Сан-Себастьян, на лугу, где когда-то инквизиция производила аутодафе, рядом с табачной фабрикой, на которой работала та самая Кармен, — парадом открывается Ярмарка.

В кафе под открытым небом между палатками и павильонами мы с Фернандо пили прохладное розовое вино, закусывали торрихас (гренками) и жаренными во фритюре ломтиками телятины, в которые завёрнуты ветчина холодного копчения и фламенкинес (сыр), а вокруг, по дорожкам, посыпанным золотистым песком, прогуливались мужчины, женщины и девочки, наряженные, как и взрослые, в платья прошлых веков, в кружевах и лентах, с веерами, и танцевали, и пели, и проносились в каретах, верхом, и обнимались и целовались… В атмосфере севильской Ярмарки причудливо сочетаются извечная святость (продемонстрированная на Святой неделе) и неизбывная греховность.

— В баре «Карбонерия», расположенном в бывшем угольном складе, мы с Маркесом оказались за соседними столиками, — продолжал рассказывать Фернандо. — «Вот это причудливое сочетание греха и святости и досталось нам, — сразу открестившись от каких бы то ни было интервью, разгорячённо хлопая в ладони в такт фламенко-севильянас, говорил Маркес. — Важнейшая составляющая латиноамериканского менталитета: каюсь и грешу, грешу и молюсь…» Немецкие туристы стали скандировать традиционное наше: «Оле-оле-оле!» Маркес говорит: «Они ведь даже и не подозревают, что этот возглас — не что иное, как трансформированный „аллах“». Я спросил, верит ли он в Бога. Он не ответил. А вообще он философски был настроен в тот вечер, да и все дни в Севилье. И на некое подобие интервью, точнее сказать, на небольшой такой писательский мастер-класс под фламенко мы его всё-таки раскрутили, перед чарами нашей поэтессы Кристины Себальос не устоял. Да и вино, гитары, красивые девчонки в развевающихся юбках с воланами… Я тогда кое-что за ним записал, потом и в его других интервью насобирал, вышла подборка маркесовских афоризмов. Они у меня с собой, в записной книжке, — сказал Фернандо, когда ближе к вечеру, как принято в Севилье, мы перешли в бар со сценой для фламенко, и кое-что зачитал: — «В жизни настоящего мужчины всё подчинено творчеству. Всё — ради творчества. Сапоги ли тачать или создавать межпланетные корабли. Писать романы или

делать детей…» Ещё вот: «Я мелкобуржуазный писатель… Я не знаю никого, кто в той или иной мере не чувствовал бы себя одиноким… Писательство — это призвание, от которого не уйти, и тот, у кого оно есть, должен писать, потому что только так он сможет одолеть головную боль и скверное пищеварение… Писатель, который сам себе не противоречит, — это догматик… Нас окружают необыкновенные, фантастические вещи, а писатели упорно рассказывают нам о маловажных, повседневных событиях… Деньги — помёт дьявола… Любовь ведь тоже надо понимать… Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я, когда я с тобой… Ни один человек не заслуживает твоих слёз, а те, кто заслуживает, не заставят тебя плакать… Только потому что кто-то не любит тебя так, как тебе хочется, не значит, что он не любит тебя всей душой… Худший способ скучать по человеку — это быть с ним и понимать, что он никогда не будет твоим… Никогда не переставай улыбаться, даже когда тебе грустно: кто-то может влюбиться в твою улыбку… Не трать время на человека, который не стремится провести его с тобой… Возможно, Бог хочет, чтобы мы встречали не тех людей до того, как встретим того единственного человека, чтобы, когда это случится, мы были благодарны… Всегда найдутся люди, которые причинят тебе боль. Нужно продолжать верить людям, просто быть чуть осторожнее… Не прилагай столько усилий, всё самое лучшее случается неожиданно… Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было».

Он рассуждал о том, что же такое на самом деле «дуэнде» — демон творчества, — продолжал Фернандо, закрыв записную книжку, — и почему иностранцы, хоть и похлопывают в ладоши, поводят плечами, горделиво запрокидывают головы, но постичь фламенко не в состоянии… Он даже немножко потанцевал в тот вечер с Кристиной, довольно пластично — эдакий элегантный седоватый байлаор, ему аплодировали.

За полночь уже он с удовольствием слушал её любовную лирику. Потом мы перешли в другой бар — табладо-фламенко, в третий, Маркес угощал и всё удивлялся: неужели правду говорит его друг Филипе Гонсалес, что в Андалусии летом столько же баров, сколько местных жителей?.. Под утро мы умудрились разыскать незакрывшийся бар и уговорить артистов попеть и поиграть ради Маркеса. Они поверили, что это тот самый автор «Ста лет одиночества», лишь увидев слёзы на его глазах, и попросили оставить автограф на гитаре. А деньги, которые я сунул певице, она мне вернула, сказав, что Маркес её любимый писатель, она сама в молодости была, как Ремедиос, но, к сожалению, «не улетела вовремя на простынях». Ты

представляешь себе такое где-нибудь, кроме Андалусии?..

Весной 1994 года Маркес публикует повесть «Любовь и другие демоны». (В то же самое время на свет появляется будущая исполнительница главной роли в фильме, который к концу первого десятилетия XXI века будет снят по этой повести, — опять магия, всё меньше унылого реализма.)

Эпиграфом к повести могли бы стать слова из предисловия к сборнику юного Проспера Мериме «Театр Клары Гасуль»: «Клару Гасуль я увидел в первый раз в Гибралтаре, где я нёс гарнизонную службу в швейцарском полку Ваттвиля. Ей было тогда (то есть в 1813 году) четырнадцать лет. Дядя её, лиценциат Хиль Варгас де Кастаньеда, предводитель андалусской герильи, только что был повешен французами, а донья Клара осталась на попечении монаха Роке Медрано, её родственника, инквизитора гранадского трибунала».

У Маркеса в повести замес не менее густ. Точнее, это киноповесть — выписано всё зримо, предметно, кинематографично. По его собственным словам, он экспериментировал здесь с драматургией. И, естественно, экранизация была неминуема — но лишь поколение спустя. В июне 2010 года картина «Любовь и другие демоны» была показана на Московском международном кинофестивале. Мне удалось посмотреть и поаплодировать ей вместе со всем залом. На следующий день я прочитал в газете хвалебную рецензию, в которой говорилось, что «показанная в конкурсной программе „Перспективы“ обаятельная картина из Коста-Рики „Любовь и другие демоны“ режиссёра Хильды Идальго стала первой, которую критики наградили единодушными аплодисментами».

А вот как откликнулась некогда главная газета страны «Правда»: «Поиск новых точек на кинематографической карте мира и новых имён — одна из замечательных черт формирующегося лица ММКФ. На нынешнем фестивале жирным кружком обведена Коста-Рика, о фильмах которой никто доселе ничего не слышал. И вот уроженка этой страны Хильда Идальго сняла (с участием Колумбии) фильм по повести Габриеля Гарсиа Маркеса „Любовь и другие демоны“. Проза Маркеса фантасмагорична и потому трудно поддаётся экранизации. Но эта вещь, пожалуй, исключение. Хильда Идальго, увлечённая трагической историей любви между знатной девушкой, приговорённой инквизицией к заточению как одержимая дьяволом, и приставленным к ней для спасения её души монахом, ещё студенткой мечтала поставить по этой повести фильм. Однажды во время встречи с писателем она поделилась своей

мечтой с Маркесом, не очень-то надеясь на его согласие. А тот неожиданно благословил дебютантку на воплощение этого замысла. И в итоге фильм — очень красивый, с завораживающей экзотикой, гимном любви и резко антиклерикальной направленностью».

Что касается «резко антиклерикальной направленности», то узнаётся газета «Правда», как-никак бывший «орган ЦК КПСС». Думается, прежде всего картина о любви. А ещё о юности. Страсти. Свободе. Смерти.

В ней всё красиво (великолепная операторская и режиссёрская работа!) — и море, и закаты-рассветы, и летающие вокруг героини бабочки, и крылья стрекоз, и тропические растения с цветами, и костюмы на потрясающе красивых женщинах и мужчинах… Действие происходит в любимой Маркесом Картахене (а где же ещё?). Но не в сегодняшнем городе с супермаркетами, клубами, барами, паркингами, а в средневековом колониальном городе, где католическая церковь с большим трудом удерживает или пытается удержать власть над сердцами и душами. Местные жители поклоняются своим богам, чернокожие рабы — своим, испанская аристократия, находясь в стороне, вдали, ставит себя выше всякой там Церкви. «Представляете, какой силы должна быть вера в этих краях?» — вопрошает местный епископ и закручивает тиски инквизиции всё сильнее, всё беспощаднее. Жертвой мракобесия становится чистое невинное дитя — золотоволосая красавица Сиерва Мария, тринадцатилетняя дочка аристократа, живая, воспитанная чернокожими слугами на дивных волшебных сказках, легендах и мифах. Однажды её кусает бешеная собака, у девочки развивается водобоязнь. Не столько заботясь о ребёнке, сколько желая унизить её отца — аристократа, пренебрегавшего «Божьей милостью», епископ заточает девочку в монастырь. Бешенство, по мнению инквизиции, несомненный признак одержимости дьяволом. Изгонять демонов из юного тела поручается отцу Каэтано, тридцатишестилетнему красивому образованному мужчине, чья пылкая и искренняя вера вступает в противоречие с церковными догмами. Между прелестной юной пленницей и монахом возникает страсть, которая приводит к трагической развязке: девушку убивают инквизиторы, Каэтано, лишённый сана священник, тоже обречён.

Простой и предсказуемый сюжет, который, однако, от начала до конца держит в напряжении и волнении. «Особенно, — писала критика, — если перед этим неделю томить зрителя бессмысленными и беспощадными конкурсными экспериментами над формой, содержанием и нервной системой. Всё-таки

красивые актёры, пейзажи и талантливая литературная основа совсем не лишнее в фильме. „Любовь и другие демоны“ — полнометражный дебют прекрасной женщины Хильды Идальго (которая училась у Маркеса на Кубе). По её словам, это один из первых фильмов зарождающейся национальной кинематографии Коста-Рики. Наверное, оттого, что коста-риканским режиссёрам ещё не надоело снимать кино, в отличие от их более продвинутых коллег, от этого дебюта можно получить редкое удовольствие».

— Съёмки картины проходили немного в Боготе, но в основном в Картахене и других маленьких колумбийских городках, о которых писал знаменитый Гарсиа Маркес в своей книге, — сказала Хильда Идальго (с ней и с исполнительницей главной роли — Сиервы Марии мне удалось пообщаться после показа; сногсшибательно красивые женщины). — Он интересен как колумбийцам, так и в Коста-Рике. Идея фильма возникла, когда я ещё училась в школе. И я её осуществила. Точнее, сам роман Габриеля Гарсиа Маркеса выбрал меня. После прочтения я поняла, что эта книга невероятно удобна для экранизации. Всю картинку я представила сразу. Этот роман совпадает с моим мироощущением…

Фильм по-антониониевски немногословен, ориентирован на визуальное восприятие — игра света и тени, густые краски, крупные планы крошечных зверюшек, птиц, насекомых, снятых будто под микроскопом, подчёркнутый натурализм и телесность, осязаемость экранной плоти, тончайший минимализм в кадре.

Выбирая актрису на главную роль, Идальго отсмотрела несколько сотен девочек и в итоге остановилась на дочери администратора картины. Но ей было всего одиннадцать лет, мать наотрез отказалась отпустить её на съёмки. Спустя два года, когда Элизе исполнилось тринадцать, а семьсот кандидаток из Бразилии, Кубы, Венесуэлы, Колумбии не подошли, на эту роль взяли именно Элизу Триану.

— Скажи, Хильда, почему всё-таки Маркес, который всегда протестовал против экранизации своих книг, — потому что читатель представляет свои картинки, своих героев, а когда ему навязывают чужое видение, то магия текста пропадает, — почему он согласился на экранизацию? Может быть, ты знаешь какой-то секрет? Я понимаю, что он неравнодушен к красивым женщинам, но ведь за «Сто лет одиночества» он заломил Голливуду в своё время вообще немыслимую цену! За «Любовь во время холеры» взял миллионы долларов…

— Нет, ничего такого! Он преподавал у нас в киношколе на Кубе, вёл семинар «Как рассказать историю», и я сказала ему, что эта его вещь очень кинематографична, я бы хотела её снять. На

что Маркес, посмотрев так, с лукавым прищуром, мне ответил: «Так вот езжай в Картахену и снимай его». Когда съёмки были закончены, я устроила просмотр у себя дома. Мы зашторили окна, и я включила DVD-плеер. Я нервничала, как девчонка, ужасно боялась и краем глаза пыталась подсмотреть за реакцией Маркеса. Первые двадцать минут он напряжённо всматривался в экран и хранил молчание. А потом расслабился и работу мою похвалил, пожелав удачи.

Однако на XXXII Московском международном кинофестивале 2010 года конкурсная картина «Любовь и другие демоны» не получила ни одного, даже символического, «утешительного» приза. Призы, награды — «Золотой Святой Георгий» и прочие — достались, по мнению весьма достойных уважения кинематографистов и писателей, с которыми трудно не согласиться, мутным, невнятным, вялым, но, так сказать, «политкорректным» картинам, естественно, с точки зрения единственной ныне на земле супердержавы, «заказывающей музыку». Поговаривали в кулуарах, что это явилось свидетельством двух вещей — «странности» жюри и того, что, чтобы стать призёром фестиваля, нужно было привозить снятую на любительскую дрожащую камеру (а вернее и круче — на мобильный телефон) криминальную историю из жизни наркодилеров («Колумбия ведь, на хрена нам какой-то Маркес?»). А ещё идеальнее, если бы главный герой при этом был гомосексуалистом или хотя бы албанским беженцем-мусульманином из Косова. Вот тогда бы Гран-при был обеспечен.

История «Любви и других демонов» на этом не закончилась. На Глайндборском музыкальном фестивале с успехом прошла премьера оперы замечательного венгерского композитора Петера Этвеша по этой повести. Руководил оркестром главный дирижёр Лондонского филармонического оркестра Владимир Юровский. «Это очень лирическое произведение Маркеса, — сказал Юровский журналистам. — И очень, как ни странно, певучее. Идёт на трёх языках — английском, испанском и на африканском языке йоруба. Партитура непростая… Любопытно, что ранее Этвеш написал оперу по пьесе Чехова „Три сестры“, все женские партии в которой пели мужчины, но здесь всё определяется именно любовью к девушке, женщине как к самому возвышенному творению Господа…»

В сентябре 1994 года Маркес «оказался в эпицентре мировой мощи», когда с Фуэнтесом они были приглашены на встречу с президентом США Клинтоном. Присутствовали также владельцы «Washington Post» и «New York Times». Все с изумлением слушали, как Клинтон цитирует по памяти целые абзацы из «Шума и

ярости» Фолкнера. Маркес надеялся поговорить об американо-кубинских отношениях, но Клинтон отказался обсуждать «кубинские проблемы» и вскоре под давлением сената ввёл ещё более жёсткие санкции против Острова Свободы.

В 1996 году была опубликована повесть Маркеса «Извещение о похищении».

Похищение людей в Колумбии — дело почти обыденное, местный, можно сказать, спорт. «Революционеры» всевозможных сортов и мастей, а по сути конкурирующие наркогруппировки, похищают (и убивают) — и политиков, и крупных бизнесменов, и врачей, и инженеров, и звёзд кино и эстрады, и детей… Самого Маркеса (пока он не стал абсолютным национальным достоянием) не раз могли похитить.

— …Изысканнейшая, творческая там преступность! — вдохновенно, даже с нотками ностальгии рассказывал мне кинорежиссёр Сергей Соловьёв (напомню, снимавший в Колумбии картину «Избранные»). — Честно говоря, какое-то время я даже пребывал под опьяняющим гипнозом этой преступной поэтики, но быстро отрезвел. Вот ещё одно «произведение», сочинённое на наших глазах. На этот раз жертвой стала колумбийка, дивной красоты женщина (я видел её фотографию; да и вообще, женщины в Колумбии редкостно хороши), министр культуры, — ей было всего тридцать с небольшим лет, двое, мне кажется, детей. Среди бела дня культурному министру грубо накинули мешок на голову, втолкнули в машину и увезли. После чего последовало заявление, что, если не будут освобождены из тюрьмы люди, проходящие по делу о наркобизнесе, ей непременно отрубят голову. Срок на размышления давался, скажем, до четверга. При этом похитители не прятали свою жертву где-то в убежище, а всё время перевозили с места на место в автомобиле, отчего поймать их было практически невозможно. Вся страна горячо обсуждала происходящее с неравнодушием футбольных болельщиков. Все, натурально, возмущались: как такое можно! Президент собирает чрезвычайное заседание чрезвычайного совета: как быть? Похитили как-никак министра культуры. Все сочувствуют, психуют, кипятятся: женщину надо спасать! Но и преступников, в свою очередь, нельзя выпускать, стыдно поддаваться шантажу. Одни говорят: не посмеют. Другие: вы их плохо знаете, они всё посмеют. Телевидение транслирует заседание сената: выступают ораторы, комментируют комментаторы, а похитители периодически звонят и напоминают: осталось шестнадцать часов, двенадцать, восемь… Решают: хватит, не пойдём на поводу у мафии! Но если с головы этой женщины упадёт хотя бы волос, мы

выжжем этих подонков, мы перережем всех, кого они требуют освободить. Тем временем осталось три часа, два, час… Ораторы говорят: не пойдём на попятный, будем тверды. Они не посмеют. Звонок: «Получите голову вашего министра». Приезжают по адресу, вскрывают багажник машины — там красивая мученическая голова. Страна в шоке, общее негодование, демонстрации, снова ораторы: «Никогда в жизни не простим, не спустим. Но нельзя трогать сидящих в тюрьме. Принципы демократии — превыше всего…»

…Всё не отпускала фраза Соловьёва о красивой мученической голове министра культуры.

Маркес предварил «Извещение о похищении» обращением «От автора»: «В октябре 1993 года Маруха Пачон и её супруг Альберто Вильямисар предложили мне написать книгу о том, как Маруху похитили, что ей пришлось пережить за шесть месяцев плена и какие препятствия пришлось преодолеть Альберто, добиваясь её освобождения. Когда значительная часть книги уже была написана вчерне, мы поняли, что это похищение нельзя рассматривать само по себе — отдельно от ещё девяти, происшедших в одно время и в одной стране. <…> Я буду вечно благодарен главным героям этой книги и всем, кто мне помогал, за то, что они не позволили предать забвению эту бесовскую драму, представляющую собой, к сожалению, лишь эпизод того библейского холокоста, в который Колумбия погружается уже двадцать лет. Всем им, а вместе с ними всем колумбийцам — невинным и виновным, — я посвящаю эту книгу в надежде, что описанные в ней события никогда больше не повторятся».

Когда читаешь эту документальную повесть, то забываешь о том, что написал её семидесятилетний человек, — молодая, энергичная книга без тени усталости или смирения.

Повседневная колумбийская криминальная хроника теперь до боли знакома и нам, россиянам. Газеты постоянно пишут о том, что власти будут добиваться экстрадиции из такой-то страны такого-то гражданина, обвиняемого в незаконной торговле оружием и организации терактов. Подробно описываются спецоперации правоохранительных органов против боевиков РВСК — Революционных вооружённых сил Колумбии, торгующих наркотиками и похищающих людей, контролирующих около 20 процентов территории страны, на протяжении многих лет ведущих вооружённую борьбу с действующими властями… Пишут газеты и о «зловещих силах», направленных на борьбу с наркотеррористами, о том, что эти группы самообороны, тоже насчитывающие уже тысячи человек, сражаются «с кокаиновыми марксистами» за политический контроль над сельскими

районами, а поскольку принцип «вы становитесь тем, что вы ненавидите» работает, то эти военизированные группы также перехватили частичку доходной наркоторговли… Все или почти все внушительные преступления в Колумбии связаны с производством и торговлей наркотиками. Прежде всего — кокаином. Для Колумбии кокаин имеет не менее пагубное значение, чем для России водка.

Шведка Карин Лиден, профессор-полиглот, преподававшая в Колумбии, Эквадоре и Перу и собиравшая материал для книги, сделала в Академии наук в Стокгольме в октябре 2003 года доклад о коке:

«Легенда, распространённая у колумбийских и перуанских индейцев, гласит: когда в конце XV века в Америку прибыли европейцы, исконные обитатели континента обратились за помощью к богу Солнца, и он велел им: „Доверьтесь коке, она накормит и исцелит вас, даст вам силы выжить“. И действительно, кока помогла аборигенам вынести те лишения и невзгоды, которые обрушились на них после встречи двух миров в 1492 году. У людей западной цивилизации весьма предвзятое отношение к коке, её связывают исключительно с наркотиками. Но крайне важно видеть и понимать принципиальную разницу между кокой и кокаином, а эти понятия часто путают. <…> Во всём мире в любом колумбийце видят наркодельца. Но то, что в Колумбии так развит кокаиновый бизнес, — не её вина, а её беда. Не её вина, что в силу природно-климатических условий на этой древней зачарованной земле, как назвал свою родину Маркес, растёт кока. Не её вина, что вследствие выгодного географического расположения там обосновались многочисленные наркогруппировки и целые наркокартели. Не её вина, что на Западе сформировался многомиллионный рынок потребителей наркотиков. Именно в существовании этого рынка кроется главная причина процветания наркобизнеса. <…> У нас были все возможности извлечь пользу из андской травы. Но мы, в очередной раз проявив глупость, обратили её против самих себя… Бог Солнца не только приказал им довериться коке, но и предрёк: „Белых настигнет страшная кара за их злодеяния и преступления. Однажды они осознают магическую силу коки, но не будут знать, как ею воспользоваться. Кока превратит их в скотов и безумцев“. Ныне, к несчастью, видим, что предсказание могущественного индейского божества сбывается».

Маркес никогда не чурался детективных приёмов, хотя, конечно, автором детективов его можно было бы назвать с той же долей условности, что, например, и Достоевского. Но детективные приёмы, рычаги, явно или завуалированно, Маркес

использует во многих своих книгах. Здесь же, в «Извещении о похищении», детективная история — это скорее мастерски выписанный криминальный репортаж о похищении мафией журналисток.

«Изысканнейшая преступность…» Пожалуй, если спросить случайного прохожего где-нибудь на улице Мельбурна, Торонто, Шанхая или Кейптауна, кого из знаменитостей дала Колумбия, будут названы два имени: Габриель Гарсиа Маркес и Пабло Эскобар. Великий писатель-гуманист и наркоделец-убийца. Что-то в этом есть не только абсурдное (так экскурсовод в Зальцбурге сказала нам, что Австрия дала миру двух великих людей: Вольфганга Амадея Моцарта и Адольфа Гитлера), — но трагически закономерное.

Пабло Эскобар, земляк Гарсиа Маркеса, родившийся на карибском побережье, неподалёку от городка Медельин (где, напомним, вышла одна из первых книг Маркеса) в 1949 году, на протяжении почти двух десятилетий занимал и будоражил писательское воображение нашего героя. Ходили слухи, что Маркес даже обдумывал, не написать ли книгу о выдающемся преступнике, мол, предлагался (от имени самого Пабло) невиданный в истории гонорар — десять миллионов долларов. Американский журнал «Newsweek» уверял, что «Гарсиа Маркес зациклен на Пабло Эскобаре, потому что тот олицетворяет власть, а Маркес на самом деле одержим идеей власти, а не политики».

Вкратце биография Эскобара, которая, думается, дополнит портрет нашего героя в интерьере, такова. Росший в очень бедной набожной крестьянской семье, он, подобно большинству сверстников, любил слушать истории о легендарных колумбийских «бандитос»: как они грабили богатых и помогали беднякам. В школе пристрастился к марихуане, в шестнадцать его за это выгнали (кстати, в дальнейшем он никогда не употреблял наркотики, считая наркоманов неполноценными людьми, не курил и не пил спиртного). Пабло стал проводить время в бедных кварталах Медельина, который был рассадником преступности. Крал надгробия с кладбища и, стерев надписи, перепродавал, создав небольшую банду, начал угонять дорогие автомобили, занимался рэкетом, прославившись жестокостью и неотступностью. В семнадцать совершил первое убийство. Через несколько лет люди Пабло Эскобара похитили богатого колумбийского латифундиста-промышленника Диего Эчеварио, которому после длительных изуверских пыток по древним индейским традициям вырвали сердце. Местное беднейшее крестьянство ненавидело Диего Эчеварио — и день его смерти

отпраздновали в деревнях. Чрезвычайная энергия и дерзость, маниакальная готовность пытать и убивать ставили Эскобара вне конкуренции. Вскоре он заправлял почти всей кокаиновой индустрией Колумбии. В двадцать пять лет он женился на восемнадцатилетней «королеве красоты» (которую сам «королевой» и сделал, пообещав в противном случае отрезать членам жюри конкурса члены). К этому времени уже ни один наркоделец не мог без разрешения Эскобара вывозить кокаин за пределы Колумбии. Он снимал так называемый 35-процентный налог с каждой партии и обеспечивал её доставку. В тридцать лет он сделался одним из богатейших людей мира по версии журнала «Forbes». Став основным спонсором конкурсов красоты, вывел колумбийские и венесуэльские конкурсы на мировой уровень и, по слухам, ввёл для себя «право первой ночи» с победительницами, завёл колоссальный гарем с четырьмя сотнями изысканных наложниц. В «Неаполе», одном из своих тридцати четырёх поместий, устроил зоопарк, самый большой и красивый в Латинской Америке.

При этом Эскобар не уставал повторять, что сердце кровью обливается, когда видит, как страдают его соотечественники, и строил городские районы, где бедняки получали квартиры бесплатно и называли районы его именем — «барриос Пабло Эскобар», а также больницы, школы, церкви, которые сам со своим личным «кардиналом» (у коего на счету было не менее трёх десятков убийств и бессчётное количество изнасилований во время исповедей) освящал… Достигнув вершины в преступном мире, Эскобар пожелал взойти на политический Олимп. В 1982 году он выдвинул свою кандидатуру в Конгресс Колумбии — и стал-таки членом Конгресса, после чего включился в борьбу за президентское кресло. Когда администрация президента Рейгана объявила войну распространению наркотиков не только в Соединённых Штатах, но и по всему миру, между США и Колумбией было достигнуто соглашение, по которому колумбийское правительство обязалось выдавать американскому правосудию кокаиновых баронов. На это наркомафия в Колумбии ответила тотальным террором. Эскобар создал мощную террористическую группу «Лос Экстрадитаблес». Её члены совершали нападения на чиновников, полицейских и всех, кто выступал против наркоторговли. Спецназу Эскобара удалось даже в центре Боготы захватить Дворец правосудия, откуда его смогли выбить лишь крупные силы армии и полиции. Рекордной суммой за информацию о преступниках считается десять миллионов долларов — это вознаграждение было установлено именно за голову Эскобара. Однако никто не прельстился, понимая, что не

проживёт и суток. Поговаривали и об увеличении вознаграждения до двадцати миллионов… По пятам Эскобара следовало элитное спецподразделение, но он успешно скрывался. И делал, например, такие неожиданные предложения: за легализацию выращивания коки выплатить весь внешний долг Колумбии. Правительство Соединённых Штатов заявило, что в таком случае будет вынуждено ввести в Колумбию свои регулярные войска. Была создана «Особая поисковая группа». Нескольких человек из ближайшего окружения Эскобара арестовала секретная полиция. В ответ Эскобар похитил несколько богатейших людей Колумбии, рассчитывая, что влиятельные родственники заложников окажут давление на правительство, чтобы отменить соглашение об экстрадиции преступников в США. И расчёт оказался верен: экстрадиции отменили. После чего Эскобар сдался властям, признав некоторые незначительные преступления. Отбывал наказание он в тюрьме «Ла Катедраль», которую сам для себя и построил. Расположенная в горном массиве Энвигадо тюрьма больше напоминала престижный кантри-клаб с дискотекой, бассейном, джакузи, сауной, баскетбольной площадкой, футбольным полем. В любое время его могла посещать жена с детьми, навещали друзья и знакомые.

По некоторым данным, один из руководителей знаменитой в 1990-х годах московской организованной преступной группировки гостил у Эскобара и засвидетельствовал, что Пабло «жил в раю». Пробные партии кокаина Эскобара начали поступать на территорию России, в одном из южных городов уже создавался перевалочный пункт наркотрафика «на русском направлении». Якобы через питерский криминалитет Эскобар заказал в Кронштадте подводную лодку класса «Фокстрот», в которую могло поместиться сорок тонн кокаина. Воры в законе и два действующих адмирала (!) просили за подлодку 20 миллионов долларов (строительство её обошлось Российскому государству в 100 миллионов). Но люди Эскобара сбили цену до 5,5 миллиона. Также Эскобар нанял в Питере отставного капитана и семнадцать матросов.

«Особой поисковой группе» по решению суда было запрещено приближаться к «Ла Катедраль» ближе чем на 20 километров. И всё же Эскобару надоело в неволе — и он улетел на своём самолёте. Как рассказал сын наркобарона Себастьян, однажды, скрываясь от полиции, Эскобар вместе с сыном и дочерью оказался в высокогорном укрытии. Ночь выдалась холодной, и, чтобы согреть дочь, Эскобар «сжёг 1 миллион 964 тысячи долларов наличными». Он попытался отправить семью в Германию и объявить «настоящую» войну колумбийскому

правительству и всем своим врагам. Но Германия отказала семье Эскобара во въезде, самолёт был возвращён в Колумбию. Семья Эскобара ни в одном уголке мира не могла уснуть без кошмаров. Став самым крупным объектом охоты в нашей истории, по словам Маркеса, Эскобар нигде не осмеливался задерживаться дольше чем на шесть часов. Он продолжал свой сумасшедший бег, оставляя за собой потоки крови невинных жертв и теряя соратников, убитых… 2 декабря 1993 года Эскобара «запеленговали» по телефонному разговору с сыном в одном из его домов в Медельине. Во время штурма дома он выбрался через окно и бежал по крышам, но выстрелом в голову был убит снайпером. На похоронах его оплакивали тысячи людей (для которых он строил дома и больницы). Однако власти США до сих пор ведут поиски Пабло Эскобара, полагая, что застрелен был его двойник.

И вот что примечательно. В современной Колумбии мальчишек, мечтающих быть «как Паблито», неизмеримо больше, чем тех, кто намерен делать жизнь с «Габито», — несмотря на Нобелевскую премию последнего.

В документальной повести «Извещение о похищении» Маркес скрупулёзно, профессионально (юридическое образование здесь сыграло едва ли не более важную роль, чем литературный талант) разбирается во всех перипетиях и хитросплетениях, которые непосвящённому могли бы показаться нагромождением абсурда.

У Маркеса личные счёты с бандитами: гибли, бесследно исчезали его коллеги, друзья, гибла его Колумбия. «Страна действительно попала в один из кругов ада!» — вопиет писатель.

«Извещение о похищении» намерены экранизировать. Наиболее вероятная кандидатура на главную роль — Сальма Хайек. Мексиканская и голливудская кинозвезда, сыгравшая в нашумевших картинах «Фрида» (где блистательно исполнила роль художницы Фриды Кало — жены Риверы и любовницы Троцкого), «Бандитки», «Однажды в Мексике», «История одного вампира», «Одноклассники», привлекла Маркеса не только фактурой и талантом, но и интеллектом, свойственным, мягко говоря, отнюдь не всем голливудским звёздам (Сальма дипломат по образованию, выпускница Ибероамериканского университета в Мехико). А главное — милосердием. Они знакомы с тех пор, как Сальма снималась в картине «Полковнику никто не пишет», и Маркес был очарован её рассказами о бабушке, так похожей на его бабушку Транкилину.

«Я долгое время была уверена в том, что моя бабушка — волшебница, которая знает секрет вечной молодости, —

рассказывала Сальма журналистам. — Когда в девяносто шесть лет она умерла, её кожа уже не светилась, как раньше, но у неё не было морщин!.. У меня была замечательная бабушка! Однажды она шла по улице и услышала детский плач. Младенец на руках у нищенки рыдал от голода, потому что у его матери не было молока. Бабушка, уважаемая сеньора, у которой незадолго до этого родился ребёнок, прямо на площади обнажила грудь и накормила чужого малыша. Когда она мне об этом рассказывала, я думала, что сама ни за что не смогла бы так поступить. Может быть, я бы предложила денег, но кормить грудью чужого ребёнка… И вот я приехала с благотворительной миссией в Африку, в Сьерра-Леоне. В маленькой старой больнице я увидела длинную очередь из сидящих прямо на полу в коридоре молодых мам с тоскливыми глазами. Они держали на руках крошечных детей. Один из детей, трёхнедельный малыш, никак не мог успокоиться — он был голоден, истощённая мать никак не могла ему помочь, обвисшие груди её были пусты. Наши взгляды встретились. И я будто услышала голос своей бабушки: „Если ты мать — ты не сможешь поступить иначе“. Женщина протянула мне малыша, я взяла его на руки, обнажила левую грудь и стала кормить это очаровательное чернокожее большеглазое создание, жадно схватившее губками сосок… Я кормила мальчика, а сама думала, хорошо ли, правильно ли поступаю, отдавая ему молоко своей доченьки Валентины? Но он смотрел на меня с такой надеждой, что мне стало стыдно, я подумала: „Какая же ты благотворительница, если, получая по двенадцать миллионов долларов за картину, так думаешь?“ А другие голодные измождённые женщины стали умоляюще протягивать своих детишек к моей правой груди…»

«Извещение о похищении» сразу стало мировым бестселлером. По свидетельству профессора Мартина, лишь в свои шестьдесят девять лет Гарсиа Маркес наконец-то завоевал Колумбию. Романом «Сто лет одиночества» он завоевал Латинскую Америку и весь мир, но не Колумбию. Теперь же многие земляки признавались, что боялись оторваться: казалось, если они не прочитают книгу в один присест, герои не спасутся — настолько сильно это написано.

Так у нас в 1930-х смотрели «Чапаева» (рассказывала мне мама): казалось, если не отводить взгляда от экрана, не моргать — доплывёт Василь Иваныч.

Он долго откладывал написание мемуаров, иногда нарочито, как-то по-детски, а порой и изощрённо отвлекаясь на что угодно, странствуя, ввязываясь в схватки, встречаясь с людьми, хватаясь

за новые и новые проекты, убеждая себя в том, что ещё не пришло время, что впереди ещё столько всего хорошего и разного… Час настал — диагноз засадил-таки непоседливого и неугомонного магического реалиста за книгу мемуаров «Жить, чтобы рассказывать о жизни». Эпиграф: «Жизнь — это не только то, что человек прожил, но и то, что он помнит, и то, что он о жизни рассказывает». Замечу кстати, что вторая часть фразы применительно к нему самому, может быть, даже более существенна: когда сопоставляешь его рассказы о себе, то порой кажется, что речь идёт о разных людях.

И вот как сам Маркес, похудевший за время болезни на двадцать килограммов (очки казались великоватыми на его лице), но с неизменным кокетством сообщающий, что не хотел бы пополнеть, рассказывал журналистам о своих воспоминаниях в начале 2000-х:

«Не могу сказать, что меня удручают мои отнюдь не малые года. Я всегда был готов к старости. В возрасте десяти лет я имел прозвище „Старикан“, потому что хотел казаться намного старше и, по мнению моих ровесников, мыслил и рассуждал как старый человек. <…> Перейдя свой Рубикон, я обнаружил, что человек по имени Габриель Гарсиа Маркес давно живёт несколькими, как минимум двумя, жизнями. Одна из них — моя собственная, которую я знаю, по которой иду и которой дорожу. Другая же существует совершенно независимо, автономно от меня и имеет ко мне опосредованное отношение. В этой другой моей жизни подчас происходит то, что я сам не отваживаюсь делать. Такое раздвоение произошло после того, как на меня обрушилась известность. В газетах и журналах стали появляться статьи и заметки о моём участии в мероприятиях, о которых я и понятия не имел. Из печати я узнаю о прочитанных мною в разных уголках земного шара лекциях, о своём присутствии на конференциях, презентациях, приёмах, обнаруживаю интервью с собой. Самое удивительное то, что хотя я этих интервью не давал, я готов подписаться под каждым словом. В моих интервью, выдуманных до последней точки, как ни странно, лучше, чем в интервью реальных, излагаются мои мысли, взгляды, вкусы. И это ещё что! Сколько раз, бывая в гостях у друзей, я украдкой проникал в библиотеку, отыскивал там свои книги, чтобы поставить автограф, и обнаруживал, что они уже надписаны моим почерком, моими излюбленными чёрными чернилами и в моём торопливом стиле. Я так ни разу и не решился признаться своим друзьям, обведённым кем-то вокруг пальца, что эти автографы — не мои. Доказать это было бы практически невозможно. К тому же я не хочу, чтобы меня считали старым маразматиком. Но и этим

деяния моего таинственного двойника не ограничиваются. Путешествуя по миру, я везде встречаю людей, которые виделись со мной там, где меня никогда не было, и хранят о нашей встрече тёплые воспоминания. Немало и тех, кто дружит или хорошо знаком с каким-нибудь моим родственником, который, судя по описаниям, оказывается лишь двойником настоящего члена моей семьи, да и то растерявшим почти все черты оригинала. В Мехико долгое время я регулярно встречал человека, рассказывавшего мне во всех живописных подробностях о буйных пьянках, в которых он участвовал вместе с моим братом Умберто из Акапулько. Однажды он сердечно поблагодарил меня за оказанную через брата услугу. Много лет я не мог собраться духом признаться этому сеньору, что у меня нет никакого брата Умберто из Акапулько. Подобных случаев в моей жизни было великое множество. Некоторые из них, наиболее примечательные, я собрал в статью, которую назвал „Моё второе ‘я’“. Я питал надежду, что мой двойник, прочитав эту статью, забеспокоится, что его „подвиги“ стали достоянием гласности, и прекратит вытворять неизвестно что от моего имени. Но не тут-то было. До сих пор до меня доносится эхо проделок моего второго „я“.

В последние годы конфузы, связанные с моей персоной, приобрели мрачный и даже жутковатый характер. Средства массовой информации с непонятным усердием начали меня хоронить. Много раз, включая телевизор или радио, я слышал загробный голос ведущего, сообщавшего: „Сегодня ушёл из жизни Габриель Гарсиа Маркес“… Недавно в одном ресторане в Мехико журналист сказал мне: „Маэстро, сегодня утром по радио объявили, что вы скончались“. Мне ничего не оставалось, как ответить: „Ну вот вы и видите меня — совершенно уже скончавшегося“. А какой-то умник разместил в Интернете прощальное письмо человечеству, якобы написанное мною. Я испытываю стыд и горечь, когда искренне любящие меня и искренне любимые мною поклонники принимают такую банальную пошлость за моё сочинение…»

В подтверждение сказанному вспоминаю далёкие 1970-е годы, самый пик популярности Маркеса в СССР. Однажды в Гаграх моё внимание привлекла яркая афиша. На ней были изображены джунгли, какие-то сказочные животные, птицы, насекомые, обнажённые полногрудые русалки и в центре — восточного вида мужчина с усами, похожий на Маркеса, даже с толстой книгой под мышкой, но почему-то в чалме, что меня насторожило, как и вся афиша. Подпись гуашью гласила: «Г. Г. Маркеш — магический реалист (проездом): гнев, любовь и фантазия! Нейтрализация прошлого, гарантия настоящего,

обеспечение будущего спасения от ста лет одиночества!» И — поверх текста: «Все билеты проданы!» С помощью абхазских друзей мне удалось попасть на «магического реалиста проездом». Кресла в первом ряду были заняты, судя по всему, местной партийной номенклатурой и так называемыми цеховиками-теневиками, пришедшими с жёнами или подругами в бриллиантах. Среди собравшихся душным августовским вечером в курзале была и интеллигенция из Москвы, Питера, Киева, подтрунивавшая над дремучей администрацией, не сумевшей даже правильно написать фамилию всемирно знаменитого автора «Ста лет одиночества»…

Маркеш оказался вовсе не писателем, как полагало большинство, а гипнотизёром-иллюзионистом. Он отгадывал карты, числа, ввергал добровольцев из зала в транс, в сон, демонстрировал фокусы, когда из карманов и с рук зрителей исчезали ценные предметы, украшения, но, к вящему восторгу зала, неизменно возвращались. Пока под конец шоу не повалили откуда-то снизу благовонные, разноцветные дымы, не зазвучала, будто с неба, потусторонняя тягучая музыка и не погас свет минуты на три-четыре. А когда зажёгся — и след магического реалиста простыл. Вместе с ним уже безвозвратно исчезли и тугие кошельки сидевших в первом ряду, и золотые часы «Rolex», и кое-какие украшения прекрасной половины. «Концерт окончен!» — объявил солидный пожилой конферансье в бабочке — его тут же чуть и не прикончили, хотя он был ни в чём не виноват.

…А вот что, собственно, так возмутило Маркеса — прощальное письмо человечеству, от его имени опубликованное в перуанской газете «Ла Република», перепечатанное и транслированное сотнями других СМИ, размещённое в Интернете. Озаглавлена публикация была с подтекстом: «Марионетка».

«Если бы Господь Бог на секунду забыл о том, что я тряпичная кукла, и даровал мне немного жизни, вероятно, я не сказал бы всего, что думаю; я бы больше думал о том, что говорю. Я бы ценил вещи не по их стоимости, а по их значимости. Я бы спал меньше, мечтал больше, сознавая, что каждая минута с закрытыми глазами — это потеря шестидесяти секунд света. Я бы ходил, когда другие от этого воздерживаются, я бы просыпался, когда другие спят, я бы слушал, когда другие говорят. И как бы я наслаждался шоколадным мороженым!

Если бы Господь дал мне немного жизни, я бы одевался просто, поднимался с первым лучом солнца, обнажая не только тело, но и душу. Боже мой, если бы у меня было ещё немного времени, я заковал бы свою ненависть в лёд и ждал, когда

покажется солнце. Я рисовал бы при звёздах, как Ван Гог, мечтал, читая стихи Бенедетти, и песнь Серра была бы моей лунной серенадой. Я омывал бы розы своими слезами, чтобы вкусить боль от их шипов и алый поцелуй их лепестков.

Боже мой, если бы у меня было немного жизни… Я не пропустил бы дня, чтобы не говорить любимым людям, что я их люблю. Я бы убеждал каждую женщину и каждого мужчину, что люблю их, я бы жил в любви с любовью. Я бы доказал людям, насколько они не правы, думая, что когда они стареют, то перестают любить: напротив, они стареют потому, что перестают любить! Ребёнку я дал бы крылья и сам научил бы его летать. Стариков я бы научил тому, что смерть приходит не от старости, но от забвения. Я ведь тоже многому научился у вас, люди. Я узнал, что каждый хочет жить на вершине горы, не догадываясь, что истинное счастье ожидает его на спуске. Я понял, что, когда новорождённый впервые хватает отцовский палец крошечным кулачком, он хватает его навсегда. Я понял, что человек имеет право взглянуть на другого сверху вниз лишь для того, чтобы помочь ему встать на ноги. Я так многому научился у вас, но, по правде говоря, от всего этого немного пользы, потому что, набив этим сундук, я умираю».

Текст сопровождался редакционным пояснением, что Габриель Гарсиа Маркес тяжело болен и «Марионетка» — не что иное, как завещание. Но выяснилось, что в газету этот текст передал аргентинский посол в Лиме Абель Парентини, известный как талантливый романист, и настойчиво просил напечатать его, поскольку речь будто бы шла о последней воле великого человека, — сочинил его сам посол. «Подтекстом» же «Марионетки» послужила элементарная литературная зависть.

Мексиканские и другие латиноамериканские газеты опубликовали опровержение Гарсиа Маркеса, в котором он с негодованием открещивался от этого эссе. То, что меня больше всего в состоянии убить, писал Маркес, так это чувство стыда за эту пошлость. Но любопытный факт — газет, напечатавших опровержение, несоизмеримо меньше, чем газет, журналов, бюллетеней, телевизионных и радиостанций, интернет-сайтов и проч., опубликовавших и озвучивших «сенсацию», а потом не заинтересовавшихся опровержением.

«…Всё это, так сказать, издержки излишней известности, — говорил Маркес журналистам на пресс-конференции в Мехико в 2004 году. — И ничего с этим не поделаешь. Моё второе „я“ разгуливает по белу свету, не имея моего согласия, купается в лучах моей славы, делает всё, что душе угодно, и, наверное, даже не представляет, насколько мы не похожи. Пока оно,

удовлетворённое моей жизнью и карьерой, наслаждается своим воображаемым существованием, я продолжаю стареть за письменным столом, тоскую по былому в гордом одиночестве и кручусь в этой жизни как могу».

«— Каково состояние вашей души в настоящий момент? — интересовались журналисты.

— Как минимум десять лет мою душу охватывают беспокойство и тревога. Слишком быстро наш мир меняется в худшую сторону, и эти пагубные изменения отражаются на каждом из нас. Если ещё не так давно я довольно чётко представлял течение жизни на нашей планете, то сейчас я не берусь судить, анализировать происходящие метаморфозы. Иногда мне кажется, что я вообще ничего не понимаю, ни в чём не смыслю. Может быть, я конченый романтик и мечтатель, но мне небезразлично, каким будет мир завтра и послезавтра. Поэтому, в отличие от большинства моих коллег, я не стесняюсь во всеуслышание высказывать своё мнение, свою точку зрения. Многим это не нравится, и они осуждают мою активность.

— Ваши планы на будущее?

— Мои личные планы — продолжать писать. Без своей работы я не смогу прожить и дня. Так что я тешу себя надеждой на то, что Всевышний даст мне силы реализовать все планы. В последние лет шесть я стал замечать за собой, что постоянно тороплюсь. Тороплюсь жить. Тороплюсь завершить мемуары. Тороплюсь сделать множество самых разнообразных вещей. Но при этом я стараюсь жить, как жил всегда. У меня по-прежнему есть масса желаний и не одна мечта. Одно из желаний, боюсь, неосуществимое — вернуть своих старых друзей. И смерть — не единственная преграда между нами. Есть ещё одно обстоятельство. Часто мы с Мерседес остаёмся вечером дома совсем одни и всей душой желаем, чтобы нам позвонили друзья и пригласили в гости или ещё куда-то. К сожалению, они заранее уверены, что трубку снимет живой памятник и непременно заявит, что у него сегодня важный приём или что он занят написанием очередного эпохального романа и не собирается тратить своё драгоценное время на пустяки. Эта ситуация удручает. Вскарабкавшись на вершину, я огляделся и испугался: вокруг никого нет. Необычайно страшно быть в изоляции при том, что почти двадцать четыре часа в сутки находишься у всех на виду. Вот оно — настоящее одиночество, которое так занимало меня всю мою писательскую жизнь…»

Семья — и Мерседес, и сын Гонсало, «страж дат», как его называют, и брат Габриеля Гарсиа Маркеса Хайме, и их мать, пока

была жива, — помогала ему в написании мемуаров, порой это становилось, как он сам говорил, «коллективным творчеством». Помогала не только семья. У Маркеса была «целая армия помощников». В Барранкилье, например, он «расставил пикеты» из старых знакомых, которым дал весьма кропотливые задания. Например, когда в 1997 году воспоминания уже «стучали своими молоточками» у него в голове, понадобился точный план города начала 1950-х годов с названиями улиц, а также с информацией о том, что впоследствии стало с его любимыми барами и борделями… Он звонил своим знакомым, чтобы вспомнить цвет стен в каком-нибудь заведении, имя хозяйки или дату и время появления первого парохода…

В Мехико, работая над мемуарами, он проявлял не меньшую дисциплину, чем при работе над прозой, — «оттачивая, отшлифовывая каждую фразу». Теперь, в семьдесят пять, он уже не надевал, как прежде, комбинезон, но с понедельника по пятницу придерживался железного распорядка дня: рано вставал, принимал душ, работал на ноутбуке с девяти до двух и обязательно вырабатывал определённую норму. Потом обедал, в сиесту спал, как истинный житель прибрежного города. Мерседес, как в старые добрые времена, занималась хозяйством, домом, в котором теперь всё большую роль играли внуки…

В январе 2001 года мексиканское информационное агентство *NOTIMEX* сообщало:

«С той поры, как в 1999 году стало известно о том, что лауреат Нобелевской премии, знаменитый колумбийский писатель Гарсиа Маркес болен раком лимфы, мир гадает о состоянии его здоровья… Первый том его мемуаров, который только пока и написан, повествует о его предках и о бурном романе, который соединил жизни его родителей в начале века и который впоследствии послужил источником для создания одного из бестселлеров Гарсиа Маркеса „Любовь во время холеры“. По словам Гарсиа Маркеса, „оба — и мать, и отец — были великолепными рассказчиками, со счастливой памятью любви, но в своём повествовании они настолько увлекались, что когда я попытался использовать эту историю в романе „Любовь во время холеры“, то не смог провести границу между жизнью и поэзией“».

Книга «Жить, чтобы рассказывать о жизни», эта «великая автобиография, написанная великим классиком современной литературы», была выпущена в Мехико 8 октября 2002 года. За три недели было продано более миллиона экземпляров только в Латинской Америке — ни одна из его книг не продавалась быстрее! В России книга должна выйти в 2012 году в переводе

автора этих строк.

Глава пятая
ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО БЛУДНИЦЕ

Роман, или повесть, или длинный рассказ, а скорее поэма «Вспоминая моих грустных шлюх» стал единственным художественным произведением, созданным Маркесом на рубеже веков и уже в XXI веке (но обдумывал он произведение лет тридцать, как сам сказал). Ранним майским утром 2004 года он закончил историю о старике, возжелавшем в свой девяностолетний юбилей познать юную девственную проститутку (сам по себе сюжет магически реален) и впервые в жизни испытавшем любовь. Эту удивительную поэму с самым счастливым концом, какой только можно представить у Маркеса:

«— Ах, мой грустный мудрец, ты, конечно, стар, но не идиот же! — захохотала Роса Кабаркас. — Эта бедняжка с ума сходит от любви к тебе.

Я вышел на сияющую улицу и первый раз в жизни узнал самого себя у горизонта моего первого столетия. <…> Я приводил в порядок стол — пожелтевшие бумаги, чернильница, гусиное перо, — когда солнце прорвалось сквозь миндалевые деревья парка, и почтовое речное судно, задержавшееся на неделю из-за засухи, с рёвом вошло в портовый канал. Наконец-то настала истинная жизнь, и сердце моё спасено, оно умрёт лишь от великой любви в счастливой агонии в один прекрасный день, после того как я проживу сто лет».

И вот объяснение тому, что уже после написанных мемуаров и прощаний с жизнью Маркес взялся за эту латиноамериканскую «песнь торжествующей любви». Судно вошло в портовый канал — и кажется, что его дожидался полковник, которому «никто не пишет». И «сердце спасено» — спасено Макондо из романа «Сто лет одиночества», то самое Макондо, где, по признанию Маркеса, осталось его сердце. Благодаря блуднице. Будто появившейся на свет из ребра героя поэмы. Плоть от плоти его.

Прежде чем приступить к непростой, во многом табуированной, но неизбежной в повествовании о творчестве Гарсиа Маркеса теме блудницы, блуда в жизни и литературе, обратимся к не менее древнему, исконному, ветхозаветному греху — инцесту, который, по сути, в романе «Сто лет одиночества» стал альфой и омегой вырождающегося рода Буэндиа, рода человеческого. В истинном искусстве, в литературе, начиная с Софокла, инцест — это не просто сексуальное извращение. Это

философия. Философия рока. Но в латиноамериканской литературе, наполняемой, как река, притоками и родниками, легендами, сказаниями, мифами, инцест играет особую роль.

— Между прочим, — сказала мне как-то шведская исследовательница Карин Лиден, — до XVIII века испанцы, да и не только они, не сомневались в том, что хвосты имеют фиджийцы, евреи, англичане Девоншира и Корнуэлла, беарнцы во Франции, коренные жители Бразилии и некоторые скандинавские народы. Хвостик действительно бывает у людей — но только в конце первого и в начале второго месяца эмбриональной жизни. С третьего месяца он обычно исчезает. У Маркеса в романе «Сто лет одиночества» в результате близкородственного брака родилась не игуана, чего боялись, а мальчик с хвостом — хрящиком с кисточкой на конце. В одном из интервью Маркес как-то признался, что выбрал новорождённому такой хвостик из-за полного несовпадения с действительностью. Но это ошибка: встречающиеся хвостики чаще всего именно такие, напоминающие свиной…

В 1996 году Маркес в соавторстве со своей ученицей из гаванской школы кинематографии Стеллой Малагон написал сценарий к фильму «Алькальд Эдип» — аналогию «Царя Эдипа», но в отличие от древнегреческого героя алькальд маленького городка знает, что убивает отца и спит с матерью; её сыграла вызывающе сексапильная испанская актриса Анхела Молина. (Вскоре, кстати, на берлинской эротической выставке «Venus» я посмотрел ремейк этой картины в стиле почти «жёсткого порно».)

Тема инцеста нашла своеобразное отражение и в «Осени Патриарха» с той мыслью, что любой диктатор, особенно тиран — отец народа (народов). Тем самым едва ли не естественным оказывается мотив инцеста — влечения к дочерям. И эта нота занимает не последнее место в общем эротическом звучании романа о трагедии народа, живущего под властью тирана, не способного к любви и вынужденного довольствоваться любовью к власти, не приносящей ему удовлетворения. Вспомним и то, как Патриарх, этот мачо, ведёт себя в своём курятнике, бараке для любовниц, многие из которых, возможно, его внучки или правнучки: «…И лишь в мёртвые часы сиесты всё замирало, всё останавливалось, а он в эти часы спасался от зноя в полумраке женского курятника и, не выбирая, налетал на первую попавшуюся женщину, хватал её и валил…» Намёки на инцест присутствуют и в других произведениях Маркеса. Но поистине к высотам античной трагедии возносится связь тётки с племянником в романе «Сто лет одиночества». «Роковое, неодолимое влечение друг к другу тётки и племянника подводит

черту под длинной чередой рождений и смертей представителей рода Буэндиа, не способных прорваться друг к другу и вырваться к людям из порочного круга одиночества, — пишет философ-литературовед Всеволод Багно. — Род пресекается на апокалипсической ноте и в то же время на счастливой паре, каких не было ещё в этом роду чудаков и маньяков. В этой связи нелишне вспомнить, что́ горестно утверждал, проповедовал и от чего предостерегал Н. А. Бердяев: „Природная жизнь пола всегда трагична и враждебна личности. Личность оказывается игрушкой гения рода, и ирония родового гения вечно сопровождает сексуальный акт“. Трудно отделаться от ощущения, что перед нами не одно из возможных толкований романа Гарсиа Маркеса, между тем написано это было великим русским философом ещё в 1916 году. Кстати, последняя нота „Ста лет одиночества“ — не пустой звук для русского, точнее, петербургского сознания. „Петербургу быть пусту“ — ключевой мотив мифа о Петербурге, выстраданного староверами и переозвученного Достоевским и символистами. Миф о городе, который исчезнет с лица земли и будет стёрт из памяти людей».

Тема инцеста в «нобеленосном» романе «Сто лет одиночества» стержневая и роковая: «…Её поразило это огромное обнажённое тело, и она почувствовала желание отступить. „Простите, — извинилась она. — Я не знала, что вы здесь“. Но сказала это тихим голосом, стараясь никого не разбудить. „Иди сюда“, — позвал он. Ребека повиновалась. Она стояла возле гамака, вся в холодном поту, чувствуя, как внутри у неё всё сжимается, а Хосе Аркадио кончиками пальцев ласкал её щиколотки, потом икры, потом ляжки и шептал: „Ах, сестрёнка, ах, сестрёнка“. Ей пришлось сделать над собой сверхъестественное усилие, чтобы не умереть, когда некая мощная сила, подобная урагану, но удивительно целенаправленная, подняла её за талию, в три взмаха сорвала с неё одежду и расплющила Ребеку, как маленькую пичужку. Едва успела она возблагодарить Бога за то, что родилась на этот свет, как уже потеряла сознание от невыносимой боли, непостижимо сопряжённой с наслаждением, барахтаясь в полной испарений трясине гамака, которая, как промокашка, впитала исторгнувшуюся из неё кровь.

Три дня спустя они обвенчались во время вечерней мессы. Накануне Хосе Аркадио отправился в магазин Пьетро Креспи. Итальянец давал урок игры на цитре, и Хосе Аркадио даже не отозвал его в сторону, чтобы сделать своё сообщение. „Я женюсь на Ребеке“, — сказал он. Пьетро Креспи побледнел, передал цитру одному из учеников и объявил, что урок окончен. Когда они

остались одни в помещении, набитом музыкальными инструментами и заводными игрушками, Пьетро Креспи сказал:

— Она ваша сестра.

— Не важно, — ответил Хосе Аркадио.

Пьетро Креспи вытер лоб надушенным лавандой платком.

— Это противно природе, — пояснил он, — и, кроме того, запрещено законом.

Хосе Аркадио был раздражён не столько доводами Пьетро Креспи, сколько его бледностью.

— Плевал я на природу, — заявил он…»

И эта фраза — ключевая в романе. Приговор.

Итак, в октябре 2004 года издательства «Рандом Хаус Мондадари» и «Групо Эдиториал Норма» опубликовали роман Маркеса «Вспоминая моих грустных шлюх», эту «долгожданную книгу, написанную после двадцатилетнего молчания», как сказано в аннотации. Но и тут Маркесу сопутствовал магический реализм, на этот раз с криминальным уклоном. За месяц до официальной презентации книжные «пираты» выкрали рукопись, отпечатали книгу и запустили в продажу. Издатели были в ужасе. Но умудрённый, во многом благодаря своему бесподобному литературному агенту Кармен Балсельс, многолетним опытом борьбы с «литературным пиратством» писатель их успокоил: в пику «пиратам» он сел и изменил финал романа. Миллионный тираж официального издания был раскуплен за рекордно короткий срок, буквально в несколько дней, потом его неоднократно допечатывали. Пиратские же подделки, большую часть которых конфисковала полиция, стали предметом охоты разве что коллекционеров.

Брату Габриеля Гарсиа Маркеса Хайме часто задают вопрос: «Когда вы поняли, что ваш брат — гений?» И брат отвечает: «Когда одной фразой он объяснил мне всё. От жизни — до любви».

«Эта книга — о любви, — пишет переводчица Л. Синянская. — О любви, постигшей человека в конце жизни, которую он прожил бездарно, растрачивая тело на безлюбый секс и не затрачивая души. Любовь, случившаяся с ним, гибельна и прекрасна, она наполняет его существование смыслом, открывает ему иное видение привычных вещей и вдыхает живое тепло в его, ставшую холодным ремеслом, профессию.

И ещё эта книга — о старости. О той поре, когда желания ещё живы, а силы уже на исходе, и человеку остаётся последняя мудрость — увидеть без прикрас и обманных иллюзий всю красоту, жестокость и невозвратную быстротечность жизни».

Позволим себе отметить, что «вдыхает живое тепло в его,

ставшую холодным ремеслом, профессию» — это скорее что-то из области не магического, а социалистического реализма. Нам представляется, что книга эта о художнике (в лице девяностолетнего журналиста) и его музе (в лице прелестной начинающей блудницы). О «реальности страсти, выраженной в искусстве и в любви», как говорил Борхес. Маркесовская книга-метафора — без криминально-патологических девиаций, цветов и оттенков «Лолиты» Набокова и «Смерти в Венеции» Томаса Манна. Книга эта — исповедь, песнь неизбывного влечения к девственности и чистоте. Девочка спит на протяжении всего повествования, девяностолетний старик, пришедший, чтобы напоследок попытаться лишить самою девственность девственности, любуется её обнажённым телом, вспоминает о шлюхах, с которыми на протяжении жизни спал, и не шлюхи грустны, а его воспоминания, потому как он прощается и с женщинами, и с жизнью… Но, когда читаешь, не оставляет ощущение, что эта книга о чём-то другом. Что Маркес иное имел в виду и на что-то намекает. И что как раз в этой-то небольшой по объёму, очень простой внешне вещи наиболее, может быть, сильна, но не на поверхности, сокрыта где-то в глубине «концентрация» магического реализма. (Притом до конца автор держит читателя в неведении: уж не старческие ли фантазии всё это, возбуждённые старой подругой, эдаким Мефистофелем в облике дьяволицы-проститутки Росы?) Предварена поэма «Вспоминая моих грустных шлюх» цитатой из произведения японского коллеги, собрата Маркеса «по нобелевскому цеху», — «Дома спящих красавиц» Ясунари Кавабаты:

«— Он не должен был позволять себе дурного вкуса, — сказала старику женщина с постоялого двора. — Не следовало вкладывать палец в рот спящей женщины или делать что-нибудь в этом же духе».

Возможно, Маркес прибег к аналогии, чтобы не оставаться в одиночестве, «для того, — считает Мартин, — чтобы затушевать тот факт, что сексуальные отношения между зрелыми мужчинами и девочками-подростками — повторяющийся мотив в его произведениях».

«Вспоминая моих грустных шлюх»… Были в других переводах этого произведения на русский вместо шлюх и проститутки и бляди. Как и многие переводы названий произведений Маркеса, перевод условен. Быть может, причина кроется в том, что у Маркеса названия — словно строка стихотворения то ли какого-то поэта, то ли звучащая в сознании самого автора, притом нередко взятая вне контекста: «А смерть всегда надёжнее любви», «Самый красивый утопленник в мире», «Старый-престарый сеньор

с огромными крыльями», «Тувалкаин куёт звезду», «Самолёт спящей красавицы», «Любовь и другие демоны»… Его названия и через поколения превращаются в слоганы, в припевы — как в песне группы «Би-2», прозвучавшей в культовом фильме «Брат-2»: «Полковнику никто не пишет, / Полковника никто не ждет…»

«…Я предупредил: пусть девочка будет в том виде, в каком Бог выпустил её в мир, и никакой краски на лице. Она гулко хохотнула. „Как скажешь, но ты лишаешь себя удовольствия снять с неё одежду, вещичку за вещичкой, как обожают делать старики, уж не знаю почему“. — „А я — знаю, — ответил я. — С каждым таким разом они старятся всё больше“. Она согласилась. „Идёт, — сказала она, — значит, ровно в десять вечера, да поспей, пока она тёпленькая“».

Тема эта — влечения старости и дряхлости к юности и невинной чистоте — из разряда вечных. Серхио Рамирес, писатель, журналист, вице-президент Никарагуа при сандинистах, преподаватель основанной Гарсиа Маркесом Школы современной журналистики, подтверждает, что Маркес восхищался романами Ясунари Кавабаты, особенно его «Спящими красавицами», которые, скорее всего, и навеяли ему «Шлюх».

«Я нашёл книгу Кавабаты после долгих поисков, но потом забыл её в самолёте по пути в Манагуа, — вспоминал Рамирес. — Но Габо мне прислал её в подарок, чудное издание с прекрасными иллюстрациями. История зачаровывает сразу: клиенты приезжают в бордель, где встречаются с обнажёнными юными красавицами, погружёнными в наркотический сон. Клиентам позволено всё, но нельзя будить и трогать красавиц… Маркес находил это чрезвычайно поэтичным! Он хотел сделать ремейк-детектив… Он вообще склонен поэтизировать бордели, жизнь блудниц…»

В книгах Маркеса почти не фигурируют дамы среднего возраста (исключение составляют лишь те, прообразом коих является матушка), его героини — или девочки, или уже старухи, притом первым отдаётся несомненное предпочтение. Любимая ипостась — тринадцати-четырнадцатилетняя девственница или девушка, только-только утратившая девственность и будто ещё до конца не осознающая это, не смирившаяся с тем, что стала женщиной. Вспомним и судьбоносный факт: с будущей женой он познакомился, когда той было тринадцать. А с какой магической, заполоняющей чувственностью и нежностью рисует он своих девочек! Ремедиос Прекрасная, тринадцатилетняя Эрендира, тринадцатилетняя Сиерва Мария из «Любви и других демонов», двенадцатилетняя школьница, с которой Патриарх впервые в жизни познаёт радость секса, четырнадцатилетняя Америка Викунья, племянница и подопечная героя романа «Любовь во

время холеры», уже семидесятилетнего Флорентино Ариса, с которой он вступает в сексуальную связь… И вот — начинающая проституточка из «Грустных шлюх», которой только-только исполнилось четырнадцать… (Кстати, слово «секс» Маркес не использует — только «любовь».)

«Я вошёл в комнату, — сердце готово было выскочить из груди, — и увидел спящую девочку, голую, в чём мать родила, такую неприкаянную, на огромной, чужой постели. Она лежала на боку, лицом к двери, освещённая ярким верхним светом, не скрывавшим ни одной подробности. Я сел на край кровати и, заворожённый, смотрел на неё, впитывал всеми пятью чувствами. Она была смуглая и тёпленькая. Её, видно, готовили, мыли и прихорашивали, от макушки до нежного пушка на лобке. Завили волосы, ногти на руках и ногах покрыли лаком натурального цвета, но кожа медового оттенка была обветренной и неухоженной. Грудки, только-только наметившиеся, были ещё похожи на мальчишеские, но чувствовалась в них готовая вот-вот брызнуть скрытая энергия. Самое лучшее в ней были ноги, наверное, мягко ступавшие, с длинными и чувственными пальцами, как на руках. Даже под работавшим вентилятором она вся светилась капельками пота, жара к ночи стала совсем невыносимой. Невозможно было представить себе её лицо под густым слоем рисовой пудры, густо накрашенное, с двумя пятнышками румян, накладными ресницами, чернёными бровями и веками, и с губами, щедро размалёванными помадой шоколадного цвета. Но ни одежда, ни косметика не могли скрыть её характера: гордо очерченный нос, сросшиеся брови, хорошо вылепленный рот. Я подумал: нежный боевой бычок».

В этой теме любопытно, думается, было бы сопоставление художественных пристрастий самых знаменитых писателей латиноамериканского «бума» — друзей-врагов Гарсиа Маркеса и Варгаса Льосы. Устойчивое предпочтение Льосы, тоже с юности и на всю жизнь, — бальзаковского возраста крупные женщины с пышными формами. Об этом свидетельствуют и давний его знаменитый почти автобиографический роман «Тётушка Хулия и писака», и один из последних — «Похвальное слово мачехе», в котором сорокалетняя мачеха Лукреция соблазняет малолетнего сына своего мужа (точнее, он, воплощённый Эрос, — её). Эта «Мачеха» привела в замешательство, а то и шокировала и читателей, и критиков неожиданно откровенным пряным эротизмом и тем, что можно было бы отнести к порнографии, если бы не несомненный талант и мастерство автора.

«Я по многу раз переписываю сексуальные сцены, — говорил в одном из интервью Льоса, — добиваясь того, чтобы они были

подробными, но не были вульгарными. Физическая любовь в последнее время настолько затаскана в литературном смысле… Кажется, что всё, что могли сказать, уже сказали. Что выразить её на каком-то новом, скажем так, более свежем уровне уже невозможно. Ну а я хотел показать, что возможно».

«Изощрённое письмо, поэтически-чувственно воспевающее и возвышающее интимные и даже низменные моменты, оказывается значительнее банальной сюжетной схемы, — писали критики о „Похвальном слове мачехе“ Льосы. — Поэтому разрушенная гармония „идеальной“ семьи восполняется высшей гармонией природного начала, а поражение индивидуума — торжеством слияния плоти и духа…»

Для Маркеса же «божество и вдохновение» — «прекраснейшая из новосотворённых роз». Как и для Кавабаты, которому первый литературный успех принесла ещё в 1925 году повесть «Танцовщица из Идзу» о любви студента и девочки-танцовщицы. Два главных персонажа, автобиографический герой и невинная девушка-героиня, проходят через всё творчество Кавабаты. Впоследствии его ученик Юкио Мисима отзывался о характерном для творчества Кавабаты «культе девственницы» как об «источнике его чистого лиризма, создающего вместе с тем настроение мрачное, безысходное». «Ведь лишение девственности может быть уподоблено лишению жизни… В отсутствие конечности, достижимости есть нечто общее между сексом и смертью…» — заметил писатель-самурай-гомосексуалист Мисима, который, напомним, миновав бурную молодость и войдя в средний возраст, сделал себе харакири.

— У нас настоящий культ девственницы — как символ открытия, овладения нашим континентом, — объясняла мне Мирабаль. — Помню, в Мехико меня представили одному известному человеку, скажем так. Мужчине за сорок. А мне — четырнадцать. И я сразу почувствовала… нет, не шаломаслянистый взгляд, а то, как ещё мгновение назад замотанный делами, он ожил, почти физически наполнился поэзией! И как изумительно в тот вечер он читал стихотворение своего любимого Дарио «Леда» из цикла «Песни жизни и надежды», будто тайно посвящая их мне или таким, как я! «Взъерошив перья, шелковист и нежен, / любовью ранен он — и потому / по-олимпийски прост и неизбежен / и Леда покоряется ему. / Побеждена красавица нагая, / и воздух от её стенаний пьян, / и смотрит, дивно смотрит, не мигая, / из влажной чащи мутноокий Пан».

— А Пан-то мутноокий, — заметил я. — И стихотворение отнюдь не детское.

— Четырнадцатилетний человек у нас, тем более девушка — не ребёнок.

С этим утверждением трудно не согласиться. Например, на Кубе мне довелось наблюдать, что наибольшую активность проявляют именно тринадцати-четырнадцатилетние задорные девчонки, задавая тон и на дискотеках, и на сборе цитрусовых, и на площади Революции, где Фидель произносил свои многочасовые, будоражащие речи.

«В 1986 году, прилетев в Москву, — вспоминала Л. Синянская о давней встрече Маркеса в аэропорту, — навстречу ожидавшим вышел спокойный, усталый человек, уже вступивший в пору славы не только на литературном, но и на политическом Олимпе. Он посмотрел, нет, даже не посмотрел, а чуть повёл взглядом в сторону ожидавших его журналистов, друзей, знакомых и любопытствующих и устало приопустил веки. Точно свинцовые шторы. Засверкали блицы, защёлкали, застрекотали камеры. Однако ни один из журналистов не кинулся к нему с микрофонами и вопросами, вмиг поняв, что не преодолеть им этой непроницаемой, властной стены отчуждения. И вдруг из толпы выскочила юная девушка, почти подросток, — дочь его старого друга — и кинулась на шею писателю, прильнула к нему. На лице Мастера проступило волнение, глаза засветились. Несколько лет спустя, читая его рассказ „Самолёт Спящей красавицы“, я вспомнила эту сцену и невольно задалась вопросом: что это было — душевная радость встречи с отпрыском соплеменника в чужой… стране или плотское блаженство прикосновения к юному, невинному и прекрасному телу? Во всяком случае, затихшему залу выпало наблюдать мгновения счастья».

«Так где и петь ему, — задавался поэтическим вопросом Дарио, — если не здесь, в царстве сатира, которого он очарует пением, где же, если не здесь, в лесу, где всё веселится и пляшет, пленяет красотой и манит любовью, где вакханки и нимфы вечно девственны и вечно дарят ласки, где же, если не здесь, где вьются виноградные лозы, и звенят цитры, и хмельной козлоногий царь, подобный Силену, пляшет перед фавнами?»

Но всё-таки справедливости ради надо сказать, что не одними лишь «нимфетками», по выражению Набокова, пленяется Маркес. Он влюблён во всех без исключения женщин, его творчество пронизано, напоено мужской страстью, обожанием, неизбывным, всесильным и всепобеждающим желанием Её Величества Женщины.

Не знаю, каким образом маркесовская экспансия проистекала в других странах, а у нас, в СССР, повторим, роман «Сто лет

одиночества» завоёвывал всенародную любовь в значительной мере именно сладостью «запретного плода», сексом, казавшимся безудержным, сумасшедшим, а главное — свободным! (Так некогда приманчивы были и любовно-постельные сцены Хемингуэя, Фолкнера, Сэлинджера, Генри Миллера.)

Немного у Маркеса героинь среднего, промежуточного возраста — равно как и «промежуточной» морали: или блудницы — или святые. Однако населил свои произведения он таким количеством блудниц, вакханок, жриц любви, шлюх, проституток, что вполне хватило бы на публичный дом. «Материал для ваяния» Маркес черпал прежде всего из жизни. Но влияние великих учителей с молодости сказывалось и в этом. Того же Фолкнера, который в интервью французскому журналу «Пари ревю» сообщил, что лучше всего ему работается в домах терпимости, потому что «по утрам там царит тишина и покой и работа идёт особенно плодотворно, а по ночам там всегда праздник, вино и люди, с которыми бывает очень интересно поговорить».

В конце 1990-х годов в Аргентине было опубликовано целое исследование о блудницах, шлюхах, проститутках в литературе Латинской Америки, в атмосфере специфических латиноамериканских диктатур: «Диктаторы и блудницы».

В романе Мигеля Анхеля Астуриаса «Сеньор Президент» одна из глав так и называется — «Публичный дом». Через заведение, которому оказывает покровительство сам диктатор, проходят все слои общества, таким образом, бордель становится коллективным портретом горожан и всей страны. Сам Астуриас неоднократно признавался критикам и журналистам, что бордели описывал, базируясь исключительно на собственном богатом опыте, посещая весёлые дома как в родной Гватемале, так и во многих других странах Латинской Америки. В романе Карлоса Фуэнтеса «Старый гринго», вышедшем в 1985 году и имевшем огромный успех не только в испаноязычных странах, но и в США, описывается основанная на реальных событиях история североамериканского писателя и журналиста, который бросает всё, чтобы пересечь мексиканскую границу и присоединиться к войскам одного из вождей мексиканской революции — Панчо Вильи. (По роману был снят фильм с голливудскими звёздами Грегори Пеком и Джейн Фондой.) В революционных войсках полно разного люда, но едва ли не главную роль играют именно проститутки. Роман «Век просвещения» был написан кубинцем Алехо Карпентьером в начале 1960-х, вскоре после революции на Кубе. Действие происходит во время Великой французской революции. В Гаване злые языки, всяческие диссиденты утверждали, что, учитывая мировоззрение и биографию Карпентьера, прожившего большую

часть жизни во Франции и других цивилизованных сытых странах Европы, то есть вдали от революционной Кубы, выходит, что революция и проституция — едва ли не близнецы-сёстры. В романах Марио Варгаса Льосы блудниц даже, пожалуй, больше (хотя никто ещё не подсчитывал, насколько нам известно), чем у Маркеса и других «бумовцев». Начиная с первого романа, сделавшего юного писателя знаменитостью, — «Город и псы». Действие романа, напомним, разворачивается в стенах военного училища, куда родители отдают своих подростков-детей для «исправления», чтобы из них «сделали мужчин». Кадеты же, чтобы стать мужчинами, отправляются строем в публичный дом. В крупнейшем и структурно наиболее сложном произведении Варгаса Льосы — романе «Зелёный дом» — много персонажей: бандиты-контрабандисты, полицейские и солдаты, индейцы и провинциальные чиновники, деклассированные обитатели трущоб и миссионерки-монашенки. Но основным собирательным персонажем является сам «Зелёный дом» — то ли вся тропическая страна Перу, то ли реальное заведение зелёного цвета, или, попросту говоря, огромный публичный дом на окраине города Пьюры. В романе «Капитан Панталеон и рота добрых услуг» (1973) Льоса вводит читателя в публичный дом для военных, где всё подчиняется казарменной дисциплине и напоминает реально существовавшую в Перу военную диктатуру Веласко Альварадо. По этому роману также был снят кинофильм — из разряда мягкого порно, но с отдельными элементами жёсткого, он так и называется: «Рота добрых услуг», в нём снимались как актрисы, так и профессиональные проститутки.

Можно рассматривать как автобиографические и аналогичные мотивы в произведениях Маркеса — он в этом неоднократно признавался, называя проституток своими «добрыми друзьями». Его «похвальное слово блуднице» — интервью журналу «Playboy», которое мы уже цитировали, можно считать и его «мужским кредо», и своеобразным синопсисом будущей книги «Вспоминая моих грустных шлюх». Любопытный факт: в большинстве его произведений нет положительных в привычном понимании героев — кроме проституток, которые всегда добры, щедры, готовы к самопожертвованию. И он всю жизнь с ними, подле них, с детства в Аракатаке — Макондо. «Для тех чужеземцев, — читаем в романе „Сто лет одиночества“, — кто не привёз с собой своей милой, улица любвеобильных французских гетер была превращена в целый город, ещё более обширный, чем город за металлической решёткой, и в одну прекрасную среду прибыл поезд, нагруженный совершенно особенными шлюхами и вавилонскими блудницами, обученными

всем видам обольщения, начиная с тех, что были известны в незапамятные времена, и готовыми возбудить вялых, подтолкнуть робких, насытить алчных, воспламенить скромных, проучить спесивых, перевоспитать отшельников…»

Но вернёмся к роману-поэме «Вспоминая моих грустных шлюх», где также многое взято из реальной жизни, вплоть до борделя Чёрной Эуфемии, в котором сам Маркес в молодости провёл немало времени.

«…И почти тотчас же я проснулся от телефонного звонка, и ржавый голос Росы Кабаркас вернул меня к жизни. „Везёт дуракам, — сказала она. — Я нашла курочку, даже лучше, чем ты хотел, но с одной закавыкой: ей только-только четырнадцать“. — „Ничего, поменяю ей пелёнки“, — пошутил я, не поняв, к чему та клонит. „Да не в тебе дело, — сказала женщина, — а кто мне оплатит три года тюрьмы?“

Никто и ничего не должен был платить, а она — и подавно. Она собирала свой урожай именно на малолетках, они были товаром в её лавке, у неё они делали свой первый шаг, а потом она жала из них сок до тех пор, пока они не переходили к более суровой жизни дипломированных проституток в знаменитый бордель Чёрной Эуфемии. Роса Кабаркас никогда не платила штрафов, потому что её дом был аркадией для местных властей, начиная губернатором и кончая последней канцелярской крысой из мэрии, и трудно было вообразить, что хозяйке этого заведения не хватает власти, чтобы нарушать закон в своё удовольствие».

Исповедь маркесовского старика — искренняя и порой парадоксальная, с неизбежными в подобных случаях (если таковые вообще возможны) элементами абсурда. «Тем, кто меня спрашивает, я всегда отвечаю правду: продажные женщины не оставили мне времени, чтобы жениться. Однако, надо признать, это объяснение не приходило мне в голову до дня моего девяностолетия, до той минуты, когда я вышел из дома Росы Кабаркас, твёрдо решив никогда больше не искушать судьбу».

«В двенадцать лет, ещё в коротких штанишках и школьных башмаках, — вспоминает то ли герой произведения, то ли автор (помним, как отец отправил Габито в бордель), — я не мог устоять против искушения познакомиться с верхними этажами… Женщины, до рассвета торговавшие своим телом, с одиннадцати утра начинали жить домашней жизнью; жара под стеклянным куполом была невыносимой, и они бродили по всему дому в чём мать родила, громко, в полный голос обмениваясь впечатлениями о ночных похождениях. Я испугался. Единственное, что пришло мне в голову, — это убежать тем же путём, каким пришёл, но тут одна из этих голых, плотная и мясистая, пахнувшая горным

мылом, обхватила меня сзади, так что я не мог её видеть, и потащила в свой картонный закуток под радостные крики и аплодисменты нагих постоялиц. Швырнула меня навзничь на постель для четверых, мастерски сдёрнула с меня штанишки и оседлала, но холодный ужас, сковавший моё тело, не дал принять её, как подобает мужчине. Ночью, дома, мучаясь стыдом за пережитый налёт, я не мог ни на минуту заснуть от желания снова увидеть её. И на следующее утро, когда ночные работяги ещё спали, я, дрожа, поднялся в ту каморку и, рыдая, разбудил женщину, обезумев от любви, которая длилась до тех пор, пока её не смёл безжалостный ураган действительности…»

Надо сказать, что Маркес и в свои почти восемьдесят не утратил отваги, проходя, как канатоходец без страховки, над пошлостью и порнографией: талант, без него, как мы не раз отмечали, подобные сцены выходят за рамки литературы. «В сексуальном плане возраст никогда меня не заботил, — философствует старик, — потому что мои возможности зависели не столько от меня, сколько от женщин, — они знают что и как, когда хотят. Сегодня мне смешны восьмидесятилетние мальчишки, которые, чуть какой-нибудь срыв, испуганно бегут к врачу, не ведая, что в девяносто будет ещё хуже, но станет уже не важно: этот риск — расплата за то, что ты жив. И торжество жизни как раз в том, что память стариков не удерживает вещи несущественные и лишь очень редко изменяет нам в чём-то по-настоящему важном. Цицерон выразил это одной фразой: „Нет такого старика, который бы забыл, где спрятал сокровище“. <… > Никогда ни с одной женщиной я не спал бесплатно, а в тех редких случаях, когда имел дело не с профессионалками, всё равно добивался, убеждением или силой, чтобы они взяли деньги, пусть даже для того, чтобы выкинуть их на помойку. С двадцати лет я начал вести им счёт, записывал имя, возраст, место встречи и вкратце — обстоятельства и стиль каждого случая. К пятидесяти годам в моём списке значилось пятьсот четырнадцать женщин, с которыми я был хотя бы один раз. И перестал записывать, когда тело уже было не способно на такую прыть и я мог продолжить счёт без бумажки, в уме. У меня была своя этика. Я никогда не участвовал ни в групповухах, ни в прилюдных совокуплениях, никогда ни с кем не делился секретами и никому не рассказывал о приключениях своего тела или души, ибо с юных лет знал, что ни то ни другое не остаётся безнаказанным…»

Но самое, может быть, важное — понимание того, что проститутки вдохновляли «художника в юности», по выражению Джойса. Вдохновляли безотказностью, податливостью, пусть не всегда искренней, притворной, но столь порой необходимой

молодому человеку. Вспомним, как в юности Маркес читал жрицам любви стихи и ранние свои рассказы, и они переживали, исповедовались ему, точно священнику, открывали душу и трогательно помогали, стирая ему рубашки, перепечатывая на машинке его рукописи… Вспомним, сколь не банальные, не клиентские отношения связывали нашего героя с колумбийкой Марией, «блудницей от Бога», как она себя называла, с той же увековеченной им чернокожей Эуфемией…

«„Вспоминая моих грустных шлюх“, — объяснял Маркес, — это своего рода попытка поставить им всем памятник. Не мне судить, что из этого вышло». Неисчерпаемая тема — роль проститутки в мировой литературе. Достойна ли блудница, представительница древнейшей профессии, памятника? На этот вопрос трудно ответить. (Авторитетнейшее в этой области издание «Sex-guide international» сообщает, что за первое десятилетие XXI века не менее 170 тысяч человек спаслись от суицида благодаря жрицам любви.)

На обложке испаноязычного издания «Шлюх» — фотография старика в белом, удаляющегося, может быть, в загробный мир. «Вспоминаются полковники в отставке, которых Гарсиа Маркес выводил в своих произведениях. Однако этот старик до жути напоминает самого писателя — похудевшего, слабеющего, с поредевшими волосами. Именно так он выглядел, когда вносил последние изменения в эту книгу перед тем, как отдать её в печать», — констатирует профессор Мартин.

Знаменитый американский писатель Джон Апдайк в своём книжном обозрении в «The New Yorker» отозвался на публикацию книги с восхищением, написав, что «повестью „Вспоминая моих грустных шлюх“ Габриель Гарсиа Маркес заверил, что мечта осуществится в этом году — или в следующие сто лет, он доказал, отправляя это любовное послание нашему меркнущему свету, что не только жив, но исполнен желаний и своего бесподобного могильно-олимпийского юмора».

Глава шестая
СТАРЫЙ ГАЗЕТЧИК

«Ваш корреспондент — старый газетчик, — писал Хемингуэй. — Значит, все мы — свои люди». Воздав должное первой древнейшей профессии, Маркес вновь всецело отдался второй древнейшей — журналистике, притом с чрезвычайной энергией. И это, пожалуй, уникальный случай в истории с писателем такого — высшего — ранга. Возникает ощущение, что журналистика и есть его главное и самое действенное лекарство от всех недугов.

В январе 1998 года Маркес как специальный корреспондент делал репортажи для колумбийских СМИ об историческом визите папы римского Иоанна Павла II на Кубу.

Маркес задавался вопросом, волновавшим миллионы людей во всём мире: «Визит папы на Кубу — успех Ватикана или Гаваны?» И отвечал, что завершившаяся пастырская поездка папы римского дала положительные результаты для обеих сторон: как для Ватикана, стремящегося к расширению поля деятельности и влияния католической церкви на Кубе, так и для Гаваны, крайне заинтересованной в разрушении старых стереотипов в восприятии режима на международной арене.

В делегации Ватикана не скрывали, что поражены знанием правил протокола и этикета, которые продемонстрировал кубинский лидер. Оказывается, от папы римского следует всегда находиться с левой стороны. Веками заведено, что к главе Святого престола нельзя подходить ближе трёх метров, если только сам папа не выразит желание, чтобы к нему приблизились. Бестактностью считается обгонять папу. Похоже, все эти тонкости были прекрасно известны Фиделю Кастро, который безукоризненно организовал личную встречу с папой во Дворце Революции — штаб-квартире его режима, где работают Госсовет и Совет министров и проводит свои заседания политбюро компартии. Фидель Кастро, сменивший военную форму на элегантный штатский костюм, подчёркнуто уважительно встретил понтифика. Они имели возможность беседовать без свидетелей второй раз в жизни после встречи в Ватикане в 1996 году. Кстати, ещё в самолёте, по пути на Кубу, Иоанн Павел II заявил журналистам, что ожидает от беседы с Фиделем Кастро правды об истинном положении вещей на острове и об отношении Кубинского государства к Церкви. Скорее всего, так и останется загадкой, услышал ли папа искомую правду из уст Фиделя

Кастро. (Дабы продемонстрировать гибкость, Фидель объявил Рождество национальным праздником — правда, всего лишь на год. Но отношение к религии на социалистической Кубе было в принципе гораздо более лояльное, чем, например, у нас: храмы не взрывали.)

В аэропорту в день отлёта Иоанн Павел II неожиданно отступил от заранее распространённого текста выступления, сказав, что начавшийся в последний день визита дождь, по его мнению, знаменует новые времена для Кубы. Как бы то ни было, не оставляет сомнений, что визит папы римского, хотя и не способен сотворить политического чуда, но будет иметь весьма важные международные и внутренние последствия для кубинцев. Достаточно сказать, заключал Гарсиа Маркес, что администрации США, хочет она того или нет, теперь, скорее всего, придётся дополнительно разъяснять миллионам американских католиков свою политику многолетнего экономического эмбарго по отношению к Гаване. В свою очередь, кубинскому режиму придётся пойти на то, чтобы позволить Церкви играть более значимую роль в жизни общества.

«К сожалению для Кубы, Фиделя и Гарсиа Маркеса, — пишет профессор Мартин, — этому историческому, переломному визиту понтифика на Кубу не было уделено достойного внимания, он не был должным образом освещён в прессе, потому как Америка в те дни была всецело поглощена скандалом в Белом доме Клинтона с Моникой Левински».

— Нет, ну ты подумай, что за народ! — возмущался Маркес в телефонном разговоре с Плинио Мендосой. — Для них минет святее папы римского!

— А чему ты удивляешься, Габо? Разве не помнишь, как в начале семидесятых вся Америка зачитывалась книжкой «Deep Throat» («Глубокая глотка») о девице, у которой клитор оказался в горле, и она, путешествуя по Штатам, с шофёрами, моряками, музыкантами напропалую занималась тем же самым, чем Моника с Биллом? Тираж книжки был фантастический, его раскупили за считаные дни, особенно домохозяйки, принимая как руководство к немедленному действию, — вот о чём надо писать, а ты всё про своих полковников, диктаторов, любовь…

Вскоре была опубликована статья (и, как водится, переведена на десятки языков) Маркеса «Почему моему другу Биллу пришлось лгать». Он не акцентировал внимание на некоем заговоре республиканцев, подославших девицу к президенту с целью опозорить и объявить импичмент, а чуть ли не в библейском духе вопрошал мужчин: кто из вас без греха? «Приводя в смятение женщин по всему миру», Маркес оправдывал

своего друга из Белого дома, представляя его здоровым, но замотанным мужиком, согласившимся на то, чтобы симпатичная молодая стажёрка сняла ему стресс, и решившим скрыть это от жены.

Ренессанс журналистской активности у Маркеса был неразделим с неустанной посреднической деятельностью, прежде всего, конечно, между Кубой и другими странами Латинской Америки и Соединёнными Штатами («Я пошёл в свою тётушку, которая была бесподобной сводней!» — в шутку говорил он Мутису). Но далеко не всегда его посредничество увенчивалось успехом. Отнюдь. Пример: переговоры с Белым домом, с ЦРУ в 1998 году. С письмом-нотой от Фиделя Кастро по поводу серии терактов в Гаване Маркеса должен был принять лично Клинтон, неоднократно признававшийся в том, что является большим почитателем его творчества. Но президент США уклонился от встречи, вместо него Гарсиа Маркеса приняли три чиновника. Встреча длилась пятьдесят минут. Ему сказали: «Мистер Маркес, вы блестяще выполнили свою миссию!» — и крепко пожали руку. «Я вышел, — писал потом Маркес, — в полной уверенности, что наши усилия не напрасны, что вопрос передачи послания президенту — технический и решение не заставит себя ждать». И действительно, после визита Маркеса в Белый дом началось некое формальное сотрудничество Вашингтона с Гаваной. В середине июня на Кубу прибыли специалисты из США «для изучения документов и доказательств, добытых в ходе расследования кубинскими спецслужбами». Разведка Кубы передала ЦРУ расшифровки записей телефонных переговоров, видео- и фотодокументы… Плотно отужинав в легендарном гаванском кабаре «Тропикана», пообещали ответить и разобраться «очень быстро, без всяких проблем». И действительно, ответили быстро. Вся информация, предоставленная сотрудникам ЦРУ, была обращена против Кубы, а именно — на выявление в Майами внедрённых с целью предотвращения терактов на Кубе в ультраправые антикубинские группы «агентов Кастро». 12 сентября 1998 года, воспользовавшись информацией, переданной от Фиделя Кастро Маркесом, ЦРУ по приказу президента Клинтона, «почитателя творчества Маркеса», арестовало пятерых кубинских агентов — так называемую «пятёрку из Майами». Кубинцы были осуждены на пятнадцать лет без права досрочного освобождения.

В 1999 году Маркес осуществил мечту юности: приобрёл журнал.

«— Да! — задиристо заявил на пресс-конференции семидесятидвухлетний Маркес. — Я всегда мечтал иметь свой

собственный журнал, чтобы мне никто не указывал, что в нём публиковать. Потому что считаю себя прежде всего журналистом, а потом уж писателем».

Журнал назывался «Cambio» (в переводе с испанского — изменение, перемена), выходил в Колумбии и Мексике. Бывалый бизнесмен и старый друг Мутис пытался предостеречь Габо от опрометчивого с финансовой точки зрения шага, но Маркес, как говорится, закусил удила и совершил покупку, даже не поинтересовавшись балансом, расходами, договорами на публикацию рекламных объявлений, на распространение и прочей «рутиной». Он радовался, как ребёнок, получивший вожделенную игрушку. Если бы он читал книгу Ильфа и Петрова «Золотой телёнок», то вполне мог бы воскликнуть вслед за обретшим миллион турецкоподданным О. Бендером: «Сбылась мечта идиота!» (Забегая вперёд отметим, что этот журнал в какой-то момент Маркеса почти разорит.)

Самым энергичным, деятельным и плодотворным сотрудником «Камбио» стал, естественно, его новый владелец. В феврале 1999 года он напечатал очерк «Загадка двух Чавесов», посвящённый только что избранному президенту Венесуэлы.

Маркес и Чавес познакомились в Гаване на форуме лидеров Кубы, Колумбии и Венесуэлы. Из-за «титанической занятости обоих», как писали кубинские репортёры, времени на обстоятельный разговор не было. По приглашению Чавеса Маркес совершил вместе с ним перелёт из Гаваны в Каракас на самолёте венесуэльских ВВС. Как мы знаем, наш герой всю жизнь был подвержен магии сильных мира сего и едва ли не с первого взгляда очаровывался, можно сказать, влюблялся, а потом нередко разочаровывался (что произошло и в случае с Уго Чавесом): «С первого момента меня поразила мощь его тела, словно вылитого из железобетона. Он исключительно приветлив и обладает креольской грацией чистокровного венесуэльца… Один из двух — человек, которому выпал шанс спасти свою страну; другой — иллюзионист-манипулятор со всеми замашками очередного деспота».

В том же феврале 1999 года группа репортёров «Камбио» под руководством «дона Габриеля» освещала мирные переговоры высших руководителей Колумбии и леворадикальных РВСК, более сорока лет ведущих партизанскую войну с правительством. Испанская газета «Эль Паис» писала на первой полосе: «Гарсиа Маркес окончательно вернулся в журналистику, осуществив скрупулёзное исследование событий, предшествовавших исторической встрече в минувший четверг президента Колумбии Андреса Пастраны и партизан в местечке Сан-Висенте-дель-

Кагуан». Далее публиковался коллективный репортаж журналистов «Камбио».

В июне 1999 года у Маркеса состоялось рандеву, правда, в присутствии посторонних и под прицелом фото- и телекамер, с поп-дивой Шакирой. Сейчас её имя известно всем — Шакира неустанно шокирует мир. В то время, произведя фурор в Колумбии, она начала восхождение на мировой музыкальный олимп, и очерк великого прозаика, в котором он осыпал двадцатидвухлетнюю певицу комплиментами, способствовал её триумфу. Маркесу понравилась необычная манера исполнения, особый стиль песен Шакиры, которая сама пишет тексты и музыку. «В отличие от попсы её песни наполнены смыслом и искренностью…» — писал он.

«Никогда в жизни не могла подумать, что меня будет интервьюировать сам Гарсиа Маркес! — восхищалась Шакира на пресс-конференции. — Он не только гениальный писатель, но и необыкновенно галантный мужчина. Мне было необычайно приятно беседовать с ним. Сначала я чувствовала себя немного скованно, но обаяние Габриеля помогло мне быстро освоиться.

— А как ты отреагировала на его признание в любви?

— Я испытала шок! Услышать такие нежные слова от величайшего человека — незабываемое ощущение! Конечно, Габриель сказал это в шутку, но всё равно мне было очень приятно. И надо было слышать и видеть, как он это произнёс! Он — необыкновенный, он замечательный!..»

Естественно, «жёлтая» латиноамериканская пресса не преминула хорошо заработать на сплетнях о бурном романе звёзд — «закатывающейся и ослепительно восходящей». Писали об их тайных свиданиях на Арубе и ещё каких-то островах, кто-то видел их целующимися в ресторане в Санто-Доминго, кто-то — на пляже в Акапулько… Папарацци сулили редакциям шокирующие фотографии голой Шакиры с Маркесом… Сам Маркес, впрочем, реагировал примерно так же, как в своё время пожилой и умудрённый в шоу-бизнесе художник Сальвадор Дали — на сообщения о его романе с юной певицей Амандой Лир, — усмехался в серебряные усы.

«Некто свыше вложил в эту девочку ангельскую внешность, мудрость и необыкновенный талант», — писал Маркес.

Шакира Изабелла Мебарак Рипойл родилась в городе Барранкилья в семье колумбийки благородного происхождения и ливанца. Имя Шакира в переводе с арабского означает «женщина, полная изящества и благодати», с хинди — «богиня света». В четыре года начала сочинять стихи и песни. Альбом «Босые ноги, высокие мечты» (смесь поп-рока и латиноамериканских ритмов) в

1996 году сделал её знаменитой. Шакира основала благотворительный Фонд босых ног, цель — привлечение средств для детей из малоимущих семей Латинской Америки (нередко Шакира выступает на сцене босиком, да и везде, кроме официальных мероприятий, появляется босой). Под влиянием Маркеса, «старшего друга», Шакира стала идейным вдохновителем и Фонда солидарности латиноамериканских деятелей культуры (ALAS), объединившего знаменитых писателей, музыкантов, художников для помощи нуждающимся в Латинской Америке. «Со своими бесконечными „Grammys“, „MTV–Video Awards“, рекламными кампаниями „Face of PEPSI“ грациозная Шакира, самый молодой посол доброй воли ЮНИСЕФ, обворожила всех! — писала пресса. — „Музыка Шакиры — это её внутренний мир, не похожий ни на один другой, — был уверен великий колумбиец, лауреат Нобелевской премии Гарсиа Маркес, неоднократно встречавшийся с молодой звездой. — В ней все возрасты восхитительно перепутаны: зрелость, детство, юность… Никто не умеет танцевать, как она, — с такой чувственностью и невинностью… Наиболее скользкая сторона — любовь. Она её превозносит, идеализирует, она — сила её песен, но в разговоре на вопросы о ней она отшучивается“». «Дело в том, — смеясь, говорит Шакира, — что брака я боюсь больше смерти». В видеоклипе Шакиры на суперхит «Whenever, Wherever», снятом в 2004 году, можно увидеть кадры одной из её встреч с Маркесом, и она будто изнутри светится, фонтанирует любовью, притом не только покорно дочерней.

За саундтрек к фильму «Любовь во время холеры» «Despedida», записанный по просьбе самого Маркеса, Шакира номинировалась на «Золотой глобус». Естественно, она не могла не побывать (отменив концерт) и на премьере «их с Габриелем» фильма — на другое утро газеты отмечали, что в «коротком, облегающем безупречную фигуру платье леопардовой расцветки с золотым поясом, в золотистых туфлях на высоких каблуках, с распущенными русыми волосами, с кошачьей пластикой и обворожительной улыбкой Шакира на премьере своего земляка и старшего друга-поклонника была бесподобна, многие мужчины в зале завидовали Маркесу, когда поп-дива его целовала».

После премьеры бульварная пресса вновь заговорила об их романе: «Он — гениальный писатель, она — выдающаяся поэтесса, композитор, певица и просто красавица. Некоторые учёные считают, что для передачи и развития так называемого „обученного белка“, то есть интеллекта и талантов, разница в возрасте между мужчиной и женщиной в пятьдесят лет — идеальна. Тем более что и для Габо, и для Шаки цифра „7“ всегда

была счастливой (родилась в 1977 году)!» Публиковались забавные и, конечно, ненаучные рассуждения по поводу полувековой разницы в возрасте между мужчиной и женщиной, которые вступают в связь, и даже делались смелые выводы: «вероятность появления на свет гения высока чрезвычайно, особенно у таких родителей, как дон Габриель и Шакира».

Используя свой журнал как рупор, как оружие, и в 2000-х годах Маркес проявляет высочайшую работоспособность и активность в вопросах культуры, политики и этики. Как только в 2001 году Испания ввела визовый режим для граждан Колумбии, он в открытом письме испанскому правительству выразил свой протест и пообещал, что его нога не ступит на испанскую землю. Вскоре Маркес стал виновником ещё одного инцидента. На втором Конгрессе испанского языка в Мехико он внёс проект реформы орфографии. В его проекте предлагалось допустить написание испанских слов так, как они звучат. Убелённые сединами знатоки языка Сервантеса и Лорки были шокированы высказываниями живого классика испаноязычной литературы до такой степени, что решили не приглашать его на следующий конгресс в аргентинском городе Росарио-де-ла-Фе. Но всё-таки пригласили и упросили присутствовать.

Утром 11 сентября 2001 года в США произошёл невиданный в истории человечества теракт. Помимо девятнадцати террористов, в результате атак погибли 2974 человека, ещё 24 пропали без вести. Маркес откликнулся на эту трагедию «Письмом североамериканцу»:

> «Каково тебе, янки, когда это происходит в твоей стране? Что ты чувствуешь, когда ужас воцаряется в твоём доме, а не в доме твоего соседа? Когда страх теснит твою грудь, когда оглушительный грохот, безумные крики, рушащиеся здания, этот ужасный запах, проникающий во все поры лёгких, глаза бредущих невинных людей, покрытых кровью и пылью, сеют всеобщую панику? Каково тебе прожить хотя бы один день в своём собственном доме, не зная о том, что может произойти завтра? И как избавиться от состояния шока? В состоянии шока находились 6 августа 1945 года те, кто выжил в Хиросиме. <…> Было и другое 11 сентября — 28 лет назад, когда погиб президент по имени Сальвадор Альенде, сопротивлявшийся государственному перевороту, который спланировали твои правители. <…> Когда башни-близнецы рушились в облаках пыли,

когда ты видел по телевизору эти изображения или слышал ужасные крики, раздававшиеся в Манхэттене, не подумал ли ты хоть на секунду, что испытывали вьетнамские крестьяне в течение долгих лет? В Манхэттене люди падали с небоскрёбов как марионетки в трагическом спектакле. Во Вьетнаме люди кричали и корчились от боли, так как напалм сжигал их тела в течение длительного времени. Но их смерть была такой же ужасной, как и тех, кто в полном отчаянии прыгал 11 сентября с башен в небытие. Твоя авиация не оставила нетронутой ни одну фабрику, ни один мост в Югославии. В Ираке было уничтожено вами 500 тысяч человек. Полмиллиона душ унесла операция „Буря в пустыне“! Но сколько ещё людей умерло от ожогов, от ран, от пуль и осколков, истекая кровью в таких экзотических и далёких от вас местах, как Вьетнам, Ирак, Иран, Афганистан, Ливия, Ангола, Сомали, Конго, Никарагуа, Доминиканская Республика, Камбоджа, Югославия, Судан — их список воистину бесконечен!

Во всех этих странах использовались снаряды и бомбы, изготовленные на фабриках в твоей стране, „made in USA“. Это несущее смерть оружие нацеливалось на жертвы твоими парнями, которым платил Государственный департамент, — и всё это только для того, чтобы ты мог наслаждаться „американским образом жизни“.

Почти сто лет твоя страна воюет со всем миром… Каково почувствовать этот ужас, ворвавшийся в твою жизнь хотя бы однажды? Какие мысли приходят в голову, если вспомнить, что жертвами в Нью-Йорке были простые секретарши, операторы биржи, уборщицы, которые исправно платили налоги и за свою жизнь не убили даже мухи? Каково почувствовать этот страх? И что ты, янки, чувствуешь теперь, когда эта бесконечная война пришла, в конце концов, в твой дом?

Г. Гарсиа Маркес».

Через несколько дней после террористического акта информационные агентства всего мира, но особенно США злорадно (других поводов позлорадствовать не нашлось, когда ещё извлекались из-под завалов трупы) сообщили, что предложенную на аукционе по стартовой цене в полмиллиона долларов вёрстку романа «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркеса с правкой автора «никто не пожелал приобрести».

Вёрстка романа с 1026-ю собственноручными поправками Маркеса была подарена писателем близким друзьям — испанскому кинорежиссёру Луису Алькорису и его супруге. Поскольку рукопись «Ста лет одиночества» не сохранилась, эта вёрстка была объявлена ЮНЕСКО памятником литературы. Вместе с остальными предметами, подаренными писателем чете Алькорисов, вёрстку передали на аукцион «Субастас Веласкес» в Барселоне их наследники, решившие на этом заработать. Но вёрстка великого романа так и осталась непроданной. Мутис поинтересовался, что думает друг «по поводу клоунады с аукционом», Маркес ответил, что его это из колеи не выбьет.

В 2002 году в Картахене в возрасте девяноста семи лет умерла его мать.

«Мою маму, — говорил Маркес в интервью, — Луису Сантьягу Маркес Игуаран называли „цветком Аракатаки“. Она была очень красивой и благовоспитанной. <…> Мама — лучший из моих читателей. Она безошибочно находила ключ ко всем моим книгам и всегда точно угадывала, кто являлся прототипом того или иного персонажа».

Донья Луиса Маркес была истинной хранительницей очага. У неё было 11 детей, 67 внуков, 73 правнука и 5 праправнуков. Однажды мексиканский журналист Гильермо Очоа написал её литературный портрет: «Луиса Маркес де Гарсиа — женщина, которая никогда не расчёсывает на ночь волосы, „иначе моряки могут не вернуться из моря“, — объяснила она. „Что вас в жизни больше всего радует?“ И она не колеблясь ответила: „То, что одна из моих дочерей — монахиня“».

Её хоронили как национальную героиню. Знаменитый сын на похороны не поехал. После смерти матушки он долго хранил траурное молчание. В мировой литературе никто больше не создал столько образов, масштабных, ярких, непохожих друг на друга, живых, со своими сложнейшими и неповторимыми характерами, переживаниями, судьбами, прототипом которых явилась мать. Прежде всего — Урсула из «Ста лет…».

Осенью 2001 года газета «Эль Культураль» опубликовала репортаж о том, как и каким вошёл в XXI век Гарсиа Маркес.

«Когда брату Хайме Гарсиа Маркесу задают вопрос о том, что произошло с его старшим братом с тех пор, как весь мир узнал, что лауреат Нобелевской премии страдает от ракового заболевания лимфатической системы, тот отвечает прямо, как настоящий инженер, коим и является, не увиливая, без экивоков и пространных объяснений: „Он железный. Пишет, пишет и ещё раз пишет. Всё, точка“. И это так. Совсем немногое, почти ничего не было известно о нём с той летней ночи 1999 года, когда он попал

в больницу „Санта-Фе“ в Боготе, стойко перенёс диагноз „общее истощение организма“, отправился в Лос-Анджелес, где опять попал в больницу и выписался из неё. Говорили, что он провёл в США несколько месяцев и проходил там курс лечения от какого-то заболевания, название которого считалось в Колумбии государственной тайной, но теперь всё находится под контролем. Что он вернулся в Колумбию в декабре 1999 года, чтобы вместе со своей семьёй — Мерседес и детьми — и мексиканским писателем Карлосом Фуэнтесом встретить в Картахене новое тысячелетие. Что он вернулся к журналистике в начале 2001 года, когда появился в Мексике на обложке только что вышедшего журнала „Cambio“, беря интервью у команданте Маркоса, лидера движения сапатистов Чиапы… Вчера в Мексике в качестве журналиста, сегодня в Колумбии как нобелевский лауреат, обедая с Мадлен Олбрайт, госсекретарём США…

Он появлялся и исчезал. До тех пор, пока не раздался едва ли не приказ. „Вы должны сконцентрироваться на своих воспоминаниях. Лишь на этом“, — сказали ему врачи в Лос-Анджелесе. Они были обеспокоены. Только что, в возрасте пятидесяти трёх лет, скончался его брат — Элихио, „соучастник“ его творчества, автор „Ключей Мелькиадеса“ — пространного исследования „Ста лет одиночества“. „Это было сильным ударом для него“, — признаёт Хайме, восьмой из одиннадцати братьев Габриеля, управляющий Фондом новой латиноамериканской журналистики, основанным в 1995 году нашим героем.

Наряду со смертью Элихио нападения, совершённые террористами 11 сентября, и прочие многочисленные кровавые теракты ещё больше увеличили страхи Габо, которого друзья называют неисправимым трусом, потому что он боится всего: летать на самолёте, голода, нищеты, старости, смерти. „Он ни с кем не разговаривает. Он звонит сам, когда хочет поговорить с нами. Страх смерти заставил его заниматься только своими воспоминаниями“, — говорит журналистам Гильермо Ангуло, кинематографист, фотограф и друг писателя. Другой его близкий друг — журналист Хайме Абелье, подтверждает: „Болезнь послужила для Габо веским аргументом, чтобы изменить свою жизнь. Мерседес удалось создать вокруг него своеобразный защитный барьер. И он оставил жизнь в обществе“… Именно потому в Лос-Анджелесе колумбийский лауреат Нобелевской премии создал свой мир, ограждённый от всего, — заключает корреспондент „Эль Культураль“. — Устранился он также и от своих столь известных отношений с властью».

Но ненадолго. В марте 2003 года Маркес обратился к президентам Мексики и Чили с призывом отказаться от

поддержки войны в Ираке. Буквально за несколько часов до начала военных действий в Персидском заливе Михаил Горбачёв ответил на вопросы издателя журнала «Камбио». Редакционный «врез» к публикации гласил: «Писатель Гарсиа Маркес решил узнать, что о сегодняшнем кризисе думает человек, которому два десятилетия назад удалось предотвратить конфронтацию между двумя державами, в определённый момент казавшуюся неизбежной. Речь идёт о бывшем президенте Советского Союза Михаил Горбачёве, несмотря на свою отставку постоянно находящемся в курсе всего происходящего в мире. В мире, который так и не смог решительно отказаться от вооружённых решений конфликтов. С одним из главных действующих лиц XX столетия Гарсиа Маркеса связывает дружба».

«Когда я познакомился с вами в Москве пятнадцать лет тому назад, — обращался он к Горбачёву, — мне казалось, что вы мечтали о новой эре человеческого братства, которая после стольких бедствий привела бы нас к счастью. Именно то незабываемое впечатление заставило меня вспомнить о вас в эти злополучные дни, когда один неверный шаг какого-нибудь безответственного правителя может покончить со всем живущим на Земле. Именно потому я и осмеливаюсь предложить вам несколько тем для размышлений, которые могли бы дать нашему несчастному миру мощный толчок к спокойствию и братству. Сегодняшний кризис, когда единственная в мире сверхдержава грозится начать войну, является следствием нового международного порядка, образовавшегося после реформирования СССР. Вы когда-нибудь предполагали, что в результате перестройки мир может оказаться в подобной ситуации?

— Современный мировой кризис — это не следствие „нового международного порядка“ уже потому, что новый порядок не удалось создать по окончании холодной войны, — отвечал Горбачёв в своём стиле (который довёл до совершенства, читая лекции по всему миру о том, как развалил СССР). — В этом всё дело. Перестройка имеет к этому отношение лишь постольку, поскольку с ней связана ликвидация холодной войны. В этом, а также в том, что она положила начало неконфронтационной международной политике и дипломатии, её историческая заслуга всемирного значения…»

В мае того же 2003 года в одном из публичных выступлений Маркес «огорошил аудиторию предложением легализовать наркотики»: дескать, в этом он видит единственный способ победить наркобизнес. Через несколько дней, правда, объявил, что его слова «не совсем верно интерпретировали».

Он упрямо продолжал посредническую деятельность — на него уповают, как «на второго — после Бога», сказала обезумевшая от горя мать троих сыновей, двух убитых и одного живого, но политического заключённого, а может быть, и террориста (что в Латинской Америке нередко одно и то же).

В конце 2003 года Маркес выступил в роли посредника в переговорах между правительством Колумбии и вооружённой группировкой левацкого толка ELN, «Армией национального освобождения». Переговоры проходили в Гаване. Это была попытка сторон прийти к политическому соглашению и разрешить вооружённый конфликт, раздирающий Колумбию на протяжении тридцати лет. Участвовал он и в мероприятиях XXVII Гаванского международного фестиваля нового кино Латинской Америки, который также проходил в кубинской столице.

В январе 2004 года «Сто лет одиночества» стала в США так называемой «Oprah Book», то есть книгой, которую в своём суперпопулярном телевизионном ток-шоу рекомендовала «всем Соединённым Штатам обязательно прочитать» самая знаменитая телеведущая мира, миллиардерша Опра Уинфри. На другой же день книга вернулась на первое место по продажам (с 3116-го!), стала книжным хитом для очередного, уже интернетовского поколения американцев, книг почти не читающего. Позже «Книгой Опры» была названа и «Любовь во время холеры».

Он всегда был активен, но теперь, на фоне болезни и в виду неуклонного приближения восьмидесятилетия, — особенно, временами даже гиперактивен, как говорили друзья. Он старался не впадать в грех уныния, не давать годам и болезни себя одолеть, не сдаваться, не сдаваться, как повторял вслед за Черчиллем его дед, полковник Маркес. Как всегда, силу духа поддерживала работа — в основном политическая публицистика и посредническая деятельность: ходатайства, участие в переговорах (как только его не клеймили в прессе — и агентом влияния, и наймитом Кастро, Миттерана и прочих, и «кастровским лакеем», по выражению друга-врага Варгаса Льосы)! Поддерживали и путешествия. В середине 2000-х годов Маркес сотни и сотни часов провёл в полётах, которые ненавидел, но которые теперь для него являлись своеобразной терапией. Отвлекало от невесёлых мыслей также решение житейских, бытовых проблем, связанных, например, с жильём — его ремонтом, перестройкой, как в Мехико, или сменой, как в Париже. Он с увлечением вместе с парижскими риелторами подыскивал квартиру более просторную, чем их старая, на rue Stanislas, и, что для него почему-то стало важным, с более

интересным видом из окон. Купили большую квартиру на ru du Вас, оказавшись (случайно, какая неожиданность!) соседями Тачии Кинтаны, поселившись прямо под ней.

«Может быть, хоть это поможет тебе закончить воспоминания», — сказала Мерседес.

Предположим, что однажды, после «индейского», «бабьего» лета, тёплых золотисто-пурпурных дней, когда погода испортилась, они с Тачией вышли, не сговариваясь, одновременно из подъезда. И этот пасмурный дождливый день напомнил другой день, полувековой давности, когда они познакомились. Миновав церковь Сент-Этьен-дю-Мон, они пересекли площадь Пантеона, вышли на подветренную сторону бульвара Сен-Жермен, дошли до площади Сен-Мишель и оказались в одном из кафе, уютно высвеченных огоньками. Сняв мокрый плащ, сев за столик, заказав кофе с коньяком, закурив, Тачия вспомнила, что в молодости они редко бывали в кафе, но однажды после её премьеры вот здесь же, только на той стороне площади, ели зажаренную в кипящем масле *friture* с превосходным баскским белым вином. И Маркес помнил тот вечер. Тачия сказала, что, увидев его по телевизору обнимающимся и расцеловывающимся с президентом Франции Франсуа Миттераном, вспомнила, как он, Габо, собирал на улицах Парижа пустые бутылки… Сказала, что в статьях и книгах о нём пишут, будто бы он проявлял чудеса изворотливости и фантазии, чтобы сильные мира сего приглашали на всевозможные приёмы, но всё у него в жизни получилось, что бы ни говорили, а она актрисой не стала. Сказала, что прочитала «Любовь во время холеры» о том, как герои ждали друг друга.

«Флорентино Ариса ни на миг не переставал думать о ней с той поры, как Фермина Даса бесповоротно отвергла его после их бурной и трудной любви; а с той поры прошли пятьдесят один год, девять месяцев и четыре дня. Ему не надо было ежедневно для памяти делать зарубки на стене камеры, потому что и дня не проходило без того, чтобы что-либо не напомнило ему о ней…»

Выйдя из кафе, не сговариваясь, пошли тем же маршрутом, что и в тот день, когда познакомились. Припускал холодный колючий дождь. Остановившись на перекрёстке, Тачия сказала, что в его интервью она читала, будто он писал эту книгу о любви своих родителей. Спросила, так ли это. Маркес отвечал, что образы, характеры, как всегда, собирательные, что, конечно, воспоминания тоже имеют значение… Тачия сказала, что Фермина Даса похожа на неё в молодости. И потом, помолчав, добавила: а если бы тогда, пятьдесят один год, девять месяцев и четыре дня назад… Но умолкла, не договорив, прикрываясь

зонтом от капель дождя, швыряемых в лицо порывами ветра. Вдоль Сены мерцали фонари. Пришвартованные барки были темны и безжизненны. На ветвях платанов бледнели немногие уцелевшие поникшие листья. Одинокие светофоры на перекрёстках словно пытались что-то сказать редким прохожим и автомобилям, огни которых, отражаясь в лужах, вытягиваясь, множась, расщепляясь, будто дрожали от холода. Но все торопились домой.

Ещё в январе 2006 года в интервью испанской газете «La Vanguardia» Маркес объявил, что больше не будет писать. «„В прошлом году впервые за всю свою жизнь я не написал ни строчки. С моим опытом мне не составило бы труда написать новый роман, но люди бы сразу поняли, что я не вложил в него сердца“. Тем не менее его почитатели надеются, что Великий Колумбиец найдёт в себе силы завершить обещанные ранее трилогию воспоминаний и сборник рассказов „Встретимся в августе“. Ведь ещё четыре года назад писатель, полный оптимизма, говорил: „Мои личные планы — продолжать писать. Без своей работы я не могу прожить и дня“».

Двадцать шестого января 2006 года вместе с Эрнесто Сабато, Фрейем Бетто, Эдуардо Галеано, Пабло Миланесом и другими известными латиноамериканскими деятелями культуры Маркес выступил с требованием предоставления независимости Пуэрто-Рико…

Так, в кипучей, бьющей через край деятельности, в стремлении успеть помочь, успеть сказать, прокричать, чтобы услышали, не успевая обернуться, подошёл, подплыл, подлетел наш герой к своему восьмидесятилетию.

2007 год был объявлен годом Гарсиа Маркеса в Латинской Америке и Испании. Его чествовал весь мир.

Маркес прибыл в родную Аракатаку из города Санта-Марта в компании бизнесменов и политиков. Как сообщило «BBC News», его встречали сотни поклонников, а весь город был увешан жёлтыми воздушными шариками, которые должны были напомнить о бабочках из самого знаменитого романа писателя. Поезд «Макондо экспресс», на котором он приехал, также был весь разрисован жёлтыми бабочками.

Торжества открылись в начале марта в Картахене посвящённым Гарсиа Маркесу международным фестивалем кино- и телефильмов по его произведениям. В афише фестиваля были представлены 195 художественных и документальных лент. В середине марта в Картахене же состоялась Конференция панамериканской прессы, на которой присутствовали два

почётных гостя: Билл Гейтс (тогда самый богатый человек планеты, но вскоре уступивший пальму первенства другому другу Габо — мексиканскому телекоммуникационному магнату Карлосу Слиму Элу) и Маркес, который не стал ничего говорить, но «обещал вернуться». В конце марта также в Картахене прошёл IV ежегодный Международный конгресс испанского языка — «в честь Габриеля Гарсиа Маркеса». В апреле ему была всецело посвящена книжная ярмарка в Боготе, притом в год, когда Богота была объявлена «мировой книжной столицей». Маркесу был вручён орден Конгресса Колумбии, церемония награждения прошла в Картахене…

День рождения отмечался на последнем этаже лучшего в Картахене отеля «Passion», где остановился прибывший на торжества король Испании Хуан Карлос II. Присутствовали также пять экс-президентов Колумбии, экс-президент США Билл Клинтон, миллиардеры, мегазвёзды, друзья-писатели Мутис, Фуэнтес… Отсутствовал лишь сам юбиляр. Когда за ним послали и спросили, что случилось, он ответил: «Меня никто не приглашал».

Весь многотысячный зал картахенского конференц-центра встал при появлении Гарсиа Маркеса с супругой, аплодисменты, переходящие в овацию, длились четыре с половиной минуты. Вскоре появились король Испании Хуан Карлос с доньей Софией. И те, кто сидел в первых рядах, заметили, что король, обмениваясь на сцене рукопожатием с писателем, приветствовал его в традициях латиноамериканского студенческого братства, сцепив свой большой палец с пальцем Маркеса, что свидетельствовало о встрече равных.

Речь Маркеса была проста и непродолжительна. Он вспомнил молодость в Картахене, помянул своих друзей-хохмачей из Барранкильи, из которых никого уже не было на свете, рассказал, как бедствовали они с Мерседес в Мехико и как не было денег даже на то, чтобы отправить в издательство рукопись «Ста лет одиночества»…

И в России в честь восьмидесятилетия Маркеса прошли праздничные мероприятия. В Москве были организованы пресс-конференции, коллоквиумы на тему «Произведения Гарсиа Маркеса в театре и кино». 19 октября 2007 года в Центральном доме литераторов состоялась пресс-конференция, посвящённая тройному юбилею великого писателя. Посол Колумбии в России Диего Тобон рассказал о жизни Маркеса, об успешной учёбе на юриста в Боготе, о его очаровательной жене Мерседес, о том, как Маркес обратил внимание всего мира на латиноамериканскую литературу. Посол также рассказал о левых взглядах писателя и

его первом визите в Москву в 1957 году в качестве человека-оркестра колумбийского ансамбля на форум молодых коммунистов. Писатель Генрих Боровик назвал колумбийского писателя «всеземным» и сравнил с Сервантесом, Хемингуэем, Толстым, Достоевским и Чеховым. «Это человек, очень твёрдо стоящий на земле, знающий её досконально. К нему надо относиться как к гению, но и как к очень живому, простому человеку». И в подтверждение Боровик рассказал историю о том, как писатель подшутил над ярким модным пиджаком Евгения Евтушенко, когда принимал их у себя дома вместе с другими писателями и поэтами…

Двадцать четвёртого октября 2007 года в ЦДЛ состоялось выступление ансамбля народных танцев Колумбии, был показан художественный фильм «Хроника объявленной смерти». Из Женевы на празднование юбилея прибыла Маргарет С. де Оливейра Кастро, многие годы изучающая творчество Маркеса. Французский писатель Эдуардо Гарсиа посвятил своё выступление теме «Гарсиа Маркес: кинематографическое искушение».

Весь год продолжались торжества — пожалуй, и в этом был установлен рекорд Маркеса, по крайней мере среди живущих писателей. Роман «Сто лет одиночества» был включён Испанской королевской академией в список двадцати шедевров мировой литературы — наряду с «Дон Кихотом» Сервантеса.

Но всё-таки самым трогательным признанием заслуг Гарсиа Маркеса стал титул «Великого сказителя», присвоенный ему — вместе с вручением ритуального посоха — индейцами племени вайуу, которое обитает в тех местах, где наш герой появился на свет.

В октябре 2009 года стало известно, что за Гарсиа Маркесом в течение восемнадцати лет следили мексиканские спецслужбы.

За ним велось скрытое наблюдение в связи с его левыми взглядами и близостью к Фиделю Кастро, сообщало РИА «Новости». Это обнаружилось после того, как были рассекречены и опубликованы документы Федерального управления безопасности Мексики. Маркес стал объектом слежки Федерального управления безопасности Мексики (политическая полиция) в 1967 году, когда из-за угроз вынужден был покинуть Колумбию и переехать в мексиканскую столицу.

Среди обнародованных документов — тайные донесения агентов о его встречах с экс-президентом Франции Миттераном, активистами левых движений стран Латинской Америки, а также окружением кубинского лидера Фиделя Кастро. В одном из

опубликованных донесений говорится, что «Гарсиа Маркес известен и даже бравирует прокубинскими и просоветскими настроениями и является секретным агентом кубинской разведки». В архивах политической полиции есть фотографии Маркеса, сделанные из окон соседнего с домом лауреата Нобелевской премии особняка в Мехико. В то же время, как отмечают мексиканские СМИ, никаких последствий слежка для писателя не имела. Из документов разведки следует, что агентам не удалось проникнуть в близкий круг общения Маркеса, будто он «надёжно прикрыт службой безопасности президентского уровня».

И на девятом десятке он не оставлял журналистику, эту «лучшую работу на свете».

«Мы счастливы, когда находим жемчужину сюжета, и тяжко страдаем, когда история плохо написана», — говорил он, выступая в мексиканском городе Монтеррей перед студентами и прессой. Он рассказывал, как начинал журналистом, как работал в революционной Гаване, рассказывал о Фиделе, Че Геваре…

Его цитировало агентство «France Presse», которое почти в то же самое время цитировало и выступление Сое Вальдес, известной кубинской писательницы, диссидентки, высланной с Кубы, живущей во Франции. (Когда-то на Кубе автор этих строк был с ней знаком, она произвела впечатление свободно, неординарно, парадоксально мыслящей, остроумной и красивой женщины, к которой студенты филфака Гаванского университета не могли остаться равнодушными.)

«— Сое, что вы можете сказать о современном положении литературы на Кубе?

— Мои книги на Кубе запрещены. Их можно найти только в диссидентских кругах и частных библиотеках. Не знаю, слышали ли вы о том, что семнадцать человек были приговорены к двадцати годам заключения только за то, что у них нашли мои книги.

— Как вы считаете, почему кубинским диссидентам не верят в мире, когда они рассказывают о насилии, которому они подвергаются со стороны властей?

— Если ты не кубинский диссидент, то мировой общественности не требуется доказательств. Как только речь идёт о кубинце, то сразу же слышны возгласы: „О чём ты говоришь? На Кубе никогда не применяли пыток в отношении заключённых!“ Наверное, это связано, с тем, что существует некий стереотип, который трудно преодолеть. Я это очень болезненно переживаю. Я уже не первый раз обращаюсь к главам государств с просьбой:

сделайте всё возможное для освобождения политических заключённых на Кубе, попросите Кастро как можно быстрее освободить заключённых! Мало кому известно, и об этом предпочитают молчать, что за годы жесточайшей диктатуры на Кубе бесследно исчезло более восьмидесяти тысяч человек, пятнадцать тысяч были казнены.

— А какова позиция латиноамериканских писателей, проявляют ли они солидарность с кубинскими правозащитниками?

— Габриеля Гарсиа Маркеса умиляет власть. Каждый раз, когда он посещает Кубу, Фидель устраивает для него роскошную жизнь. Вы, наверное, знаете, что нобелевский лауреат выступает против смертной казни. Вместе с тем, когда по приказу Кастро были казнены три молодых человека за попытку побега с острова, — он промолчал. Мне кажется, что у него есть исключения, и они касаются только Кубы. Всё это ужасно».

Обвиняли Маркеса многие кубинские диссиденты. Писатель Рейнальдо Аренас в своей статье «Габриель Гарсиа Маркес: идиот или мерзавец?» писал, что «пора всем интеллектуалам стран свободного мира (а в других таковых нет) выступить против столь беспринципного пропагандиста коммунизма, который, прячась за гарантиями и возможностями, что даёт свобода, содействует тому, чтобы задушить её».

Когда в июле 2006 года команданте Фидель Кастро, отовсюду подвергаясь нападкам, тяжело заболел, Маркес поддержал друга — опубликовал в своём журнале эссе «Фидель, которого я знаю», которое перепечатали, как повелось, многие издания мира. Быть может, не слишком объективное эссе. Но, что бы ни говорили, не бывает в дружбе объективности. Приязнь и пристрастность — вот удел настоящей дружбы.

«Кастро — это слово, — писал Маркес. — Это обаяние, искусство, которым он владеет. Это всегда самое важное, ключевое. Это порывы вдохновения, так ему свойственные. О его пристрастиях и силе воли написано много. Он бросает курить, чтобы иметь моральное право бороться с курением. Он разрабатывает и записывает свои кулинарные рецепты с научной скрупулёзностью. Он поддерживает себя в прекрасной форме — благодаря ежедневным физическим упражнениям и плаванию, которому уделяет большое внимание. <…> Можно сказать с уверенностью: где бы он ни был, с кем бы он ни был, Фидель Кастро приходит, чтобы победить.

Его отношение к мелким промахам, неудачам в повседневной жизни, кажется, также подчинено особой логике победителя. Он

просто не допускает мысли, что временное поражение не может способствовать перелому ситуации и обращению её к победе. Нет более настойчивых в стремлении во всём дойти до самой сути. Нет проекта, глобального или локального, мизерного, которому бы он не мог предаться со всей страстью своей натуры. А уж если речь заходит о полемике с противником, кем бы тот ни был, то вы не найдёте лучшего трибуна, оппонента более язвительного, логичного, последовательного, обладающего большим чувством юмора, чем он. Некто, из недругов, хорошо знавший Фиделя, как-то сказал: „Наши дела плохи, ваш гарцует сегодня, как конь“. <…>

Его главная идея — идея единой политики стран Латинской Америки. Божья ему помощь — феноменальная память, которая неизменно включается во время выступлений и особенно острых полемик. Она позволяет ему опираться на великое множество источников информации, выстраиваемых в логические теории. Ему необходимо много читать. Его завтрак — 200 страниц мировых новостей, которые он прочитывает с невероятной скоростью, сразу выделяя главное. Но новости — срочные и не очень — ему приходят в течение всего дня. Ежедневно он изучает и прорабатывает не менее 50 документов — он сам установил себе норму. Не считая многочисленных писем, прошений, предложений… Причём ко всему у него неподдельный интерес — его любопытство сродни непосредственному любопытству ребёнка. <…> Когда на его семидесятилетие мы поехали на его родину в Биран, он с удовольствием показывал гостям свой городок, завёл в школу, сел за парту, за которой когда-то сидел, и сказал, стараясь поместить слишком длинные ноги: „Я был ковбоем, не киношным, как Рейган, а настоящим ковбоем“. <…> Общаясь с простыми людьми, он чувствует искреннюю любовь, признательность, поддержку. Они называют его „Фидель“ и на „ты“, обнимают, жмут руку, нередко спорят, не соглашаются, возражают ему… В нём есть главное и неотъемлемое — то, что он сам из народа, плоть от плоти. Аскет, старомодно воспитанный, с безукоризненно грамотной правильной речью, письмом, простыми манерами и всегда взвешенными решениями. Мечтатель — он до сих пор мечтает о том, что учёные и врачи его страны найдут лекарство от рака. (13 января 2011 года Куба зарегистрировала первую в истории человечества вакцину против рака лёгких — CIMAVAX-EGF, воздействующую непосредственно на опухоль в отличие от других средств, таких как химиотерапия и облучение, которые вместе с больными клетками разрушают здоровые; кубинскую вакцину выписывают, когда пациента признают смертельно больным. — *С. М.)*

Он и поныне убеждён в том, что человек, сознание которого базируется на высоких светлых моральных принципах строителя будущего, не зависит от материальных факторов, способен изменить мир и ход истории. Он заставил считаться со своей страной в 84 раза превосходящего её по размеру противника — считаться и уважать… И это не громкие слова.

Это — Фидель, которого я, как мне кажется, понял и узнал. Это — Фидель Кастро».

Смеем предположить, что Маркес столько десятилетий держался подле Фиделя ещё и потому (наряду с «верой в социалистическое будущее человечества»), что подпитывался от него энергией, в том числе — и «донкихотовской». Что и в первом десятилетии XXI века старинный друг Фиделя Маркес жил так, будто каждое утро, восстав ото сна, вместо Отче наш (а может быть, на склоне лет и вместе или следом) повторял слова Гёте, которыми покорён был с молодости: «Лишь тот достоин жизни и свободы, / Кто каждый день идёт за них на бой».

Осенью 2009 года роман «Сто лет одиночества» был признан произведением, наиболее повлиявшим на литературу в последние двадцать пять лет. Об этом сообщил международный литературный журнал «Wasafiri», который опросил мнения двадцати пяти современных писателей и по итогам опроса составил перечень самых влиятельных книг. «Второе место» перечня разделили между собой «Мечты моего отца» Барака Обамы, «Дом для мистера Бисвас» Видиатхара Найпона, «Философские исследования» Людвига Витгенштейна, «Сатанинские стихи» и «Дети полуночи» Салмана Рушди. Примечательно, что именно в Индии оказалось едва ли не самое внушительное число успешных, именитых последователей Маркеса (одним из любимых поэтов которого был выходец из Калькутты Рабиндранат Тагор, лауреат Нобелевской премии по литературе 1913 года). Верным последователем Маркеса считается Рушди, опубликовавший в 1981 году в Англии роман «Дети полуночи». Эта книга, названная «лучшей индийской книгой на английском языке с 1922 года», была удостоена Букеровской премии. По мнению «Таймс», роман «Дети полуночи» в аллегорической форме воспроизводит историю Индии. Роман написан в стиле магического реализма. Две основные темы: история семьи и история страны. Схожесть, перекличка, «перемигивание» с романом «Сто лет одиночества», с образами Маркеса очевидны. И так же, как у Маркеса, грех инцеста довлеет над семьёй. Последовательницей Гарсиа Маркеса является и «Фея индийской литературы» Киран Десаи. Свой первый роман, написанный ещё в студенческие годы и изданный в двадцати двух

странах мира, она посвятила «основоположнику магического реализма». К «Ста годам одиночества» тяготеет очень понравившаяся Маркесу и также удостоенная премии Букера трилогия Киран Десаи «Потерявшие наследство», права на которую уже купили тридцать семь стран. Много последователей у Маркеса в арабском мире, для которого открыли «Сто лет одиночества» и «Осень Патриарха» писатели Туниса. Много последователей в Англии, во Франции, в Италии, Японии, Австралии, Китае, Болгарии, в бывшем СССР — в России, Грузии, Казахстане… Но большинство последователей, поклонников, коллег, даже друзей давно не разделяют его политических взглядов, которым он был верен всю жизнь, в особенности — связанных с Кубой, Фиделем, Че Геварой.

После обильных ромовых возлияний и споров выйдя из шумной, тесной, прокуренной «Бодегиты-дель-медио» на гаванскую Кафедральную площадь, я слушал песню знаменитого кубинского тровадора Сильвио Родригеса «Санкт-Петербург», посвящённую Маркесу.

— Почему Санкт-Петербург, Сильвио? — спросил я.

— Мне кажется, много общего с Пушкиным, в последней квартире которого в Петербурге я был, и Достоевским, — отвечал тровадор. — Явление чрезвычайное. Великая тайна. Раскрыть которую ещё предстоит. Если это вообще возможно.

Когда завершал работу над биографией, казалось, что всё ясно, исследователями, литературоведами, биографами всё разобрано, разложено по полочкам. А тут, на ступенях древнего обшарпанного кафедрального собора Гаваны, пережившего и конкистадоров, и пиратов, и диктаторов, под огромными сумасшедшими звёздами, до которых, если встать на цыпочки, можно было дотянуться, я почему-то, непостижимо-магическим каким-то образом согласился с мыслью кубинца: чего-то мы в Маркесе не поняли. Что-то важное, может быть, главное он от нас утаил.

В середине 2000-х очередная волна репрессий обрушилась на кубинскую интеллигенцию, и Маркес стал объектом беспрецедентной критики за его многолетнюю поддержку кубинского диктатора. Отвечая на вопросы журналистов, он уверял, что не смог бы сосчитать всех узников совести, диссидентов, вообще политических заключённых, которым за двадцать лет — при абсолютном молчании общественности — помог выйти из тюрьмы, эмигрировать с Кубы… Некоторым дружба Маркеса с Фиделем представляется непостижимой и относится к области исповедуемого нобелевским лауреатом

магического, фантастического реализма.

А вот что рассказывал о Маркесе сам Фидель Кастро:

«Я могу назвать Габо даже больше чем просто другом, наши встречи всегда носят оттенок семейности, начинаются воспоминания, шутки, смех, грусть. <…> Однажды в Колумбии по случаю проведения IV Ибероамериканского саммита хозяева организовали прогулку в конном экипаже по окружённым стенами старинным районам Картахены — своеобразной Старой Гаване, охраняемой исторической реликвии. Товарищи из кубинской службы безопасности сказали мне, что нецелесообразно участвовать в незапланированной прогулке. Я подумал, что это чрезмерная предосторожность, хотя всегда уважал их профессионализм и сотрудничал с ними. Я подозвал Габо, стоявшего поблизости, и в шутку сказал ему: „Садись с нами в этот экипаж, чтобы нас не пристрелили!“ (Чисто фиделевская весёлая шутка. — *С. М.)* Он так и сделал. Мерседес, которая осталась там, откуда мы отправлялись, я добавил в том же тоне: „Ты будешь самой молодой вдовой“. Лошадь двинулась в путь, прихрамывая под нашей тяжестью. Копыта скользили по мостовой… Только потом я узнал, что там произошло то же самое, что в Сантьяго-де-Чили, когда телевизионная камера с установленным в ней автоматом была нацелена на меня во время интервью, которое я давал журналистам, и наёмник, орудующий ею, не осмелился выстрелить. В Картахене они сидели в засаде в некой точке старого города, вооружённые винтовками с оптическим прицелом и автоматами. Но рука убийцы дрогнула, когда он увидел в прицел, что меня заслоняет голова Маркеса, — они не смогли выстрелить в своего Габо!.. На другой день недруги, в том числе коллеги Габо, известные всему миру писатели, обвиняли его в том, что он заделался ко мне чуть ли не телохранителем. Но это значит, не понимать ни наших отношений, ни самого Гарсиа Маркеса… Мне кажется, что я знаю Габриеля всю жизнь. Я даже не представляю то время, когда я его не знал. Однажды он признался, что до сих пор его укоряет совесть за то, что он поддержал, как бы подогрел мой интерес к бестселлерам „быстрого потребления“. Но для меня это всегда было способом отвлечься от деловых бумаг, всяческих государственных документов… Добавлю, что Габо привил мне желание в следующей реинкарнации, в другой жизни непременно родиться писателем, притом обязательно таким, как Гарсиа Маркес… Во всё, что он рассказывает и пишет, верю. Помню, что в первоначальном тексте его повести „Любовь и другие демоны“ герой ехал на лошади, которой было одиннадцать месяцев. Я тогда сказал ему: „Слушай, Габо, добавь коню года два-три, в

одиннадцать месяцев он же ещё жеребёнок“. Он, как мне показалось, не очень обратил внимание на моё замечание. В результате в романе о докторе Альренунсио Са Перейре Као он описал человека, который плакал, сидя на придорожном камне у своего коня, которому в октябре исполнилось бы сто лет, но его сердце остановилось, когда они спускались по склону горы. Вот так Габо изменил возраст коня в неожиданно-фантастической манере, свойственной только ему!.. Всё его творчество — это свидетельство его сентиментальной привязанности к истокам, корням, к латиноамериканскому духу. И ещё — это постоянное и непреложное доказательство приверженности правде, прогрессивным идеям. Очень важен для понимания его творчества язык — он уникальный, Габо огромное внимание уделяет языку, теории относительности слов в языке, если можно так выразиться. Его язык изучают в колледжах и университетах на всех континентах. У него неповторимый язык! Я читаю его с неизменным наслаждением, погружаясь в мир огромных деревьев, долгих ливней, грома, молний, моря с затонувшими кораблями… <…> Габо — очень добрый человек с душой ребёнка и талантом космического масштаба! Признаем все, что Габриель Гарсиа Маркес — человек будущего. И мы, и потомки наши будут благодарны судьбе, Провидению за то, что он жил на Земле, жил, чтобы рассказывать о жизни».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Для Латинской Америки он больше, чем писатель. Он пророк. Например, когда в Венесуэле (даже не в родной Колумбии!) разрабатывался проект новой конституции, то в результате жаркой, чудом обошедшейся без применения огнестрельного оружия дискуссии в Национальном собрании было решено обратиться к «великому Гарсиа Маркесу». «Венесуэльское правительство, — так заканчивалось послание, — почтёт за честь принять столь авторитетные поправки». По поводу новых произведений литературный агент Кармен Балсельс как-то высказала своё пессимистическое мнение: «Я очень сомневаюсь, что Маркес напишет ещё что-либо художественное». Профессор Мартин также выступил с заявлением о том, что писатель не готов и уже вряд ли когда-либо будет готов к публикации новой работы: «Я не думаю, что об этом стоит сожалеть. Просто судьба Маркеса сложилась так, что его литературная карьера закончилась значительно раньше, чем его жизненный путь».

Но сам Маркес на вопрос, написал ли он последнюю книгу, неожиданно ответил: «Последнюю? Никогда!»

Знаменитый колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии Габриель Гарсиа Маркес пишет новый роман, сообщала пресса. Роман будет о любви. «Маркес написал четыре варианта и теперь, как мне сказал, пытается извлечь из каждого самое лучшее, — поведал Плинио Мендоса. — Он стал относиться к себе чрезвычайно, даже более чем в молодости, когда многажды переписывал свои вещи, требовательно и критично».

Маркес объяснил журналистам, что временная пауза в его творчестве была связана не с отсутствием вдохновения, а с «нехваткой энтузиазма». «У меня никогда не было проблем с сюжетом. Просто люди стали замечать, что я больше не вкладываю в свои произведения души и сердца, — сказал Маркес. — Но на роман о любви, надеюсь, моего сердца хватит.

— К каким добродетелям вы относитесь с наибольшим уважением? — спросили его.

— К искренности, — ответил он. — В нашем мире её становится всё меньше и меньше, она, точно шагреневая кожа, исчезает на глазах и потому приобретает особую ценность и превращается из обязательного атрибута человеческой личности в какое-то особое качество.

— К какому пороку относитесь с наименьшим снисхождением?

— Ко лжи. Она не вызывает во мне ничего, кроме раздражения и отвращения.

— В чём для вас смысл жизни?

— В том, чтобы реализовать себя, осуществить свою Главную Мечту и познать истинную любовь. Каждый из нас должен пройти свой собственный, указанный ему Всевышним путь. Прожить именно свою, а не чью-нибудь жизнь. Величайшая трагедия — обернуться назад и осознать: всё, что было в прошлом, — не твоё, чужое, непонятное, ненужное; впереди же — сплошная неопределённость и… тотальное одиночество. Замкнутый круг… Жизнь не может состояться без настоящей любви. Без любви жизнь не просто скучна. Она бессмысленна и бесполезна. Сердце, не поражённое вирусом любви, самым прекрасным и желанным недугом, черствеет, чернеет и рассыпается. Человек умирает из-за того, что его сердце перестаёт любить. Если бы этого не происходило, весь мир, всё человечество были бы совсем другими».

Весной 2010 года колумбийская газета «Эль Тьемпо» сообщила, что Гарсиа Маркес неожиданно для всех горячо поддержал женщину-юриста Марию Фернанду Валенсию, баллотирующуюся в парламент, которая в случае победы на предстоящих выборах пообещала раздеться донага и позировать для мужского журнала. В Картахене корреспонденты сфотографировали нобелевского лауреата и его супругу Мерседес Барчу, облачённых в агитационные футболки Фернанды Валенсии, 42-летней матери троих детей. На футболках почтенной четы изображена обложка мужского журнала с фотографией Валенсии и подписью «Голосуйте за меня (и я разденусь для следующего номера!)». Популярность этой необыкновенно красивой женщине, члену Социальной партии национального единства, принесло участие в одной из программ новостей на телевидении, где она непринуждённо и остроумно вела раздел политических сплетен.

«Обнажение перед фотокамерой станет для меня средством для передачи важного политического послания, которое заключается в том, что в конгрессе я буду вести борьбу за права колумбийских женщин! — заявила на пресс-конференции Мария Фернанда Валенсия. — И я счастлива, что меня поддерживает наш великий любимый Габо!»

«Не знаю уж, что произошло, переселение душ и тел или машина времени сработала, — сказал Гарсиа Маркес журналистам, — но она так похожа на мою первую учительницу литературы Росу Элену Фергюссон, в которую я был влюблён, что сдаётся мне, всё только начинается. Моя учительница была

королевой карнавала».

И кто же ещё мог быть его первой учительницей? Ах, карнавал, удивительный мир!..

Но прав классик: нельзя объять необъятное. На этом пока завершаем рассказ о жизни Габриеля Гарсиа Маркеса, сотворившего мир. Свой мир. Своё учение. И, добавив одну-единственную букву в крылатую фразу вождя мирового пролетариата, с полным основанием заявляем: учение Маркеса всесильно, потому что оно верно.

В 2012 году мир отметил множество юбилеев «великого сказителя»: 85-летие со дня рождения, 45-летие со времени публикации «Ста лет одиночества», 30-летие с момента вручения ему Нобелевской премии… В день рождения Гарсиа Маркеса, 6 марта, президент Российской Федерации Дмитрий Медведев наградил писателя орденом Почёта за вклад в укрепление дружбы между народами России и Латинской Америки.

Наконец-то на законном основании у нас вышли почти все его книги, в том числе — долгожданные мемуары «Жить, чтобы рассказывать о жизни». (Кстати, будучи переводчиком этих мемуаров на русский язык, признаюсь, что не всё в них буквально совпадает с версиями, представленными в книге, которую вы дочитываете, но исправлять не стал: в случае с Маркесом, как мы убедились, ничего нельзя гарантировать.) Так что надеемся ещё восхититься и «над вымыслом слезами облиться», читая его новый роман о любви. У него, главного на Земле магического реалиста, подарившего человечеству столько радости, надежды, мудрости, чудес и красоты, всё — о любви.

А коли случится неизбежное, то нет никакого сомнения в том, что, как в рыцарских романах, ушедший в мир иной рыцарь воскреснет, восстанет и с девизом на щите и именем Прекрасной Дамы на устах вновь отправится биться с титанами, монстрами, ветряными мельницами — за сирых, убогих, униженных и оскорблённых… За честь и достоинство человека.

Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.

Гавана — Москва, 1980–2012

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книга о Габриеле Гарсиа Маркесе вышла в свет в серии «ЖЗЛ: Биография продолжается…» в 2012 году, к 85-летию великого колумбийца. Год спустя преждевременная смерть унесла её автора Сергея Маркова — писателя, журналиста, исследователя творчества Маркеса и переводчика его произведений. Их сближали не только личное знакомство и созвучие фамилий: объехавший весь мир и сменивший множество профессий Марков был наделён той же буйной фантазией, тем же ненасытным любопытством к жизни, что всегда отличали его героя.

Конечно, Маркес был любимым писателем не только Маркова, но и целого поколения, которое в начале 1970-х с изумлением вчитывалось в необычный роман, притягивающий к себе с первых строк: «Пройдёт много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далёкий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лёд». После этого были «Осень Патриарха» и «Невероятная история о простодушной Эрендире», «Хроника заранее объявленной смерти» и «Любовь и другие демоны», не повторившие оглушительный успех «Ста лет одиночества», но неизменно вызывавшие интерес. Маркес то врывался в орбиту читательского интереса, то отступал с переднего плана под напором новых фаворитов — но никогда не отпускал читателя до конца.

В чём секрет многолетней любви россиян к писателю с другого конца света, представителю иной культуры, иной природы, иного, казалось бы, совершенно чуждого нам темперамента? Ответов много, и один из них дал автор книг серии «ЖЗЛ» Алексей Варламов, сравнивший Маркеса с нашими «деревенщиками» — подобно им, он раскрыл читателям богатства традиционного уклада и оплакал его неизбежную гибель под колёсами прогресса. Другого мнения придерживается ещё один наш автор, Валерий Шубинский, считающий главной темой «Ста лет одиночества» «травму времени и травму провинциализма». Действительно, Колумбия и вся Латинская Америка предстают в изображении писателя сплошным Макондо, выброшенным из европейского линейного времени — местом, где ничего не происходит, где люди и события из века в век повторяются, замыкаясь в бессмысленный и оттого порочный круг.

«Почему это так остро отзывалось в наших сердцах? — задаёт вопрос Шубинский. — Не потому ли, что и мы ощутили себя в неком подобии Макондо? Наши деды были участниками и

победителями мировой войны, отцы — участниками и победителями космической гонки. А мы жили под властью рассыпающихся на глазах „патриархов“, в мире, где пресса и телевидение изъяснялись доведёнными до автоматизма, обессмыслившимися, как птичий щебет, словами». Сегодня, несмотря на все перемены недавних лет, латиноамериканский опыт продолжает казаться нам актуальным из-за «судорожных и тщетных попыток постсоветских людей включиться в европейское время». С этим мнением можно поспорить — и потому, что слишком многим это самое европейское время уже не кажется безусловной ценностью, и потому, что Маркеса любят и те, кому подобное прочтение его творчества чуждо или просто непонятно. И любят не только в России, но и в десятках стран, где были изданы «Сто лет одиночества». Вряд ли читатели Англии или Японии так уж сочувствуют попыткам героев романа преодолеть «травму провинциализма». Скорее, их привлекает другое: правда мыслей и чувств, понятных каждому человеку, но скрытых под толстым слоем экзотики, фантазии, «магического реализма» — и оттого особенно притягательных.

Именно поэтому каждое новое поколение, несмотря на смену политических и эстетических мод, снова открывало для себя Маркеса и по-новому влюблялось в него. Прочно вписавшись в историю литературы, он виделся таким же классиком, как Хемингуэй и Фолкнер, Камю и Шолохов. Между тем все эти годы он продолжал жить в одном городе, с одной семьёй, в одном и том же привычном образе лукавого мудреца, мастера народных острот и обманчиво простых афоризмов. Он казался вечным, но ничего вечного, как известно, не бывает. В марте 2014 года разнеслись тревожные слухи о том, что писатель помещён в одну из больниц Мехико с диагнозом «лёгочная инфекция». Его поклонники не очень тревожились: уже не один раз слухи о всевозможных, в том числе смертельных заболеваниях Маркеса оказывались вымыслом. К тому же он сам объявил, что не покинет этот мир, пока не закончит трёхтомную автобиографию, начатую в 2002 году первым томом — «Жить, чтобы рассказывать о жизни». Действительно, через неделю с небольшим он был выписан из больницы, лечащие врачи назвали его состояние стабильным, а семья обратилась к прессе с просьбой не распускать непроверенные слухи.

Но уже через несколько дней открылась истина: Маркес, всегда ненавидевший «больничный дух», вернулся домой умирать. 17 апреля он скончался на руках у своей жены Мерседес Барча, с которой прожил 56 лет, в присутствии сыновей Гонсало и Родриго. В ту же ночь его тело было кремировано согласно

завещанию; прах предполагалось разделить на две части и захоронить одну — в Мехико, а вторую — в родной Аракатаке, которую земляки писателя давно уже пытаются переименовать в Макондо. 21 апреля по улицам мексиканской столицы к Дворцу изящных искусств направилась многолюдная процессия с прахом Маркеса. Поклонники несли букеты его любимых жёлтых роз, а в конце церемонии в небо были выпущены тысячи бумажных жёлтых бабочек — напоминание о Ремедиос Прекрасной, самой обаятельной и загадочной героине «Ста лет одиночества».

В многочисленных откликах государственных лидеров, писателей, артистов на смерть Габриеля Гарсиа Маркеса повторялась в разных вариациях одна и та же мысль — ушёл последний великий писатель XX века, проложивший своим творчеством дорогу новым, ещё неведомым талантам XXI столетия. И теперь, когда неизбежное случилось, мы повторим в завершение фразу Гарсиа Маркеса, после которой Сергей Марков поставил точку в его жизнеописании: «Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было».

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Христофор Колумб на земле Колумбии

Полковник Николас Р. Маркес, дед Габриеля Гарсиа Маркеса. 1915 г.

Транкилина Игуаран Котес де Маркес, бабушка писателя

Дед Габриеля (крайний слева) на автомобильной прогулке с друзьями

Луиса Сантьяга Маркес Игуаран, в будущем мать писателя.1924 г.

Габриель Элихио Гарсиа и Луиса Сантьяга в день свадьбы. 11 июня 1926 г.

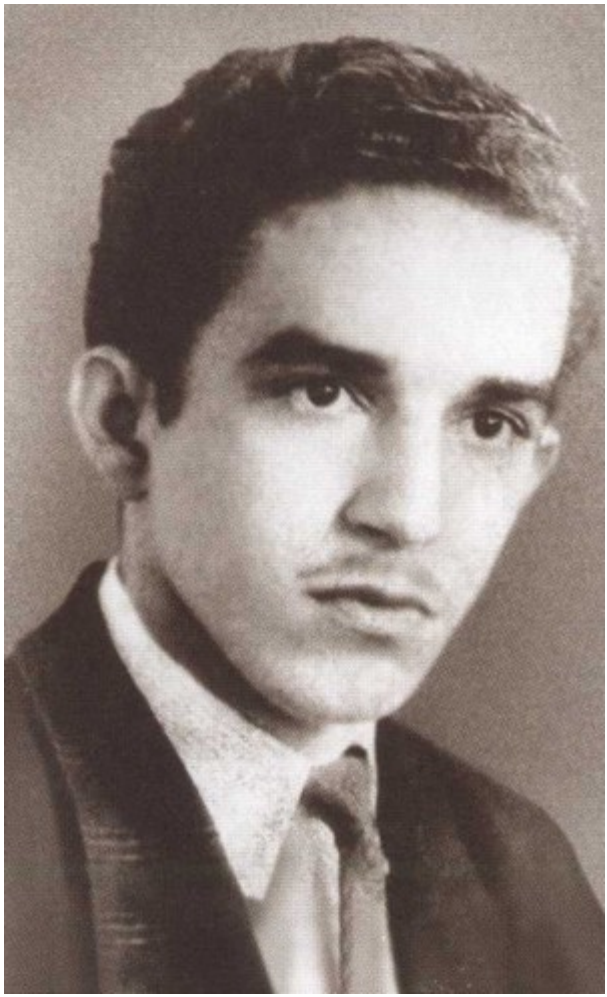
Будущий классик в годовалом возрасте. 6 марта 1928 г.

В пять лет. 1932 г.

Братья и сёстры семьи Гарсиа Маркес: Айда, Луис Энрике, Габриель, кузен Эдуардо Гарсиа Кабальеро, Марго, малютка Лихия. Аракатака. 1936 г.

Габриель в школе Сан-Хосе. Барранкилья. 1941 г.

Братья Луис Энрике и Габриель (крайний справа) с кузинами и друзьями. 1944 г.



Юный поэт Габриель Гарсиа Маркес. Сипакира. 1944 г.

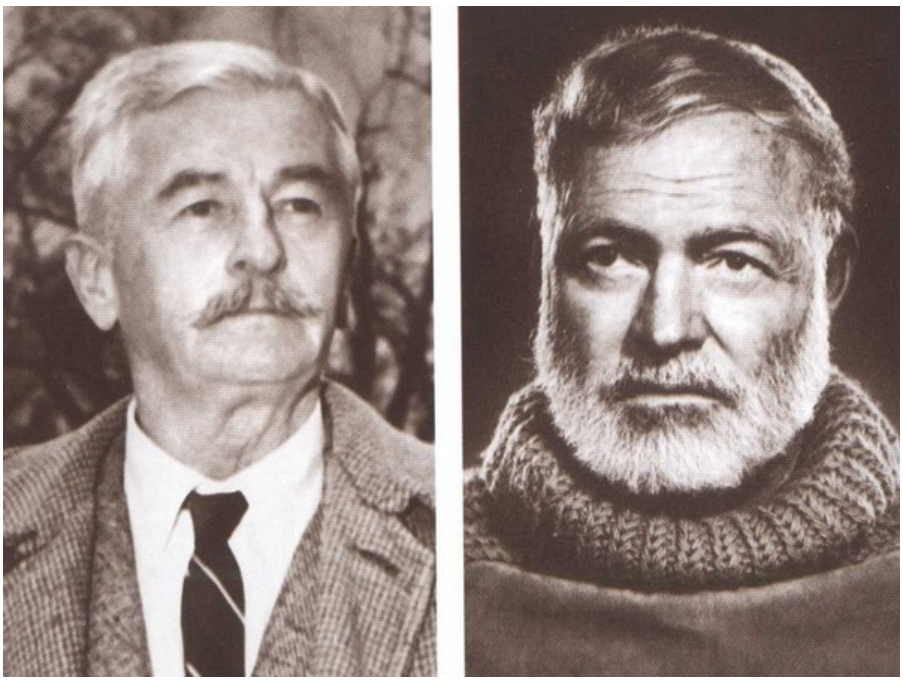
Беренисе Мартинес, первая любовь писателя Сипакира. 1945 г.

Пароход «Давид Аранго», на котором Габо плыл в Боготу в 1940-х годах

Мерседес Барча — школьница. Медельин. 1945 г.

Франц Кафка

Гарсиа Маркес (сидит третий справа) с друзьями в Мексике



Литературные учителя Маркеса: Уильям Фолкнер (слева) и Эрнест Хемингуэй

Гарсиа Маркес — корреспондент газеты «Эль Эспектадор». 1954 г.

Венеция. 1950-е гг.

Рим, собор Святого Петра

Весенний бульвар в Париже. Середина 1950-х гг.

Улица Кюже в Париже. Слева — бывший отель «Фландр», где жил Маркес (ныне отель «Трёх коллег»); справа — Гранд-отель

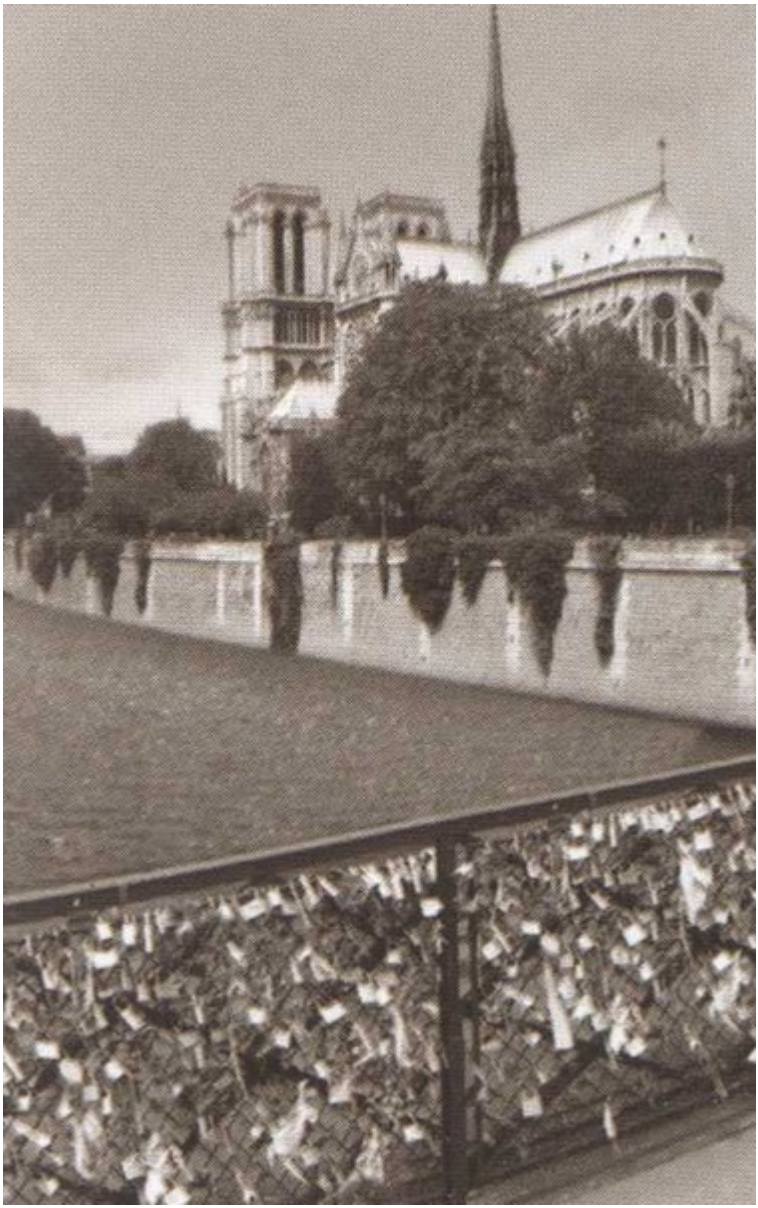
«Сен-Мишель», где жил поэт Николас Гильен. Фото 2011 г.

Тачия Кинтана. Париж. 1956 г.

Портрет Вирджинии Вулф

Книга мемуаров Маркеса «Жить, чтобы рассказывать о жизни» у букинистов на набережной Сены. Париж. Фото 2011 г.

Танцы на набережной. Париж. 1956 г.

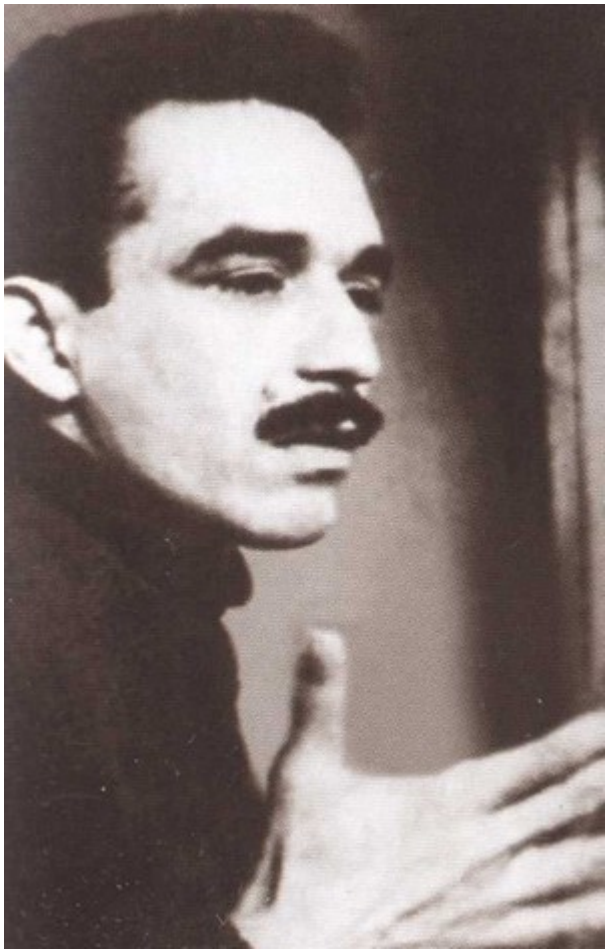


Мост, на котором и Тачия с Габриелем когда-то повесили замок прочности их союза…

Габриель (крайний слева) с друзьями на Красной площади в Москве. Август 1957 г.

Очередь в Мавзолей Ленина и Сталина. Москва. 1956 г.

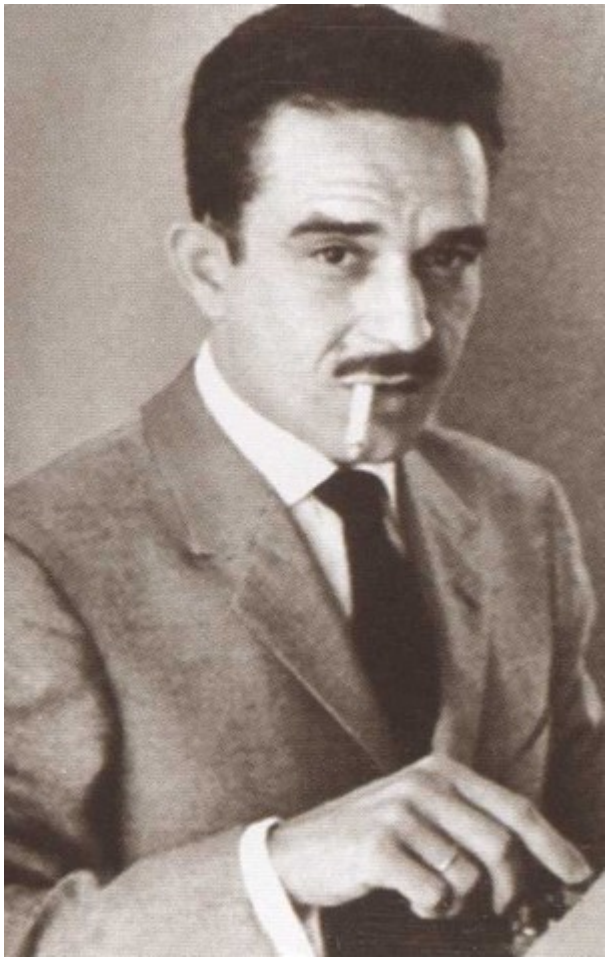
Триумфальный въезд барбудос во главе с Фиделем Кастро в Гавану. 6 января 1959 г.



Маркес в отеле «Фландр». Париж. 1957 г.

Мерседес незадолго до свадьбы. Барранкилья

Фидель Кастро навещает в бараке Эрнесто Че Гевару, измученного приступом астмы. Гавана. 1959 г.

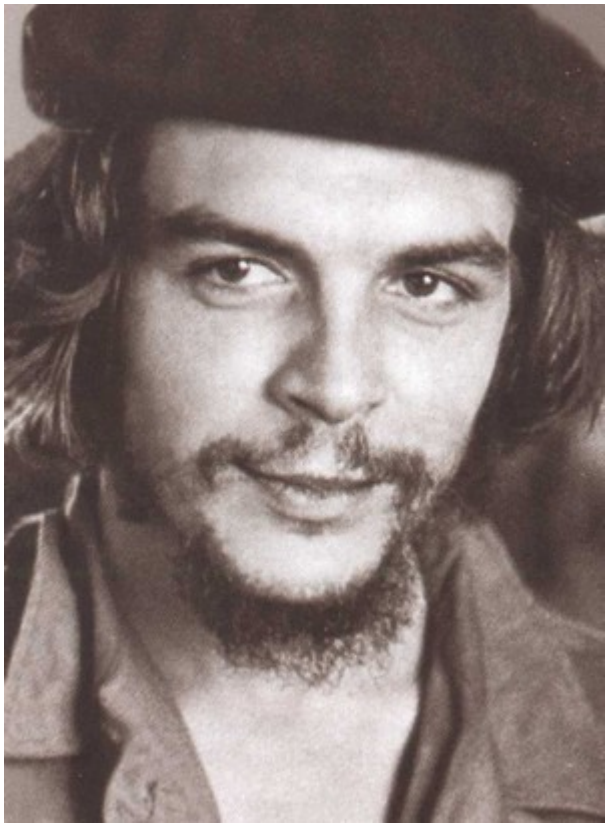


Гарсиа Маркес — сотрудник агентства «Пренса Латина». Богота. 1959 г.

С другом Плинио Мендосой (слева), сотрудником агентства. Богота. 1959 г.

Габриель Гарсиа Маркес с Рафаэлем Эскалоной (крайний справа) на концерте народной музыки. Колумбия. 1967 г.

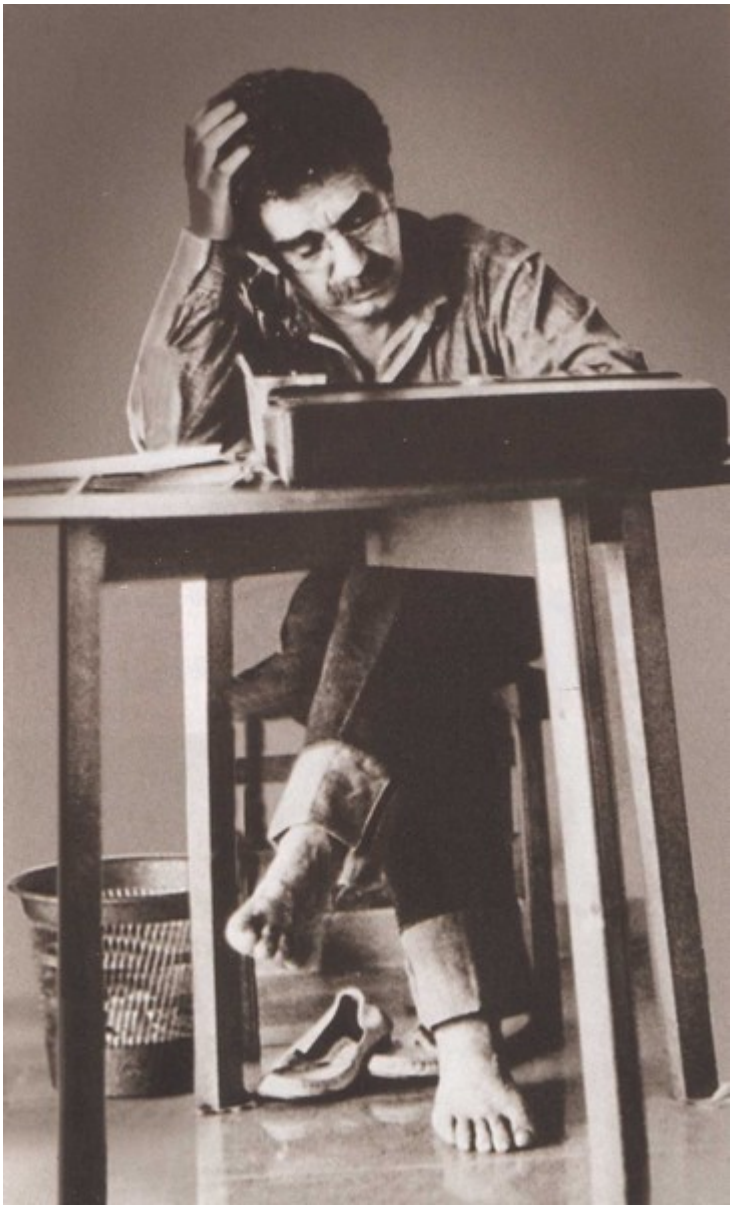
Знаменитое панно «В царстве текилы». Мехико



Одна из последних фотографий Эрнесто Че Гевары

С Карлосом Фуэнтесом (слева)

Габриель и Мерседес. Богота. 1960-е гг.



Габриель Гарсиа Маркес за работой над «Осенью Патриарха». Барселона. 1970-е гг.

Мерседес и Габриель с сыновьями Гонсало и Родриго. Барселона

С Пабло Нерудой (справа) в саду его дома в Нормандии. Франция. 1972 г.

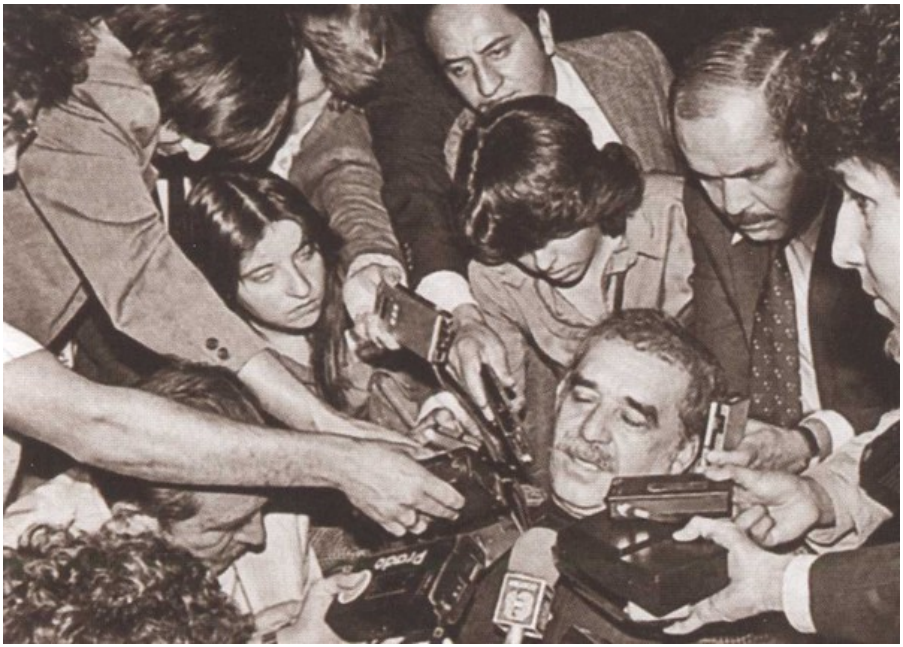
Вершители «бума». Слева направо: Марио Варгас Льоса, Карлос Фуэнтес, Габриель Гарсиа Маркес, Хосе Доносо

С Мерседес в Барселоне. 1970-е гг.

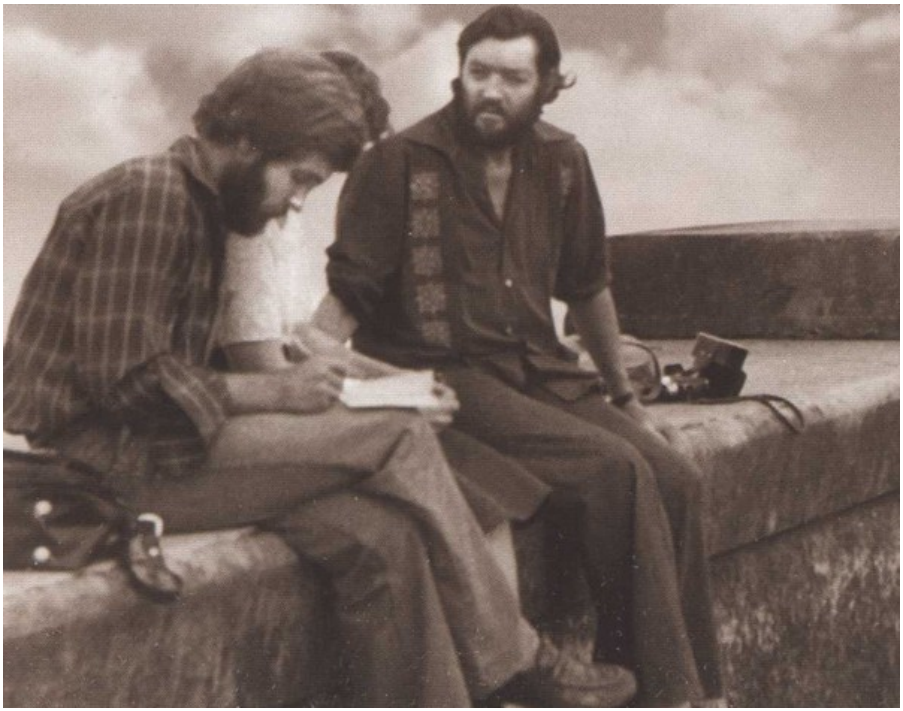
Маркес в роли шафера (в центре) на свадьбе у Тачии Кинтаны. Париж. 1973 г.

«Бумовцы» с жёнами. Слева направо: Марио Варгас Льоса, его

жена Патрисия, Мерседес, Хосе Доносо, его жена Мария Пилар Серрано, Габриель Гарсиа Маркес. Барселона. 1970-е гг.



Пресса и Маркес. Мехико. 1981 г.



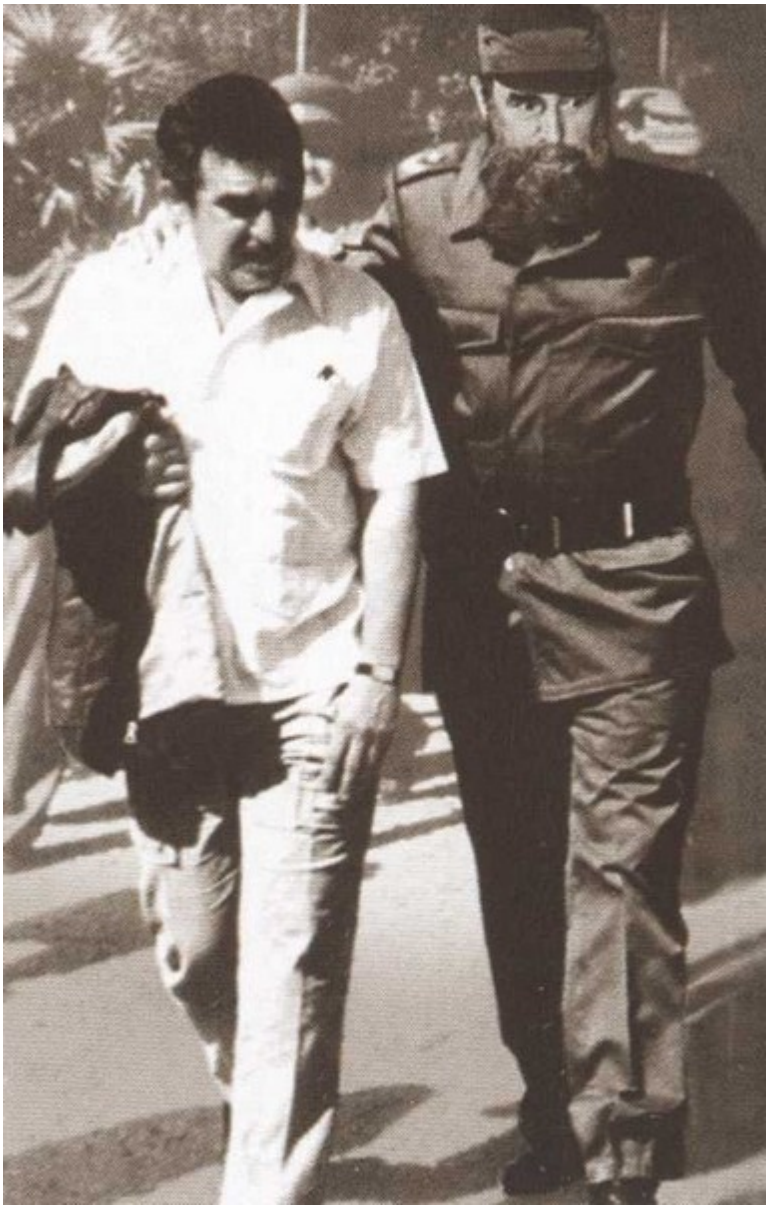
Автор книги Сергей Марков (слева) берёт интервью у Хулио Кортасара. Гавана. Февраль 1980 г.

Габриель Гарсиа Маркес (в центре) в номере отеля с друзьями накануне награждения Нобелевской премией. Стокгольм. 1982 г.

Лауреату Нобелевской премии аплодирует король Швеции Карл XVI Густав. Стокгольм. Декабрь 1982 г.

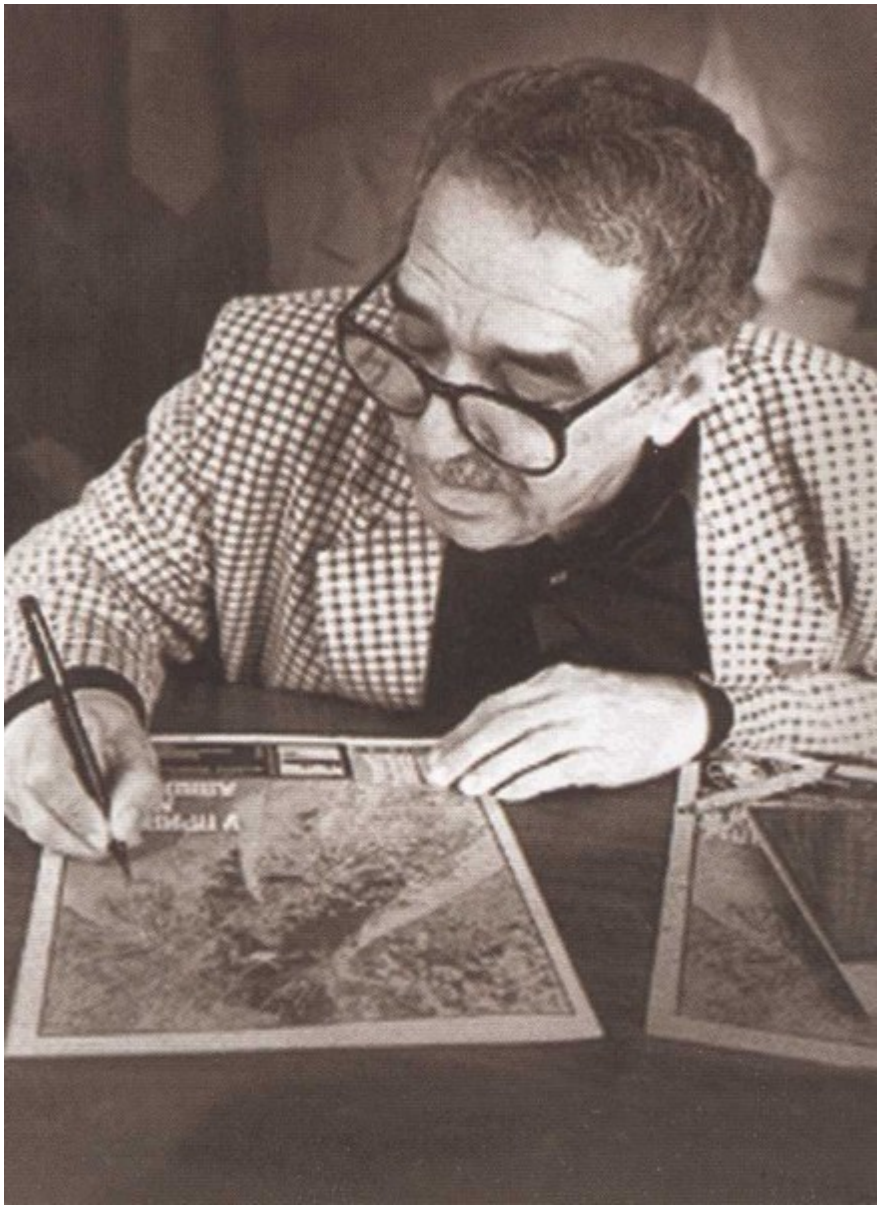
Луиса Сантьяга (в центре) со своими многочисленными детьми

На бульваре Рамблас. Барселона. 1970 г.



С Фиделем Кастро. Гавана. 1980-е гг.

Встреча с М. С. Горбачёвым в Кремле. Москва. 1987 г.



Дарственная надпись на журнале «Огонёк» в конференц-зале редакции. Москва. 1987 г.

С режиссёром Вячеславом Спесивцевым. Москва. 1987 г.

На репетиции спектакля «Сто лет одиночества» в Театре Спесивцева. 1987 г.

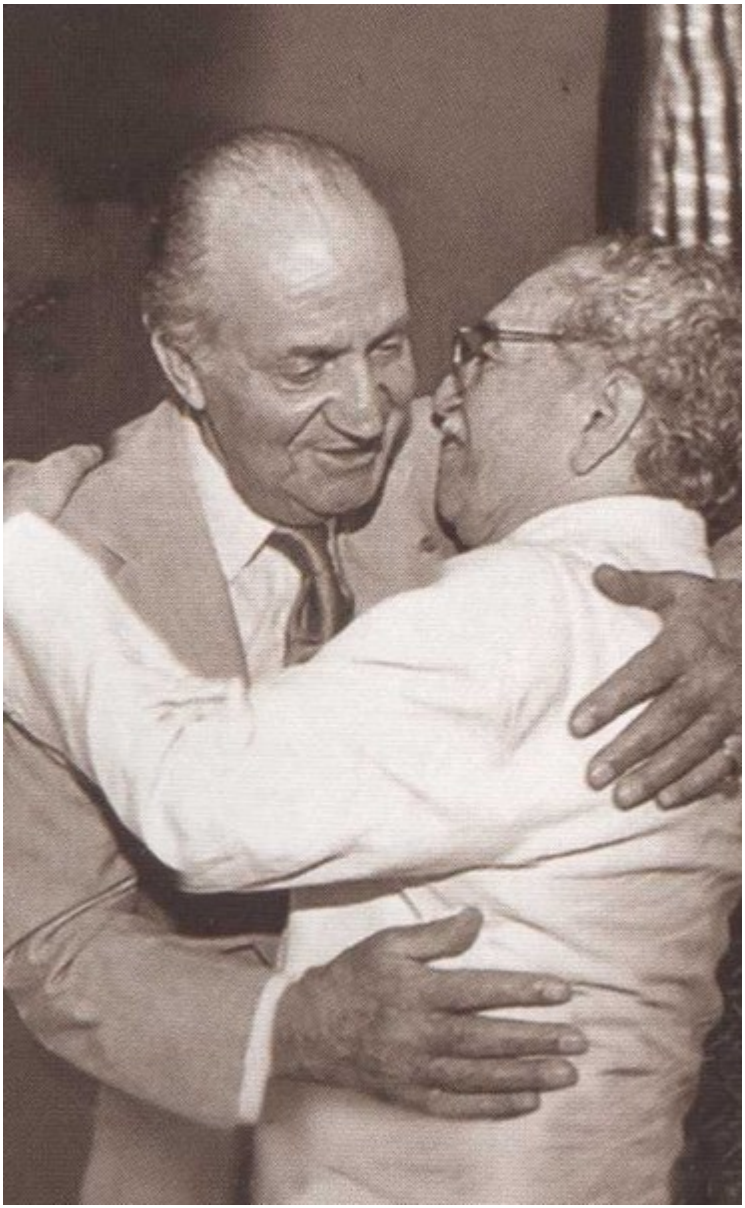
С Виктором Флоресом Олеа. Лос Пиньос. 1989 г.

С голливудской звездой Робертом Редфордом. Гавана. 1988 г.

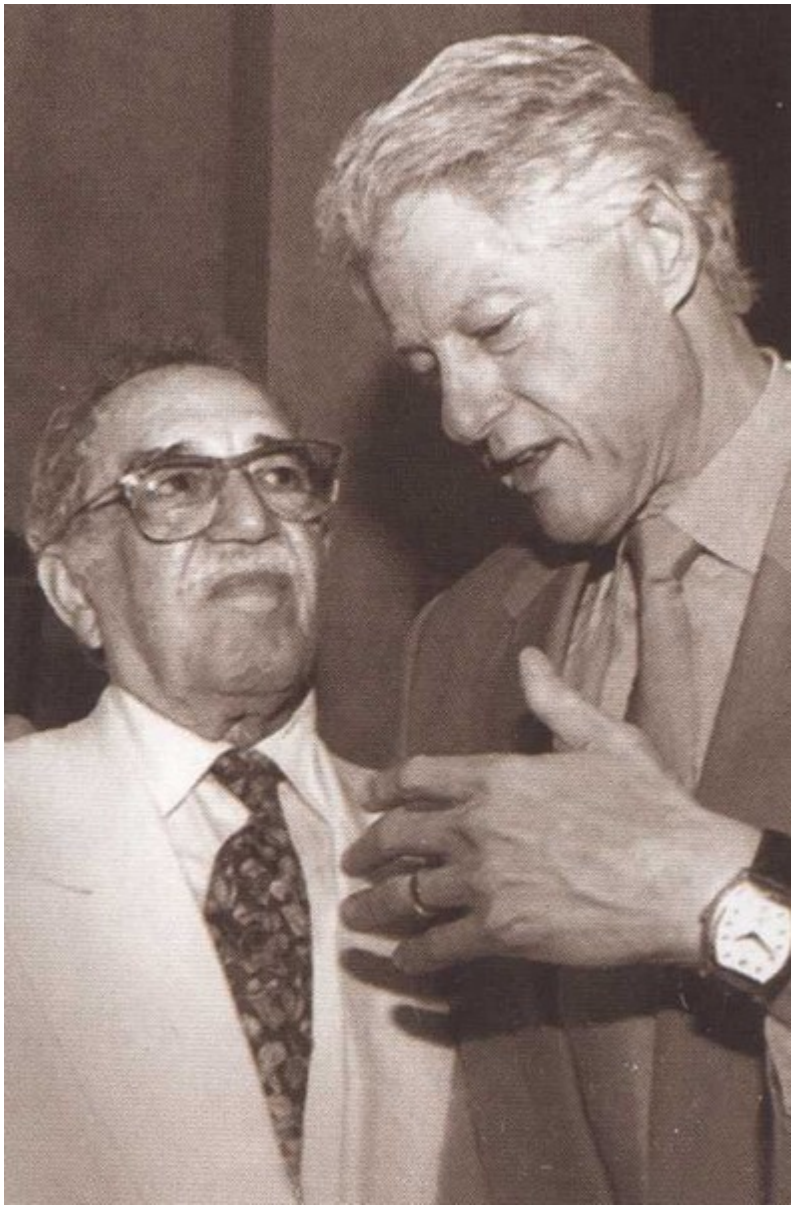
В своём рабочем кабинете

С женой Мерседес на улице Картахены. 1997 г.

Габриель навещает больного друга Фиделя. Гавана. 2007 г.

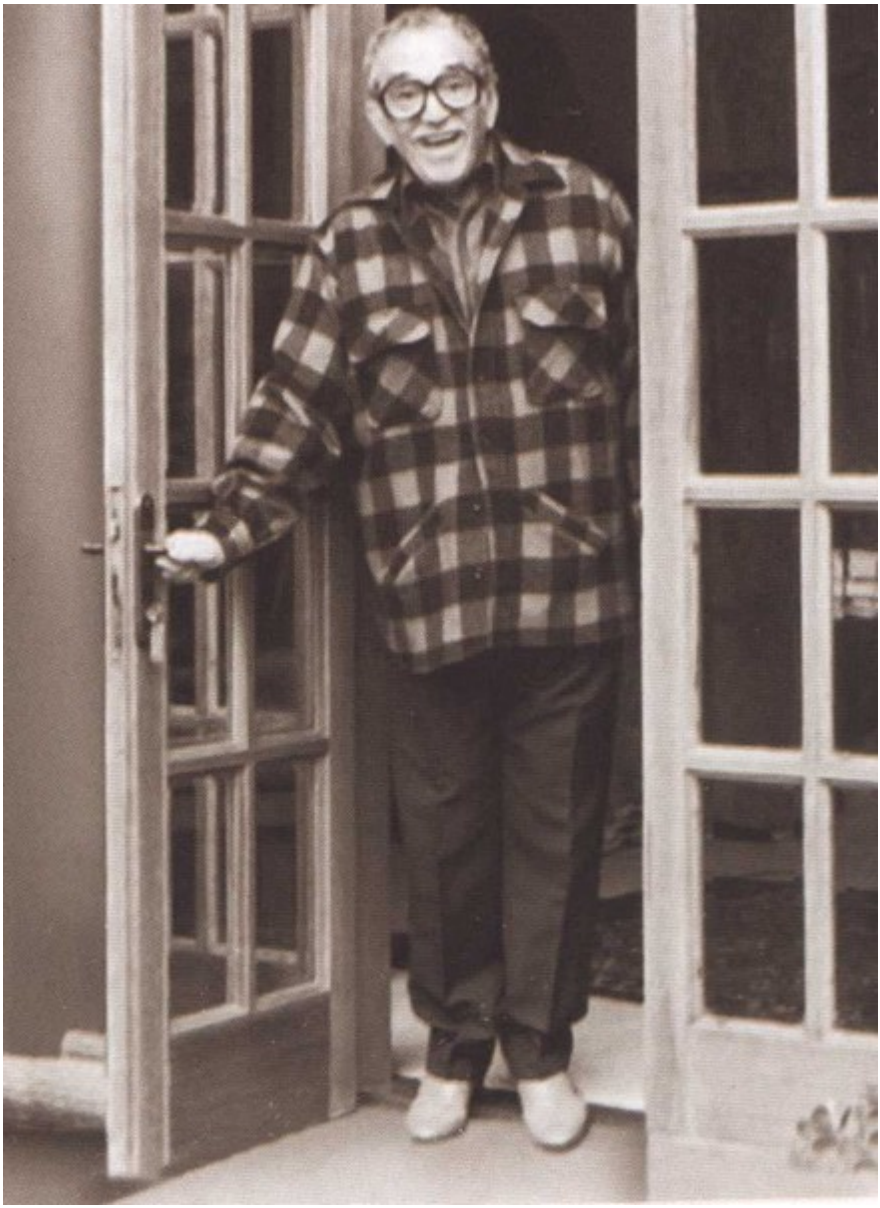


С королём Испании Хуаном Карлосом I. Картахена. Март 2007 г.



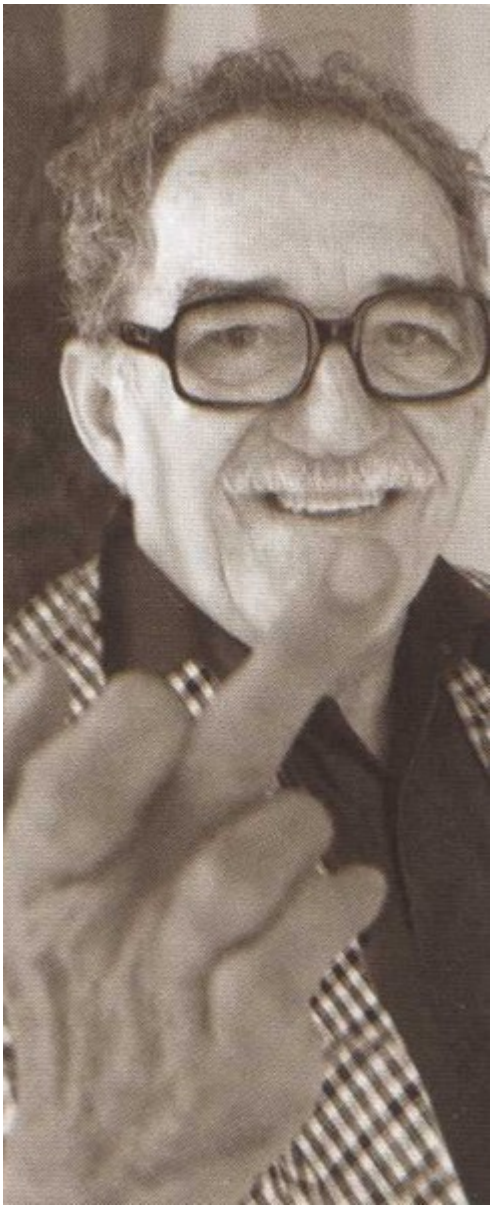
С Биллом Клинтоном. Картахена. 2007 г.

«Ну что вы со мной делаете!» 2000-е гг.

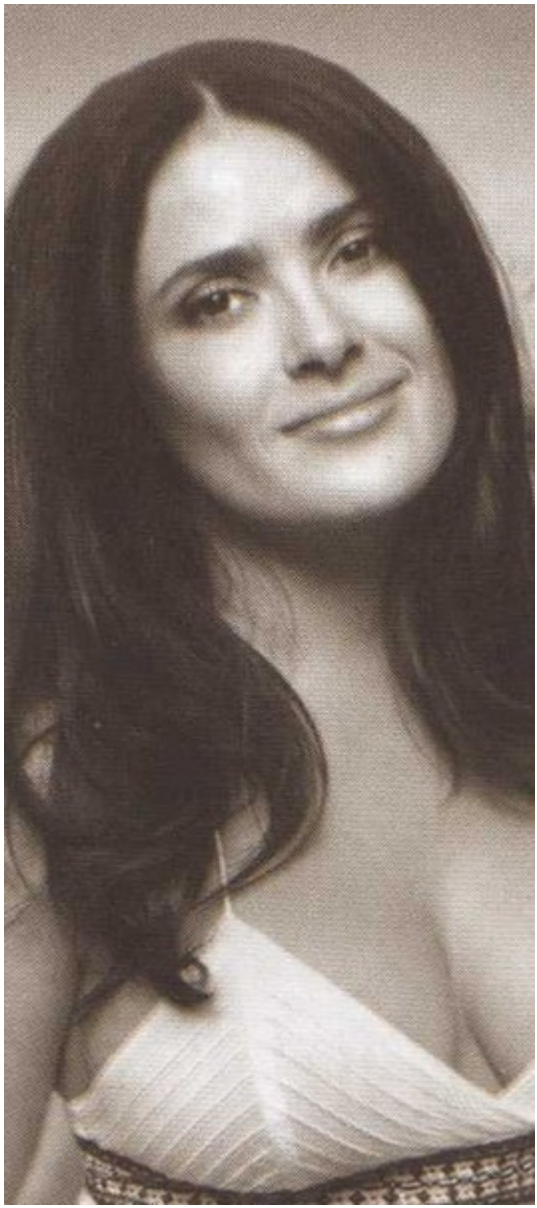


«Я не забронзовел и всегда рад гостям!»

С Кармен Балсельс и Мануэлем Сапатой Оливельей. Богота



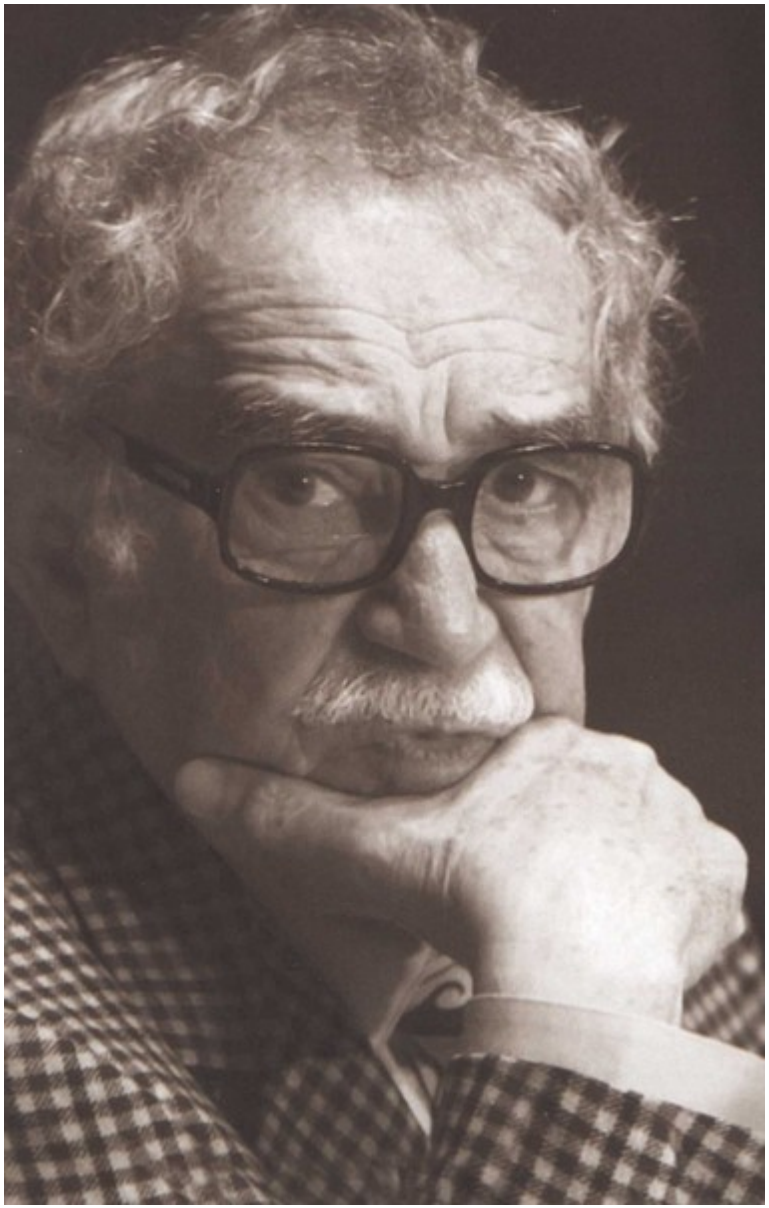
Я жив, чёрт возьми!



Голливудская звезда Сальма Хайек

Та самая шокирующая Шакира

«До свидания! Читайте мой новый роман о любви!»



Жить, чтобы рассказывать о жизни.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГАБРИЕЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА

***1927**, 6 марта* — в Колумбии, городе Аракатаке в семье телеграфиста Габриеля Элихио Гарсиа Мартинеса и Луисы Сантьяги Маркес Игуаран появился на свет мальчик, которого назвали Габриелем Хосе Гарсиа Маркесом.

1928 — забастовка и расстрел «палой листвы» — рабочих «United Fruit Company».

***1932**, октябрь* — в Аракатаке «библейский потоп» — ливень и наводнение.

1936 — умирает дед Габриеля, полковник Николас Рикардо Маркес Мехия.

***1940**, январь* — Маркес поступает в среднюю школу колледжа «Сан-Хосе».

Зима — весна — в школьном журнале «Хувентуд» появляются комиксы Маркеса.

Лето — в Сукре во время школьных каникул Маркес впервые посещает бордель.

***1941**, май* — из-за душевного расстройства Маркес вынужден прервать обучение.

***1943**, январь* — зачислен в Национальный мужской лицей в Сипакире.

1944 — знакомство с членами литературной группы «Камень и Небо».

***1945**, весна* — Маркес пишет первый рассказ «Навязчивый психоз».

***1946**, январь* — Габо в шутку делает предложение тринадцатилетней Мерседес Барча.

***1947**, 25 февраля* — поступает на факультет права Национального университета.

Июль — напечатаны две модернистские поэмы — «Небесная география» и «Поэма внутри улитки».

13 сентября — публикуется рассказ «Третье смирение».

Октябрь — публикуется «Ева внутри своей кошки».

***1948**, 17 января* — выходит третий рассказ «Тубаль-Каин выковывает звезду».

9 апреля — в Боготе, во время волнений, Маркес знакомится с Фиделем Кастро.

18 мая — принят в «Эль Универсаль» на должность корреспондента-комментатора.

***1949**, 23 января* — опубликован рассказ Маркеса «Диалог с зеркалом».

13 ноября — выходит рассказ «Огорчение для трёх сомнамбул».

Ноябрь — знакомство с Альваро Мутисом.

***1950**, 5 января* — Маркес публикует в «Эль Эральдо» свой первый материал.

Июнь — декабрь — в еженедельнике «Хроника» выходят фрагменты романа «Дом».

1952 — Маркес становится разъездным агентом в книжном магазине.

***1953**, июль* — Маркес возвращается в Барранкилью, где по приглашению своего друга Альваро Сепеды работает заведующим редакцией газеты «Насьональ».

***1954**, январь* — начало работы в «Эль Эспектадор».

***1955**, май* — выходит в свет первая книга Маркеса «Палая листва».

15 июля — Маркес отправляется в качестве специального корреспондента в Европу.

Конец лета — втайне от руководства газеты Маркес посещает Прагу и Варшаву.

Декабрь — Маркес переезжает в Париж.

***1956**, январь* — колумбийский диктатор Пинилья закрывает «Эль Эспектадор».

15 апреля — Маркес знакомится с Тачией Кинтаной.

Лето — осень — Маркес работает над повестью «Полковнику никто не пишет».

***1957**, лето* — поездки в ГДР, СССР, Венгрию.

Ноябрь — поездка в Лондон.

Декабрь — возвращение в Латинскую Америку.

***1958**, 1 января* — военный переворот в Венесуэле, свержение диктатуры Хименеса.

21 марта — свадьба Гарсиа Маркеса и Мерседес Барча Пардо.

***1959**, 1 января* — победа революции на Кубе, диктатор Батиста бежит из страны.

19 января — Маркес присутствует на «Правосудии Свободы» в Гаване.

24 августа — у Мерседес и Габриеля рождается первенец, Родриго Гарсиа Барча.

***1960**, сентябрь* — Маркес отправляется в Гавану, чтобы работать в главном офисе информационного агентства «Пренса Латина».

1961, зима — отъезд в Нью-Йорк для работы в филиале «Пренса Латина».

26 июня — Маркес с семьей прибывает в Мексику.

17 сентября — в Боготе выходит повесть «Полковнику никто не пишет».

***1962**, январь* — Академией языкознания Колумбии присуждается первая премия роману «Недобрый час» Гарсиа Маркеса.

17 апреля — у Мерседес рождается второй сын, которому дают имя Гонсало.

27 апреля — Маркес покупает первый в своей жизни автомобиль. В издательстве Веракруса выходит сборник рассказов «Похороны Великой Мамы».

Май — Маркес знакомится с Кармен Балсельс, которая становится его неизменным литературным агентом на всю жизнь.

***1964**, лето* — Маркес пишет оригинальный сценарий под названием «Время умирать» для кинокартины мексиканского кинорежиссёра Артуро Рипштейна.

***1965**, январь* — Маркес приступает к работе над романом «Сто лет одиночества».

Апрель — роман «Недобрый час» выходит в мексиканском издательстве «Эра».

***1966**, октябрь* — Гарсиа Маркес завершает роман «Сто лет одиночества».

***1967**, январь — февраль* — заключён договор с издательством «Судамерикана».

Июнь — опубликована книга «Сто лет одиночества».

Октябрь — Маркес отправляется в Европу, обосновывается в Барселоне.

9 октября — трагическая гибель в Боливии Эрнесто Че Гевары.

***1968**, 21 августа* — ввод войск Варшавского договора в Чехословакию.

Декабрь — Маркес с Фуэнтесом и Кортасаром совершают поездку в Прагу.

1969 — роман «Сто лет одиночества» удостаивается премии Чьянчяно в Италии и назван лучшей зарубежной книгой во Франции.

1970 — «Сто лет одиночества» опубликован на английском и выбран одной из двенадцати лучших книг года в США.

***1971**, 17 апреля* — Варгас Льоса выпускает книгу «Габриель Гарсиа Маркес. История богоубийства».

1972 — Маркес получает награду имени Ромуло Гальегоса за «Сто лет одиночества».

Октябрь — выходит в свет книга «Невероятная и печальная история о простодушной Эрендире и её бессердечной бабушке».

***1973**, сентябрь* — военный переворот в Чили.

1974 — Маркес основывает в Боготе левую газету «Альтернатива».

1975 — выходит в свет «Осень Патриарха».

1977 — публикуется «Операсьон Карлота».

***1981**, лето* — поездка на Московский международный кинофестиваль.

Сентябрь — выходит повесть «История одной смерти, о которой знали заранее».

***1982**, весна* — вооружённое столкновение между Великобританией и Аргентиной из-за Фолклендских островов. Маркес откликается на событие.

21 октября — Гарсиа Маркес награждён Нобелевской премией по литературе.

10 декабря — торжественное вручение Нобелевской премии королём Швеции Карлом XVI Густавом в Концертном зале Стокгольма.

***1983**, май* — триумфальное возвращение в Колумбию.

***1984**, 13 декабря* — умирает Габриель Элихио Гарсиа, отец писателя.

***1987**, 11 июля* — встреча Гарсиа Маркеса с М. С. Горбачёвым в Кремле.

Июль — образован Фонд латиноамериканского кино, который возглавил Маркес.

Декабрь — на Кубе открывается Международная школа кино и телевидения.

1989 — публикуется роман «Генерал в своём лабиринте» о Боливаре.

Обнаружена раковая опухоль в лёгких.

1992 — выходит сборник «Двенадцать рассказов-странников».

1994 — публикуется роман «Любовь и другие демоны».

1996 — писатель поселяется в городе Картахене-де-Индиас. Публикуется «Сообщение о похищении».

***1998**, январь* — Маркес освещает визит папы римского Иоанна Павла II на Кубу.

***1999**, март* — диагноз: рак лимфатической системы.

Май — писатель приобретает журнал «Камбио».

2002 — выходит первый том мемуаров «Жить, чтобы рассказывать о жизни». В возрасте 97 лет умирает мать Гарсиа Маркеса — Луиса Сантьяга Маркес.

2004 — публикуется роман Маркеса «Вспоминая моих

грустных шлюх».

2007 — объявлен годом Габриеля Гарсиа Маркеса в Латинской Америке и Испании.

2008 — на Глайндборском фестивале — премьера оперы «Любовь и другие демоны».

2010 — премьера кинокартины «Любовь и другие демоны».

Октябрь — вышел сборник ранее не публиковавшихся выступлений Маркеса за период с 1944 по 2007 год под названием «Я здесь не для того, чтобы говорить речи».

2012 — во всём мире, включая Россию, торжественно отмечались 85-летие Маркеса и 45-летие публикации романа «Сто лет одиночества».

2014*, 17 апреля* — Габриель Гарсиа Маркес скончался от пневмонии в своём доме в Мехико.

21 апреля — во Дворце изящных искусств в Мехико прошла церемония прощания с писателем, в которой участвовали тысячи его поклонников, включая президентов Колумбии и Мексики.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Произведения Габриеля Гарсиа Маркеса

García Márquez, Gabriel. La hojarasca. Madrid, Alfaguara, Bogotá, 1955.

García Márquez, Gabriel. El coronel no tiene quien le escriba. Buenos Aires, Sudamericana, 1961.

García Márquez, Gabriel. La mala hora. Madrid, Alfaguara, 1962.

García Márquez, Gabriel Los funerales de la Mama Grande. Xalapa, Universidad Veracruzana, 1962.

García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad. Buenos Aires, Sudamericana, 1967.

García Márquez, Gabriel. La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. Mexico, Hermes, 1972.

García Márquez, Gabriel. Ojos de perro azul (cuentos). Buenos Aires, Sudamericana, 1974.

García Márquez, Gabriel. El otoño del Patriarca. Barselona, Plaza y Janes, 1975.

García Márquez, Gabriel Crónica de una muerte anunciada. Bogotá, La Oveja Negra, 1981.

García Márquez, Gabriel El olor de la guayaba (Conversaciones con Plinio Apuleio Mendoza). Bogotá, La Oveja negra, 1982.

García Márquez, Gabriel. De viaje por los países socialistas. Bogotá, La Oveja Negra, 1982.

García Márquez, Gabriel El amor en los tiempos del cólera. Mexico, Diana, 1985.

García Márquez, Gabriel. Diatriba de amor contra un hombre sentado. [Киносценарий]. 1987.

García Márquez, Gabriel. El general en su laberinto. Bogotá, Oveja Negra, 1989.

García Márquez, Gabriel. Dose cuentos peregrines. Bogotá, Oveja Negra, 1992.

García Márquez, Gabriel. Nobel Lectures, Literature 1981–1990, Singapore, World Scientific Publishing Co., 1993.

García Márquez, Gabriel. Del amor y otros demonios. Bogotá, Norma, 1994.

García Márquez, Gabriel Noticia de un secuestro. Bogotá, Norma, 1996.

García Márquez, Gabriel. Vivir para contarla. Bogotá, Norma, 2001.

García Márquez, Gabriel Memoria de mis putas tristes. New York,

Alfred A. Knopf, 2004.

Гарсиа Маркес Г. Избранное (серия «Мастера современной прозы») / Предисл. Л. Осповата. М.: Прогресс, 1979.

Гарсиа Маркес Г. Собрание сочинений: В 6 т. СПб.: Симпозиум, 1997.

Гарсиа Маркес Г. Полное собрание сочинений: В 18 т. М.: Астрель, 2011.

Использованная литература

Harss, Luis. Los nuestros. Buenos Aires, Sudamericana, 1968.

Vargas Llosa, Mario. García Márquez: historia de un deicidio. Barselona, Barral, 1971.

Fuenmayor, Alfonso. Crónicas sobre el grupo de Barranquilla. Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1978.

Simons, Marlise. A Talk With Gabriel García Márquez. New York Times // 1982. 5 December.

Mendoza, Plinio Apuleyo, García Márquez, Gabriel. The fragrance of guava. London, Verso, 1983.

Maurya, Vibha. Gabriel García Márquez. Social Scientist, 1983.

Nunes Jimenes, Antonio. García Márquez y la perla de las Antillas. Havana, 1984.

Bhalla, Alok. García Márquez and Latin America. New Delhi, Sterling Publishers Private Limited, 1987.

Sorela, Pedro. El otro García Márquez: los años difíciles. Madrid, Mondadory, 1988.

Vargas Llosa, Mario. Dialogo sobre la novella latino-americana. Lima, Peruandiro, 1988.

Beil, Michael. Gabriel García Márquez: Solitude and Solidarity. Hampshire: Macmillan, 1993.

Gonzales, Nelly. Bibliographic Guide to Gabriel García Márquez, 1986–1992. Oxford, Greenwood Publishing Group, 1994.

Oberhelman, Harley. García Márquez and Cuba: A study of its presence in his fiction, journalism, and cinema. Fredericton, York Press Ltd, 1995.

Saldivar, Dasso. García Márques: el viaje a la semilla. La biografía. Madrid, Alfaguara, 1997.

Cebrian, Juan Luis. Retrato de Gabriel García Márquez. Gutenberg, Círculo de Lectores, 1997.

Mendoza, Plinio Apuleyo. Aquellos tiempos con Gabo. Barselona, Plasa & Janes Editores, 2000.

Forero, Juan. A Storyteller tells his own story. García Márquez,

Fighting Cancer, Issues Memoirs // New York Times, October 9. 2002.

Esteban, Angel, Panichelli, Stephanie, Gabo y Fidel: el paisaje de una amistad, Planeta Publishing, 2004.

Bell-Villada. Conversations with Gabriel García Márquez. Jackson, Gene H., ed. University Press of Mississippi, 2006.

Martin, Gerald. Gabriel García Márquez. A Life. London, Bloomsbury Publishing, 2008.

notes

Примечания

1

Велите привезти из резервов (*фр.*).

2

Вот прекрасная смерть *(фр.)*.

З

Официальный орган ЦК Коммунистической партии Кубы.